



*...Искусство жить не укладывается ни в какие трафареты.
Невозможно дать готовых рецептов. Я сам их ищу.*

В. Шендерович

В · ТЕНДРЯКОВ

ЛЮДИ
ИЛИ
НЕЛЮДИ



ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

Москва
«Современник»
1990

ББК 84Р7
Т33

Т $\frac{4702010201-056}{M106(03)-93}$ 136-90

ISBN 5--270--00999--4

© Издательство «Современник», 1990

ПОВЕСТИ



УХАБЫ

1

Сонные тучи придавили маленький городок Густой бор. Шумит ветер мокрой листвой деревьев, мокро блестят старые железные крыши домов, мокрые бревенчатые стены черны, — и сам город, и земля, на которой он стоит, и воздух — все, все обильно пропитано влагой.

Такому городку, отброшенному на пятьдесят километров в сторону от железной дороги, затяжные дожди причиняют великие неудобства: в магазинах исчезает соль и керосин, в Доме культуры перестают показывать новые кинокартины, письма и газеты приходят с запозданием, так как почту доставляют с оказией, на лошадях.

Густой Бор в эти дни наполовину отрезан от остального мира.

В райпотребсоюз пришла телеграмма: на железнодорожную станцию прибыла партия конченной сельди. В другое время на нее не обратили бы особого внимания — вывезти, распределить по магазинам, продать. Но теперь председатель райпотребсоюза Ларион Афанасьевич Сямжин, человек с больным сердцем, не любящий волноваться по пустякам, засуетился:

— Как же быть? На станции-то нет холодильников. Попортится! Ох, не ко времени! Ох, наказание!.. Васю ко мне. Быстро! Чтоб одна нога здесь, другая — там!

Шофер Вася Дергачев собирался в село Заустьянское, где вот уж без малого месяц обивал порог у библиотечарши Груни Быстряк. Явился он к Сямжину в синем плаще, коверкотовая фуражка заломлена на затылок, — по одежде праздничный, а лицо тоскливое.

— Опять в рейс? — спросил он, сумрачно разглядывая свои хромовые, с голенищами в гармошку сапоги, втиснутые в новенькие, чуть тронутые грязью калоши.

— На тебя надежда, Василий, только на тебя. Развезло. Другому по улице не проехать, в первой же луже сядет. А ты ведь не просто шофер, ты, без прикрас скажу, божьей милостью водитель. Талант!

— Эх, жизнь собачья! Есть путь, нет пути — все одно гонят.

— Да никто тебя не гонит. Тебя просят, братец.

— А откажусь — небось против воли пошлете?

— Пошлю, голубчик, пошлю, но бью на сознательность. Хочу, чтоб прочувствовал.

— Уж ладно... Выписывайте накладные.

Через двадцать минут он, в старой кепчонке, в кожаной куртке, донельзя вытертой, хлябая ногами в непомерно широких голенищах кирзовых сапог, с какой-то шоферской вдумчивой раскачкой ходил вокруг своей полуторки.

Возраст автомашины измеряют не годами, а километрами. Тридцать тысяч на спидометре — считай, юность, начало жизни. А полуторка Васи Дергачева выглядела старухой: помятые крылья, расхлябанные, обшарпанные борта, погнут буфер, на выхлопе вылетает дымок со зловещей синевой: верный признак — страдает машина обычной автомобильной одышкой, сносились кольца. Укатали сивку крутые горки густоборовских дорог. Сейчас стоит она, постукивает моторами и мелко трясется всем своим многотерпеливым корпусом, словно страшится нового тяжкого испытания.

Вася закрутил проволокой запор у левого борта, — на всякий случай, вдруг да на толчке отвалится, не оборешься греха, сел в кабину.

Он не сразу взял курс через плотину районной ГЭС на станцию, а повернул к чайной. Какой шофер упустит случай, чтоб не «наловить лещей».

2

«Наловить лещей» — это взять попутных пассажиров. Для шофера, ведущего машину, есть только один грозный судья — представитель автоинспекции. Но такие представители редко заглядывали на здешние глухие дороги. Поэтому густоборовский шофер, выехав из гаража, оторвав-

шись от организации, в которой он работает, сразу же оказывается в стороне от всяких законов. Он становится единственным владыкой, царьком крошечного государства — кузова автомашины. И каждый, кто попал туда, обязан платить дань.

Правда, три года назад председатель райисполкома Зундышев попробовал было начать войну против шоферского племени, безнаказанно собирающего дань на дорогах. Для этого между городом Густой Бор и станцией поставили шлагбаумы в трех местах, где никак нельзя свернуть в объезд. План был таков: шофер сажает пассажиров, но миновать шлагбаума не может, у шлагбаума же стоит контролер и продает пассажирам самые законные билеты. Все деньги идут не в шоферский засаленный карман, а на ремонт дорог. Так должна была благоустраиваться жизнь Густоборовского района, таков был план. Но получилось иначе...

Шоферы, как обычно, «ловили лещей». Каждый из них, не доезжая до шлагбаума, останавливал машину и держал короткую речь:

— Вылезайте, граждане, идите пешком. Я вперед поеду, за шлагбаумом буду ждать. Там снова сядете. Тяжелые вещи — чемоданы там, мешки — оставляйте в кузове. Кто не согласен, того не держу. Пусть ищет другую машину, а еще лучше — идет пешком.

К шлагбауму подходила пустая машина. Недоверчивый контролер заглядывал в кузов, спрашивал:

— Пассажиров куда, молодец, спрятав?

— В карман положил, да повytрусились.

— Шуточки все, а чемоданы тут, мешки, ась?

— Теща в гости приехала. Багаж вот на станции оставила. Везу...

— Теща? Гм... Богата она, видать, у тебя. Ишь сколько чемоданов.

И рад бы контролер уличить, но как?.. Шофер спокоен: курит, независимо сплевывает, он знает — комар носу не подточит.

«Лещи»-пассажиры дружной кучкой, обсуждая шоферские доходы, идут пешком километра два-три, находят дожидаящуюся за поворотом машину, влезают в кузов, едут до следующего шлагбаума.

Контролерам скоро была дана отставка. А шлагбаумы, задранные вверх, долго еще торчали у дороги, вызывая к шоферской совести, пока их не растащили па дрова.

Вася Дергачев, как и все шоферы, считал, что брать дань с пассажиров — это его прямое право, это законная награда за тяжелую дружбу с густоборовскими дорогами.

Самое удобное место, где хорошо «кляют лещи», была чайная. К чайной сходятся из деревень желающие попасть к поезду, в чайной дежурят приезжие из соседнего района, к чайной бегают справляться местные жители: «Не пойдет ли машина?» Чайная — это станция, где можно ждать, убивая время за кружкой пива, за стаканом чаю.

Из-за дождей машины теперь почти не ходят, и наверняка от «лещей» не будет отбоя.

Вася остановил полуторку под окнами чайной, не успев выйти из кабины, как с высокого крыльца его окликнули:

— Эй, Дергачев!

Вперевалочку, не спеша, припечатывая к мокрым ступенькам каблук сапог, спустился знакомый Васе директор Утряховской МТС Княжев. Подошел, протянул руку:

— Сямжин пообещал, что ты меня подкинешь до дому.

Из-под распахнутого плаща выпирает широкая пухлая грудь, лицо Княжева полное, мягкое, бабье, губы в оборочку, говорит сипловатой фистулой:

— Свою машину угробил, как сюда ехал. Придется весь задний мост перебирать. Вот подсохнет — перетащу в Утряхово.

К его голосу не подходит по-мужски осанистая фигура и твердый крючковатый нос на рыхловатом лице.

— В кабине-то место свободно? — кивает он.

— Свободно. Один еду.

Словно из-под колес, вынырнула маленькая старушка с огромной корзиной, завязанной вылинявшим платком. Она цепко схватила Васю за рукав кожаной куртки, запела с причитанием:

— Выручи, кормилец. Третий день ловлю машину. Третий день никак не уеду. Не бросай ты меня, старую, непутевую. Приткни, Христа ради, в уголок куда. Век буду бога молить.

С плаксиво сморщенного лица хитро, молодо и настойчиво щупали Василия маленькие, бойкие глазки.

— Сидела бы дома, бабка!

— Уж рада бы сидеть, сокол. Ра-ада. Не такие мои годы, чтоб в ящике-то трястись. Да сына, вишь ли, поглядеть охота. Старшой мой на железной дороге начальством служит. Внучатам яичек вот сотенку везу.

— Расколотит тебя вместе с твоими яичками. Ладно, лезь в кузов, садись ближе к кабине.

— Ой, спасибо, родной! Ой, выручил старую! Подсадите, люди добрые, толкните кто...

За борт сначала опускается корзина, за ней, кряхтя, охая, благодаря господу бога и осторожно подталкивающего под зад Василия, перевалилась старуха.

С другой стороны в кузов падают два новеньких, сверкающих никелированными замками чемодана. Их хозяин, на вид такой же новенький, так же сверкающий погонами и начищенными пуговицами младший лейтенант, двинув твердую фуражку на одно ухо, подходит к Васе, щелкает портсигаром:

— Закуривай, друг. Занимаю два места — я и жена.

Он не высок, всё в нем — от пуговиц, от мягких сапожек до маленьких белых рук и мальчишеского лица с точеным посиком, — все аккуратно, все подогнано.

— Наташа, иди сюда. Вот наш шофер. Теперь-то наконец поедem. Никак не вырвешься, черт возьми, из этой дыры! Я, брат, родом из Большезерска, в сорока километрах отсюда. В отпуск приезжал и вот женился. Наташа! Что ты там машину сторожишь? Без нас не уйдет. Иди сюда... Пока до этого городишка добирались — душу вытрясло. А мне еще ехать и ехать. В Прибалтике служу. В самом центре Европы. Наташа, иди сюда!

Оттого, что он в военной форме с блестящими погонами, что со стороны за ним следит молодая жена, лейтенант расправлял плечи, поигрывал портсигаром, небрежно перекидывал из одного угла рта в другой папиросу. Но Вася отвернулся. Пусть он сейчас в замасленной, затертой куртке, в покоробившихся от грязи огромных сапогах, пусть он неказист с виду — нос пуговицей, на лоб спадает челка, черная, словно напoмаженная мазутом, — но он сейчас здесь первое лицо. Даже директор МТС Княжев, тот, кто распоряжается сотнями машин, смотрит на него, шофера Василия Дергачева, с уважением. Не всякий-то решится ехать в такую погоду по размытой дороге. Поэтому пусть этот лейтенантик особо не фасонит, стоит только захотеть, и он останется мокнуть под дождем здесь, у чайной, вместе со своими чемоданами и красивой женой.

...В кузове устраивались. Рядом со старушкой сел какой-то тщедушный, неприметный человек, то ли заготовитель из конторы «Живсырьё», то ли агент по страховке. В грубом брезентовом плаще, в котором утопул он, мож-

но бы упрятать троих таких заготовителей. Из-под капюшона выглядывали лишь острый нос и сонные глазки. Баба пристраивала у себя на коленях корзину с яйцами, бесцеремонно толкала соседа:

— Эко растопорщился! Сам тощей, а места занял, как баба откормленная. Сдвинься-ко, сдвинься, родимушка.

Заготовитель покорно шевелился в своем просторном плаще.

Четыре девушки, едущие поступать в ремесленное училище, расположились среди узелков и авосек, сосали леденцы. Лейтенант топтался посреди кузова, ворочал свои новенькие чемоданы, старался удобнее устроить жену.

— Наташа, вот здесь сядешь. Ноги сюда протяни. Эй, красавицы, потеснитесь! Нет, пет, давай сядем так... Чемоданы поставим на попа.

А Наташа, с добрым, простеньким и усталым лицом, послушно поднималась с места, следила из-под ресниц внимательно и терпеливо за мужем.

Влезли три колхозницы с мальчуганом, у которого просторная кепка держалась на торчащих ушах, постоянно сваливалась козырьком на нос, и тоже с шумом начали пристраивать свои узлы и корзины.

К машине подбежала женщина с младенцем на руках, затопталась у борта, присматриваясь, как бы влезть в кузов. Но Вася остановил ее:

— Эй, мать, не вертись. Все равно не возьму.

— Миленький! Да тут еще есть местечко.

— Не возьму с ребенком.

— Ведь я не так, я заплачу. Я же не задаром...

Она, потерев зубами узелок платка, вытащила скомканную бумажку, начала совать Василию.

— Возьми-ко, возьми. Не отворачивайся. Мне к вечеру на станции быть нужно.

— Не возьму с ребенком. Да ты, тетка, с ума спятила! В такую дорогу и с младенцем. А вдруг да тряхнет, стукнешь ребенка — кто ответит?

— Ты не бойся, с рук не спущу.

— Не возьму — и шабаш! В другой раз уедешь.

— Никак нельзя в другой-то раз. Разве без нужды я б поехала. Да провались езда эта... Ты возьми-ко, возьми, я прибавлю еще. Тут четвертной.

Она снова попыталась всунуть потную бумажку.

— Отстань! — сердито крикнул Василий.

В это время парень с белесым чубом из-под фуражки,

в сапогах с отворотами размашистым шагом подошел к машине; не спрашивая разрешения, перемахнул через борт, втиснулся между сидевшими, с трудом повернув в тесном вороте рубахи крепкую шею, раздвинул в улыбке крупные белые зубы:

— Не спеши, дождик пройдет, пообветреет, тогда и покатаешься.

— У-у, оскалился! Этому жеребцу только бы и бегать пешком. Глаза твои бесстыжие! — набросилась на парня женщина. — А ты не думай, — обернулась она к Василию, — не больно-то он раскошелится. Такие-то на дармовщинку ездят.

Василий покосился на парня: что верно, то верно — «лещ» не из надежных, на каком-нибудь отвороте к деревне Копцово или Комариный Плёс выскочит на ходу, только его и видели. Дело не новое. Но, измерив взглядом широкие плечи своего пассажира, решил: «Черт с ним. Сила, должно быть, медвежья, машина застрянет — поможет вытаскивать».

Суровым взглядом окинул тесно набитый кузов:

— Все уместились? Едем! Коль застрянем где — помогать.

Он сел в кабину рядом с изнывающим от ожидания директором Княжевым, нажал на стартер. Разбрызгивая лужи, перетряхивая на колдобинах пассажиров, полуторка, оставив чайную, стала выбираться на прямой путь к станции.

3

Дорога! Ох, дорога!

Глубокие колесные колен, ни дать ни взять ущелья среди грязи, луж-озерца с коварными ловушками под мутной водой, — километры за километрами, измятые, истерзанные резиновыми скатами, — наглядное свидетельство бессильной ярости проходивших машин.

Дорога! Ох, дорога! — вечное несчастье Густоборовского района. Поколение за поколением машины раньше срока старились на ней, гибли от колдобин, от засасывающей грязи.

Есть в Густом Бору специальная организация — дорожный отдел. Есть в нем заведующий — Гаврила Ануфриевич Пыпин. Он немного стыдится своей должности и, знакомясь с приезжими, прячет смущение под горькой

путочкой. «Зав. бездорожьем», — рекомендуется он, протягивая лодочкой руку.

Но что может сделать Гаврила Пыпин, когда в прошлом году на ремонт дорог отпустили всего пять тысяч. Пять тысяч па эту пятидесятикилометровую стихию!

Единственное, что мог сделать Пыпин, — вымостить булыжником улицу перед райисполкомом и заменить упавшие верстовые столбы новыми — километровыми.

Сейчас от города Густой Бор до самой станции стоят они, эти столбы, в черную полосу по свежееоструганному дереву, точно отмечая километр за километром куски шоферской муки.

Ох, дорога! — каждый метр с боя.

Вася Дергачев хорошо знал ее капризы. Эту лужу, на вид мелкую, безобидную, с торчащими из кофейной воды бугристыми хребтами глины, нельзя брать с разгона. В нее пужно мягко, бережно, как ребенка в теплую ванну, спустить машину, проехать с нежностью. На развороченный вкривь и вкось, со вздыбленными рваными волнами густо замешанной грязи кусок дороги следует набрасываться с яростным разгоном, иначе застрянешь на середине, и машина, сердито завывая, выбрасывая из-под колес ошметки грязи, начнет медленно оседать сантиметр за сантиметром, пока не сядет на дифер.

Перед деревней Низовка разлилась широченная лужа. Страшен ее вид — там и сям из воды вздыбились слегги, торчит пучками облепленный грязью хворост. Шоферы прозвали эту лужу «Чертов пруд». Через нее надо ехать только по правой стороне, да и то не слишком-то надейся на удачу.

После Низовки, не доезжая соснового бора, дорога так избита, что лучше свернуть в сторону, проехать по кромке поля вновь пробитой колеей. Зато дальше, пока не кончится, сосновый бор, — песок. Дожди не размывают его, прибавают, делают плотным. Можно включить третью скорость, облегченно откинуться на сиденье, дать газ... Какое наслаждение следить, как надвигаются и проносятся мимо сосны! Но только три километра душевного облегчения, несколько минут отдыха — и снова колдобины, до краев заполненные водой, снова врытые глубоко в землю колен, снова коварные лужи.

На ветровом стекле брызги жидкой грязи. Сквозь стекло видно, как навстречу, словно медлительная, ленивая река, течет дорога. Вася Дергачев, вытянув шею, в кепке,

схехавшей на затылок, настороженно впился в дорогу глазами. Она враг — хитрый, неожиданный, беспощадный. От нее каждую секунду нужно ждать пакости. Вася с ожесточением воюет, от напряжения ему жарко, волосы прилипли ко лбу.

Рулевая баранка, рычаг скоростей, педали — вот оно, оружие, с помощью которого вырывается у дороги метр за метром...

Впереди зализанный, осклизлый склон. В другое время не стоило бы на него обращать внимания. Тяжелый сапог давит на газ. Взыл мотор. Сотрясая кабину, машина набирает скорость: давай, давай, старушка! Начало склона близко. Начало склона перед самыми колесами. Газ! Тяжелый сапог давит до отказа: газ! газ! Радиатор поднимается в небо. А в небе, затянутом ровными серыми облаками, равнодушно машет крыльями ворона...

С разгона машина проскочила до середины скользкого склона, и вот — секунда, частичка секунды, когда чувствуется, что она должна остановиться... Если это случится, не помогут и тормоза, — как неуклюжие салазки, сползет грузовик вниз, а уж во второй раз так просто не выползеешь.

Секунда, частичка секунды — педаль сцепления, рычаг скоростей на себя и газ, газ, газ! Машина остервенелое воеет, дребезжат стекла кабины, медленно, медленно, с натугой, по верхушку, по сантиметру вперед, вперед, вперед! Выкатилась... Уф!.. Василий расслабил сведенные на руле руки.

Качается кабина, директор МТС Княжев сонно кивает на каждом толчке головой. Окруженные придорожным мокрым кустарником, время от времени выдвигаются, поползают мимо километровые столбы, новенькие, не успевшие еще по-настоящему обветриться.

Первый раз застряли на десятом километре. Объезжая разбитый путь, Вася никак не мог выбраться на дорогу, задние колеса буксовали в затянутом травой кювете. Из кабинки вылез Княжев, из кузова выскочили парень в сапогах с отворотами и путающийся в широком плаще заготовитель. Лейтенант, жалея свои хромовые сапожки, командовал сверху, перегнувшись через борт:

— Лопату возьмите! Где лопата?.. Подрыть надо. Эй, кто там! Под колесами подройте!

Подрыли, подложили пару камней, покрикивая для бодрости, вытолкнули на дорогу.

Второй раз прочно сели в «Чертовом пруду» — место законное для задержки. Парень в саноггах с отворотами оказался находкой для Васи. Откуда-то притащил сосновый кряж, бесстрашно шагая по луже, пристроил его под колеса, подровнял лопатой грунт. Веселый, с облепленными грязью ручищами и грязью крапленным потным лицом, он шумливо отвечал всем.

— Ладно, ладно! Командуй! — кричал на лейтенанта. — Как бы самому кителек запачкать не пришлось. Эй, шофер! Лезь в кабину, трогай не ходко! Я подтолкну... А вы, товарищ начальник, не мутите зазря воду у кабины, садитесь на свое место. Как-нибудь управимся...

Директор Княжев послушно усаживался рядом с Васей, смущенно улыбаясь, качал головой:

— Шустрый малый. Силенка так и прет, хоть запрядай в машину вместо тягача.

Проехали Низовку, прокатили по сосновому бору...

У километрового столба с цифрой 20 Василий остановил машину, вылез, своей шоферской вдумчивой походкой враскачку обошел кругом, озабоченно попинал скаты, поднял взгляд на сидящих в кузове:

— Ну, братцы, сейчас Тыркина гора. Коль на нее выйдем, считайте — приехали на станцию. Дальше-то как-нибудь промучаемся. — И, влезая в кабину, вздохнул: — Эх, место, богом проклятое!

Машина тронулась, огибая тесно сбившийся в кучу придорожный ельник.

Впереди показался кособокий холм. Правая его сторона, кудрявясь мелким березнячком, круто сбегала вниз. К вершине, по самому краю склона, к выщипанному кустарнику, маячившему на фоне серого неба, ползла вверх жирной виляющей лентой черная дорога.

Машина приближалась к Тыркиной горе.

4

Откинувшись на спинку сиденья, с бесстрастно суровым лицом, Василий наметанным взглядом выбирал более удобный путь на расхлюстанной дороге. Его руки скупой, расчетливо, лишь более порывисто, чем всегда, крутили баранку.

Княжев, до сих пор равнодушно клевавший носом, встряхивавшийся только на сильных толчках, теперь подался вперед, наморщил страдальчески лоб, собрал в ту-

гой узелок губы, всем своим видом выражал такое напряжение, словно сам помогал машине взбираться па тяжелый подъем, вчуже изнемогая от усилий.

Машина, басовито, на одной ноте завывая мотором, с боязливой осторожностью ползла вверх.

С краю у дороги торчат невысокие темные столбики. Они поставлены оберегать машины от несчастия. Впрочем, пролеты между этими спасительными столбиками достаточно широки, чтоб пропустить, не задев, любой грузовик, да и стоят они давно, изрядно подгнили, многие сбиты неосторожными водителями, торчат скорей для очистки совести, на всякий случай.

Василий изредка бросал взгляды в сторону и видел, как внизу ширится простор. Мелкий, мокрый березничок оседает, своими верхушками уже не закрывает тускло поблескивающую воду узенькой речки, бегущей внизу, под склоном. Сразу за речкой — ядовито-зеленое поле льпа, еще дальше — матовые овсы, среди них деревенька — горсточка серых избушек, а совсем далеко, в сырой мгле, мутным темным разливом раскинулся большой хвойный лес.

Как всегда в такие минуты особо трудного пути, Василий чувствовал спиной сидящих в кузове пассажиров. Чувствовал, как они все до единого тянутся со своих мест вперед, каждый душевным усилием, помимо желанья, пытается помочь машине; также с необъяснимым беспокойством следят они, как открывается внизу простор: тусклая речка в зеленых берегах, поля, деревенька, мутный лес.

У всякой дороги, поднимающейся в гору, есть хорошо знакомая шоферам критическая полоса. Обычно она расположена недалеко от вершины, там, где основная крутизна кончается и подъем становится положе. На подходе к этой полосе машина должна выжать из себя все, на что способна, здесь она сдает трудный экзамен па силу.

Выщипанные кустики, которые были видны на вершине при подъезде к Тыркиной горе, теперь, вблизи, оказались средней высоты ольховыми деревьями. Среди них белел километровый столб — двадцать первый километр, проклятый шоферами.

До него оставалось метров сто семьдесят. Из них добрая половина была исковеркана страшными колдобинами, вкось и вкривь иссечена рваными колеями, как поле битвы костями, усеяна жердями, толстыми слегами, измочаленными стволами недавно срубленных березок. Это и есть критическая полоса Тыркиной горы, тяжелый перевал.

Редкая машина не сидела здесь по целым суткам, во всей округе нет такого шофера, который бы не обложил это место крепкими словами, вкладывая в них всю свою душевную ярость и отчаяние.

Меньше всего был разбит кусок дороги, тянувшийся возле самого ската. Есть слабая надежда, что только здесь, и нигде больше, можно проползти, не застряв.

Василий стал прижимать машину к самому краю, повел, едва не задевая колесами темные столбики на обочине.

Сверху от ольховых деревьев, почтительно обступивших километровый столб, прямо на радиатор медленно, с натугой надвигалась дорога — широкая река густо замешанной, скользкой глины. Княжев также тянулся с сиденья вперед, еще туже сводил свои оборчатые губы в узелок. Василий по-прежнему, откинувшись на спинку сиденья, вытянув шею, с окаменевшим лицом уставился вперед немигающими глазами.

Кто б мог подумать, что он в эту минуту мечтал? Да, мечтал! Он представлял себе, как его полуторка малопомалу приблизится воп к тому камню, замшелой тушей вросшему в обочину, как там он повернет налево, постепенно набавляя газ, пересечет дорогу, как на правой стороне вывернет... А там в кювете растет крошечный, жалкий, всегда густо заляпанный грязью можжевельниковый кустик. Он дорог Васе. Около этого кустика кончатся мучения, мотор застучит ровнее, без надсадного завывания, машина, словно стряхнув груз, покатится легче. Не доезжая километрового столба, можно уже включить вторую скорость... Он мечтал, как ощутит привычную усталость во всем теле и вместе с этим какую-то радостную, горделивую легкость в душе: знай наших, черт ногу сломит, а мы проехали. Чтоб чем-то отметить эту победу, он обязательно остановит машину, выскочит из кабинки и заявит весело:

— Что ж, братцы, сотворим перекур.

А из кузова благодарно и радостно будут ему улыбаться пассажиры.

...Камень, старый, тупо лобастый, весь в лишаях зеленого мха, скрылся за радиатором. Сейчас он должен находиться как раз напротив переднего колеса. Вася резко крутанул баранку и вдруг почувствовал что-то неладное. Что? Он не сразу понял. Медленное, патужное движение машины не приостановилось, но она не послушалась руля... продолжала двигаться как-то косо.

«Задние колеса сползают!» — догадался Василий и похолодел. Бессознательно нажал газ. Взыл мотор, машина остановилась, подалась чуть-чуть назад, начала оседать. Вцепившись, потными руками в рулевую баранку, с потным, окаменевшим лицом Василий давил на газ. Машина оседала, задирая вверх радиатор. Из кузова резанул истошный женский визг.

— Ну, что сидишь? Смерти хочешь?! Прыгай! — остервенело крикнул Василий съжившемуся от ужаса Княжеву.

Тот заворочался, стал слепо хватать руками ручку дверцы, но было уже поздно...

В ветровом стекле исчезла земля, поплыло в сторону серое небо, по нему, как гигантская метла, промела зеленая верхушка березы. Тяжелая туша Княжева навалилась на Василия, но сразу же освободила. Василия больно стукнуло головой о потолок кабинки, бросило грудью на руль, он навалился на Княжева. Раздался треск, зазвенели стекла... Все стихло.

Шумело в голове от удара, ныла грудь. Внизу, под Василием, зашевелился Княжев, закричал:

— Кажись, живы.

Вдавливая коленями мягкое тело кряхтящего Княжева, Василий приподнялся, стал шарить по дверце, нашел ручку, надавил, толкнул дверцу головой.

— Сейчас вылезу, вам помогу, — сообщил Княжеву.

«Кого могло убить?.. — думал он, выталкивая себя вверх. — Молодые-то, должно, выскочили, а вот старуха с корзиной... Эх, да конец один — хватит, погонял по знакомым дорожкам, Василий Терентьич, теперь найдут место — отдохнешь от хлопот».

5

Но старуха была жива. Она первая бросилась в глаза Васе: со сбившимся на затылке платком, седые волосы падают на лоб, расставив ноги, огорченно хлопая себя по бокам, причитала над корзиной:

— Иисусе Христе! По яичку копила, себя не баловала, все внукам, все внукам! И с чем я, старая, к ним покажусь? Какие гостинцы привезу?

Высокая, простоволосая женщина, не стесняясь, вздернув юбку, растирала ушибленное колено. Она сердито оборвала старуху:

— Буде пыть-то. Спасибо скажи, что цела осталась.

— Ох, верно, матушка, верно. Не допустил господь. Спас от погибели.

Мальчуган, задрав вверх подбородок, из-под наползавшей на глаза кепки внимательно изучал лежащую на боку, бесстыдно выставившую напоказ свой грязный живот машину.

Девчушки, ехавшие в ремесленное, сбились тесной кучкой, со страхом уставились на вылезших из кабины Василия, Княжева. У директора МТС был потерян картуз, со лба по щеке багровая ссадина.

Какое-то белье, мужские сорочки, цветные женские платья валялись на траве, висели на мокрых кустах. Крошечную, сердито топорщащуюся елочку нежно обняли голубые трикотажные кальсоны. Один из объемистых повенских чемоданов младшего лейтенанта лежал на нопути от дороги к машине раскрытым. Около него согнулись сам лейтенант и его жена.

Наверху, на обочине дороги, торчала фигура, полная недоумения в растерянности, — заготовитель в своем широком, чуть шевелящемся на ветру плаще.

Пестрота раскиданной кругом одежды, неожиданное многолюдье среди покойно шелестящих листьями невысоких березок и кустов казались Васе чем-то диковинным, не настоящим, картиной не от мира сего. Ведь всего минуту назад ничего этого не существовало, — была лишь тесная кабина, забрызганное грязью ветровое стекло, медленно плывущая навстречу дорога...

Он провел по волосам, почувствовал от прикосновения руки боль в темени, опомнился и спросил в пространство:

— Все живы?

На его голос обернулся младший лейтенант. Он резко разогнулся над чемоданом, зло вонзая каблуки своих сапожек в травянистую землю склона, без фуражки, в косо сидящем кителе, подбежал к Василию.

— Кто вам доверил возить людей?! — закричал он тенорком. — Вы не шоф-фер! Вас к телеге нельзя допустить, не только к машине!

— Э-э, друг, чего кричать, — попробовал было остановить лейтенанта Княжев, с боязливой лаской ощупывая ссдину на щеке. — Нарню и без тебя на орехи достанется.

— Нет, вы поймите! Здесь были дети, женщины, могло кончиться убийством!..

Жена лейтенанта, оставив раскрытый чемодан, бросилась к мужу:

— Митя, полно! Ведь он же не парочно. Зачем кричать? Митя!

— Мало его судить. Надо судить тех, кто дает таким олухам права!

— Митя, стыдно же...

— Наташа, ты ничего не понимаешь!

— А офицерик-то за свои чемоданы обиделся, — встала со стороны женщина.

Жена Мити вспыхнула, схватила мужа за рукав:

— Несчастье случилось! Как тебе не совестно? Все молчат, один ты набросился. Мне за тебя стыдно! Мне!

В это время за опрокинутой машиной из-под накренившейся, сломанной ударом кузова березы, донесся сдавленный стои: «И-и-и!..» Старуха, все еще стоявшая над своей корзиной, проворно полезла через кусты, зачастила оттуда скороговоркой:

— Святители! Угодники! Матерь божья! Да ведь тут парня пришибло. Вот те крест, пришибло! Детушка ты мой родимый, лежи, голубчик, лежи, не понужай себя... Люди добрые, да скорейча идите!

Василий, отталкивая всех с дороги, бросился за машину.

Голова в кустах, поги в тяжелых грязных сапогах с затертыми отворотами раскинуты в сторону, схватившись руками за живот, лежал парень, который помогал Василию выбираться из «Чертова пруда».

Когда Василий услышал стои и вслед за ним причитания старухи, он испугался и первой его мыслью была мысль о себе: «Смертный случай! Теперь-то уж не миловать, теперь засудят...» Но едва он, бросившись на колени, нагнулсЯ, отвел ветви куста и увидел изменившееся лицо парня, — нежно-розовое, с мелкими бисеринками пота на лбу, ввалившимися висками и мутными непонимающими глазами, — то сразу же забыл свой испуг, мысли о том, что его засудят, вылетели из головы.

Чужая, не совсем еще понятная, но наверняка страшная беда в упор глядела на него мутным взглядом.

Не жалость, это слишком легкое слово, скорей отчаяние, болезненное, острое, охватило Василия, — что он паделал?!

С минутой, не меньше, Василий бессмысленно смотрел, не зная, как поступить, чем помочь. А помочь чем-то нужно.

Силу б свою вынуть, боль па себя принять, но как?.. Что делать?

— Любушки! Ведь мать же у него есть! Чья-то кро-
виночка... Вот оно, горюшко-то, не знамо, когда придет!—
разливалась старуха.

Темные на странно розовом лице губы парня дерну-
лись, обнажив стиснутые белые, крупные зубы. Парень
процедил:

— По-моги... подняться...

Василий рванулся к нему, обнял одной рукой за пле-
чо, другую попробовал просунуть под спину. Но парень,
изогнувшись, громко застонал. Василий растерянно вы-
пустил его.

— Ничего, ничего. Жив же,— раздался над его голо-
вой трезвый голос Княжева.— Надо доставить как-то в
больницу. Хоть бы к нам, в село, в фельдшерский пункт.

Василий вскочил на ноги, оглядел умоляющими глаза-
ми стоящих стеной пассажиров:

— Ребята! Товарищ Княжев! Помогите мне. Сделаем
носилки...

— Что мы, чурбаны бесчувственные? Поможем.—
Княжев оглядел присутствующих: — Жаль, мужиков средь
пас маловато.

— Вот видите, до чего доводит безалаберность! — сно-
ва загорячился лейтенант.— Человека покалечили!

— Митя, зачем же кричать об этом,— со вспыхнувши-
ми щеками; стараясь ни на кого не глядеть, начала успо-
каивать жена.— Криком делу не поможешь.

— Нет, это безобразие! Равнодушно относиться к пре-
ступнику!

— Митя! Прошу!

Василий сорвался с места, царапаясь о кусты, спотыка-
ясь, скатился вниз, к берегу реки, вынул из изгороди
две жерди, притащил их на плече к машине. Заготовитель
торопливо скинул свой широкий брезентовый плащ, пред-
став перед всеми в каком-то полудетском, даже по его
тщедушной фигурке тесном, порыжевшем пиджачишке.
Жерди просунули в вывернутые внутрь рукава плаща, сам
плащ застегнули на все крючки. На плащ еще накинули
старый, пахнущий бензином кусок брезента, валявшийся
в кузове. Все это сооружение кое-где прихватили веревка-
ми... Получились громоздкие, неуклюжие носилки.

Василий и Княжев, приговаривая ласково: «Потерпи,
потерпи, браток...», насколько это было можно, с осторож-
ностью, один — под мышки, другой — придерживая гряз-
ные сапоги, переложили парня на носилки. Он не застонал,

не крикнул, только с шумом втянул в себя воздух сквозь стиснутые зубы.

— Значит, как условимся?.. — Княжев оглядел столпившихся вокруг носилок людей. — Надо, чтоб силы были равны. Я понесу, ну, скажем, с Сергеем Евдокимовичем. — Княжев указал на съездившегося в своем кургузом пиджачишке заготовителя. Тот в ответ покорно кивнул головой. — Ты, Дергачев, понесешь на пару с лейтенантом.

— А я считаю... — отчеканил младший лейтенант, — мы не должны никуда нести! Надо немедленно вызвать сюда врача и участкового милиционера.

В первый раз за все время Василий угрюмо возразил:

— Не сбегу, не беспокойтесь... А гонять туда да обратно — времени нет.

— Для суда важно, чтоб все осталось на месте, как есть.

— Митя, глупо же! Боже мой, как глупо и стыдно!

— Наташа, ты не понимаешь!

Женщины, до сих пор лишь соболезнующе вздыхавшие, шумно заговорили:

— Нести лень голубчику.

— Сапожки испачкать не хочет.

— Тут человек при смерти, а он...

— А что ж, бабоньки, дивитесь — в чужом рту зуб не болит.

— Образованный, молодой...

— У молодежи-то ныне всей совести с маково зернышко.

— Митя, ты понесешь! — Острые плечи вздернуты, руки первно теребят на груди концы шелковой косынки, рваный зеленый листочек застрял в завитых волосах, на белом виске, как родинка, засохла капелька грязи, но милому, простоватому лицу — красные пятна, на глазах детских, серых, окровавленных, — слезы, они просят.

— Митя, ты понесешь! Ты не откажешься.

— Наташа, ты не понимаешь...

— Нет, я все понимаю, все! Митя! Ты понесешь! Или!..

— Что — «или»?

— Или я уеду обратно домой. Не буду жить с тобой. Не смогу! Какой ты! Какой ты нехороший!

— Наташа!

Наташа прижала к глазам крепко сжатые кулачки, из одного из них недоуменным заячьим ушком торчал конец косынки.

— Наташа...

Она отдернула плечо от его руки.

— Не тронь меня! Не-на-ви-жу! Не хочу видеть! Какой ты!.. — Оторвав руки от лица, прижав их к груди вместе с измятой косынкой, она шагнула к Княжеву: — Я понесу! Я! Не бойтесь, я сильная. Я смогу... Только не просите больше его! Не надо! Не просите! Какой он! Какой он!

Княжев с виновато растерянным лицом ощупывал ссадину на щеке, а Василий, стоявший рядом, сморщился. В эти минуты у него все вызывало острую боль.

Между женщинами снова пробежал глухой шепоток:

— Нарвалась девонька...

— Век-вековечный красней за идола.

Младший лейтенант стоял перед людьми, в кителе, на котором две пуговицы были вырваны с мясом, остальные, начищенные, продолжали мокро сиять. Его уши, по-мальчишески упрямо оттопыренные, багрово горели, как прихваченные осенними заморозками кленовые листья.

— Что тут разговаривать, — решительно произнес Василий. — Справимся, — и нагнулся к носилкам.

Княжев взялся с другого конца, удивился:

— Ого! Тяжеленок малый!

Раненый застонал.

Боком, шажок за шажком, стараясь не зацепить носилками за кусты, не тряхнуть, вытащили на дорогу.

За носилками тронулись заготовитель и жена лейтенанта, горестно сморкающаяся в концы косынки. Женщины пошептались между собой, покачали головами, крикнули:

— Нам-то помочь, что ли?

— Оставляйтесь, донесем! — с усилием ответил Княжев.

— Вот приберемся тут, может, и догоним.

Лейтенант продолжал стоять у запрокинутой набок машины, смотрел вниз, ковыряя носком сапога землю.

Маленькая процессия, отдохнув на обочине, медленно пошла по верху склона. Сначала травянистая бровка их скрыла по пояс, потом по плечи, наконец, вовсе исчезли... Лишь темный камень тупым выступом торчал на сером небе.

Начинало заметно вечереть. С реки налетел сырой ветерок, шевелил листьями. Женщины вытаскивали вещи, переговаривались негромко, не обращая внимания на ковырявшего землю лейтенанта.

Вдруг тот поднял голову, оглядел раскиданное по

траве и кустам белье и первно завертелся, ища что-то вокруг себя, должно быть фуражку. Не нашел, махнул рукой, бросился к дороге. На склоне перед самой дорогой споткнулся, вскочил, прихрамывая, бегом бросился в ту сторону, куда ушли с посылками.

— Проняло субчика.

— Совесть заговорила.

— Девка-то душевная ему попалась.

— Этакие хлюсты всегда сливки снимают.

Старушка, со вздохом завязав пустую корзинку платком, поднялась, подошла к раскрытому чемодану.

— О-хо-хо! Добришко-то у них распотрошило. Собрать надо, родные. Тоже ведь, чай, на гнездышко свое копили. О-хо-хо!..

6

Ноги расползаются па скользкой грязи. И хоть Василий выбрал для посылки самые тонкие жерди, по все же их концы толсты, трудно держать, пальцы не могут обхватить. Раненый грузен. На самых легких толчках он вскрикивает.

После двадцати шагов Василий, шагавший в голове, почувствовал, что если сейчас не остановится, то не удержит концы жердей, раненый упадет в грязь.

— Николай Егорович,— обессиленно окликнул он Княжева,— давай в сторонку. Мочи нет. Боюсь — не удержу...

Осторожно опустили носилки на обочину, прямо на мокрую примятую траву. Княжев перевел дыхание:

— Тяжел добрый молодец. Сзади шел, одни сапоги, считай, нес и то умаялся.

Василий разминал сведенные кисти рук.

Парень лежал на спине, чуть согнув ноги в коленях, держась руками за живот, лицо у него было по-прежнему розовое, как у человека, только что попарившегося в бане.

Заготовитель с нескрываемой жалостью на остроносом, с мелкими чертами, небритом лице рассматривал раненого быстро бегающими черными глазками.

— По двое никак не унесем,— сказал он.— Давайте вчетвером.

— А где четвертый-то?— спросил Василий.— Девушку не заставишь.

— Нет, нет, я смогу. Понесемте, прошу вас.

— Еще чего! Авось руки не отвалятся.— Василий па-

гнулся было к носилкам, чтобы снова ухватиться за концы жердей.

— Не дури, Дергачев. Человек дело советует,— остановил его Княжев.— Ты, знаем, готов надорваться теперь. Ну-ко, девонька, возмись за один конец у ног... За правый, за правый — там способнее держать. Я — в голову, вместе с Василием. Сергей Евдокимович, чего ждешь? Ну-ко, разом!.. Подняли... Осторожно, осторожно... Ничего, малый, терпи, как-нибудь доставим к месту. Пошли в ногу...

Но четверым в ногу по скользкой дороге нести было труднее. На первых же шагах носилки качнуло, больной охнул.

— Осторожнее! Не напирайте сзади!

Двадцать первый километровый столб начинал приближаться, на нем можно было рассмотреть уже цифру.

Неожиданно у носилок появился прихрамывающий лейтенант. Секунду он молча шагал рядом с женой. Та, старательно схватившись руками за конец жерди, с трудом вытаскивала из грязи резиновые ботики, склонив низко голову, не замечала мужа.

— Наташа, дай мне...

Наташа не отвечала.

— Слышишь? Дай, я понесу. Тебе же тяжело. Ну...

— Не мешай.

— Я погорячился... Ну, дай возьму.

Лейтенант ухватился за конец жерди. Носилки дрогнули, больной застонал.

— Отойди! И здесь мешаешь.

— Наташа...

— Эй, кто там толкает? Отступись! — не оборачиваясь, крикнул Княжев.

— Товарищи, товарищи! — заспешил вперед лейтенант.— Остановимся на минутку. Я понесу.

— Иди, иди,— сердито огрызнулся Василий.— Крутишься тут под ногами.

— С тобой не разговариваю!

— Не разговариваешь, так и не лезь.

Четверо несущих сосредоточенно, угрюмо месили грязь ногами. Лейтенант, всклокоченный, в своем косо сидящем кителе, с расстроенным лицом, попадая в лужи, прихрамывая сбоку, не спускал взгляда с жены.

— Наташа... Я же виноват. Я, честное слово, хотел... наташенька, мне же стыдно. Ну, прости. Слышишь, прости...

Наташа не отвечала, ей было не до того: мятая косыночка висела на одном плече, глаза напряженно округлились, уставились в сведенные на конце жерди руки. Впереди мерно покачивались поднятые к небу колени раненого.

— Наташенька, ну, дай же понесу. Я виноват, кругом виноват.

— Чего меня-то просишь? Ты у них... Перед всеми виноват.

— Виноват. Да, да, виноват,— обрадованно затоптался лейтенант около жены.

Та не отвечала. Тогда лейтенант бросился к голове носилок, забежав вперед, заглядывая то в лицо Княжеву, то в лицо Василию, заговорил:

— Ребята, извините... Ну, черт-те что вышло... Остановитесь, ребята. Ну, прошу... На минутку только. Дайте мне понести.

— Ладно уж,— согласился Княжев и потянул носилки в сторону.

Больного положили под километровым столбом.

Наташа облегченно разогнулась, стала поправлять спадающие на лоб волосы.

— Ну, бери, что ли! — сердито приказал Василий лейтенанту.— Через каждые пять шагов остановка. Так и к утру до Утряхова не дотянем.

— Да, да, надо быстрее. Сейчас, сейчас... Тут ведь недалеко. Нас теперь четверо,— благодарно засуетился лейтенант и вдруг, снизу вверх глянув на Василия, попросил: — Слышь, друг, прости меня. Честное слово — дурак я. Дай, в голову встану. Ну, дай.

— Ладно, ладно, смени жену лучше,— уже без обиды ответил Василий.

— Нет, право. Ты устал. Я — в голову, ты — на место Наташи.

— Хватит торговаться. Становись на свое место,— резко приказал Княжев.

Лейтенант стал в пару с заготовителем.

Снова закачались носилки над размытой дорогой. Четыре пары сапог: одни — хлюпающие широкими кирзовыми голенищами — Василия, другие — яловые, добротные — Княжева, старенькие, морщинисто-мятые — заготовителя и щегольские, плотно облегающие икры ног — лейтенантовы,— с медлительным упрямством снова принялись месить грязь. Наташа шла сбоку, на ходу повязывая на го-

лову косынку. В движениях ее рук, расслабленных, неторопливых, чувствовалась какая-то покойная усталость, душевное облегчение.

От столба, оставшегося за спиной, до села Утряхово, где есть фельдшерский пункт, — девять километров.

Кусты в стороне от дороги уже трудно было отличить от земли. Однообразно серое, низкое небо стало еще более сумеречным. Потемнела и сама дорога. Лишь тусклыми пятнами выделялись свинцовые лужи.

7

Сквозь тюлевые занавески, сквозь слезящиеся стекла, обдавая сырую тьму ночи теплом обжитых комнат, падал из окна желтый свет. В нем бесновато плясала серебристая пыль — нудная морось.

Там, в комнатах, все покойно, все привычно: люди в одних нательных рубашках, скинув сапоги, ходят по сухим крашеным половицам, садясь ужинать, говорят о перерастающих травах, о погоде, о мелких хозяйских заботах: несущка перестала нестись, плетень подмыло... Там обычная жизнь, только со стороны, в несчастье, понимаешь ее прелесть.

Четыре человека, спотыкаясь от усталости, изредка бросая вялые, бесцветные ругательства, медленно несли тяжелые посылки по селу Утряхово, мимо уютно светящихся окон. Жена лейтенанта, получив подробное объяснение, где живет фельдшерица, убежала предупредить ее.

Впереди, на холме, как бы владея над скупой разбросанными огоньками сельских домишек, сияла огражденная огнями МТС.

— Вот к тому дому... Заворачивай не круто, — указал Княжев.

На крыльце, приподняв на уровень глаз керосиновую лампу, в накинутом на плечи пальто, их встретила девчушка. Из-за ее плеча в открытых дверях выглядывала Наташа.

Мокрые, грязные, молчаливые, при тусклом свете керосиновой лампы темнотливые и страшные, сосредоточенно сопя, четверо носильщиков поднялись на крыльцо, осторожно задели концом жерди о дверь, и больной простился сдавленным стоном с темной, слякотной ночью.

В комнате, до боли в глазах ярко освещенной стосвечной лампой, пахло медикаментами, в шкафчике за стек-

лом блестели пузырьки и никелированные коробочки. Вдоль стены — белая широкая медицинская скамья. И во всей этой сверкающей белизне грязные, мокрые, с неровно торчащими концами грубо обтесанных жердей носилками, вместе с большим казались куском, вырванным из тела обезображенной дороги.

Носильщики, промокшие до нитки, залепленные грязью, с осунувшимися, угрюмыми лицами, подавленные чистотой, стояли каждый на своем месте, не шевелились, боялись неосторожным движением что-либо запачкать. Фельдшерница, молоденькая девушка с некрасивым круглым лицом, густо усеянным крупными веснушками, с сочными, яркими губами, которые сейчас испуганно кривились, попросила несмело:

— Выйдите все, пожалуйста. Тут негде повернуться. Я осмотреть хочу... А девушка пусть останется, поможет мне.

Высоко поднимая ноги, словно не по полу, а по траве, с которой боязно стряхнуть росу, один за другим все четверо вышли в просторный коридор, где на скамье тускло горела керосиновая лампа.

Княжев вынул пачку папирос и выругался, скомкав, сунул в карман, — папиросы были мокрыми. Лейтенант поспешно достал свой портсигар.

— Возьмите. У меня сухие.

В его портсигаре было только две папиросы. Одну взял Княжев, другую лейтенант протянул Василию.

— Да ты сам кури. Ведь больше-то нет, — отказался тот.

— Я нисколько не хочу курить. Нисколько. Прошу.

С улицы донеслись металлические удары — один, другой, третий, четвертый... Отбивали часы. Княжев поспешно отвернул мокрый рукав плаща:

— Вот как — одиннадцать... А меня, наверно, ждут. Из района специально звонил, чтоб бригадиры остались. Думал, часам к шести-семи подъеду. Извините, ребята, пойду. Теперь без меня все уладится.

Пожимая директору МТС руку, Василий, заглядывая в глаза, растроганно говорил:

— Спасибо вам, Николай Егорович. Спасибо.

— Это за что же?..

— Да как же, помогли... Спасибо.

— Ну, ну, заладил. За такие вещи спасибо не говорят. После ухода директора Василий почувствовал тоскли-

вое одиночество. Ушел человек — его советчик, его опора, ни с лейтенантом, ни с заготовителем так быстро не сговоришься. Скоро и они уйдут... Тогда — совсем один. Делай что хочешь, постудай, как сам знаешь. «Участкового милиционера искать надо...»

Василий задумчиво мям в руках окурков. Лейтенант нетерпеливо поглядывал на дверь фельдшерской комнаты. Заготовитель сидел на краешке скамейки, церемонно положив руки на колени, словно ждал приема у начальства. Наконец дверь открылась, вышла фельдшерица, на ходу снимая с себя халат.

— Надо его немедленно доставить в Густой Бор к хирургу, — сказала она убито. — Сильное внутреннее кровоизлияние. Надеюсь, печень не повреждена. До живота нельзя дотронуться, бледнеет от боли. Хирург у нас хороший, он все сделает. Только бы доставить.

От волнения и растерянности девушка заливалась краской, ее веснушки тонули на лице.

— А на чем же? — спросил после общего молчания Василий. — На чем доставить? Днем не сумели на машине проехать, а ночью и подавно не продерешься.

— На лошади тоже нельзя. Растрясет, на полпути может скончаться.

— На руках можно девять километров протащить, а не тридцать.

— Так как же быть? — задался лейтенант. — Умирать человеку? Мы его спасали, тащили, он умрет. Хирурга вызвать сюда! Это легче, чем везти больного. Пусть выезжает немедленно. Понимаете, девушка, надо спасти этого человека.

— Хорошо, я вызову. Но лучше бы в больницу, там, все условия. У меня здесь ничего не приспособлено для сложных операций.

— Ответственности боитесь! — загорячился лейтенант. — Условия не подходящие? Раз другого выхода нет, пусть едет, пусть спасает жизнь!

— А на чем хирург выедет? — спросил Василий. — Ты не подумал?

— В районе достанут машину. Достанут!

— Слушай, друг, я шофер бывалый, ты моему слову верь: ночью ни одна машина не пройдет. Ни одна!

— До утра скончаться может, — уныло вставила фельдшерица.

— Верхом! Пусть лошадь достанет!

— Верхов? Что вы! — девушка слабо махнула рукой. — Тридцать километров проехать верхом — надо быть кавалеристом. А Виктор Иванович и в жизни, наверное, в седле не сидел. Даже смешно об этом думать.

Замолчали. Разглядывали при свете стоящей на скамье лампы высокие, неуклюжие тени на бревенчатых стенах. Вдруг Василий хлопнул себя по лбу:

— Есть! Доставим! Будет транспорт!

— Какой?.. Где?..

— Трактор! Побегу сейчас в МТС, пока Княжев не ушел. Попрошу его дать трактор с тракторными санями. Трактору что? Он легко пройдет. А уж на санях не растрясет, как в люльке доставим. Я — в МТС!

— А я тем временем на почту сбегая. Позвоню в больницу, хирурга вызову к телефону.

— Я тоже в МТС,— обрадовался лейтенант.— Вместе разыщем Княжева.

Заготовитель, все время сидевший в стороне на скамье, во время разговора не проронивший ни слова, сейчас пошевелился, скупно сказал:

— Не даст.

— Что не даст? — повернулся к нему Василий.

— Княжев трактор не даст.

— Это почему?

— Я его знаю. Не даст.

— Ну, брат, молчал, молчал, да сказал что рублем одарил. Как же он не даст, когда сам, вместе с нами, на горбу носилки тащил? Не тот человек Николай Егорович, чтоб в помощи отказать. Пошли, лейтенант.

— Дай бог, чтоб я ошибся.

Быстрым шагом, подпрыгивая от нетерпения, шли они вдвоем к холму, где цепочкой горели огни МТС.

Лейтенант зябко запахивал на груди китель, ежился, забегал вперед, странно поглядывая на Василия. Видно было, ему что-то хочется сказать — и не решается. Василий ждал, что вот-вот он начнет, но лейтенант так и молчал до конторы МТС, лишь на крыльце перед дверью вздохнул:

— Стыдно... Черт возьми! Стыдно!

Директор МТС Княжев еще не ушел домой. Из-за двери кабинета было слышно, как он своей сипловатой фистулой сердито выговаривает кому-то:

— Тоже мне добрый дядя! У нас есть договор, документ законный, обе стороны подписали, печати пришили. Нет, я через него прыгать не собираюсь. Мало на меня в районе собак навешали... А-а, ребята! Что стряслось?

Княжев поднялся из-за стола. Он был в той же гимнастерке, в которой нес больного, мокрый и грязный плащ висел за спиной, на стене.

Сидевший возле стола мужчина с жесткими рыжими усами и надвинутыми на глаза тяжелыми надбровьями поднял голову, с интересом уставился на вошедших, — должно быть, уже слышал о несчастье, случившемся на двадцать первом километре, и догадывался, кто пришел.

— Николай Егорович, — заговорил Василий, — плохо дело. Надо срочно отправлять парня в густоборовскую больницу на операцию. Фельдшерка побежала звонить хирургу.

Княжев сожалеюще прищмокнул, но ничего не ответил.

Неизвестно почему, но Василию в эту минуту показалось, что он сказал не так, как хотелось, вяло, не горячо, его слова почти не задели Княжева, вызвали в нем лишь легкое сочувствие. И сам Княжев показался ему не тем, который плечо в плечо тащил по грязной дороге неуклюжие носилки. Он возвышался над столом, с выпирающей под гимнастеркой пухлой грудью, на лице что-то хозяйское, властное, недоступное.

— Николай Егорович, — еще перешителней повторил Василий, — как-то надо отправить.

— Вот беда, как же это сделать?.. Задача... На фельдшерском пункте лошадь есть.

— Нельзя на лошади, растрясет, умрет по дороге.

— За-адача.

Василий почувствовал неловкость не за себя, за Княжева. Тот хмурился, прятал глаза.

— Трактор дайте. Единственный выход, — решительно сказал за снисой Василия лейтенант.

— Трактор?.. М-да-а... Трактор-то, ребятки, не транспортная машина, а рабочая. Никак не могу распоряжаться государственным добром не по назначению.

— Николай Егорович! — Василий почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. — Человек же умирает! Не мне вам это рассказывать. Нужен трактор с прицепом. Ежели вы его не дадите, ведь умрет же...

— В том-то и дело, что ни объяснять мне, ни агитировать меня не надо. Я все сделал, что от меня лично зави-

село.— Княжев осторожно тронул пальцами засохшую ссадину на щеке.— Если б тракторы были мои собственные...

— Выходит: пусть человек умирает! Да как вам не стыдно, товарищ директор! — Лейтенант, бледнея, подался вперед.

Княжев покосился на него и усмехнулся:

— Ты, дорогой мой, вроде не так давно тем же голосом другую песню пел.

Лейтенант вспыхнул, сжал кулаки.

— Да, пел. Да, я был подлецом, эгоистом! Назовите как хотите. Плевать на это! Но дайте трактор. Вы не имеете права не дать. Слышите! Не имеете права!

— Вот именно — не имею права, — ответил директор. — Раз такой горячий разговор, то придется вам кой-чего показать...

Княжев выдвинул ящик стола, согнувшись порылся в нем, вытащил бумагу, протянул:

— Читайте.

Василий взял бумагу, лейтенант, шумно дыша над ухом, тоже потянулся к ней.

«Во многих колхозах в зонах Утряховской и Густоборовской МТС наблюдается невыполнение плана по подъему паров. Тракторы на пахоте простаивают. Часто они используются не по назначению. Вместо того чтобы работать на полях, возят кирпич и лес. Напоминаем, что решением исполкома райсовета от 17 июня сего года всем директорам МТС категорически запрещается использовать тракторы как транспортные машины.

*Председатель Густоборовского
райисполкома
А. Зундышев*

— Вот как обстоит дело, дорогие друзья. Я в МТС не удельный князь, а всего-навсего директор.— Княжев забрал бумагу.— И, как директор, я обязан подчиняться распоряжениям вышестоящих организаций.

— Николай Егорович! — Василий вот-вот готов был расплакаться.— Трактор-то нужен не для кирпичей, не для лесу. Неужели думаете, что вас кто-то упрекнет, что вы дали трактор, чтобы спасти от смерти человека?

— Упрекнут, да еще как. Ты вот можешь поручиться, что этот трактор не сломается на такой чертовой дороге?

Нет, не можешь. А трактор ждут, скажем, в колхозе «Передовик». Позвонят оттуда в райисполком или в райком, пожалуются — давай объяснения, оправдывайся.

— Ну и объясняйтесь, оправдывайтесь, неужели это в тягость, когда речь идет о спасении человеческой жизни? — заговорил снова лейтенант. Но Княжев пропустил его слова мимо ушей.

— Не могу рисковать. Сорву график работ. Оставлю колхоз без машины. Нет, друзья, за это по головке не гладят.

Сидевший молча мужчина с рыжими усами поднял голову, взглянул на Княжева из-под тяжелых надбровий, произнес:

— Мало ли мы, Николай Егорович, срываем график по пустякам? Всегда у нас так: прогораем на ворохах, выживаем на крохах. Что уж, выкрутимся. Зато человек будет к месту доставлен.

Мягкое, без намека на скулы лицо Княжева с коршуньим носом побагровело, сипловатая фистула стала тоньше:

— Дерьмовый ты, Никита, бригадир. У тебя интересу к МТС несколько не больше, чем у Настасьи-уборщицы. Потому и срываем планы, потому и работаем плохо, что добры без меры, встречному-поперечному угодить рады. Мало мне в прошлый раз накостыляли за то, что колхозу «Пятилетка» два трактора выделил на подвозку камней к плотине. Нашлись добрые люди, в райком нажаловались. Хватил горя. А все оттого, что отказать не мог.

— Слушайте, товарищ директор! — лейтенант боком, выставив плечо, потеснив в сторону Василия, нагнулся на стол. — Если вы не дадите сейчас трактор!.. Слышите: если вы не дадите, я вернусь обратно в районный центр, я пойду к секретарю райкома, пойду к тому же председателю Зундышеву, я не уеду до тех пор, пока вас не привлекут к ответственности. Отказать в помощи человеку, лежащему при смерти, — преступление! Слышите: умирающему помощь нужна!

— Гляди ты, каким сознательным стал. Прежде-то совсем другим был, добрый молодец, вспомни-ка! — Но Княжева, видимо, задел слова лейтенанта, он говорил, и его небольшие серые глазки на мягком, по-бабьему добром лице перебрасывались то на Василия, то на сидящего рыжеусого мужчину, надеясь найти в них хоть каплю сочувствия. Но рыжеусый угрюмо опустил голову, а Василий глядел с жадной мольбой.

— Иль я не человек, иль во мне души нет? Я же пер-

вый слово сказал — парня до места надо доставить, первый же в носилки запрягся. Попросите для больного кровь — отдам, попросите для него рубаху — сниму. Но тут не мое, тут не я распоряжаюсь. Ладно, ребята, не будем зря ругаться. Попробую согласовать, откажут — не повольте. У меня и без этого грешков достаточно по работе набралось. Еще раз подставлять голову, чтобы по ней сверху стукнули, желания нет.

Княжев сел за телефон, принялся вызывать Густой Бор:

— Барышня! Ало!.. Барышня! Соедини, милая, меня с Фомичевым. Это Княжев из Утряхова по срочному делу рвется... Как с каким Фомичевым? Не знаешь? Со вторым секретарем райкома. Первый-то в области... Как нет телефона? А в кабинет ежели брякнуть? Эх, несчастье... На работе нет, ушел домой, а дома телефон не поставлен, — сообщил Княжев, прикрывая рукой трубку. — Барышня, а, барышня! Ало! Ало!.. Как бы мне, детка, Зундышева...

Василий следил, как крупная, белая с плоскими ногтями рука Княжева медленно и вяло распутывала скрученный телефонный шнур. Василий почувствовал ненависть к ней. В каждом ее движении — непростительная медлительность. Рука забыла о времени. Все нервы, каждая жилка натянуты до предела: там лежит раненый, в любую минуту он может умереть, время идет, надо спешить, спешить, спешить, чтоб спасти! А рука нерешительно ощупывает пальцами непослушные изгибы шнура. Невольно хочется ударить по ней.

— Ну что за наказание! — Княжев бросил трубку, сердито проговорил: — Зундышев верхом, на ночь глядя, в колхоз поскакал.

С минуту Княжев сидел откинувшись, играл на животе сцепленными пальцами, тонкие губы собрались в сухую оборочку, глаза уперлись в лист бумаги, подписанный председателем райисполкома Зундышевым.

Василий и лейтенант, впившись глазами в лицо Княжева, ждали, что скажет. Директор пошевелился, глубоко-глубоко вздохнул, уставился мимо Василия куда-то в дверь своего кабинета, произнес:

— Не могу. Не будем больше уговаривать друг друга. Не могу!

— Николай Егорович!

— Не будем уговаривать!

Княжев встал, выставил грудь, нелюдимыми, холодны-

ми глазами уставился на Василия и лейтенанта. Те переглянулись, поняли, что разговор кончен, директор ничего не сделает.

— Пошли, — сказал Василий.

Уже в спину Княжев бросил:

— Я помог на место доставить, свой гражданский долг выполнил.

Василий обернулся у дверей:

— Чего там! Молчали бы лучше!

Лейтенант глухо добавил:

— А я свое сделаю: припеку тебя, бумажная крыса!

Хлопнула дверь...

На улице они, не сознавая, куда торопятся, что будут делать дальше, бросились опрометью бежать от МТС.

— Ничего не понимаю, ничего! Зачем он тогда нес? Зачем? — бормотал на ходу Василий.

Лейтенант схватился за голову:

— Что за люди! Что за люди живут! Бывают же такие на свете! Я бы этого гада без суда... Какой подлец! Ка-кой подлец!

— А куда мы бежим? — спросил Василий.

Оба остановились.

Дождь перестал, но воздух был переполнен влагой. Сырую тьму, накрывшую село, кое-где прокалывали желтые, тепленькие огоньки. Люди ложились спать. Для них всех кончился день, вместе с ним на время отошли заботы.

— Куда мы?.. — Василий растерянно глядел на лейтенанта.

Что-то надо было делать, как-то нужно было помочь, помочь немедленно, не теряя времени. Прийти к больному и над его головой беспомощно развести руками — невозможно.

— Есть же здесь какое-нибудь начальство.

— Председатель сельсовета есть. Вот и все начальство.

— Пошли! Найдём его. Он здесь Советскую власть представляет. Так и скажем: прикажи именем Советской власти!

Чавкая по грязи, они бросились в темноту, к сельскому Совету. Лейтенант бормотал на ходу:

— Именем Советской власти... Вот так-то! Именем...

И от этих слов у Василия росла уверенность — пусть-ко попробует Княжев отказать, пусть-ко отвернется, святыя слова, против них не попрешь. Только бы отыскать

председателя, только бы он, как районное начальство, не уехал куда-нибудь!

9

Оказалось, что председателя сельсовета не надо было искать. Он с семьей жил при сельсовете, в бревенчатой пристройке, и вышел при первом же стуке.

— Чего на мокроте-то толковать? Пойдемте под крышу,— пригласил он.

Два стола по разным углам, облезлый шкаф, широкий, как печь, телефон на стене в окружении старых плакатов о яровизации, крепко затоптанный за день пол и казенный запах чернил... Но Василию на минуту эта комната показалась уютной — тепло, сухо, можно бы опуститься на стул, всласть посидеть, расправив ноющие ноги. На минуту он почувствовал страшную усталость, но сразу же забыл ее.

Председатель сельсовета, долговязый, узкогрудый человек, с крупной, никнувшей к полу головой, в седой небритости на впавшей щеке зацепилась белая пушинка (верно, уже успел приложиться к подушке), серьезно выслушал, вздохнул:

— Эко ведь оказия какая... Прямо беда с нашими дорогами, прямо беда... Только чего вы от меня хотите, никак не пойму?

Лейтенанта, минут пять до этого сердито и крикливо объяснявшего, передернуло:

— Трактор помогите вырвать у этого остолопа! Трактор! Не на закорках же тащить больного!

— У Николая Егоровича... Эко! Да ведь я же ему не указчик. Он району подчиняется. Станет ли меня слушать...

— Вы здесь представитель Советской власти. Пойдемте вместе с нами, скажите как официальное лицо: именем Советской власти требую спасти человека! Спаси!

— Эх, дорогие товарищи,— председатель скорбно покачал головой.— Ну, скажу, а он мне: в районе тоже, мол, Советская власть, и покрупнее тебя, сельсоветский фитиль, потому не чади тут, коль есть указание из райисполкома.— В нижней рубаше навывпуск, сквозь расстегнутый ворот видна костлявая, обтянутая серой кожей грудь, всклокоченная голова опущена: вся долговязая фигура председателя выражала сейчас покорную безнадежность.

— Ежели б лошадь... Я бы мигом сбегал...

- На кой черт нам лошадь! Это и сами достанем. Трак-

тор нужен. Ты обязан помочь больному. Вот и доставай, не отвиливай.

— Вы ж взрослые люди. Не турецким языком объясняю: Николай Егорович здесь сила, мы все у него где-то пониже коленок путаемся. Только район указание ему дать может. Ежели б лошадь, это я разом... Над председателями колхозов и я пачальство.

— Неужели здесь нет управы на Княжева? — в голосе лейтенанта зазвенело отчаянье.

— Вот если б Куманьков...

— Куманьков?.. Кто такой Куманьков?

— Да зональный секретарь райкома...

— Ах да, ведь и зональный секретарь есть... Сколько начальства кругом, а никого не раскачаешь! — Лейтенант оживился. — Где этот, как его... Куманьков?

— То-то и оно, — с прежним унынием произнес председатель сельсовета. — Куманьков живет в Густом Бору, там у него дом свой, семья, а сюда ездит то на педельку, то дней на пять, ночует в соседней комнате, в кабинете моем. Там диванчик, так на этом диванчике и спит... Все на клопов жалуется...

Василий, подчинившийся энергии лейтенанта, молча переживал за его спиной, но сейчас он вдруг оттолкнул товарища, шагнул на председателя:

— Человека-то надо спасти или нет? — закричал он придушенным, стонущим голосом. — Вы все здесь бревна или люди? По-вашему, пусть сдыхает!

И этот стонущий голос, землистое от усталости; зведенное судорогой лицо, протянутые в темных ссадинах руки подействовали на председателя сельсовета больше, чем выкрики и угрозы лейтенанта. Без того покатые, узкие плечи опустились еще ниже, длинные, нескладные, с нечесаной головой, он как-то обмяк, на небритом лице, как в зеркале, отразилась точно такая же гримаса боли и отчаяния, какая была у Василия.

— Милые вы мои, — заговорил он проникновенно, крупной костлявой рукой пытаясь поймать пуговицу на распахнутом вороте рубахи. — Милые мои, да я бы разом в колхоз слетал... Сапоги натяну да плащ на плечи наброшу — минутное дело. Тут рядом председатель-то колхоза живет. И на лошади парня выручим. Ребят крепких подберем, где нужно — на руках понесем. Сам до Густого Бора провожу... А с Княжевым мне толковать — лишнюю муть разводить. Бог с ним. Мне через голову Николая Егорови-

ча трактор не достать, не под силу... На лошади да-
вайте...

У Василия ослабли ноги. Под сердцем у него что-то на-
тягивалось, натягивалось и теперь лопнуло. Исчезло жела-
ние просить, умолять, доказывать.

— Пошли, лейтенант. Чего уж...— сказал он невнятно,
словно поворачивая языком камень во рту.

Но лейтенант обеими руками вцепился в плечи пред-
седателя, маленький, напряженно вытянувшийся, глядя
снизу вверх бешеными глазами, стал трясти:

— Нет, ты не за лошадью пойдешь. Ты пойдешь вместе
с нами к участковому милиционеру. Пусть он силой вы-
рвет трактор у Княжева. Слышишь ты, хоть оружием, да
спасет человека!

Председатель, покорно качая головой от лейтенантовых
трясков, лишь устало обронил:

— Дураки вы, ребята...

Разбрызгивая лужи, оступаясь в грязь, они снова бро-
сились бежать по ночному селу. А вслед им с крыльца
сельсовета долго маячила белая рубаша председателя. Ко-
гда Василий обернулся, что-то виноватое, тоскливое и в то
же время укоряющее почудилось ему в этом смутно белею-
щем пятне. Лейтенант решил сам поднять на ноги участко-
вого милиционера.

— Разве законно оставлять на смерть человека? Не-
законно!.. Так будь другом, прикажи, раз ты блюститель
законов. Под дулом пистолета прикажи, коли словом не
прошибешь дубовую башку...— разговаривал он на бегу.—
Который же это дом?.. Третий пробежали, четвертый... Вот
этот, кажется... Стучи, не жалея кулаков... Ишь ведь, все
спать поукладывались!

На стук четырех кулаков долго не было ответа. Нако-
пец за дверью с грохотом что-то упало; послышалась сер-
дитая ругань, вслед за ней сильный голос спросил:

— Кто шумит? Чего надо?

— Участковый здесь живет?.. Человек при смерти, спа-
сайте!..

— Так.

Это «так» было похоже на смачный удар топора в мя-
систое дерево, в нем чувствовалось не удивление и не
огорчение, а решительная готовность спасти, действовать.
Щелкнула задвижка, распахнулась дверь, кто-то большой,
неуклюжий шагнул в темноту, снова что-то уронил на пу-
ти, объявил:

— Обмундируюсь вмиг. Законный порядочек на себя наведу... А вы зайдите, что ли...

Пока, натываясь в темноте на кадушки, на грабли, влезая руками в развешанные по стене сети, лейтенант и Василий пробрались через сенцы, шагнули в освещенную комнату, участковый был уже облачен в свой милицкий китель и фуражку, нагнувшись, с налитой кровью могучей шеей, искал под лавкой сапоги.

— Куда их девала глупая баба?.. Дуся! Эй! Ты сапоги куда поставила?

— Да в сенцах сохнут. Вымыла. Изгваздал так, что в руки не возьмешь,— раздался из-за перегородки сонный женский голос.

— Встань-ко да принеси. А то у тебя в сенцах сам сатана вывеску своротит... Я вас слушаю, товарищи: что, где, какое происшествие — по порядку.

В распахнутом кителе, в фуражке, лихо съехавшей на одно ухо, крепко поставив на полovice босые ноги с болтающимися завязками галифе, сам рослый, красный, на зависть здоровый, участковый начальнически оглядел простоволосого, растерзанного лейтенанта, на Василия же не обратил внимания.

— Вот у него сорвалась под откос машина...— вновь принялся горячо объяснять лейтенант.

Сонная, недовольная, жидкие сухие волосы рассыпаны по плечам, не взглянув на незваных гостей, прошла через комнату жена участкового.

—...Закон не может допустить, чтоб человек умер без врачебной помощи. Вы должны потребовать от Княжева трактор. Приказать ему...

— Так! — обрубил участковый горячую речь лейтенанта. — Объясняю пункт за пунктом. Требовать трактор прав мне не дано. Ежели бы капитан Пичугин, начальник густоборовского отделения милиции, нарисовал распоряжение: так и так, товарищу Копылову, мне то есть, вменяется в обязанность конфисковать на эппное количество времени трактор, я бы...

— Пошли, лейтенант,— сердито произнес Василий.

— Без письменного распоряжения мои действия будут незаконными. Так!

— Пошли,— согласился лейтенант.

— Нет, обождите! Тут надо еще разобраться, раскрыть виновного. Я обязан задержать шофера, сесть и спокойно, пункт за пунктом, нарисовать протокол...

Василий застыл в дверях, а лейтенант круто обернулся, тихо и внятно произнес:

— Нарисовать бы на твоей сытой физиономии... Протокол важен, а не человек... Пошли!

Растерзанный ли вид лейтенанта, его ли глухое бешенство или же просто отсутствие сапог на ногах участкового милиционера, но так или иначе тот не остановил ни лейтенанта, ни Василия, не стал их преследовать.

По-прежнему сырая ночь висела над селом. Как прежде, кое-где прокалывали тьму тепленькие огоньки, только заметно стало их меньше. Как прежде, на бугре светились фонари МТС. Василий и лейтенант топтались посреди грязной улицы: куда идти, кому пожаловаться — не придумалось.

Вдруг словно какая-то громадная ладошка бесшумно накрыла село. Без того густая темнота стала вязкой до удушья. И фонари в МТС, и редкие желтенькие огоньки в окнах домов — все, все до единого разом потухли. За тридцать километров отсюда районная ГЭС в Густом Бору кончила свою работу до следующего вечера. Это значит, во всем селе, кроме фельдшерского пункта да, верно, еще телефонисток на почте, нет ни одного человека, который бы не лег спать. Кто-то мирно похрапывает, кто-то пускает в подушку сладкую слюну, кто-то, быть может, ворочается, перебирает озабоченно в уме: не скошен лужок за домом, свалилась изгородь...

Как можно?! Такой же, как все лежащие сейчас в теплых постелях, человек, быть может, не увидит завтрашнего дня! Нельзя допустить этого! Нельзя не помочь!.. А все спят...

Высоко над грязной улицей пробежал ветерок, шевельнул оторванным железным листом на крыше, смолк... Тишина и темень без просвета, без единой светленькой точки. Мертво кругом...

Василий и лейтенант, не сказав ни слова друг другу, сорвались с места и побежали.

Больной ждал, больной с минуты на минуту мог умереть. Надо спасти! Надо что-то сделать! И скорей, только скорей!

10

Фельдшерица сообщила, что хирург выехал навстречу в райисполкомовском «газике», но не ручается, что доберется до места, наказал — любыми средствами вывозить раненого навстречу.

Раненый лежал на скамье боком, поджав ноги, часто мигая, глядел в угол. Лицо его сильно осунулось, крупные скулы выдались вперед, обметанные губы были плотно сжаты. Он не стонал. Рядом с ним сидели жена лейтенанта и заготовитель, что-то утешающе рассказывавший:

—...Шибко кричал, метался, память терял. А теперь Игнат Ануфриевич как новенький полтинничек, десятником на сплаве работает. Такие бревна ворочает — глядеть страшно.

Сообщение, что директор Княжев не дал трактора, не возмутило заготовителя. Он лишь повторил с безнадежной покорностью:

— Я его знаю. Уж он такой... Аккуратный мужик...

В сенях, собравшись возле покойно горящей на скамье лампы, снова стали вполголоса советоваться.

— Лучше бы уж ехал хирург на подводе, хоть медленно, но верно, — произнес Василий. — А так — застрянет. В райисполкоме шофером Пашка Кривцов, десять лет в городе по асфальту гонял, привык, чтоб дорожка для него была, как скатерка. Не зря же Зундышев на верховой лошади по колхозам скачет.

— Что об этом говорить, — вздохнула фельдшерица. — Уж выехали, не позвонишь теперь, не посоветуешь... Может, еще раз попробовать уговорить Княжева.

— Таких Княжевых не уговаривать нужно! Я бы его, подлеца, под конвоем к прокурору! — вскипел лейтенант.

— Мертвое дело. Не прошибешь. Давайте думать, как самим вывезти.

— Что думать? — Фельдшерица безнадежно уставилась на язычок лампы. — На машине нельзя... Да и за машиной-то к тому же Княжеву иди кланяйся. Один выход: попробуем на лошади. Боюсь я этого — растрясет. Мука мученическая для человека.

Решили взять больного на подводе.

Сонный, суровым баском покашливающий дядя Данила (как его называла фельдшерица), без шапки, в пальто, из-под которого выглядывали белые подштанники, тонущие в голенищах резиновых сапог, вывел брюхастую лошаденку, запряг в телегу. Набросали сена, укрыли сено холстинным половичком. Фельдшерица принесла из своей комнаты две подушки. С помощью дяди Данилы вынесли на брезенте парня. Когда укладывали, больной стонал, скрежетал зубами.

— Потерпи, дорогой, будь умницей. Потерпи,— уговаривала его фельдшерица, укрывая одеялом.— Вот видишь, славно тебя пристроили. Тепло будет.

— Одеться мне, Константиновна? Помочь везти-то?— спросил дядя Данила.

— Не надо. Иди спать. Со мной воп шофер поедет. Да и лейтенант с женой собираются проводить,— ответила девушка.

Заготовитель, вновь облаченный в свой обширный, стоящий коробом плащ, прощался.

— Ты, парень, не бойся. В случае чего, судить будут, мы за тебя слово скажем,— утешал он Василия.— А вы, гражданин военный, как свои вещички отыщете, возвращайтесь сюда и стучитесь, по этому порядку пятый дом. Там у меня сноха живет. Переночуете. Ну, счастливо вам довести человека. Счастливо...

Василий взял в руки вожжи. Жена лейтенанта и фельдшерица с минуту поспорили, кому ехать в ногах у больного, уступали друг другу это право. Тронулись... При первом же толчке парень застонал...

Кое-как дотянули только до маленькой деревеньки Башьяновки, лежащей на дороге в четырех километрах от села. Василий обессилел от криков раненого. Парень умолял хриплым голосом:

— Остановитесь! Все одно мне помирать!.. Остановитесь!.. Прошу!.. Умру, так в покое! Ой, мочи нет! Ой, стойте же!

В Башьяновке привернули к первому же дому. Василий утер рукавом лицо:

— Сил нет больше слушать.

Женщины, всю дорогу утешавшие, теперь подавленно молчали. Лейтенант подошел к жене:

— Наташа, жди меня здесь. Я пойду.

— Куда?

— Обратно в село. Я этого подлеца вытащу! Я вырву у него трактор. Если не даст, в каждый дом стучать буду. Весь народ на ноги подниму. Бунт устрою! Вырву трактор!

Он бросился в темноту.

— Я с ним пойду,— рванулся Василий.

— Нет-нет, случись что — мы одни,— остановила фельдшерица.— Он добьется...— Помолчав, спросила жену лейтенанта: — Давно вы замужем?

— Третьего дня расписались.

— Счастливая...

Жена лейтенанта промолчала. Василий не увидел, но почувствовал, как она боязливо покосилась на него — не возразит ли. А Василию почему-то припомнилась Груня Быстряк, библиотекарьша в селе Заустьянском: крупное белое лицо, брови чуть-чуть намечены, если глядеть сбоку, золотятся, только коротенькие ресницы темные. Другие ребята говорят: ничего особенного, а ему нравится. Умная... И то, у реки жить да не знать, как плавать, — среди книг сидит. От этого воспоминания тоска сжала сердце: арестуют, судить будут. И так-то он ей не пара: шофер, семилетку не кончил, одна наука — крути баранку. Теперь и вовсе отвернется — какой девке охота ждать осужденного. Мечтал тайком о жене, о своем доме, надеялся, жил, как умел, — и вот сегодня все к черту, жизнь колесом, перекалчило ее. Не смей мечтать, не смей надеяться. Тяжело и жутко заглядывать в завтрашний день.

Девушка-фельдшерица, привалившись грудью к грядке телеги, говорила задумчиво:

— Да, счастливая... Все девчата знакомые скрывают, что им замуж охота. А зачем скрывать? Найти хорошего человека и прожить с ним спокойно, без ссор, умно — это разве не счастье? А кто от счастья отказывается?

— Вы не замужем? — спросила жена лейтенанта.

— Нет.

— Значит, найдете человека.

— Где мне! Я некрасивая, я конопатая и скучная, наверное. Присватывается ко мне тракторист Пашка Мигушин, так это находка небольшая: слова без чего-нибудь пакостного не скажет, да и выпивает частенько. Как заявится, гоню от себя... Ой, да вы устали, еле на ногах стоите! Пойдемте в избу, я провожу. Идемте, идемте, что зря торчать в этой сырости.

Женщины ушли. Василий остался один.

Только сейчас он заметил, что погода разгуливается: упрямо дует ровный, папористый ветерок — от него холодно во влажной одежде; тучи на небе прорвались, сквозь прорывы видны крупные, водянисто расплывшиеся звезды. На окраине деревеньки — глухая тишина, ни скрипа, ни шороха, только, когда с напряжением вслушиваешься, со всех сторон доносятся непонятные звуки — тяжелые ли капли падают с крыш, лопаются ли пузыри на лужах, расползается ли земля от обилия воды?.. Василий, закинув

голову, смотрел на звезды, слушал эти звуки всеобъемлющей сырости и думал о чем-то большом, неясном, о таком, которое никак бы не смог рассказать словами.

Много пассажиров перевез Василий на своей машине от Густого Бора до станции и обратно. Для чего он их возил? Чтоб вышибить деньгу. Считал — так и должно быть. Сейчас хотелось сделать что-то большое, чем-то хорошим удивить людей. Что сделать? Как удивить? Он не знал. Было лишь желание непонятное, незнакомое, тревожащее.

— Друг... — слабо позвал раненый, и Василий вздрогнул. — Должно, каюк мне.

— Ты брось дурить. Вот сейчас трактор придет. Лейтенант побежал доставать. Парень пробивной — достанет.

— Нутро разрывает...

— А ты лежи, не шевелись... Думай о чем-нибудь. Старайся забыть о болезни, думай, легче переносить-то... Эх, как это ты не сумел? Старухи выскочили, а ты сплеховал.

— Там борт был проволокой прикручен... Голенищем зацепил... Замешкался...

— За проволоку? Эх!

Разговаривал с Княжевым, помогал запрягать лошадь, вез по разбитой дороге кричащего раненого — все это время ни на минуту не покидало Василия лихорадочное беспокойство: скорей, только скорей! Оставшись один, глядя на размытые звезды, на расплывшиеся в ночной тьме деревья, он забылся, успокоился... Сейчас же, наклонившись над парнем, всматриваясь в темное лицо на белой подушке, улавливая сухой, болезненный блеск его глаз, Василий почувствовал, как с новой силой заматалась в тревоге изболелая душа: «Ждем! Стоим! Время идет!.. Где же трактор? Эх, этот Княжев! Будь он проклят!»

Лошадь, дремавшая в оглоблях, потянулась вперед, лениво захрупала сеном. Тихо кругом, спят люди. Нет другого выхода, как только ждать, ждать, ждать! А ждать тяжело! Ждать невыносимо!

Где-то по знакомой Василию дороге едет теперь человек, он могущественный, он сильный, он один, только он может помочь этому парню. Вместе с болью за свою беспомощность появилась благоговейная зависть к тому неизвестному, наделенному дерзким умом человеку. Он может отогнать смерть! Вот бы стать таким, жизни бы своей не жалел, покоя не знал, ходил бы от больного к больному, приносил здоровье. Недоступное, великое счастье! Из до-

му вышла фельдшерица, приблизилась к телеге, спросила пригибаясь:

— Как наш больной?

— Мучается.

— Трактора что-то долго нет.

Василий застыл на секунду, с напряжением вслушался — а вдруг да как раз в эту минуту донесется стук мотора. Но лишь лошадь шелестела сеном да воздух был заполнен таинственными звуками залитой дождями земли. Василий ответил:

— Будет трактор.

— Конечно, будет.

От девушки, побывшей в избе, шел какой-то теплый, чуть кисловатый домашний запах. Платок ее сбился на затылок, открыл густые волосы, черты лица расплылись в темноте. Она, невысокая, чем-то уютная, успокаивающая, и своим видом и ровным голосом стала близка Василию: желання у них одни, боль одинаковая, понимают друг друга с полуслова, даже удивительно, что всего каких-нибудь четыре часа назад они не были знакомы.

— Вы много спасли больных?

Девушка подумала и ответила:

— Да ни одного.

— Как это? — тайком обиделся Василий.

— Ко мне все с пустяками приходят: гриппом заболеют или же бабка Казачиха с ревматизмом своим заглянет. Выпишешь рецепт на порошки, на бутылку скипидара — какая уж тут спасительница.

— Ну, а хирург?..

— Виктор-то Иванович? Он многих спас. Знаете такого Леснякова Федора Ефимовича? На сыпном пункте работает. Умирал от язвы желудка... Что это?.. — Девушка замолчала, прислушалась.

Но все было по-прежнему, лишь от слабого ветерка тронулись шелестом деревья и стихли.

Тянулось время. На небе стали отчетливо заметны рваные облака, на грязной дороге можно было различить рваные вмятины, комковатые выступы, а на стенах избы — каждое бревно: светлело...

Василий первый уловил еле слышный стук мотора.

Подошел трактор, и сразу стало шумно на окраине маленькой спящей деревеньки. Сильный свет фар уходил в глубину пустынной улицы, стучал бодро и решительно мотор. С тяжелых и широких, как железнодорожная плат-

форма, саней соскочили два человека — лейтенант и какой-то незнакомый, узкоплечий, гибкий, чернявый, в коротеньком городском плаще.

— Наделали шуму! Я, брат, разузнал, где секретарь парторганизации живет. Я всех энтээсовских коммунистов поднял. То-то Княжев будет чесаться! Раньше бы нам побегать, — лейтенант говорил возбужденно, не без хвастовства. Он потащил Василия к чернявому. — Спасибо ему скажи. Иван Афанасьевич мне помог...

Но Иван Афанасьевич подошел к телеге, заглянул к больному:

— Жив?.. Э-э, да что это он? Бормочет что-то...

Фельдшерица подошла, пригнулась, сообщила:

— Бредить начал. Надо ехать скорей.

С трактора слез знакомый уже Василию рыжеусый бригадир, закуривая, обронил:

— Хорошо, что жив еще. А то пока с Княжевым кашу сваришь...

— Где Наташа? — спросил лейтенант, оглядываясь.

— В избе она. Спит. Устала.

— Вы поезжайте. Я подожду здесь, пока она не проснется. Лошадь-то оставьте, мы чемоданы свои привезем в село. Старушку эту с корзиной встретил, в деревню, говорит, чемоданы снесли. Как ее, Ольховка, что ли?..

Василий хотел проститься с лейтенантом, поблагодарить его, но тот поспешил к избе. Так и исчез этот человек, даже не бросив обычное «до свидания».

Выгребли из-под больного сено, разостлали на платформе саней. Больной не очнулся, бормотал в бреду:

— Ребята, заходи с мережей... Под берег, под берег заводи...

Василий и девушка уселись в ногах у больного. Чернявый Иван Афанасьевич сделал последние наставления рыжеусому:

— Никита, как довезешь, не задерживайся там. Сразу обратно. Слышь? И осторожно, смотри, не бревна везешь. Трогай... Ну, ребята, счастливого вам пути!

Трактор осторожно сдвинул сани. Они, громоздкие, тяжелые, мягко заскользили бревенчатыми полозьями по покатливой, как масло, дорожной грязи.

Чем больше светлело, тем становилось понятней, что на землю навалился густой туман. Сначала этот туман казался серым, каким-то пемытым.

Трактор уперся радиатором в глухую мутную стену, казалось стоял, не подвигаясь вперед, и только гусеницы его сосредоточенно пережевывали грязную дорогу.

Скоро мертвенная мгла стала оживать. Медленно, робко сбоку от дороги начал просачиваться пятнами тусклый лиловый свет. Он ширился, расплывался, смывал бесцветную муть. И вот торжественный сияющий океан окружил трясущийся от напряжения трактор и неуклюжие сани. Где-то, невидимое, взошло солнце, жидким светом растворилось в тумане.

Земля, в течение многих дней прозябавшая в дождях и склякоти, с облегчением освобождалась от влаги. С восходом солнца туман, казалось, стал еще плотней.

Трактор трудился. Сани скользили, лишь кое-где мягко оседая то на один, то на другой бок. Дорога, вчера хитрый, опасный враг, дорога, изматывающая силы, теперь покорила. Ни капризных колдобин, ни коварных ловушек. Гусеницы трактора с равнодушной методичностью заведенной машины кромсали эту смирившуюся дорогу, направляли ее под тяжелые бревенчатые полозья, те утюжили, приглаживали...

А Василий казнился. Он не мог глядеть на облепленные крутой грязью гусеницы, ему казалось, что трактор еле-еле ползет, что рыжеусый бригадир, сидящий за рычагами, преступно осторожничаает. Пытка сидеть над больным и видеть ленивое движение гусениц! Василий не выдержал, соскочил с саней, догнал трактор, крикнул:

— Ты, дорогой, поднажал бы! А то ползем, как вошь по бороде.

— Раньше падо было спешить. Не докричал на Княжева, так теперь молчи,— сердито огрызнулся бригадир.— Это тебе не «скорая помощь».

Трактор не пошел быстрее, гусеницы с прежней медлительностью пережевывали грязь. Василий старался не глядеть на них.

Раненый с минуты на минуту чувствовал себя все хуже. Он метался, дико вскрикивал, и эти вскрики, едва отлетев от саней, как в вате, глохли в тумане. Фельдшерница попросила на минутку остановить трактор, суетливо порыв-

шись в чемоданчике, достала несколько флакончиков и шприц, с помощью робеющего от своей неуклюжести Василия сделала укол.

Больной на время успокоился. Он лежал на боку, подтянув к животу колени, закрыв глаза. На скулах двумя круглыми пятнами пунцовел румянец.

Василий и фельдшерица сидели рядышком, не говорили ни о чем, лишь изредка обменивались взглядами, вместе устало вздыхали. Теперь, с рассветом, девушка казалась Василию повой, не такой знакомой. Темные, с рыжим отливом волосы упрямой волной выбились из-под платка, расплывчатые, бесхитростные черты лица и широкий, мягкий нос нельзя представить без густых веснушек. Некоторые из веснушек, казалось, даже попали на губы, по-детски вытянутые вперед, яркие. В платке, в мужском плаще с подвернутыми вверх клетчатой подкладкой рукавами, она, нахохленная, задумчивая, бледная от усталости, покачивалась на мягких толчках. Василий же испытывал к ней благодарность за то, что она беспокоится о больном, за то, что она больше его понимает в болезни, просто за то, что сидит рядом.

Раненый пошевелился, застонал, откинув в сторону руку. Она упала на разостланный на грязных досках половичок — широкая, костистая, в узловатых суставах, похудевшая, какая-то старческая. На лбу, под всклокоченным сухим соломенным чубом снова обильно выступил пот.

— Плохо наше дело, — произнесла девушка. — Даже укол не помог... Не довезем.

Василий глядел на больного и думал о том, что этот совсем незнакомый парень дорог ему сейчас, как брат, даже больше брата. Он самый близкий человек. Какая бы удача ни случилась — пусть простили бы разбитую машину, не передали бы в суд, оставили на прежней работе, — все равно не будет радости, если умрет этот парень. Не должен он умереть! Не должен! Если б Княжев сразу дал трактор, давно были бы в Густом Бору, парень лежал бы на операционном столе... Будь проклят этот Княжев, взваливший на него, Василия, нескончаемую, страшную пытку!

Раненый вдруг резко вытянулся, оскалился, с силой втиснув в подушки голову, изогнулся, вцепился руками в живот.

— Милый! Милый! Да что с тобой?.. Ляг спокойно, ляг... — засуетилась испуганно девушка.

Василий с отчаянной беспомощностью зашевелился.

— О-о-о! — выдохнул больной и обмяк.

Лицо его, посиневшее во время порыва, стало медленно заливаться зеленоватой бледностью. Сведенные на животе руки ослабли, стали сползать, пока не уперлись локтями в подстилку. Голова свалилась набок, из-под белесых ресниц водянистым голубым прищуром уставились мимо Василия глаза.

Фельдшерица, сама мертвенно-бледная, первно заворачивая сползавший рукав плаща, схватила вялую, податливую руку парня, стала нащупывать пульс. В эти минуты ее веснушчатое лицо, направленное куда-то в затянутое туманом пространство, было решительным, строгим, почти красивым. Василий затаил дыхание, ждал...

Трактор, однообразно стуча мотором, вертел густо облепленными грязью гусеницами. Железный трос от трактора к саням мелко дрожал от напряжения. Мимо прозрачными тенями ползли закрытые туманом кусты и деревья.

Девушка бережно опустила руку больного.

— Как? — тихо спросил Василий.

— Плохо дело. Не довезем.

Больше больной не стонал. Ему уложили голову на подушку, подоткнули с боков сено. Неподвижный, с выставленным вверх квадратным подбородком, он глядел в обложивший землю туман загадочно прищуренными глазами. Он пока дышал...

В туманном море, залившем землю, исчезло всякое понятие о расстоянии и о времени. Даже километровые столбы проходили мимо, где-то стороной, не останавливая внимания.

Василий потом не мог вспомнить — долго ли они так ехали. Его внимание привлекла рука парня, вцепившаяся в половичок. В скрюченных пальцах, сжавших толстый, потертый холст, было что-то каменное, суставы на пальцах побелели, на коже с тыльной стороны ощущалась неживая восковая желтизна.

Василий тронул фельдшерицу за плечо, указал глазами на руку. Она подсела к раненому, положила на грудь голову, на минутку застыла, словно задремала на груди парня, разогнулась, оттянула ему веки, тихо, тихо сообщила:

— Все.

Остановили трактор. К саням подошел рыжеусый бригадир, мельком покосился на умершего, осторожно поправил ему откинувшийся борт пиджака, произнес:

— Так... Не довезли...

Василий стоял у саней, тупо разглядывал парня. У того под сухим чубом, на окостеневшем лбу еще видны были капельки пота, как роса на камне. Фельдшерица сидела на своем обычном месте, беспомощно сложив на коленях руки, вскидывая и сразу же опуская жалостливые, горестные глаза.

— Что теперь делать? Везти-то к хирургу вроде уж не зачем? — спросил бригадир.

— На вскрытие надо... Поехали... — слабо произнесла девушка.

Бригадир послушно направился к трактору.

Туман медленно рассеивался. Из него выползли кусты, уселись на обочине дороги. Солнце висело красноватым кругом. На лице и руках чувствовалось тепло его лучей. Неожиданно трактор снова остановился. Впереди показалась высокая фигура, осторожно ступая по скользкой грязи, стала приближаться.

— Виктор Иванович! — слабо воскликнула фельдшерица. — Пешком идет...

В шляпе, сбитой на затылок, с маленьким чемоданчиком, в засученных брюках, — на палке, переброшенной через плечо, болтаются туфли, — оскальзываясь босыми ногами, подошел хирург, снял шляпу, вытер платком лоб, лысеющую голову.

— Опоздал? — спросил он, кидая взгляд на тело, лежащее посреди саней. — Долго же вы... У меня машина застряла сразу же за городом. Пешком-то быстро не прискачешь. Дайте-ка руку, молодой человек, Так!..

С помощью Василия хирург влез на сапи. В шляпе, узоколицый, с костистыми скулами, умной, ехидной складкой тонкого рта, этот высокий, нескладный интеллигентный человек выглядел сейчас странно со своими босыми ногами, до белых немощных икр заляпанными грязью.

Сдвинув на затылок шляпу, он приподнял на животе умершего рубашку, внимательно оглядел, ощупал рукой. А парень, задрав вверх упрямый подбородок, казалось, сосредоточенно прислушивается к тому, что делает с ним доктор.

— Камфару впрыскивали? Сколько? — бросал отрывистые вопросы девушке.

Наконец он сел, махнул рукой трактористу: поезжай.

Трактор снова начал свою несложную работу — бесконечной грязной лентой потекли вверх гусеницы, задрожал трос...

— Доктор,— хрипло обратился Василий,— если бы раньше привезти, вы бы спасли его?

— Возможно,— ответил тот.— Вполне возможно. Что-то медленно вы, друзья, собирались. Преступно медленно! Надо было не забывать, что на нашей совести лежала человеческая жизнь. Э-э, да что с вами, молодой человек? Это еще что за фокусы?..

Судорога прошла по лицу Василия. И угрыzenia совести, и жалость, и бессонная ночь, нервное напряжение, и усталость — все вместе лишило сил. По обветренным щекам потекли слезы, редкие, крупные, мучительные — слезы человека, не привыкшего плакать.

— Боже мой, да что это вы? Успокойтесь... Вам прилечь надо.— Девушка забрала грубую руку Василия в свои мягкие, теплые ладони, сама глядела блестящими от сдерживаемых слез глазами.— Он измучился, Виктор Иванович. Все бегал, хлопотал. Тут на такое наткнулись...— И она, переводя взгляд то на Василия, то на хирурга, принялась торопливо, нескладно рассказывать о том, как Княжев отказал дать трактор. Хирург слушал, жесткие складки появились в углах губ.

— Бюрократ! — произнес он, помолчав, и повторил:— До убийцы выросший бюрократ! — Повернувшись к Василию, указывая глазами на мертвого, спросил:— Ваш знакомый?

— Нет.

Василий вытер рукавом куртки глаза и отвернулся, подавив тяжелый вздох.

Туман исчезал. Редкие кустики у дороги, облитые мягким солнечным светом, радостно топорщились зеленой листвой. В них пересвистывались птицы. Ласточки, должно быть, брачная пара, словно родившись из мутновато-голубого неба, появились над головами, сверкнули белыми грудками и умчались, растаяли, оставив о себе лишь воспоминание — два крошечных, упругих комочка, воплощение силы, ловкости, бодрости...

Трактор добросовестно тянул широкие сани по густо замешенной грязи, по лужам.

СУД

1

Через ржавую лесную речонку была переброшена шаткая лава. Собаки, поджав хвосты, осторожно пробирались по жердям. Та, что шла впереди, низкорослая, грязно-желтой масти, останавливалась и тоскливо оглядывалась. Хозяин собак, старый охотник-медвежатник Семен Тетерин, заинтересованно следил за ней.

— Гляди ты, боится, стервоза,— удивленно и задумчиво произнес он.— Это Калинка-то. На-кося!.. Иди, телка комолая, иди! Чего ты?..

— Непривычная обстановка,— сообщил не без глубокомысленности фельдшер Митягин.

— Чего там непривычного! Ну, сорвется — эка беда. Не такие реки переплывала. Хлебала лиха на своем собачьем веку. Дурь нашла...

Третий из охотников лишь молча перевел взгляд с собак на хозяина.

Сняли ружья, бережно приставили к изрытому стволу матерой березы, опустились на прогретую за день траву. Собаки, перебравшиеся через лаву, бодро подбежали, вывалив языки, улеглись возле тяжелых сапог Тетерина.

Собаки, Калинка и Малинка, мать и дочь, совсем не походили друг на друга. Дочь, Малинка, крупнее матери, темнее мастью, выглядела солиднее, старше. До сих пор казалось странным, что медвежатник хвалит только Калинку, тощую, неказистую, с неопрятно торчащими клочьями шерсти на хребте. Но теперь, когда обе собаки легли рядом, стало видно: в разрезе длинной и узкой пасти Калинки, с выброшенным влажным языком, с желтыми клыками и черными

брылами, было что-то безжалостно жестокое, какая-то особая холодная хищность, которая иногда поражает, если внимательно вглядываться в челюсти матерой щуки; узкие, словно кожа туго подтянута к ушам, глаза скользят по лицам охотников с угрюмым безразличием, в них нет и намека на привычную собачью ласковость. Наверное, ни одному постороннему человеку не приходило досужее желание протянуть руку к этой сухой, удлинненной, с зализанным лбом морде и потрепать по-дружески. Неприятный характер, но и незаурядный — поневоле веришь, что такая не отступит перед волком, без оглядки кинется на медведя. Гладкая, ширококостная Малинка по сравнению с матерью — бесхитrostное существо, воплощенное добродушие.

Над небольшой полянкой возвышались две березы. Одна — коряво могучая, заполнившая листвою и ветвями все небо над головами охотников. Вторая — в стороне, под берегом, по пояс в высоких кустах. На объемистом, в полтора обхвата, дуплистом стволе клочьями висит жесткая кора, сучья — словно сведенные судорогой костлявые руки, ни одного листочка на них. Быть может, она мать могучей березы, почтенная прародительница молодой поросли. Десять лет назад ее корни перестали гнать из земли по стволу соки, дающие жизнь, а дерево продолжает упрямо стоять и, мертвое, не падает.

Солнце чуть склонилось к вершинам елового леса. В нагретом воздухе пахло грибами и прелой хвоей. Что-то отяжелевшее, покойное, как дремота после обильного обеда, чувствовалось в природе. Ели бессильно повесили грузные лапы, на раскинувшейся в небе березе не шевелится ни один лист. Только умильное, убаюкивающее воркование упрямого в кустах ивняка тайного перекатца, только комариный писк над головой — немота кругом.

Охотники, лениво развалившиеся прямо на девственной лесной дороге, плотно заросшей мягкой травкой, испытывали смутную, пьянящую свободу. Нет забот, не о чем думать, просто живешь, ловишь лицом лучи солнца, вдыхаешь запах грибов — собрат этим суровым елям, частица нетронутой природы, растворяйся в ней без остатка. Лишь комары досаждают да легко щекочет нервы сознание, что впереди ждет необычное дело — ночная охота на медведя. Недаром же под березой маслянисто поблескивают стволы ружей.

Села, деревни, почипки, поля, луга, выгоны Густоборовского района — все утонуло в лесах. Сквозь леса робко пробираются проселочные дороги, петляют по ним застойные, с темной водой, речонки, в глуши блестят черные зеркала болотистых озер. Хвойный океан захлестнул человеческую жизнь, даже охотники — а их немало в этом краю — чувствуют себя гостями в лесу, не отваживаются далеко отрываться от дорог. Один лишь Семен Тетерин, самый известный среди местных охотников, может сказать, что знает леса: всю жизнь провел в них. По берегам мрачных озер, в глухотам таинственных согр он своими руками поставил рубленные из сосняка избышки. Они так и зовутся по деревням «тетеринки» — Кошелевская тетеринка (стоит на озере Кошеле), Губинская тетеринка (возле Губинского болота), Липовая, Моховая, Прокошинская... В какую бы глушь ни занесло Семена, в трескучие морозы зимних ночей или в проливные осенние дожди, он добирался до ближайшей тетеринки, растапливал каменку, сушился, варил хлёбово, чувствовал себя дома.

Если Семен Тетерин по-своему властвовал над лесами, то лежавший напротив человек рано или поздно должен уничтожить его владычество. Этого человека звали Константин Сергеевич Дудырев.

Всего год назад маленькая деревня Дымки ничем не отличалась от других деревень — Кузьминок, Демьяновок, Паленых Горок. В ней темные бревенчатые избы глядели с берега в кувшиночные заводи реки, в ней была всего одна улочка, проходила одна дорога — грязная во время дождей, пыльная в сухие дни. Как и всюду, в ней горланили петухи по утрам, с закатом солнца возвращались с покотины коровы. Кто мог думать, что эту самую неприметную деревню ждет необычная судьба. Не в Кузьминках и не в Демьяновке решили строить громадный деревообделочный комбинат. Рядом с бревенчатыми избами выросли щитовые дома, закладывались фундаменты для кирпичных пятиэтажных зданий, на кочковатом выгоне экскаваторы, задирая ковши, принялись рыть громадный котлован. Новые и новые партии рабочих прибывали со стороны. Даже застенчивое пазванье Дымки исчезло из обихода, заменилось внушительным — Дымковское строительство.

А начальником этого строительства стал Дудырев — всемогущая личность.

Много лет руководители Густоборовского района мечтали наладить дорогу от районного центра до железнодорожной станции. Пятьдесят километров твердого покрытия, чтоб не ломались машины, чтоб городок Густой Бор осенью не был отрезан от остального мира. Велись подсчеты, посылались запросы, разводили руками — нет, не осилить! А Дудырев едва только приступил к делу, как сразу же проложил не только дорогу, а навел железнодорожную ветку. Об этом и мечтать не смели... Он пустил рейсовые автобусы от Дымковского строительства до Густого Бора, от Густого Бора — до станции. Он встряхнул сонную жизнь районного города, наводнил его новыми людьми. Секретарь райкома и председатель райисполкома держались при Дудыреве почтительно, колхозные председатели, даже самые уважаемые, как Донат Боровиков, постоянно крутились вокруг него, старались услужить — авось перепадут крохи с большого стола, авось разрешит отпустить цементу, гвоздей или листового железа, что у сельхознаба, облейся горячими слезами, не выпросишь.

Дудырев только что развернул дело. Он еще выбросит в глубь лесов «усы» узкоколеек. Он перережет леса просеками. Его комбинат будут обслуживать четыре леспромохоза с десятками новых лесопунктов, разбросанных по тем местам, где теперь лишь стоят одинокие тетеринки. Рычание трелевочных тракторов, визг электропил, гудки моторов распугают медведей. Кончится владычество Семена Тетерина.

Оно кончится, но не сегодня и не завтра. А пока Семен Тетерин и Дудырев, прислонив ружья к стволу березы, бок о бок отдыхают, отмахиваются от комаров.

На людях Семен Тетерин ничем не выделяется — не низкоросл и не тщедушен, но и не настолько могуч, чтобы останавливать внимание. Одна обветренная скула стянута грубым шрамом, отчего правый глаз глядит сквозь суровый прищур. Шрам не от медведя, хотя Семен на своем веку свалил ни много ни мало — сорок три матерых зверя, да еще пестунов и медвежат около двух десятков. Шрам — с войны, осколок немецкой мины задел Семена Тетерина, когда он вместе с другими саперами наводил мост через Десну.

Дудырев похож на рабочего со своего строительства. Выгоревшая кепка натянута на лоб, поношенный, с мятыми лацканами пиджак, суконное галифе, резиновые сапоги. Новенький, хрустящий желтой кожей патронташ он

снял и бросил под березу, к ружьям. Лицо у него крупное, неотесанное, угловатое, истинно рабочее, только маленькие серые, глубоко вдавленные под лоб глаза глядят с покойной, вдумчивой твердостью, напоминая — не так-то прост этот человек.

Третьим был фельдшер Митягин, сосед Семена Тетерина. Он лыс, мешковат, в селе на медпункте в белом халате выглядит даже величавым. Старухи, проходящие из соседних деревень, робеют перед ним, даже за глаза зовут по имени и отчеству, считают его очень ученым. «Куда врачихе-то, что из района приезжает, до нашего Василия Максимовича. Девка и есть девка, нос пудрит да губы красит, поди, одни женихи на уме-то...» Но, кроме старух, Василий Митягин ни у кого уважением не пользовался. Ребятишки по селу в рваных штанах бегают, а сам любит выпить. Добро бы еще пил с умом, а то выпьет да непременно куражится: «Мы-де, практики, за голенище заткнем тех, кто институты-то прошел...» Несерьезный человек.

Митягин давно уже по-соседски упраскивал Семена Тетерина взять его на медвежью охоту, говорил, что в молодости баловался, уверял — не подведет. Семен дал ему свою старенькую одностволку, наказал: «Не вздумай лезть наперед, не на зайца идем. Меня держись, каждое слово лови...»

Сейчас Митягин не обращал внимания ни на тишину, ни на воркование переката, — должно быть, не испытывал радостного чувства свободы, а помнил лишь одно, что сидит в почтенной компании, на физиономии выражал значительность, старался глядеть умно, даже комаров припечатывал на лысине с достоинством.

3

Мало-помалу завязался разговор, благодушный, необязательный, просто потому, что молчать уже надоело. Начали о Калинке...

— У собаки инстинкт, то есть на обычном языке — привычка, — поглядывая краем глаза на Дудырева, внушительно принялся объяснять Митягин. — На лаве испугалась, значит, сказался инстинкт страха. Павловский рефлекс. Так-то...

— Значит, по-твоему, Калинка привыкла пугаться? Эко! — усмехнулся Семен.

— Не просто привычка, а особая, врожденная...

— Ну, мели, Емеля, еще и рожденная. А почему не только наши охотники, но из-под Жмыхова, за семьдесят километров, с поклоном ко мне подъезжают: продай, ради Христа, щенка от Калинки. Они что, урожденный страх торговать хотят? Весь помет от Калинки на отличку — храбрее собак нету.

— Нельзя, брат, судить, так сказать, с высоты собачьей позиции. Я научную базу подвожу...

Но тут заговорил Дудырев, и Митягин почтительно замолчал на полуслове.

— Храбрость... Трусость... Одно слово — как наградной лист, другое — выговор в приказе...

— Именно, — на всякий случай осторожно поддакнул фельдшер.

Дудырев лежал на спине, заложив одну руку под голову, другой нехотя отгонял комаров.

— Помню, во время войны один из наших офицеров-разведчиков говорил: страшен не тот, кто стреляет, а кто поджидает. Который стреляет, мол, понятен — хочет убить, сам боится быть убитым, такой же живой человек, как и ты. А вот затаившийся, поджидающий — неизвестен, непонятен. Непонятное, таинственное — самое страшное. От страха перед непонятным люди и бога выдумали и чертей...

— Именно, — снова поддакнул Митягин.

— Скажи, — Дудырев приподнялся на локте, повернувшись к Семену, — ты вот во всяких переделках бывал, шестьдесят медведей свалил, случалось тебе себя потерять, испугаться до беспамятства?

Семен Тетерин задумался.

— Себя терять не приходилось. Потеряйся — не сидел бы я тут с вами в холодке.

— Не может быть, чтоб ни разу не боялся.

— Бояться-то как не боялся, чай, тоже человек, как и все.

— А ну-ка...

— Да что — ну. Всяко бывало. Ты, Максимыч, должно быть, помнишь, какого я хозяина приволок в то лето, когда Клашку замуж отдавал?

— Как не помнить. Уникальный экземпляр.

— То-то, экземпляр. Развесил бы меня этот экземпляр по всем кустам да елкам. С лабаза бил. А разве уложишь с первого выстрела? В плечо всадил. Слышу — рывкнул, да в лес. Я с дерева да за ним. Пошла

у нас, как водится, веселая игра в пятнашечки. Бежит он, а по всему лесу треск, словно в пожар. Я взмок, ватник бы с плеч скинуть, да времени нет: ремень надо расстегивать, топор за ремнем... Нагоняю в березнячке, всадил заряд из второго ствола, он вздыхается... Видывал я, дружочки мои, зверей, а тут душа зашлась. Березнячок-то молодой-кий, а башка-то у него, ну-ко, выше березок. Я ружье переломил, патрон вставляю, глядь, а патрон-то заклинило, не закрою никак ружье. А он идет, лапы раско-рячил, чтоб пусто было, вот-вот обнимет... Бросил я ружье, топор из-за пояса хвать... Чего там топор, когда я ему чуть повыше пупка макушкой достаю. Изба избою, коло-кольня ходячая опустится сверху — будет вместо меня мок-рая лужа среди кочек. Размахнулся я топором и закричал... Закричишь, коль жизнь дорога. Убью-де, такой-сякой! С матерком на весь лес... И надо же, видать, крепко шум-нул, он шмяк па четвереньки да от меня. А я глазам не верю, каждая косточка дрожит, руки не слушаются, топо-рищем за пояс не попаду...

Семен Тетерин замолчал. На лице, темном, обветренном, со скулой, стянутой шрамом, блуждала невинная ухмылоч-ка. Дудырев и Митягин притихли. Им невольно пред-ставлялась картина: ночной вымерший лес, могильная тиши-на и крик. Этот крик настолько свиреп, что проник в мозг раненого зверя, мозг, затуманенный болью, отчаянием. Ярость против ярости, сильное животное против еще более сильного.

Дудырев оборвал молчание:

— И все-таки убил его?

— А куда ему деться? Возле Помяловского оврага при-жал. Тут уж, шалишь, ружье не забаловало. Домой при-вез, шкуру снял, прибил под самую крышу, так задние-то лапы траву доставали. То-то народ дивился...

— Уникальный экземпляр, что и говорить, — вздохнул Митягин.

В это время со стороны донеслись звуки гармошки. Чьи-то неумелые руки выводили однообразно-бездумное «От-вори да затвори...». И было в этих звуках что-то простое, бесхитростное, родственное лесу, как шум переката в кус-тах.

— Эк, какого-то игруна сюда занесло, — удивился Се-мен. — Из Пожневки, должно.

На опушку вышел парень в сукопном не по погоде черном костюме, отложной воротничок чистой рубахи выпу-

щен наружу, широкие штанины нависают над голенищами сапог, в руках поблескивающая лаком хромка, круглое лицо лоснится от пота.

— Так и есть, из Пожневки, — сообщил Семен. — Бригадира Михайлы сын, трактористом работает... Эй, малый! Куда ты так вырядился? Не с лешачихой ли на болоте свадьбу играть!

Парень, неожиданно налетевший на людей, сначала смутился, потом степенно поправил на плече ремень гармонии.

— Куда? Известно, в Сучковку.

— Чай, там вечерку девки устраивают?

— А чего ж.

— Вот оно, дело-то молодое. От Пожневки до Сучковки, почитай, верст десять, а то и все пятнадцать. С почевой, поди, у зазнобушки?

— Где там с ночевкой, утром к семи на работу надо.

— Лих парень!

Семен Тетерин смотрел с откровенным восхищением, как человек, увидевший свою молодость. Митягин снисходительно ухмылялся. Дудырев не без любопытства разглядывал. Ему этот парень в своем праздничном наряде, так не подходящем к лесу, напоминал чем-то кустарную игрушку, одну из тех комично торжественных, покрытых лаком аляповатых фигурок, которые теперь входят в моду у горожан.

— А мы в ваши края, — сообщил парню Семен.

— Знаю. Отец сказывал.

— Не отпугнули от укладки зверя-то?

— Никто близко не подходил.

— То-то... Шагай, не то, гляди, запозднишься, — мило-стиво отпустил Семен.

— Поспею... Удачи вам.

— И тебе того же.

Парень подтянул повыше ремень хромки и зашагал дальше. Вскоре за лавой раздалось незатейливое «Отвори да затвори...».

Семен Тетерин поднялся с земли...

— Пора и нам. Солнце-то пизко. Как раз ко времени поснеем.

Собаки бодро вскочили на ноги. Охотники разобрали ружья.

Три дня тому назад па дом к Семену заехал Михайло Лысков, бригадир из деревни Пожпевки, и сообщил, что вторую неделю па их покотине погуливает медведь. До сих пор мял овсы, пугал женщин, ходивших на покосы, а прошлой ночью заломал годовалого телка. Часть сожрал, часть припрятал, как водится, забросал дерном и мхом, чтоб, когда мясо попрутхнет, наведаться и всласть полакомиться.

— Заходи в деревню, сам тебя наведу на место, — пообещал бригадир.

— Зачем мне наводчики? Расскажи — смекну. Чай, ваши места знаю, как свой двор.

И бригадир рассказал, что медвежья «укладка» лежит в конце оврага, шагах в двадцати от опушки, что медведя можно встретить и в овсах и в малиннике, который вырос на горелом месте.

— Все друг от дружки рядом — и укладка, и овсы, и малинник. Видать, уходить не собирается. Найдешь без промашки. Убери его — нам покойней и тебе добыча.

— С собаками пойду, — решил Семен.

Летняя охота на медведей обычно ведется тремя способами: с капканами, с лабазов, с собаками.

Охоту с капканами Семен Тетерин презирал: «Эка споровка — зверя свалить, когда он лапу в железе увязил. Капкан-то цепью к бревну приклепал. Поволочит бревно, уместся, подходи вплотную и лупи в упор. Срамота, а не охота...»

С лабазов охотиться труднее. Лабаз — дощатый настил, пристроенный па дереве, растущем возле того места, куда повадился ходить медведь. Охотник еще до захода солнца прячется па лабазе и ждет. Но нельзя никогда рассчитывать, что первый же выстрел уложит зверя наповал. Дашь промах — успеет уйти, ранишь — нужно догонять. А раненый хозяин опасен...

Семен Тетерин считал, что с собаками охотиться проще, чем с лабазов, вернее и не в пример интереснее. При собаках никогда не потеряешь след, они связывают медведя, отвлекают его. Хорошо натасканная собака у медвежатников ценится дороже коровы, а Калинке и вовсе цены не было. Она пользовалась славой едва ли меньшей, чем сам Семен Тетерин.

Семен прикинул, что именно в эту ночь хозяин должен навестить свои запасы. Он уверенно вел охотников, одна-

ко не спешил. Лучше прийти к месту позже (собаки все равно наведут по следу), чем нагрянуть до времени, спугнуть зверя. Ищи тогда вслепую по лесу. Надейся на удачу.

Ночь в лесу, как всегда, ползла снизу, из-под корней деревьев. С застывших облаков еще не слинял закатный румянец, а на дороге едва-едва различилсь собственный сапоги. Густеет тьма, из всех пор истекает земля черноземным жирным мраком. Мертв лес в эти часы, ни птичьего свиста, ни шума ветра — глухая пустыня. Здесь гуляет в одиночестве большой зверь, лохматое, сильное, дикое существо. Он не сказка, не вымысел.

Митягин отставал, спотыкался о корневища, влезал лицом в колючие еловые лапы, вполголоса чертыхался и уже жалел, что напросился на это хлопотливое дело.

Дудырев считал себя бывалым охотником: не только бил зайцев и уток, эту бесхитростную добычу всех, кто знает, с какого конца держать ружье, но в степях участвовал в отстреле сайгаков, на уральских озерах снимал с лету диких гусей, как-то по лицензии с компанией загнал матерого лося. Давно мечтал выйти на медведя, по все не удавалось.

Сейчас он шел, ни на шаг не отставая от Семена, старался перенять легкую и бесшумную поступь медвежатника, но молчаливый лес угнетал и его. Не понять, куда идут, где зверь, как можно на него наткнуться среди этой чащобы, в этой дегтярной тьме. Словно слепец за поводырем, целиком зависишь от чужой воли.

Часто впереди можно было разглядеть собак. Они дожидались Семена и, едва тот подходил к ним, снова растворялись в лесу.

Семен остановился. Дудырев тоже. Митягин налетел на него сзади, по привычке выругался.

— Нишкин, Максимыч! — суровым шепотом приказал Семен. — Ни слова больше.

— Туда ли идем? — чуть слышно посомневался Дудырев.

— Пришли, считай. Теперь слушай собак. Как голос подадут, пу тогда — не отставать.

Семен тронулся вперед. Шагали с осторожностью, на каждый хруст ветки под сапогом медвежатник грозно оглядывался.

Неожиданно мрачный лес раздвинулся, охотники вышли на поле. Светло, тихо, покойно. Поле овса — матовое озеро среди вздыбленных черных берегов. Здесь уже не дикое

царство медведя, а свое, родное, человеческое. Невольно Митягин и Дудырев ощутили бодрость.

А до сих пор скорый на ногу Семен Тетерин вдруг пошел медленно, вскинув высоко голову, расправив плечи, вытянувшись — ни намек на прежнюю сутуловатость. Он напоминал сейчас собаку, подбирающуюся к камышам, в которых засели утки.

Так прошли все поле, снова уперлись в лес — монолитно темный, пугающий. Жидкая падающая изгородь отделяла поле от леса. Семен остановился возле нее; вытянув шею, поводя подбородком из стороны в сторону, стал прислушиваться.

На небе проступили крупные бледные звезды. Далеко-далеко утомленно и печально кричал дергач. От плотной стены густого ельника тянуло сыростью. Медвежатник нервно прислушивался, а кругом — сонная и вялая тишина, один лишь коростель невесело исполнял свою ночную обязанность.

Легкий треск со стороны леса — все обернулись, но за изгородью оказались собаки. Они деловито подбежали к Семену, и тот, не приглушая голоса, с досадой выругался:

— Что за оказия!.. Иль я дурака сваял, иль Михайло чего напутал... Пошли посмотрим, что ли. Есть ли хоть укладка-то?

Семен перемахнул через изгородь и двинулся в глубь леса прежним легким и быстрым шагом. Собаки послушно бросились вперед, исчезли в темноте. Дудырев нагнал Семена, снова спросил:

— Да туда ли попали? Про овраг же говорилось...

— Вот он, овраг, — сердито тряхнул головой Семен. — Лозняком зарос. Тут он кончается, и днем-то сразу не заметишь.

В чаще заворчали собаки. Семен круто свернул, принялся ломиться напрямик сквозь ветви.

— Кыш, пакостницы! Обрадовались! — раздался его голос.

Когда Дудырев и Митягин продрались сквозь чащу. Семен стоял на обочине крохотной прогалинки и задумчиво пошевеливал сапогом землю.

— Цела укладка, — сообщил он.

— Не приходил?..

— Спугнули его...

— Или?..

— Иль зажрался, сукин сын. Время-то не голодное,

тут тебе и малина поспела, и черника, и овсы как раз выколосились. Жри — не хочу. Побаловал и забыл.

— Как же мы теперь найдем его? — спросил Дудырев.

Семен угрюмо промолчал, пошевеливая носком сапога мох. В сыром, пронзительно свежем воздухе тянуло приторной вонью.

— Ишь разит. Самая сласть для него, — повторил Семен.

— Так что — неудача? — допытывался Дудырев.

Медвежатник разогнулся, поправил на плече двустволку.

— Будем по лесу шарить... Чего расселись? Марш отсюда! — прикрикнул он на собак. Уже спокойнее добавил: — Для начала малинник прочешем.

Снова чащоба, снова лезущие в лицо еловые ланы, стволы деревьев, вырастающие на пути, перепутанная корневиками, в ямах и кочках земля, мрачная тишина кругом. Лес сырой, отчужденный, точно такой, каким был полчаса назад, но сейчас он не давил на мозг, не пугал. Нет поблизости зверя, исчезла тайна, пропала душа, осталась одна оболочка. Чувствовалось, что Семен Тетерин спешит из упрямства, с досады. Дудырев и Митягин по привычке подчинялись ему.

Высокий лес перешел в кустарник, стало светлее, но зато на каждом шагу попадались выворотни и залитые водой бочажки. Здесь лет пять назад был пожар, мертвые, обугленные сосны попадали, земля заболотилась, поросла ольхой и кустами малины.

Вдруг Семен так внезапно остановился, что Дудырев ударился о его широкую каменную спину.

В глубине леса раздался лай собак, два голоса: скрипучий, сухой и жесткий — Калинки, бодрый, с подвизгиваниями — Малинки.

— Наткнулись-таки, — вполголоса обронил Семен и, продолжая вслушиваться, медленно потянул с плеча ружье. — На след наткнулись... Ну... не отставай...

Он бросился не на голоса собак, а куда-то в сторону. Дудырев побежал за ним, но сразу же потерял его из виду.

— Где вы? — донесся до него сердитый голос. — Держись меня, так вашу перестак!

Дудырев рванулся на голос, нагнал медвежатника. Хлещущие по лицу ветви, кусты, трухлявые пни, попадающиеся под ноги, — через пять минут стало жарко, кровь застучала в висках, но Дудырев ломился вперед, ловил звук шагов Тетерина, не отставал...

А Митягин сразу же отстал. Он выскочил на довольно широкую тропу, корявую, в каменистых буграх засохшей грязи. По пей бежать было все же легче, чем продираться сквозь чащу. И он побежал, лоя невнятный, как сквозь стену, лай собак. Лай удалялся. Митягин прибавлял скорости, надеясь обогнать Тетерина и Дудырева, которым приходилось бежать лесом.

Но вот ветки снова стали хлестать по лицу, стволы деревьев — задевать за плечи. Митягин влетел в самую чащобу, остановился, переводя дыхание. На весь лес стучало сердце. И вдруг он почувствовал, что стук собственного сердца — единственный звук среди могильной тишины. Собачьего лая не слышно.

Митягин повернул обратно; наткнувшись несколько раз на стволы березок и напоровшись на недружелюбно колючие, мокрые ели, скатился в неглубокий овражек. Разогнулся и понял — заблудился. Тропа растаяла под ногами. Ее, должно быть, протоптал скот, она вела просто в глубь леса и потом исчезла.

Нельзя было увидеть протянутой руки. Вверху безучастно шумел ветер хвойными вершинами. Один среди леса, огромного, как море. Где-то, километрах в пяти-шести, деревенька Пожневка, окруженная полями, но где, в какой стороне? Легче всего его проскочить, а тогда лес, лес и лес на десятки, а то и на сотни километров. Одиноким человек в нем — как сорвавшаяся блесна среди громадного озера: ищи месяцами, не отыщешь.

Шумел ветер хвоей, в просвете между черными вершинами насмешливо подмигивала звезда.

— Се... Се-мен! — крикнул Митягин.

Голос был слабый, плачущий, сырая ночь впитала его. Да разве услышит Семен, когда ломится на собачий лай вслед за медведем, разве можно пробить криком эту вязкую, как смола, темень!

Шумит ветер вверху.

Митягин бросился вслепую, ломая ветви, падая, подымаясь...

Сбоку плотная стена леса прорвалась. Митягин повернул на просвет. А вдруг да он сделал крюк, вдруг да выскочит на то самое поле овса.

Но это была поляна, узкая, стиснутая лесом, заросшая высокой жесткой травой. Посреди нее — редкая кучка слей,

купающаяся в сером, густом, как кисель, тумане. Зловещей заброшенностью веяло от всего. Особенно испугала Митягина высокая трава — покосы кончаются, а здесь кося и не проходила, занесла же нелегкая к черту па кулички!..

И в это время послышался собачий лай. Митягин, не задумываясь, бросился в сторону лая.

Далекие собачьи голоса приближались. Можно было разобрать короткое жесткое тьяканье Калинки. Митягин бежал по мокрой траве, хлеставшей его по коленям. Молодые елочки среди распластанного тумана плясали перед глазами.

Неожиданно одна из темных елей сорвалась с места и кургузым бесформенным комком покатила навстречу. Митягин бежал прямо на нее, но вдруг сообразил, прилип к месту. Да ведь это же медведь! Он совсем забыл о нем!

Медведь отмахивал грузным галопом, вскидывая зад. Митягин стал судорожно срывать с плеча ружье, оступился, упал в траву, замер... Рядом послышались тяжкие удары мягких лап о землю, громкое сопение...

Промчались лающие собаки...

Митягин нащупал в траве ружье, распрямился. Из тумана вынырнула сначала одна фигура, за ней другая. По войлочной шляпе узнал Семена Тетерина, Дудырев бежал за ним шагах в десяти.

Они не обратили внимания на выросшего словно изпод земли Митягина. Тяжело дыша, с шумливой суетой проскочили мимо. Митягин рванулся за ними. Теперь он знал — не отстанет ни на шаг.

6

Проснулась сила предков. Дудырев перестал быть обычным человеком, сам превратился в зверя — злого, жаждущего крови, выносливого. Пот заливал глаза, ветви хлестали по лицу, сучья рвали пиджак, а он бежал, бежал, не чувствуя ни боли, ни тяжести резиновых сапог, перемахивал через кочки, через поваленные стволы деревьев, через пни. Он слышал только собачий лай и еще не видел медведя, но всей кожей ощущал его близость и его обреченность. Не уйти ему от собак, рано или поздно нагонят, а там...

Потные руки сжимают ружье. Впереди Семен Тетерин. Он так сильно подался вперед всем телом, что ждешь —

вот-вот упадет, но не падает. Бег его кажется легким, летящим — никак не нагонишь.

Отставший где-то Митягин вдруг почему-то оказался рядом, побежал, следом, чуть ли не наступая на пятки.

Лай собак превратился в осатанелый визг. Летящий над высокой травой Семен Тетерин споткнулся, распрямился, уже не побежал, а пошел вперед приплясывающей походочкой, неся на весу ружье. Дудырев перевел дыхание, смахнул рукавом пот с лица. Он понял — собаки нагнали медведя, будет встреча. Захлебывающийся от ярости собачий лай доносился с конца поляны, от самой опушки. И хотя глаза совсем привыкли к темноте, Дудырев сначала никак не мог понять, где собаки, где медведь. Он видел лишь какое-то шевеление среди деревьев. Молодая березка, как в сказке, кланялась и подымалась навстречу приближавшемуся с ружьем Семену Тетерину. Но вот Дудырев различил среди травы спины собак и сразу же отчетливо увидел всю картину...

То, что он принял сначала просто за темный провал опушке, был стоящий на задних лапах медведь. Собаки захлебывались, рвались к зверю, но держались-таки на определенном расстоянии. Медведь, ухватив обеими лапами ствол березки, ломал ее, гнул из стороны в сторону, словно гигантским венником отмахивался от собак.

Дудырев не успел добежать до Семена, как тот вскинул ружье, замер, словно заснул на секунду возле приклада... От красного пламени подпрыгнул лес, тугой звук выстрела ударил в уши, отозвался где-то далеко за спиной. И еще отзвук выстрела не стих, а продолжал метаться в конце поляны, как прозвучало болезненно свиреное, короткое, как крик с падающей, рычание медведя. Собаки с раздражающим душу визгом бросились на него и отскочили...

— Ах, чтоб тебя! — с болью крикнул Семен.

Медведь словно провалился под землю. Из лесной чащи доносился одинокий визгливый лай. Полусломанная березка печально качалась в воздухе.

Семен, осторожно ступая, прошел под самую березку, опустил колени в траву, пригнулся. Подбежавший Дудырев разглядел в траве распластанный собачье тело.

— Эх ты, оказия... Надо же, напоролась. Глупая, без споровки... Небось Калинка не подвернется... Все утро, стервец, выпустил. Дурной знак, дурной... Слышь... — Семен повернулся к Дудыреву. — Добей, чтоб не мучилась. У меня рука не подымется.

Он поспешно вскочил на ноги, отступил в сторону.

Дудырев приставил ружье к собачьей голове, увидел, что она доверчиво приподнялась, различил мерцающий в сумерках глаз, невольно зажмурился сам и, поспешно нащупав спусковой крючок, выстрелил из одного ствола.

По мокрой траве расползлся пороховой дым. Семена уже рядом не было. Неподвижно стоял в стороне Митягин. Надломленная и перекрученная березка все еще качалась. В глубь леса удалялся визгливый лай Калинки. Она преследовала по пятам зверя.

Первым сорвался Митягин. Дудырев, не успев перезарядить двустволку, с одним патроном в стволе, бросился догонять. Охота продолжалась.

7

Медведь был ранен и уже не мог оторваться от собаки. Иногда лай прерывался осатанелым визгом, за которым следовало секундное молчание. Затем снова лай с возросшей яростью, силой, упрямством. Это медведь пробовал напасть на собаку. Калинка увертывалась.

Они наткнулись на глубокий овраг и погнали зверя вдоль него. Вдруг сильный визг Калинки возвысился до злобного торжества, потом стал глуше, словно собака провалилась сквозь землю.

— Никак, воврагскатился... — Семен круто остановился. — Так и есть! — Он, повернувшись к Дудыреву, жарко задышал прямо в лицо. — Я вверх оврага проскочу, перехвачу его. А вы здесь спускайтесь. Услышите, что на вас идет, — пугайте издалека. В воздух бейте. Гляди же, издалека. А то в тесноте да в темноте, чего доброго, заломает вас. Ну, марш!

Склоны густо поросли ольхой, снизу тянуло влажной, затхлой прелью, как из погребной ямы, где лежит прошлогодняя картошка. Как ни привыкли глаза к темноте, по в овраге мрак был особый, густой, слежавшийся. Мир исчез — здесь преисподняя. Шуршит под ногами галька, лезут в лицо сухие сучья, прерывисто посапывает за плечом испуганный Митягин.

— Ну и местечко, — шепотом, выдававшим душевный озноб, обронил он. — Могила.

Совсем неожиданно глухой доселе собачий лай провалился, стал явственным. Но в этом задушенном темнотой

и застойной сыростью подземелье не понять — далеко ли, близко ли лает собака.

— Стреляем? — тем же зябким шепотом спросил Митягин.

Дудырев не ответил. Стрелять? А вдруг рано, вдруг да отдаленные выстрелы не испугают зверя, а насторожат, он не бросится опрометью назад, а полезет по склону вверх. Что тогда подумает Семен? Издалека палили, подпустить ближе боялись! Лучше выждать...

Лай слышался отчетливо, и опять не разберешь, приближается ли он. Дудырев сдерживал нервную дрожь: если медведь наскочит внезапно, вряд ли удастся увернуться — сомнет, переломает, он ранен, взбешен.

Дудырев вспомнил — в ружье всего один патрон. Если промахнется, то шабаш — не прикладом же отмахиваться от зверя. Он переломил двустволку, начал слепо на шаривать рукой патроны, но патронташ съехал набок, никак не удавалось расстегнуть клапан.

В эту минуту впереди что-то хрястнуло, обвалилось. Охрипший собачий лай, ворчание — медведь рядом, а ружье переломлено! Задев плечом, чуть не сбив Дудырева с ног, рванулся в сторону Митягина. Ружье переломлено... Хватаюсь рукой за кусты, упираясь в землю коленками, Дудырев полез вверх по склону.

Треск, хриплое, прерывистое дыхание, надрывный — почти плач озлобления и бессилия — лай. Снова треск, злобное рычание, но уже дальше...

Лай Калинки стал глухнуть. Тут только Дудырев понял и чуть не застонал от стыда. Испугался, очистил дорогу, зверь прошел, даже не заметив его.

Двустволка была не закрыта. Дудырев с досадой зашелкнул ее. Много лет мечтал о такой встрече и — на вот. Как глупо! Как нелепо! Позор! Дудырев-морщился в темноте. Семен Тетерин рассвирепел:

— Помощники! В болото отпустили! Теперь намаемся... Лазай средь ляжин! В руках был! Пугнуть только и просил. Эх, бестолочи! Ты!.. — Он налетел на Митягина, виновато трусившего в стороне. — Забыл, что ружье носишь, а не балясину? Стреляй, коль нужно, не то катись домой, не путайся в ногах! А ты, Константин, хвалился — козлиц в степях стрелял. Оно и видно — на козлиц да на поганных зайцев мастак...

Семен ругался, а Дудырев покорно молчал, не пытаясь оправдаться.

Выбежали па окраину болота. Толстые елочки редко торчали из моховых кочек. Были видны лишь самые ближние, остальные скрывала почва. И тем не менее чувствовалось, что такой частокот из худосочных деревьев тянется на километры. Даже почва не могла спрятать унылость болота.

Где-то в глубине этого болота продолжал звучать голос Калинки. Низкорослая, тщедушная собака с бесстрашием до самозабвения, с упрямством до помешательства одна продолжала преследовать могучего озлобленного зверя, который может легким шлепком перебить ее пополам. Плачущий лай Калинки терзал сердце Дудырева.

8

Из болота вырвались, когда ночь начала мутнеть, моховые кочки проступали отчетливее.

Калинка сорвала голос, и вместо яростного лая доносилось взвизгивание, похожее на скрип несмазанного колеса. Грязные, мокрые, выбившиеся из сил охотники заставляли себя бежать. Теперь у каждого из них появилось озлобление против медведя; загонял, измучил, заставил месить трясиину, страдать от стыда — накопилось личное, непримиримое, более серьезное, чем простой охотничий азарт.

Медведь, должно, сам измучился. Он выскочил на дорогу и бросился по ней, чувствуя одно — ему легче бежать, не соображая, что здесь охотники быстрее настигнут его.

А эта дорога вела к берегу лесной речки, к лаве, возле которой всего каких-нибудь пять часов назад охотники отдыхали, беседовали, отмахивались от комаров.

Вот и береза — под ней стояли ружья. Вот покатый склон к речке. Вот окруженное кустами высохшее дерево, в подслеповатых сумерках окостенели в бессильной корче его ветви.

Обеспамятевший медведь паткнулся на лаву — она не выдержит его, вплавь перебраться не успеет: охотники рядом. Зверь поднялся на дыбы и шагнул навстречу охотникам...

В скупо брезжащих сумерках, впереди размашистых кустов и вознесенных над ними сучьев сухостойной березы, расплывчатый, от этого еще более грозный и величественный, какой-то бесплотный, двинулся по склону. Он не рычал, не отмахивался от Калинки, которая наскаками зло хватала за ляжки и отлетала обратно, — но молча шел навстречу смерти.

Три ружья одновременно вскинулись на него. Три человека припали к прикладам...

И тут Семен Тетерин уловил за кустами «отвори да затвори...» — бездумно веселый, глупенький звук гармошки.

— Не стреляй! — крикнул Семен.

По было поздно, два ружья разом грохнули, хрипло завизжала Калинка, бросившаяся под ноги качнувшемуся вперед медведю. Вялый ветерок понес пахнувший затхлостью дым пороха.

Медведь лежал темной тушей. Калинка бесновато прыгала возле него. Глухое эхо выстрелов умирало где-то далеко в лесных чащах. Дудырев и Митягин стояли не шевелясь, держа на весу ружья, все еще сочившиеся дымком. И чего-то не хватало, что-то исчезло из этого скудно освещенного мира.

Заглохло наконец эхо выстрелов, словно подавившись, Калинка оборвала сиплый визг, явственно доносясь говорок переката в кустах... Семен, вытянув шею, с усилием вслушивался — ничего, только умильно воркует перекат.

Семен отбросил ружье, рванулся к лаве.

Над темным дымящимся бочажком лесной речки перекинуты три жерди, упирающиеся в связи из кольев. Застойная речка, неподвижные кусты, грубо сколоченная лава — перушимый покой, уголок мирно спящего леса, редко навещаемого людьми. Пусто кругом и глухо. Только со стороны, из зарослей, ведет нескончаемую болтовню перекат.

Под тяжестью Семена настигнутые жерди возмущенно закрипели. Он огляделся и в маслянисто-темной воде, по которой ползли клочья серого тумана, заметил что-то черное. Семен прыгнул с лавы, оглушил себя всплеском, окунулся с головой, достав и руками и ногами илистое дно, распрямился, громко плеская, побрел по грудь к плавающему черному предмету. Дотянулся, схватил — гармошка!

Подняв ее над головой, он пошел дальше, старательно вдавливая сапоги в илистое дно. Шаг, другой, третий... И с ужасом почувствовал, как что-то крупное, невесомое с робкой ласковостью прислонилось к нему.

Семен отшвырнул гармошку, запустил руки, пальцы сразу ощутили мягкую шероховатость сукна... С ленивым всплеском раздалась вода, показалось плечо, за ним спикшая голова с зализанными на одну сторону волосами.

Подымая эту сникшую голову, раздвигая кувшиночные листья, Семен потащил ношу к берегу.

9

Парня положили возле березы, почти на то место, где отдыхали перед охотой. Дудырев, склонившийся над ним, поспешно разогнулся, сорвал патронташ, сбросил пиджак, вылез из одной рубахи, другую, нательную, с треском разорвал на себе.

— В шею попало, — глухо обронил он.

Это были первые слова, произнесенные после выстрелов.

Митягин стоял в стороне, все еще сжимая в руках разряженное ружье. Семен, мокро шуршащий, сильно ссутулившись, распространяя вокруг себя знобящий речной холодок, шагнул к нему, грубо вырвал из рук ружье, толкнул к распластанному на земле парню.

— Чай, фельдшер как-никак — действуй!

Митягин упал на колени перед парнем, принял из рук Дудырева располосованную рубаху, засуетился — повернул вялую голову, низко-низко, как близорукий, склонился над раной, попросил:

— Тряпку какую намочите. Обмыть бы...

Дудырев схватил кусок рубахи, передергивая от холода голыми плечами, бросился к реке, затрещал среди кустов.

— Ах ты беда, из шеи кусище вырвало, — жалобно бормотал Митягин. — Ах, беда так беда...

— Ты шевелись, а не плачь! — подгонял его Семен.

— Тут и опытный врач не поможет, куда мне... В клинических условиях не сладят...

Появился Дудырев, встал за спиной Митягина, бережно держа в руках тряпку, с которой капала вода. Его пухлую грудь и плечи жалили комары, он передергивался и ежился.

— Пульс есть ли? — спросил он.

Митягин, вынутив тряпки, поспешно ухватился за руку парня, стал щупать запястье.

— Ах, господи, господи! Не учую никак — пальцы-то дрожат...

— К сердцу прильни, — посоветовал Семен.

Так же послушно, как хватался ощупывать пульс, Митягин сдернул с лысины картуз, прижался ухом к груди.

— Эх, ополоумел! — Семен с досадой оттолкнул его. — Сквозь пиджак слушает.

Он грубо и ловко разорвал руками мокрую одежду, обнажил грудь парня.

— Теперь слушай...

Яйцевидная лысая голова долго пристраивалась, замерла... Замер, сгорбившись над Митягиным, Семен Тетерин, замер продолжавший бережно держать в руках мокрую тряпку Дудырев. Снова беспокойно заслозила митягинская лысина. Семен и Дудырев, не дыша, ждали.

— Не прослушивается, — слабо произнес Митягин, подымая голову.

— Ну-кося! — Семен отстранил Митягина, тоже принал к груди, долго слушал, молча поднялся.

— Ну?... — с надеждой спросил Дудырев.

— Не чуть вроде — ни сердца, ни дыхания.

— Сонная артерия... Пока в воде был да пока вытаскивали, сколько крови вышло, — бормотал Митягин.

— Может, искусственное дыхание сделать? — предложил Дудырев. — Вдруг да...

Он присел, взялся за раскинутые руки парня. Но когда он коснулся этих рук, то почувствовал — холодны, едва ли не холоднее той мокрой тряпки, которую только что держал в ладонях. Дудырев выпустил руки, помедлил с минутой, вглядываясь в бледное, какое-то стертое в сумерках лицо парня, с натугой встал, передернул зябко плечами, с усилием нагнувшись, поднял с земли свой пиджак и рубашу, стал молча одеваться.

А утро послушно, по привычке наступало. Блеклые звезды глядели утомленно и неверно. Над рваной кромкой хвойных вершин расплывался свет, пока еще мутный, какой-то мыльный — не заря, лишь далекий предвестник бодрой зари. И еще довольно темно — не разглядишь росу на кустах, хотя и чувствуешь тяжесть мокрой листвы. И не проснулись еще птицы... Утро? Нет, умирание обессиленной, состарившейся ночи.

В сумеречном пугливом освещении лежал на траве парень в черном костюме с растерзанной на груди рубашкой. Он казался плоским, раздавленным, только носки сапог торчали вверх. Бросалось в глаза: одна штанина заправлена в голенище, другая выбилась.

Опустив головы, стояли охотники. Их усталые, небритые лица с ввалившимися щеками были бледны той бесплотной бледностью, какая обычно бывает при брезжущем свете. Мокро лоснилась удлиненная лысина Митягина. Дудырев нахмурился, глаз не видно, под выпирающим лбом —

темные провалы. Семен Тетерин сгорбился, словно не в силах выдержать тяжести безвольно опущенных широких рук.

Семен первым пошевелился.

— Ну, дружочки мои, потешились, теперь похмелку принимай. Ты, Константин,— обратился он к Дудыреву,— скорым шагом давай в район. Что уж, докладывай без утайки кому нужно... А ты,— Семен направил тяжелый взгляд на Митягина,— крой в Пожневку. Сообщи бригадиру Михайле о сыне... Мне придется здесь куковать. Бросить все, уйти,— негоже.

Дудырев угрюмо кивнул головой, а Митягин сжался.

— Ты сам, Семен, сходи... Не могу... — попросил он угасшим голосом. — Не неволь, как же к человеку с эдаким...

Семен взял Митягина за плечо, сурово взгляделся в него.

— Иль чует кошка, чье мясо съела?

— Да ведь я не один стрелял...

— Двое стреляли. Один медведя свалил, другой человека. И сдается мне: ты с ружьем-то похуже справляешься. Иди! — Семен легонько и властно подтолкнул Митягина.

Не подняв с земли ни ружья, ни картуза, поникнув лысой головой, фельдшер покорно направился в лес. Дудырев, хмуро кивнув на прощание, подхватив двустволку и патронташ, двинулся в другую сторону.

От убитого медведя доносилось рычание. Калинка стояла на туше, шерсть на ее спине вздыбилась, налитые кровью глаза невидяще скользнули по Семену и опять уставились вниз. Маленькая, жиливатая, она со злобным остервенением рвала медвежий загривок, торжествовала над поверженным врагом, мертвому зверю мстила за смерть дочери.

— Кыш! Стерво! — угрюмо прогнал ее Семен.

Подойдя ближе, удивленно покачал головой.

— Одначе...

Медвежий загривок был искромсан в кровавое месиво.

10

В свое время зашевелились в кустах и засвистели птицы. В свое время заалела верхушка старой березы. Туман над рекой поднялся выше кустов... Солнце вывалилось из-за леса — свеженькое, ласково-теплое, услужливое ко всему живому. По траве протянулись росяные тени.

Клочок зеленой земли в положенное время привычно

изменялся, переживал свою маленькую историю, повторявшуюся каждое утро.

Странным, чуждым, враждебным этому живому и радостному миру были два лежавших на земле трупа. Медведь уткнулся мордой в траву, выступая на пологом склоне бурым наростом, в его густой шерсти искрились на солнце росинки. Ранние мухи уже вились над ним. Парень распластался во влажной тени, косо повернув набок голову.

За лавой вкрадчиво закуковала кукушка, обещая кому-то долгую жизнь.

Медленно-медленно ползло вверх солнце. Семен не стал сушиться после ночного купания. Раздеваться, развешивать по кустам свои тряпки, беспокоиться о себе, когда рядом лежит убитый, когда обрушилось такое несчастье.

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку!» — высчитывала бестолковая птица.

Семен Тетерин много видел, как умирают люди. Ему было всего шесть лет, когда его дядю Василия Тетерина, тоже лихого медвежатника, заломала медведица. Отец Семена убил ее, и это было нетрудно — медведица оказалась вся израшенной. Погибнуть охотнику от зверя — смерть законная и даже почетная. Люди умирали от болезней, от старости, на фронте — каждый день убитые, но с такой обидной смертью Семен встретился впервые. Шел парень к зазнобе, кто знает, рассчитывал, верно, жениться, обзавестись семьей — и на вот, подвернулся. Не болел, не воевал, на медведей не ходил. В старину говорили: на роду написано. Пустое! Просто жизнь колена выкидывает.

Солнце поднялось, стало жестоко припекать. Кукушка или утомилась, или улетела в другое место. Семен ждал, что с часу на час приедет отец парня — Михайло. Рано его потревожил. До приезда следователя убитого нельзя увозить. А следователь так быстро не обернется. Пока-то Дудырев добежит до райцентра, пока сообщит, пока сборы, да разговоры, да путь сюда — к вечеру жди, не раньше. Михайле терпеть до вечера, смотреть на сына. Не подумавши поступил.

Семен поглядывал на подымающееся к полудню солнце и с тоской ждал, что со стороны Пожневки застучит телега.

Но случилось так, что первыми приехали из района. За рекой раздалось натужное гудение мотора, затем мотор заглох, и послышались громкие, деловитые голоса:

— Дальше не пролезем.

— Да тут рядом.

— Вылезайте, пешком дойдем.

По шаткой лаве один за другим стали перебираться люди: длинный, узкоплечий, в паглухо застегнутом кителе, с портфелем под мышкой незнакомый Семену человек; за ним, сильно прихрамывая, ощупывая толстой палкой жерди, сам прокурор Тестов, без фуражки, с копной курчавых волос, смуглолицый и бровастый, в вышитой рубашке, смахивающий на заезжего горожанина, выбравшегося на природу ради отдыха; с чемоданчиком в руке молодая женщина в пестром платье; Дудырев, мятый и грязный, без ружья, без натронташа, но уже какой-то новый, словно подмененный, — держится свободно, неприступен; сзади всех парень в комбинезоне и покоробленных кирзовых сапогах — должно быть, шофер, что привез всех.

Дудырев подошел к Семену, бросил хмуровато:

— Вот, доставил.

— Быстро. Ума не приложу, как это обернулся...

— Дошел до Сучковки, позвонил по телефону на строительство, сказал, чтоб машину к прокуратуре подогнали, а потом сразу же связался с прокурором, попросил приехать и меня захватить заодно...

Семен кивнул головой. Он забыл, что Дудырев только в лесу, на охоте, простоват, не то что среди людей: снял трубку — и даже сам прокурор все дела бросил. Это не Митягин. Бригадир Михайло, видать, спозаранку убежал на поля или на покосы, а он его ждет до сих пор.

Прокурор, припадая на покалеченную на фронте ногу, энергично опираясь на палку, прошел прямо к убитому, с минуту постоял молча, вглядываясь острым, оценивающим взглядом, щелкнув портсигаром, закурил, живо обернулся к Семену на здоровой ноге.

— Как же это, а?

Семен развел руками.

— Надо же, подвернулся... Тут не только почью, а добро бы за целый день один человек пройдет. Не бойкое место.

— Ты-то опытный, должен бы сообразить.

— Сообразил. Да ведь в момент за руки не схватишь. Крикнул им, а уж готово...

— Крикнул?.. — Смуглое, узкое, под густой курчавой шевелюрой лицо прокурора насторожилось, взгляд живых черных глаз обострился. — Что крикнул?

— Да как же, услышал гармошку и кричу: «Не стре-

ляй!» Да вгорячах-то, видать, они не сообразили сразу...

Подошел высокий с портфелем, подался вперед, вслушиваясь. Прокурор значительно переглянулся с ним, повернулся к Дудыреву.

— Он действительно кричал это?

— Припоминаю — что-то кричал, — ответил Дудырев.

— Вы и гармошку слышали?

— Гармошки не слышал. А разве это важно для следствия?

— Важно, — сурово ответил прокурор. — Весь ход дела меняет. Если один мог предусмотреть, то ничего не мешало то же самое предусмотреть и другим. В нашем деле приходится быть педантами. Крик был, можно сесть и в тюрьму. Иначе просто был бы несчастный случай, или, что называется на нашем языке, юридический казус.

Все вокруг него подавленно молчали.

Пока шел разговор, никем не замеченная подъехала подвода из Пожневки. Пятеро, приехавшие с машиной, Семен Тетерин да Митягин с Михайлой, прибывшие с подвой, — восемь человек. Для другого места не такая уж большая компания, но заброшенный лесной угол, должно быть, с самого сотворения мира не видел столько народу сразу.

11

Среди бела дня, при ярком солнечном свете начали обстоятельно, с самого начала разыгрывать ту историю, которая произошла в сумерках, на рубеже ночи и утра.

Долговязый следователь по фамилии Дитятичев снял свой форменный китель, засучил рукава на волосатых толстых руках, принялся придирчиво расспрашивать Семена Тетерина и Дудырева, кто из охотников где стоял во время выстрелов.

— Так, вы здесь стояли... Здесь, значит, товарищ Дудырев... Ага, чуть в сторонке. Так, а третий... Этот третий здесь?

— Здесь, — робко выдвинулся вперед Митягин.

— Так. Припомните точнее, где вы стояли... Здесь. Отлично!

Дитятичев занял место Митягина, сощурившись, словно сам целился из ружья, поглядел в сторону уткнувшегося в землю медведя. За медведем из кустов торчало сухое дерево с ободраным толстым стволом и вознесенными кривыми ветвями.

— Отлично!.. А этот зверь, не припомните, сразу упал или еще сделал несколько шагов вперед? Нам важно знать, где он стоял в то время, когда произошли выстрелы.

— Сразу вроде, — ответил Семен.

— Сразу. Так. Впрочем, мы еще установим — мгновенно у него наступила смерть или нет. Обратите внимание, — повернулся Дитятичев к прокурору, — этот товарищ... Как ваша фамилия?.. Ага, Митягин! Так вот, Митягин стоял чуть ниже Дудырева, да к тому же Дудырев выше его ростом...

Прокурор хмуро глядел поверх медведя в ствол старой березы.

— Это дерево прикрывает часть мостков, — сказал он сухо.

Следователь сразу же понимающе зашелкал языком:

— Тэк, тэк, тэк!.. — Отступил в сторону Митягина, взгляделся. — А отсюда мешает меньше...

— Не торопитесь с выводами. Постарайтесь установить как можно точнее, с какого места упал парень в воду.

В это время подошла врачиха с листками бумаги, которые она заполняла возле убитого. Прокурор и следователь склонились возле нее. Врачиха, молодая, с миловидным, не тронутым загаром, очень белым лицом, сосредоточенно нахмурив золотившиеся пушком брови, принялась пояснять:

— Пуля прошла с левой стороны шеи сквозь мякоть. На вылете сделала рваную рану. Перебита сонная артерия. Шейные позвонки не задеты. Смерть наступила минут через пятнадцать, если не раньше. Приходится учитывать, что погибший упал в воду, захлебнулся...

— Ясно, ясно, — перебил прокурор. — Вытащили на берег уже мертвым. Обождите минуту, займитесь вместе с Дитятичевым медведем. Будем надеяться, что пуля, уложившая медведя, застряла в нем.

Следователь рысцой побежал к лаве. Прокурор встал на место, откуда стрелял Дудырев. Они стали переключаться.

— Я иду, Алексей Федорович! — кричал Дитятичев из-за кустов.

— Не вижу! — отвечал прокурор.

— А так?

— Не вижу!

— Я на самой середине перехода!

— Не вижу! Кусты закрывают вас целиком! По голосу чувствую, что вас как раз должен закрывать ствол де-

рева. Найдите какой-нибудь шест или ветку и поднимите вверх, чтоб я точно знал, где вы стоите.

Через минуту следователь поднял над кустами носовой платок, привязанный к палке. Прокурор встал там, откуда стрелял Дудырев, приказал:

— Сделайте два шага вперед.

Носовой платок продвинулся над кустами.

— Еще шаг!.. Еще!.. Стоп!.. Пострадавший мог пройти посередине лавы по крайней мере метра два под прикрытием дерева.

— Больше, Алексей Федорович! Три метра! — крикнул из-за кустов следователь.

— Проверим с другой точки. — Прокурор отошел к месту, с которого стрелял Митягин.

Снова медленно поплыл над кустами привязанный к палке платок.

— Вижу... Вижу... — бросал прокурор.

— Еще шага четыре — и лава кончится!

— Стоп!..

— Три шага до берега. Почти весь путь открыт!

— Не будем спешить с выводами. Просмотрите внимательно пастил, не осталось ли где следов крови, — приказал прокурор.

Уже немолодой, долговязый Дитятичев встал на четвереньки и пополз по шатким жердям, словно обнюхивая их, временами останавливался, изучал внимательно. Так он прополз от берега до берега, поднялся, деловито стряхнул грязь с колен.

— Следов нет. — Он подошел к Семену. — Вы с какого места бросились в воду?

— Вроде посередке.

— Где была гармошка?

— Да в воде.

— Понятно, что не в небе. В каком месте?

— Возле середки лавы, чуть поодаль.

— А где наткнулись на тело?

— Шага через четыре к этому берегу. Тут течения-то, считай, нет — бочаг. Как шагнул, чую — прислоняется...

— Добро. Все за то, что парень в момент выстрелов находился приблизительно па середине мостков, а не возле того или другого берега.

— Оставьте эти хитроумия. Займитесь медведем да пулю найдите. Она все объяснит, — предложил прокурор.

Обступили медведя. Врачиха присела возле морды, рой мух с жужжанием взлетел в воздух.

— Что это? — удивленно показала врачиха на медвежий загромок.

— Это собака... — ответил Семен. — Покуда мы наренька из воды вытаскивали да покуда обхаживали его, она, проклятухая, лютовала на хозяине.

— Почему именно это место рвала?

— Кто ее знает. Так поправилось, видать.

Врачиха, хмурясь, осторожно стала ворочать белыми тонкими пальцами крупную, кудлатую, с грубыми и могучими формами бабку зверя.

— Что за беда? Не вижу нулевого отверстия.

— Глядите, глядите. Медведь, судя по рассказам, упал замертво при выстрелах.

— Может, в области сердца. Попробуйте его перевернуть на спину, грудь осмотрю.

Общими усилиями — Семен, Дитятчев, Дудырев, шофер с машины, — цепляясь за густую шерсть на боках, толкая друг друга плечами, перевернули тяжелую тушу.

Сосредоточенно нахмурившееся миловидное лицо врачихи склонилось над звериной грудью, маленькая рука медленно, вершок за вершком, ощупывала грудь, живот, бока.

— Есть! Ранена лапа! Но это же... не опасная рана. От такой бы он сразу не умер.

— Это я ковырнул. Первая... — торопливо пояснил Семен. — Еще на пожневских покосах, как напали, в него ударил. В голову целил, да, видать, в ту минуту лапой прикрылся. Он с этой раной часа три бегал от нас.

— Не пойму, куда же девалась та рана, смертельная? — недоумевала врачиха, продолжая медленно шарить рукой по шерстистому туловищу.

— Может, сердце сдало? И такое, я слышал, у медведей бывает, — подсказал прокурор.

— Наверно, бывает, хотя и редко, — неохотно согласилась врачиха. — Не очень-то привлекательное занятие такой туше при таких условиях вскрытие делать с моими инструментами. Поищем еще.

— Ищите. И нам интереснее знать, что от пули дядько погиб, а не от своей сердечной слабости. Обе пули мимо него прошли, тогда и вовсе не выпутаешься...

— Обождите, обождите! — Врачиха ухватила обеими руками за медвежью морду, с усилием раздвинула пасть. —

Ну, так и есть! Как же я раньше-то не догадалась? Глядите! Убит! Пуля попала прямо в раскрытую пасть. Видите, выбиты передние зубы, в том числе и клык. И кажется... пуля прошла ниже глотки...

— Кромсайте! Ищите пулю! — приказал прокурор.

Врачиха сокрушенно покачала головой.

— Такие могучие кости и сочленения, а я инструменты-то взяла...

— Ищите!

Следователь присел на корточки рядом с врачихой.

Медведь лежал на самом солнцепеке. Воздух застыл от зноя. От звериной туши несло крепким, острым запахом нечистоплотного лесного животного, к нему примешивался неприятно мутящий запах свернувшейся крови. Все отошли в сторону, уселись в тени, только следователь остался возле врачихи, помогал ей. Да вокруг ходил шофер, с любопытством и удивлением приглядывался к убитому зверю.

Прокурор, вытянув на траве негнущуюся ногу, задумчиво курил. Дудырев казался тоже спокойным, но его слишком неподвижное, осунувшееся, небритое лицо, устремленный вперед из-под тяжелого лба замороженный взгляд, жадные короткие затяжки папиросой выдавали взволнованность.

А в нескольких шагах от них сидели рядышком и молчали фельдшер Митягин и отец убитого Михайло Лысков. Голова Митягина безвольно поникла на грудь. Михайло устало мигал, глядя куда-то мимо врача и следователя, возившихся у медвежьей туши. Это был тщедушный мужик с задубленным, изрезанным глубокими морщинами кротким лицом, один из тех, про кого обычно говорят — воды не замутит. Все время он держался в стороне, не плакал, не кричал, не приставал ни к кому с вопросами, и о нем как-то забыли.

Семен Тетерин, всегда уверенный в себе, всегда спокойный, на этот раз чувствовал в душе непонятный разлад. Его расстраивала возня около медведя, озлоблял парень-шофер с дудыревской машины. Ходит вокруг зверя, глядит не наглядится на диковинку. Рядом же убитый человек лежит, такой же парень, как и он. Неужели медведь интереснее? Посовестился бы для виду пялить глаза. Раздражали Семена и яркий солнечный свет, и запах медведя, и долговязый следователь, и врачиха. Он постоянно ощущал присутствие Михайлы, боялся взглянуть в его сторону... Даже мальчишкой Семен не плакал. Мать, которой слу-

чалось задавать ему трепку, всегда жаловалась: «Не выбьешь слезу из ирода». А тут надрывается душа, кипят слезы, вот-вот вырвутся — это при людях-то! Вот бы подивились: Семен-медвежатник, ну-ко, слезу пустил...

Наверно, всем было нелегко, даже прокурор, посторонний к событию человек, приехавший сюда по службе, произнес со вздохом:

— Вот ведь как получается: не угадаешь, где несчастье настигнет. Чистая случайность.

Дудырев, к которому он обратился, промолчал.

В это время следователь и врачаха поднялись возле медвежьей туши. Кряхтя, с усилием опираясь о палку и о ствол дерева, встал прокурор.

— Ну как?..

Следователь развел длинными руками.

— Нет пули.

— Не проглотил же ее потапыч?

— Прошла навывлет. И собака-то рвала загривок потому, что там было выходное отверстие. Где кровь, рвала.

— Вы уверены, что пуля вылетела?

— Врач уверен, а я не имею права ей не доверять.

— Поискать если кругом... — несмело предложил прокурор, но, взглянув на склон позади медведя, заросший травой и молодой порослью ольхи, на буйно поднимающиеся кусты по берегу речки, махнул рукой. — Бесполезно. Давайте закругляться да — домой...

Врачиха, стянув резиновые перчатки, собрав инструменты, направилась к реке мыть руки. Лицо у нее было потным и усталым.

12

Всех дома ждали дела. Всех, даже Митягипа. На берегу лесной речонки остались только Семен и Михайло Лысков.

Лишь потоптанная трава да брошенные то там, то сям окурки напоминали о недавнем нашествии.

Изменилась еще поза медведя. Он теперь лежал на боку, чья-то рука прикрыла лапой раскромсанную морду. Над ней уже снова вились мухи.

Семен подошел к Михайле, выводившему из леса лошадь.

— Помочь тебе довести парня-то? На оврагах, поди, один не удержишь — завалишься.

— Ну, коль не трудно...

Они уложили на сено убитого, поудобнее приладили все время косо сваливающуюся на один бок голову. Михайло разобрал вожжи, молча тронулись в лес.

Но, не проехав и двадцати шагов, Михайло выронил вожжи, шагнул в сторонку, опустился на землю.

— Чтой-то со мной делается... Ноги не держат.

Маленький, узкоплечий, крупноголовый, с раздавленными работой кистями рук, сложенными на коленях, под глазами набрякшие мешки, крупный, мясистый нос уныло висит... И от чужого горя, невысказанного, непоправимого, безропотного, у Семёна Тетерина перехватило горло. Он вновь почувствовал странный разлад в душе. Тянуло уйти в сторонку, спрятаться в лесу и без свидетелей, ну, не плакать — где уж! — а просто забыться. Семён переминался возле Михайлы, с мученическим лицом, почтительно глядя в сторону.

Михайло глубоко и прерывисто вздохнул, вяло пошевелился, стал подыматься.

— Садись, что ли, наперед, — посоветовал Семён. — А вожжи мне дай.

— Ничего. Полегчало... Дойду.

Разбирая вожжи, Михайло негромко сообщил:

— Двух-то старших у меня в войну убило... Этот последний.

И они снова молча пошли. Михайло, придерживая вожжи, чуть впереди, Семён — отступя от него шагов на пять.

Покатые плечи, сквозь выгоревшую рубаху проступают острые лопатки, шея темная, забуревшая, походка расчетливо спорая, не размашистая, как у всех пожилых крестьян, которым еще пришлось-таки походить на веку за плугом. Семён шагал сзади, глядел в проступавшие сквозь рубаху лопатки...

Он опять вспомнил парня-шофера, разглядывавшего медведя. Медведь удивил, а беда Михайлы прошла мимо! Он даже и не заметил, поди, Михайлу, тихо сидевшего в сторонке. Спокойненько потешал себя: мол, эко чудо-юдо зверь лежит!.. Да возмутись же, обидься за другого — живая душа мается! Такая же живая, как твоя собственная. Прими ее боль, как свою. Можешь помочь — помоги, не можешь — просто пойми человека. Понять — это, пожалуй, самое важное. Совсем от бед и напастей мир не спасешь —

они были, они будут! Сколько бы умные люди ни раздумывали, как бы удачнее устроить жизнь на земле, как прибавить всем счастья, — все равно и при новом счастье, и при удобной палаженной жизни дети будут оплакивать умерших родителей, красные девки лить слезы, что суженому поправилась другая, все равно станут случаться такие вот нелепицы, с нежданной смертью или увечьем. Худо в беде быть единому! Ежели мир напрочь забудет эти слова, то какие-то несчастья проще обойти, а неминуемые — вынести.

Семен не смог бы складно высказать свои мысли, он только чувствовал: что-то значительное, слишком сложное, чтоб объяснить словами, тяжело засело сейчас в нем.

До Пожневки добрались без особых хлопот. Бригадир Михайло Лысков жил на другом конце, пришлось ехать через всю деревню.

Выходил народ. Детишки, женщины и старухи медленно, с угрюмым молчанием двинулись к избе бригадира вслед за подводой.

С крыльца сбежала жена Михайлы, жидкие волосы растрепаны, ворот кофты распахнут на тощей груди. С силой расталкивая людей, она прорвалась к подводе, прижалась к сыну и заголосила:

— Золотко ненаглядное! Головушка горемышная! Покинул ты меня, сирую да убогую! Мне б лучше вместо тебя помереть такой смерти-и-ю!..

Ее плач подхватили другие бабы. Среди собравшихся поднялся ропот.

— Охотнички!

— Помогли, нечего сказать!

— Душегубы проклятые!

Стряслось несчастье, и люди не находили ничего лучшего, как искать виновников, попрекать их.

Семен Тетерин стоял опустив голову.

13

Михайло, не в пример всем, не считал Семена виновным, он заставил его взять лошадь.

— Не на себе же зверя потащишь. Чего уж... Нам со старухой легче не будет, коль этот медведь пропадет зазря...

Доброта, как и озлобление, бывает заразительной. Сразу же смолкли недружелюбные выкрики, двое парней вызвались помочь Семену.

Всю обратную дорогу Семен жаловался ребятам. Тол-

кнуло же его связаться с Митягиным, ружья, должно, не держал в руках, хвалился, мол, баловался... Думалось, трудно ли уберечь пепутевого от зверя, ан вон как обернулось — от пего самого нужно беречься, близко к такой забаве не подпускать... Проще всего успокоить себя — это указать пальцем на другого: не я, а он виноват. И Семен жаловался, охаивал Митягина, пропикался к нему обидой. Оба парня из Пожневки сочувственно его слушали, охотно соглашались.

Обычно Семен привозил в село добычу торжественно. Стар и мал выскакивали навстречу, помогали стащить убитого зверя с телеги, рассматривали его, трогали, охали, дивились. На этот раз подъехали к дому глухой ночью, свалили тушу в сарай. Ребята простились, забрались в телегу. А Семен, разбудив старуху, наскоро перекусил — больше суток маковой росинки не было во рту, — завалился на койку и заснул мертвым сном.

Встал утром по привычке рано. Едва ополоснув лицо, направился к сараю, где лежал убитый зверь. У дверей сарая уже дежурила Калинка, при виде хозяина вскочила, скупно махнула хвостом.

Голова зверя была искромсана врачихой, с нее свисали клочья кожи, сквозь мясо торчали кости. Семен решил для начала отнять голову, разрубить на куски, выбросить Калинке, которая привычно сидела в распахнутых воротах, не скупя, терпеливо ожидая своей доли.

Работая пожом, Семен почувствовал, что верхний позвонок, который соединяет шею с черепом, перебит. Он ковырнул ножом, и на разостланную мешковину, прямо под колени, выпал какой-то темный кусочек, смахивающий на речную гальку. Семен поднял его. Он был не по размерам увесист. Пуля! Та самая, что искала врачаха! Сплюснутый, свинцовый слиток, какие Семен сам обкатывал и вбивал в патроны.

Отложив нож, зажав пулю в ладони, Семен поднялся, отогнал Калинку, прикрыл ворота и зашагал к дому.

У крыльца его перехватила Настасья — жена Митягина. Худая, с плоской грудью, с остановившимися сердитыми глазами, с горбатым, угрожающе направленным вперед носом — недаром же по селу прозвали ее Сова, — она стала на пути, уперла тощие кулаки в поясицу.

— Вы чего это — компанией нашкодили, а на одного всю вину сваливаете? — начала она своим резким голосом, чуть не подымающимся до надсадного крика.

— Ну полно! — Семен, сжимая в кулаке пулю, хотел пройти мимо.

Но фельдшерица не пустила его.

— Прячешь глаза-то! Совестно! А ты видишь их?.. — Она тряхнула подолом, за который цеплялись два меньших из митягинских детишек: круглые чумазые рожицы, выпученные светлые глазенки — истинные совята. — Отца отнять хотите! Шуточное дело — человека убили. Испугались, что холодком пахнуло, давай, мол, сунем в зубы овцу попроще, авось нас не тронут. А он-то сразу раскис, хоть ложкой собирай. Пользуются, что безответный. А я не спущу! Не-ет, не спущу-у!.. — Настасья заголосила.

Ребятишки, привыкшие к крику матери, продолжали пялить из-за юбки глаза на Семена. А Семен, хорошо знавший, что более взбалмошной бабы, чем Настя Сова, по селу нет, переступал с ноги на ногу, глядел диковато, исподлобья, изредка ронял:

— Ну чего взбеленилась? Эко!

— Я все знаю! Ты-то небось в сторонке останешься — мол, не стрелял. А другой высоко сидит — рукой не достанешь. Кому быть в ответе, как не моему дураку!..

— Ну, чего ты...

Голос Настасьи неожиданно сорвался, она уткнулась носом в конец платка и заплакала:

— Свести у вас нету... Пятеро же на его шее сидят. Нам, выходит, теперь одно остается — в чужие окна стучись... И за что я наказана? Надо же было выйти за непутного, всю жизнь из-за него маюсь...

От слез Насти, от отчаяния, зазвучавшего в ее голосе, а больше всего от бездумно вытаращенных ребячьих глаз Семен ощутил одуряющий разлад в душе, точно такой, какой он испытывал, когда врачаха ковырялась в медведе.

— Брось хныкать! Никто и не мыслит твоего Василия топить, — сказал он и, отстранив плечом, прошел мимо.

Возле печи Семен отыскал две чугунные сковороды — одну большую, другую поменьше. Прихватив их, он закрылся в боковушке, где висели у него ружья, где обычно готовил себе охотничьи припасы. Бросив сплюсненную пулю на большую сковородку, он принялся ее раскатывать, придавливая сверху маленькой сковородкой.

Семен катал неровный кусок свинца, а сам думал, что сейчас каждое его движение ведет Митягина к беде. Прокурор давеча сказал — дело плохо, кто-то должен сесть в тюрьму. И ежели он, Семен, положит на стол пулю, ска-

жет, что выпул ее из медведя, — Митягину не отвертеться.

Вчера, шагая за подводой следом за Михайлом, Семен испытывал что-то большое и доброе. Худо человеку в беде быть единому! Беда нависла над Митягиным. Сленая беда, негаданная, прямых виновников в ней нет. Настя останется бобылкой, дети — сиротами... После неласковой встречи в Пожпевке, после выкриков: «Охотнички! Душегубы проклятые!» — Семен и не вспомнил, что Митягину худо, даже охаивал его, пальцем указывал, свою совесть спасал. Сейчас пулю раскатывает, словно эта пуля добру послужит... Жаль Митягина...

И все-таки Семен продолжал раскатывать. Кусочек свинца становился круглее, глаже, уже не стучал под скорородой.

Старую «переломку», которую Семен дал Митягину, забрал с собой следователь. Но двустволка Семена и двустволка Дудырева имели один калибр, можно пулю проверить и на своем ружье. Семен снял со стены двустволку, поднес пулю к дульному отверстию и... тут случилось неожиданное. Пуля не вошла в ствол. Семен не поверил своим глазам, приложил еще раз — нет, не подходит! Пуля, уложившая медведя, вылетела из ружья Митягина, имевшего двенадцатый калибр.

Семен опустился на лавку, поставил между колен ружье, разглядывал пулю на ладони. Убил парня, выходит, Дудырев. Но и Дудыреву Семен не хочет зла. Спрятать? Выбросить? Нельзя, на Митягина обрушатся, а Дудырев за себя постоять сумеет. Надо пойти к нему, показать пулю, рассказать все. Лучшего советчика не придумаешь. По-доброму решить...

Семен положил пулю в карман.

Через десять минут он уже шагал по шоссе, ведущему к Дымковскому строительству.

14

Строительство не смело с лица земли деревню Дымки. Она продолжала стоять на прежнем месте — два неровных ряда бревенчатых изб, тесно прижатых к берегу реки. Прежде не бросались в глаза их ветхость и убожество — избы как избы, потемневшие, исхлестанные дождями, с честью прошедшие через время. А сейчас, когда за их спинами выросли сборные дома с широкими окнами, выкрашенные, как один, в игривый, легкомысленный салатный цвет,

когда позади осевших поветей мшистых крыш, выпустивших из-под себя рогатых, полусгнивших «куриц», теперь стало видно, какие все избы корявые, подслеповатые, вбитые в землю — рахитичное обветшалое племя! Его не уничтожили, ему милостиво разрешили сгнуться самому.

У крайней избы стоял трактор, не обычный деревенский, колхозный, а бульдозер, с угрозой приподнявший над утоптанной завалинкой тяжелый, в засохших комьях грязи стальной щит. На завалинке же грелась, повернув к солнцу сжатое в темный кулачок крохотное личико, знакомая Семену старуха, по прозвищу Коза. Ей было лет девяносто, если не больше, — во всяком случае, Семен молодой ее не помнил. Всю свою жизнь бабка Коза прожила в Дымках, вставала с петухами, ложилась с курами, самый большой шум, какой она слышала до недавнего времени, был шум весеннего ледохода, когда река хрустит и стонет. Теперь же из-за крыш несется непрерывный гул, грохот, крики вразнобой, а тяжелый бульдозер нагло уставился в избу с завалинкой.

Из избы вышел парень в рубаше с засученными рукавами, с пиджаком, перекинутым через плечо. Дожевывая на ходу, он направился к бульдозеру. Кажется, один из внуков бабки Козы. Заметил Семена, остановился, продолжая жевать, поздоровался.

— Не по делу ли какому, Семен Иванович? — Парень, как и все местные, знал в лицо известного медвежатника.

— Да вот к вам на строительство. Как тут у вас к конторе добраться?

— К какой конторе? Контор много, у каждого участка своя. Тебе какую?

— А лях его знает! Я в ваших местах как баран в кустах. Мне бы Дудырева самого.

Парень присвистнул:

— Дудырева!.. Так бы и спрашивал. Не контору ищи, а управление. Садись, до котлована довезу, там покажут.

Семен неловко вскарабкался в кабину. Парень деловито сел за рычаги, мотор оглушительно взревел, на минуту Семену стало жутковато: вдруг да эта рычащая зверина рванется вперед, сомнет избу вместе с пригревавшейся на завалинке бабкой Козой? Но трактор, как солдат на учении, лихо повернулся на одном месте и, потрясая перед собой тяжелым ножом, покатился вдоль деревенской улицы, распугивая кур.

— Съест Дымки строительство! — прокричал Семен.

— Съест,— охотно кивнул головой парень.

— И не жалко? Место родное, пригретое!..

Парень презрительно махнул рукой, потом, пригнувшись к Семену, ответил:

— Ужо квартиру получу в новом доме, я по своей избе вот на этой прокачусь! — Хохотнул весело: — Всех тараканов подавлю!

— Дождись, дура, пусть хоть бабка в своем углу померет! — сказал Семен в сердцах.

Он понимал старуху. Стройка нарушала и его покой, врожденный, душевный покой человека, привыкшего к лесу, к одиночеству, к тишине. И впервые в жизни вместе со страхом перед завтрашним днем Семен почувствовал себя очень старым, чуть ли не ровесником бабке Козе.

С бульдозера он слез у котлована, в самом центре строительства. Самосвалы шли мимо него, обдавали едким угаром и где-то неподалеку медлительно сваливали целые горы песка. Один за другим, один за другим, все без отлички тупорылые, грозно рычащие, обремененные тяжким грузом, нет им конца и краю. Что таким болота, что для них леса и реки — без ношады засыплют начисто. А в углу котлована ворочается, страдая от тесноты, от собственной неуклюжести, чудище с железной суставчатой рукой. Ворочающаяся зверина запускает ее в землю. Тупорылые самосвалы толпятся к ней в очередь. Земля, словно вода, течет с одного места на другое, диковинные машины выворачивают наизнанку привычный мир. Что там сказки, испокон веков населявшие лес лешими, ведьмами, болотными кикиморами, что все эти кикиморы по сравнению с такими вот колченогими чудовищами!

— Эй, деревня! Чего рот раскрыл?

Семен отскочил в сторону. Грузовик с прицепом, везущий бетонные балки, прошел мимо, обдав вопиющим чадом. Со стороны скалил белые зубы парнишка-подросток в грязной майке, в промасленной кепке, в больших брезентовых рукавицах. Он тащил конец стального троса.

— Милый,— несмело обратился к нему Семен,— как пройти в управление, к Дудыреву?

— Топай прямо да ворон не считай. Толкнут ненароком...

Семен направился по обочине дороги, оглядываясь во все стороны. А мимо шли и шли рычащие машины, тащившие на себе трубы, в которые мог бы пролезть добрый пестун, то какие-то катушки, каждая высотой в человечес-

кий рост, то подъемные краны, то плещущий через борта густой, как серая сметана, цемент. Как идти? Куда? Он, старый медвежатник, знавший как свои пять пальцев самые далекие лесные углы, умевший найти дорогу из глухих согр, запутался, растерялся, и где — возле самой деревни. Прежде здесь был кочковатый выгон, росли кусты можжевельника и реденькие березки вперемежку с осинками, тянулись кривые тропинки к опушке леса. Да полно, было ли все это? Не верится...

И Семен представил себя — в рыжем пиджачке, надетом поверх косоворотки, в кепчонке, натянутой на лоб, маленький, беспомощный, лишний... Сколько машин, сколько людей, светопреставление, и всему голова — Дудырев. Тот человек, который с почтением беседовал с ним в лесу, кого он, Семен Тетерин, в сердцах обругал за нерасторопность. Сейчас, оглушенный, Семен идет к нему, сжимает в кулаке свинцовую пулю. Не для веселого разговора идет...

В эти минуты Семену на память пришла Калинка, с трусливой оглядкой пробирающаяся по шатким жердям лавы. Тогда еще Семен удивлялся — чего боится, дурь нашла на собаку. Теперь-то он ее понимал...

Он упрямо шагал вперед, а Калинка, с тоскливой оглядкой стоящая посреди лавы, не выходила у него из головы.

15

Дудырев вышел навстречу из-за стола, протянул руку Семену, подвел к дивану.

— Садись. — И, заглядывая в лицо из-под тяжелого лба запавшими глазами, спросил: — Ну?..

Он был в легкой трикотажной рубашке, плотно обтягивавшей его выпуклую грудь и сильные плечи, по-прежнему простоватый, не совсем подходящий к широкой, с огромным окном комнате, уставленной стульями, мягкими креслами, диваном, двумя столами: одним под красным сукном, другим — под зеленым. Даже не верилось, что этот знакомый, не очень изменившийся после леса Дудырев заворачивает таким диковинным миром, который оглушил Семёна и размахом и бесноватостью.

— Что-нибудь неприятное?

Семен со вздохом запустил руку в карман, вынул пулю, протянул Дудыреву.

— Вот...

Дудырев с недоумением покатал пулю на ладони.

— Из медведя выпул,— сообщил Семен.— Эти-то с врачихой не донскались.

— Из медведя?..

Дудырев не глядел на охотника, насупив брови, продолжал разглядывать свинцовый катышек на своей ладони.

— Под самым черепом застряла...

За окном, сотрясая стекла, проходили тяжелые грузовики. Семен, широко расставив колени, опираясь на них руками, сидел раскорячкой на самом краешке дивана и, затаив дыхание, вглядывался в сосредоточенное лицо Дудырева.

Зазвонил телефон. Дудырев, стряхнув задумчивость, зажав в кулаке пулю, прошел к столу, снял трубку, спокойным и внушительным голосом принялся разговаривать с кем-то.

— Да, помню... Да, заходите, только не сейчас, а позднее. Да, догадываюсь — опять разговор о капитальном строительстве. Не мог жертвовать миллионы рублей... Заходите попозднее, сейчас занят...

Он положил трубку, вернулся к Семену, раскрыл ладонь.

— Чья?

— К твоему стволу не подойдет, Константин Сергеевич,— твердо ответил Семен.

— Ты примерял?

— Примерял. Митягин уложил зверя...

Наступило молчание. Сотрясая стекла, шли под окном машины. Дудырев задумчиво катал на ладони пулю.

— Константин Сергеевич,— снова заговорил Семен,— надо бы все как-то по-людски решить. Вина одинакова, что у Митягина, что у тебя. Дурпой случай, каждый может сплеховать. Я потому и пришел к тебе, чтоб мозгами пораскинуть.

И опять Дудырев ничего не ответил, глядел в ладонь. Семен, оцепенев, ждал его ответа.

— Возьми,— наконец протянул Дудырев пулю.

Семен покорно принял ее обратно.

— Ты от меня ответа ждешь? — спросил Дудырев.

— Для того и пришел. Где мне своей головой решить?

— А ты на минуту встань на мое место. Представь, что тебе приносят пулю и говорят: вот доказательство, что ты убил человека. Ты убийца!.. Ты бы с готовностью согласился?

— Так, выходит, пусть Митягин отвечает? А ведь с ним-то церемониться не будут. Прокурор говорил — кого-то по закону посадить должны.

— Перед законом как я, так и Митягин одинаковы.

— Перед законом, а не перед людьми. Не равняй себя с Митягиным, Константин Сергеевич. Люди-то, которые возле законов сидят, на тебя с почтением смотрят.

— Значит, ты мне предлагаешь прикрыть собой Митягина?

— Ничего не предлагаю. Вот принес пулю, которая медведя свалила. Эта пуля митягинская. Выходит, твоя пуля парня прикончила. Вот что я знаю. А там уж ты реши по совести, как быть. Ты поумней меня.

Дудырев поднялся. Семен заметил, что у него на виске напряженно бьется жилка.

— Сообщи о том, что нашел пулю, следовательно, — сухо сказал Дудырев. — А я сам ни себе, ни Митягину помочь не могу.

Семен вышел от Дудырева. Мимо него шли грузовики с прицепами. На обочине котлована ползали скреперы, разравнивали кучи песка. Экскаватор заносил свой ковш над самосвалами. Пуля жгла ладонь Семена. Маленький кусочек свинца, хранящий в себе тайну. Если эта тайна не будет раскрыта, суд может приговорить Митягина к заключению. Несправедливо же!.. Раз Дудырев не может помочь, что ж... Хочешь не хочешь, а надо идти к следователю. Дудыреву придется самому за себя постоять.

16

Следователь Дитятчев, склонив набок ушастую голову, с минуту внимательно вертел в руках пулю, положил на стол.

— Вы ее такой кругленькой из медведя выпули?

— Помята была, раскатал, чтоб узнать, из чьего ружья.

— Раскатали и нам преподнесли... — И вдруг, остро взглянув Семену в самые зрачки, спросил: — Вы давно седи с Митягиным?

— Соседями-то?.. Да, считай, лет десять добрых, ежели не больше. Третий год шел после войны, как он к нам переехал.

— Так... А по какой причине вы взяли его на охоту?

— Какая такая причина? Давно он просил меня взять.

— И вы не отказали?

— Много раз отказывал, а тут уж неловко стало — просит человек.

— Так... А вы не вздорили с Митягиным, не ругались?

— Упаси бог,— испугался Семен, не зная, куда гнет следователь.— Бабы ежели когда схватятся, а мы нет — дружно жили.

— Так... Вы не отрицаете, что жили дружно?

— Чего отрицать, коли так было.

— Так...— Следователь кивнул на покойно лежавший на закапанном чернилами сукне кусочек свинца.— Соседи десять лет, жили дружно, а вы не подумали о том, что у нас создается впечатление, что эту пульку вы отлили ради десятилетней дружбы с Митягиным? Первое, что придет нам в голову,— вы собираетесь спасти виновного друга и утопить Дудырева...

Семен оторопело уставился на следователя.

— Вы понимаете, чем это пахнет? — продолжал тот спокойно.— Ложное показание с целью ввести в заблуждение правосудие. Вы, должно быть, не знаете, что за такое дело привлекают к уголовной ответственности. Пулька... Наивный вы человек, подобная фальшивая пулька расценивается как своего рода преступление.

— Слушай, добрая душа,— Семен сердито заворочался на стуле,— я в ваших делах не боек. А только пулька эта не фальшивая, хоть голову руби! Своими руками утром из медведя вынул. Сплоховали вы с врачихой, не углядели ее.

— Вы можете настаивать на этом. Можете! Но прикиньте: кто вам поверит? Не посторонний человек, а врач-профессионал ищет пулю в голове медведя. Имейте в виду, ищет старательно, я тому свидетель. Ищет, но не находит, об этом составляет форменный акт, ни на минуту не колеблясь, подписывает его. Не просто словом, а письменно отвечает за то, что пули не существовало. И вдруг вы приносите и кладете нам на стол эту пулю. Пуля ваша обкатана, она не имеет никакой деформации, то есть не сплюснута, не сдавлена, по ее форме никак теперь не определишь, что вынута она из разбитого медвежьего позвонка, а не из охотничьего загашника. Ответьте, почему вы не принесли пулю такой, какой вынули?

— Примерить же хотел.

— Примерить! Не терпелось! Дитя любопытное! У ребенка, пожалуй, хватило бы соображения — нельзя уничтожать такую важную для следствия улику...

Семен, насупившись, молчал. Когда он раскатывал пулю, то думал о Митягине, хотел убедиться, на самом ли деле убил фельдшер. Следовательно в те минуты был для Семена далеким, посторонним. Даже когда открыл — убил не Митягин, подумал опять же не о следователе, а о Дудыреве, хотел не подымать шума, уладить полюбовно. Могло ли прийти в голову, что начнут придирааться — обкатал пулю, уничтожил улику. Эх, знать, где упасть, — подстелил бы соломки.

— Слушайте дальше, — продолжал следователь, — вы откровенно признаетесь, что жили с Митягиным бок о бок лет десять, что за эти десять лет у вас с ним не было никакой ссоры, ни единой размолвки. Этим самым вы признаетесь, что вас связывает с Митягиным десятилетняя дружба, тогда как с Дудыревым вы познакомились всего несколько дней назад. Все за то, что вы любой ценой хотите снасти дружка, хотя бы для этого пришлось свалить вину на Дудырева. Вот как выглядит! Настаивайте теперь на своем, но вряд ли вам кто поверит — все данные против вас.

Следователь молчал, угрюмо молчал и Семен Тетерин.

— Вы-то как доказываете, что Митягин виноват? У вас самих, поди, карманы-то не особо набиты доказками.

— Этим-то вы и хотели воспользоваться, — спокойно ответил следователь. — Да, прямых улик против Митягина у нас нет, но есть косвенные...

— Прямых нет, — значит, кривые подходят. Хороши, нечего сказать.

— Не нравится вам наше поведение, обижены, что не соглашаемся выгораживать вашего дружка. Но разрешите спросить: вы знали, что Митягин в жизни не держал в руках ружья?

— Говорил, что баловался в молодости, а там, кто знает, я не видел.

— А он здесь час тому назад сам признался, что никогда не был охотником. Тогда как Дудырев охотится уже много лет.

— Мало ли что, и на старуху иной раз находит проруха.

— Согласен. Может случиться всякое, мог и Дудырев промахнуться. Однако можем мы не принимать в расчет тот факт, что Митягин неумелый стрелок, неопытный, а Дудырев опытный?

— Наверно, все должны в расчет брать. Все! Потому и нулю не след обходить стороной.

— Вы же видели, как мы искали эту пулю. Искали и не нашли, вдруг вы приносите, без особых доказательств требуете, чтобы мы верили... Но слушайте дальше. Вы присутствовали, когда мы вели расследование на месте убийства. Вы сами показывали, где стоял Дудырев, где Митягин. Так вот, Митягин стоял на более покато́м месте, чуть сбоку, ростом он к тому же ниже Дудырева, попасть в медведя ему было труднее. И это не все. С того места, откуда стрелял Дудырев, большая часть мостков — а именно середина — была прикрыта старым деревом. С места Митягина почти все мостки через реку открыты. Сами же вы показали, что парень упал в воду примерно с середины лавы. Промახнись Дудырев по медведю, он бы всадил свою пулю в ствол дерева. Десять шансов за то, что пуля Митягина прошла мимо цели и...

— И все же в медведе оказалась. Складно вы рассказываете, а на деле-то вышло иначе.

Следователь сбоку, как петух на рассыпанное просо, взглянул на Семена.

— Я бы советовал вам не вести себя с излишней развязностью. Вы и так во всей этой истории выглядите не очень красиво. Как знать, не придется ли нам и против вас возбудить дело.

— Эко! Уж не я ли, на проверку, убил парня? Ловки, вижу, можете повернуть, куда любо.

— За что намереваемся судить? За убийство с расчетом, за убийство преднамеренное? Нет. Судим за убийство по неосмотрительности. Если шофер по неосмотрительности собьет прохожего, нанесет ему тяжелое увечье или даже убьет его, то этого шофера, как известно, судят и наказывают. Тут точно такая же неосмотрительность со стороны того, кто пустил пулю мимо медведя. А если разобраться добросовестно, то вы... да, да, вы более повинны в неосмотрительности, чем Митягин.

— Эко!

— Вот вам и «эко». Разве осмотрительно взять на медвежью охоту человека, не державшего ружья в руках? Виноват он, что напросился, что пошел, но вы, опытный охотник, хорошо знающий все опасности, все неприятности, какие могут произойти с людьми, не привыкшими к обращению с огнестрельным оружием, вы виноваты, пожалуй, больше. Если мы судим неосмотрительных шоферов, судим неосмотрительных растратчиков, неосмотрительных руководителей, то мы не можем проходить мимо и неосмотритель-

тельных охотников. Помните, что вы сами не безвинны!

Следователь встал, узкий, прямой, высокий, на полголы выше сутуловатого поднявшегося Семена Тетерина. Отскакивая слова, Дитятичев закончил:

— Сегодня я вас не вызывал. Разговор наш, так сказать, случайный. На днях вы ко мне придете по вызову, как свидетель. Мы еще вспомним эту беседу. До свидания.

Семен молча глядел на следователя: длинная сухая шея, бледное пористое лицо кабинетного человека, большие уши, мягкий, старушечий рот. С минуту назад Семен смотрел на него просто, как на самого обычного человека, только образованного и более умного, чем он сам. Теперь же видел в нем что-то особое, какую-то силу, способную обвинять. И глаза следователя, серые, неприметные, с помятыми веками казалось, заглядывают сейчас внутрь, ищут в тебе порочное. Семен не в силах был выдержать его взгляд, опустил голову, повернулся.

— Вы что же, оставляете мне это? — окликнул его следователь. Он указывал на пулю, лежавшую на столе.

Семен покорно вернулся, взял пулю, опустил в карман.

Согнувшись, он зашагал прочь от прокуратуры, где сидел пугающий его человек. Возле поворота он невольно оглянулся и увидел, что к крыльцу прокуратуры подъехала машина, из нее вылез Дудырев...

И Семен Тетерин впервые испытал бессильную ненависть и к Дудыреву и к следователю: «Они-то споются... Они-то отыграются! И на ком?.. Эх!»

17

Дудырев любил застывшие, казалось, наполненные не водой, а тяжелым жидким металлом озера на рассвете, когда чуткие камыши спят, когда занутовавшийся в них туман вязок и недвижим. Он любил острое, тревожное, никогда не притупляющееся чувство — дичь близко, она где-то рядом, любил идти на лыжах по синей строчке лисьих следов на мерцающем, словно смеющемся снеге. Дудырев любил охоту.

Но в любой охоте был для него один всегда неприятный момент. После того как долгожданная дичь, на выслеживание которой уходили все силы, расходовалась вся душевная страсть, появлялась — птицы ли с шумом взлетали в подкрашенное зарей небо, или среди холодных сугробов мелькало горячее пятно лисьей шубы, — после вски-

путого к плечу ружья, после возвышенного мгновения, когда разум отсутствует, а действует инстинкт, после выстрела и торжества — видеть кровь, брать руками противно теплую тушку, хранящую остатки жизни, той жизни, что оборвана твоим выстрелом... Среди наслаждения — жестокость, среди поэзии — грубая проза! Нужно только потерпеть, не заметить, не придать значения, а потом снова — уснувшие камыши, следы на снегу, ствол, наступающий взмывающую птицу, торжество победы... Дудырев любил охоту.

Но последняя охота оставила убийственно тягостные воспоминания. Смерть собаки, которую пришлось Дудыреву добить, ее страдальчески мерцающий в темноте глаз, страх в овраге и унижающий стыд, ожесточение после болота, злобное, личное ожесточение против зверя, повинного лишь в том, что отчаянно спасал свою жизнь, — и ради чего все это, каков конец? Грязный свет умирающей ночи, распластанное на земле тело в черном костюме... Вот он, конец погони сквозь чащи, кусты, сквозь зыбкую топь болота, вот он, финиш! Смерть зверя перемешалась со смертью человека! И то и другое выглядит чудовищным, страшно оглянуться назад — противен сам себе, нет оправдания!

Дудырев не верил, что именно его выстрел, миновав медведя, уложил человека. Без того тяжело, а тут еще считать себя убийцей. Только не это! Скорей всего спланировал Митягин. «Он, а не я!» И все же не мог отделаться от странного чувства, похожего на то, какое приходилось испытывать в глубоком детстве. У них дома, в темном коридоре, стоял большой шкаф, и всякий раз, когда Костя Дудырев проходил мимо него, казалось, что за ним, притаившись, ждет кто-то неведомый, неизвестное существо, не имеющее ни лица, ни тела. Ждет, чтоб напасть. Знал, что нет его, не существует, а все-таки боялся.

И сейчас Дудырев испытывал страх перед чем-то неведомым, притаившимся впереди. Однако этот страх не заглушал острой вины. Прокурор и следователь во время обратного пути пробовали участливо заговаривать с ним — мол, со всяким может случиться подобная история. Они словно не замечали забившегося в угол машины Митягина. Его-то они не утешали...

Он, Дудырев, не только выдающаяся личность в районе, он еще нужный человек, чудотворец, создающий дороги, налаживающий автобусное движение, поднимающий

жизнь из сонного застоя. А Митягин?.. Как его легко обвинить!

Нет, Дудырев не станет выгораживать себя. Что бы ни случилось, какими бы неприятностями ни угрожало ему будущее, он будет держаться беспристрастно, честно признает за собой часть вины. Часть! Равную с Митягиным долю! Гнусно прикрываться собственным всесилием. Превыше всего — уважение к человеческому достоинству!

И все эти высокие мысли вылетели из головы, когда явился Семен Тетерин, положил перед ним на стол пулю. Охотник еще не произнес ни слова, но Дудырев уже почувствовал панический ужас. Вот оно, то таинственное существо, до сей минуты не имевшее ни лица, ни плоти, ни голоса, вот оно явилось воочию, приобрело плоть! Смущаясь, пряча глаза, Семен Тетерин беспощадно объявил: «Ты убийца, Константин Сергеевич!»

Комочек свинца на зеленом сукне, аккуратно круглый, обкатанный, ничем не отличающийся от других медвежьих пуль. У него одна роковая особенность — размер. Он точно подходит к стволу ружья Митягина и не подходит к его, Дудырева, двустволке.

Дудырев смотрел на свинцовый шарик и чувствовал, что все его существо восстает против этой улики. Убийца! Он, который все силы, всю жизнь отдал на то, чтобы лучше устроить жизнь людям. Там, где он появлялся, проходили новые дороги, вырастали новые поселки, подымались столбы электролиний, дремота сменялась кипением. Для себя Дудыреву нужно очень мало: крышу над головой, не слишком прихотливую пищу и как роскошь раз в месяц свободный день, чтоб отдохнуть с ружьем на приволье. Все для людей — и бессонные ночи, и напряженные дни, и постоянный расход нервов. И ему предлагают признаться в самом страшном людском грехе — в убийстве.

Мутный рассвет, отяжелевшая от росы неподвижная листва кустов, распластанный человек в черном костюме, с выбившейся из голенища сапога штаниной, лысина Митягина, припавшая к груди убитого... Пройдут года, десятилетия, и все равно, вспоминая это, будешь содрогаться в душе. Существовала спасительная тайна, даже больше — существовала убежденность, что виновник не он, и если он, Дудырев, берет половину вины на себя, то только из чистой солидарности. В этом было что-то красивое, благородное, успокаивающее совесть. С этим еще можно жить, не терзая себя!

Свинцовая пуля, угрюмое лицо медвежатника... Нет, не может поверить! Не признает себя! Нет, нет и нет! Только не по доброй воле, лишь через силу, лишь припертый к стене, не иначе.

Семен ушел, унес с собой проклятую пулю...

Рабочий день, прерванный на каких-то пятнадцать минут приходом Семена Тетерина, пошел своим обычным порядком.

Дудырев отвечал на телефонные звонки, отдавал распоряжения прежним твердым голосом и все ждал, что дурная минута пройдет, он вновь обретет былую уверенность в себе. Но «дурная минута» не проходила.

Тогда он решил ехать к следователю. Нельзя больше терпеть неясности, может, там что-то прояснится... Дудырев вызвал машину.

18

Голос следователя был почтительно-бережный. Таким голосом разговаривают врачи у постели серьезно больного.

— Поверьте, мы не формалисты, хватающиеся за букву закона. Мы понимаем очевидную невиновность как Митягина, так и вас. Но поставьте себя на наше место. Представьте, что мы прикроем это дело, не доведем до суда. Стоит родственникам убитого поднять голос, указать на то, что был предупреждающий крик, что вполне можно было бы избежать несчастья, как сразу же мы оказываемся в незавидном положении. Нас упрекнут, что мы прикрываем преступную неосмотрительность.

— Не собираюсь толкать вас на незаконные действия,— возразил Дудырев.— Однако напоминаю, что справедливость требует наказания не одного Митягина, но и меня. Я в равной степени виноват.

Где-то в глубине глаз под бесстрастно опущенными веками Дитятичева промелькнула понимающая улыбка. И Дудырев уловил ее: следователь догадывается о его смятении. Этот внезапный наезд он расценивает как слабость всесильного Дудырева. И черт с ним! Пусть что хочет, то и думает. Ему, Дудыреву, нужна ясность: как держаться, как поступать? Он не может прикрываться Митягиным, по сути таким же безвинным, как он сам, но не может и с легким сердцем назвать себя убийцей. Как быть?..

— О наказании говорить рано,— с мягкой уклончивостью ответил Дитятичев.— Мы не выносим обвинитель-

ных приговоров, этим занимается суд. — Помолчал и доверительно добавил: — Думаю, что суд будет снисходителен.

— У вас был Семен Тетерин? — в упор спросил Дудырев.

— Только что ушел.

— Что вы скажете о его заявлении?

— О пуле?..

— Да.

— Думаю, что это грубая уловка.

— Почему так?..

— Пытается спасти своего старого знакомого. А так как он по натуре своей человек честный, не искушенный во лжи, то эти попытки выглядят весьма неуклюже. На что он рассчитывает. Дудырев — человек влиятельный, свалим-ка на него, ему все с рук сойдет. Но стоило этому Тетерину объяснить, что его поведение преступно, как сразу же дал задний ход. Лишнее доказательство, что мои догадки справедливы.

— Задний ход — доказательство?

— Вы же не откажете Тетерину в решительности. Его профессия уже сама по себе что-то значит. И если этот не робкого десятка человек не осмелился настаивать на своем, покорно забрал пулю, то всякие сомнения у меня исчезают — не верит в свою правоту. Значит...

— Значит, пуля фальшивая? — сумрачно перебил Дудырев.

— Да.

— Тетерин не робкого десятка — что верно, то верно. Но разве вам не известно, что офицеры или солдаты, не боявшиеся на войне смерти, без страха бросавшиеся в самое пекло, часто теряются и робеют в мирной обстановке перед сугубо штатским начальником? Не делайте далеко идущие выводы, что храбрый медвежатник спасовал перед вами.

— Хорошо, я соглашусь принять во внимание его пулю. Но ведь этим самым я впутая Тетерина в весьма неприятную историю. Если его пуля окажется фальшивой, ему придется отвечать за ложные показания с целью ввести следственные органы в заблуждение. Не говоря уже о том, что мы и для себя осложним и запутаем дело.

— Бонтесть осложнений?

— Я думаю, и вы бы на моем месте предпочитали простоту и ясность.

Дудырев с сумрачным вниманием вглядывался в Дитятичева. Тот сидел, выкинув длинные руки на стол, приподняв к ушам острые плечи,— полный почтительного бесстрастия, уверенный в своей правоте человек. Он терпит возражения Дудырева лишь из уважения к его особе.

— Разрешите напомнить вам один старый анекдот,— произнес Дудырев.

Дитятичев склонил голову: «Слушаю вас...»

— Пьяный ползает на коленях под фонарем. Его спрашивают, что, мол, ты ищешь. «Кошелек потерял». — «Где?» — «Да там», — кивает на другую сторону улицы. «Почему же ты тогда ищешь здесь, а не там, где потерял?» — «Здесь светлее...»

Впервые за весь разговор Дитятичев озадаченно взглянул на Дудырева.

— Чем же я напоминаю этого пьяного?

— Да тем, что боитесь сложности, ищете истину, где светлей да удобней, а не там, где она лежит на самом деле.

Дитятичев нахмурился.

— Не считаю удачным ваше сравнение,— ответил он с чуть приметной обидой.— Все данные за то, что Тетерин темнит, уводит от истины, но если он будет настаивать на своем, что ж, я пойду на любые осложнения.

Разговор, казалось, закончился ничем. Усевшись в машину, Дудырев продолжал досадовать: «Пуля-то Тетерина не только для меня, но и для него страшна. Пришлось бы следователю меня брать за шиворот, а это грозит столкновениями с райкомом, с областью. Ему проще Митягиным откупиться. Искать под фонарем! Как это подло! Что делать? Молчать? Наблюдать со стороны? Быть молчаливым помощником Дитятичеву?.. Подло! Низко!»

Как бы то ни было, а страх и растерянность отступили перед досадой и возмущением. Сейчас Дудырев думал о себе меньше.

Машина шла среди полей. Впереди показался лесок — густая, приветливая зеленая опушка. Но Дудыреву хорошо было известно: этот лесок — только декорация. От большой, некогда тенистой рощи теперь осталась узкая полоска, остальная часть вырублена под территорию строительства. Зимой и ранней весной, когда деревья не одеты в листву, с этого места сквозь стволы уже видны огни рабочего поселка.

Машина ворвалась в лесок и сразу же выскочила в

поселок. Среди торчавших пней стояли бараки, все, как один, новенькие, свежие, не обдутые еще ветрами, какие-то однообразно голые, с унылой ровностью выстроенные в ряды. Чувствовалось, что здесь люди живут временно, некрасиво, бивуачно. Сам поселок раздражает своей казарменной сухостью.

Будет отстроен комбинат, вокруг него вырастут дома, быть может, благоустроенные, быть может, красивые, но рядом с ними останутся и бараки. В них, уже покосившихся, осевших, латаных и перелатаных, непременно кто-то будет жить. Секрет прост: те строители, которые займут его, Дудырева, место, станут планировать жилье с расчетом на эти бараки. Раз стоят, — значит, жить можно, мало ли что некрасиво и неудобно — не до жиру, быть бы живу. Они, как следователь Дитятичев, не захотят лишних осложнений, станут искать решения попроще.

Он возмущался следователем. А сам?.. Настаивал строить не капитальное жилье, а бараки, приводил веские доводы — быстро, дешево, просто... Главное, просто! Не надо будет изворачиваться и экономить, не надо задумываться — откуда оторвать рабочую силу, не надо беспокоиться, что сорвешь утвержденные планы. Проще! Легче! Разве это не называется — искать под фонарем?

Дорога спускалась к котловану. Развороченная, растерзанная земля лежала внизу. Над ней, притихшей, израненной, успокоившейся на короткое время, в багровом закате летали чайки.

Дудырев сейчас начинал понимать то, о чем раньше, как ни странно, не задумывался: истина и счастье людей неотделимы друг от друга, а счастье же слишком серьезная вещь, чтоб давалось легко; под фонарем, где светлей да удобней, его не найдешь.

19

Вынутая из медведя пуля стала наказанием для Семёна Тетерина. До сих пор он покойно жил, никого не боялся, любому и каждому мог без опаски смотреть в глаза. Сейчас же, выходя из своего дома во двор, он каждый раз оглядывается — не столкнется ли с Митягиным или с Настей, не нарвется ли на попреки или расспросы. Даже один вид митягинских ребятишек, возившихся с гамом и смехом целыми днями в проулке перед домом, смущал и расстраивал.

Стала для Семена страшным человеком и Глашка Попова, бегавшая иноходью из деревни в деревню с почтовой сумкой. Всякий раз, когда Глашка, пыля сапогами, бежала вдоль села, падало сердце: повернет к нему или проскочит мимо? А после того как она пробежала мимо, почему-то становилось еще более беспокойно — лучше бы принесла этот вызов к следователю. Семен представлял себе лицо Дитятичева, суховатое, с тонкими мягкими губами, с лопушистыми серыми ушами, его спокойный холодный взгляд. При одной мысли, что этот человек будет смотреть на него, допрашивать, тянуть душу, Семен заходя чувствовал себя преступником. Пуля! А ну, докажи, что это та самая. Митягина спасаешь, знаем, не без умысла: ежели на него падает вина, то и у самого рыльце пушком обрастет — на медвежью охоту неумелого взял, твоя неосмотрительность до беды довела. И то, что следователь медлил, не вызывал к себе, казалось Семену дурным знаком. Что-то там за его спиной придумывают, какие плетут петьльки?..

В первые дни Семен опасался, что Митягин покою не даст — каждый день будет приходить и жаловаться. Но Митягин вылезал из дома только на работу. Из окна по утрам Семен видел, как фельдшер, уставясь в землю, словно высматривал что-то оброненное, шел, волоча ноги, в сторону медпункта. Ежели кто-нибудь окликал его, испуганно оборачивался, прибавлял шаг.

Как-то Семен столкнулся с ним нос к носу. Виски впали, хрящеватый нос туго обтянут кожей, в глазах дурной блеск, под глазами круги — эх, перевернуло мужика. При виде Семена Митягин съежился, заморгал, уставился куда-то в сторону.

— Оно надо же, беда свалилась... Кто ж гадал... — виновато забормотал он, пряча глаза.

И Семен понял, что фельдшер сам избегает с ним встречи, ничего не знает, верит, что убил он, мучится. Сжалось сердце, хотелось выложить начистоту: «Твоя пуля медведя свалила, а не человека...» Но скажи, а Митягин шум подымет, начнет требовать — действуй, вызволяй из беды! Рад бы, а как? Мимо Дитятичева не пройдешь, а тот в один узелок свяжет Митягина и его, Семена.

Только и нашелся Семен, что сказал:

— Ты того, дружок... Не убивайся шибко-то...

Но Митягин с натугой, словно шею его душил ворот рубахи, покрутил лысиной, махнул рукой.

— Беда ведь... Эх!

На этом и расстались.

У Семена появилась новая забава, от которой порой становилось тошно. Он скрывался от старухи в свою боковушку, высыпал на дощатый стол пули — весь запас, какой был, — а рядом с ними клал ту, проклятую, вынутую из медведя. Потом долго перебирал, внимательно сравнивал — есть ли отличка. Нет, не было. Брось эту пулю в общую кучу — затеряется. Странно, маленький, ничем ровным счетом не приметный свинцовый кругляш — мертвая вещь, но в нем какое-то зловещее колдовство! Запутывает, раздирает душу, и не бросишь его, не отделаешься. Казалось бы, что стоит легонько подтолкнуть к куче других пуль — и не разберешь потом, какую же вынул из-под медвежьего черепа. Подтолкни... А завтра выбегут на улицу митягинские ребятишки, будешь на них глядеть и казнить — в руках правду держал, помочь мог бы, ан нет, испугался. И хочется подтолкнуть, и нельзя.

Семен опускал пулю в карман, но каждый раз оставалось такое чувство, что положил не ту, а какую-то другую. Каждый раз испытывал тоскливое бессилие — раз все пули друг на друга так похожи, то неси любую и доказывай: в ней правда спрятана. Кто поверит? А не поверят, то и нычаться нечего с пульей, зря мучить себя...

Строже всего Семен хранил тайну от жены. Баба и есть баба — волос долог, да ум короток. Поведай, не утерпит — разнесет по селу. Проще признаться Митягину. Но с кем-то хотелось поделиться, услышать со стороны добрый совет. Один на один с этой трижды проклятой пулей можно сойти с ума.

Самым уважаемым по селу человеком был Донат Горовиков, председатель колхоза. Он в председатели был избран давно, лет пятнадцать назад. Но добрых лет десять ни он сам, ни его колхоз ничем не выделялись среди других. Вырвался как-то неприметно: выстроил новую свиноферму, новый скотный двор, птицеферму с инкубатором и пошел разворачиваться. Раньше Донат был тощ, вертляв, теперь стал осанист, басовит, нетороплив, его имя печатали в газетах, на районных собраниях выбирали в президиумы...

Семен по давней дружбе часто заглядывал к Донату. Тот ставил для медвежатника поллитру и просиживал с ним за полночь, беседуя об охоте, о глухих лесных местах, о рыбных озерах в лесу, хотя сам ни охотой, ни рыбалкой не баловался.

Ему-то и открылся Семен.

— Да-а, история,— протянул Донат. Он сидел за столом в натальной рубашке, краснолицый, благодушный, разморенный пропущенным стаканчиком.

— Поганая история, больше некуда,— поддакнул Семен.— Скажи: ты-то хоть веришь ли мне?

— В чем?

— Что пулю вытащил из медведя, а не подсунул ее.

— В это верю. Только хочу совет дать: ты эту пулю при себе храни, а не шуми о ней на всех углах.

— Эко! Не шуми... Ты тоже хочешь правду упрятать?

Донат удобнее устроился за столом, заговорил внушительнее:

— Правда?.. А ты задумывался когда-нибудь, что это такое? Вот я снял Гаврилу Ушакова с заведования молочной фермой. Он говорит: я полжизни на этом месте проработал, все силы отдавал, коли какая-нибудь корова растелиться не могла, ночами не спал, дежурил, нянчился. Правда это? Слов нет, правда — и сил не жалел, и ночами не спал. А все-таки я пошел понерек его правды. Гаврила — старик, образования никакого, поровит все сделать, как бабки да деды делали. Мы ему покупаем разные там электродойки, проводим автопоилки, налаживаем подвесные дороги, а они ему не к рукам — ломаются, стоят без пользы, ржавеют. Прикинул я: Гаврилино руководство только за два года вытряхнуло на ветер из колхозного кармана тысяч триста, ежели не все четыреста. Вот тебе две правды — его и моя. Представь, что я с Гаврилиной правдой соглашусь, — то-то будет житуха в нашем колхозе!

— Ты к чему гнешь, Донат?

— К тому, Семен, что, кроме митягинской правды, которую ты выковырял из медведя вместе с пулькой, есть и другая. Я этих судебных законов толком не знаю, но, видеть, так уж положено: раз человека убили — верно, для острастки другим следует наказать. Скажешь — глупо. Согласен! Я и сам хотел быть милосердным. Но ведь не мы с тобой законы выдумываем. Будем считать, что кто-то непременно пострадать должен. Ты вот докажешь, что виновен Дудырев, что его по всей строгости должны в каталажку упрятать, с работы убрать. Буду я этому рад? Нет! А почему? Да потому, что боюсь — заместо Дудырева сядет какой-нибудь тип, пойдет тогда на строительстве, как на престольном празднике: кто-то стекла бьет, кто-то шкуру рвет. Интересно это мне, к примеру? Да упаси бог, сплю

и вижу тот день, когда этот комбинат рядышком станет, рабочий класс вокруг него поселится. Еще в позапрошлом году семьдесят тонн капусты свиньям скормил. Вырастить-то эту капустку мы вырастили, а продать — шалишь. Пока из наших глухих мест по бездорожью на бойкое место ее вывезешь, она так в цене подскочит, что и глядеть-то на нее покупатель не хочет. А тут под боком у меня будет постоянный покупатель. Я ему и капусту, и помидорчики из теплиц, и огурчики — ешь витамины, рабочий класс, плати звонкой монетой. Мои колхозники на эту монету в твоих же магазинах велосипеды и мотоциклы покупать будут... Любый бабе, любому парню, на кого ни укажи пальцем, — все выгодно, чтоб строительство шло как по маслу, не срывалось бы, не разваливалось, чтоб Дудырев сидел на своем месте. Эта ваша глупая оказия, на поверку, не только Дудыреву коленки подобьет — нам всем по ногам ударит.

Семен остекленевшими глазами разглядывал распаренное лицо Доната Боровикова. Знаком с ним много лет, казалось, знал всего — и с изнанки, и снаружи — до мелочей. Не злой человек, не попрекнешь, приходи с нуждой — с порога не повернет, а на вот — по его словам, безвинного можно в крупу истолочь, чтоб других накормить. Добро строить на погибели!..

— Неужто тебе, Донат, Митягина не жаль? Одумайся, у него ж ребятишек куча.

— Мне и Гаврилу было жаль снимать с работы.

— Но ты Гаврилу не в тюрьму упек, а на другое место пристроил, вроде не такое уж и безвыгодное для Гаврилы.

— Эх, ежели б мне такая сила была дана — всех пристраивать, всех ублажать. Так нет такой силы. Не бывает! Приходится изворачиваться, а там долго ли толкнуть кого ненароком. Не для себя, для общей пользы толкаешь.

— Не по совести говоришь, Донат.

— По жизни говорю. А жизнь тебе не коврижка с медом, иной раз вжуешься — скулы сводит, а глотать нужно.

Семен широкой грудью навалился на стол, снизу заглянул в самые зрачки Доната:

— Вот мы сейчас пьем как дружки задушевные, знаю — на меня зла никакого не имеешь. Не за что... Скажи: можешь ты меня, как Митягина, для общей пользы в яму пихнуть? А?

Донат с минуту сопел в тарелку с надкушенным огурцом, затем твердо ответил:

— Ради общей пользы я себя пхну куда хочешь. А уж ежели своей башки не пожалею, то и твою навряд ли...

Семен встал — зазвенела посуда на столе.

— Себя можешь пхать, а меня спроси сперва — хочешь ли?

— Ты куда это?..

Семен не ответил.

20

От любых напастей Семена всегда спасал лес. Находила дурная минута, не глядя — вечер ли на дворе или раннее утро, — брал ружье, оставлял порог дома и ударял куда-нибудь подальше — в Кошелевскую тетеринку или в Глуховскую, что стоит на самой окраине его владений. Спал то в пропахшем дымом срубе, то под осевшим стожком сена, ловил рыбу в черных озерах, бил уток, нек их поохотничьи на костре, в угольях, обмазав перья глиной или жидкой грязью. И всегда из лесу Семен возвращался помолодевшим, каким-то чистеньким изнутри. Лес обмывал душу, лес наделял силой, всякий раз после леса завтрашний день казался приветливым. Не было лучшего друга у Семена, чем лес.

И Семен решил бежать от всего — от следователя, от Митягина, от истории с проклятой пулей, — бежать в лес.

От мягкого утреннего зарева подрумянились крыши и стены домов. Улицы села были пусты, на пыльной дороге бестолково судачили галки. Калинка, бежавшая впереди хозяина, вспугнула их. Птицы с гневным криком сорвались в воздух. Семен размашистым шагом миновал село, свернул с дороги, тропкой вдоль поля ржи направился к лесной опушке. Знакомый путь — пересечет первый лесок, обшаренный бабами и детишками, набегавшими сюда за грибами и ягодами, километров пять пройдет полями, снова лес с покосами, потом покосы кончатся и там уж начнется лес серьезный...

Семен шагал почти на хвосте Калинки, резво бегущей впереди. К черту все! Митягин, Дудырев, следователь, пуля, разъедающие душу мысли! К черту! Луг от росы морозно-матовый, вылунился краешек солнца, растопил кромку леса, косо легли от деревьев влажные тени. И воздух легкий, подмывающе свежий, дышишь им, и кажется, что растешь вверх. И птицы поют, и начинают пробовать силы кузнечики, и в ложбинках лениво тронулся слежав-

шийся за ночь туман. Вроде привык к этой красоте, сколько раз видел ее, сколько раз встречал по утрам солнце, а вот идешь, дивишься, словно видишь впервой. К черту все! Жалок тот, кто спит сейчас в теплой постели, не видит этих простеньких чудес с набухающим туманом, с выползающим солнцем. Мелок тот душой, кто, проспав рождение солнца, сразу нырнет в обычные дела, закрутится в досадных заботах — заболела корова, обижен бригадиром, страшают судом. К черту все, что осталось за спиной! Семен Тетерин быстрым шагом уходил в лес...

Солнце поднялось, высушило росу. Утро кончилось, наступил день. А Семен все шел и шел, не сбавляя шага. Шел, не зная куда, без цели, без мысли, бежал дальше от села — лишь бы в лес, лишь бы забраться глубже.

Тепи съжились, листва, обмытая росой, радовавшая глаз яркостью, теперь потускнела. Начался день, и сразу все стало на свои места — привычно кругом, буднично, скучновато. Но Семен подгонял себя, боялся — пропадет азарт.

В полдень его занесло в болото.

Наверное, не бывает на свете печальнее места, чем лесное болото в солнечный полдень. Ночь еще как-то прячет его устрашающую унылость. В кочках и вмятинах мшистая земля, бесконечный частокोल рахитичных, засушенных обилием влаги елочек. Их стволы тощи, шершавы, похожи один на другой. Взгляд проникает сквозь них, пока не увязнет в каком-то сизом тумане, — это тысячи дальних и близких стволов сливаются в рыжую муть. Проклята та земля, что плодит такой жалкий лес. Ни в каком другом месте человек не чувствует так свое одиночество. И не только человек — зверь обходит стороной болото. Только глупые куропатки жируют на кочках черники и брусники.

Семен остановился и сразу почувствовал, что устал, — ружье оттягивало плечо. Вот и лес. Пришел... А что дальше?.. Калиника, усевшись в стороне, выжидающе поглядывала на хозяина.

Искать зверя, загнать, пристрелить? А зачем это? Он никогда раньше не задавал себе такого вопроса. Раз пришел в лес — действуй, показывай охотничью сноровку. Сейчас задумался: блуждать, искать след, гнаться, выбиваясь из сил, убить. А ради чего?.. Ради мяса? Ради шкуры?.. Ничего не нужно.

Ружье оттягивало плечо, во всем теле нехорошая истома, хочется выбрать место посуше и лечь. Никогда прежде

не уставал, мог колесить по лесу целые сутки, десятки верст бежать без передышки за зверем — усталость приходила только во время привалов вместе со сном.

Мертвая пустыня, украшенная тощим ельничком, окружала его. Воздух парной, удушливый, не свистели птицы, не надрывались кузнечики. Пусто. Только Калинка сидит и ждет приказа. Один.

Он ушел от людей. А они живут себе по-своему. Должно быть, у скотного двора доярки загружают подъехавшую полуторку бидонами, смеются, весело перебраниваются с шофером, на лугах за речкой трещат косилки, мужики навивают стога. Плохо ли жить, как все живут! Разве лучше торчать в болоте, одному, с глазу на глаз с Калинкой? Надо возвращаться... Возвращаться?! Чтобы и день и ночь думать о проклятой пуле, сидеть дома в четырех стенах, держать себя под арестом — лишь бы не видеть ни Митягина, ни Насти, ни их ребятишек...

Донат Боровиков, ежели поразмыслить, столько же виноват, сколько и он, Семен. Но этот Донат сидит, верно, сейчас у себя в кабинете, уточняет сводки из бригад, думать не думает ни о Митягине, ни о пуле, что вчера показывал ему Семен. Рассуждает: себя пихну, другого не пожалею... Беды крутой не ведывал, потому и на людей с кондачка смотрит. Но Донат сторона, а вот Дудырев... Неужели и он спокоен, забыл обо всем, покрикивает себе по телефону? Вот уж у кого, верно, черная душа да каменное сердце...

Семен стоял посреди кочек, плотно заросших черничным листом, и сжимал тяжелые кулаки. Высоко сидит этот Дудырев, не замахнешься, был бы попроще, научил бы его Семен совестливости.

И вдруг охватило озлобление. Донат Боровиков не думает, Дудырев не травит себя, а он, Семен Тетерин, хочет быть лучше других, эго! Вздумалось болящего Христа из себя корчить. Для него Митягин такой же сват и брат, как, скажем, для Доната. Все спокойны, людская беда как с гуся вода, отряхнутся — сухи и чисты. А он убивается, пулю таскает, то Дудыреву, то следователю эту пулю под нос сует. Их мутит от этой пули, зубы показывают, как Калинка при виде палки. Простак ты, Семен, простак. Считаю, век прожил, а до сих пор в ум не возьмешь, что плетью обуха не перешибают. Дудырев и следователь не медведи, с лесной ухваткой не сваишь. Малой шавке не след на матерых волков лаять. И перед Митягиным от стыда кор-

читься нечего. Помогай там, где можешь помочь, не можешь — живи себе в сторонке. А пуля?.. Да будь она неладна!

Семен сунул руку в карман, вытащил пулю, хмуро оглядел ее в последний раз и бросил в сторону. Калинка, следившая за хозяином, метнулась туда, куда упала пуля, обнюхала, сконфуженно отошла.

Спохватись сейчас Семен, примись искать, навряд ли бы нашел ее среди кочек в высоком мху. Кусок свинца, хранящий в себе правду, исчез для людей.

Семен повернулся, решительно зашагал прочь в сторону села.

21

Дудырев почти ничего не знал о Митягине. За короткое знакомство во время охоты этот человек оставил у него смутный след — ничем не примечателен, не интересен. Жалость к Митягину была, но слишком общая, отвлеченная, так жалеют, когда прочитают в газетах о пассажирах, погибших во время железнодорожной катастрофы. Нет, не жалость заставляла Дудырева верить Семену Тетерину, не она толкала — действуй, не успокаивайся, добивайся истины. Просто одна мысль — прикрываться слабым и беззащитным — была противна Дудыреву. Разве можно после этого относиться к себе с уважением? Жить с вечным презрением к себе — да какая же это жизнь!

При новой встрече со следователем Дудырев стал спокойнее и твердо доказывать, почему верит Семену Тетерину. Если б охотник задался целью во что бы то ни стало спасти соседа, то поступал бы более осмотрительно. Он бы мог придать пуле нужную форму, а не обкатывать ее. Он бы понес пулю не к нему, Дудыреву, а прямо к следователю. Наивная доверчивость не совмещается с характером человека, который решился на заведомый обман... Сухостойное дерево... Но оно не прикрывало собой всю лаву. Нет прямого доказательства, что парень упал в воду точно на середине реки. Это догадки...

Когда Дудырев пункт за пунктом объяснял Дитятичеву, в кабинет, постукивая палкой, вошел прокурор Тестов, уселся в кресло, вытянув негнущуюся ногу, из-под курчавых волос уставился прищуренными глазами.

Дудырев привык к уважению в районе, к тому, что его словно ловят на лету. Но на этот раз его напористые, ре-

шительные доводы не производили впечатления. Лицо Дитятичева было, как всегда, вежливо-бесстрастным, прокурор же с любопытством щурился, и под его жесткими ресницами в темных глазах пряталась снисходительная усмешка. И едва Дудырев замолчал, как следователь сухо-вато и обстоятельно начал возражать:

— Ваши рассуждения не лишены интереса, но... отмахнуться от врачебной экспертизы, с распростертыми объяснениями ринуться навстречу весьма сомнительным доводам охотника... К тому же, как кажется, он лицо заинтересованное... Друг Митягина...

А прокурор, внимательно глядевший до сих пор на Дудырева, отвернулся, спрятал лицо.

Они не соглашались и не собирались соглашаться. Дудырев, выступающий против Дудырева,— некий любопытный парадокс, чудачество почтенного человека, уверенного в своей полной безопасности. И Дудырев понял — им немного неловко за него: зачем эта неискренняя игра, к чему казаться святей папы римского?

А ведь прокурор Тестов славился по району как недюжинный человек. Он заядлый книголюб, знает наизусть стихи Блока и Есенина, ходит молва, что в обвинительных речах проявляет мягкость и уступчивость. Как он-то не понимает, что со стороны Дудырева не фальшь, не поза, а обычная норма поведения. Как не догадывается, что нельзя уважать себя, свершив подлость, пусть не своими, а чужими руками.

Дудырев против Дудырева. Он выступает против своего, известного всему району имени. Имя — бестелесный звук, но оно могуче, оно грозит прокурору и следователю осложнениями, заставляет их искать удобные пути, искать истину «под фонарем». И сам Дудырев, с его напористостью, твердостью, отделившись на время от своего имени, оказывается бессильным что-либо сделать...

— А все-таки прислушайтесь...— сказал он мрачно.— Прислушайтесь и не опасайтесь за то, что я окажусь в невыгодном положении. Мне легче будет, если я отвечу за свою вину, чем спрячусь за чью-то спину.

Последние слова он произнес с такой угрюмой настойчивостью, что прокурор с удивлением поднял голову, а бесстрастное лицо Дитятичева дрогнуло, слегка вытянулось. Они поняли наконец, что с ними не шутили, не играли в благородство.

Ответил прокурор:

— Хорошо. Мы еще раз попытаем этого Тетерина... И поверьте, беспристрастно.

— Именно этого я и добивался.

Дудырев вышел, а прокурор и следователь с минуту сидели молча. И только когда от крыльца донесся подвигающий звук стартера дудыревской машины, Дитятичев произнес:

— Черт его знает, донкихот какой-то.

Прокурор, задумчиво щуря глаза в угол, возразил после минутного молчания:

— Скорей Нехлюдов... Иной раз прорывается в душе русского человека эдакая совестливость, которая в Сибирь гонит вслед за ссыльной проституткой.

22

На следующий день Дитятичев вызвал к себе Семена Тетерина. Стараясь придать своему голосу мягкость, он попросил рассказать, как и при каких обстоятельствах была найдена пуля, не сможет ли Семен Тетерин назвать свидетелей, видевших пулю до того, как она была обкатана.

Обветренное лицо Семена потемнело еще сильнее.

— Нет пули,— ответил он глухо.

— Как так нет? Вы ее доставали или не доставали?

— Считаю, что не доставал. Нету — и все.

Плотно сжав губы, следователь с презрением разглядывал охотника. Как обманчив бывает вид. Вот он сидит перед ним сторбившись, тяжелые плечи покато опущены, лицо угрюмое, суровое, шрам на скуле придает особую диковатую силу — бесхитростное, честное лицо, а глаза прячет, отвечает с подозрительным раздражением, отрицает то, что говорил прежде.

— Мне нужно знать точно: нашли вы после врача пулю в трупе медведя или не нашли?

Долго молчал медвежатник, наконец выдал:

— Не нашел...

— Значит, вы лгали мне в прошлый раз?

Снова молчание.

— Лгали или нет!

— Считаю, как хошь...

Дитятичев ничего не выжал из Семена.

А Семен, шагая домой, вспомнил, как мягко, почти ласково начал свой допрос следователь. Лисой прикидывается, про пулю признаться понуждает, а для чего? Угадать не

трудно — решили его, Семена Тетерина, пришить к Митягину: мол, одна бражка, один и ответ держать. Прост ты, Семен Тетерин, лесная дубина. Долго ль им, ученым да сноровистым, вокруг пальца тебя обвести? Нет, шалишь, в лесу похоронена пуля, словечка о ней клещами теперь не вытащат. Но ведь они и без пули могут придрататься. Запутают, придется на старости лет сухари сушить, в дальнюю дорогу за казенный счет ехать. Срамота какая!

С этого дня не укоры совести мучили Семена Тетерина, а страх. Все казалось, что за его спиной против него затевается страшное, тайное, непонятное, против которого не попрешь, с чем не схватишься в открытую, не оборонишься кулаком. Бессильным чувствовал себя Семен, впервые в жизни бессильным и беспомощным, словно младенец.

23

Прошло лето, зарядили дожди, развезло дороги. В эту осень не было золотых деньков, не сияли березовые перелески под негреющим солнышком, не полыхали багрянцем осины, не заматало тележные колеи шуршащей листвой. Никто и не заметил, как оголились леса, как ударили первые утренники.

Всю осень воевали за хлеб. Многие учреждения в райцентре закрылись, служащие разъехались по колхозам. Дудырев отрывал рабочих от строительства, посылал на поля.

В суете и заботах люди совершенно забыли о несчастье, которое случилось во время охоты в середине лета. И если кто ненароком ронял об этом слово, равнодушно отмахивались — старые дрожжи поминать дважды.

Митягин жил по-прежнему тихой жизнью, из дому выходил только на работу, постарел, потускнел, как-то ссохся, казалось, стал меньше ростом. Он перестал выпивать, возился с ребятишками, копался на огороде, покорно сносил нападки сварливой Настасьи. В их семье наступил мир и покой, какого, пожалуй, не бывало со времен свадьбы.

Митягин и Семен Тетерин сторонились друг друга, при встречах перекидывались двумя-тремя ненужными словами, про охоту не вспоминали.

Семен, как и все, помогал колхозу — отремонтировал сушилку, работал на токах. В лес выбирался изредка, но в эту осень ему не везло — всего только и добычи, что принес лису-огневку. На одном из таких неудачных выходов

Калинка сломала ногу, кость не срасталась — сказывался возраст, как-никак по собачьему веку старуха.

Временами и Семен забывал о несчастье, по несколько дней не вспоминал о пуле. Но всегда после таких спокойных дней тревога охватывала с новой силой. Притихли, забыли, не напоминают о себе! Перед грозой-то всегда затишье бывает. Не могут же они забыть начисто, не миновать суда. Грянет гром — по кому-то ударит. Правда, следовательно больше его не тревожил, с него, Семена, не взяли подписки о невыезде, как это сделали с Митягиным. Но что там подписка — знают, что и без нее Семен никуда не денется. Суд-то будет, уж спросят о пуле, начнут при народе пытать. Нет пули — и шабаш! Не хочет он принимать во чужом пиру похмелье.

По-прежнему с глухой тайной ненавистью вспоминал о Дудыреве. И больше всего возмущало, что люди в один голос хвалили начальника строительства: Дудырев собирается бараки сносить, каждой семье квартиру обещает, прогнал с работы половину снабженцев, он и обходителен, он и добр... Семен-то знает его доброту. Ох, люди — за полущку покупаются!..

При первых заморозках в дом к Семену ворвалась Глашка Попова, принесла повестку на суд...

Семена усадили в соседней комнате, в одиночестве. Он сидел и прислушивался к глухим голосам, доносившимся из-за стенки, представлял себе Митягина — на него глазят из зала, шушукуются, показывают пальцами. Пожалуй, нет ничего на свете страшнее, чем торчать вот так перед людьми покрытым срамом. Семен согласился бы выйти против разъяренной медведицы с голыми руками, чем оказаться сейчас в шкуре Митягина.

Рядом с Митягиным, верно, сидит и Дудырев. Как ни крутился следовательно, а, должно быть, не сумел совсем выгородить начальника строительства — все же причастен к убийству. Но всем ясно: Дудырев сидит ради приличия. Митягин и стреляет хуже, и дерево сухостойное позади медведя стояло для него невыгодно — вся вина на нем, ему и ответ держать. Дудырев посидит, может, покраснеет даже, а потом отряхнется — что ему, непременно оправдают.

Семен ждал долго, изнывал от страха, томился. Наконец открылась дверь.

— Свидетель Тетерин! Проходите!

Он встал перед столом, боком к народу, мельком увидел — в первом ряду восседает Донат Боровиков, смотрит в упор на Семена, и взгляд его торжественно-тяжелый, чужеватый, без сочувствия. Других не различал, по чувствовал, что и все смотрят на него выжидающе, по-чужому.

Народного судью — Евдокию Павловну Теплякову — Семен часто встречал в районе, как-то даже случалось беседовать на берегу реки, ожидая перевоза. Помнится, говорили тогда о сущей ерунде — о грибах, которые в том году росли паотличку. Теплякова — женщина тихая, многосемейная, вечно озабоченная. Сейчас Семен видел ее руки, лежащие на каких-то бумагах, — руки хозяйки, шершавые, с коротко подстриженными ногтями, видать, и бельишко стирает ребятам, и полы моет, и картошку копает. Без мужа живет, тоже бабе приходится из кулька в рогожку переворачиваться.

Теплякова и все остальные, что плотно, с разных сторон обсели стол, — люди как люди, должно, не злы, при случае готовы и пожалеть, и посочувствовать, и помочь в беде. При случае, а не сейчас. Сейчас-то между ними и Семеном Тетеринным стоит красный стол.

Теплякова скользнула отрешенным взглядом, взяла бумагу со стола.

— Свидетель Тетерин Семен Иванович, год рождения 1904, промысловик-охотник, место жительства — село Волок Густоборовского района... Свидетель Тетерин, вас поставили в известность, что за ложные показания вы привлекаетесь к уголовной ответственности по статьям?..

Голос Евдокии Тепляковой нисколько не похож на тот, каким она разговаривала с Семеном о грибах.

— Свидетель Тетерин! — К нему обращаются торжественно, его величают строго. — Расскажите суду, что произошло на охоте в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июля сего года. Постарайтесь припомнить все.

Семен робко кашлянул в кулак и начал, запинаясь, рассказывать о том, как собрались на охоту, о том, как гнали медведя, о том, как выгнали его к лаве, как он, Семен, услышал гармошку, успел крикнуть...

— Свидетель Тетерин, вы видели, чтобы подсудимый Митягин когда-нибудь занимался до этого охотой?

У Семена уало сердце: «Вот оно, копают».

— Н-нет, — признался он.

— Вы знали, что он не умеет обращаться с ружьем?

— Н-нет... Говорил, что баловался прежде.

— И вы поверили?

— Поверил.

— Свидетель Тетерин, вы как-то предъявили следователю пулю, которую вы якобы достали из убитого медведя. Вы уверяли, что врач, искавший эту пулю, не нашел ее. Вы подтверждаете это?

Вот оно... У Семена стали мокрыми ладони, он молчал, сутулился, угрюмо уставившись в пол. Вот оно — самое страшное, вот оно — пробил час. Много дней и недель жил в страхе перед этим часом. Все молчат, ждут, что он скажет. Молчит и он. Признаться? Сказать правду? Спросят: где пуля, покажи! А пуля лежит во мху, среди кочек, затерялась в глухом болоте, сам черт ее теперь не отыщет.

— Свидетель Тетерин, вам понятен вопрос?

— Нету пули, — выдавил из себя Семен.

— Вы утверждаете, что не показывали пулю следователю?

— Никакой пули не знаю.

— А вот здесь запротоколировано черным по белому, что шестнадцатого июля сего года, на следующий день после события, вы принесли следователю Дитятичеву пулю, вынутую, по вашим словам, из трупа медведя и подходящую под калибр ружья, которым пользовался Митягин... Приносили пулю или не приносили шестнадцатого июля, сразу после охоты? Да или нет?

— Не-ет.

— Что означает ваше «нет»? Приносили пулю или не приносили?

— Приносил.

— Вы, как сообщил следствию Дудырев, и ему показывали эту пулю?

— Показывал и ему.

— На следующих показаниях вы отрицали, однако, что эта пуля у вас есть, что вы достали ее из медведя?

— Отрицал, — признался Семен, еще ниже опуская голову.

— Значит, это пуля не из медведя, вы просто принесли другую нулю из своих запасов? Не так ли?

Семен молчал. Он чувствовал себя совсем раздавленным, тело стало грузным и непослушным, ноги вялыми, колени дрожали от напряжения. Вконец запутался. Если он скажет правду, что вынул из медведя, что нашел ее под самым черепом, в шейном позвонке, что сам раскатал ее, тог-

да спросят: почему раньше увиливал? Чему верить? Зачем водите суд и следствие за нос? Где пуля? Почему вы ее бросили? Конца и краю не будет расспросам. Все равно правда похоронена вместе с нулей.

Суд ждал, без конца молчать было нельзя, и Семен, набрав в грудь воздуха, с усилием выдавил лишь одно слово: «Да», — лживое слово, прозвучавшее придушенно.

— Не из медведя? — уточнила Теплякова.

— Да...

— Вы ее принесли для того, чтобы спасти от наказания Митягина?

Надо было лгать и дальше, Семен снова с усилием выдавил:

— Да...

На минуту наступило тяжкое молчание. Семен стоял, опустив голову.

— Со стороны обвинения будут вопросы?.. Со стороны защиты?.. Нет. Свидетель Тетерин, имеете ли вы что-нибудь добавить к своим показаниям?

Семен Тетерин ничего не имел, он еле держался на ногах.

— Свидетель Тетерин, вы свободны. Можете пройти в зал и присутствовать на заседании.

Спотыкаясь, никого не видя, Семен направился на народ. Кто-то — он не видел кто — пожалел его, уступил место на скамье. Семен грузно опустился. Сидел, уставившись в пол, до тех пор, пока не услышал голос Дудырева.

В мягкой кожаной куртке, чисто выбритый, прочно стоящий на расставленных ногах перед судебным столом, по всей вероятности не испытывавший ни смущения, ни волнения, коротко, точно и спокойно Дудырев отвечал на вопросы. Слышал ли он предупреждение Семена Тетерина? Да, слышал, но не мог уже остановиться, выстрелил почти одновременно с выкриком. Слышал ли он звук гармошки? Нет, не слышал...

После обычного завершающего вопроса: «Имеете ли вы что-нибудь добавить к своим показаниям?» — Дудырев чуть вскинул тяжелую голову и твердо сказал:

— Да, имею.

Зал, и до этого внимательно-настороженный, притаился за спиной Семена Тетерина так, что Семен услышал свое напряженное дыхание.

— Мне известно, — размеренно и по-прежнему спокойно начал Дудырев, — что ряд косвенных улик, принятых во

внимание следствием, отягощает вину Митягина и облегчает мое положение. Поэтому сейчас, перед лицом суда, хочу заявить: не считаю себя менее виновным. Мы одновременно выстрелили. Я стреляю лучше Митягина, но это не может гарантировать полностью того, что я не мог промахнуться. Указывают на местоположение сухостойного дерева, которое прикрывало от меня середину лавы. Но достаточно было потерпевшему выдвинуться вперед на полшага, а пуле пролететь в каком-нибудь сантиметре от ствола дерева, как обвинение против Митягина рушится. Свидетель Тетерин отрицает теперь наличие пули. Я не собираюсь ни уличать его, ни попрекать в непостоянстве. Пули нет, кто из нас убил — для меня до сих пор тайна, как и для всех. Мы оба повинны, оба в одинаковой степени!..

Зал одобрительно загудел.

— Но это не значит, что я покорно признаю себя виновным. Думаю, никто не решится упрекнуть ни меня, ни Митягина в преднамеренном убийстве. Нас могут судить лишь за неосмотрительность. Но является ли эта неосмотрительность преступной? Мы стреляли в лесу, где никакими законами, никакими частными предупреждениями стрельба как таковая не возбраняется и не ограничивается. Мы не могли предположить, что за кустами может оказаться живой человек. Место, где мы стреляли, чрезвычайно безлюдно, прохожие встречаются на дня один, от силы два раза. Как я, так и Митягин не слышали гармошки. Ее услышал Тетерин, не в пример нам обоим более опытный охотник. Выкрик Тетерина прозвучал почти одновременно с выстрелами, мы просто физически не успели сообразить. И мне думается, никто не позволит себе допустить такую мысль, что мы решились спустить курки, услышав выкрик, поняв его значение. Я не считаю себя совершившим преступление, а следовательно, не считаю преступником и Митягина. Если же суд не согласится с моими доводами, посчитает нужным вынести наказание, то это наказание я в одинаковой мере должен нести с Митягиным.

Семен слушал Дудырева, сидел, вытянувшись, с каменно-неподвижным лицом, из-под скулы, приподнятой шрамом, глядел с суровым прищуром. И если б кто-нибудь в эту минуту взглянул в него, то все равно не смог бы разглядеть, что этот человек с каменным лицом корчится сейчас внутри от стыда.

Прокурор не настаивал на наказании. Народные заседатели совещались недолго.

Суд оправдал Митягина, приняв во внимание, что крик Семена Тетерина, предупреждавший об опасности, прозвучал слишком поздно.

Семен вместе со всеми стоя выслушал этот приговор, вместе с одобрительно гудевшей толпой вышел из суда на улицу и только там натянул на голову шапку.

Люди не спешили расходиться, топтались по только что выпавшему снегу, радостно переговаривались между собой. Каждый чувствовал, что совершилось что-то доброе и красивое. И все в эту минуту, столпившись под лампочкой, в жестяном абажуре, качавшейся от легкого ветерка на столбе, простосердечно тянулись друг к другу, хотели продлить праздничную минуту.

Митягина, вышедшего из суда вместе с женой, сразу же обступили, хлопали по плечу, поздравляли, отпускали незамысловатые шуточки:

— Что, братец, верно, белишко уже собирал?

— Не тужит, что не привелась дальняя дорога.

— Сердце-то, поди, до сих пор в пятках сидит!

— На тебя бы такую напасть — тоже, чай, не особо бы радовался.

Митягин вертел косо напыленным на лысину лохматым треухом, растроганно, со слезой, бубнил одно и то же:

— Ах, беда! Вот беда так беда!..

Видать, эти слова прочно въелись в него за последнее время.

Его Настя, стоявшая рядом, вздернув голову в пуховом платке, победно оглядывала обступивших, все своим видом говорила: «То-то! Мы не какие-нибудь арестанты. Против правды-то не поперешь!»

Неожиданно люди замолчали, расступились. Рука об руку прошли прокурор и следователь. Следователь высокий, прямой, прокурор по плечо ему, сильно прихрамывающий. И по тому, что они вышагивали с достоинством, не без подчеркнутой торжественности, было понятно — их вовсе не оскорбляет добрая радость людей, не спешащих расходиться по домам. Служба заставляла их проявлять строгость, они сделали свое, теперь тоже довольны, что окончилось хорошо.

Прошел быстрым шагом и Дудырев, кивая на прощание направо и налево.

Шагая враскачку, приблизился Донат Боровиков, встал на расставленных коротких ногах перед Митягиным, крепкий, приземистый — не столкнешь с места, — заговорил покровительственно:

— Ждал, поди, что люди готовы съесть тебя. Ан нет, и понять всегда готовы, и руку протянуть при пужде... Мало доверяем друг другу. Великое дело — доверие. Так-то.

— Ах ты, беда... Да я же и не мыслил...

Семен, стоявший на отшибе, чувствовал себя обворованным. У него было одно утешение — маленькое, неверное, постыдное, но все-таки утешение. Считал, что все люди плохи, такой, как Дудырев, спасает свою шкуру, не мучится совестью. Так к чему выглядеть красивее других, зачем лезть на рожон? Было утешение, теперь нет. Дудырев защищал Митягина, готов был разделить с ним вину. Нет оправдания Семену, не на кого кивать. А ему ли сейчас не радоваться вместе со всеми, ему ли не торжествовать за Митягина? Все довольны, все добры друг к другу, у всех праздник. У всех, но не у него.

Тоскливый среди всеобщего возбуждения голос заставил Семена обернуться. Поеживаясь в вытертом полушубке, невидяще уставившись мимо Семена на людей, толкущихся вокруг Митягина, стоял бригадир Михайло Лысков, отец парня, убитого на охоте.

— Не вернешь Пашки теперь, — говорил он рослому детине в распахнутом ватнике. — Не след другим жизнь портить. Мне от чужой напасти теплее не будет.

— Само собой, злобой не излечишься, — с охотой подкинул детина.

Казалось бы, кому как не Михайле озлобиться, возропать на всех, а на вот, не озлобляется, не теряет совести, остается человеком. Ему-то, Семену, не в пример проще было не пятнать душу. Врал, увиливал, Митягина продал... Голос Михайлы словно прожег насквозь Семена. Он повернулся и, сторонясь людей, зашагал в темноту, к дому...

А в это самое время Дудырев, сидевший в машине, которая несла его по черной, отчетливо выделявшейся среди покрытых снегом полей дороге, думал о Семене.

Отрекся от пули, но что-то мешало Дудыреву до конца верить в это отречение. Как бы там ни было — солгал ли

охотник сейчас на суде или же лгал ему, Дудыреву, раньше, принеся фальшивую пулю,— в обоих случаях некрасиво.

Семен Тетерин! Медвежатник! Казалось, вот олицетворение народа. А перед народом Дудырев с малых лет привык безотчетно, почти с религиозным обожанием преклоняться.

Он, Дудырев, требует от Семена Тетерина больше, чем от самого себя. Кондовый медвежатник, не растравлен рефлексией, цельная натура, первобытная сила — как не умиляться Дудыреву, окончившему институт, приписавшемуся к интеллигенции. Умилялся и забывал, что он сам строит новые заводы, завозит новые машины, хочет того или нет, а усложняет жизнь. Усложняет, а после этого удивляется, чем Семен Тетерин, оставив лес с его пусть суровыми, но бесхитростными законами, теряется, путается, держит себя не так, как подобает.

Люди меняются медленнее, чем сама жизнь. Построил комбинат — перевернул в Густоборье жизнь. Комбинат можно построить за три-четыре года, человеческий характер создается десятилетиями. Мало поднять комбинат, проложить дорогу, переселить людей в благоустроенные дома. Это нужно, но это еще не все. Надо учить людей, как жить.

Слепое преклонение не есть любовь. Истинная любовь деятельна.

25

Дома старуха размешивала у печи пойло корове; увидев переступившего через порог Семена, разогнулась, поспешно вытерла руки о завеску, спросила с тревогой:

— Чтой там? Аль строго дали?

Семен ничего не ответил, стянул обшитый солдатским сукном полушубок. Его молчание старуха поняла по-своему, припала сморщенной щекой к костлявому кулаку, скорбно закачала головой, вполголоса запричитала:

— И на кого, горемыка, детишек-то оставит! И теперь вольница неухоженная, без отца-то совсем от рук отобьются... Господи! Не чаяли горюшка, да свалилось!..

— Цыц! — рыкнул на нее Семен. — Сбегай к Силантьихе! — И, видя, что жена собирается возражать, угрожающе заглохшим голосом прикрикнул: — Кому сказано! Живо!

Старуха послушно накинула на голову платок.

Силантьиха — бобылка, живущая через три двора от Семена, таясь от участкового Малышкина и председателя Доната Боровикова, варила самогон и при нужде сбывала его из-под полы.

Семен прошел в свою боковушку, не зажигая света, сел за стол, навалился локтями, сжал ладонями голову. За окном — что в погребе: темно и тихо. Только за сениями, под поветью, слышно было, как ворочается нетерпеливо корова, которой принесли пойло.

И вдруг тишину за окном пререзал собачий вой. Надрывно завывала Калинка. Не беду хозяина учуяла она, не из преданности изливалась она в плаче в черное небо — у нее своя беда, свое непоправимое несчастье. Лапа не срывается, на последней охоте трижды теряла след, часто ложилась — уходят силы, чует это собачьим нутром.

Семен понял — с Калинкой ему больше не охотиться, прошло ее время, надломилась.

Он сидел, сжав лицо широкими ладонями.

Как случилось?.. Сколько себя помнит — не приходилось краснеть перед людьми, знал себе цену. До чего дошел: последние месяцы, считай, заячьей жизнью жил. Это он-то! И добро бы беда настоящая грозила, так не было ее! Заместо зверя огородное пугало принял. Сраму боялся. Вот он, срам, — по уши влез. Вперед наука. Наука?.. Ежели б в семнадцать лет такая наука выпала, а он уже не мальчишка — старик, через четыре года за шестой десяток перевалит. Не поздно ли учиться?..

Семен сжимал голову, готов был выть в один голос с Калинкой.

Нет более тяжкого суда, чем суд своей совести.

ТРОЙКА, СЕМЕРКА, ТУЗ

1

Сотни, а может, тысячи (кто считал!) речек, речонок и упрямых ручейков, просачиваясь сквозь прель опавшей листвы и хвои, прорывая путь в корневищах деревьев, несут из ржавых болот воду в эту большую реку. Потому-то вода в ней темна, отливает рыжей накипью. Потому-то в ненастье у реки особый цвет, не просто свинцовый, а лежало-свинцовый, древний.

Река всегда полноводна. Песчаные отмели у берегов — редкость. Выписывая привольные петли, течет она по необжитому, дикому краю к полярному морю. А по самой реке — день и ночь безмолвное шествие. День и ночь по реке плывут бревна.

Их путь нелегок. Отмели (они встречаются на любой реке, даже на полноводной), тихие заводи, просто закраины у берегов — все ловушки, всюду можно застрять. Неторопливо течение, медлительно движение вперед. Многие из речных паломников не выдерживают. Набухает водой древесина — у бревна утопает один конец, над водой торчит лишь тупая макушка. Но бревно упрямится, ползет вперед, тащит по дну отяжелевший конец, пока не огрузит совсем и тихо не ляжет на дно. Вялые налимьки будут прятаться под ним в летние дни, занесет его песком и илом. А другие бревна-наломники поплывут все дальше и дальше, пока не попадут в западь перевалочной базы. Там их выкатят из воды, начнут сортировать: это строительный — на лесопильный, это баланс — пойдет на бумагу, это крепежник — на шахты, это резонанс — из него можно делать музыкальные инструменты. Расписаны по графам,

разложены по штабелям — забвение лежащим на дне покойникам, новая жизнь тем, кто сумел дойти до конца.

Течет северная река — великая артерия молевого сплава. Местами она свой лениво суровый характер меняет на яростный — кипит среди камней, брызжет, несет хлопья желтой пены. Здесь пороги. Их несколько по всей реке. И самые крупные — Острожки.

2

Собственно, это два порога: первый — Большая Голова; чуть ниже, метров на двести, — Малая. Над затопленными огромными валунами вечное, никогда не прекращающееся волнение, в сыром воздухе неумолкающий рев.

Как раз напротив Большой Головы разместился крошечный поселок — всего пять домов, считая маленький магазин, где торгуют хлебом, сахаром и консервами.

Лес, тесно прижавший дома к берегу, серое небо и кипящая на порогах река... Эта река — единственная дорога, по ней раз в неделю на лодке подвозят продукты.

Пять домов — мастерский сплавучасток Дубинина. Население — тридцать два человека: двадцать пять рабочих-сплавщиков, уборщица, продавщица Клаша, моторист Тихон, трое девчат в столовой и сам мастер Дубинин — глава поселка.

Плывут россыпью бревна, трутся друг о друга, тесно сбиваются в заводях, садятся на отмелях.

Каждое утро с баграми и топорами сплавщики рассаживаются по лодкам и разъезжаются по пикетам. Занесенные в кусты бревна скатываются обратно в воду, освобождаются заводи, очищаются отмели... Население маленького поселка существует для того, чтобы бесконечное шествие леса по реке не останавливалось.

3

Мастер Дубинин живет прямо в конторе. Рядом с колченогим столом, на котором он выписывает наряды, стоит койка. На стене висит телефон. Звонит этот телефон хрипло, рычаще. А так как на одной линии таких телефонов навешано, что наживы на перемет, то рычащие звонки раздаются ежеминутно. Один звонок — значит, кто-то добивается до коммутатора, два — вызывают мастерский участок Кротова, три — лесозаготовительная организация... А есть

еще участок Горшкова, Дымченко... Дубинин не обращает внимания на чужие звонки, может крепко спать под хриплое рычание телефона. И если раздастся четыре звонка, просыпается — его!

Дубинин невысок и неширок в плечах, ходит медлительно, враскачку. Сплавщики — все дюжие ребята, целые дни проводящие на окатке бревен, — в один голос уважительно отзываются о его силе: «Любому вязы скрутит...»

Все зовут его Сашей, хотя он самый старший по должности да, пожалуй, и по возрасту. Маленькие, под насупленными бровями глаза сонно угрюмоваты, в крепкой рыжеватой щетине массивный подбородок, нижняя губа отвисает, к ней всегда приклеена тлеющая сигарка, резиновые сапоги с завернутыми голенищами, мешковатый, неопределенного цвета пиджак, натянутая на брови кепка... И, как бы дополняя нелюдимый вид, из-под полы пиджака выглядывает финка в кожаных ножнах. Финка для Дубинина не оружие, ею он потрошит рыбу, режет хлеб, выстрогивает рогульки для жерлиц, нарезает ивняк для морд, которые сам плетет. В маленьком поселке, где живут тихо и дружно, никому и в голову не придет обзаводиться оружием.

В субботу обычно поселок пустеет. Сплавщики сменяют высокие резиновые сапоги на яловые, переезжают в лодках на другой берег и по глухим лесным тропинкам идут в свои деревни. Все они из ближайших деревень — Куренево, Закутное, Яремное. Вечером в воскресенье они возвращаются — попарившиеся в банях, обласканные женами, большинство довольные, кое-кто озабоченный домашними неурядицами. У многих, случается, не совсем выветрился праздничный хмелек. На участке не пьют — продавщица Клаша спиртным не торгует.

У Дубинина тоже дом в деревне Закутное. Один день в неделю он проводил с женой и детьми, шесть дней — на участке. Дома он гость, а настоящая его жизнь — среди сплавщиков.

Только Ступнин, младший брат Ивана Ступнина, славившийся среди сплавщиков книгочеем, отпросился в город на учебу. Дубинин выхлопотал ему на дорогу премиальные, подарил совсем не ношенные яловые сапоги, писал письма, сам тайком высылал деньги, заставлял помогать старшего брата.

Сплавщики отзывались о мастере:

— Саша-то — ничего мужик... Свой в доску.

Рабочие жили в общежитии. Двадцать шесть коек, разделенных фаперными тумбочками, окружали громоздкую печь. В непогожие дни эту печь так усердно топили, что нельзя было прислониться — обжигала.

Работа сплавщика — грубая работа. Своротить с места набухшее водой бревно, столкнуть его в воду, чтоб плыло себе дальше, — какая уж, кажись, хитрость. Нужны багор, топор, прочная слега и крепкие мускулы. Но и среди сплавщиков есть свои артисты.

Как-то продавщица Клаша, вопреки правилу не торговать спиртным, завезла в свой магазин ящик шампанского. Купили в складчину бутылку. Иван Ступнин поставил ее на конец бревна, сам встал на него и, орудя багром, переехал за реку, вернулся обратно, не дав себя утащить напористому течению в кипение Большой Головы, не обронив в воду бутылку. Забава — рискованная сама по себе; кроме того, Иван Ступнин, всю жизнь кормившийся рекой, едва-едва умел плавать.

Эту бутылку он распил один, поминутно сплевывая.

— Перипетия одна — квас. Только и славы, что в нос шибает. Стоило из-за этого спектакль показывать.

Любое состояние своей души — будь то радость, огорчение, удивление, пренебрежение — он выражал одним непонятным ему словом: п е р и п е т и я.

— Запань Ощеринскую прорвало. Будет нам работки.

— Эхма, перипетия...

— По радио передавали: новый спутник в небо забросили, больше тонны весом.

— Ишь ты, перипетия.

— Под Куреневом медведь бабу заломал. В больницу отвезли, неизвестно, жива ли будет.

— Ну и ну, пе-ри-петия.

Кроме Ивана Ступнина, было еще два артиста — Егор Петухов и Генка Шамаев.

У Егора рыхлое, бабье лицо с торчащим острым носом. И голос у него тонкий, бабий, несолидный. Когда Егор одет, он неприметен, даже кажется каким-то пришибленным. Но разденется — широкие, палитые плечища, лепная, играющая от малейшего движения мускулами грудь, тугие бицепсы, перекатывающиеся под кожей.

Егор славится своей скупостью. Ему постоянно кажется, что в столовой воруют.

— Пять рублей берут за обед, а дают что?.. Водичку.
— Ты, поди, за пятерку-то из-под себя есть готов?
— Может, кто и богат, а я пятерки-то не печатаю. Мне каждую копеечку считать приходится.

Он хороший сплавщик и зарабатывает много, больше мастера. Все знают, что Егор бездетен, что его жена работает при леспромхозе, живет на свою зарплату. Деньги, что не успел положить на книжку, Егор хранит в чемодане. Этот чемодан, похожий на сундук, запирается на большой висячий замок, хотя воровства на участке не помнят даже такие старожилы, как Иван Ступнин.

Странно было видеть Егора, когда он, чуть сутуловатый, со скучным, даже брюзгливым выражением, проходил на бревне «малую кипень» — место перед порогом. Бурлит вода, раскачивается бревно, а Егор ценко стоит на нем, лениво вскидывает багром, не спеша отталкивается от камней, от наползающих бревен. И уж он не промахнется, не оступится, причалит к берегу, буднично, со сварливым страданием начнет жаловаться:

— Эвон перекатали-то сколько, а вот уж посмотрим — столько ли запишут... Вот уж, я зна-аю...

Генка Шамаев высок, плечист, разлохмаченная шевелюра падает на брови, лицо обветренное, дерзкое. Девчата в столовой всегда подставляют ему щи и погуще и пожирней. Но Генка каждый вечер садится в лодку, заваливаясь на веслах, резкими толчками гонит ее к другому берегу, оставляет лодку и скрывается в лесу. Километрах в шести — лесопункт, там работает Катя, ей лет двадцать пять, не больше, но уже вдова. Как рассказывают, муж ее из поморов, погиб прошлой весной в море.

Случалось, что Генка задерживался на окатке, и тогда видели ее. Она выходила на берег, кутаясь в платок, до темноты ждала под морозящим дождем.

Генка возвращался всегда поздно. На койку под простыни ему клали поленья и палки, он выбрасывал, ложился и спал как убитый.

А утром все густо ржали, отпускали такие шуточки, от которых, казалось, должны бы пунцоветь потолочные балки. Генка снисходительно улыбался, с хрустом лениво потягивался — белотелый, гибкий и довольный собой.

На участке ходили легенды о каком-то старом сплавщике Терентии Кляпе, который будто бы проходил, стоя на бревне, насквозь Большую Голову. Генка как-то раз тоже решил съехать на матером кряже прямо в пороги. Но его

при первом же нырке сбило, накрыло волной. Думали, что закрутит, насмерть избьет о камни, но он выплыл босой, мокрый, злой — резиновые сапоги тянули ко дну, пришлось сбросить.

— Врали, сволочи, про Кляпа. Не проскочишь...

5

Всем троим втайне завидовал Лешка Малинкин. Ему недавно исполнилось двадцать лет, на участке работал всего полтора года. Пришел из соседней деревни по-мальчишески круглоголовый, неуклюжий, страшно робел перед Дубининым. За последнее время раздался вширь, перенял дубининскую походку враскачку. И не только походку... В разговоре старался быть скупым на слова, как Саша, сурово и многозначительно хмурил лоб, как Саша, мечтал: «Вот поработаю год-другой, отпрошусь на курсы, вернусь обратно таким же мастером...» Представлял: дюжие сплавщики станут слушаться его слова, уважительно за глаза отзываться «свой в доску», будет ходить он по участку справедливым и строгим хозяином, как Саша. Нет для Лешки выше человека!

Впервые в жизни Лешка почувствовал в руках силу. Она удивляла и восхищала его. Если кто-нибудь замечал, что слега, которую подхватил Лешка, слишком тяжела, и кричал: «Эй вы! Помогите парню! Надорвется!» — обычно тихий Лешка с ребячьей злостью начинал ругаться:

— Идите вы с подмогой!.. Я сам...

Вечерами, когда Генка Шамаев перебирался на лодке на другой берег и исчезал в лесу, Лешка забирал свой багор и, воровато оглядываясь, шел к берегу за столовую, к дамбе. Там он дотемна, в одиночку, упрямо учился держаться на бревнах, как держатся Иван Ступнин и Генка Шамаев. Возвращался в общежитие мокрый по пояс и обескураженный.

Раз вечером, держа на весу багор, перепрыгивая с валуна на валун, он направился к дамбе.

Солнце скрылось за высоким лесистым берегом, но облака над черными зубчатыми вершинами пламенели, пена, прибываемая с Большой Головы, казалась розовой.

А на том берегу, почти у начала кипени, накренившись на один бок, покоилась полувытащенная из воды Генкина лодка.

Лешка вдруг остановился, удивленно раскрыл рот, стал

всматриваться: оскальзываясь, спотыкаясь, хватаясь руками за кусты, прямо к Генкиной лодке спускался по крутому берегу человек.

Кто ж может быть? Из деревни, должно, или с лесопункта. Без нужды в эту глушь не заглядывают.

Едва незнакомец оттолкнул от берега лодку, неумело стал вставлять весла в уключины, Лешка понял — плохо гребет, не знает реки, его сразу же снесет на пороги. Большая Голова не страшна для лодки — покидает, припугнет, но всегда благополучно проносит, только надо отдаться течению, подправляя чуть-чуть веслом, чтоб не занесло корму. Боже упаси бороться с порогом — развернет, захлестнет, быть в воде, а уж тогда не выкарабкаешься.

Лодка с неожиданным гостем заплесала на волнах, тот начал судорожно грести, брызгая, срываясь по воде веслами.

— Брось весла! — закричал ему Лешка. — Эй ты! Смерти хочешь? Брось весла, говорю!

Но за шумом порога Лешкин голос глух, не долетая до середины реки. Незнакомец барахтался, лодку сносило туда, где гуляли яростные буруны.

— Э-эй!! Ве-есла-а!! Эх!..

Лодку развернуло, раз-другой беспомощно взметнулись весла, украшенная разводами розовой пены волна навалилась на борт, приподняла лодку — на закате тускло блеснуло днище...

Лешка, похолодев от ужаса, секунду оторопело глядел, как крутит и подбрасывает перевернутую лодку, сорвался, хлюпая широкими отворотами сапог, спотыкаясь о валуны, бросился к поселку.

Одна из лодок стояла под столовой. Лешка с ходу столкнул ее, черпнув сапогом воду, ввалился через корму, судорожно стал разбирать весла...

Само течение гнало лодку на Большую Голову. Запрокидываясь назад, Лешка греб, трещали от натуги уключины... Каменная дамба, лес на берегу, зубчатой грядой врезавший в горячий закат, — все закачалось, зашаталось, то вытягиваясь вверх, то оседая. Лодка врезалась в пороги...

Лешка поднял весла и до ломоты в шее стал оглядываться: направо, налево, назад — ничего не видно, даже лодки. Брызги обдавали лицо, плечи, грудь. Сразу насквозь промок пиджак. Берега поднимались и опускались, рев бушующей воды туманил мозг...

Трудно что-нибудь сообразить, ничего не видно, даже лодки... Хотя нет, вон она — лоснится мокрое днище на закате. Уже проплыла буруны, течение сносит ее к Малой Голове.

Мягче водяные ухабы, ниже подпрыгивает корма, брызги уже не бьют в лицо. Минута-две — и Большая Голова выплюнула Лешкину лодку. Можно браться за весла.

Нервно покачиваясь, словно все еще переживая неожиданную встряску, плыли по воде бревна. Вода под лодкой мрачная, черная, крутятся клочья желтой пены. Попалось на глаза весло...

И при виде этого сиротливого весла Лешке стало жутко. Был человек — и нет его! Где-то в глубине, под темной водой, что несет сейчас на себе разбросанные бревна, течение лениво ворочает безжизненное тело. Ничем не поможешь. Конец. На твоих глазах. Холодно...

Впереди — кипень Малой Головы. Там уже бросает перевернутую лодку.

И вдруг на горбатой и скользкой спине одного из бревен Лешка увидел мокрый рукав, желтую кисть руки.

— Эй!.. — крикнул он, но голос хрипло осекся. Он схватился за весла...

Черная, сведенная судорогой небритая физиономия, широко раскрытые безумные глаза, бесцветные, словно слившиеся от ужаса.

— Эй, друг! Опускайся! Подхватчу... Эй!

Но человек, прижавшийся небритой щекой к бревну, глядел из-под слипшихся на лбу волос, не отвечал. Костлявая кисть руки судорожно держалась за бревно.

— Да отпускаяйся, черт! — плача, закричал на него Лешка. — Отпускаяйся! Сейчас снова в пороги попадем...

Малая Голова приближалась, лодку снова стало покачивать. Если ее развернет, то и в Малой Голове можно обогим найти могилу.

Прыгая в лодку, Лешка по привычке бросил в нее свой багор. Без багра он не вытащил бы утопленника. Подтянул к себе бревно, с сердцем ударил по окостеневшей руке, схватил за волосы...

Незнакомец лежал без сознания, откинув голову на резиновый сапог Лешки, неловко подвернув под себя ногу.

На берегу он пришел в себя, валялся на земле, и его долго рвало водой...

Его положили в общежитии на ту койку, где раньше спал Толя Ступнин, Лешкин дружок, уехавший в город на курсы.

Голова откинута на подушке, небритый подбородок торчит вверх, под щетиной возле кадыка бьется жилка, глаза закрыты, тонкие руки вытянуты вдоль тела, пальцы безвольно согнуты — усталые руки. В общежитии жарко, одеяло накинули только на ноги, плоская, ребристая грудь обнажена, на ней вытатуирована надпись: «Года идут, а счастья нет».

Сплавщики толпились вокруг, перекидывались вполголоса замечаниями:

— Видать, мужик тюремной жизни понюхал. Ишь украсился: «счастья нет»...

— Тут-то, считай, счастлив. Не подвернись на берегу Лешка, кормил бы рыб.

— И то цепок — из такой кипени выкрутиться.

— Случалось, видать, попадать в переделки...

Егор Петухов озабоченно произнес:

— Ненадежный человек. Как бы он за нашу доброту того... Не обчистил.

— Ну, ему теперь не до твоего сундука. Эту ночь спи спокойно.

В углу Лешка, приглушив таинственно голос, в который уже раз рассказывал:

— ...Гляжу: мать честна, — развернуло. Я кричать. Мать честна, а порог-то шумит...

Засунув глубоко руки в карманы, упершись в грудь подбородком, из-под надвинутой на лоб кепки разглядывал нежданного гостя Дубинин.

Тонкая кадыкастая шея, устало вытянутые руки, мокрые грубые башмаки, брошенные под койку, и эта надпись... Дубинин жевал потухшую сигарку, разглядывал, и чем дальше глядел, тем сильнее испытывал жалость к этому незнакомому человеку.

Встретится такой на дороге — пройдешь мимо, не оглянешься назад. Есть ли у него родня, есть ли хоть на свете человек, который бы искренне, от души пожалел его? Не подвернись под руку бревно — был и исчез, не оставил ни имени, ни смутной по себе жалости, ничего. Вот он, увильнувший от смерти, — на чужой койке, чужие люди с бесцеремонной жалостью разглядывают его...

Дубинин с трудом оторвал взгляд от надписи, наколотой на костлявой груди.

— Ребята, — спросил он, — кто раздевал? Документы-то есть ли?

— Есть. Поразмокло все. На печи разложили сушиться. Пятнадцать рублей было в кармане — не богат.

— Давай все сюда.

Дубинин осторожно взял мокрые бумаги, раздвинул плечами рабочих и вышел.

7

Был сплавщиком, стал мастером; не богато событиями, не омрачено трагедиями, даже на фронт не попал — скромно прожил жизнь Александр Дубинин. Книг не приучился читать, не зажигался от них благородными порывами, не открывал для себя высоких идей, не знал (а если и знал, то очень смутно, понаслышке), что существовали на свете люди великой души, которые ради счастья других поднимались на костры, выносили пытки, сквозь стены казематов заставляли потомков прислушиваться к своему голосу.

Был сплавщиком, стал мастером — только и всего.

Лет шестнадцать тому назад произошла неприятность...

На каменистой быстрине неподалеку от сумрачного Лобовского плеса случился затор — пара бревен заклинилась среди камней, течение наворотило на них кучу леса.

Место было не слишком опасное, затор «не запущен», и Александр (он был за старшего) не пошел сам, а послал трех пареньков, чтоб «обрушили». Авось справятся, не полезут на рожон... Среди них был Яша Сорокин, мальчишка, которому едва исполнилось семнадцать лет, — скуластый, с широко расставленными у переносицы синими глазами. Ему раздробило сорвавшимися бревнами обе ноги...

Александр вез его на лодке в больницу. Яша Сорокин всю дорогу плакал, не только потому, что больно, а что отец погиб на фронте, на руках у матери остались две его, Яши Сорокина, сестренки, старшей всего десять лет, мать постоянно хворает. Кто теперь ей поможет, когда он, единственный кормилец, стал калекой?

Александр молчал и казнился: послал, отмахнулся — авось справится... Вот оно — «авось»! Что теперь делать? Взять на свою шею целую семью — мать-старуху, сына-ин-

валида, двух маленьких девчонок, жить ради них, а у него у самого — жена и сын... Как быть?

Никому и в голову не пришло обвинить Александра Дубинина. Случилось несчастье, что ж поделаешь... Жалели, даже упрекали слегка: «Как ты, друг, недосмотрел...» В конце концов Александр и сам уверился — ни в чем он не виноват, его совесть чиста, что ж поделаешь...

Как-то очищали от бревен косу под деревней Костры. Сели артелью обедать, варили уху, разложили хлеб, соль, картошку, крутые яйца на разостланном платке. Рядом оказалась девчонка — босые ноги, побитые цыпкой, печеные, выгоревшие на солнце волосы, рваное платье, сквозь прорехи просвечивает костлявое тельце, — глядит завороченно на платок со снедью.

— Есть, поди, хочешь? — окликнул девчонку Александр. — На вот, не бойсь.

Он протянул кусок хлеба, пару холодных картофелин и яйцо, вгляделся и замер... С чумазого, истощенного лица глядели широко расставленные синие глаза, нос пуговицей, тунные скулы...

Девчонка прижала к грязному платью хлеб — руки темные, тонкие, ценкие, как лапы лесной зверюшки, — не сказав спасибо, бросилась бегом к деревне. Александр смотрел ей вслед...

Сплавщики уселись в кружок, принялись за еду, рассуждая о том, что война подмела всех мужиков, бабы не управляют на полях, голодный ребенок возле деревни — не редкость...

До боли в глазах сверкала на солнце река, в свежем воздухе пахло лаваристой ухой, пышный ивняк у заводи склонился к воде. И в этом слепящем сверкании, в сытном запахе ухи, в кустах, пригнувшихся к плотам кувшиночных листьев, чувствовался какой-то нерушимый покой, прочная, здоровая жизнь. А в эту минуту где-то далеко и без того истерзанную землю рвут мины, стелется вонючий дым пепелищ, на полях и лугах валяются мертвые, которых не успевают хоронить. Где-то далеко... А близко, за спиной, в деревне, — голодные дети.

Не притронувшись к ложке, Александр встал, прошел к своему мешку, вынул хлеб и, не сказав ни слова, зашагал в деревню. Возле первой же избы спросил: здесь ли живет Яков Сорокин? Да, здесь. Указали на пятистенок, добротный и благополучный с виду...

Ему думалось, что попадет в рабство, что станет изо

дня в день ломать спину на две семьи, а пришлось воевать. Он воевал в райсобесе за пособие Якову, воевал в колхозе, чтобы помогли семье погибшего фронтовика, а больше всего пришлось воевать с самим Яшкой.

— А, испугался! Откупиться хочешь! Совесть-то не чи-ста! Ты мне своими грошами ног не вернешь! Ты у меня теперь попляшешь...

Нежданно-негаданно, сам собой явился виновник не-счастья исковеркавшего жизнь. Что бы он ни делал, как бы ни извинялся — нет прощения!

— Давай, сволочь, деньги! Давай все, сколько есть! Мне теперь одно осталось — погибать. Уж погибать, так весело. Пить буду, гулять буду!

И раз Александр взял его за шиворот.

— Дерьмо! Привык, чтоб на тебя, как на собаку, смотре-ли, человеческого добра не понимаешь. Вот мое слово: сестренки твоих к себе в дом беру, будут заместо дочерей. Живи один как хочешь.

И парень притих, согласился поехать от колхоза на кур-сы счетоводов.

Работать, чтоб быть сытым, чтоб радоваться в одиноч-ку — есть прочная крыша над головой, тепло возле печи, ласковая жена, — радоваться и трусливо оглядываться, чтоб кто-то со стороны не позавидовал, не позарился на твое теплое счастье. А ведь можно, оказывается, жить иначе. Под-нять упавшего, успокоить отчаявшегося, защитить слабого, чувствовать при этом, что ты способен радовать других, ты щедрый, ты сильный — это ли не счастье!

Давно уже Яков Сорокин работает в колхозе счетово-дом, женился, имеет двоих детей. Его сестры выросли, уехали из деревни, одна замужем, другая учится на фель-дшерицу.

Александр Дубинин живет в будничных заботах: надо следить, чтобы работа распределялась равномерно, чтоб рас-чет за работу был справедлив, чтоб в столовой кормили сытно, чтоб в общежитии было чисто, чтоб простыни менялись каждую неделю...

Пять домов, прижатых лесом к шумящей на порогах реке, — маленький кусочек необъятного мира. Здесь трудятся люди, и труд их тяжел, но крохотный поселок напротив Большой Головы — все-таки по-своему счастливый край. Уг-рюмоватый, неразговорчивый человек, ходящий по поселку с легкой раскачкой, — законодатель этого края.

У себя в конторе он разложил на столе размокшие документы незнакомца. Какие-то справки превратились в пригоршню бумажной каши. Паспорт сохранился лучше. Паспорт есть,— значит, его хозяин ходит под законом.

Концом ножа Дубинин осторожно расклеил слипшиеся листки паспорта, прочитал: «Бушуев Николай Петрович, год рождения 1919». Паспорт, похоже новый, в графе восьмой — «на основании каких документов выдан паспорт» — поставлен номер справки ГУЛАГа. Догадаться не трудно — хозяин паспорта судился, отбыл положенный срок.

На чужой койке, среди чужих людей, во всем облике усталое оцепенение — ускользнул от смерти... Должно быть, путаная и неуютная жизнь за спиной у этого человека. Где-то в молодые годы хотел, видать, ухватить счастье — грошовое, такое, что можно кушать за десятку. Потянулся в чужой карман за этой десяткой, схватили за руку, сволокли куда надо. Пусть даже простили по первому разу, но счастья-то нет, надо искать. Искал... Шли годы, и не было счастья...

8

Утром, после того как рабочие разъехались, Дубинин заглянул в общежитие. Койка, на которой спал незваный гость, была заправлена.

«Живуч. Уже сорвался. Не отправился ли дальше блуждать? Но паспорт-то у меня, без документов не сорвется...» Дубинин не спеша направился к себе.

Дом, где находилась контора, был единственным двухэтажным домом на участке. Внизу — контора и комната, где жил моторист Тихон Мазаев с женой Настей, уборщицей в общежитии. Вверху — красный уголок, где стоял приемничек, полка с книгами и стол, накрытый вылинявшим кумачом. Здесь по вечерам собирались сплавщики, слушали радио и стучали костяшками домино.

Проходя мимо лестницы, ведущей в красный уголок, Дубинин слышал мужской голос, певший негромко под гитару:

Почему у одних жизнь прекрасна
И полна упительных грез,
У других она просто ужасна,
Много горя, отчаянья, слез...

Дубинин поднялся. В чистой рубахе с чьих-то чужих широких плеч — тощая шея жалко высовывается из про-

сторного воротника,— по-прежнему небрит, сидел он, придерживая на коленях гитару, которая уже много лет без дела висела над приемником.

Почему же одним удается
Обойти все удары судьбы...

При виде мастера проворно вскочил на ноги.

— Здравия желаю, начальничек,— с наигранной развязностью поприветствовал он.

Лицо узкое, взгляд ускользающий, при улыбке в мелких плотных зубах видна щербатинка.

Дубинин опустил на стул.

— Садись, как там тебя... Николай Бушуев. Поговорим.

— Верно, Николай Петрович Бушуев собственной персоной. Хотел ниже, в Торменьгу, податься, да вот к вам попал. Прошу прощения, не предупредил, чтоб встретили...

— Брось дурочку ломать. Откуда к нам пожаловал?

— В лесопункте работал...

— И сбежал?..

— Начальник там — сволочь. За человека, видишь ли, не считал. Ты, мол, после отсидки, уголовный элемент, жулье, отбросы. Не сошлись мы с ним характерами.

— Уж так-таки дело в характерах?

— Вдруг да из-за этого гада пришлось бы обратно поворачивать. Подальше от греха... Рублей двести было заработанных, и те не взял...

— За что сидел?

— Говорят, за дело. Да я не отказываюсь: за дело так за дело.

— Но мокрому?

— Упаси бог.

— За воровство?

— Не будем уточнять, начальничек. Одно скажу: завязал.

— Ой ли?

— Верь не верь, а мне уж не двадцать лет. Что-то нет охотки дальше в казачки-разбойнички играть.

— А родом откуда? Почему в лесопункт нанялся, домой не поехал?

— У меня дом под шапкой. Где ее надел — там и дома.

— Уж и в родные края не тянет?

Светлые, со стеклянным блеском глаза Николая Бушуева прикрылись веками, на секунду бледное небритое лицо

стало неподвижным, замкнутым, скучным. Случайный вопрос сбил напуганную веселость.

— Что толку? — ответил он, помедлив. — Знаю, как в родное место с пустой мощной приехать.

— А я слышал: и там работают, с деньгами выходят.

— Шелестело чуток в кармане, да только в поезде с одним в карточки простучал...

Дубинин прочно сидел на стуле, в распахнутом пиджаке, в надвинутой низко кепке, со своим обычным угрюмоватым спокойствием разглядывал гостя.

— И куда теперь? — спросил он.

— Куда?.. В Торменьгу. Там на перевалочной базе работа найдется.

— Специальность имеешь?

— На все руки мастер: пни корчевал, ямы под фундаменты рыл, лес валил...

— Значит, нет специальности? — Дубинин пошевелился на стуле, отвернулся. — Вот что, — проговорил он в сторону, — можешь остаться у нас. Будешь работать, как все. Каждый сплавщик плохо-бедно в месяц тыщи две выколачивает. Ты без семьи, на питание да на одежду у тебя из заработка станет уходить рублей пятьсот от силы. За год накопишь тысяч пятнадцать — восемнадцать. Тогда — хошь у нас живи, хошь езжай на все четыре стороны. Тебя, дурака, жалеючи, говорю. Не хочешь — держать и упрашивать не будем.

— А чего ж не хотеть. У вас так у вас, мне все одно, где землю топтать.

Дубинин выкинул на стол короткую руку, сжал маленький, покрытый ржавым волосом, увесистый, как голыш, обкатанный рекой, кулак.

— Топтать? Нет, дружок, работать придется. Денежки-то за топтание не платят. Не надейся, на чужой хребтине на выедешь. Место у нас глухое, до милиции далеко, сами порядки устанавливаем. Ты видел наших ребят? Любому кости прощупают. И не убежишь — кругом леса да болота, местные жители глубоко-то не заезжают. Три пути отсюда: в лесопункт, где, должно быть, тебя не ласково встретят, в деревню, где любому в глаза бросишься, и вниз по реке через сплава участки. Стоит мне позвонить, как тебя, голубчика, придержат до времени. Заруби на носу — лучше не шалить. Беру к себе не потому, что особо верю, а потому, что не опасаясь — у нас не развернешься. Так-то, друг.

Дубинин поднялся.

Николай Бушуев занял в общежитии койку Толи Ступина. По утрам он с топором за поясом и багром в руке вместе с другими сплавщиками шагал к лодкам. Дубинин расспрашивал ребят: как работает? Пожимали плечами — ковыряется.

Лешка Малинкип спал рядом с Бушуевым, работал с ним в одном пикете. К человеку, который стал причиной значительного, даже героического, события в жизни (шутка ли, спас от смерти!), нельзя относиться равнодушно. Лешка на работе старался быть рядом, учил, помогал, ворочал за слабосильного соседа по койке тяжелые кряжи.

Гитара, которая висела в красном уголке, — ее купили потому, что на культурно-массовое обслуживание были отпущены деньги, — теперь перекочевала в общежитие. И по вечерам Бушуев, развалясь на койке, пощипывая струны, пел о тоске в неволе, о любовных изменах, об убийствах из ревности.

Может, фрайер в галстучке атласном
Тебя целует в губы у ворот...

Сплавщики были не слишком привередливы, если грустно — покачивали головами, казалось смешным — похохотывали, и в знак благодарности время от времени чья-нибудь тяжелая рука хлопала по плечу Бушуева.

— Сукин ты сын! И откуда набрался?..

Приходил послушать и Дубинин, присаживался, курил, молчал, но, кажется, молчал одобрительно.

Когда Бушуев откидывал в сторону надоевшую гитару, к ней робко тянулся Лешка. Он долго ерзал на койке, пристраиваясь поудобней, низко пригнув голову, начинал огрубевшими, негнушимися пальцами бережно пощипывать струны, но гитара издавала лишь робкие, бессвязные звуки. Лешка почтительно откладывал ее, шевелил плечами, простосердечно удивлялся:

— Гляди-ко, не работал — сидел, а спину ломит.

По-прежнему вечерами Генка Шамаев перегонял лодку на другой берег и исчезал в лесу. По-прежнему Егор Петухов, покопавшись в своем чемодане, замкнув его тяжелым замком, садился и начинал плаксиво рассуждать:

— Поживу здесь еще немного и брошу вас. Ковыряйтесь себе по берегам. Дом куплю в райцентре, огороды с парниками заведу, па всяк случай подыщу работку —

не бей лежачего. Хотя, к примеру, ночным сторожем куда. Само стариковско дело...

На него не обращали внимания или лениво прикрикивали:

— Завел... Хватит зудить-то!..

Как всегда, на воскресные дни сплавщики расходились по деревням. На участке становилось тоскливо. Бушуев коротал время с мотористом Тихоном Мазаевым. У Тихона всегда была припрятана на такой случай бутылочка.

Тихон — маленький, узкоплечий, на обветренном сморщенном лице вислый нос — никогда не был доволен. Сердитым голосом он ругал все — и погоду, и реку, и участок, на котором киснет в мотористах пятый год.

— Эх, милоч! — откровенничал он, хватая Бушуева за отворот пиджака. — Я ведь, считай, механик, комбайнером работал, трактористом... И кой черт загнал меня в эту дыру? Ведь дыра! Оглянись — лес, лес да в небо продушина.

Бушуев в такие минуты был вял и молчалив, глядел на слезящееся под дождем окно, за которым, не умолкая, ровно и тяжело шумела Большая Голова, вздыхал:

— Да-а, в заключении и то веселее.

Иногда, из-за выпитой ли водки, просто ли находило мимолетно откровение, начинал вспоминать:

— Я-то сам из Курской области. Там у нас солнца много и все поля, лесов-то, считай, нет. Забыл я уже свое село. Только здесь нет-нет да и придавит сердце...

Неожиданно добавлял:

— Не выдержу, сбегу от вас. Пять лет свободы ждал. Сво-бо-да...

10

Однажды вечером Б шуев снял с гвоздя гитару, пощипал струны, придавил их ладонью.

— Ну ес! Перепето, сыграно... — Добавил в рифму непотребную фразу, вынул из кармана потрепанную колоду карт, ловко перетасовал ее, предложил Лешке Маликину: — Стукнем, что ли, в очко для забавы?

Лешка смущенно поежился:

— Да не умею я.

— Не играл — научу. Свеженькому всегда фартит. Не бойсь, обдирать не стану. Вот в банк кладу рубль, можешь бить хоть на гривенник...

Никто потом не мог сказать, откуда появилась колода

карт у Бушуева. После того как его вытащили из порога, в карманах пиджака ничего не было, кроме раскисших документов и пятнадцати рублей мелкими бумажками.

Рассевшись на Лешкиной койке, Бушуев терпеливо учил:

— Не зарывайся, не зарывайся, милага. Карты горячих не любят. Будешь или нет прикупать?.. Будешь. Даю... Смотри ты, и тут взял. Говорил, что тебе фартить станет поначалу...

Лешке шла карта, он розовел от возбуждения. Подошел Иван Ступнин, помигал желтыми ресницами, покачал головой.

— Греховное дело... Сколько в банке? Восемьдесят копеек всего-то! Пу-ко, для любопытства дай карту, ударю по ним.

Взял, с сомнением взгляделся, протянул:

— Пе-ри-пе-етия! Сразу две давай. Ага!.. Пу-ко, бери себе... Моя!

Потянулись другие, с соседних коек, плотно обсели. Егор Петухов, провожая глазами карты, сердито сводил губы:

— По гривеннику, но гривеннику — глядишь, и вылетит в красный рублик. Век за эти карты не брался.

— И не берись, — поддакнул Бушуев. — Игра скучных не любит.

Часам к десяти «простучали» последний «банк». Подсчитали: Лешка выиграл двадцать рублей, Иван Ступнин и остальные проиграли и выиграли по мелочи. Бушуев расплачивался.

— Фарт — великое дело, браточки. — Заглянув в лицо Лешке своими прозрачными глазами, с чуть приметной насмешечкой добавил: — Только за мной, мой мальчик, не гонись — могу до косточек обглодать. Видишь?

Он показал Лешке карту. Тот, смущенный тем, что пришлось взять у Бушуева деньги, еще не остывший от удачи, подавленно кивнул головой: «Вижу».

— Запомнил карту? Хорошо запомнил?.. Учти, я в нее не заглядывал. Клади ее в колоду. Тасуй!.. Да шибче, душечка. Эк у тебя руки — что грабли... Перетасовал? Подсним. Еще раз подсним... А теперь давай всю колоду сюда...

Небольшие, ловкие, с плоскими белыми ногтями, со свежими ссадинами, полученными во время окатки, руки Бушуева быстро перебрали карты, один глаз насмешливо прищурился.

— Эта?..

У Лешки удивленно отвалилась челюсть.

— Эт-та.

Все кругом, ухмыляясь, закачали головами.

— Мастак...

— То-то,— закончил Бушуев,— я карты наскрозь вижу. Со мной не садись.

11

И все-таки на следующий вечер сели играть на бушуевской койке — чтоб убить время, не всерьез — пять человек: Лешка, Иван Ступнин, сам Бушуев и еще двое — долговязый Харитон Козлов и рыжий Петр Саватеев. Вокруг встали любопытные, среди них Егор Петухов, которого всегда волновало, когда деньги переходили из одного кармана в другой.

Ставки были маленькие, копеечное счастье приходило то к одному, то к другому. Снова заметно везло Лешке. Он сорвал банк. Егор Петухов крикнул:

— Бывают же такие везучие!

Иван Ступнин вздыхал:

— Перипетия... Ну-кошь, кто по гривенничку, а я на все стукну. Удача небось рискованных любит.

Мало-помалу игра стала расти, на смятом одеяле зашуршали не только рублевки, а десятки, четвертные, даже сотни.

Выигрывал Лешка, выигрывал Иван Ступнин. Бушуев спокойно вынимал из кармана деньги, небрежно бросал.

— Это что!.. Разве ж игра?.. Помню, деточки, по десяти тысяч в банке стояло.

Начали подсаживаться и другие. На днях выдали зарплату, все были при деньгах, каждый считал, что можно позволить себе удовольствие — проиграть или выиграть по мелочи.

Один только Егор Петухов, поджав скопчески губы, следил за картами, провожал глазами руки, прячущие деньги в карманы, осуждающе качал головой, но от играющих не отходил. Никто не обращал на него внимания.

После того как распаренно-красный, торжествующий Иван Ступнин наложил свою широкую лапу на банк, Егор подтолкнул в бок Лешку:

— Ну-ко, подвинься. У меня ноги не железные.

— Уж не сыграть ли хочешь? — спросил Бушуев.

— А что, я хуже тебя?

— Прогоришь. Карты скупых не любят.

Еще долго Егор не решался, сидел, смотрел, поджимал губы, наконец не выдержал.

— Подбрось, что ли, и мне карту.

Но Бушуев, показывая щербатину в зубах, насмешливо оскалился в лицо.

— Положь на кон шкурку.

Егор вскипел.

— Шпана безродная! Не доверяет! Уж кому бы не верить, то тебе.

— Зачем лезешь, коль не веришь?

— Дай карту! Побогаче тебя, урка приبلудная, расплачусь, коль проиграю.

— Деньги на кон, или катись!

— У-у, висельник. Плевал я на твою игру. Тыфу!

Егор поднялся, прошел на свою койку, лег.

— Ты зря человека обижаешь,— упрекнул Бушуева Иван Ступнин. — У нас промеж собой пакости не водится. Пройграет — отдаст.

— Отдаст? Я, браток, знаю таких живодеров. Удавится. Достается им, когда попадают в холодные места. Требуху-то быстро из них вышибают.

— Я б твою требуху пощупал, да рук пачкать не хочется,— проворчал Егор, не поднимая головы.

— Иль схлестнемся? У тебя же кулаки пудовые, чего робеешь?

— Хватит вам, дети малые! Ты глянь, не перебрал ли? Четвертую карту тянешь.

— Перебрал, долбани его петух в зад...

Шла игра, раздавались голоса, то сдержанно-выжидающие, то настороженные, то удивленные. Шла игра, доносился шелест денег. Егор слез с койки, вытащил свой чемодан, отпер замок.

Расправив плечи, с выражением какого-то кислого пренебрежения на лице подошел к играющим.

— Вот, приبلудный, не лист с веника — деньги. Дай карту.

Бушуев хохотнул:

— Вот так отломил! Сколько же ты на этот пятерик червончиков собрать хочешь?

— Поскалься у меня, поскалься! Сколько хочу, столько и выкладываю. Давай карту.

— На всю бумажку?

— Рубль ставлю.

— Не мельчись, все равно прогоришь.

— Рубль ставлю, — со злым упрямством повторил Егор.

— Эх, расчетлива девка, да принесла в подоле.

Бушуев принялся ловко раздавать карты.

Карта, брошенная Егору, утонула в его красной, с обломанными ногтями ручище, глаза остро уставились в ладонь, губы свело, казалось — вот-вот Егор изумленно свистнет. Бушуев с издевочкой шурил свои порочно-чистые глаза, показывал щербатину в плотных зубах.

Как только Егор сел, игра сразу же изменилась. До сих пор шутили, перекидывались пезначительными замечаниями, похохатывали, проигрывали легко, чувствовалось, что, несмотря на поднявшиеся ставки, играют для удовольствия. С появлением Егора ставки не возросли, а, наоборот, уменьшились, но шутки как-то сразу увяли, все вдруг стали серьезны, на скомканные деньги глядели не прямо, а как-то стыдливо, искоса.

Бушуев все еще ухмылялся, но нет-нет да прикусывал нижнюю губу, и тогда на худошавом, вытянутом, с плоским подбородком лице появлялось что-то стремительное, острое, напоминающее выражение кошки перед прыжком на воробья.

Егор Петухов, напряженно приподняв плечи, стал метать банк. Но как-то быстро этот банк у него разобрали. Бушуев, пригребая к себе кучу мятых бумажек, бросил взгляд на Егора.

— Отчаливай. Кончилась твоя пятерка.

Те пять рублей, с которыми вошел в игру Егор Петухов, проиграны были незаметно, без особой боли. Осталось только ощущение неухваченного счастья.

Сердито посопев, Егор встал.

— Обождите, не начинайте.

Снова вытащил чемодан, погромел замком, выложил на койку бумажку. Иван Ступнин ухмыльнулся во всю физиономию.

— Перипетия ты, а не человек. Опять пятерку вынес, как нищим напоказ.

Бушуев ничего не сказал, только перетасовал карты и бросил на койку сто рублей.

— Кто смелый? Можно на все.

Запахло крупной игрой. Кто-то из стоявших попросил:

— Ну-ко, ребята, выдвинем в проход койку, мы присядем.

— Зачем мебель трогать, давай прямо на пол.
— И верно, чего в теспоте-то! Не в праздничных одежах, не попочкаемся.

12

Расселись в круг, одни — упираясь спинами в печь, другие — подобрав под себя ноги, прямо в проходе. Ни один человек не лежал на койке — играло больше половины. Банк рос. Доставались из карманов, из загашников смятые десятки, двадцатипятирублевки, полусотенные.

— Стучу! — объявил Бушуев.

По общежитию пронесся вздох, играющие зашевелились, распрямили затекшие спины. Последний круг. Если не разберут банк, Бушуеву достанется куча денег.

Егору Петухову до сих пор везло. Отрывал от банка по пятерке, по десятке, ни разу не промахнулся. Сейчас в потной ладони у него лежал туз червей — хорошая карта. Даже если придет валет или дама, можно без опаски добрать. А вдруг повезет — второй туз или десятка! Хорошая карта в руке!

Егор глядел на кучу денег — желтые рублевки, отливающие зеленью полусотенные. Пестрая куча! В ней выделяются величиной и благородством расцветки сторублевые булочки.

У Бушуева, мечущего банк, прикушена губа, глаза прищурены, руки, как всегда, ловко выбрасывают карты. Куча денег и эти руки! Ловкие, со свежими ссадинами на костяшках, длинные пальцы словно обрублены у концов, ногти плоские, белые. Кто знает этого человека с руками, не вызывающими никакого доверия? От него можно ждать всякого. Мошенник, и сидел, должно быть, за мошенничество.

Но, о господи! Сколько возле него на полу денег! И карта хорошая — туз червей. Вот уже пятый раз к нему, Егору Петухову, приходит красная масть. Четыре раза выигрывал. Не было промашки. А тут упустить...

Куча денег. Эта куча красива, от ее близости по телу проходит озноб. Все на нее бросают скользящие взгляды... Хорошая карта!

— Тебе?.. На сколько бьешь? — отрывисто спрашивает Бушуев, и его глаза сквозь редкие ресницы глядят холодно, без насмешки, Егору кажется — враждебно.

— А сколько тут? — глухо спросил он, чувствуя, что карта в руке становится мокрой от пота.

- Уж не по всему ли бить собираешься?
- Не твоего ума дело. Сколько, спрашиваю?
- Не считал.
- Подсчитай.

— Лешка, — кивает небрежно Бушуев, — сосчитай, сколько сейчас в банке. Я что-то не упомню.

Лешка, нахмурившись, стоя на коленях, неловко начал считать, перекладывая бумажки с одного места на другое.

Все кругом молчали. Егор вытирал рукавом пот с лица.

— Семьсот сорок пять рублей.

Еще раз проводит по лицу рукавом Егор, еле шевелит пересохшим языком:

— На все.

— Шалишь, папа! — Бушуев дергает щекой. — Вот положи сюда при всех на уголок семьсот сорок пять — тогда поверю.

— Положу, чего ты... — не совсем уверенно возражает Егор.

— Вот и клади. Не задерживай игру. Распотроши свой сундучок. — Глаза Бушуева глядят без обычного прищура.

Егор чувствует, что он должен подняться. Этого ждет Бушуев, ждут все — настороженно, молчаще.

— Ну!..

Егор тяжело поднимается. Он отсидел ноги, трудно двигать ими, колет в икрах. Потная рука мнет карту. Карта хорошая, но при любой карте можно срезаться. Если сразу придет шестерка?.. Бушуев хвалился, что карты насквозь видит. И карты-то... Кто их проверял?

Егор идет к своей койке, выдвигает чемодан. Тяжелый, добротный замок, стальная дужка всунута в толстые кольца. Сам эти кольца приклепывал. При одном прикосновении к замку у Егора пропадает всякое желание играть. Но чемодан уже открыт, рука привычно лезет под белье, в укромный уголок, где у него лежат деньги — несколько пачек, зарплата за три месяца. Давно уже собирался вырваться Егор в воскресенье в райцентр, сдать с рук все деньги на книжку. Здесь пять тысяч в сотнях да рублей триста по мелочи. Одну тысячу он сейчас должен вынуть и отсчитать семьсот сорок пять рублей!.. Для кого отсчитать? Для этого каторжника! Свои кровные! Жене рубля не давал, в столовой не обедал. Семьсот сорок пять в руки проходима!

— Ладно, — с трудом поворачивает голову Егор, поглядит в пол, — плевал я на твой банк. На пятьдесят рублей бью.

— То-то,— насмешливо тянет Бушуев.— А еще пугал.

В его голосе Егору чудится облегчение. Тоже боится за банк. Куча денег возле него, вся куча ему достанется. Он, Егор, выиграет пятьдесят рублей. Всего пятьдесят! Остальные не за будь здоров на пропой, на веселую жизнь этому бродяге... И карта хорошая...

Чемодан открыт, руки сквозь платок ощущивают пачки денег.

— Ну, ползи сюда! Чего там застрял? — торопит Бушуев.

— На все! — срывающимся голосом выкрикнул Егор.— Вот, сволочь, деньги!

Егор выхватил завернутые в женин платок сбережения, отделил тысячу, захлопнул чемодан. Долго искал упавшего за чемодан туза червей.

И пока он искал карту, снова пропала уверенность.

— На все...

Карта в одной руке (карта хорошая — ну, помоги бог, помоги бог!), в другой — пачка сторублевков. Кровные деньги, горбом заработанные, сбереженные жестокой экономией — обедал не каждый день...

— Видишь, стерва? Веришь теперь?

— Верю,— серьезно и коротко отзывается Бушуев.— Садись.

Все молчат, со всех сторон уставились возбужденно блестящие глаза. Ждут. А Егора охватывает отчаяние: как это случилось? Прихлопнет же его Бушуев. Эвон вытянулась воровская рожа, до сих пор щерился — теперь серьезен.

Но Бушуев уже выкинул ему карту. Егор взял ее. Отказаться? Уже поздно. Раз взял в руки карту, отказываться, нельзя — возмутится не один Бушуев...

Пришел король бубен.

Бушуев прицелился острыми зрачками.

— Еще картинку?

Слышно, как кругом дышат люди.

— Дай сам потяну,— хрипло просит Егор.

Его неуклюжие, толстые, огрубелые пальцы тянут из подставленной колоды карту. Помоги бог, помоги бог!.. Егор ничего не видит, пот стекает со лба, ест глаза.

— Ну?! — всем телом подается Бушуев.

Через короля пришел туз — перебор.

Бушуев накладывает узкую, нерабочую ладонь на деньги, без слов придвигает их к своей куче.

— Возьми сдачу, — говорит он и бросает Егору несколько бумажек.

Егор послушно берет их...

Генка Шамаев, как всегда ездивший за реку, впервые застал общежитие неспящим... Все сидели на полу под лампой в табачном тумане.

Генка подошел к своей койке, откинул одеяло.

— Вижу — всерьез схлестнулись. Ужо Саша дознается, будет всем на орехи!

Никто не обратил на него внимания. Егор проигрывал оставшиеся от тыщи деньги.

13

Хмурое утро, облака цепляются за верхушки береговых елей, моросит дождь. Сплавщики, перепоясанные поверх курток и брезентовых плащей ремнями, выходя из теплого, душного общежития, поеживаются. Их лица сонны, не слышно разговоров. Как всегда по утрам, шум воды на Большой Голове кажется более громким и решительным.

Сутулясь, глядя под ноги, вместе со всеми идет к лодкам и Егор Петухов. За ночь его лицо оплыло, шагает вяло, волочит по земле багор.

Возле лодок, где топчутся сплавщики, поджидая замешкавшихся, стоит Николай Бушуев. На нем поверх пиджака пузырится старая брезентовая куртка — одолжил у долгового Харитона. И хотя Бушуев, как все, подпоясан, как у всех, за поясом топор, а в руках багор, но вид у него не рабочий, не серьезный.

Егор, пригнув лицо к земле, подошел боком, ковырнул сапогом землю, проговорил виновато:

— Слышишь, парень... Ты того... Пошутили вчерась.. Смешно, право, я-то полез... Слышишь, верни мне деньги, и забудем все...

Бушуев дернул в усмешке щекой, сощурился.

— Дуришь, дядя. Река-то в обратную сторону не течет.

— Слышь, отдай, говорю. Худа бы не было, — уже с угрозой надвинулся Егор.

— Ну, ну, отступи, — подобрался Бушуев.

— Сволота! Перешибу!! — Егор поднял над головой багор.

Бушуев отпрыгнул, схватился за топор.

— Давай, давай! Я т-тебя клюну в толстый череп!

Генка Шамаев, в короткой куртке, в резиновых сапогах до паха, повернув к ним вывалившийся из-под фуражки сухой чуб, прикрикнул:

— Побалуйте! Вот я вступлюсь! — Шагнув к Егору, схватился за багор. — Поделом дураку, связываться не станешь. Иди в лодку!

Егор обмяк, послушно отвернулся.

До сих пор на славучастке жизнь шла тихо и однообразно — день походил на день, вечер — на вечер, никаких тревог, никаких событий. Даже развлечения одинаковы — послушать радио, стогнать партию-другую в «козла». От таких развлечений быстро тянуло на сон. А утром — лодки, окатка бревен, обед, и так без конца.

Но вот — плотный круг людей на полу, напряженные лица, возбужденно блестящие глаза, отрывистые слова, деньги, сваленные кучей, деньги, переходящие из одного кармана в другой, острое чувство близкой удачи, разочарования... А Егор, распотрошивший свой чемодан! Разве это не событие? Совестно признаться, но, ей-ей, пережить такой вечер куда любопытней, чем стучать перед сном костяшками домино.

Настал вечер, и все общежитие уселось в плотный круг, одни — с желанием поиграть, другие — поглазеть, со стороны поволноваться. Не участвовали только двое — Генка Шамаев и Егор Петухов, лежавший, не раздевшись, на своей койке лицом вниз.

Игра сразу пошла по-крупному. До Егора доносились сдержанные возгласы. Он лежал и сжимал от ненависти кулаки. Бушуева сейчас не тронешь, все игроки поднимутся на дыбки. Пропала тысяча, не вернешь.

А голоса бередают душу:

— Стучу!..

— Подкинь еще карту...

— Ах, черт! Вот так сорвал!

Бередают душу и короткие напряженные паузы. Кому-то подваливает счастье. А он, Егор, обиженный, забытый, лежит один, никому в голову не придет пожалеть. А если снова попробовать? Но не зарываться, а с умом, с оглядкой, осторожно. Вдруг да вернет свои деньги. По-крупному прогрел, можно, чай, рискнуть по мелочи...

Егор слез со своей койки, осторожно выдвинул чемодан, достал деньги, отделил сотенную бумажку...

На правах обиженного, которому обязаны прощать и сочувствовать, он грубо растолкал сидящих.

— Ну-ко, потеснись!

Сел и, стараясь ни на кого не глядеть, взял карту.

14

За поселком, в конце каменной дамбы, Дубинин ставил морды. Каждый вечер он ходил их проверять. И сейчас он возвращался с ведром, в котором плескались окуни.

Шел прямо по дамбе, ступая по громадным валунам. Дамба — каменная гряда высотой чуть ли не в два человеческих роста — растянулась на четверть километра, начинаясь от столовой, наискосок влезая в бурлящую реку.

Участок Дубинина два года назад был самым тяжелым на всей реке от истоков до устья. Большая Голова забрасывала лес на каменистую отмель, и там несколько раз за лето вырастали огромные завалы. В разгар сплава приходилось работать по двенадцати часов в сутки. К осени сплавщики изматывались. Тогда-то и решили своими силами построить дамбу, которая не пускала бы бревна на отмель.

Камень к камню, крупные, ноздреватые валуны! Сколько их! Гряда, растянувшаяся на четверть километра, высотой в два человеческих роста, она весит несчитанные тысячи тонн. Все эти камни укладывали зимой каких-то два с лишним десятка людей с помощью простых слег, веревок и одной-единственной лошаденки. Тысячи тонн камня! Значит, каждой паре рабочих рук пришлось поднять и перенести многие сотни тонн!..

Дубинин вместе со всеми ворочал тогда валуны, которые на лютom морозе обжигали сквозь брезентовые рукавицы руки. Сейчас, ступая с камня на камень, он думал о том, что если бы вся работа — разборка завалов, очистка берегов и мелей — каким-то чудом вдруг превратилась в сложные один на другой камни, то за шесть лет службы Александра Дубинина мастером выросла бы на этом участке гора, снежной вершиной уходящая за облака. Дамба удивляет, а это — побочное дело. Ребята-сплавщики привыкли к ней, как привыкли к неумолкающему шуму воды на Большой Голове. Александра Дубинина нет-нет да охватывает смутная гордость за своих ребят: «Трудовой народ, ничего не скажешь. Не зря хлеб едят...»

Дамба кончилась, булыжный склон упирался в стену столовой. А из-за угла столовой светились окна общежития. Время довольно позднее, но там не спят...

Ощущение гордости и спокойной уверенности — все хорошо, жизнь налажена — исчезло: «Опять в карты дуются!..»

Какой-то неудачник, легкая пена, которую выбрасывает жизнь, сейчас атаманствует над двумя десятками взрослых людей, здоровых, рассудительных, знающих себе цену. И ему, мастеру Дубинину, всесильному человеку на участке, слово которого хватают на лету, не так-то просто прийти и сказать: «Баста, ребята! Кончай канитель!»

Все хорошо, все налажено... Но все ли? Сытно, покойно, даже слишком покойно — сон да работа, работа да сон...

Дубинин мог заставить в трескучие морозы ворочать тяжелые камни. Нужно! Он мог приказать сплавщикам, во все не трезвенникам: на участке не пить. Нужно! В этом «нужно» и была сила Александра Дубинина. Но отбери сейчас карты, сразу зашумят:

— Мы что — подневольные тебе? Ишь порядочки — играть нельзя. Нет для работы вреда? Нет. Ну и не зарывайся.

А ведь так просто не кончится: где карты, там и выпивка и скандалы, мало ли что может стрястись. Пусть. Схватятся — тут-то он и появится, тут-то скажет свое «баста». И попробуй тогда возразить, попробуй послушаться!

В берег уткнулась лодка. Генка Шамаев выскочил, рывком вытянул лодку на камешник, пружинящими скачками взбежал на дамбу.

— Колдуешь? — спросил он, тоже уставясь в светящиеся окна.

— Прикидываю.

— Обдерет как липку ребят и сбежит, сукин сын.

Дубинин промолчал.

— Дозволь мне, Саша, я из него и деньги вытрясу, и в шею вытолкаю.

— Успеется.

Генка переступил с ноги на ногу, приблизил свое лицо к Дубинину.

— С кем нянчишься? За чужой пазухой счастья ищет. Таких не вытаскивать из порога, а по башке надо бить, когда выныривают.

— Многих тогда пришлось бы по башке бить... Час-

то и честные люди — не чета Бушуеву — чужое заедают.

— Мудришь что-то. Кто заедает?

— Боюсь, что ты даже...

— Я?..

— Который месяц бабе голову крутишь. Побалуешься, а потом отвернешься. Тебе удовольствие, а ей слезы. Так-то... Не суди других строго.

Генка выпрямился, из-под волос блестели в темноте глаза.

— Суешься, куда не просят.

Погромыхая по камням, он сбежал с дамбы. Дубинин постоял еще и не спеша начал спускаться.

15

Табачный дым пластовался над головами сбившихся на полу людей. Многие с испугом косятся на Бушуева: быть не может, чтобы срывал такие выигрыши без жульничества, зря зарывается, не простят... Прекратились шутки, исчез смех, в густом, прокуренном воздухе минута за минутой копилось что-то зловещее, все ждали — вот прорвется.

Николай Бушуев в нижней рубаше распояской, подвернув по-турецки ноги, сидел возле денег. Он несколько раз рассовывал деньги по карманам, а они снова вырастали у его колен. Когда Бушуев поднимался и шел пить, все головы поворачивались вслед за ним, десятки пар глаз с подозрением следили за каждым его движением. Бушуев не спеша наливал в алюминиевую кружку воду из бака, жадно пил, возвращался, снова усаживался по-турецки.

Егор Петухов дрожащими руками тасовал карты, на рыхлом лице непривычное ожесточение, веки красные. Его чемодан выдвинут прямо в проход, раскрыт, в нем белеет скомканное белье. Егор проигрывал последнее.

— На все,— безжалостно произносит Бушуев. Который уж раз за вечер он повторяет эти слова.

На все! Егор втягивает голову в плечи, руки дрожат. Он выбрасывает карту. Бушуев спокойно берет ее, мельком бросает взгляд, тянется к колоде.

— Дай сам потяну.

Дрожат руки Егора, дрожит колода карт, дрожат распущенные губы.

Кто-то недружелюбно роняет за спиной Бушуева:

— Взял!

Егор вдруг бросил на пол карты, через разбросанные деньги рванулся к Бушуеву, захрипел:

— Шаромыжничаете! Задушу, оплевок!

Бушуев напружиненно вскочил на ноги. Неуклюже ворочаясь среди тесно сбившихся, опешивших людей, со звериным оскалом на багровом лице, Егор ревел:

— Уничтожу! Вдребезги разнесу! Сволочь!

Поднялся на ноги, тяжелый, неуклюжий, качнулся на узкоплечего, утонувшего в просторной рубаше Николая Бушуева — сейчас сомнет, придавит, искалечит... Но Бушуев вдруг гибко присел и нырнул на Егора. От короткого удара головой Егор тяжело плюхнулся на пол.

Это произошло быстро — никто не успел сообразить. Никто не схватил Егора, не задержал Бушуева.

Бушуев бросился к своей койке, откинул матрас, и в руках его оказался топор...

Стало тихо... За окнами глухо шумела вода на Большой Голове.

До сих пор все испытывали к Бушуеву только неприязнь, пусть острую, подогреваемую смутными подозрениями, но в ту минуту, когда увидели в его руках топор, поняли — он враг, сам сознает это, не зря же загодя спрятал в койке топор.

— Вот, — Бушуев качнул топором, — сунься кто... Мне терять нечего — враз кончу.

В белой, выпущенной поверх штанов рубаше, острые ключицы выпирают под распахнутым воротом, шея тощая, длинная, как куриная нога, на бледном, тропутом черной щетиной лице пустовато-светлые глаза.

Один против всех. Каждый из сплавщиков наверняка сильнее его. Сплавщиков более двух десятков, целая толпа. И что из того, что в руках Бушуева топор? Топоры лежат в коридоре, нетрудно выскочить за дверь, разобрать по рукам...

Шумят сквозь наглухо закрытые окна пороги. Никто не двигается, стоят, переминаются, глядят на Бушуева. Пахнет не потасовкой на кулаках, нет, топор в любой миг может подняться, и нельзя сомневаться — этот человек с легким сердцем опустит его на первую же подвернувшуюся голову. Его не связывают ни совесть, ни человеческие законы. А даже Егор Петухов, обезумевший сейчас от ненависти и отчаяния, не решится схватить топор, чтоб размозжить череп другому. Более двух десятков здоровых мужиков стоят в растерянности перед слабосильным, узкогрудым человеком. Стоят и молчат... Шумит вода на реке.

Егор, сидевший на полу, пошевелился, опираясь руками в пол, стал тяжело подниматься. Все внимательно следили за ним. Холодно, с острой настороженностью следил и Бушуев.

Егор поднялся, пошатываясь, прошел к своей койке, свалился на нее. Зашевелились остальные. Напряжение прошло, но настороженность и недоверие остались — косились на Бушуева, молчали.

Бушуев присел на койку, отвалился на подушку, положив возле себя топор, не спеша вынул папиросы, закурил, откинув назад голову, стал пускать дым в потолок. Потянулись к своим койкам и остальные.

Открылась дверь, пригнув голову под притолоку, вошел Генка Шамаев, хмуро скользнул взглядом по койкам, споткнулся, поднял замок — большой, крепкий дверной замок, — бросил его в раскрытый, с разворошенным бельем чемодан Егора.

— Деньги-то хоть с полу приберите, — хмуро сказал он, стаскивая с плеч пиджак.

Деньги, вперемишку с рассыпанными картами, валялись возле печи. Никто не пошевелился, не стал их поднимать.

16

Лешка Маликин последние два дня ходил очумелый — куча денег, удачи, проигрыши, люди, стоящие за твоей спиной, жарко дышащие в затылок. Он смутно чувствовал: все, что происходит, — нехорошее, пугающее; рад бы отойти в сторону, но нет сил. И Саша не похвалит. Омут какой-то, нырнул — не выберешься. С замиранием сердца минутами думал — чем кончится? И вот хриплый крик Егора, короткая драка, Бушуев с топором в руках у своей койки...

Как и все, Лешка почувствовал ненависть к этому непонятному человеку. Он ждал, что Иван Ступпин, Егор Петухов — люди сильные, никогда ни о чем не говорившие со страхом, — бросятся на Бушуева, скрутят его. И никто не бросился, все, как он, Лешка, стояли в растерянности. Страшен же, видать, этот человек со светлыми глазами на прищуре. Все скопом перед ним робеют.

Лешка с опаской подошел к своей койке, стоявшей вплитык к койке, на которой, развалиясь, курил Бушуев, стал торопливо раздеваться. Забраться скорей с головой

под одеяло, отвернуться от Бушуева, забыть о нем. Едва его голова коснулась подушки, как почувствовал — что-то твердое выпирает сквозь наволочку. Он полез рукой, но острый, пристальный взгляд Бушуева заставил обернуться.

— Ты... — чуть слышно, сквозь стиснутые зубы, процедил Бушуев, — выйди на волю...

Лешка, не понимая, таращил на него глаза.

— На волю выйди, говорю. Словно бы по пужде... Меня дождись там... Ну!..

Бушуев нобрежно отвернулся, пустил дым в потолок. Лешка все еще не понимал.

— Ну... — чуть слышно вытолкнул с дымом Бушуев.

И Лешка не посмел ослушаться. Влез в резиновые сапоги, придерживая руками подштанники, пошел к дверям. Никто не обратил на него внимания.

Из-за леса выползла почти полная луна. С черной реки лился ровный, мощный, равнодушный ко всякой человеческой суете шум воды. Лешка стал в тень под стену, поеживаясь в одном исподнем от ночного холода, сдерживая стук зубов, стал ждать, поминутно оглядываясь. Казалось, со стороны подозрительно следят чьи-то глаза. Вслушивался: не уловит ли в шуме воды приближающиеся шаги...

Ждать пришлось долго. Луна, ядреная, чуть сточенная с одного бока, освещала просторный двор, железную бочку посреди двора. В конторе теплилось окно. Там сидел Саша. Если сорваться сейчас да к нему — Бушуев, мол, нехорошее затевает?.. Он-то не отступит...

Лешка топтался, поеживался и не решался сорваться с места.

Легко проскрипело крыльцо, в белой незаправленной рубаше, прижимая локтем топор, появился Бушуев. Свободной от топора рукой взял Лешку за грудь, притянул к себе, обдавая табачным перегаром, заговорил захлебывающимся шепотом:

— У тебя в подушке — десять косых... В субботу отнесешь к себе домой, в деревню. Припрячь понадежней, приду в гости. Скоро иль нет, но приду... Ты из Яремной, третья изба справа — все знаю. Ссучишься — живым не быть. А коль выгорит — две косых тебе на сладости. Понял, телок? Им и в голову не придет, что деньги-то у тебя. А меня пусть щупают.

Бушуев сплюнул сквозь щербатину.

— Иди!

Лешка выбивал дробь зубами.

— Отдал бы ты деньги, — попросил он. — Ребята-то шибко сердиты.

— Не учи, сонля.

— Тог... тогда сейчас уходи. Бери деньги и уходи.

— У-у, сука, зубами стучишь... Уходи? Без паспорта-то?.. Мой паспорт Саша у себя держит... Проваливай, а то и на тебя станут косоротиться. Помни: чуть вякнешь — убью!

17

Лешка вернулся в обжитое тепло общежития. Кто-то из ребят уже безмятежно всхрапывал. Генка Шамасв курил, думал о чем-то. Деньги по-прежнему валялись на полу.

Егор Петухов, нераздетый, в сапогах, лежавший лицом вниз на своей койке, при шуме открывшейся двери вздрогнул, рывком поднял голову — взгляд дикий, веки красные, лицо опухшее.

— Ты там был? Видел его? — хрипло спросил он.

— Кого? — спросил Лешка упавшим голосом.

— Кого, кого!.. Словно не знаешь. Ты вышел, а он за тобой следом. Спелись с ним.

— С ума спятил, — повернулся к Егору Генка. — Из-за денег сбесился. Может, на меня кинешься? Ложись, Лешка.

У Лешки дрожали колени. Волоча ноги, он прошел к своей койке, залез под одеяло. Едва его голова коснулась подушки, как снова почувствовал лежавший в ней узелок с деньгами. На секунду появилось острое желание вскочить, закричать: «Ребята! Вот деньги! Он мне в подушку сунул!» В него верят. Своих обманывать! Но ведь пригрозил: «Чуть вякнешь — убью!» И убьет, долго ли такому.

Лешка поджал к животу ноги и замер — никак не мог согреться, знобило.

А Егор плачущим голосом жаловался:

— Он же сбежит... Махнет с нашими деньгами за реку, только его и видели...

— Без порток, считай, выскочил. Куда он в таком виде — всякому в глаза бросится, — лениво возражал Генка. — Ты завтра за ним в оба гляди.

— Тогда что ж он там торчит? Тогда он, значит, наши деньги припрятывает...

— Вернет, заставим.

Кто-то поднял голову:

— Шабаш, ребята. Завтра в семь вставать.

Из своего угла Иван Ступпин вздохнул:

— Перипетия...

В общежитии наступила тишина. Скрипел на койке Егор.

Лешка, прижавшись ухом к выпирающим сквозь подушку деньгам, притих. Озноб прошел, но сложное, непривычное, томящее чувство охватило его. Не так давно на соседней койке, куда должен скоро вернуться Бушуев, спал Толька Ступпин. Он часто говорил Лешке о том, что читал в книгах. Рассказывал о больших городах, об институтах, об ученых людях, о самолетах, что могут поднять в воздух всех людей, какие есть на участке. Когда Лешка слушал Толю, мир за пределами их сплавучастка казался сказкой, населенной могущественными и добрыми людьми. Сейчас впервые открылось: в том большом мире живут еще и Николаи Бушуевы. Как соединить в одно Толькины рассказы и этого человека с черной душой? Запутан и непонятен большой мир...

Лешка лежал, плотно закрыв глаза, и чувствовал себя бесконечно маленьким, беспомощным, глупым перед той жизнью, которая, как океан, окружает знакомый ему островок — крохотный поселок, притиснутый лесами к реке. Первое разочарование, первое смятение, первый страх, первое наивное прозрение затянувшегося детства.

Егор Петухов не мог успокоиться. Натыкаясь на спинки кроватей, он подошел к койке Бушуева, с ожесточенным лицом стал щупать пиджак, висевший на гвозде, приподнял подушку, помял ее, откинул матрас...

«Деньги ищет... — Лешка похолодел. — Сейчас мне скажет: а ну, вставай!..» Деньги сквозь наволочку давили в висок. «Что же делать? Сказать?.. Но Бушуев?.. Что они ему сделают? Ну, выгонят, ну, в шею дадут, пусть даже поколотят — все равно останется живой и здоровый. А он и деревню знает и дом — найдет, из-под земли вырост...»

Лешка лежал, прижавшись виском к деньгам. И Егор, разбрасывающий постель Бушуева, казался ему в эти минуты не таким, каким привык всегда видеть. Раньше был обычный человек, только, может, скупее других... Те-

перь — лицо злобное, упрямое, глаза красные. Узнай сейчас, что он, Лешка, лежит на деньгах, — пожалуй, душить бросится. Чужой, непонятный! А ведь больше года жил с ним бок о бок.

Затаив дыхание, Лешка глядел из-под одеяла на Егора. Тот, разворошив койку, выругался, отошел.

18

Выпотрошив наловленную рыбу, обложив ее крапивой, Дубинин выставил в сенцы, на холодок, ведро, не снимая пиджака, сел в конторе и под хриплые звонки вечно бодрствующего телефона задумался.

Вспомнил, как Бушуев, только что вытащенный из порогов, лежал на койке с зеленым, обросшим щетиной лицом — острые коленки проступают сквозь одеяло, тонкие руки устало вытянуты вдоль тела, надпись на груди...

Счастья нет у тебя, сукин сын! Руку тебе протянули: давай, выкарабкивайся, прислоняйся к нам. Пусть у нас у самих немудрящее счастье, но какое есть. С большим-то ты, поди, и не справишься.

Рвешь у других. Надеешься, что так легче прожить? Ой, нет. Не с землей, не с водой, не со зверем приходится воевать, а с человеком. Человек упрям, никогда не отдает свое счастье легко и просто. И потому ты, Николай Бушуев, не богат и не славец, потому жизнь тебя так гнула, что пришлось признаться: «Года идут, а счастья нет».

Но ведь есть же Бушуевы и удачники. Сколько их ходит по свету! Просторна земля, а таким вот тесно на ней, стараются оттолкнуть соседа, верхом на него сесть. Тесно?.. Даже смешно думать об этом. Здесь, на участке, живут тридцать два человека, оттого и скучно — кино даже нет. А если б триста тысяч жили — пороги бы прикрыли, пароходы бы пустили, театров бы понастроили, музыка бы по вечерам играла... Просторна земля и обильна — могло бы хватить счастья всем.

Доносился шум воды, надрывался телефон на стене. Дубинин встал.

При первой встрече он сказал Бушуеву, что со сплава участка скрыться трудно. А так ли трудно? Можно бежать не пешком и не на весельной лодке — на моторке. Она всегда стоит под берегом, моторист Тихон никогда не снимает с нее мотора. Если вечером сесть, то за ночь

вниз по течению все участки останутся за спиной. А впереди перевалочная база, там сотни рабочих, среди которых легко затеряться, там железнодорожная ветка, там шоссе... Будет потом посмеиваться, что обвел простаков вокруг пальца.

Молчаливый, загадочный, поднимался над рекой лесистый берег — величественная стена, отделяющая маленький поселок от остального мира. Река была черная, только на середине неистово трепыхался лунный свет, рвался вперед вместе с течением и не мог сорваться.

Дубинин снял с лодки мотор, положил на берег и долго стоял среди валунов, глядел на судорожно мечущийся на воде лунный след, слушал рычание порога, легкие всплески о борта лодок.

Что он может сделать? Вразумить? Найти слово? Где уж, не горазд на слова. Просто вытолкать в шею? Скинуть со своих плеч на чужие, а там хоть трава не расти — чем-то бушуевским пахнет...

Дубинин взвалил на плечи тяжелый мотор и, глядя на свою короткую тень, ползущую по камням, стал подниматься по берегу на теплившееся окно конторы.

Не доходя метров десяти, он заметил, как в освещенном окне мелькнула тень. «Кто там? В такое время?»

Чуть сутулясь под тяжестью мотора, Дубинин осторожно приблизился.

Согнувшись над столом, рылся в бумагах Бушуев. На столе лежал топор.

«Что это он? Что нужно?.. — И вдруг осенило: — Паспорт! Я же его не отдал...»

Паспорт был не в столе, а в полевой сумке, что висела на стене возле телефона, прямо за спиной Бушуева. Он не замечал ее.

Наверно, Дубинин неосторожно переступил с ноги на ногу, Бушуев резко вскинул на окно глаза — лицо собранное, застывшее, глаза же затравленно бегают.

19

Они столкнулись в темных сенях.

— Саша? Ты? Я тут к тебе... — Ни страха, ни смущения в голосе. Дубинин в темноте схватил за локоть, вытащил на крыльцо.

— Ношли.

— Куда?

Дубинин не ответил.

При свете луны просторный двор казался особенно пустынным. На иолпути к общежитию темнела старая железная бочка. Окна общежития светились. И этот свет в окнах, несмотря на то что время давно перевалило за полночь, и Бушуев, забравшийся в контору, и топор, не без умысла зажатый у него под мышкой,— все говорило: что-то случилось, пора действовать.

Не доходя до бочки, Бушуев остановился:

— Ты куда меня ведешь?

— Идем, не разговаривай.

— Да обожди... Хочешь, чтоб я деньги отдал?.. Так и скажи.— Голос Бушуева был миролюбив.

— Отдашь. Но прежде с ребятами потолкуем.

— Толковать-то легче, когда я деньги на стол выложу. Добрее будут...

— Вот и выложишь...

— Так я спрятал.— Бушуев, схваченный за локоть, глядел на Дубинина через плечо.

— Где?

— Не выгорело, что ж... Пойдем, покажу.

Дубинин помедлил и решился.

— Веди.

Бушуев потянул мастера от общежития к берегу, за столовую, к дамбе.

— Помнишь, Саша,— с прежним миролюбием говорил он,— ты меня спрашивал, хочу ли я домой. Я там семнадцать лет не был, с начала войны... Вот и запало: приехать бы туда, взять бы в жены бабу с домом. С деньгами-то любая примет. Жить, как все. Надоело по свету болтаться, надоело, когда вертухай за спиной стоит...

— Проработал бы честно, и езжай себе. Добрым словом проводили бы.

— А еще, Саша, дорогой ты наш начальничек, надоели мне ваши леса. Живу здесь, и словно не на свободе. Сырость, тучи, пороги — тьфу! У нас поля кругом, приволье, теплынь. Не хотел я твоих ребят шерстить, но сами, дураки, полезли. Как не пощупать? На берега эти тошно глядеть, на остолопов, которые живут в дыре...

— Ладно, умник, кончай разговор. Где деньги спрятал?

— Обожди. Что-то тороплив ты сегодня. У меня желания нет торопиться.

— Ну!

— Не пукай! — Бушуев вырвал локоть, стал напротив, в рубаше, выпущенной поверх брюк, в резиновых сапогах: снизу — громоздкий и неуклюжий, сверху — узкоплечий, с вытянутой шеей.

За ним, уходя в призрачную лунную ночь, возвышалась дамба, сложенная из крупных валунов, укрепленная столбами. Совсем рядом шумела Большая Голова, чувствовалось ее влажное дыхание.

Бушуев поудобнее перехватил топор.

— Тебе при людях потолковать хотелось, мне — вот так, в тесной компании. Благодать, никого кругом, — Бушуев насмешливо разглядывал мастера.

— Где деньги, сучий сын? — шагнул на него Дубинин.

— Осади, осади. Не увидят твои ребята денег.

— Ты топором не тряс, не испугаешь!

— Ой, начальничек, не лезь. Давай лучше по-доброму сговоримся: ты мне скажешь, где мой паспорт лежит, и без крику отпустишь. А я, так и быть, не трону тебя.

— Брось топор! — Дубинин сжал кулаки.

Но Бушуев поднял топор, заговорил свистящим бешеным шепотом:

— С кулаками на топор — смерти хочешь! Стукну и в реку сволоку, в ней места много... Паспорт давай, гад! В твоих бумагах нет, в кармане таскаешь. Давай паспорт, паскуда!

Дубинин отскочил, попытался нагнуться, чтобы поднять камень.

— Ах, та-ак, сука! — Бушуев пошел па него. — Перышко при себе носишь! Не страшно. Махни только перышком, я т-тебя накрою!

Дубинин совсем забыл про нож, висящий у пояса. Он выдернул финку... Но что с кулаками, что с ножом — одинаково трудно драться с человеком, у которого в руках топор. Держа в руке нож, Дубинин отступал к реке, боясь споткнуться о камень и полететь на землю.

Его сапог соскользнул с камня в воду — за спиной река, отступать некуда.

— Капец тебе! Гони паспорт, не то...

И Дубинин кинулся вперед. Он успел отклониться, прикрыть рукой голову. Должно быть, топор был тупой, лезвие, задирая рукав, скользнуло от запястья к локтю. Но рука после этого сразу упала, стала непослушной, деревянной.

А рядом — искажившееся, с оскалом щербатого рта лицо, широко открытые бешеные глаза. Топор снова взлетел вверх. Дубинин бросился прямо под топор, вплотную — так, в тесноте, топор неопасен, — попытался обхватить Бушуева, но разбитая рука не слушалась. Бушуев вывернулся, все еще держа над головой топор.

Не соображая, боясь только одного — что поднятый топор вот-вот опустится на голову, Дубинин ударил ножом в грудь сверху вниз — раз, другой, третий!

Топор с глухим звоном упал на камни, Бушуев вытянулся, задрал вверх подбородок и мягко, без шума откинулся назад.

Ревела вода на пороге. Кроме ее шума, не слышно было ни звука. Огромные валуны, тяжело давя друг на друга, поднимались стеной. Раскинув руки, в просторной белой рубашке, лежал Бушуев, неуклюжие резиновые сапоги торчали вверх тупыми носами. Шумела вода...

Дубинин взглянул на нож, на блеснувшем при свете луны лезвии увидел черные пятна — кровь. Бросил нож. Заплетающимися ногами шагнул к Бушуеву, нагнулся и сначала отпрянул... Глаза Бушуева были открыты, а горло сжималось и распускалось, из рта черной нитью текла кровь, вырывалось икающее дыхание. Снова нагнулся Дубинин, хотел приподнять голову, но рука на затылке попала во что-то липкое. Только со стороны казалось, что падение Бушуева было мягким и бесшумным, — он разбил о камни затылок. На рубашке с левой стороны груди расплзлось маслянистое, темное пятно... Дубинин разогнулся.

Он шел к дому. Отвороты резиновых сапог задевали один за другой. Шумела вода, скрипел под сапогами песок, шуршали, отмечая шаг за шагом, резиновые отвороты, глядела сверху безучастная луна...

В конторе Дубинин снял с телефона трубку. Линия, еще недавно кипевшая разговорами, теперь была пугающе тиха. Левая рука не поднималась, пришлось зажать трубку плечом, чтобы крутить ручку телефона правой.

В районном отделении милиции дежурил какой-то старшина Осипов.

— Это с пятого сплава участка Дубинин говорит... Дубинин! Я тут человека убил... Да, я... Нечего рассказывать, сами узнаете... Лодку к утру выслать? Вышлю...

Повесил трубку, сел на стул, бережно устроил на коленях больную руку...

На следующий день, часам к одиннадцати, моторист Тихон привез на лодке троих — следователя, врачаху и милиционера.

Все население маленького поселка молчаливой толпой встретило приехавших, вместе с ними пошли к дамбе, где на прибрежных камнях лежало тело Бушуева.

Врачиха, немолодая женщина с увядшим и каким-то домашним лицом, разрежала от подола до ворота рубаху па теле Бушуева, бережно касаясь груди кончиками пальцев, осмотрела раны, приподняла голову, обследовала разбитый затылок. Следователь поднял нож и, хмурясь, его разглядывал, потом попросил участкового прихватить топор.

В конторе, расстегнув пальто, отбросив с волос на плечи платок, врачаху за столом Дубинина принялась заполнять свои бумаги. От ее трудолюбиво склоненной фигуры в стенах этой комнаты — наполовину учреждения, наполовину холостяцкого жилья — веяло покоем. Когда Дубинин глядел на нее, ему казалось, что все случившееся не так уж страшно.

Следователь был молод — большие хрящеватые уши поддерживают форменную фуражку, лицо под фуражкой круглое, щекастое, губы сердечком. С Дубининым он разговаривал очень вежливо и холодно.

— Вы знали о выигрышах убитого?

— Знал.

— И вы не догадывались, где убитый может хранить деньги?

— Если б догадывался, не пошел бы вместе с ним искать их.

Дубинин отвечал и ужасался своей догадке — подозревает, что он убил Бушуева из-за денег. Хотел рассердиться, прикрикнуть: «Как ты смеешь, сопляк!» А потом понял: ведь в его годы он, Александр Дубинин, был небогаче ни умом, ни совестью. Послали к преступнику. А раз Дубинин преступник, то следователь, еще сядя в лодку, уже подозревал и не верил. Ни криком, ни добрым словом такого не переубедишь, придется терпеть.

Дубинин покорно и коротко отвечал на каждый вопрос.

— Будем опрашивать других, будем искать деньги, — заявил следователь. — Если они не найдутся, я, к сожалению, выпущен буду арестовать вас. Прошу по-

сидеть на крыльце и никуда не удаляться без разрешения.

Дубинин вышел.

Бушуева перенесли к конторе. Он лежал у крыльца, выставив в небо подбородок, окровавленная рубашка разрезана, раскрывает плоскую грудь: «Года идут, а счастья нет».

21

Разговор с Бушуевым. Деньги. И ранним утром крик — убийство! Это уже совсем оглушило Лешку. Вой, рви волосы, маму кричи... Непонятно! Тьма!

Всю ночь деньги лежали под подушкой. Ужасные деньги! Крикнуть бы: «Вот они, освободите, будь трижды прокляты!»

Вот они!.. А Егор Петухов набросится: «Я искал, ты лежал рядом, молчал!» А какое у Егора было тогда чужое и страшное лицо... Что Егор — все набросится: с вором снюхался, за деньги товарищей продал!

А Саша?.. Убийца! Даже вслух произнести это слово не осмелишься, даже подумаешь — кровь стынет. Каково сейчас ему? И все он, Лешка... Он вытащил из порогов этого Бушуева (знал бы тогда!), он не решился бежать вчера к Саше и рассказать все... А теперь деньги... Если Саша узнает о них...

Отвернется Саша, отвернутся все, выгонят с участка, в деревне станет известно: «Лешка Малинкин — вор!» Куда там угрозы Бушуева. Страшно, непонятно. Как быть?

Заправляя койку, Лешка незаметно достал из-под подушки деньги. Они были завязаны в грязный носовой платок. Лешка сначала втиснул узелок в карман брюк, карман оттопырился, стало еще страшней — теперь-то уж каждый увидит. В дощатом нужнике Лешка развязал узелок, разделил деньги на две пачки и засунул их поглубже за резиновые голенища сапог — по пачке за каждое голенище.

Он вместе со всеми встречал следователя, вместе со всеми ходил на место убийства, толкался у крыльца конторы и ни на одну секунду не переставал думать — как быть? Спрятать где-нибудь в камнях, потом сделать вид, что нашел их случайно? Или того лучше — подстроить, чтоб кто-то другой нашел, например Егор Петухов? Но при одной мысли, что ему придется воровски прятать деньги, начинался озноб. Бросить бы их в реку, забыть, не знать!

Сплавщики собрались в общежитии, и тут впервые были произнесены слова — Сашу Дубинина подозревают! И Лешка обмер. Он сидел, прятал лицо, старался не глядеть на сапоги, где были спрятаны деньги. Как-то не думал раньше, что Сашу могут обвинить. Без того казнит себя, а тут еще подозрение — убил из-за денег! Да что же это? Надо рассказать все, начисто, деньги выложить, спасти Сашу от оговоров!..

Пришел участковый милиционер, попросил никуда пока не расходиться, вызвал к следователю первого — Генку Шамаева.

«В судах сидят люди справедливые, должны понять... Попрошу никому не рассказывать. Нашлись деньги и все тут. Никто не виноват, кроме Бушуева, кому какое дело, где нашлись...»

Его вызвали сразу же после Егора Петухова, и это испугало. Егор не доверяет, может всякого наговорить следователю. Тот сразу станет подозревать, а тут еще деньги увидит. Попробуй тогда оправдаться.

«Все равно расскажу, все равно...» — твердил Лешка, осторожно переступая сапогами, начиненными бушуевскими тысячами.

Неподалеку от крыльца лежало тело Бушуева в окровавленной рубашке. На крыльце же сидел Дубинин; рядом с ним, прислонившись к столбу, стоял милиционер.

Дубинин сидел прямо, глядел в сторону, на шумящую воду Большой Головы, бережно придерживал на коленях больную руку. И Лешке он в эту минуту показался маленьким, одиноким. Саша Дубинин уже перестал быть хозяином, он сейчас такой же беспомощный, как и сам Лешка.

А хозяин участка — незнакомый человек: фуражка с лакированным козырьком, на груди светлые пуговицы; из-под лакированного козырька спокойно и холодно смотрят глаза. Он встретил пугающими словами, что надо говорить только правду, иначе «будете привлечены к ответственности», «статья...», «Уголовный кодекс...» Что это за статья, что такое кодекс — Лешка не знал, но представлял — должно быть, страшные вещи. А ему хотелось, чтоб поняли, пожалели, простили...

Глядит пристально глаза из-под лакированного козырька фуражки. Нет, не поверит, нет, скажет — был заодно с Бушуевым! А Саша?.. Вдруг да он тоже не поверит? Как доказать? Как открыть правду? Правду знал один лишь Бушуев. И Лешка впервые пожалел, что Бушуев

мертв, что уже никто — даже этот человек с блестящими пуговицами, — никто, никто не заставит говорить, не вырвет из него правду.

Не поверит следователь... Не поверит Саша Дубинин... Не поверят ребята... На вопрос, не может ли он сказать, куда девал покойный Бушуев выигранные деньги, Лешка ответил:

— Не знаю.

Он снова прошел мимо Дубинина, мимо милиционера, мимо задравшего в небо подбородок Бушуева, прошел, не поднимая головы. Так же осторожно ступая, каждую секунду напряженно помня о деньгах, лежащих за голенищами сапог, направился не к общежитию, а к берегу реки. Шел и боялся оглянуться, ждал окрика: «Эй ты! Куда?!» Но никто его не окликнул...

22

Одни за другим проходят мимо товарищи — те, с кем жил рядом, те, для кого жил. Кинут жалобный, растерянный взгляд и поспешно опускают глаза. Один за другим — в контору и из конторы...

А за спиной — молчаливый милиционер. На земле — человек, которого он убил своими руками.

Не виноват! Нельзя было поступить иначе. Чиста совесть! И когда глядел в сторону на ныряющие по Большой Голове бревна, на вздыбленный лесистый берег, на низкие покойные облака, верил — не виноват. Но глаза сами опускались к земле: восковая грудь, запрокинутая голова, окровавленные лохмотья рубашки, окостеневшая желтая рука на примятой траве...

Да, защищался, шел с пожом против топора, да, если б не убил, то сам валялся бы возле крыльца... Все так, но запрокинутая голова, бурые пятна крови на рубашке, судорожно сведенная кисть руки — нет прощения тому, кто приносит смерть.

Кипит Большая Голова, кидает бревна, сумрачные ели и сосны лезут по крутому берегу к небу, а небо низкое, покойное, обещающее короткий дождь. Бушуев никогда не увидит этого. Удар пожа — и мир исчез.

Удар пожа... Древняя, как сама жизнь история — человек не поладил с человеком. И сто, и двести, и много тысяч лет назад такие вот Бушуевы подымали нож и топор на других, заставляли и на них подымать нож. Не-

ужели это проклятие вечно, неужели от него нельзя избавиться?

Сутулится на крыльце Александр Дубинин, глядит на лесистые берега, на реку, на небо. Все знакомо, каждый день видел эту реку и эти берега. Усеянная камнем, скудная земля, но из нее, из каждой щели прет жизнь. На притоптанной, жесткой, как железо, тропинке нагло разбросал листья подорожник — вот как мы: живем, не тужим! А совсем рядом — бескровная окостенело сведенная рука...

Сидит Дубинин с окаменелым лицом. Проходят мимо него товарищи, опускают глаза.

23

Моторист Тихон, обычно перед каждой поездкой проклиная свою судьбу, сейчас был бестолково суетлив и лишь подавленно вздыхал:

— Ах, боже мой...

Мотор долго не заводился.

— Ах, боже мой, боже мой...

Наконец мотор застучал. Следовательно, врачиха, Дубинин, милиционер полезли в лодку.

Сплавщики молчаливой толпой теснились на берегу. Дубинин кивнул им головой:

— Ничего, ребята. Уладится.

— Саша, — выступил вперед Генка Шамаев, — сказать хочу... Обожди, Тихон, не отчаливай... Мы землю пробьем, а докажем, что ты не виновен.

— Уладится.

— А то, что попрекал тогда... Помнишь, за Катю-то?... Напрасно... Утрясется эта заваруха — на свадьбе погуляем.

— Ну, ну, прости, коли так.

Оставляя пад водой голубоватый дымок, лодка вырлила на середину реки, вот она заплескала на Большой Голове, то оседавая на бурунах, то задирая вверх нос, прошла Малую, скрылась... Никто не обронил ни слова.

Молча, каждый глядя себе под ноги, потянулись в общежитие, молча разбрелись по своим койкам.

Не было только одного Егора. Он бродил по берегу в вечерних сумерках, отворачивал камни, заглядывал под кусты — все еще надеялся найти деньги.

Первым подал голос Генка:

— Проиграли в карты человека! И какого человека — Сашку!

— Ладно, не трави, без того тошно.

— Давайте, братцы, думать лучше, как бы выручить побыстрей.

— Деньги чертовы! Ежели б деньги нашлись, сразу б с него вину сняли.

— А может, соберем эти деньги, скажем — вот они, нашлись.

— Верно! Те-то были немеченые.

— Хитрость невелика — раскусят. Того хуже дело запутаем.

— Бросьте мудрить! Не с душой же Бушуева деньги улетели. Здесь! Камень по камню весь участок перекидаем, по бревнышку, по щеночке общежитие переберем — найдем!

И тут раздались сдавленные рыдания. Все подняли головы. Уткнувшись в подушку, плакал Лешка Малинкин.

Шумела Большая Голова за стеной. Откровенно, без стеснения, рыдал Лешка. Все молчали, переглядывались. Только Иван Ступнин растерянно протянул:

— Пери-пе-тия.

НАХОДКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, по прозвищу Карга, возвращался с Китьмаревских озер.

Стояла гнилая осень, машины не ходили. Пришлось шагать напрямик, восемнадцать километров до Пушозера через лес — не впервой.

На берегу Пушозера живет знакомый лесник. Он перевозит его на другой берег — на веслах каких-нибудь километра два, и того меньше, а там — обжитой край, не эта дичь несусветная. Там — село Пахомово, гравийная дорога среди лугов и полей до самого райцентра.

День, заполненный промозглой сыростью, так и не разгорелся. С самого утра тянулись унылые сумерки. Сейчас, к вечеру, он не угасал, а скисал.

Тупой равнодушной свипцовостью встретило Трофима озеро. Хилые облетевшие кусты, темный хвостец у топких берегов и где-то за стилой, обморочно неподвижной гладью — мутная полоса леса на той стороне.

В сыром воздухе запахло дымом. Трофим сначала заметил черный раскоряченный баркас, до бортов утонувший в хвостце, и через шаг, на берегу у костра, — людей в брезентовых плащах и рыбацких, мокро лоснящихся робах.

«Должно быть, пахомовские. Ловко подвернулись — сразу и перебросят через озеро, долго ли им...» Трофим направился на костер. Его заметили, к нему повернули головы...

Но по тому, как полулежавший рыбак резко сел, по тому, как напряженно застыли остальные, по их замкну-

тым лицам, настороженно направленным глазам он почувствовал: «Эге! Пахнет жареным...» Как у старой охотничьей собаки, которой уже недоступен азарт, появляется лишь вошедшее в кровь мстительное чувство при виде дичи, так и Трофим Русанов испытал в эту минуту злорадный холодок в груди: «В чем-то напаскудили, стервецы. Ишь, рожи вытянулись». Исчезла в теле усталость, расправились плечи, тверже стал шаг, и лицо само по себе выразило сумрачную начальническую строгость.

Он не умел задумываться, но взгляд на мир имел твердый — не собьешь. Нужно соблюдать закон, а так как из года в год приходилось сталкиваться с тем, что рыбаки-любители поровили пользоваться запрещенной снастью, рыбаки из артелей сбывали на сторону рыбу, в колхозах приписывали в сводках, в сельсоветах за пол-литра покупались справки, то он сделал простой и ясный вывод — все кругом, все кроме него, Трофима Русанова, жулики. Он мог целыми неделями не ночевать дома, спать в лодке, прятаться в кустах, высматривать, выслеживать — лишь бы уличить в незаконности. К нему прилипла кличка Карга, ему порой высказывали в глаза, что о нем думают, а Трофим отвечал: «Не хорош?.. Коли б все такие нехорошие были — жили б, беды не знали. Эх, дрянй народ, сволочь на сволочи...»

Он подошел к рыбакам. Трещал костер, над огнем, перехваченный за ушки проволокой, висел чугунный бачок, в нем гуляла буйная пена. К дыму костра примешивался вкусный, вытягивающий слюну запах наваристой ухи.

— Здорово, молодцы! — поприветствовал Трофим.

Пожилой рыбак — из жестяно-твердого брезента торчит сморщенное щетинистое лицо — отвел в сторону слезящиеся от дыма глаза, ответил сдержанно:

— Здорово, коли не шутишь.

— А занашок-то царский...

Парень — исхлестанная ветром и дождем широкая физиономия словно натерта кирпичом, вымоченно-льняная челка прилипла ко лбу, глаза голубовато-размыленные, с паглым зрачком — пододвинулся.

— Садись, угостим, раз позавидовал.

Трофим был голоден (днем на ходу, под елкой перехватил кусок хлеба), от запаха сладко сжималось в животе, но он с непроницаемо-сумрачным лицом нагнулся, приподнял палку, переброшенную через рогульки, взгляделся в уху.

— Так, так... Сиг.

Рыбаки молчали.

— Ты — бригадир? — спросил Трофим старика в брезентовом плаще.

— Знаешь же, чего и спрашиваешь, — с ленивой неприязнью ответил тот.

— Климов, кажись, твоя фамилия?

— Ну, Климов...

— Значит, мне на тебя придется документик нарисовать... Чтоб рассмотрели и наказали.

— Короста ты.

— А оскорбления мы особо отметим. Не меня оскорбляешь, а закон.

— Не дури, отец, — вступился парень. — Велика беда — рыбешку в уху сунули. Мед сливать да пальцы не облизать!

— Вот-вот, мы по пальцам. Подлизывайте, что положено. Сегодня в котел, завтра — на базар. Знаем вас. Ну-кася.

Ценные породы — семгу, сига — рыбакам-любителям запрещалось ловить совсем. Рыболовецкие же артели обязаны сдавать государству каждую пойманную семгу, каждого сига. Таков закон. Но кто полезет проверять артельный котел. То, что после улова в уху шли не окунь, не щука, не лещ или плотва, этот вездесущий плёбс озерных и речных вод, а благородные, — считалось обычным: «Мед сливать да пальцы не облизать». Даже инспектора рыбнадзора снисходили: пусть себе, — но не Трофим Русанов. И он знал, что, если составить форменную бумагу, пустить ее дальше, — отмахнуться будет нельзя. Каждого, кто отмахнется, попрекнут в попустительстве. Знали это и рыбаки. Они угрюмо молчали, пока Трофим, присев на корточки, огрызком карандаша выводил закорючки на бланке.

— Значит, все, — поднялся он, смахивая ладонью вытравленную дымом слезу из глаз. — Так-то, по справедливости.

Старик, продернув щетинистым подбородком по брезентовому вороту, произнес:

— Молчал бы. А то обгадит да покрасуется — по справедливости.

Парень недобро сощурил наглые глаза:

— Может, теперь сядешь, незаконной ушицы отведаешь? Накормим.

Слова старика не задели Трофима — привык, не без того, каждый раз — встреча с ошункой, расставание со злобой, и, если б не парень с его ухмылкой и прищуром, он бы с миром ушел. Но парень издевался, и Трофим решил показать себя — пусть знают. Еще шире развел плечи, свел ту же брови под шапкой, нутряным, спокойным голосом обьявил:

— Нет, парень, ушицы этой и ты не отведаешь. Не положено.

Шагнул к костру, сапогом сбил с рогулек палку, перевернул бачок. Костер разъяренно затрещал, густой столб белого дыма, закручиваясь, пошел вверх. Сытный запах, казалось, залил мокрый и унылый мир с чахоточными елочками, перепутанными кустами, хвостцом и замороженно застойной водой озера.

— Не положено. Шалишь.

Рыбаки не двинулись. Старик холодно, без удивления и злобы глянул Трофиму в лоб. А парень, опомнившись, вскочил, невысокий, нескладно широкий в своей прорезиненной куртке и сапогах до паха, лицо в парной красноте, кулаки сжаты.

— Но-но... — Трофим тронул приклад ружья.

Парень стоял, мутновато-светлыми, бешеными глазами разглядывал Трофима.

Тот был выше парня, едва ли не шире в плечах, лицо обветренное, не в морщинах, а в складках, глубоких, крепких, чеканных, вызывающих по первому взгляду уважение, — бабы тают от таких по-мужски породистых лиц. Топорщится замызганный плащ поверх ватника, рука лежит на прикладе.

— Брось, Ванька, не пачкайся, — посоветовал негромко старик.

Парень перевел дыхание.

— Одеть бы бачок на морду — да в воду.

— Брось, Ванька...

— Эх, дерьмо люди, — с презрением процедил Трофим. — Ни стыда, ни совести. Набездзаконничают да еще петушатся... Да что с вами толковать лишка. Дело сделано. Увидимся еще, чай.

Он подтянул на плече ремень ружья, повернулся и зашагал по берегу — шанка сдвинута на затылок, плечи разведены, в походке внушительное достоинство человека, только что совершившего нужное, благородное дело.

Шесть рослых и сильных мужиков молча смотрели ему вслед.

А среди тлеющих головней шкворчало мясо свалившейся в костер рыбы, мутноватый дым тек в сером воздухе, и стоял запах, как возле печи перед праздником.

2

Лесник Гурьянов Анисим жил рядом — крепко рубленый, приземистый дом на юру, стожок сена, огороженный от лосей, усадьба с раскисшими от осенних дождей грядами и добротная банька на отшибе.

Хозяин — высокий, костлявый не только нескладным телом, но и длинным лицом, глаза голубые, большие, с непонятной робкой горечью — бабы, тонкие губы вечно сведены, словно вот-вот изумленно свистнет. Он сильно побаивался Трофима Русанова, может быть, потому, что не безгрешен, — живет в глухоте, сам себе во князях, может при случае лося порушить, хотя должен следить, чтоб другие не баловали, и уж конечно, если запретная семга сядет у него на крюк, выбрасывать в озеро не станет. Трофим его презирал. «Дряпь народ» — относил без оговорок и к леснику.

Анисим, морща в улыбке сведенные губы, хлоная желтыми ресницами, позвал к столу:

— Не богато пыне наше застолье, ну, да чем бог послал.

А жена Анисима, тяжелая баба, пол скрипит, когда ходит, была откровеннее — скупно кивнула гладко забранной головой, постно поджала губы, ни «милости просим», ни «ешьте на здоровье», в гробовой немоте наставила чашек на стол, ушла с глаз долой.

Чтоб умаслить нежданного гостя, Анисим выставил на стол початую бутылку, морщась в застенчивой улыбочке, предложил:

— С устатку-то славпо... С кой-то поры первачок остался.

Трофим вынул, почувствовал теплоту, с теплотой радость и довольствие собой: он камень, а не человек, должны бы понимать — не ради корысти прижимает, жди — поймут. Так как никого другого под рукой не оказалось, стал распекавать Анисима:

— Кто в этом краю начальник? Ты!

— Оно видно, рукой не достанешь, — улыбнулся Ани-

сим.— Десяток зайцев по лесу шныряют — командую.

— Не может земля без закона жить. Под носом у тебя рыбаки в котел сивов натолкали. Где закон? Нету его. С кого спрос? С тебя... Сегодня я прекратил безобразия, завтра то меня здесь не будет...

Анисим кротно поглядывал в потное окно, к которому жалась беспросветная лесная темень, омраченная сыростью затянувшейся осени, проговорил безнадежно:

— Сегодня-то уже, видать, не попадешь на тот берег... Где там, хоть глаз выколи.

И Трофим понял: готов хоть сейчас, на ночь глядя, сесть за весла, сплавить его подальше от дому. Не любит, а улыбается, самогончик выставил — эх, люди, ни в ком нет прямоты.

— Утром едем, да пораньше,— сказал Трофим.— Куда ты меня примостишь?

Невнятный свет разбавил угрюмую черноту ночи до зыбкой синевы. Едва-едва различались тщедушные, искалеченные ветром ели. То ли туман лип к лицу, то ли моросила водяная пыльца.

— Экое утро помойное,— вздыхал Анисим.

Он был в плаще, туго стянутом ремнем, в ушанке со спущенными ушами, маленькая голова, широкий зад — похож на осу, готовую при неловком движении переломиться пополам. Трофим Русанов, выспавшись, плотно подзакусивший, с легкой ломотцей в теле после вчерашней «пробежки», довольный тем, что сегодня-то будет наконец дома, шагал следом, умиротворенно молчал.

Как и всюду, берег озера был топким — сначала тянулась жесткая неувыдающая осока, потом темный хвостец, и только вдалеке просвечивала чистая вода. Ступили на лаву, связанную на живую нитку,— пара жердей да держись за воздух. Нескладный Анисим привычной ощупочкой выступал впереди. Вдруг он остановился, словно споткнулся, стоял с минуту, поводя туго облегающей голову шапкой.

— Вот так раз...

— Чего там?

— Лодки-то нету.

— В каком таком смысле?

— Да смыслу-то, паря, не вижу.

Лодки не было. Среди густого хвостца — смолисто-черная плешинка воды: место, где лодка стояла. В сторону

озера хвостец помят, намечена проточина. Этим путем обычно выбиралась к чистой воде лодка. Анисим и Трофим балансировали на жидких жердях.

— Пошли, как бы не обвалилось,— посоветовал Анисим.

На берегу они присели на плоский валун, веками оседающий в заболоченную землю. Закурили, озадаченно вглядываясь в томящееся в мутном осеннем рассоле озеро.

— Может, сам куда завел спяна да забыл? — с надеждой спросил Трофим.

— И в молодости до того не напивался.

— Не черти же лодку уволокли. Здесь людей не бывает.

— Бывают. Сам видел.

— Рыбаки? Пахомовцы! — Трофим и раньше об этом догадывался.

— Ты им, видать, круто насолил.

— Ах, бандиты! Да я им!..

— Обожди страшать. Пораскинь, как выберешься. Окромая моей, на этом берегу ни одной лодки больше нет.

И Трофим замолчал. Он только теперь понял, что попал в переплет.

Пушозеро нешироко, но длинно — путаной, изгибистой подковой влезает в леса, из конца в конец километров двадцать пять добрых. Обогнуть его не так-то просто. В лесах прямо не пройдешь — от озера тянутся заливы, по-местному — лахты; в озеро впадают речки, нешироки, но глубоки: вплавь перед морозами не переберешься, но самое тяжелое — болота. С одной стороны тянется Волчья топь, она поразмашистей самого озера. Трофим, считай, всю жизнь прожил тут, а не знает, где кончается эта топь. Заберись в нее — не вылезешь. С другой стороны тоже болото — Мокрецы. Хороши «мокрецы», когда в нем есть места — ступишь ногой на травку и ухнешь вниз, никто во веки веков не найдет. За два дня едва ли переберешься на тот берег — жилы вытянет. А село Пахомово рядом, из-за леса колокольня маячит на том берегу. Всего-то на веслах не спеша — час от силы. Ни одной лодки! Знали, чем укусить, подлый народ.

— Может, плот,— неуверенно предложил Трофим. Уж очень не хотелось двое суток блуждать по лесу.

— Плот-то... — Анисим помедлил. — Ежели б лес рос у берега... У берега-то жердь добрую не вырубить. За полкилометра таскать бревна на горбу. Пока сваишь, пока

притащишь, сколачивать на воде придется. Нынче не лето.. Плот — маета, проще обежать.

Трофим молчал.

Анисим смял сигарку.

— Конфуз...

И лицо у него в самом деле было конфузливо.

— И ни соли, ни сахару в доме, да и хлеба чуть. За всем езжу на тот берег. И сейчас вот метил — провожу тебя и отоварюсь... Пока ты здесь, эти пакостники лодку не приведут. Не-ет, не смилуются. Будем мы с тобой кочерыжки капустные грызть...

Трофим понял: его, нежеланного гостя, любим путем хотяб спровадить. Даже не обиделся — до того ли в эту минуту.

— Не плавом же мне...

— Конфуз...

— Обходить-то изведешься.

— Ты же к лесу привычный. Места вроде знаешь. Ночь под крышей почуешь. На Конновских покосах курная избушка стоит. А уж там пораньше встанешь, подналяжешь и, глядишь, доберешься до темноты. Я тебе сальца дам, хлеба, котелок, чтоб чайком горячим побаловаться. Как ни раскидывай, по-другому не выпутаешься... Не приведут, стервецы, лодку, не-ет. А коль и приведут, то через неделю — какой расчет тебе ждать.

Трофим молчал, глядел на оплывающее в грязном расвете озеро. Анисим выжидательно косил на него глазом, вздыхал:

— Конфуз, право.

3

Лес перед первыми морозами кажется черным, зачумленным краем. Даже собственных шагов не слышишь — глоснут во мху и на толстой подушке мокрой хвои. Ни шороха, ни пения птиц, только стволы на километры, нет надежды встретить живое.

Едва обмятая тропинка. Летом по ней ходят охотники да колхозники с того берега, — бросив лодки, добираются до своих дальних покосов. Зимой эту тропу может пересечь санный путь — как-то надо вывозить наметанные за лето тощие стожки. Но сейчас встретить человека здесь так же невероятно, как увидеть воочию Илью-пророка или Николая-угодника.

Иногда трона протискивалась в чащу ельника — там сыро, темно, глухо, как в подземелье. Иногда лес обрывался одичавшей прогалинкой — торчали раскисшие будыля, лежал до краев залитый угрюмой водой бочажок. Тоскливая вода обреченно смотрит в тоскливое небо.

Как ни кинь, а выходит, Анисим выгнал его, Трофима. Вздыхал ласково — конфуз-де, а выгнал хуже собаки, в лес, под дождь, в ту ночь несусветную. Не пропадешь — ладно, пропадешь — тоже не жалко. Трудно ли сбиться с пути, оторваться от озера, промахнуть мимо редких лесопунктов... Анисиму-то он не перебежал дороги.

Он не понимал, почему его не любили. Делал, что положено. Положено, чтоб ячейки сетей были такого-то размера, — он следит. Положено в таких-то местах ловить только удочкой — следит. Все, что положено, он затвердил, как таблицу умножения. Отступить от правил для него было так же нелепо, как признать, что дважды два — пять, а шестью восемь — пятьдесят. Другие инспектора по надзору делают то же, что и он, — есть среди них и строгачи, ни словом добрым не улаистишь, ни взяткой не купишь, а не любят его, Трофима Русанова. Почему? Он не понимал и злобился на людей. Просыпаясь утром, он уже знал, что кто-то обижен на него, кто-то затаил злобу.

Впрочем, злобу тех, кого он наказывал, Трофим переносил легко: что с них взять, не миловаться же с ними. Но когда его подводили те, кому он не давал никакого повода, терялся: «За что? Что сделал? Где же правда?» И единственное успокоение, что народ — дрянь, а он особый.

Сейчас пустынным, неприятно мокрым лесом Трофим нес обиду на Анисима. Не ущипнул его, не ославил — за что не любит?

Кончился ельник, моховые мочажины и унылые застойные бочаги. Начался сосновый бор. Даже в эту пору утомительной сырости, бесцветности, сумрака сосновый лес сохранил торжественность. В нем просторно, чисто, хоть играй в пятнашки. И почему-то назойливо ждешь жилье — вот-вот стволы расступятся, замаячат крыши. Но стволы не расступались, идешь, идешь — никаких перемен, все та же чинная лесная чистота, молчаливая торжественность, величавость, и сам кажешься себе маленьким, затерянным, начинаешь без причины торопиться.

Опять занозой засела мысль: упали он здесь, не вернись — никто не прольет слезы. А у него была жена, взрослый сын. Сын всю жизнь сторонился отца, едва подрост —

ушел из дому, теперь работает на лесокombинате, письма от него идут на имя матери. Жена жила возле него молчком — равнодушно его встречала, равнодушно узнавала, что уезжает на неделю-другую на озеро, равнодушно слушала, когда он не без торжества сообщал — такого-то припек. И ежели Трофим выходил из себя, ругался: «Квелая какая-то, не баба, а пень!» — она без обиды возражала: «А что мне, плясать перед тобой? Отплясалась, не молоденькая».

Сосновый чистый лес, он походил на мрачный прокопченный овин, бескрайняя крыша которого подперта бесчисленными столбами. Пустой овин, давно заброшенный людьми. Его вытолкнули сюда...

И узелок к узелку вязалась сладкая ненависть к Анисиму: «Найду случай, подсыплю соли на хвост тебе, старая лиса. Не без греха: семгу-то ловишь, икорку жрешь, а я тебя за рукав, да соответствующий документик нарисую, да с ним — в райисполком, а оттуда — сигнал в лесхоз... Домик казенный обжил, к усадьбе приноковился, пасеку держишь, корову, поросят — ну-ка свертывайся, топорик в руки да на лесопункт...»

Сосновый бор стал мельчать. Покоробленные, не белоствольные, а рыжие березки назойливо втискивались среди разбегающихся сосен. Трофим вышел к реке, лесной, сонной, — черная вода вровень с берегами. За ней — болото.

Через речку перекинута пара бревен — мост не мост, а вроде этого. Весной его унесет. Слава богу, что сейчас цел.

Трофим присел на комель, развязал мешок, достал хлеб, сало — время-то обеденное. Сидел, жевал сало, положенное Анисимом, думал о том, как он прижгет этого Анисима.

4

Весь день он гнал себя, не давал отдохнуть. Перебирался через овраги, на дне которых невольно охватывала дрожь, — сыра могила. Проходил болотца с тощим ельничком, полянки с вывалившимся лесом. Короткий предзимний день показался годом. Как будто давным-давно сидел он на берегу озера вместе с Анисимом.

Он гнал себя, чтобы добратся к курной избушке до темноты. Ночью идти нельзя — через пять шагов собьешься с тропинки, вступишь в чащу или свалишься в бочаг.

Лес, и без того оголенно-черный, еще грозней потем-

нел. Через каких-нибудь полчаса из-под корней выползет мрак и зальет мир.

Но вот лес оборвался, пошел низкий кустарник, кончился и он; Трофим уперся в ручеек, узенький — шаг в ширину, вздохнул облегченно — шабаш, ночь проведет под крышей.

Незамысловато петляя, шевеля осоку, ручеек тек к озеру. На его берегу и стоит избушка с односкатной крышей. Летом здесь — веселый уголок, много солнца, много сквозной зелени, ручей же просто набит окуневой молодью. Окуньки длиной в ладонь хватают чуть не за голый крючок. В сенокосы здесь легко встретить людей, в избушке тогда постоянно топится каменка — не для тепла, для дыму, чтоб отгонять комаров. Сейчас кой черт занесет сюда человека.

Пробираясь вверх по ручью, Трофим чувствовал — валится с пог. Мечтал об одном: чтоб в избе возле печи были заготовлены дрова, чтоб не пужно тащиться за валежником. Затопить, растянуться на нарах, уснуть под треск каменки, под едким дымом, плавающим под потолком.

Вот и выбитая тропя, вот и бревенчатая стена, нащупал дверь, толкнул — обдало банным запахом вьвшейся копоты. Внутри темно, волоковые оконца забиты сеном. Трофим скинул с опемевшего плеча ружье, высвободился от мешка, чтоб не удариться, протянул руки, наткнулся на шершавые валуны каменки. Эти валуны были не то чтобы теплые, нет, они скорей хранили какой-то смутный след тепла. Значит, не так давно, вчера утром или позавчера вечером, они были раскалены. И это насторожило Трофима.

В ту же минуту он вдруг ощутил — кто-то есть рядом живой, не подающий голоса. Пот выступил под шапкой.

— Ктой тут? — синло спросил он.

И сразу же шарахнулся к двери. В ответ на его голос раздался странный звук — не то бляение ягненка, не то скрипяще заскулила раценая собака.

— Мать честна! Кто здесь?

Спички были спрятаны от сырости в резиновый кисет с табаком. Он не сразу их достал. А крик продолжался, слабенький, захлебывающийся, не звериный — человеческий, чем-то очень знакомый, домашний.

Наконец спичка разгорелась в ладони, выперли из темноты лобастые валуны. Трофим направил свет на нары. Нары были пусты, никого в избе, а крик стоит.

«Под рамами, должно...» Но спичка потухла. Трофим

торопливо зажег другую, шагнул к парам, хотел уже нагнуться и только тут заметил, что в углу пар, ближе к каменке, — какой-то сверток тряпья, голос шел от него.

И снова погасла спичка...

«Чертовщина какая-то...» С третьей спички он заметил вязанку дров возле темного зева каменки, сверху вязанки — наколотая лучина. Схватил лучину, обломил, чтоб по ломаному концу быстрее занялся огонь. Сухое дерево затрещало, осветив горбатое нагромождение матово-черных камней, потолок и верхние венцы, глянцевитые от копоти, словно окрашенные мрачной масляной краской. Всполошив тени по бревенчатым стенам, Трофим двинулся к парам.

Лоскутное ватное одеяло, туго свернутое, перехваченное скрученными в жгуты тряпками. Из глубины свертка — сипловато-тоненький детский плач. Младенец! Один! В глухом лесу!..

Потрескивая, горела лучина, весело выплясывая, росло пламя, то распухали, то съеживались тени. Застывший от ужаса, боясь дышать свободно, стоял коленями на парах Трофим, горбился.

— Курва... — обронил он.

Это относилось к матери ребенка.

Ребенок осип и замолчал. Трофим со страхом, подавленностью, с какой-то брезгливостью осторожно подался назад. От горящей лучины зажег другую, вставил с наклоном между камней, так чтобы угли падали на землю, не подожгли избу.

— Ну и ну...

Он начинал понимать, что случилось.

На другой стороне озера много деревень. Почти во всех остались следы былого старообрядчества. В таких деревнях девку, потерявшую до замужества девичий цвет, изведут со света. А уж где лучше скрыться от позора, как не в этой заброшенной избушке. Перевралась на лодке; наверно, жила педелю, две, ждала, готовилась. Сама, как умела, со всем справилась, а потом отлеживалась, кормила дитя, ползала на карачках по хозяйству. Перед отъездом, наверно, собиралась убить да закопать, но не смогла. Сунула тряпицу с жеваным мякишем в рот, повыла па прощанье — и на лодку.

— Ух, стерва! — цедил Трофим сквозь стиснутые зубы.

А ребенок снова слабо запищал. И Трофиму захотелось накинуть мешок на плечи, подхватить ружье и бежать, бежать в лес, в ночь, подальше.

Матерясь вполголоса, он полез на нары, долго шарил, нашел возле ребенка узелок — тряпица уже высохла, а хлебная кашница загустела. Отбросил.

— Таких бы своими руками...

Рядом с ребенком валялись какие-то тряпки. Трофим выбрал кусок помягче, поднес ближе к свету — чист ли? — оторвал кончик.

— Дознаться бы... Эх, дознаться — откуда? Из какой деревни?.. Живыми бы таких закапывал в землю...

Достал из мешка хлеб, уселся, замолчал, стал сосредоточенно жевать под слабый писк ребенка.

Нажевал много, понял, что такая громадная «соска» не войдет в детский рот, грязным пальцем убавил кашицы, оставил чуть-чуть.

Лица не мог разглядеть в полутьме, осторожно, почти со страхом подсунул самодельную соску внутрь одеяла. И вздрогнул, — младенец принял, плач затих, в тишине лесной избушки раздалось сладкое чмокание. И оно резануло по сердцу Трофима. Осторожно, задом, он сполз с нар, стал на ноги и разразился руганью:

— Есть же шкуры на свете! Таких гадов своими б руками!.. Кошка блудливая и та свое дитя бережет...

Ругаясь, принялся растоплять каменку. Дым пополз из щели между камнями, стал копиться под потолком. Трофим vyšиб сенные затычки из волоковых окон.

Через полчаса стало тепло, но ходить можно было только согнувшись — заполнивший верх избы дым ел глаза.

Угасла печка, выветрился дым. Чтоб не ушло тепло, пришлось снова заткнуть оконца. Трофим лежал на нарах, подальше от того угла, где находился притихший младенец. За прокопченными стенами шумел лес, глухой лес, не пересеченный дорогами. Далеки люди с их помощью. И жил рядом человеческий детеныш. Пока жил... И Трофим чувствовал, что нельзя просто уснуть и забыть, нельзя отмахнуться. И это его раздражало: «Напаскудничала, стерва, а я расхлебывай. Надо же налететь...» Он в эту минуту испытывал саднящую жалость, но не к брошенному ребенку, к себе. Невезучий, какая шишка ни свалится — ему сияняк, не соседу. А за это кто-нибудь хоть раз пожалел его в жизни, сказал ли кто хоть одно ласковое слово? Только мать в детстве... Помнит, прибегал с улицы, скидывал берестовые ступешки, а мать мяла в руках его красные ноги, выговаривала: «Осту-

дишься, пепутный, вот лихоманка-то хватит...» Верил бы в бога, жаловался бы: «За что ты, сукин сын, меня наказываешь? Не хуже других, неровня, например, этой шкуредевке, которая дитя родное на лютую смерть бросила...» Такой случай, может, один на тыщу выпадет, а подвалило ему, Трофиму Русанову. Надо же...

Шумел лес, не только безлюдный, но лес, где сейчас попрятался всякий зверь. Спал, насытившись жвачкой, ребенок, равнодушный к тому, как поступит этот случайно занесенный к нему человек. А человек не испытывал дружеского любия.

Под шум леса, под тоскливые мысли Трофим незаметно уснул.

5

На воле уже наступило утро, в курной избе с заткнутыми окнами было темно и холодно. Открыв глаза, Трофим сразу вспомнил, что случилось вечером и не поверил: «Не бывает такого. Сон дурной...»

Но ребенок заплакал.

И Трофима охватил приступ беспомощной злобы:

— Не задавила тебя эта сучка! Теперь нянчись! Цыц!

Чтоб только не слышать детского писка, соскочил с пар, запнувшись о приставленное к стене ружье саданул ногой дверь. И резануло по глазам.

Еще вчера земля была пищенски темной, сейчас — ослепительно бела, празднична. За ночь выпал снег. И на этом непотревоженном снегу плясали, подбочившись, молодые березки — стволы желтые, словно теплые на ощупь. А издали, с конца поляны, хмурился еловый лес. Тот лес, куда ему, Трофиму, предстояло пырнуть.

По лесу с ребенком... Путь не маленький: один шел, да и не шел, а бежал иноходью — едва-едва от сумерек до сумерек поспел. Не разбежишься в обнимочку с младенцем, а в мешок его не положишь. И кто он ему — просто дурным ветром пригнало... Не украли б лодку рыбаки — что тогда?.. Скажем, даже возьмет. Но этот подкидыш и без того, наверно, еле жив. Лес — не люлька, Трофим — не кормилица, здесь ему умирать или же в дороге. Какой смысл тогда возиться? Умрет на руках, а потом казнись за грех какой-то сволочи. Еще непароком собьешься с пути, закрутишься по лесу...

Яркий снег, свежо-спиртовой воздух и трезвые мысли.

Трофим успокоился: «Нет смыслу попусту валандаться...» И сразу же на душе стало легко.

Без шапки, в распахнутом ватнике направился к лесу за валежником.

Прогорела каменка, последний дым нехотя вытягивался в волоковые окошечки. Трофим попил чаю; сытый, согретый, чуточку отяжелевший, сидел уже в плаще у развязанного мешка и с непроницаемым лицом жевал, готовя новую соску.

Он решил бросить здесь ребенка, решил твердо. Он знал, что ребенок умрет, второго такого чуда не случится — больше уже никого не занесет сюда в дремучую глушь. Соска из прожеванного хлебного мякиша оттянет смерть часа на два, на три, вряд ли на день. Разумней совсем не давать соски, но что-то нужно сделать? Хотя чем-то купить совесть.

При дневном свете, падающем из волоковых оконеч, было видно, что по избе прошлась женская рука: утоптаный земляной пол подметен, нары вымыты, выскоблены, у порога приставлен наскоро связанный голичок. Дурная мать, верно, тоже подкупала свою совесть — прежде чем уйти, мыла, скребла, кормила младенца, обмывала, оставила запас чистых тряпок, зная, что никто уже ими не воспользуется.

И в голову Трофима пришла странная мысль, никогда такие не приходили раньше: «Конечно, девка — шкура из шкур, давить таких, чтобы землю не пачкали, но каково ей было, когда переступала порог, — только что грудью кормила, слезы лила, быть может, ласковыми словами называла и... бросить...» Трофим злобился на беспутную, потерявшую совесть девку, а прогнать этих сочувственных мыслей не мог. «Знать, уж солоно пришлось, раз на душегубство решилась».

Он испугался сам за себя — посиди еще вот так и вконец раскиснешь. Решительно встал, полез в угол нар, взгляделся в глубь свернутого одеяльца — у ребенка было натужно-красное личико, он, наверно, был болен. Крохотные веки закрыты, губы вытягивались. Трофим коснулся соской этих губ, они жадно приняли тряпицу, а глаза не открылись. Трофим облегченно перевел дух. Глаза несмышленища — они не упрекнул, не поймут, но все-таки Трофим почему-то боялся взгляда этих глаз.

Торопливо схватил незатянутый мешок, ружье, выскочил на волю, на потускневший под оттепелью снежок. Вспомнил про окна — забить бы сеном, отмахнулся: «А-а, не все

ли равно», — шагнул в сторону ручья, шагнул, словно оборвал пуповину.

По всей вкрадчиво сияющей поляне из-под снега торчала сухая трава, и от этого вид поляны казался щетинисто-небритый, гнусный. Горяче-черный ручей туго оплетал тесно сбившиеся елочки и кусты ивняка. Тропу занесло, Трофим ее чуть не проскочил. Прокладывая первые следы, торопливо направился к лесу. Казалось, нырнет в лес — и все забудет. Нырнет, как обмоется, — сразу покой.

Лес начался, а покой не пришел. С каждым шагом росла тревога. Почему-то беспокоило, что не заткнул окна сеном, — через полчаса выстудится избушка, в ней станет холодно, как на улице. Спину продирает легкий озноб. Там, за спиной, близится беда.

Не в пример вчерашнему лес был наряден. В темных провалах между стволами — затейливое кружево заснеженных ветвей. Какая-то игривость в лесу.

И по своей привычке Трофим стал искать виновников, распалялся в ожесточении.

«Стерва баба, мразь.. Доискаться бы... На суд, на люди, чтоб глядели, пальцами тыкали. И про парня, который девку с пути сбил, дознаться... Тоже голенького — глядите. Не тюрьму бы таким полюбовничкам, не-ет, к стенке приставить...»

Но тревога росла, с отчаяния стал винить Анисима, рыбаков, что увели лодку: «Тоже — совести ни на грош. Сидят сейчас в тепле, чай гоняют. А коли услышат, что младенца мертвого в избушке нашли, что им — почешут языками да забудут... Сволочь народ...» Но вспомнил, как сунул соску, и... словно ударили по черепу, остановился.

С заснеженных еловых лап падал отяжелевший, подтаивший снег, задевал за ветки. По сияющему лесу проходил вкрадчиво-воровской шорох.

Соску сунул... И маленькие, как надрез ногтем, закрытые веки, и ищущие во сне губы. Не соску искали — грудь. Нет матери, нет отца, нет защитника. Соску сунул... Мать-то хоть что-то припекло, а тебя-то что припекает?.. Ведь над тобой смеяться, как над девкой, не будут. Девку ты готов — к стенке, а сам — сам соску сунул...

Сыпался с ветвей снег, равнодушные ели окружали человека — им все равно, на что он решится.

Девку — к стенке, а сам — соску...

Трофим сорвался с места, ломая ветви, пробиваясь сквозь

чащи, бросился обратно по своему следу, четко пропечатанному по снегу. Бежал бегом, хрипя, задыхаясь, пряча глаза от веток, матерясь, когда ружье цеплялось за сук.

В избушке он скинул плащ, ватник, сорвал через голову гимнастерку, нательную рубашу, долго прикидывал на вытянутых руках — как повыгодней располосовать? Разорвал на две части — в одну сейчас обернет, хоть и не чиста, да суха, другую припрячет про запас.

Ему до этого и в голову не приходило раскрыть ребенка — терпит, и ладно, все равно помрет. Сейчас, когда увидел красное, до мяса сопревшее тельце, не выругался, а застонал. И стон его был неумелый, походил на скулеж голодной собаки...

— Зве-ери! Душегубцы!.. Спасу тебя, девка... Может, спасу...

Ребенок был девочкой.

От черного ручья уже вели в лес пробитые им следы. Но он не пойдет по этим следам, нужно двигаться в обратную сторону, снова к Анисиму — ближе человеческого жилья нет.

Собираясь перешагнуть через ручей, согнулся и в черном зеркале увидел свое отражение: обросший колючей бородой, за спиной ружье, вид звериный, одичавший, а в руках одеяльце пестрой изнанкой наружу — господь ода-рил ребеночком.

— Хорош,— враждебно усмехнулся сам себе.

Пошел к кустам, печатая по снегу крупные следы.

6

К полудню сошел снег. Лес стоял измученный тяжелым, как смертельная болезнь, ненастьем.

Ноша не грузна, но пести ее мучение — никак не приспособишься. Не по утоптанной дороге шагать, в одном овраге чуть не выронил сверток в ручей.

Девчонка часто плакала. Выискивал место, присаживался поудобней, «сочинял» новую соску. Для этого кусок хлеба держал за пазухой, там же — тряпки, чтоб не промокли. Соску девочка выкидывала, тоненько и сипловато кричала. Трофим ругался в отчаянии:

— Хрен тебя знает, чего хочешь.

Больше сидел, чем шел, да и вышел поздно — за весь

день протащился чуть больше десяти километров. При первых сумерках, мокрый, со свинцовой ломотой в руках и плечах, среди угрюмого ельника, стал устраиваться на ночлег.

Дождь не шел, но весь воздух пропитан влагой, нечаянно задетая ветка обдает, как из ковша.

Нарезал лапника, устроил постель. Дров рубить не надо, кругом полно сушняка. Запас дров сложил в голову, чтоб были под рукой.

Разложил два длинных костра: они занялись не сразу, а когда занялись, мир замкнулся — ни елей, ни неба, подпертого колючими вершинами, только он, укутанный в ватное одеяльце ребенок да с двух сторон с бездумной веселостью пляшущий огонь.

Стало жарко. Трофим подсушил тряпки — как ни берег их, а все же влажные, — затем быстро раскрыл одеяло. Уже знакомое обваренное красное тельце, оно беспомощно корчилось, надувалось, испускало натужные крики, но залихватски веселый треск костров заглушал слабый голосок. Наскоро вытер, подсунил чистые тряпки, поспешно закутал, утер пот с горячего лба:

— Ну вот... Лежи, приبلудная.

Искры летели вверх, в ночь, в сырость, в чужой и неприветливый мир, до которого можно было дотянуться рукой. Трофим лежал, обняв полую ватника девочку, прижимал ее к себе, порой чувствовал сквозь толстое одеяло: чуть шевелится, — значит, жива.

Жива, а это сейчас для него самое главное.

Смутно, сам того не осознавая до конца, Трофим, один на один с этим, осужденным на смерть младенцем, почувствовал, что жизнь его до сих пор была холодной, неуютной. После смерти матери он жил у дяди, разносил пойло коровам, обходил лошадей, нянчил детишек, получал затрещины: «Шевелись, пащенок!»

Началась коллективизация, Трофима вызвали в сельсовет: «Подпиши заявление, что ты батрачил на дядю. Эксплуататор, надо раскулачить». А у дяди шестеро детей, старший, Петька, — одногодок Трофима, жалко все же.

— Ах, жалко! А они тебя жалели, сколько лет ты на них хрипт ломал? Сынок-то в сукнах ходит, на тебе рубаха чужая. На рубаху не заработал...

Верно, не возразишь — подписал.

Раскрыли амбары и клетушки, вывели скот, вытряхнули сундуки. Дядя, сумрачный бородач, его жена, баба свар-

ливая, высохшая от жадности и работы, с котомками за спиной, с выводком детишек, под доглядом милиционера двинулись со двора на станцию.

— Столкнемся, Трошка, на кривой дорожке! Выкормили змееныша за пазухой!

А Петька, одногодок Трофима, плакал, как девчонка.

Ни с кем из них не столкнулся. Из тех мест, куда их угнали, кривые дорожки вели к богу в рай.

Дядино добро — полушубки, сапоги, поддевки суконные — распределяли по беднякам. Причиталось и Трофиму — отказался, не взял ни нитки. Пусть знают: не ради корысти заявление подписывал, а потому, что осознал.

Жить, однако, пришлось в дядином доме. Огромный пятистенок — пустой и гулкий, по почам мыши скребутся, в трубе завывает. А утром выйдешь во двор — все двери параспашку. Хлев, амбары, баньку, повесть продувает ветром.

Решил жениться. Нюрке Петуховой, дочке пелядащего Сеньки, по-уличному — Квас, не приходилось выбирать. Из себя вроде ничего — лицо приятное, в черных глазах какая-то птичья робость, парни бы не прочь побаловать, но кому охота идти в зятя к деревенскому скомороху Сеньке Квасу.

Этот Квас, морщинистое лицо, мышинные глазки, все богатство — зипун из заплат, штиблеты с «березовым скрипом», потребовал:

— Свадьбу гони хочь хрестьянскую, хочь пролетарскую — была бы выпивка.

А на свадьбе, после первого стакана, словно обухом по башке:

— Ты мной не брезгай, я сам тобой брезгую.

— С чего ты?

— Неверный человек — родню за пятак продашь.

Всей деревне удовольствие, когда веселый тесть ходил по улице и пел:

Протекала речка эдак,
Протекала речка так,
Не задешево торгую —
С головы всего пятак.

Сельсоветское начальство метило бывшего батрака Трофима Русанова в колхозное руководство. А Сенька Квас выплясывал:

Антиресная заботушка
Мне голову кружит.

Кабы с зятюшкой колхозушко
На пару поделить.

И ничем его не возьмешь — ни добрым словом, ни острой рапкой. Побьешь, а он, как шелудивая дворняга, отряхнется, злей станет лаять.

Трофим пошел в район с жалобой — житья нет. Там рассудили — вражеская агитация. Исчез непутевый деревенский скоморох.

Жена Трофима не называла раньше отца иначе — «шут гороховый», а тут перестала глядеть в глаза. Нутром чуял — живет через силу, ушла бы, да куда: брюхата на четвертом месяце, с таким прикладом никто не подберет. Пробовал ей доказать, что он-де правильный человек, за правильность-то его и не любят, а у нее в ответ одна унылая песня:

— Уедем скорей отсюда.

И где бы он ни жил, кем бы ни работал — всюду испытывал вражду к себе. Вражда стала привычной, она не замечалась. Ежели приглашали к столу или говорили доброе слово — настораживался: бояться, сукины дети, или целятся окрутить вокруг пальца. Дерьмо люди, нельзя верить.

Быть может, впервые ему доверился человек.

Человек?.. Еще не человек, но доверие-то человеческое. Вот я — можешь отмахнуться, тебе ничего не будет, никто не узнает, люди не догадываются о моем появлении на свет. Отмахнись — это так просто сделать! — будешь свободен, быстрее вырвешься из леса, домой, в тепло, в уют, к отдыху. Отмахнись, правильный человек!..

Трофим не привык раздумывать, и сейчас он не думал, а просто чувствовал беззащитное доверие. И ему, жившему во вражде, оно было ново, необычно, вызывало щемящую благодарность. Разворачивая одяльце, он видел разъединенное нечистотами, обваренное-красное тельце и сам испытывал страдание. Он совал тряпичную соску и снова страдал от того, что не материнское молоко, а грубая жвачка — опасная пища, можно своей рукой отравить младенца. Лежа между двумя полыхающими кострами, он прижимался тесней к ребенку, старался укрыть его собой от холода, от жара трещащих дров, от нездоровой почной сырости. Его собственная жизнь в эти минуты сразу стала как-то сложнее и ярче. Только бы донести до людей, там-то уж спасут.

Нескончаема ночь поздней осени. Порой не верится, что настанет утро. Кажется, так и завязнет темнота навсегда, час к часу не сложатся в сутки, спутается время...

Трофим подымался, подкидывал дрова в огонь, торопливо ложился, прижимал к себе нагретый сверток, забывался чутким, собачьим сном.

7

Выбрался на болотце, подступающее к знакомой лесной речке. За ней дыбятся на косогоре сосновый лес. Там ноги не будут увязать в болотной жиже, километров пять пробежишь и не заметишь. К вечеру наверняка доберется до Анисима: «Шевелись, старый сверчок!»

Теперь у Трофима воспоминание об Анисиме уже не вызывало злобы. Не откажется лесник, как-никак вместе с женой станет ухаживать за девчонкой, спасти ее. За помощью идешь к нему, а от кого ждешь помощи, того за врага не считаешь.

Падал лепивый лохмато-крупный снег и таял сразу на мокрой земле. Небо налилось устрашающей густотой, воздух сумеречно сер, хотя до вечера еще далеко.

Трофим, прижимая к себе ребенка, рассчитывая каждый шаг, боясь провалиться в студенистую трясину у берега, пробрался к самой воде и застыл пришибленный. Он отлично помнил это место: здесь лежали два бревна — их нет. Подмыло ли берега и концы бревен обрушились, просто или после стаявшего снега поднялась вода, так или иначе — перехода нет.

Вода настолько черна, что кажется, сунь руку — и она увязнет, как в смоле. На эту черную воду ласково, то там, то тут, спускались невесомые хлопья снега, едва коснувшись, исчезали. Вода спокойна, течения нет. От берега до берега каких-нибудь шагов восемь — десять.

А на противоположном берегу, подпирая сумрачное небо, пятахуто стоят стволы сосен. Не перенрыгнешь к ним...

Восемь шагов... Такие стоячие лесные речки «нутристы», берега их обрывисты; на дне, затянутые илом, лежат давно затонувшие стволы деревьев, между ними ямы и провалы — сорвись, и скроет с головой. Вброд, да еще с ребенком на руках, — нет, опасно.

И все-таки Трофим решил прощупать. Наломал лапника, пристроил на нем ребенка, подобрал вывалившуюся березку — попрямей и потоньше, — двинулся вдоль берега, промеряя через каждые пять шагов глубину...

По грудь у самого берега, — значит, на середине может

скрыть с головой, по пояс, снова по грудь... Но вот конец березового кола сразу уперся в дно по колено, даже мельче, а у того берега кто знает... Ежели и решаться, то тут. Прежде чем соваться с ребенком, надо проверить. Скидывай одежду — не дай бог намочить ватные штаны и телогрейку, за сутки не просушишь у костра: нагишом полезай в ледяную воду, а сверху тебя будет посыпать снежком...

И Трофим сплюнул:

— Да что я, на смерть присужденный?!

Он решительно отбросил кол, пошел обратно. Нечего рассчитывать на брод, придется двинуться вверх по реке, пока не наткнешься на какую-нибудь оказию. Случается же, что упадет старое дерево поперек реки — вот тебе и мост, шагай посуху.

Перед тем как двинуться в путь, присел на лапнике, взял младенца на колени. Девочка не брала соску. Можно прошагать не один день, но так и не перебраться через эту дикую, сонную речушку. Сколько еще протянет девчонка? Сегодня-то они до Анисима не доберутся... Трофим поднялся.

По болотистой долинке кружит лениво черная река, брось щепку в ее воду — не тронется с места. Кружит река, кое-где она разливается в просторные бочаги, кое-где ее берега сближаются настолько близко, что нетрудно перескочить с разгона. Но с ребенком не перескочишь, да и сами берега рыхлые, топкие — не разбежишься, не оттолкнешься.

Кружит река, вместе с ней кружит и Трофим — щетинистый, грязный человек, с ружьем, с мешком, с младенцем в ватном одеяльце на руках. Кружит река, уводит Трофима в глубь леса. И начинает уже смеркаться, пора думать о ночлеге.

Утром следующего дня он наткнулся на завал. Не одно, а пять громадных деревьев обрушились в реку, перегородили ее. Пять сухих стволов друг на друге, крест-накрест, и целая роща костистых ветвей, крепко сцепленных, туго переплетенных, закрывающих путь через реку.

Трофим снял ружье с плеча — оно больше всего цепляется, взял за ствол, размахнувшись, перебросил его через воду. Ружье мягко шлепнулось в мшистый берег. Мешок перебрасывать побоялся — не долетит, упадет в воду. Держа одной рукой неуклюжий сверток из ватного одеяла, другой хватаясь за сучья, полез по завалу...

Если б обе руки были свободны, одна минута — и он

на том берегу. Сейчас, обламывая тонкие ветви, цепляясь за толстые, рискованно повисая над водой, продирался вершок за вершком. На самой середине зацепился мешок. Трофим дернул, припомнил бога и мать, но делать нечего, — пошевеливая плечами, стал освобождаться от лямок, осторожно, медленно, боясь потерять равновесие, уронить ребенка. Он удержался сам, удержал и младенца, а мешок подхватить не сумел. Тот шлепнулся в воду и поплыл.

Трофим поглядел на мешок злыми глазами, полез дальше. Наконец, ломая сучья, свалился на землю, долго сидел, прижимая ребенка, слушая стук своего сердца.

Когда поднялся, ни на черной воде, ни под запущенными в воду толстыми сучьями мешка не было — он затонул...

Мешок затонул, а ружье осталось. Ненужное ружье, мешавшее ему всю дорогу. Он не поднял его с земли.

Он устал за эти дни. Он уставал днем и не отдыхал ночами, так как постоянно вскакивал, чтобы подправить прогоревшие костры. А они прогорали быстро — не было топора, чтобы заготовить толстые дрова, приходилось пользоваться только валежником. Он устал до того, что его уже не волновала пропажа мешка, где лежала вся еда, кроме небольшого куска хлеба, который он спрятал за пазуху — «на соски»; он не нагнулся за ружьем, двустволкой бескурковой, которой он гордился, за которую в свое время заплатил пять сотен; он уже равнодушно думал о том, что девочка все равно умрет; он не испытывал страха и перед своей смертью.

Идти обратно вдоль реки, чтоб наткнуться на знакомую тропу, которая ведет в сосновый бор, — значит потерять день. Оставить реку, двинуться наискосок через лес — не мудрено заблудиться. Но он хотел только одного — быстрее выбраться из лесу; по его прикидке, где-то недалеко должна проходить дорога, ведущая на один из лесопунктов. Хотя сейчас по ней не ходят лесовозные машины, но все-таки дорога — возле нее легче ждать помощи.

И он решился — обнимая ребенка, побрел в сторону от опостылевшей реки.

До сих пор его вели вперед — сначала тропа под ногами, потом река. Теперь, куда ни взгляни, во все стороны одинаковый лес. Впереди — перекрученные березки и елоч-

ки, справа — перекрученные березки, слева, сзади. Мир сразу же потерял всякий смысл.

А день сумрачно-серый, нет надежды — не проглянет солнце, и ночью не выведет. Где север, где юг, вперед ли ты сделал шаг или назад — над всем равнодушная тайна.

Первые часы Трофима не покидала уверенность, что идет правильно, рано или поздно он наткнется на дорогу. Наткнулся на непроходимую чащу — ели ствол к стволу, торчат во все стороны высохшие острые сучья, у корней слежавшийся ночной сумрак. Побрел в обход, прижимая к груди ребенка.

Лес был высокий, крепкий, сюда еще не добрались лесозаготовительные организации, не проложили здесь «усы» узкоколеек, не пробили дорог. Тонкие, гибкие березы протискивались к небу сквозь плоты хвой. Ели развешивали над головой замшелые, полуоблезшие лапы. Лес давил дикостью, дальше чем на три шага ничего не видно.

Он шел и глядел в небо, на верхушки деревьев, ждал, что вдруг покажется заманчивый просвет. Вдруг да вырубка, а от нее непременно дороги к человеческому жилью, пусть полузабытые, полужаросшие, но все-таки дороги.

Несколько раз ошибался. Ему казалось, что лес впереди раздвигается. Тогда он прибавлял шагу, ломился напрямик через чащу и... выходил в мелколесье. А за мелколесьем — снова рослый лес.

Опять просвет... С каждым шагом он ширится, с каждым шагом становится чуть светлей. И лес оборвался...

Перед Трофимом выросло лохматое, как поднявшийся на дыбы неопрыттый медведь, вывороченное корневище — пласт земли, поставленный на попа. Шагнул в сторону, чтоб обойти, и в упор — расщепленный ствол, страшный излом, словно разверстая пасть в диком крике. Стволы навалом, один на одном, толстые, тяжелые, забуревшие от времени, и вскинутые вверх в судорогах костлявые ветви...

Ждал вырубку, ждал лесную пожню с пригорюнившимся в одиночестве стожком сена, думал найти дорогу. Где там... Когда-то здесь прошел буран, столетние деревья сорвались с насиженных мест, остервенело набросились друг на друга, вцепились сучьями, упали в обнимку, на них попадали новые. Лесное побоище на километры, лесное побоище, прикрывшее заболоченную землю, дикие звери и те обходят стороной проклятое место. Дорога, где уж...

А с мутного неба — мутный, как жидкое коровье поило, свет. И тишина, тишина, нарушаемая лишь равнодушным

шумом хвойного моря. Морю нет конца. Как далеки люди! Как дороги они все!..

Только теперь Трофим поверил, что он заблудился.

А день увыдал, мгла затягивала побоище.

9

Утром он не мог согреть кипятка, ничего не поел: котелок, хлеб, сала еще добрый кусок — все осталось на дне той проклятой реки. Он только, исходя слюной, нажевал соску. Но девочка опять ее не взяла.

Она скоро умрет. Его и самого лихорадило.

На ночь опять выпал снег, мокрый, липкий, которому суждено снова сойти.

Влез в болото. Из припорошенных снегом моховых кочек под сапогами брызгала рыжая вода. Провалился ногой до паха в трясину. Вырвал отяжелевший от грязи сапог, прополз на коленях шагов двадцать и не смог подняться — обессилел от страха. Сидел, чувствуя, как немеет от холода промоченная нога. И тут девочка заплакала слабеньким кашляющим плачем. Она давно уже не подавала голоса. И это помогло ему подняться...

Неожиданно напал на свежий человеческий след. Бросился по нему. След пьяно блуждал среди кочек. И он понял — наткнулся на свой собственный след.

За пазухой еще лежал обломанный со всех сторон кусок хлеба. Он шел и думал об этом куске.

С этими мыслями в темноте он добрал до пологого овражка, заросшего ольховником. Началась четвертая ночь под открытым небом. Он еле нашел сил набрать валежнику. Всю ночь не спал, всю ночь старался, чтобы костры горели жарче, и все-таки мерз.

«Крышка тебе, Трофим. Вот так просто — не встанешь утром и... крышка».

Привычно посерело небо, привычно расплзлась грязная мгла, забила в глубь кустов, на дно овражка. А снег падал и падал, сырой, тяжелый, обильный. От него воздух вокруг тлеющих костров становился каким-то прелым, нездоровым.

Трофим с натугой поднялся, перемотал непросохшие портянки. Все тело ломило.

С равнодушием заглянул внутрь одеяла. Лицо девочки

было странным — с синевой, какое-то замороженное. Умерла или нет?.. Тронул пальцем щечку, но грубый, жесткий палец ничего не почувствовал. С трудом сгибаясь, притронулся губами, но губы его были горячи и сухи, ощутили холод — никак не мог понять: умерла или нет?

Так бы и лег рядом с девочкой да не вставал больше.

Вспомнил про хлеб, достал захватанный помятый крохотный кусочек, взвесил на руке, выругался слабо:

— А чтоб тебя! Померла иль нет?

Откусил хлеб. Глядя на девочку, съел весь кусок, не чувствуя вкуса хлеба, не наслаждаясь, что ест. А когда съел, стало стыдно: вдруг да жива, вдруг да подаст голос...

Из-за стыда неожиданно озлобился:

— Да что я, зарок кому давал!.. Что мне, сдыхать вместе с ней!

Это ли озлобление — как-никак живое человеческое чувство, страх ли перед смертью совсем расшевелили Трофима.

Забрал подкидыша, тащил на себе, умилялся, красовался перед собой, забрел черт-те куда, болен, голоден, сдыхает — ради чего? Проснись, Трофим, да мотай быстрее. Один-то как-нибудь выпутаешься.

Трофим встал, запахнул плащ, натянул потуже шапку, скользнул взглядом по ватному одеяльцу, волоча ноги, направился к лесу.

Без ноши в руках было непривычно легко и неловко. Такое чувство, словно раздет, вот-вот прохватит морозом.

«Матери она не нужна, так кому нужна? Ну, спасу, а куда девать, кто обрадуется? Может, лишний груз себе на шею повесить, выкормить, вырастить, замуж отдать? И спасибо не услышишь... Много ли ты от своего сына родного спасибо слышал?..»

Но как ни разжигал себя Трофим, а вспыхнувшая злость остывала, по-прежнему оставалась только связывающая неловкость — не хватает чего-то, забыто. И стучится в голову страшная мысль: «А вдруг да жива! Живую бросил!»

На кустах, на ветках деревьев лежал неопрятный клочковатый снег. Несмотря на белизну, лес был сумрачен, небо густое, с грозовой просинью. И на Трофима мало-помалу нашло безразличие ко всему. Выпутается ли он из этого проклятого леса, останется ли здесь — не все ли равно? О доме, как о рае небесном, мечтает, а что дома?.. Будет все то же, что было на прошлой неделе, год назад, нового ждать нечего. Наверное, только станет вспоминать, как валялся

у костра, как прижимал к себе завернутого в одеяльце младенца, как прислушивался — шевелится ли? Пожалуй, ничего другого в жизни не вспомнишь.

«А вдруг да жива! Живую бросил!»

Наискось узкую полянку перерезал след. Прямой, как по линейке. Похоже, по заснеженному лесу проскакала палка, протыкая в мокрой пороше дырки. Это был первый след, кроме своего, который увидел Трофим в лесу. Пробежала лиса, оставила строчку.

И Трофима передернуло от этого следа. Он представил, как лиса боязливо обнюхивает брошенный им сверток, как засовывает острую, хищную морду в одеяло. Он-то знает, как лисицы обгрызают попавших в петли зайцев...

«А вдруг да жива!..»

И он, прихрамывая, держась за грудь обеими руками, поковылял обратно.

Лапник и одеяло в цветочках покрыл снежок. Только пепелища от двух костров были углисто-черны. Трофим поднял девочку...

И сразу все стало на свои места, все приобрело смысл. Надо идти, надо выбраться из лесу.

10

Вечером того же дня до него донесся горчащий запах дыма. Он проходил шагов десять, останавливался, вытягивал шею, с заросшим прокопченным страшным лицом, стоял, раздувая ноздри, принюхивался, как дикий зверь, и снова шел сквозь кусты, сквозь чащу... Лес расступился. В оловянную гладь озера белым клином врезалась заснеженная крыша. Черная труба на этой крыше не дымилась. Дым тянулся от придавленной к земле баньки.

Место сначала показалось незнакомым Трофиму. Дом у озера?.. И какое это озеро?.. К Анисиму он же не мог выйти...

Но, подойдя вплотную, он увидел покрытый снежком стожок сена, обнесенный крепкой изгородью от лосей, узнал баньку, понял: все-таки вышел к Анисиму, но только с другой стороны. Значит, где-то пересек дорогу и не заметил ее.

Обогнул стожок, по тропинке добрался до крыльца. С ходу подняться не смог, присел на ступеньку. Сидел, прижимая к себе туго свернутое одеяло, глядел на синие су-мерки.

Из окна на синий снег упал теплый невесомый пласт света. И Трофим, чувствуя каждый неподатливый сустав в теле, встал. Занесенная нога не попала на ступеньку, и он сорвался лицом вниз, успел подумать: «Беда, ее придавлю...»

На лавке уже лежало приготовленное чистое исподнее, Анисим ждал — жена истопит баню, позовет его, а пока вздул лампу, стал пристраиваться с книгой.

В зимние бесконечные вечера на лесном кордоне очутишься от тишины и скуки — до ближайшего соседа три километра, до Пахомовской избы-читальни, куда наезжала кинопередвижка, — пять. Книжки стали стариковской страстишкой лесника. Любил читать про все, что не похоже на знакомую жизнь, — про мушкетеров, про моря, про корабли, про страны с пальмами.

Анисим услышал, как что-то упало на крыльце, подумал на жену: «Непутная. Оставила бадейку на пороге, сама же и паткнулась». Но долгая тишина после этого насторожила: «Чтой-то с ней? Не зашиблась ли?» Поднялся из-за стола.

В голубеющих снежных сумерках, растянувшись через все ступеньки, лежал на крыльце рослый человек.

— Эй! Кто ты?

Анисим перевернул гостя, увидел заросшее густой щетиной лицо, черные провалы глазниц и не узнал.

— Кого занесла нечистая сила?.. Без памяти... Ну-кась.

Подхватил под мышки, потащил в дом. И уж в избе, при свете, не по лицу, разбойно заросшему, а по плащу признал Трофима.

Вошла жена, неся в охапке какой-то узел:

— Глянь, что на крыльце...

И осеклась, увидев на полу, в распахнутом мокром плаще, задравшего каторжный подбородок человека.

— Трофим с пути сбился, — сообщил Анисим. — Образ людской совсем потерял.

И тогда она заглянула внутрь одеяла и ахнула:

— Ребеночек!.. Он принес... Мертвенький, кажись!..

Через три дня рыбаки, умыкнувшие лодку Анисима, перевозили Трофима через озеро.

Он сидел у самой кормы, на его отощавшей, порезанной во время бритья физиономии, в глубоких складках таилось что-то особое, каменистое, нугающее всех.

Трофим сумрачно молчал, а рыбаки с удивлением и робостью косились на него.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Вот он и дома...

Почему-то вспоминается Трофиму Мирон Крохалев, мужик из их деревни...

Два брата Крохалевы, Матвей и Мирон, после смерти отца стали жить каждый своим домом. Поделили как люди: тебе кобыла — мне корова, тебе телка — мне жеребчик, вплоть до горшков и ухватов, иконы с божницы пополам. У поделенной по-братски земли лежала пустошь, просто болотце с жидким осинничком. Его-то не делили — в голову не пришло.

Но вот однажды весной, когда березовый лист «вымахал с копейку», старший, Матвей, обрядив все свое семейство в опорки, вышел на пустошь жечь повину — валили осины, складывали в костры.

И тут наскочил Мирон:

— Куд-ды, так твою перетак!

— А чего? Земля-то небось не твоя.

— Это уж не твоя ли?

И схватились за колья, и лег Мирон отлеживаться под осинку.

И напятые грамотеи принялись строчить бумаги, и обиженный Мирон кричал:

— Ужо запляшет Матвейка!

Он свел на базар корову, распродал овец, забыл дом, пропадал в городе: не зная грамоты, выучил наизуток все законы: «Ужо запляшет Матвейка!»

Шел год, другой, третий, и каждый кончался надеждой: «Ужо запляшет...» Долго не выплясывалось, но так-таки оснлил.

Рассказывали: Мирон вышел к пустоши, поглядел на квелые осинки, которые теперь были его, а не Матвейки-вражины, и вдруг спросил недоуменно и жалобно:

— Это что же? Конец, значит?

И напился после этого. И стал нить без просыну. И еще долго жил.

Трофим в детстве видел его: мутные глаза с кровяни-

стыми жеребьячими белками, в рыжей бороде запуталась солома, истекает тягучей слюной, спит.

— Для чего живу? А?.. Живу и звезды не вижу. Горшок порожний моя жизнь. А бывалоча, сам мировой судья Кузьма Прохорыч Певунов мне ручку с перстеньком тянул... Для чего живу? А?..

Трофим долго и тяжело добирался до дому. Вот он и дома. Стены с покоробившимися обоями, линяло-желтыми, со знакомым салыным пятном, мокрое окно, мокрые тесовые крыши за ним, сумрачная печь и стол с расшатанным венским стулом.

Вот он и дома. Жена ссохшаяся, сморщенная; запавший рот хранит унылую скорбность — совсем уже старуха, ходит тихо, по-мышинному шуршит у печи, нет-нет да оглянется, и взгляд ее тягучий, долгий. Она уже до приезда Трофима знала, что случилось. Не похоже, не оп: тридцать лет, считай, без малого прожили бок о бок, сын рос, а на руках у отца не бывал — и вдруг с младенцем пнячился. Непонятен, а ночью заяц страшней волка днем.

И Трофим чувствует этот недоуменный страх. Вот он и дома, а слова сказать не с кем.

И лезет в голову давно забытый неприкаянный крикун-пияница Мирон Крохалев: «Это что же? Конец, значит?»

Нет, надо жить. Настало утро — хошь не хошь, а вставай.

Он умылся, съел вчерашние щи, не потому, что хотелось есть, по привычке — жить-то надо.

Роясь в карманах пиджака, чтоб достать кiset с табаком, Трофим выудил сложенную бумагу, развернул — нацарапанный вкривь и вкось па колене у костра акт на рыбаков, побросавших сигов в котел.

Жить падо, надо работать, исполнять, что положено.

2

Бревенчатый городишко, плоский, голый, крытый темным тесом, разогнавшись грязными улочками, казалось, ударялся прямо в непробиваемо-серое небо. Такое ощущение, что там, за крышами крайних домов, обрывается земля. Впрочем, так оно и было: земля обрывалась, начиналось озеро — одно из многочисленных в этом краю озер.

Бревенчатый городишко, он начальствовал над спрятавшимися в леса и болота деревеньками и селами. Здесь были учреждения, без которых не обходится ни один рай-

центр. Среди них маленькая контора в тупичке улицы, выходящей на берег, с подслеповатой вывеской: «Районная инспекция рыбохраны» — быть может, самая неприметная. О ней не шумели на собраниях, ее не разносили, не прорабатывали, не славили в печати. Останови прохожего, спроси, где находится, — не всякий ответит, хотя бы это и был старожил, знающий свой город не только вдоль и поперек, но и в глубь бревенчатых степ. Однако, если спросить у того же прохожего, где найти Пал Палыча Чурилина, — укажет без ошибки улицу, дом, крыльцо, то самое, над которым висит не привлекающая внимания вывеска.

В приозерном городке все — от последнего мальчишки до первого секретаря райкома партии — поголовно рыболовы. Все знают, что, где и как ловить, — этим распоряжается Чурилин, с ним на всякий случай не мешает водить знакомство.

Павел Павлович Чурилин в свое время занимал должности и повыше, чем районный инспектор рыбнадзора. В годы войны работал уполномоченным по заготовкам — фигура заметная, на бюро райкома кулаком постукивал, выдвинули после заместителем председателя райисполкома, бросали на укрепление в отстающие колхозы. И это было не так уж давно, но все почему-то забыли его руководящее прошлое, а охотнее всего его забыл сам Пал Палыч. Казалось, он вечно сидел за низким столиком в тесной комнатухе рыбохраны, рядом потасканная форменная фуражка речника, несколько лет назад подаренная знакомым механиком с буксира, стопка казенных бумаг и под локтем — тонкая захватанная книжница — правила рыболовства, куда записана вся премудрость, которой руководствуется Пал Палыч. Книжка эта выучена от слова до слова, и лежит она под рукой для того, чтоб при нужде ткнуть кому в нос: «Видишь — черным по белому пропечатано!» И восторгествовать нешумно: «То-то, брат».

Сам Пал Палыч невысокий, высохший, с желтым канцелярским, сморщенным личиком; только лысина, крепкая, гладкая, обширная, вызывает уважительную мысль: «Ей-сй, в этой башке не одни правила рыболовства спрятаны».

Своих участковых инспекторов, или, как их величал, «боевую пятерку», Пал Палыч называл ласково «милок» да «дружок», но так же ласково умел и нажать: на печке не отлеживались. О Трофиме Русанове он отзывался с похвалой: «Мертвая хватка, нам такие волкодавы нужны» —

и держал его в черном теле: участок выделил самый большой, разбросанный, но особо щекотливым случаем толкал его: «Ноги в руки, милоч!»

Трофиму нужно было заявиться к Пал Палычу, а раз заявиться — значит, отчитаться, а раз отчитаться — выложить на стол акт на рыбаков.

Пал Палыч прикрыл бумагу крепенькой рукой в золотистой шерстке, от глаз к остаткам волос потянулись улыбочивые морщинки:

— Явился, герой. Что, милоч, попал в переплетик? А ведь, гляди, даже с виду изменился. Как думаешь, Розалия Амфилохиевна, изменился он?

В тесной конторе кроме Пал Палыча постоянно находился еще один человек — женщина с унылым носом, сильно косящая на один глаз, счетовод и кассир, делопроизводитель и даже уборщица по совместительству. Она была туга на ухо, потому упорно молчалива, но это не мешало Пал Палычу поминутно обращаться к ней за подтверждением: «А так ли я сказал?..» Причем имя ее — Розалия Амфилохиевна — он выговаривал с особым вкусом.

Розалия Амфилохиевна не подняла от своего стола лица, не взглянула на Трофима, ответила невянятно:

— Бу-бу...

— Ты глянь,— попросил Трофим.— Дело-то копеечное.

Пал Палыч опытным взглядом окинул мятую бумажку, отложил.

Ну и славненько.

— Что — славненько?

— То, что наскочили. Передадим куда следует, штрафнут для порядка. Верно, Розалия Амфилохиевна?

А Трофим почему-то ждал; что Пал Палыч откинет бумагу: «Крохоборничаешь, дружок мой милый», — случалось и такое. Но тот не оттолкнул, и у Трофима появилось чувство острой неловкости: а так ли делаем?

Грех-то невелик, простить бы можно, — произнес он хмуро.

Пал Палыч кольнул взглядом Трофима:

— Раз невелик, зачем его до меня нес? Взял бы да простил сам...

А Трофим и сам не знал, зачем принес, скорее всего по привычке: написана бумага — пужно донести.

— А коль принес мне в зубах, я покрывать не намерен. Вдруг, скажем, Розалия Амфилохиевна решит на принципах настоять, черкнет на нас заявляпище: так, мол, и так,

понуистительствуют. Кому первому ударят по шанке? Мне, не тебе!

Розалия Амфилохиевна не расслышала, думала, Пал Палыч обратился к ней с вопросом, ответила:

— Бу-бу...

И Трофима рассердило ерошничество:

— Ты и покрупней грехи покрывал. Припомни-ка: в прошлом году акт тебе принес на целую компанию, сети в нерестовые ямы кидали. Этот акт пронал, словно с кашей съел. Почему бы это?

— Почему?.. Скажу, не утаю. В той компании козырные валеты были, не нам с тобой их бить.

— Это верно, рыбаки — не козырная масть, можно на них отыграться, к отчету приниить.

У Пал Палыча чуть-чуть порозовела лысина, веселые глаза потемнели.

— Знаем, знаем, считаешь всех нас — жулики, ты один ангел чистый. А разберемся, ангел, какова твоя чистота? Попрекнишь меня — через одного прощаю. Но всех-то подряд простить нельзя. А вот я чего не смог бы, того не смог — в уху заглянуть, каюсь. Ты заглянул, акт составил. Рыбачки на осеннем ветру, на холоде жилы вытягивали, а на вот — утрись, братцы, ничего за работу не получите. Штраф!

— Так сделай, чтобы не было штрафа. О чем прошу?

— А вот и другое — ты ставь крест, ты рискуй, а я в сторожке побуду. Тоже хорошо, тоже по-ангельски. Так кто ж, выходит, чище из нас двоих: ты или я? Пусть, так сказать, массы рассудят. Кто из нас чище, Розалия Амфилохиевна?

— Бу-бу... — отозвались массы.

— Хвалишься: через одного прощаешь. Через одного! Скажи лучше: по выбору, с выгодцей...

— Эх чем усл. Слышала, Розалия Амфилохиевна?.. Да, с выгодцей, да, с расчетом. Без расчета одни дети неразумные живут. Лишь бы расчет дела не заедал. Общего дела! А попробуй-ка попрекни, что за делом не слежу... Не выйдет! И волкодавов приручил потому, что для дела полезны. Для этого тоже споровка нужна. — Пал Палыч встал, добавил с холодком: — Только смотри, портишься что-то, волкодав, не стареешь ли? Коль зубы выпадут — мне не нужен.

Розалия Амфилохиевна, навесив нос над счетами, щелкала костяшками, шуришала бумагами, один ее глаз глядел в бумаги, другой — мимо стола на саногы Трофима.

Трофим вышел раздавленный, волоча отяжелевшие ноги.

Нохватали душу, ощупали, как старый пиджак па базаре, показали — тут дыра, тут прореха, ты дорожишь, а вещь-то ничего не стоит — хочешь носи, хочешь выброси.

Темные бревенчатые дома, осевшие в землю, жмурились из-под крыш мокро отсвечивающими оконцами, и вид у них под промозглым дождем был довольный.

Прежде Трофим в окружении этих домов жил не размышляя и не мучаясь. За бревенчатыми стенами — будь начеку — коротают век те, кого ты должен подозревать. Подозревай — нужно для дела! А у Пал Палыча за его спиной свой расчетец: простак волк ловит хвостом в проруби рыбку лисичке.

Домой рвался из лесу, а теперь хоть обратно в лес беги.

И вспомнилось: не далее как позавчера они втроем — Анисим, его жена, он, Трофим, еще не бритый, сохранивший вынесенную из леса одичалость, с дрожащими от слабости коленками, — вышли па берег Пушозера. На взлобке, где посуше, под узловатой сосенкой Анисим, ткнув раз десять заступом, вырывал могилку. Жена Анисима, прежде чем положить трупик девочки в землю, сурово спросила Трофима:

— Как назовешь-то?

— Чего? — не понял Трофим.

— Как назовешь-то, спрашиваю? Человек все-таки, не кошку хороним, негоже, чтоб без имени в могилу.

И оттого, что у девочки не было имени, и оттого, что назвать ее должен был он, как родня, как самый близкий ей, перехватило горло: вот-вот па людях заплачешь, как баба. Трофим сморщился и махнул рукой:

— Как хошь назови... Ну, Анной, что ли...

Когда уходили, Трофим оглянулся, и его, только что умиравшего в осеннем лесу, чего только не наглядевшего там, место могилки поразило своим невеселым видом: тускло-темное, тяжелое, как чугун на изломе, озеро, плоский, в сырой сопревшей травке пригорочек, старушечьи мослаковатая сосенка и еле-еле приметный издали торфянисто-траурный холмик.

Уходит от него...

И уже нельзя одуматься, вернуться обратно, как возвращался к избушке или там, в лесу, к овражку...

Неужели виновница не поплатится за этот холмик?

Налитое чугуниной тяжестью озеро, скрюченная сосенка — божья старушка, торфянистый холмик... Никто не ответит...

Неожиданно Трофим остановился посреди улицы. Ударилась мысль простая, ясная среди других, путаных, угарных, она открылась, как свежее яичко в ворохе мусора.

— Найти нужно...

Найти самому, нечего рассчитывать, что другие найдут.

Самому сделать доброе дело: раз девка на такое смогла пойти, то она при случае отца родного отравит, мужа изведет, брата прикончит — не должна безнаказанно жить!

Найти, вытащить на белый свет!

И чувствовал, как силы вливаются в тело.

Жизнь снова обрела смысл.

Торфянистый холмик под сосной, прольются на тебя еще вражьи слезы!

4

Он не знал, что сделает с девкой. Просто ли передаст в суд, под закон, или выведет на люди, порадует, как будут плевать ей в лицо, или не удержится, задушит своими руками — за вздутое, обваренное, несчастное тельце, за черный холмик на берегу озера, за свою растравленную душу!

Там будет видно, но найдет!

Ночью он не спал, лежал, щупал темноту широко открытыми, невидящими глазами, соображал, как лучше взяться за дело.

Лесная избушка стояла на копновских покосах, — значит, через озеро самая ближайшая к ней деревня Копновка. Деревня как почти все кругом деревни. Трофим ее хорошо знал — не так уж велика, дворов пятьдесят. В таких деревнях каждый человек как на ладони. Не могут не знать, что какая-то девка или баба скрылась на время. Не могут и пропустить мимо глаз — было брюхо, потом опало. И уж ежели до этой деревни долетят слухи о найденном младенце, подозрения выползут наружу, как груздь из-под прелых листьев. Но и девка была бы последней дурой, если б не учитывала того, — должна как-то схитрить, замести следы...

Могла она приехать на лодке по озеру и из дальней деревни, хотя бы из Клятищ. Деревень что опять, — насколько

дик тот берег, настолько этот густо заселен. Там — места гнилые, болотистые, здесь — повыше, посуше, в глубокую старину начали лепиться деревушки в этом краю.

И еще плохо: Трофима все знают и все не любят — не раз приходилось хватать за рукав деревенских рыбаков. Плохо и то, что слух о его истории расплывается по всем углам. А это может спугнуть девку.

Лучше всего пожить бы в какой-нибудь подозрительной деревеньке недельку, две, не расспрашивать, а только слушать. Тогда наверняка дойдет: мол, та паскуда в курной избе ребенка кинула. Но у Трофима никого из родни в этих деревнях не было, а если б и была родня, то ни он их, ни они его гостьбой не жаловали. Выехать просто так, поселиться у какой-нибудь старушки — опять подозрительно: «С чего это он в такую пору курортничает?» Не так-то просто выудить поганую рыбку.

Трофим перебирал в памяти знакомых, живущих по побережью деревням. Знакомых много, но эти знакомые пусть сами готовы девке на подол плюнуть, а для чего, Трофима, землю рыть не будут.

И неожиданно вспомнил: «Анисим-то родом из Нижнего Осичья, это как раз возле самой Конювки. Там у него — кто не кум, тот сват». Анисим видел мертвую девочку, сам стервил на чем свет стоит гуляющую девку. После того как Трофим вернулся, не только Анисим, но и его жена, эта баба-солдат, радели к Трофиму — отпаивали молоком, парили в бане, выхаживали как могли. Анисима можно упросить, чтоб съездил на недельку к родне — часто туда ездит, глядишь, мимоходом свою пуждишку справит. Его-то никому и в голову не придет опасаться. На худой конец, ежели Анисиму недосуг самому съездить, то пусть кому из Осичья покажет разузнать.

«Найду курву...» Трофим, успокоенный, заснул.

На другой день он начал собираться к Анисиму. Вспомнил, что жена Анисима плакалась: часто угорает возле печи, а в Нахомове нельзя найти нашатырного спирта. Купил ей спирт. А так как дорога от аптеки шла мимо книжного магазина, вспомнил про страстишку Анисима, завернул в книжный, куда еще никогда не заглядывал. Долго щупал книги, приглядывался к картинкам на обложках, выбирал поцветистей и потолще — бог с ним, что стоят дороже, зато Анисим целую зиму будет мусолить «страницу за страницей, поминать добрым словом Трофима. Наконец выбрал: Август Бебель. «Из моей жизни», по-

тому что на обложке — почтенный человек с бородкой, а значит, и жизнь его должна быть почтенная, кроме того — толщина в кирпич.

И в этих сборах было что-то легкое, радостное — едет не по службе, а, считай, в гости. Трофим же не счесть сколько раз в году почевал под чужой крышей, ел за чужим столом, а бывал ли он хоть раз в жизни в гостях?.. Что-то не припомнит.

На попутной машине до Пахомова. В Пахомове найти лодку не трудно. И вот он снова у Анисима.

Хозяйка приняла пузырек с нашатырным спиртом: «Вот снасибо-то...» В простенке на дощатой полочке меж других книг уместился нухлый Август Бебель. На столе — печенье, конфеты и бутылочка «Московской», тоже привезенные Трофимом. И поет начищенный самовар, и хрящеватый нос Анисима, пропустившего стоночку, опрокинувшего в себя четыре стакана чаю, тоже отливает медью.

— Не могу, чтоб эта гнида жила безнаказанно, — говорит Трофим. — Ты уж мне помоги. Жизни нет, ни минуты покойной — все только о ребенке и думаю...

Анисим отмалчивается, цедит сквозь жидкие усы из блюдечка чай, ждет, что скажет жена. Сейчас, перед зимой, начальство не тревожит, можно на месяц скрыться из сторожки, но как жена — одной в лесу бабе оставаться страшновато, хоть за много лет и попривыкли к бирючьей жизни. И дом не бросишь — корова, телка, подсвинок ухoda требует.

А Трофим наседаст:

— Святос дело — землю от пакости очистить. Худую траву с поля вои. Ты же сам костил ее почем зря в прошлый раз. Вспомни, как девчонку-то зарывали. Иль у тебя сердце луженое? Эх, да чего уж, как подумаю — варом обдает.

Анисим молчал, а его жена сказала:

— Тебе легче станет, если к прежней беде новая нарастет?

— Это на кого беда? На сучку блудливую? И злому осоту не сладко, когда его с грядки с корнем рвут. От такой беды всем легче станет.

— Блудливая? А вдруг да горемыка разнесчастная? Мало ли обманутих вашим братом.

— Ты чего защищаешь? — прикрикнул на жену Анисим. — Принечь бы такую не худо.

— При-печь... Много вы оба понимаете в бабьем горе. Может, в такие клещи попала, что хоть в омут головой.

— А хотя б и в омут,— возразил Анисим,— все греха меньше.

— Оглянись на себя! Тебя-то можно ль заставить в омут прыгнуть? Трактором потащат, отбрыкиваться будешь.

— У тебя были дети? — строго спросил Трофим.

— А то нет! Трех родила, да на ноги-то поставить одного привелось.

— Так детей своих вспомни. Погубила бы ты их своими руками? Что молчишь?.. Ты же мать, ты же пуще нас, дубовых мужиков, к сердцу принять должна. Я вот забыть не могу, как у могилки вместе имя девочке давали, ты чего-то быстро забыла.

И жена Анисима осеклась, сидела за столом надутая, неостывшая, тронь — ожжет; но это только казалось, так себе — самовар, в котором угли потухли.

Анисим рассудительно заговорил:

— Припечь бы такую не худо... Всей бы душой тебе помог, по, сам посуди, как уехать на неделю? В лесу-то в эту пору уж так невесело, что и мужик в одиночку, гляди, затрубит волком, а тут бабу оставить — будет она по ночам зеленых червей гонять. Нет, не воль.

— Тогда через кого другого помощи дознаться.

— Это можно. Рыбаки-то гуляют по озеру, попросу — пусть заглянут к Пашке Щепенкову, он по матери братаном мне приходится. Мужик дошлый, а баба его на сажень под землей свежишку чувствует, они-то разнюхают. Да коль та сучка хитро следы не замела, сам собою грех вылезет наружу, не кручинься.

Большого добиться Трофим не мог.

5

Ждать, когда само собою вылезет наружу, видеть, как проходит день за днем, втягиваться помаленьку в жизнь, лепивую, словно послеобеденная дремота, привычную, как белесое небо в окошке, а та до сих пор не открыта, той так и сойдет с рук злодейство!..

И уже начинают люди забывать историю, уже не судачат по домам и не оглядываются на улицах вслед Трофиму...

Так и сойдет с рук?.. Не бывать этому! Найдет! За уши вытащит!

Трофим потолковал с Пал Палычем: «Не мешало бы прощунать Пушозеро на всякий пожарный случай — на рынке сбывали незаконную рыбу, не деревенские ли рыбаки чудачат?..»

Пал Палыч любит, когда дело вертится само собой, без нажима, махнул рукой — езжай, а сам сочинял бумагу в бассейновую инспекцию, выпрашивал еще одну штатную единицу, второго моториста на катер.

Зима в этом году медлила. Давно уже леса голые, давно уже семга вышла из рек, попрятались в глубину, давно на полях киснут зеленыя озимых, уже пять раз выпадал снег и каждый раз сходил, оставляя после себя слякоть на дорогах. Озера стоят черные, при виде их зябнет спина.

Трофим шел на весельной лодке от деревни к деревне, ночевал в избах, прислушивался, а чтоб навести на разговор, сам охотно рассказывал, как пес младенца. Его слушали, охали, любопытствовали, судили мать-злодейку, по ничего путного не сообщали — рады бы, да не знали.

Он добирался до очередной деревушки Бобыли, запозднился, наливалась почь над черной водой, недалекий берег расплывался и начинал смахивать на застывшую тучу. Картаво вскрикивали уключины, падали весла, наводили тугую нефтянистую волну, и гребни этой волны улавливали мутноватый отсвет сумрачного неба. И казалось, все живое вымерло вокруг и весь мир с деревеньками, с мокрыми лесами, с людьми, с лесной живностью залило бездонное озеро.

И в Трофима, как это часто случалось в последнее время, вползла зверем тоска, хоть бросай весла и кричи криком. Один на свете — безродный, несогретый, никому не нужный, один, и нет надежды, что найдешь кого-то. Уже близка старость, в его годы любой человек сидит, как в шубе, внутри семьи — дети, которых когда-то носил на руках, внуки, лезущие на колени. Ничего! Голый, зябнувший, истощенный злобой. Все эти годы злоба идет по пятам. Вот и сейчас сбежал из дому, ищет... А вдуматься — что ищет?

Вскрикивают уключины, всхлипывают весла, лодка режет жирную воду, везет его в незнакомую деревню, к незнакомым людям. И он будет считать удачей, если пайдет, если растопчет ту, что ищет, и ему кажется, что от этого ему станет легче.

В стороне от берега, на воде теплился огонек. Един-

ственная светлая точка в мокрой теменн — деревня-то далеко, светящихся окон не видно, — единственная на весь обступивший мир, дрожащая, неверная, ласково зовущая к себе. И правое весло само собой налегло сильнее, само собой нос лодки нацелился на огонек.

Огонь на воде, огонь среди озера, где не бывало и нет никаких бакенов, мог означать только одно — «лучат рыбу».

Поздней осенью, вплоть до ледостава, в холодной воде рыбы дремлют. В эту пору у них на время остывает неумеренная жажда к жизни — не рыщут с прежней энергией, кого бы сожрать, не прячутся, чтобы не быть сожранными, не увиваются возле самок, — «трошки тупеют», как говорят в деревнях. Рыбаки на нос лодки устанавливают из железного листа жаровню, разводят на ней огонь, берут длинную острогу. Костер освещает воду, она в темноте нефтянисто-черная, при отсветах пламени хотя и скупо, но открывает секреты — шевелящиеся водоросли, затонувшую корягу и наконец обморочно застывшую в скуной пестрой расцветке щуку. Тогда вскидывай острогу и не промахнись... И в этой ловле были свои прославленные мастера-добытчики.

По «лучить рыбу» запрещалось, хотя и не очень строжились — проступок не из больших. Однако Трофим ехал сейчас не для того, чтобы схватить кого-то за шиворот, а чтоб согреться у живой души.

На вскрученных волнах, на мокрых лопастях весел, в каплях воды, срывающихся с них, засверкали горячие и веселые отблески костра. Казалось, костер горит прямо на воде, отбрасывая длинную, тень в одну сторону. Эта тень была дубасом, лодкой-долбленкой, не всякий-то с такой справится, а уж тем более не решится на ней гулять ночью по озеру.

Обычно лучат вдвоем — один на веслах, другой на носу с острогой. Но Трофим в дубасе разглядел одинокую нахохлившуюся фигурку, подумал с одобрением: «Видать, хват. И с острогой, и с шестом, и сам огонь подправляет, да еще на такой душегубке».

Человек давно уже приглядывался и прислушивался к приближающейся в темноте лодке. Он был мал и тщедушен, как подросток, голова в лохматой зимней шапке ушла в сутулые плечи, сухонькое личико и козлиная седая борода — в своем узком длинном дубасе походил на паука, плывущего на палке.

Он, наверное, узнал известного всем рыбакам на Пуш-озере Трофима Русанова и находился в оцепенении.

— Ну, чего ты? — подворачиваясь мягко бортом, стараясь не толкнуть верткий дубас — не мудрено опрокинуть, — сказал Трофим. — Ну чего уставился? Все ждете, что я вас есть буду да кости выплевывать. Эх, люди!.. — и уже виновато, чтобы как-то оправдать свое появление, пояснил: — Спички утерял, прикурить хочу... Василий Никифорович, кажись?

— Он самый.

— То-то, думаю, какой ухарь в одиночку лучит? Ну, поздравствуемся, что ли, как добрые люди?

— Здравствуй... Спички тебе? Ччас. Упрятал их...

И старичок засуетился, каждым движением вызывая содрогание своего утлого суденышка.

— Ччас. И куды оне, треклятые, запропалились?

— Головню дай.

— Ччас...

Василий Никифорович, сидевший в дубасе, носил фамилию Бобылев. Но так как в деревне Бобыли все поголовно были Бобылевы, а среди них еще один Василий Никифорович, то при разговорах всегда переспрашивали: «Это какой? Тот, что шуку в озере привязал?..» Именно тот, что Щуку Привязал, и сидел, робея, неподалеку от Трофима. Из-за щуки, которую поймал на крюк, не смог вытащить — велика была, однако, — а потом привязал, как козу, к стойке вымостков, где полощут бабы белье, он и был знаменит.

— Уловишко-то есть?

— Чуток заценил.

— И больших?

— Да вот глянь, я не прячу.

Трофим привстал на лодке, заглянул на дно дубаса, где под сапогами Василия Никифоровича белели брюхами заостроженные щуки.

— Одна вроде подходящая.

— Сходна. Время-то не ловое.

Трофим не хотел уезжать. Ему приятно было видеть, как оттаивает старик, уже благодарный за одно то, что грозный рыбный начальник, о котором ходит дурная слава, не накричал, не возмутился, разговаривает по-человечески. Не хотелось уезжать в ночь, в темноту, в одиночество. Приятен был разговор, свет костра, тянуло на ду-

шевость, сам не сознавая, старался подладиться к старику, задобрить его словом.

— И что ж ты без напарника едешь? Одному-то трудно справиться.

— Эва, трудно! Еще мальчонком наловчился, а теперь за шестой десяток перевалило. Было время обвыкнута.

— Я бы не сумел.

И от этого признания старик не удержался, раздвинул в улыбке сквозную бороденку:

— Ты-то, горюн, чего на ночь глядя блукаешь? Ай озеро твое украдут?

— Верно, отец, горюн...

Трофима захлестнуло теплое чувство к старику. Навалившаяся невеселая ночь, безлюдное угрюмое озеро, сиротские мысли взорвали его, и он торопясь стал рассказывать:

— Верно ты заметил — горюн. Места вот себе не нахожу. Слышал, чай, что со мной стряслось? Девчонку-сосунку нашел в лесу, пес, да не донес, похоронить пришлось. И чего, вроде не родная мне, а нет покою. Сердце горит, как вспомню. Какая-то стерва покинула на смерть. Дитя свое сгубила и меня губит... Не отыщу места, никак не отыщу. Ты думаешь, по службе здесь езжу? Да пропади она пропадом. Служба-то волчья, после нее всем нехорош, на тебя как на цепного пса смотрят... Езжу я, чтоб эту проклятую богом девку на чистую воду вывести. Не жизнь мне, пока ее не открою. Притаилась, змея, обождите — вот ужалит еще кого... Дай срок, вытащу из-под колоды, положу под каблук — хрустнет темечко!..

Вяловато горели сухие гнидушки на носу дубаса, прорывающиеся языки пламени плескались в стоячей воде, с треском падали угли, шипели... А над придавленно-сонным озером разносился звонкий и сильный от неизрасходованной ненависти голос. Берег отзывался на него приглушенно-истеричным эхом. Сковывающая озеро немота исчезла, казалось, оно где-то в глубине начинает шевелиться, скоро стряхнет сонную одурь — и уж тогда конец всему...

И старик опять оробел, втянул в плечи лохматую шапку, снова стал походить на паука.

Трофим заметил его робость и смолчал. Эхо под берегом глухо пролаяло его последние слова.

Вот всегда так получается: подъехал к человеку с добрым словом, с лаской, с открытой душой, а вместо ласки,

как из ушата, облил его перекипевшей злобой. С открытой душой, а в душе-то, видать, ничего, кроме этого, нет, открывать ее добрым людям опасно.

Рассердился на себя, рассердился на старика и уж совсем некстати в сердцах сказал:

— Поди, спрячете ее. А я-то, дурак, петухом пою перед всяким.

— Кому нужна прятать такую? — слабо возразил старик.

— Ладно, — буркнул остывший Трофим. — Чего зря толковать... Не помниай лихом, дед.

Веслом бережно отодвинул от лодки дубас, наценил весло на уключину.

— Слышь-ко...

— Чего тебе?

— Народ поговаривает, чуял...

Занесенные весла застыли над водой.

— Ну!

— Чуял краем уха... Про Любку, Тихона Славина дочку, брешут.

— Верно ли?

— Да кто ж знает... Поговаривают... Уезжала-де и там спроворила. А прежде брюхатой ее примечали.

— Любка? Славина? Ты ее знаешь?

— Не. С отцом ее приходилось сталкиваться. Лет пять назад тес у меня купил. Да ты о нем, должно, слышал — бригадирствует ныне в Клятищах.

— Значит, из Клятищ она?

— Стало быть, из Клятищ... Да, может, брехня все. Ты веры-то особой не давай.

— Клятищи вроде далече от избушки. Непохоже, что баба на сносях столько веслами отмахала.

— Ухажер ежели подкинул... Ой да не слушай меня — брехня все. И говорить-то, поди, не надо. Бес толкнул.

— Ладно!

Трофим налег на весла.

6

Клятищи — самая дальняя деревня по берегу. Если б Трофима не оставило в лесу несчастье, то от Анисима, огибая озеро, он пришел бы сначала сюда.

В старое время клятищенцев величали «загибыши». Крепкие мужики, строго придерживавшиеся старой веры,

свято соблюдали посты, но и в посты ели так, как по другим деревням дай бог на пасху: пшеничные пироги с рыбой, загибыши — брюхо не в обиде и богу любо.

Сама деревня громоздилась на берегу темными северными избами. Каждая изба — бревенчатая хоромина в два этажа, прятавшая под крышей не только жилье, но и повети, клетки, подклеты, летники, каморы. В каждой избе жила прежде огромная семья с престарелыми родителями — стариком и старухой, с бородатыми сыновьями, морщинистыми невестками, их песчитанными детьми: парнями, молодухами, ползунками, сосунками в люльках, свисавших на горницах с потолков.

Сейчас большинство изб заколочено. Во многих под обширной крышей, в пустых горницах коротали жизнь или древняя старуха, или старик — соломенный вдовец. Лесопункты, все глубже и глубже забирающиеся в леса, сплавные участки, разбросанные по берегам рек и озер, перевалки, эти шумные внутренние порты по вывозке леса, высосали народ из деревни. Молодежь год из года панималась на сторону, вила гнезда за пределами Клятиц. Громадные избы слепли одна за другой.

Но еще оставались дома, полные жизни, где все окна дерзко и весело глядели на улицу, где крыши не прогибались от ветхости, углы не отваливались и в пазах между бревнами, почерневшими, древними, торчала конопатка из свежего мха.

Трофиму показали на один такой дом:

— Туточки живет Тихон Славин. Гостей кабыть принимает.

Новенькие пряслица огорожи, размякшая от непогоды дорожка через просторный двор, где выгнулась тупыми коленами пара сильных, сияющих белизной берез. Перед крыльцом набросан щедро еловый лапник — входи, гость, но вытирай ноги. Само крыльцо вымыто, выскоблено, а у порога еще брошена ветошка — от бабок-староверок осталась привычка, те чисто любили жить.

Вытирая ноги, берясь за железное кольцо в дверях, Трофим услышал изнутри веселые громкие голоса и почему-то без всякого злорадства подумал: «Вот не догадываются, что беда встала на пороге».

Подумал, нахмурился, толкнул сильно дверь, шагнул...

В красном углу за столом тесно торчали лыняные головы детишек, среди них двое мужчин: молодой — пшенично-патлатый и возбужденно-краснорожий, в чистой, необмятой,

видать надетой после бани, рубахе, и постарше — суховатый, с чеканным, горбоносым, празднично выбритым лицом, должно быть, сам Тихон Славин.

У печи разогнулась раздумывавшаяся баба, не молодая и не старая, но улыбочиво гнездящимся морщинкам можно понять — бесхитростна, уживчива и теперь довольна минутой. Она озадаченно склонила на плечо голову, без слов ясен ее вопрос: «Кого бог послал?..»

Белые головы ребятишек повернулись, как по команде, круглые глаза хозяина на тонко кованном лице глядели с деловитой строгостью. Неуклюже развернулся широким туловищем и патлатый парень.

— Жаль, не ко времени, — хрипловато сказал Трофим.

И словно ожгло: из боковушки вышла молодуха, грудастая, бедристая, с выправочкой — отцовская спесивая строгость в выпяченной нижней губе.

Так вот она какая! Похоже. Такой вроде и представлялась. И цветет себе маковым цветочком, не болеет душой...

Трофим спросил осекающим голосом:

— Любовь Славина? Это ты будешь?

Метнула брови на лоб, сильнее выпятила губу, ответила:

— Я... А что?

— Выйдем на крыльцо на пару слов.

За столом зашевелился парень, спросил с угрозцей, не обещавшей ничего доброго:

— Эт-то что за секрет? Ты сам-то кто?

— Дело есть к ней. Идем-ка, красавица.

— Дел у жены помимо мужа не бывает.

— Так ты муж ей?

— Нет, прибрлудный... Иль паспорт показать?

— Тогда и ты выйди, втроем потолкуем.

В избе настала тишина. Голубели глаза детишек, хозяин буравил Трофима острым взглядом. Любка с остановившимся недоумленным и сердитым лицом стояла рядом, затаив дыхание. А парень начал медленно-медленно подыматься и все рос, рос вверх, пока не расправился, — детина под потолок, заслонивший свет в низком окошке.

И в этой тишине раздался плач — знакомый Трофиму плач младенца, разворошивший воспоминания и вызвавший пепарпну на лбу.

— Что это? Ребенок? — растерянно спросил он.

Любка повела плечом. Видно было, что плач звал ее. Ей трудно стоять на месте. И это невольное подергивание

плечом убедило Трофима больше, чем любые слова. Она мать, и любящая, — значит, наговорили на нее.

— Ваш? — снова обратился Трофим к Любке и парню.

— Нет, подкинутый... — сердито отозвался парень. — Что за спрос?

— Ну, тогда извините. Ошибка вышла...

— Нет, дядя, не отпляшешься, — с угрозой заявил парень. — Выкладывай камушек из-за пазушки, коль принес.

— Ошибка же. Наболтали мне... Э-э, да что мать подымать. Будьте счастливы.

Он повернулся и вышел, оставив за собой недоуменное молчание, нарушаемое криком ребенка.

На дороге у старухи, несущей в подоле мирно смежившего глаза крохотного поросенка, спросил:

— Зять, что ли, к Тихону приехал?

— Зять. Год, как старшенькую-то выдал, а зятя видит впервой.

— Что, уезжала дочь-то?

— Она, милый, то туда, то сюда. На стороне, вишь, тоже не баско. Муженек-то в обчезитье, а тут дите. Вот и прикатали к тестю. Ножить собираются...

Трофим шел к своей лодке, вспоминая белые головы детишек, обсевших стол, патлатого зятя, рослого и плечистого, его румяную тещу у нечи, цветущую Любку и завидовал Тихону Славину — вот она, семья-то, и в старостиazole такой теплый уголок найдется.

Черным вороном влетел к ним, сбил застолье. Влетел да обратно вылетел.

А люди... Эх, люди! Любого в грязь втопчут. И не от злобы, не от черной зависти, а так — по случаю, подвернулось на язык. А если б у этих ребенка-то не было, он, Трофим, ослабил бы Любку. Там, глядишь, муж поверит — свары, раздоры, поношения, жизнь крошится, как сухой навоз. И все оттого, что кто-то от безделья сболтнул! Эх, люди!..

Трофим не досадовал, что зря добирался в дальнее Клятище, он был даже рад, что вышла ошибка: беда не вошла вместе с ним в этот дом.

На обратном пути он вдруг почувствовал усталость и равнодушие. Рысканье на лодке от деревни к деревне показалось ему глупым и ненужным занятием. Захотелось домой и — странно — захотелось видеть жену.

Дотянув до Бобылей, он оставил лодку на Василия Никифоровича Привязал Щуку, а сам добрался до города на

попутной машине. И все время вспоминал семью за столом, белоголовых детишек, голубеющие на него, широко распахнутые глаза.

Жена, как всегда, заученно спросила:

— Есть хочешь?

Он посмотрел, как она собирает на стол, — патруженные руки, ввалившийся рот в затаенной скорби, — и стало пронзительно жаль ее. Не видывала она с ним радости, нет, не видывала.

— Слышь, Нюра...

И она вздрогнула, руки, расставлявшие чашки, стали двигаться по-деревянному.

— Почему мы с тобой никогда не потолкуем? Живем, как глухие.

— За тридцать-то лет, чай, можно было обо всем поговориться...

Ой, неправда. Сама знает, что врет. За эти тридцать лет они так и не успели поговорить друг с другом, быть может, в первый год до исчезновения отца только и беседовали. Но тогда оба были глупы, оба не знали жизни, что они могли тогда говорить?..

— Слышь, тебе, может, что-нибудь нужно? Ты скажи мне. Ты только скажи.

Она смятенно взглянула, на мятых щеках выполз румянец, отвернувшись, сжалась вся, руки по-деревянному двигались над столом. Так она сжималась, когда он в сердцах обзывал ее нехорошим словом.

Утром, проснувшись, он услышал разговор за дверями. Жена жаловалась кому-то:

— Пока дома нет, только и живу. Как приедет, хоть с глаз беги... Вчера, подумай-ка, спрашивает: «Что тебе нужно, ты только скажи — в лепешку расшибусь». Пойми, чего там у него на душе.

— А может, он вправду уноровить хочет? — спросил женский голос.

— Жизнь прожил, не ублажал, а тут на старости-то лет... Не-ет, неспроста чтой-то. Боюсь его.

Трофим заворочался на койке, и голоса смолкли. В комнату заглянула жена, спросила, пряча глаза:

— Не спишь?.. Тут тебе из суда повестку принесли...

Повестка была не из суда, а от следователя.

Трофиму казалось, что следователь обомрет, когда услышит во всех подробностях о свершившемся злодействе. А тот вежливенько слушал, кивал головой, нет, не осуждаяще, а, мол, понял тебя, верно говоришь, валяй дальше. Видать, он знал дела и поважней, чем смерть какого-то младенца, которому даже и имя-то не пришлось носить.

— Что полагается за такое?.. — спросил Трофим, сжимая за столом руки.

Следователь потер лоб, равнодушно ответил:

— Ежели б она его сразу... ну, в беспамятстве, скажем, — условно бы дали, даже простить могли, высказав, разумеется, общественное порицание. А так — преступление с умыслом, с подготовкой при здравом рассудке. Тут строже... — устало зевнул с растяжкой. — Конечно, если найдем.

— Как так — если найдете?

— По опыту знаю: раз такое примитивное преступление сразу не раскрылось, потом хоть лоб расшиби...

И Трофим ушел в расстройстве: увильнет блудница от наказания и уж, видать, сердцем особо болеть не будет — жди от кошки слез по мышке.

И чувствовал: сам выдохся, вот что обидно. Уж нет желания, какое было, — землю насквозь пройти, деревни вверх дном перевероршить. Торфянистый холмик под сосной так и останется на всю жизнь укором Трофиму — не отплатил сполна.

Едва Трофим шагнул за порог, как жена накинула платок на плечи:

— Мария Савельевна зайти просила.

Понял: боится, что снова набиваться на разговор по душам будет. Задержать бы, сказать: «Ой, худо мне! Не бегай, нужна». Так сказать, чтобы поверила, пожалела, глаза на него раскрыла — не волк, только приласкай — навек верная собака.

Но жена вышла бочком, тихонько прикрыла дверь.

Он разделся, сел за стол — как гость в чужом доме. Взглянул на ходики — до ужина еще час, а там сразу спать, по теперешнему положению — самое веселое для него время, вроде и жив и не замечаешь, как живешь. По-

том утро... Все начнется сначала — от завтрака до обеда от обеда до ужина, дотянуть бы до сна...

В дверь кто-то робко поскребся.

— Кто там? Входи!

Плечом вперед, лицо опущено, платок низко надвинут, сперва подумал — старуха, а нет, молода. Остановилась у порога, уставилась в заляпанные грязью сапоги — молчит.

— Что скажешь?

И вдруг ошпарила до костей догадка: «Неужто?!»

Стоит — мужской обвисший ватник на плечах, легкий платочек, повязанный по-старушечьи, линиялая, ветхая юбка и громоздкие, покоробленные, не размякшие ни от грязи, ни от сырости сапоги. Молчит. Прячет лицо. Смотрит в пол.

Трофим попробовал привстать, но ноги ослабели, выдал:

— Ну!..

И она подняла голову. Рукой из слишком длинного рукава ватника, судорожно путаясь, стала рвать верхнюю пуговицу, узел платка, освободила горло. И опять ничего не сказала, только кривила губы...

Она! Трофим поверил в это совсем. Сама пришла!

Круглое обветренное лицо, лицо деревенской девки, мало сидящей под крышей, круглые, выбеленные ужасом глаза, острый, вздернутый, со сплюснутыми ноздрями нос — в своем обвисающем ватнике словно воробей в перьях старой кукушки. И из этого ватника — белое, беззащитное, гуляющее под тонкой кожей горло.

— Это ты?

Она что-то сказала непослушными синими губами. Трофим ничего не расслышал.

— Ты или нет?

— Поведи меня... к кому нужно...

А Трофим боялся только одного — не выдержит при встрече, потеряет себя, вцепится в горло. И вот это горло близко, шагни, протяни руки — не отстранится, белое, беззащитное, хрупкое... Вместо гнева в душе какая-то пустота и недоумение: «Неужели это она? Не похоже...» Поморщился: «Сейчас расплачется. Этого еще не хватало...»

Но она не плакала, глядела остановившимися глазами.

— Зачем ты это сделала?

— Поведи меня... Жизни нет. Поведи меня к кому нужно.

— Зачем ты это сделала?

— Кабы меня кто убил теперь...

Копил лютую ненависть, ждал: взглянет ей в глаза и увидит страх — решетка впереди, позорище, вот она, расплата за все, поделом тебе, зверина блудливая. И вот глядит в глаза, видит страх, да не тот. «Кабы кто убил меня...» — просит, словно — «Кабы кто пожалел...» И вместо ненависти — тупое бессилие.

— Зачем ты сделала это?

— Сама бы порешила себя, да боюсь.

— Дура! Зачем сделала, спрашиваю?!

И дернулось горло, клокотнуло внутри:

— Мать дознается...

— Матери испугалась, а загубить душу — нет?!

— Боялась, что помрет... Болела она шибко.

— Теперь вот выздоровеет, коль узнает.

— Нету ее.

— Кого нету?

— Матери-то.

— Ну, что путаешь, что путаешь, дура!

— Померла.

— Кто? Мать?..

— Пока я там жила... в избушке-то... Слава богу...

— Что — слава богу?

— Не узнает ничего... К лучшему...

Трофим раскричался, а ей, наверно, казалось, так и должен вести себя обычный человек. И первый страх в ее глазах исчез, взгляд их стал мутным, безразличным, тупым. Страшно было только переступить порог...

Она жалась к порогу, боясь наследить на полу, отвечала скупой, и по этим ответам, вытасненным словно клещами, складывалась незатейливая история, сплетенная из самых незначительных поступков человека, мир которого очень мал.

Жили вдвоем — она и мать. Мать, как и все старухи, истово держалась старой веры. А в глухой деревне непримиримое староверчество переплеталось еще с угрюмым язычеством. И росла девка под шепоток: «Заговариваю рабу божью от упуды овечьей, кошачьей, свиныйчей, собачьей, человечьей, и конской, и коровьей. Пуд-пудуница, царь-царица, князь молодой, ссылаю тебя на щедры боры, на темны леса, на зелены травы...»

Жили вдвоем — она и мать. Родни, конечно, целая деревня, и даже помощь от них случалась — дров парубить, усадьбу вснахать. Мать болела, дочь тянула ее, как могла. Приехал парень из дальнего лесопункта — даже не гуляли толком. Он уехал, она осталась, а через месяц заметила — беременна. И тут напал страх — родня отвернется, вся деревня станет пальцем тыкать, а мать... Мать — в чем душа держится! Бросало в судороги, в немоту — бежать! И никому в голову не пришло заподозрить, когда стала хлопотать справку в сельсовете: многие из молодых поровят выбраться.

Выбралась в лесопункт, в тот самый, где работал парень, встречалась с ним, спрашивала — отмахнулся. Жила в общежитии, другим девчатам говорила: замужем. Раз замужем, кто попрекнет — законопно.

Дали декретный отпуск; конечно, вычеркнули совсем из списков рабочих: ребенка родит — разве вернется? Получила деньги, куда идти? Для нее весь мир состоял из лесопункта и из своей деревни. Обратно в деревню? На глаза своим? Там-то не заявишь, что-де законная жена. Мать за такое наповал убьет.

Набила котомку хлебом, крупой, сладями, забрала свои пожитки. Пришла в деревню крадучись, берегом, даже собаки не залаяли. Нашла свою лодку. В приозерной деревне у каждого, считай, лодка. Была и у них — старая, щелястая, чуть ли не ровесница ей самой, отец еще сам делал. Ночью и перебралась в копновскую избушку.

Хлеб был, крупа была, окуней в ручье ловила — удочки чьи-то под матицей на потолке нашла. Жила, мучилась от схваток, ждала со страхом, думала: тут ей и конец. Но ее бабки и прабабки рожали не в больницах — на полях в межу выкидывали. Родила и она, обошлось.

И опять жила, нянчилась, ловила окуней. Кончился хлеб, что хуже — кончилась соль, пресная, окуневая уха не лезла в горло. Да и надо было на что-то решаться — не вековать же в лесной избушке.

А к ребенку прикипела, но и страх перед деревней велик. То-то будет веселье: уехала одна, вернулась парой... А мать?.. Нет, нельзя, а куда деваться — на лесопункт в общежитие с ребенком не возьмут.

И обманула сама себя: «Гляну одним глазком и вернусь...» Но когда подгрребала в полузалитой лодке к деревне, поняла на минуту: «Умрет же, быстро-то не обер-

нешься, мать почевать заставит...» И опять себя обманула: «Уж вырвусь как-нибудь... Только одним глазком...»

А дома беда — двери распахнуты, соседи толкуются, мать лежит на столе. Ей была уже послана телеграмма на лесопункт, и никто не удивился, что появилась в деревне. Одно горе задавило другое...

Она вспомнила о ребенке, когда возвращалась с кладбища, вспомнила равнодушно, так как жалела мать, — сразу жалеть мать и ребенка не хватило сил, да и, пожалуй, душевной широты.

А в это время Трофим бродил по лесу с ее дочкой...

Через два дня очнулась от угара, вспомнила: какие крохотные поготки были на пальчиках девочки, как она спала на руках, как припадала к груди... Села в лодку, гребла со стоном, даже не вычерпывала воду...

А изба встретила ее затхлостью, пустотой, холодом, валялись рваные тряпки на нарах, грязные следы на подметенном полу, под каменкой — березовое полено, оставшееся от охапки дров. И упала на пустые нары, рвала волосы, кричала дико: «Господи! Господи!» Неуютный осенний лес молчаливо слушал ее надрывный голос.

Примерно через неделю пришел слух в деревню, что у них по соседству, за озером, найден младенец. Всех особенно волновало, что по соседству. Событие, о котором судили и рядили во всем районе, оказывается, случилось рядом, а они-то не знали. Слух дошел и до нее.

Какие крохотные поготки...

Какие маленькие пожги высовывались из тряпок...

Мучительно вспоминала, какого цвета были глаза, и не могла вспомнить...

А по деревне бабы чехвостили злыдню, сгубившую дитя. А соседи жалели ее. И если бы не эта жалость, то, пожалуй, хватило бы смелости крикнуть в глаза: «Люди добрые! Это я!» Оказывается, не так-то просто переступить через людскую жалость, граничащую с ненавистью.

Никому в голову не приходило ее подозревать, хотя всю гадали: кто же? Должно, из других деревень, иначе знали бы, такое не скрыть...

Жить стало совсем невмочь. И вот...

— Кабы кто убил меня...

Стоит перед Трофимом, жмется к порогу, наследить на

полу боится, а тюрьма, смерть — нет, не страшно, все награда. И Трофим чувствует себя раздавленным.

— Поведи меня куда надо. Поведи, ради Христа.

— И зачем ты, дура, это сделала?

— Поведи...

— Да куда же я поведу? Ночь скоро на дворе. Кто с тобой возиться сейчас будет?

— Все одно, поведи.

— Шагай домой.

— Не пойду. Лягу здесь, не пойду!

— Я те лягу! Нужна мне такая гостья. Марш с глаз долой!

— Как быть-то? Куда обратиться?

— Сами найдут, будь спокойна.

— В деревню не могу, тошно там.

— Ты из какой деревни?

— Из Копновки ж...

— Ловка. Кто б мог подумать. А звать как?

— Клавдией... Еченина я, Еченина Клавдия Ивановна.

— Иди, не тревожь душу. И так тошно.

Она ушла.

Трофим сидел за столом, уронив голову. Завтра надо идти к следователю. И уж ясно, тот не подпрыгнет от радости — не такой она важный преступник.

«Преступник... Тоже мне... Эх, дура, дура... А не перестарался ли ты, Трофим? Не целишься ли снова плюнуть в ухо?..»

8

Сон не шел. Лежа на спине, слушал, как тихо-тихо дышит жепя. Она даже во сне не осмеливается шуметь.

Перед глазами стояла преступная девка — окаменевшее птичье лицо, остекленевшие пустые глаза и белое, нежное, взволнованно ходящее вверх-вниз горло. И эдакую-то считал — людям страшна.

«Ах, дура, и зачем только?.. А что, ежели решится?.. Ума хватит...»

Отстукивали ходики па стене, секунду за секундой склеивали время.

«А что, ежели в это самое время?.. Вот сейчас, в темной избе...»

Трофим даже приподнялся...

Стучали ходики, где-то далеко-далеко ворчала машина, — видать, какие-то бедолаги застряли на размытой дороге.

Сейчас, может, кончается человеческая жизнь, а все кругом спят, все спокойны, некому схватить за руку, обновить.

«Ум-то мушиный, ей ведь невдомек, что жизнь велика. Ох, велика — это перемелется, новое стрясется и снова пройдет... По ее аршину — белый свет от околицы до околицы, жизнь с комариный век...»

Стучат ходики, и лениво, лениво волочится бесконечная ночь.

«Надо бы разрешить, черт с ней, пусть бы примостилась тут у порога, а завтра — катись себе, объявляйся. А самому тащить эту дурочку за шиворот — была охота. Спросят — все скажу, как было, не утаю, а хлопотать, чтобы прижгли, нет уж, не стоит того... А ведь выслеживал, по деревням колесил, берег обнюхивал. Тоже умен на поверку-то».

Хотелось встать, накинуть пальто, бежать по ночи к черту на кулички: «Опомнись, непутевая!»

Он не мог уснуть ни на минуту. Едва только слезливый рассвет просочился сквозь окно, осторожно, чтобы не разбудить жену, слез с постели, захватил одежду, оделся, достал из шкафчика горбушку хлеба, сунул в карман.

Поговорит по-человечески, образумит. Только б не опоздать.

По дороге его нагнал ухарски расхлябанный грузовичок. Трофим проголосовал и проехал по большаку до поворота на Копновку, а там — рукой подать.

Деревня Копновка встретила его дремотной тишиной начинавшегося осеннего дня. Стыли в промозглом воздухе голые ветки берез, раскачивающие на себе почерневшие скворечники, зеленели мхом ветхие крыши. Женщина, выскочившая из дому палатке — только голова туго обмотана большим платком, — гнула к бревенчатому срубу колодца спешивую шею журавля.

И по этой неразбуженной тишине Трофим понял — в деревне ничего не случилось. Клавдия жива. Стало стыдно: дурак он, однако, — ночь не спал, сорвался ни свет ни заря, гнал столько километров, а для чего?.. Жива, здорова, поди, и в мыслях-то не было...

Но уходить ни с чем, когда уж прискакал сюда, глупо.

Увидится, скажет по-свойски, чтобы не вздумала учудить, хоть этим себе наперед покой устроит.

— Эй, кума! Где живет Ечина Клашка?

— Ты к какой? Котора померла?

— Померла?!

— У нас две их было — мать и дочь, обе Клавдии. Мать-то недавно, царствие ей небесное...

— Дочь-то жива ли?

— Плачет все, сохнет по матери-то. Никак не придет в себя, сердешная... Да вон тем порядком пойдешь, так направо четвертый дом, сразу за Леонтием Елькиным, у которого возля калитки старый жернов лежит. Найдешь ли?

И женщина долго смотрела вслед, должно быть гадала: для чего понадобилась Клашка Ечина этому самостоятельного вида мужику, которого, пожалуй, она примечала возле их деревни раньше?

Изба была старая, громадная. Из крапивных задворок выползала она прямо на дорогу, стояла голая, открытая, ничем не огороженная, — корабль из массивных щелястых бревен, выброшенный на сушу. Сходство с допотопным Ноевым ковчегом придавало и то, что длинная крыша была наполовину разобрана, на задах торчали, как ветхие снасти, полусгнившие стропила.

В лицо изба была кривой — все окна, кроме одного, заколочены. И это единственное целое окно глядело на Трофима с сиротливым старческим упреком: «Сколько вырастила людей — не одна сотня рожалась, умирала под моей крышей, теперь вот скриплю, тужусь — тяжело, но уж недолго скрипеть».

Трофим подумал: «И со спокойной душой в одиночку в этой куче бревен запоешь лазаря».

Он поднялся на шаткое крыльцо:

— Есть кто живой?

Никто не ответил.

Трофим толкнул одну дверь в темные сенцы, толкнул вторую — в избу...

Сумеречная комнатуха с тяжелой печью. На полу разводы воды, стоит ведро посередке. С грязной тряпкой в руках, босая, с обвисшим подолом — она, лицо неживое, серое, глаза, как и тогда, остекленевшие.

— Здравствуй... — сумрачно поприветствовал Трофим, с неприязнью оглядывая мокрый пол.

Она пошевелилась, опустила в ведро тряпку, вытерла о подол руки, спросила, казалось, спокойно:

— Собираться мне?

— Куда?

— Как куда?

— Поспеешь... — И взъелся: — Да что я тебе, милиция, что ли? Думалось, в петлю лезет, а она, нате вам, чистоту наводит. Вовремя.

— Надо же что-то делать, чтоб не думалось... Без дела-то рехнешься... Так я сейчас соберусь.

— Хороша и так, не женихаться к тебе пришел.

Она с тупым равнодушием стояла посреди недомытой избы, глядела своим странным, остановившимся взглядом, ждала.

Трофим не знал теперь, о чем говорить с ней. Уже не скажешь, что хотел сказать: «Опомнись, непутевая!» Ни вешаться, ни бросаться в озеро девка не собиралась. Он чувствовал себя обманутым, особенно злило, что может пол, наводит чистоту, — значит, рассчитывает здесь жить.

«Теперь вижу, какая змея. Вижу! А вчера-то пожалел было...»

Она молчала, не двигалась. По-прежнему беззащитное, белое горло, пустые глаза, сама в обвисшей юбке, с опущенными руками, открытая, покорная — вот я, без хитрости, ругай, казни — стерплю. И эта покорность взорвала Трофима.

— Прикидываешься овечкой-ярочкой, горлышко подставляешь — режьте, мол, добрые люди! Расчетец немудреный — кому охота на живого человека нож подымать. «Кабы кто убил меня». Ха! Кабы кто... Уж коль жить невтерпеж, чего просить. Найди гвоздь потолще и веревку покрепче...

И она вдруг закрыла мокрыми руками лицо, колени подогнулись, рухнула на пол, сшибла ведро, потекла по полу серая жижа.

— Ну вот... — растерялся Трофим.

Она лежала, уткнувшись лицом в недомытый пол, сухие космы длинных нечесаных волос мокли в разлитой луже, узкая спина с выпирающими косточками содрогалась под тонкой кофтой.

Трофим глядел на нее и молчал: бежал же с добром, спасти хотел, а вместо доброго слова — пож под ребро. Разве не распроклятый...

— Эй, девка... Да хватит, хватит, нечего зря-то...

Она беззвучно рыдала.

— Да, право... Ну, сорвалось с языка. Не хотел обидеть. Встань, давай встань...

Дотронулся до плеча — головы не подняла, вздрогнула, поежилась. И он распрямился, затоптался, кося на нее глаза, не зная, что делать.

— Встань,— попросил он,— поговорим по душам...

Плечи ее перестали сотрясаться, но продолжала лежать, как и лежала, концы сухих волос мокли в грязной луже на полу. Он неуклюже присел, подобрал волосы, с робкой неловкостью положил ей на спину.

— Слышь... Я зла тебе не хочу... Я и бежал-то сейчас — за тебя боялся. Слышишь или нет? Боялся же, сердце кровью обливалось...

Она зашевелилась, оперлась на ослабевшие руки, приподнялась, села. Залыпанная кофта, грязное лицо, сбившаяся юбка открывает острое голое колено, дрожащими пальцами провела по волосам. И только сейчас он заметил под грязными разводами на лице нездоровую прозрачность кожи, удручающую синеву под глазами, понял, что она больна, и сжалось сердце.

Она со всхлипом, как ребенок после плача, вздохнула, виновато, с какой-то усталой простотой сказала:

— Боязно... Хотела, да боязно...

— Ты о чем?

— О том, что ты говорил.

— Брось это!..

— Чего зря на людей-то надеяться, самой надо...

— Врось! Я же вгорячах. Дернуло за язык. Забудь!

От жалости, от страха — чего доброго, надоумил — стал смелее, взял за плечи, помог подняться, подвел к лавке.

— Поговорим по душам.

Она сидела чуть горбятя спину, свесив руки вдоль тела, глядела перед собой, мимо валявшегося на полу ведра.

— Да очнись ты! По душам хочу...

Не пошевелилась, не отвела взгляда от невидимой точки, спросила, словно обращаясь к печке:

— Со мной? По душам?

— А то на твой угол помолиться из городу прибежал.

У меня, поди, души-то нету... Выело.

— Ду-ра!

— И что тебе до моей души? Ведь я паскудная. Что тебе до меня?

— Что?! — Он встал перед ней, большой, едва ли не достающий шапкой до темной низкой потолочной матицы, жестко шуршащий покоробившимся плащом, с сухо горящими глазами, протянул громадные раздавленные веслами ладони. — Что?.. Ты видишь эти руки? Нес ими твоего ребенка. Спасти хотел. В это-то веришь, что не для корысти, не для того, чтоб славил? Чуть не сдох в лесу-то, а нес, думалось — спасу, к себе возьму. Веришь в это?.. А почему не веришь, что тебя спасти хочу? Тоже живой человек.

И она, вдавив грязный кулак в зубы, снова тихо заплакала.

— Сведи ты меня сейчас. Сведи, прошу. Легче будет...

— Пойдешь сама, держать не буду. Сам не поведу, да и не советую.

— Почему? Стою ж того.

— Каков расчет вести тебя? Ну, накажут, ну, срок дадут, упрячут тебя вместе с воровками да гулящими. Того и гляди, их науку переймешь. Та ли сейчас тебе нужна наука? Не-ет, коль хочешь того — иди, объявляйся. Я на себя не возьму доносить.

Она плакала, размазывая кулаками грязь.

— Все одно, жизнь моя кончена.

— Дура ты, дура. Кончена!.. Тебе сколько лет-то?

— Девятнадцать.

— Дура ты, дура... Ты еще четырежды столько проживешь. Еще человеком станешь, замуж выйдешь, детей нарожаешь... Ну, ну, не плачь, это хорошо — в молодости-то так ожечься... Помнить будешь, как самой больно было, а значит, и других поймешь — у кого что болит. У меня жизнь тоже косо вышла... Я вот тебе помогу, — может, и ты когда кому поможешь — не отплюнешься, не открестишься...

Она плакала, а он стоял над ней и говорил грубо и властно, пряча нежность и жалость. Она растирала кулаком слезы, убито смотрела в сторону, слушала.

9

После первых морозов, когда озеро сковало льдом от деревни Конповки до лесной избушки можно дойти напрямиком, не замочив ног, Трофим отправил Клавдию на лесопункт, дал денег и грубоватое наставление:

— Не живи дикой-то.

А она всплакнула:

— Бывают же такие люди на свете...

Они расстались, он шагал по чугунно смерзшейся дороге, бережно нес в себе благодатную усталость путника, дошедшего до конца пути. И еще с такой усталостью после погожего весеннего дня возвращаются с поля — вспахано, засеяно, гудят кости.

Больше о Клавдии он не слышал. До сих пор он работает на старом месте, случается — хватает за рукав слишком развольничавшихся рыбаков. Дело есть дело, не все святы и честны, кто-то должен наводить окорот. И многие по привычке зовут его Каргой.

ПОДЁНКА — ВЕК КОРОТКИЙ

1

Ни крик в голос, ни слезы не помогли — Кешка Губип, муж недельный, собрал свой чемодан, влез в полубубок, косо напялил на голову шапку, кивнул на дверь:

— Ну?.. Не хошь?.. Тогда будь здорова. Сама себя раба бьет. В свином навозе тонуть не хочу, даже с тобою!

И дверь чмокнула, ударило Кешке по валенкам тугим морозным паром, — ушел.

Ни крик в голос, ни мольбы, ни слезы... Стояла посреди неприбранной избы, валялся на лавке клетчатый шерстяной шарф, забытый Кешкой.

С печи, шурша по-мышьиному, сползла мать, встала напротив, сломанная пополам, зеленое лицо в сухих бескровных морщинах, в глазах — тоскливая накинть, знакомая с детства.

— Да покинь ты меня, каргу старую. Никак помереть не могу. Жизнь твою заедаю, дитятко.

Настя вцепилась в волосы, рухнула на лавку, затряслась:

— Невезучая я, ма-монь-ка-а! Проклятая моя жи-знь!

Мать присела, гладила трясущееся плечо легкой ладонью, повторяла:

— Покинь, право... Мне все одно скоро...

Настя выплакалась, поднялась с опухшим лицом, раскосмаченная, сказала спокойно:

— Давай спать укладываться. Завтра опять вставать ни свет ни заря.

Направилась в боковушку к кровати с никелирован-

ными шарами, на которой еще вчера спала вместе с Кешкой, добавила:

— Жили ж мы без него.

2

Насте Сыроегиной шел шестой год, когда началась война. Она хорошо помнит — в избу ворвалась мать, тревожная, суетливая, тормоза накинула на Настеньку облобок, укутала платком:

— Идут же, идут! Господи! Может, в последний раз увидим... Да шевелись ты, Христа ради, квелия!

Бегом тащила ее мать от деревни через поле к тракту. Стоял ненастный осенний день, раскисшая стерня лежала по сторонам грязной дороги. По дороге двигались подводы, забросанные туго набитыми котомками, за подводами неровным строем шагали мужики, кто в брезентовом плаще, кто налегке в ватнике, кто в пальто. Шагали из райцентра, от военкомата к вокзалу на станцию, в армию.

Из растянувшегося строя выскочил отец, краснолицый, широкий, оступаясь в колеях, бросился к ним... Он поднял Настю и поцеловал, от него пахло водкой. Мать повисла на его плече, а отец легонько, ласково ее отталкивал, оглядываясь на своих деревенских, говорил с непривычной, неуверенной удалью:

— Чего зря мокроту разводить. Ты меня знаешь — иль грудь в крестах, иль голова в кустах...

Поглядывал браво по сторонам. Он никогда прежде не нил, считался самым тихим мужиком в деревне.

— Грудь в крестах иль голова в кустах... Ты меня знаешь.

Среди мокрой, темной стерни — грязная дорога, ровным войлоком небо, шагающие за подводами люди, бабы всхлипы, бабы вздохи, мелкий дождь... Последний раз видела Настя отца — голова в кустах...

Война. Ушли из деревни на фронт не только мужики, но и лошади. Бабы сговаривались по пяти дворов, пахали усадьбы — четверо впрягались в плуг, пятая шла по борозде, налегала на ручки. Все равно хлеба не хватало — хлеб нужен фронту. Муку с осени берегли к весне, весной — тяжелые работы, надорвешься без харчей. Летом Настя заготавливала траву, ее сушили, толкли мелко, дважды ошпаривали кипятком, заправляли яйцом и пекли

олады. Они выходили буро-черные, тяжелые, напоминали коровьи лепехи, на них сверху картошка, нежная, на молоке, подрумяненная, политая янтарным маслом. Корова-то своя, молоко было и маслицем баловались. От лепех пучились животы, сколько ни ешь — все не сытно. Ели еще и куглину — сухую шелуху с головок льна. До древесной коры не доходило. На усадьбе рос ячмень, но его всегда сжинали зеленым — невтерпеж сидеть на траве.

Но и трава Насте шла на пользу — росла крепкой, а мать горбилась, хирела. Она отрывала от себя последние куски: «Ешь, Настя...» После колхозной работы она бежала за восемь километров в заболоченный Кузькин лог, там, стоя по колено в воде, ночи напролет махала косой среди кочек по берегам бочажков: корову-то надо кормить, сохранишь корову — и Настя будет жить. К матери подкатывался Иван Истомин, на фронте он оставил в кустах не голову, а только ногу, хоть и на костылях, а руки целы — пимокатничал. «Давай завяжем узелок, в паре-то ладней лямку тянуть. Степана твоего ждать нечего...» Мать и не ждала мужа, где уж, коль голова в кустах, но отказала наотрез. Как-то Иван к Насте повернет — не родная кость, нет уж, дочь дороже своей судьбы.

Настя выровнялась — не так уж и высока, но крепко сбита, прочна в кости, плечи налиты полнотой, грудаста, щеки румяны, вздрагивают на каждом шагу и глаза в колючих редких ресницах. Настя выровнялась, а мать сломалась, года три уже не вылезает дальше завалинки, греется на солнышке, сложив руки на коленях, в ситцевом платочке, с линиялым, ссохшимся лицом. Но дома по хозяйству она еще шевелилась — печь топила, обеды варила, а дров от поленницы или воды с колодца уже не принесет. Матери всего пятьдесят шесть, учительница Митюкова ей ровесница, никому и в голову не придет величать ту бабушкой.

Настя не хуже других девчат, поди, лучше многих. Но в последнее время мать, глядя на нее, вздыхала: «Твоего батьку старый цыган облаял...»

Отец еще мальчишкой вместе с другими ребятишками как-то увязался за проезжавшим мимо деревни цыганом. Прыгали вокруг, бесновались:

Цыган, цыган!
Почему кобыла?
Без рубля четвертак,
А с хозяином — за так!

Дразнило много ребятишек, но цыган с коршуньим носом из дикой бороды почему-то направил на одного Степку Сыроегина крючковатый палец, брызгая слюной, проклял, как взрослого:

— Не будет тебе удачи в жизни! На суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться! И родня твоя, и дети твои счастья не узнают! До пятого колена в коросте будут ходить, слезьми солеными умываться!

Это почему-то так поразило всех, что уже много лет спустя, если у Настиного отца случалась неприятность, сразу же вспоминали: «А правду, зная, цыган плел: на суху оскальзываться, на ровном спотыкаться...» И вот на войне — споткнулся...

За Настей стал увиваться Венька Прохорёнок, тракторист, молод, а зарабатывал неплохо, и по характеру тихий, и к водке увлечения не имел. Брали в армию — говорил: «Ужо срок кончится — мимо своего дома пройду, прямо к тебе, свадьбу играть». Но из армии он так и не вернулся, слух дошел — получил хорошую специальность, работает на экскаваторе где-то под Челябинском.

А идет время, и в деревне женихов не густо, и новые девки подрастают косяком. Ты же, того гляди, прокукуешь до седых волос. И вздыхала мать: «Старый цыган все. Будь он нездоров...»

Кешка Губин приехал из Воркуты при деньгах — шапка пыжиковая, зуб золотой. Надоел ему Север, не встретишь дерева живого. Он был братом Павлы, что из деревни Дор, вышла за Сеньку Нонюшина. Соседки, подруги, по утрам бегали друг к другу закваску занимать, по вечерам сумерничали, перемывали косточки всем, кто попадет па язык. У Павлы и встретила Кешку, сошлись как-то быстро. Ему — за тридцать, пора семьей обзаводиться. Собрал пожитки, перешел проулок, и тут оказалось: «В свином навозе тонуть не хочу...» Метит снова в город. «Бросай все, едем...» И ничего слушать не хочет. А бросать-то нужно больную мать, ту, что вынынчила, ту, что от себя кусок отрывала. С больной матерью по общежитиям не проживешь, а когда-то еще устроятся на стороне, квартиру получают. Да и что Насте делать? Она одно умеет — свиней накормить.

«На суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться...»

Кешка Губин ушел, хлопнув дверью. А старалась удержать, слезы лила, упрашивала, уламывала, жизнь тихую расписывала — в колхозе-то давно не бедуют. Остал-

ся от Кешки только клетчатый шарф на лавке. И одно успокоение: «Жили же без него».

3

Над зазубренным черным лесом сочился, растекаясь, водянисто-бесцветный зимний рассвет. Деревня Утицы была окутана синими снегами. По этим угрожающе синим снегам промята дорога, связывающая деревню с трактом, с селом Верхнее Кошелево, где стоит колхозная контора, с районным центром Загарье, с маленькой станцией Ежегодка, со всем великим и далеким миром.

За деревней на отшибе — длинное, придавленное к земле тяжелой заснеженной крышей здание, свинарник, где изо дня в день хозяйничала Настя Сыроегина.

Деревня Утицы еще спит, еще не светится ни одно окно, ни из одной трубы еще не тянется вверх вялый дымок, только кричат петухи, глухо — за бревенчатыми стенами сараев. Спит деревня Утицы, Настя встает раньше всех, сейчас закутанная в платок, в потасканном ватнике спешит к околице, синий снег скрипит под большими резиновыми сапогами — в валенках-то по свинарнику не потопчешься, промокнут.

Скрипит снег, и кричат петухи. Скрипит снег, и тревожной синевой налитан воздух, и жиденько расползается утренняя зорька на небе, из-под нахлобученной крыши навстречу хитренько, как в прищуре, поблескивают узкие окна свинарника. Так было позавчера, так было вчера, так сегодня и так будет завтра. И Насте кажется, что она живет на свете не двадцать семь лет, а долгие-долгие века — так заучена ее жизнь.

Сейчас пройдет по утопанному выгону, снимет тяжелый замок с дверей, навстречу мягко ударит в лицо теплый, спиртово перекившийся воздух. Она растопит печь под котлом, а пока котел закипает, засыплет мешок мелкой картошки в барабан картофелемойки. Начинается рабочий день.

В девять часов с воли донесется скрип санных полозьев и треснутый стариковский голос:

— Н-но, необутая, шевелись!.. Эй, пустынноца, жива аль нет?

Настя распахнет дверь:

— Жива, Исай!

Старик Исай Калачев привезет мешки с картошкой, пахнувшей погребным тленом, мякинных высевок, муки... Отпускают не очень скупо, но Настя не удержит ся, чтоб не поворчать:

— Сколько раз говорила: коль картошка прихвачена — пусть дают с надбавкой. А муки ты бы еще в картузе принес, одни высевки. С мутной водицы не зажиреют.

А старик Исай будет слюнявить толстую сигарку, напустив важность, начнет рассуждать:

— Ныне ученые люди головы ломают — достичь жирок не с мутной водицы, а чтоб с чистого воздуха. Тогда Америку нагоним, так-то, кума.

Через час — через полтора зарычит мотор полуторки, шофер Женька Кручинин доставит с маслозавода бидоны с сывороткой и обратом:

— Как жизнь молодая? Погрела бы, прозяб в кабинке.

— Не погрею, а огрею. Помогай давай.

— Плывет курица по пруду,
Крылом гонит волну.

Эх, девка с грудями по пуду
Достанется кому?

— И охальник же ты, Женька. Как только Глашка с таким уживается?

— Ничего, терпит, должно, нравлюсь.

Глашка — под стать Женьке, на язык остра, ни одного парня не пропустит, чтоб не зацепить. Они два года как поженились, и уже двое детей, и живут вроде дружно.

Насте нужно бы счастье, самое незатейливое, такое, как у всех, как у Глашки, как у Павлы, чтоб муж, пусть даже вот такой зубоскал, чтоб дети, чтоб семейным теплом была согрета изба и мать на старости лет в приюте. Самое простое, как у всех. Всем достается как-то легко, у Насти заело... И ни ряба, ни кривобока, нынче в колхозе мало кто зарабатывает больше ее. Эх, Кешка, Кешка! В две пары рук устраивали бы семью!

Председатель Артемий Богданович Пегих на последнем собрании сказал при всех: «Еще услышит район фамилию Сыроегиной! Еще будет она гордым знаменем нашего колхоза!..» Артемий Богданович любил громкие слова.

И, пожалуй, дива пет, стала бы знаменем — Артемий Богданович всегда кого-нибудь пророчит в «знамена». Был

Селезнев, была доярка Катька Лопухова из деревни Степаковская, была бы и она, Настя Сыроегина, если б не сам Артемий Богданович... «Гордое знамя...»

4

Настя сняла тяжелый амбарный замок, толкнула прилипшую дверь, и... в лицо ударил не обычный сбродивший до спиртовой остроты запах здорового свинарника, а другой — удушливо-едкий, кислый, мутящий.

Мимо холодной плиты с вмазанным котлом, мимо картофелемойки, вглубь, к клеткам. Нашарила на стене выключатель, вспыхнул свет, тяжело, по-стариковски вздохнул в углу хряк Одуванчик.

Грузная розовая Купчиха заворочалась, с усилием поднялась, навесив на глаза лопушистые уши, и в маленьких черных глазках под этими ушами — покорное, умное осуждение: «Что ж ты, мать, меня подвела?...» Вяло повизгивали у ног ее сосунки, им, считай, уже по месяцу, а каждый не больше рукавицы — вечно зябнущие, серые, жалкие, не растут, хоть плачь. Настя сразу заметила — двое не двигаются, лежат, напряженно вытянувшись, кажутся тоньше, длинней остальных.

Вот оно — ждала... Еще третьего дня среди сосунков начался понос.

Освещенный знакомый свинарник, он не нов, но добротен, его выстроили, когда колхоз «Богатырь» начал уже подыматься на ноги. Одну клетку от другой отделяют решетки, не простые, а затейливые, гнутые, им всякий удивляется, кто впервые входит сюда. Решетки сделаны из старой церковной ограды. Свинарник, как всегда, выглядит чинно, как всегда, чист, вздыхает в углу хряк Одуванчик, сопение, повизгивание, глухая возня. И спирает дух, пастолько заражен воздух. Два подошли, сколько еще?..

Вот оно, виноват Артемий Богданович, а спишут на нее — не уберегла, не управилась.

Артемию Богдановичу иногда приходят в голову великие затеи. Как-то он посидел у себя в кабинете, подсчитал на бумажке и пришел к выводу: свиньи поросются два раза в году — весной и летом, как раз в то время, когда в амбарах уже пусто, зато кругом начинает подрастать трава — корм подножный. А этим-то кормом и не пользуются — поросята малы, чтобы добывать травку из-под ног. А что, если запустить опорос на зиму, к весне поросята подрастут,

можно выпускать на травку, пользоваться запаренной крапивой. За лето они нагуляют вес, осенью будут тяжелее весенних — двойной выигрыш, сколько мяса в колхозе прибавится.

Артемий Богданович обещал Насте: «Будешь получать рыбий жир — питай витаминами». Обещал, но рыбий жир по оптовым ценам достать не мог, появился он в аптеке маленькими пузыречками, и то рецепт от врача просили, покупать его для свиней — прогоришь, свининка колхозу влетит в копейку. Артемий Богданович обещал еще давать сверх всяких норм проросшее зерно, в нем тоже, говорят, есть какой-то витамин. Обещал, но предложили купить две пятитонки, за них нужно сдать на закуп хлеб сверх плана, не упускать же машины, подчистили все излишки, зерно уплыло мимо Настиного свинарника. Только вера в Настю у Артемия Богдановича осталась прежняя: «Будешь гордым знаменем нашего колхоза!»

Вот уж воистину — беда не приходит одна: вчера ушел Кешка, сейчас спозаранок — новая напасть. Настя прошлась от матки к матке, вытащила из-под ног мертвых сосунков. Семь! За одну ночь! Вот оно — началось!

Вышла во двор за навозной тачкой, побросала всех, вывезла...

Сумеречная синева снегов стала прозрачней, воздух ясней, небо над дымчатым лесом порозовело, прижимал морозец. А в грязной тачке один на другом, как поленья, — поросята, окоченевшие пяточки, сквозь полуприкрытые веки — влажная муть мертвых глаз, взъерошенная щетинка на острых хребтах... Вот оно... Болезнь, как пожар, займется, не потушишь — перекинется на откормочных, начнется по-вальный мор.

Настя стояла на морозе под розовым заревом и чувствовала — рассыпается жизнь. До сих пор хоть в одном была удачлива — в работе. Хвалили, слов не жалели и платили хорошо, в прошлом году пальто новое справила с мерлушковым воротником, больная мать ни в чем нужды не знала, загадывала летом купить Кешке мотоцикл. Теперь все разом покатится. Попреков не оберешься, поносить начнут, за падеж выплату скостят, не постесняются. Девки завидовали, то-то будут подхихикивать: «Гордое знамя...»

Но убивать да плакать некогда: нужно отобрать больных поросят, согнать в отдельную клеть, полы, стены, переборки в стойлах надо вымыть, ошпарить, бежать на склады за дезинфекцией... Болезнь, как пожар, — успевай

вовремя схватиться. А из-за стены слышен дружный визг — бунтуют голодные, чтоб им пусто было. Разводи огонь, крути картофелемойку. Изо дня в день одно и то же — корми да навоз выгребай. «В свином навозе тонуть не хочу...». Уехать бы вместе с Кешкой, бросить бы все — опостылело! Бросила бы, если б не мать.

Совсем рассвело. Под потолком блекло горели невыключенные электрические лампочки. Как всегда, с воли донесся скрип саней:

— Шевелись, необутая!.. Эй, пустынноца, принимай гостя!

У деда Исаия жиденьякая бородка курчавится инеем, мягкие щеки свекольного цвета, растер их рукавицей, кивнул на дверь облезлой шапкой:

— Урон, гляжу, у тебя. Целу тачку, на-кось, наворотила.

И снова закипели слезы на глазах:

— Будь все проклято! Толкнул меня, а я-то послушалась.

— Оно верно, послушный конь без копыт ходит.

— Ты сейчас в село, Исай? Захвати меня... Захвати с тем добром, что в тачке...

— А то зачем? Пока ни людей, ни поросят с того света не возвращают. Не дано.

— Разложу у него на столе под носом, пусть любит.

Исай хмыкнул:

— Ну, кто-кого любоваться заставит. У плохого пахара — кобыла-злыдня борозду криво ведет.

5

В старом ватнике, насквозь пропахшем свиным, в резиновых, заляпанных навозом сапогах, платок сбился на шею, губы сведены в ниточку, в прищуре глаз злой блеск, прошла Настя мимо бухгалтерских столов, волоча грязный мешок за собой. Прямо к Артемию Богдановичу, носком отшибла легонькую дверь.

За ней, пряча остренькую ухмылочку в бородке, дед Исай — любопытно все-таки, как-то председатель поглядит на номер с поросятами, право, любопытно.

Отшибла ногой дверь...

Не только за гиблую затею, не только за то, что эта затея станет ее позором, влетит ей в копеечку, но и за

ушедшего из дому Кешку, за хворую мать, которую нельзя покинуть, за всю свою нескладную судьбу — на тебе! Кто-то должен быть виноват, хоть тут, да отвести сердце, а то живут себе, ни до кого дела нет. Так — на тебе!

Без «здравствуй» вывернула мешок, об пол с тупым стуком ударились дохлые поросята, заочеченвшие, тощие, запачканные нечистотами.

У Артемия Богдановича сидел Костя Неспанов, председатель сельсовета, — просто покуривали перед началом хлопотливого дня.

Костя Неспанов — прост, жесткий зачес над чистым лбом, нос пуговицей, щеки в веснушках, глаза в прозрачную зелень и большие уши. Он вскочил со стула, раскрыл рот, ошалело глядел на поросят.

— Ты что... Что это?..

Артемий же Богданович, видать, в одну секунду сообразил все, как сидел за столом, круглый, домашне добродушный, напустив на ворот рубахи пухлую складку у подбородка, так и остался сидеть — не дрогнул бровью, не раздвинул прищур глаз, только под веками блеснула настороженная искорка.

— Видишь?.. — выдохнула на него Настя. — А это только почин. То ли будет еще!

Артемий Богданович пошевелил на столе переплетенными пальцами, покачал сокрушенно головой. Костя Неспанов растерянно переводил взгляд — с поросят на Настю, с Насти на Артемия Богдановича. А в распахнутых дверях прирос скулой к косяку дед Исай — любопытно.

— Что мигаешь? Ай не ясно? Дохнут твои зимние! Дохнут!

— Как же ты? А? Не углядела? — мягко, сокрушенно вымолвил Артемий Богданович и снова пошевелил пальцами, и снова покачал головой.

— Я?! Это я-то недоглядела? Так и знала! Так и знала, что на меня все свалишь... Кто настаивал? Кто толкнул меня? Не я ль тебя отговаривала? Не ты ль меня уламывал?.. Рыбий жир, витамины!.. О-о!.. — И задохнулась.

Простодушное рыхловатое лицо, сдобная складка под подбородком, приглаженные набок редкие волосы, и в щелках век осторожный умненький блеск, и мягкость, и сокрушение — ничем это сокрушение не прорвешь. Криком кричи, волосы рви, а он будет сидеть поглядывать, перебирать пальцами по столу, качать головой, ждать. Настя задохнулась, опустилась на стул и закрыла лицо руками.

— Так что же ты хочешь? — мягко спросил Артемий Богданович. — Ась, красавица?

Настя вытерла глаза, отвернувшись.

— Хочешь, чтоб я встал сейчас, пошел по улице, стал кричать: «Люди добрые! Сыроегина Настя не виновата, виноват я, подлец!» Так, что ли?

— Знаю, сам-то чист останешься, меня в грязь посадишь.

— Тебя? Я?.. Ой, Настя, не греси, голубушка. Кажись, до сих нор я не в грязь тебя сажил, а подсаживал, что повыше куда.

— И посадил... «Гордое знамя»...

— То-то и оно: хотел, чтоб — знамя, а ты мне — подарочек, да еще вон это добро, — Артемий Богданович кивнул на поросят на полу, — мне на шею вешаешь.

— Само собой, мне нынче одно осталось — умойся да молчи в тряпочку.

— Кричи, почему же, рот затыкать не буду! Кричи, сколько влезет, чтоб другие глупость твою видели.

— По твоей милости глупа, не по своей!

— Чужим умом жить хочешь. Ой, опасно, Настя.

— Ты ж руководитель наш! Как к тебе не прислушиваться? Иль ты, что крест на церковной маковке, для красоты торчишь?

— Руководитель не пророк, голубушка. Моей лысиной ты свою голову не заменишь.

— Ох, да хватит!

— Вот тебе и «ох». Есть порядочек, он одинаков и для тебя, и для меня. Когда у меня в колхозе, скажем, кукуруза не выросла, я что — бегу в район и кричу там: «Вы заставили сеять, вы, мол, и отвечайте!» Нет, мне скажут: «С больной головы на здоровую не вали». И правы они! Надо было раньше мозговать. Поздний ум, что глупость — цена одинакова. Не сумел вовремя мозгами пошевелить — ответь.

Артемий Богданович встал из-за стола, невысок, широк, несмотря на полноту крепок телом, прочно стоит на коротких ногах, — такой вот встанет на дороге, лошадь с возом стороной обойдет.

— Ты в том виновата, — голос Артемия Богдановича отвердел, — что не настояла на своем тогда, когда нужно, не убедила меня. После драки, дружочек, кулаками не машут.

Настя сморщилась:

— Не настояла, не убедила... Ты — сила, а я кто? Ты всегда подомнешь.

— Вся и заковырка в жизни, что против силы надо идти, а с бессильным-то всяк справится. Против силы умом. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так-то, святые слова.

Костя Неспанов, слушавший колхозного председателя с уважительным вниманием, с подавленной серьезностью, сурово заговорил:

— Подводишь ты нас, Настя. Мы на тебя большую надежду имели. Я вот хотел заметочку в районную газету послать. Вот, мол, какие у нас передовики, не бедней других в этом плане. Даже начало уже в голове шевелилось, эдакое лирическое... М-да, Настя, Настя...

В голосе его не только суровое огорчение, но и искренняя обида: подвела Настя, пропало лирическое начало.

— Эхе-хе, — вздохнул у дверей дед Исай.

— Тебе чего? — спросил его Артемий Богданович.

— Да ничего, — ответил Исай. — Говорю: кобыла-злыдня борозду криво взяла.

Артемий Богданович кивком указал Насте на кучу грязных поросят посреди кабинета:

— Бери-ка свой мешок да сваливай эту падаль.

6

«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — любимая присказка Артемия Богдановича.

Его выдвинули в председатели на укрупненный, разбросанный, отсталый колхоз в те дни, когда и в печати, и на собраниях, и в директивных бумажках всюду славил торфоперегонные горшочки.

Уже и тогда Артемий Богданович был в возрасте, отличался дородством, успел поработать в районе каким-то начальником средней руки — тертый калач, но попался, потому что всей душой наивно поверил: только торфоперегонные горшочки могут поднять колхоз. Он с усердием, о котором сложена пословица «новая метла чище метет», перекроил посевы, пересмотрел планы, сократил должности, отставных бригадиров, замов, счетоводов заставил лепить горшочки. Их лепили колхозницы, их лепили школьники с учителями, раздобыли специальный станок и штамповали на нем — горшочки, горшочки, горшочки! Горшочками забились все склады, они стояли рядами в сельском клубе, в этих

горшочках к весне капустная рассада зеленела даже на подоконнике кабинета Артемия Богдановича. Горшочки, горшочки, горшочки — залог будущего, начало изобилия!

В соседних колхозах к ним относились наплевательски, они лежали сваленные в кучи на морозе, смерзались, оттаивали в оттепели, к весне совсем развалились, их вывозили на поля, как навоз, — с глаз долой, из сердца вон.

Но Артемий Богданович уже тогда показал характер: ругал, умолял, сулил золотые горы, добился — почти все горшочки с капустной рассадой были высажены на поля. Не знал он, что это станет началом большой для него беды.

Горшочки, горшочки, горшочки!.. Нет, не зря их славили, рассада поднялась, Артемий Богданович не мог нарадоваться: «Только бы не побили заморозки... В прошлом году килограмм капусты стоил чуть меньше двух рублей, ну, ежели он опустится до рубля... За тонну — круглая тыща, а то и больше... Только бы не прихватило заморозками...»

Заморозков весной не было, к осени зрели тяжелые кочны.

Вместе с ними назревала беда...

Она грянула!

Много ли мало, капусту в торфоперегнойных горшочках посадили все. А областные заготовители не построили новых овощехранилищ — по смете не предусмотрено. На базаре капусту перестали покупать... Эх, горшочки! На этот раз сельский клуб забили до потолка белокочанной, на Артемия Богдановича писались жалобы: закрыл клуб, гноит овощи. За труд колхозников — лепили горшочки, рассаживали, поливали, таская на плечах воду за километры, — нужно платить, а чем? Бери капусту... Капустой все сыты. Эх, горшочки!

Колхозники клянут, из района, не шутка, страшают судом — погноил сотни тонн высококачественных овощей.

Брань колхозников на председательском загровке не висит, от суда Артемий Богданович увернулся, проработки, нагоняи вынес, получил лишь выговор с занесением в личное дело, похудел, издергался, но приобрел опыт, из колхозного руководителя-новичка сразу стал тем, кого обычно называют: «Хватаные». Кажется, в это время он и начал на все случаи жизни применять поговорку: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».

Долго висел выговор, но... «выговор не туберкулез, носить можно». Зато новое наступление — грозную кукуру-

зу — Артемий Богданович встретил, как мудрый полководец.

Артемий Богданович любил громкие слова, поэтому, выступая на районных совещаниях, нисколько не хуже других славил «королеву полей». Сначала славил, потом громко каялся: вымерзла сразу, с ходу, пришлось, чтоб не пустовали поля, засеять овсом и ячменем. Но в районе слезам не верят: «Почему у тебя вымерзла, у других нет? Проверить! Припечатать!» Выехали проверять и... наткнулись — у самой дороги, так что любому ударит в глаза, — поле кукурузы, вовсе не мерзлой, раскутившейся, по району поискать такую. «А ты говорил: вымерзло?» Артемий Богданович вздыхает, разводит руками: «Только это и сберегли. Все силы бросили, чтоб остатки спасти. Видит бог — старались. Создали передовое звено кукурузоводов...» Артемий Богданович умолчал лишь о том, что все звено состояло из одного человека — Сашки Селезнева, если не считать тракториста Хохлова, который подвез навоз. «Все силы бросили, старались, спасли только пять га...» И опять Артемий Богданович немного преувеличивал — пяти га под кукурузой не было, двух, если измерить, не наберется. И все-таки ему дали новый выговор, чтоб впредь не вымерзало, но... «выговор не туберкулез, носить можно». Зато осенью были с хлебом, расплатились с колхозниками. Артемий Богданович не кичился, наоборот, приbedнялся, жаловался: того нехватка, там неудача, кругом прорехи. Не верили особо, но в передовые не посадили и зерна сверх плана не потребовали, хотя опять было пригрозили: «Вкатим выговор»... Эва, «выговор — не туберкулез». «А умный в гору не пойдет...»

По всей стране загремело «рязанское чудо», брали пример, выполняли и перевыполняли мясо на закуп, резали не только телят, не только дойных коров, но и коров стельных, быков-производителей. Артемий Богданович на совещаниях опять лез на трибуну: «Догоним и перегоним!» Но свой скот не спешил резать: «Догоним и перегоним по свинине!»

В те годы в свинарниках его колхоза сновали длиннорылые, длинноногие существа с острыми хребтинами, заросшие колючей щетиной. Они отличались неумейной прожорливостью и резвостью.

— На что мы корм изводим? — спрашивал Артемий Богданович своих. — На свиное мясо? Нет! На свиную энергию. С нашими поросятами только бы зайцев травить — не поросята, а борзые собаки.

И вот этих-то «борзых» Артемий Богданович давно хотел вывести, заменить породистыми, которые бы вместо проворства наделены были степенной ленью, нагуливали не только щетину, но и пуды сала и мяса.

«Догоним и перегоним по свинине!» «Борзые» подчистую шли под нож — хряки, матки, сосунки. Мясо есть мясо, лишь бы шло в зачет

Правда, не так-то просто выехать на одних «борзых», тем более что соседний Блинцовский район выкинул лозунг: «Блинцы — вторая Рязань!» А с блинцовцами соревновались. И опять Артемию Богдановичу вкатили выговор. «Выговор — не туберкулез», пусть... «Умный гору обойдет...»

Вскоре после этого Настю назначили свиаркой вместо Пелагеи Крынкипой. А свиарник был пуст, даже запах свиней выветрился, углы затянуло паутиной. И вот однажды к нему подкатил грузовик, сам Артемий Богданович выскочил из кабинки — шляпа из соломки сбита на затылок, плечи расправлены, пухлая грудь вперед.

— Племяши приехали, встречай, тетушка! — крикнул он Насте.

С кузова сняли две большие плетеные корзины, в каждой из них — по пяти поросят, замучённых длинной дорогой. Их высадили на согретую солнцем молодую травку, они лезли друг на друга, повизгивали — розовые, тупоносые, беспомощные.

Артемий Богданович щупал их, восторгался:

— Гляди! Ты на уши гляди! У свиней порода в ушах. Раз висят — значит, благородных кровей, из дворян! — И вдруг стал строг: — Вот, девка, подыми. Колхоз на тебя смотрит. Всех до единого, слышишь?

И Настя подняла всех, это было не так уж трудно — поросята быстро обжились.

Из них выросли десять дебелых маток, каждой было дано имя — Роза, Канитель, Рябина, Купчиха... Они стали основой свинофермы, каждый год по два раза плодили ушастых поросят.

Артемий Богданович не мог нарадоваться на них:

— У свиней порода в ушах. Дворян вислоухих разводим!

Хвалил Настю:

— Золотой ты человек. Придет время — на руках носить будем.

И вот при первой же оплошке свалил все на нее.

По дороге, зажатой сугробами, шла Настя домой. В пухлых, белых полях тонули черные избы знакомых деревенок — Степаковская, Кочерыжино, Кулички... В них попрятались люди. Настя несла в себе воспаленное недоверие к ним.

Те, кому она больше всего верила, обманывали ее. Венька Прохорёнок — первый, к которому потянулась, без хитрости, открыто. Венька — тонкая шея с проклюнувшимся кадыком, узкие плечи, стянутые тесным пиджаком, тяжелые, раздавленные работой ладони. И ведь робел перед Настей, не нахальничал, как другие парни, можно ли подумать, что обманет?..

Кешка Губин не похож на Веньку, потаскался по жизни, знал баб, ему нужно было к кому-то прилепиться, а Настя — по соседству, чем плоха — не урод, люди уважают. Зажал в сенцах, когда выходила от Павлы, дынул табаком, блеснул золотым зубом, сказал: «Перейду к тебе, примешь?» И опять поверила, и опять обман.

Артемию Богдановичу, казалось, какая корысть обманывать, ни в мужья, ни в полюбовники не лез. Ловко он вывернулся: «Сумей против силы справиться». Против силы...

Весь мир Кешки, ты одна против всех. Так и не заметишь, как люди жизнь по кускам повыкрадут. Самой бы у других рвать, да не умеет...

Снег, снег, поля, поля — обширна заснеженная земля, утыканная пахнущими печным дымом деревеньками, перелесками в инее, рассеченная оврагами в путанице кустов. Обширна земля кругом, а куда в пей спрятаться одинокому человеку?

Дорога вела мимо свинарника. Настя свернула к нему. От девичьих неудач, от вида больной матери она привыкла прятаться здесь, забывалась в работе.

Из кормокухни распахнутая дверь вела внутрь, в стойловое помещение. Настя не зажгла свет, и животные не учуяли ее приход. Из темноты слышалось сопение, вздохи, шевеление, тек густой запах. Укрытая от белого заснеженного мира, здесь шла своя жизнь, — Настя впервые подслушивала ее со стороны. Обычно ее приход нарушал эту жизнь: подымалась возня, визг.

Темнота, густой спертый воздух, хряк Одуванчик вздыхает, и его вздохи напоминают натужно стариковское: «Охо-

хо!» Тоже жизнь, радуются, когда приносят корм, спят, чешутся, поросются и не замечают, что над ними текут дни за днями, не замечают, что живут. И Насте вдруг стало страшно от неожиданного открытия — живут, словно спят, к чему являться на белый свет, когда свету не видят?

«Охо-хо!» — вздох Одуванчика.

Кешка звал Настю с собой, в города, освещенные по вечерам огнями, в города, где кипят улицы от парода, где сияют окнами магазины, где непохожие на нее, Настю, люди разъезжают в машинах, ходят в театры. Кешка звал, и стоило ей сказать «да» — как забыты были бы эти стариковские вздохи Одуванчика, забыта засыпанная снегами деревня Утицы, и нипешные беды казались бы смешными, и ругает или хвалит ее сам Артемий Богданович — несколько не важно. Кешка ни разу не заглянул сюда в свинарник, а звал: едем, не топи себя в свином навозе. Стоило только сказать «да»... Кешка звал, и уговаривать его было напрасно — не прельстился, что построят новый дом, что купят мотоцикл...

Темный провал дверей, в густом, перебродившем сумраке живут туши сала и мяса, без мысли, без страсти, покорно. И Настя, чтоб перебить эту жизнь, стала торопливо шарить по бревенчатой стене, отыскивая выключатель.

Свет вспыхнул, разбудив свиней — заворочались, завизжали. И в этом сонливом мире бывают минуты радости, даже неистовства. Поросята лезли друг на друга, толкались в перегородки...

Отлученные от маток больные сосунки лежали кучей под рядом. Только один отпал в сторону, растянулся, припав по-собачьи мордой к полу. Он вяло приоткрыл белесое веко, проклюнулся черный маленький глаз, переполненный почти человеческой покорной тоской. И эта тоска в упор, в самую душу, и то, что не в куче, а сиротливо умирает в стороне, резануло Настю по сердцу. Она взяла его на руки, прижала к себе:

— Бесталанный ты мой...

Из кучи вынесла в подоле тронх, выкинула в навозную яму. В куче оставалось еще около десятка, все они обречены, все подохнут, но Настя все-таки возилась с ними, кормила, подносила к маткам.

Того, сиротливого, засунула за пазуху, пошла домой, волоча от усталости ноги.

Спускавшаяся с потолка лампочка без абажура за-

ливала избу ярким светом, на столе в деревянной чашке прикрыт полотенцем нарезанный хлеб. Мать сидела у стола, сутулилась, ждала ее, и, как всегда, лицо у нее какое-то немое, как всегда, прислушивалась, что происходит у нее внутри, к болезни.

— Щи в печи и селянку с яйцом сделала, должно, перестоялась,— сказала мать.— Достань, лапушка, сама...— И почему-то сняла со стола свою иссохшую, с набухшими суставами руку, стыдливо спрятала в юбку.

Настя вынула из-за пазухи поросенка, положила к порогу:

— Чем бы укутать его?.. Умрет, не выходим.

Клетчатый Кешкин шарф все еще лежал на лавке, Настя взяла его, заботливо завернула грязного поросенка.

— Ты чего? — удивилась мать.— Вещь-то совсем новая.

Настя сердито обрезала:

— Иль думаешь, я корыстоваться после него буду?

И представился Кешка с этим шарфом на шее, в городском пальто, в шляпе и с золотым зубом. Сейчас, поди, толкается где-нибудь под фонарями на людной улице, глазеет — в какой бы магазин зайти. Мать, как и этого свиненка, что сунула под порог, уже не выходишь, все равно умрет. Умрет, а время пропущено, к кому-то там прилепится Кешка?..

Сухие, текучие морщинки на бледном лице матери, глаза застывшие, глаза, для которых не так важно то, что они видят — изба, Настя, печь, поросенок, — важно внутри, туда вглядывается, тем живет.

— Собери, лапушка, сама, мне сегодня чегой-то совсем... Ох, господи! Скорей бы смерть пришла. Молю, молю, никак не вымолю.

— Раньше бы молила, а теперь чего уж — поздно! — прорвалось у Насти.

Вот как складно у нее получается: мать умрет, когда уже нет нужды умирать, когда уже Кешка утерян, когда счастье проскочило мимо. И что толку, что мать когда-то тянула ее, выкармливала на крапиве да на кугеле, что толку, что вытянула, — нянька при свиньях. И впервые к больной матери обида, впервые злоба: пусть не хотела, а ее бабье счастье переехала.

— Поздно! Не вымолишь!

— Доченька, господь с тобой! Что говоришь?

— А то, мне хоть вешайся, как подумаешь, что за житейе впереди.

— Господь с тобой!

— Видать, не со мной ваш господь, с кем-то другим!

— Так я, что ж... так ты б покинула меня... Право, чего уж жалеть.

— Покинула! Покинула! А после — корчись от совести. Тоже не жизнь! Ох, нет мне удачи! Скажи, за что я проклята, за какие такие грехи? Оглянись, кто из девок так обижен, как я?

— Я бы рада...

— Уж молчи! Что толку от твоей радости! Ты-то хоть немного да хлебнула счастья, хоть чуток да с мужем жила, семью имела. А я?.. Может, мне радоваться, что сейчас щи не пустые буду есть, что в сундуке пальто нарядное лежит? И в этом нарядном пальте никому не нужна!..

Мать сидела, подавшись головой вперед, скрученные руки дрожали на коленях. А Настя уже не владела собой, выкрикивала с клетотом:

— Для чего живу? Для чего? Для того, чтоб еще одно пальто заработать? Потом спрятать и не надевать? Ломлю спину с утра до вечера — для чего? Для кого? Для себя? Не-ет, для свиней! Вот она долечка! Радуйся вместе со мной-то! Чего не радуешься?..

Мать тихо произнесла:

— Не руки же мне на себя наложить. Нету смерти-то, не вымолю.

И Настя отрезвела от ее глухих, виноватых слов, опустилась на лавку, шершавой, жесткой ладонью провела ото лба к подбородку, сдирая с лица кошмарную одурь.

— Раньше, слышь, приемные дома для стариков были... Есть ли теперь-то?

Настя терла лицо:

— Чтой-то со мной?.. Дичаю...

— Разве не вижу я, что век твой заедаю.

— Молчи! Молчи! Забудь! С ума схожу!..

— У меня, гляючи-то, кровью по тебе сердце обливается.

— Ох, прости ты меня, непутевую. Молчи! Нянить тебя буду, лечить буду! Да и как мне без тебя? Без тебя одна-то совсем с ума свихнусь. Хоть для тебя и жить-то, маменька...

— Добрая ты у меня, Настька.

— Сорвалась я сейчас...

— Этого-то... — Мать кивнула к порогу, где из широкого клетчатого шарфа высывался поросычий пос. — Чаю надо круто заварить да отпаивать. Помогает.

— То стервлюсь, то в жалость бросает. И этого вдруг так-то жалко стало...

— Добрая ты... А шарф зря — новый.

— Ну и пусть этот бездоля в новом пофорсит. — Настя подошла к порогу, опустилась на колени. — Лежи, Кешенька, лежи, болезный... Вот и имя ему, самое подходящее. Коль выживет — память о том. Другой-то не оставил.

8

На следующее утро выбросила еще пятерых поросят. Заболели новые. Болезнь как пожар...

Приехал дед Исай, привез корм, сообщил, что кладовщик Михей отпустил муки самую толику, почти всю заменил высевками.

Все ясно, считали — «гордое знамя колхоза», как тут не задабривать, не идти навстречу — ей подбрасывали и получше и побольше. «Гордое знамя»... Ошиблись. И сразу вместо муки — высевки. И жаловаться не думай, ответ один — как всем, так и тебе. Как всем, ты не особая.

И с отчаянья решилась: «Еще посмотрим, может, и особая...»

Она зашла к Павле:

— Подкинь вечером моей прорве корму. В Загарье еду, до ночи задержусь.

Дома она достала из сундука пальто с мерлушковым воротником, то самое, что купила в прошлом году, на голову накинула пуховый платок...

Пешком до тракта, а там к райцентру ходил автобус.

Сушеной черпикой она достанет и в деревне, в аптеке надо взять каких-нибудь трав, бутыль риванола и, главное, как можно больше рыбьего жира, на что не захотел раскошелиться Артемий Богданович.

В ветлечебнице просить — пустое. Было бы у старшего ветфельдшера, было бы и в колхозе — Артемий Богданович с ним в дружбе.

Конечно, все влетит Насте в копеечку, да теперь ей деньги не так нужны, раньше думала купить Кешке мотоцикл «Уралец».

В аптеку сразу не пошла. Без рецептов, без бумаг с печатями ей не отпустят, тем более что собирается закупать оптом: стадо лечить — не мать, все полки в аптеке опустошишь.

Настя с автобуса двинулась к Маруське Щекоткиной, та родом из их деревни да еще приходилась родней, хотя и не близкой — троюродная сестра. Работала Маруська буфетчицей в сплавконторе, ее все Загарье знало.

— Выручай, Марусенька, не то съедят меня...

Маруська — добрая душа, своих помнит, не раз выручала, когда сахар в магазинах было трудно достать, — сплавщики-то снабжаются на отличку. Вся деревня Утицы не пивала чаю без сахара.

— Выручай, Марусенька...

Маруська — добрая душа, невысока ростом, конопата, бойка на язык. Вот таким-то и везет в жизни, муж у нее работает на сплаве и зарабатывает крупно, не пьет, на стороне не гуляет, Маруськи побаивается. Дом недавно свой поставили, а в доме в каждой комнате по кровати пружинной, на всех перины горой. При такой жизни и к другим можно быть доброй.

В аптеке Маруська никого знакомых не имела, но зато хорошо знала местного фотографа Исаака Куропевцева. Тот уж знает всех и ей, Маруське, ни в чем не откажет. Кроме того, он — стар, верно, часто ходит в аптеку.

Однако Исаак Куропевцев был хоть и стар, побаливал, но лечиться не любил, а беде помочь мог — хорошо знаком с Василием Леонтьевичем Мигуновым, тот много лет работал в райздраве, сейчас на пенсии, авторитет еще не растерял.

Василий Леонтьевич оказался «тот самый», который нужен. Он сходил к врачам, чтоб получить рецепты, — «аптека-то не частная лавочка, перед кем-то отчитываться должна», — свел Настю с Анной Павловной, она заведующая аптекой, провизор, командовала штатом — одной девицей, которая недавно ушла в декретный отпуск, — так что полная хозяйка.

Василий Леонтьевич попросил, Анна Павловна не отказала, выдала все, что нужно. На беготню от одного человека к другому ушел целый день. Но Артемий Богданович, если б решился сам раздобывать, вряд ли бы управился быстрее, ему бы пришлось ходить из учреждения в учреждение, составлять бумаги, подписывать их.

Вряд ли быстрее да и вообще вряд ли достал все, так как с бумагами чаще заедает.

С двумя тяжелыми сумками, набитыми бутылками, пузырьками, пакетами, Настя двинулась от Маруськи к автобусу. Все-таки Маруська — добрая душа, она и покормила Настю, и помогла уложить все, даже сунула гостинец — двести граммов недорогих конфет: «Старуху побалуешь...»

Насте везло, по дороге ее обогнал грузовик и с ходу затормозил. Открылась дверка, высунулся шофер:

— Домой, зазноба?

Женька Кручинин, возивший ей обрат и сыворотку.

— Садись. И мне веселей. Люблю женское общество... Да сидоры-то брось в кузов — целы останутся.

— Не, — Настя стала пристраивать сумки на колесиках. — Бутылки у меня — побьются.

— Бутылки? Уж не свадьбу ли гуляешь?

— В моем заведении один жених — Одуванчик, да и то у него невест много.

— Тогда именины?

— Иль поминки. Чай, слышал уже, болезнь на поросят напала, вот спасаю — рыбьего жира купила да еще отравы всякой.

— Вроде не твоя забота. Тебе должны на подносике поднести.

— Жди. Хоть бы раскошелились... На свои деньги все.

— Мне б такую женку заботливую, как у твоих попросят хозяйшка.

— А своя что? Сменяй на другую, коль не хороша.

— Променил бы старую

На девку угарую,

На кобылу,

На козу,

На козулю в носу...

Прогадать боюсь. Все девки хороши, и откуда только женские злыдни берутся.

Машины заносило на поворотах, из тьмы на стекло кабины бесновато летели освещенные фарами хлопья снега.

Веселый Женька Кручинин выболтал. На другой день, близко к полудню, серый рысак пронес по улицам дрожки, остановился у свинарника. Из дрожек выкатился упрятанный в черный полушубок Артемий Богданович, вошел к Насте, на исхлестанном морозным ветерком лице — доброе смущение, скинул шубную рукавицу, протянул теплую руку:

— Вот из Дору гнал, решил завернуть. Как здоровьечко?

— Чье? Мое? Или их? — Настя без платка, раскосмаченная, гневливая, розовая — только что подшевеливала печь.

— Твое, твое, молодая. Ты будешь здорова, и они выправятся.

— Твоими молитвами, Артемий Богданович.

— Эх, кусая.

Подошел к окну, где на подоконнике рядом стояли опростанные пузырьки, взял один, поднес к носу, внюхался, озабоченно покачал головой, взял другой...

— Ладно, не сердчай, девка... А за эти снадобья мы тебе заплатим. Не сердчай. Я ведь тоже могу ошибаться. У каждого своя манера к делу подходить. Я, к примеру, люблю с обходцем — «умный в гору не пойдет...». А ты, может, из тех, кто как раз горы-то берет в лоб... Много еще пало после тех? А?

После тех семи, что Настя вывалила перед Артемием Богдановичем, пало много и еще, не миновать, будут падать — считай, на всем зимнем опоросе крест. Но Настя ответила заносчиво и решительно:

— Один — и хватит!

Сам Артемий Богданович урок дал: не будь слишком доверчивой, доверчивому — синяки и шишки, обходчивому — колобки и пышки, теперь-то она всю правду ему не скажет. Один! Пусть проверит, пусть пересчитает по головам, для этого ему придется скинуть мягкие чесаночки да полазить на коленях вокруг маток, а при этом недолго и полушубочек запачкать. Пусть проверит.

Но Артемий Богданович и не думал проверять.

— Один?.. Ай, молодец! Характер у тебя, девка, гвардейский. Не растерялась, вовремя спохватилась. Ай, молодец!

Голос искренний, уважительный, лицо открытое, от

глаз добрые морщинки, но Настя нутром почувствовала — вряд ли совсем верит, не так прост Артемий Богданович. Не верит, а соглашается: пусть будет «один — и хватит», пусть кончится напасть; раз она, Настя, так говорит — значит, знает, что потом вывернется. Ну, а коль не вывернется — он, Артемий Богданович, не ответчик. А в сводках и расчетах — полный порядок, никто сверху не попрекнет, что у тебя в колхозе падеж; председателя за неудачи по головке не гладят.

— Ворочай, Настя. Мы еще покажем с тобой, что не лаптем шти хлебаем. Ставь точку над этой канителью и бери вершины!

И опять теплой ладонью пожал ей руку, заглянул в глаза, вышел. Привязанный к ограде рысак рыл снег копытом. Настя знала: Артемий Богданович теперь снова начнет ее славить.

И не ошиблась.

Не от кого иного, как от Артемия Богдановича, узнал Костя Неспанов о подвиге Насти. На следующий день прибежал к ней пешком, озябший, прячущий уши в поднятом воротнике, конопушки на щеках тонули в густом морозном румянце. Выудил из кармана затрепанный блокнотик и вечную ручку.

— Хочу матерьялец подать в районную газету. Так сказать, вроде коротенького очерка о передовике...

Костя был председателем сельсовета. Когда-то на этой должности сидели солидные люди, под их управлением было несколько колхозов. Слово председателя сельсовета было тогда законом для колхозных руководителей, попробуй-ка ослушаться, коль говорит глава местной власти. Но уж много лет, как эти разбросанные колхозы слились в крупный, один на весь сельсовет. И председатель колхоза как-то незаметно поднялся над председателем сельсовета. Клуб отремонтировать — помоги колхоз, у него и тес, у него рабочая сила, в школе дров нет — у колхоза и кони, и машины, и леса вокруг колхозные, не сельсоветовские. Первая фигура на селе — Артемий Богданович, а при нем где-то Костя Неспанов, и если у Кости над головой будет протекать крыша, то на поклон ему идти к тому же Артемию Богдановичу. Ныне уже слово Артемия Богдановича — закон для Кости, да Костя и не лезет в главари, чувствует — молод.

Не так давно Костя писал стихи про любовь, под Есенина и под Степана Щипачева:

Любовь — это буря в душе,
Любовь — это верность навеки!
Скажите вы мне, человеки:
Чего не хватает мне?

Ему чего-то не хватало, чтоб стать поэтом, потому он начал писать заметки в районную газету. И каждый раз, когда он читал напечатанное типографским шрифтом то, что недавно было написано его рукой, когда видел в конце заметки свою фамилию «К. Неспанов», от волнения краснели уши.

К тем, о ком он собирался писать, Костя заранее относился с почтительным уважением, доходящим до робости. Уж коль он пришел к человеку с надеждой увидеть его имя в печати — значит, этот человек особый, он, Костя, не имеет права называть его Ванькой, Сашкой, Настей, как звал их вчера, обязан величать по имени и отчеству.

Вот и сейчас он смущался, от смущения с деловитой строгостью насупливая почти отсутствующие брови, выспрашивал:

— А скажите, Анастасия Степановна, что побудило вас?.. Ну, какая внутренняя причина?.. Я с точки зрения переживаний, психологически...

— Чудак ты, Костя. Какая точка зрения, да психологически еще... Поросята же дохли, а в правлении, знаю, никто не почешется...

Костя с важным видом делал пометки в своем блокнотике.

Дома он в тот же вечер сел писать очерк, который начинался: «Мела свирепая метель, заносила дороги. Преодолевая напористый ветер, по сыпучему снегу шагала девушка...»

Дальше шел рассказ о том, как эта девушка сквозь пургу несет медикаменты больным поросятам. Костя знал, что метели в тот вечер не было и что Настя к дому шла на пешком, ее привез в кабине грузовика шофер Женька Кручинин, но не даром же Костя мечтал стать поэтом...

Свое произведение он показал Артемию Богдановичу. Тот пробежал его, нахмурился:

— Спрячь и никому не показывай.

— Почему?

— Да потому, что незачем, голубь, выносить сор из избы. Прочитают в районе, ухватятся: «А, мол, вы такие-сякие — поросята у вас дохнут, свинарки из своего кармана лекарства покупают, даже лошади не догадываются дать», — словом, никакого внимания ни к людям, ни к поросьятам. Как мы, братец, будем выглядеть? Такие писульки у знающих людей называются очернительством, слышал? То-то. А вот про свирепую метель ты красиво загнул.

Костя как похвалу, так и критику переживал одинаково — краснел ушами.

— Ничего. Сейчас не попал, в следующий раз угодишь в самую точку, — успокоил его Артемий Богданович. — Ты к этой Насте приглядывайся, не раз тебе сочинять о ней придется. Ей рость и рость. Еще вырастет не без нашей с тобой помощи — по области, а то и по всей стране загремит.

Косте не впервой было переживать неудачи. Он спрятал свой очерк, но слова Артемия Богдановича запали ему в душу — к Насте стал приглядываться, и очень внимательно.

10

Поросенок Кешка, которого Настя подыхающим принесла домой за пазухой, выжил, вырос, отъелся, стал тугой, как барабан, давно живет в общем стаде. Но пока Настя нянчилась с ним, отпаивала крепким чаем, черничным настоем, рыбьим жиром, он так привык к ней, что теперь, едва выпускали из клетки, ходил за своей хозяйкой, как собака, терся о ноги, замирал в блаженстве, когда протягивала руку.

Косте Неспанову, частенько заглядывавшему на свинарник, Настя говорила, показывала на крутобокого Кешку, путавшегося у юбки:

— Вот — скотина, а верней не отыщешь. Добро помнит. Я в омут брошусь, он — за мной. Среди людей, поди, таких не бывает. У людей-то, у каждого — своя рубашка ближе к телу.

Костя косился на млеющего под Настиними руками Кешку, возражал:

— Ты это брось людей с поросятами сравнивать. «Человек — это звучит гордо!» Горький сказал.

— Вот то-то, что гордо. Всяк своей гордыней живет.

А у животных душа проста. Что, Кешенька, что, сизарь мой, вот я тебя, вот как... Ишь, лыбится...

— Золотой ты работник, Настя, а политически незрела. И на людей черства. Вот я, к примеру...— У Кости начинали наливаться багрянцем уши.— Вот я с открытой душой к тебе, а ты хоть раз мне слово ласковое бросила? Ласковые-то слова у тебя на поросят уходят. Иди навстречу людям... Вот, к примеру, я... Я, конечно, ничем других не лучше, но...

Костя замолкал. Настя, задумчиво почесывая млеющего Кешку, холодновато и пытливо присматривалась к Косте:

— Лучше ты иль хуже — не пойму. Ты блаженный, стихи пишешь, статьи, речуги толкаешь на собраниях. Ни от твоих стихов, ни от твоих речей никому ни жарко и ни холодно.

У Кости сердито горели уши. Эта засидевшаяся в невестах рослая девка с крутыми плечами и самостоятельным характером, которого побаивался сам Артемий Богданович, не замечает его, глядит как бы сквозь. А Костя последним парнем никак себя не считал.

Зимой Настя бросила Артемию Богдановичу, словно отрезала:

— Один — и хватит!

А к тому времени подход уже не один, да и после выносила тайком в подоле. Тайком, утаила и — вот диво — страха не чувствовала, что откроют обман.

О каждом поросенке, как только родился, сообщи в колхозную контору — есть, мол, прибыль на голову. Эту голову сразу записывают в книгу, в графе «приход» цифра увеличивается на единицу. Сдох поросенок — спиши, акт составь, чтоб в другой графе «расход» была представлена новая цифра, уже на единицу меньше. Учет! На то и существует бухгалтерия во главе с бухгалтером Сидором Петряевым. Сам он мужик тихий, покладистый, жена на нем верхом ездит, да законы возле него строгие. Попробуй не списать вовремя хотя бы одного подохшего сосунка — откроют книгу, и цифра покажет: не сходятся концы с концами — на единицу меньше, где эта единица? Может, продала, может, во щах съела, и не думай доказывать на пальцах. На суд, скажем, не подадут, а оплатить из собственного кармана заставят.

«Вынесла тайком в подоле добрый десяток... Казалось бы, прямехонько сама себя к беде ведешь и свернуть нельзя —дохлых поросят не оживишь. Но... «Умный гору обойдет...» А каким путем? Кого это интересует?

Весной — новый опорос, как бы его ни планировали там, в конторе, какие бы цифры ни писали, а угадать заранее никто не в силах: сколько матка Рябина вымечет поросят — может, пять, может, десять. Сколько ни скажи — поверят и уж, конечно, сломя голову не бросятся считать, с цифрами, записанными в книгах, сравнивать: «Не собираешься ли обжулить нас, голубушка?» Любая свинарка удивилась бы и обиделась такой проверке. Обычно документы на рожденных поросят оформляют в конторе, от которой до Настиной свинофермы добрых семь километров, верят слову, сразу подошедших поросят даже не списывают, чтоб особо «не портить показатели».

Весенний опорос покрывает недостачу. Интересоваться поросятами начнут осенью, когда придет время рассчитывать с государством по мясу. Но и тогда всех по головам считать не станут, могут только спросить: почему не подросли, почему вес ниже нормы? Ну, тут отговорок полный мешок: «Поросята-то зимние, а вы бы хотели полный вес, спасибо говорите, что таких вытянула». «Умный гору обойдет...» Большого риска нет, а совесть... Что совесть? Артемий Богданович, ежели прижмет, не посовестится на нее, Настю, вину спихнуть. Почему она должна быть совестливее его?

Артемию Богдановичу приходилось отдуваться за зимний опорос. Настя как-никак, пусть с потерями, остановила падеж, сохранила часть поросят, у других же свинок попередохли не только сосунки, но и откормочные, заразились матки. Свинаркам снижали оплату, и они на чем свет стоит костили Артемия Богдановича. И тут единственный ангел-хранитель — Настя. На все попреки, на все жалобы у Артемия Богдановича один ответ: «Не справились, а почему Сыроегина справилась? Она что — дух святой, не такая же свинарка? Все дело в умении и добросовестности!» — и фотографию Насти наклеили на Доску почета, ее имя постоянно склоняли на собраниях, о ней с уважением писали в районной газете. И становилось ясно каждому — на околице деревни Утицы зреет знатный передовик колхоза. А чтоб он быстрее зрел, нужно подкармливать. Кладовщик Михей по словесному указу Артемия Богдановича отпускал Насте на сви-

ней лучшие корма, не заменял больше муку высевами. Лучше и больше, так как сдохшие поросята числились живыми, росли, крепили, им тоже отпускалось на прокорм.

Так прошла зима, из-под снега выползли прогретые проплешины, в оврагах копилась застойная зеленая вода. И Настя по утрам бежала на ферму уже при молодом солнышке — дни становились длиннее.

После зимнего опороса матки не набрались сил, и весенний приплод был мал. Рябина, самая плодовитая, меньше восьми никогда не метала, а тут принесла шестерых. И, как назло, где тонко, там и рвется. Хотя Настя не спала ночами, затемно вскакивала с постели, накидывая платок и ватник, мчалась к ферме, часами не отходила от маток, но все-таки недоглядела. Матка Роза, страховидно толстая, неуклюжая, ворочаясь с боку на бок, задавила сразу троих. А впервые запущенная под хрюка Голубка, на которую Настя рассчитывала — будет хорошей маткой, — оказалась со злым пороком. Голубка, крокодилом бы ее звать, выметала четверых и тут же сожрала. И не обошлось без поштучного отхода: одного угораздило свалиться в навозную яму, другого искушал хряк...

Настя извелась, почернела лицом, мать дома пряталась от нее на печи — вдруг да вгорячах облает. А Настю продолжали славить, Костя Неснанов ходил вокруг с блокнотиком, он написал в областную газету, ждал ответа. И часто заскакивал замотанный делами Артемий Богданович, топтался в проходе, заглядывал под маток, бодрил:

— Держи марку, Настя. На тебя глядит вся колхозная общественность.

Настя сердито пеняла ему на скудный приплод, но о потерях помалкивала. Задавленных Розой сосунков снова тайком вынесла в подоле...

Списать под этот опорос мертвые поросячьи души? Наверно бы, можно. У нее не красно, а у других и совсем из рук вон плохо. Другие-то не получали добавочные корма, не обиходили маток, как она обиходила, не вскакивали по ночам с кровати... Списать можно, грехи покроются, но тогда уж похвалы не жди — кисленькие попреки и, быть может, вместо чистой мучки высева. «Что ж это ты, Настя, по показателям упала, на одной половине с Марией Ключиной стоишь?» А у свинарки Марии Ключиной пустые клетки паутиной затягивает. Нет, она ей неровня!

Семь бед — один ответ. Раньше не испугалась проверки, а теперь-то и подавно бояться нечего.

Для виду Настя решила списать двоих на Голубку. Только двоих. Приплод невелик, но и процент отхода низок. Верьте!

Нежданно-негаданно нагрянул носатый паренек в кожаной куртке, увешанный фотоаппаратами, заставил выгнать всех свиней под открытое небо, поставил посреди тучных маток Настю и строгоныко покрикивал: «Не глядите в объектив! Минуточку!» Хлопотливо щелкал, то забегая сбоку, то приседая, то забравшись на изгородь. Прославлена была на область не только Настя, но и ее любимец Кешка. Настя-то стеснительно смотрела в сторону, а Кешка, прижавшись к юбке, нахально уставился со снимка, он не считался со строгими приказами носатого паренька: «Не глядите в объектив!»

После дождей, по расползшейся дороге, еле-еле пробрался к Утицам автобус, из него высыпали девчата и парни — все свой брат, колхозники из соседнего Блинцовского района. Они лазали по свинарнику, изучали свиней, расспрашивали:

— А каков рацион? А когда поишь? А собираешься ли еще проводить зимний опорос?..

Глядели в рот, ловили каждое слово.

11

А дома по-прежнему — пустынно и скучно. Мать держалась, ей не хуже и не лучше, лечилась травками. По-прежнему Настя заставляла ее сидящей на лавке с замороженным взглядом, направленным куда-то внутрь себя, вглубь.

Мать-то не считала Настю счастливой. Вот если б внуки по избе ползали да стоял бы в доме запах ядреного мужика, дымящего табаком, приходящего с работы в пропотелой рубахе, тогда бы — у дочери жизнь, как у людей. А так и с почетом, и с фотографиями в газете, а бобылка бобылкой, для бабы это последнее звание.

Потому-то Настя и не любила бывать дома, что каждую минуту чувствуешь немое сожаление матери.

Они с матерью сидели за столом, Настя хлебала из чашки, мать смотрела, придвигала то соль, то нож для хлеба. Молчали, обо всем давно переговорено. Корм в свинарнике задан, вечер свободный, как-то надо его убить.

Обычно Настя убегала к Павле поболтать. Павла каждый раз сообщала новенькое о Кешке — живет в Соломбале, работает на лесозаводе, холостяжничают, как бы при одинокой жизни карусель у него не пошла, сама знаешь, от стопки никогда не отказывался, а дружков-собутыльничков везде хватает... Павла доносила не без задней мысли — вот, мол, хоть ты и в славе, и при деньгах, а мужики на тебя что-то не очень падки, нам-то Кешка пишет, а тебе даже и поклоны не велит передавать. Павла в эти минуты была неприятна Насте, но приходил вот такой свободный вечер — и тянуло к ней, послушать о Кешке.

И сейчас она, дохлебав бы щи, поднялась бы и ушла, но за окном раздался храп коня, стук ног на крыльце, знакомый голос:

— Дома хозяйка?

Артемий Богданович — что с ним? — синий бостоновый костюм, в каком выезжал только в область, не ниже — для района и обычный хорош, — рубашка белая, галстук, и лицо — что пятак, натертый о валенок. За Артемием Богдановичем бочком Костя Неспанов, тоже в глаженном костюме, отложной воротничок вокруг шеи, туфли начищены, щеки красные, и глаза бегают где-то по потолку, выше голов.

— Здоровы будете?

— Здоров, коли не шутишь, — ответила Настя, чувствуя зябкость в спине и слабость в ногах: начинала догадываться. — К столу бы пригласить, да не сказались — стол-то не праздничный, а вы — как на именины. Может, порогом ошиблись?

— Нет, вроде порог тот и люди те, что нам нужны. Правда, Костя? — Артемий Богданович решительно присел к столу. Костя на краешек лавки в сторонке.

Мать Насти с натугой поднялась, двинулась было к печке, но Артемий Богданович остановил ее:

— Нет, мамаша, останься. Не посторонний человек, а, так сказать, напротив — самый нужный в нашем деле. Правда, Костя?

У матери дрогнули морщины, она села, тревога и ожидание застыли на лице.

Артемий Богданович выбросил на стол руки, пошевелил пальцами, крикнул смущенно, исподлобья взглянул на Костю — тот густо покраснел.

— Ну вот, — начал Артемий Богданович, — я человек прямой, вилять не люблю. Обычаев старых тоже не знаю.

Но, помнится, в прежние-то годы начинали: «У вас есть красный товар, у нас — купец молодой...» Так, что ли, мать? Настя, ясно?

Настя молча покосилась на свекловичную физиономию Кости.

— Я сват, Настя! Сам-то он хуже девки робеет, пришлось взять на себя. Впервые в жизни, значит, с этой должностью справляюсь, может, чего и не так, не обессудьте... Ну, Настя?

— Чего — ну?

— Эва, она еще спрашивает! Пойдешь за него замуж или какого там принца крови из заморских стран подождешь? Вопрос, так сказать, прочувствованно — ребром. Ну?

Настя сжала руки коленями, уставилась в стол, молчала. Артемий Богданович смущенно крякнул:

— Ну, не тяни! Иль он чем худ тебе?

— Худ?.. Пожалуй.

Костя тоскливо сцепил челюсти, поднял взор к потолку, проскулил:

— Пойдем, Артемий Богданович, отсюда. Что уж...

— Это как так пойдем? — У Артемия Богдановича гневливой темнотой налились подглазницы. — Уйдем, когда выясним, не раньше того. Уйдем и позор снесем. Выкладывай, чем он тебе худ?

— Одним только. Молод. Я уж в годах, намердны двадцать восемь стукнуло, что мне к себе детей припутывать?

— Детей? Костя, слышишь?.. Да обидься ты, чертов сын! Стукни по столу, чтоб чашки с ложками на пол посыпались!

— Пойдем, Артемий Богданович, чего уж...

— Эх, завел волынку! Ты не можешь, так я стукну! — И Артемий Богданович действительно влепил тупой кулак в столешницу. — Тебе — двадцать восемь, ему двадцать пять в этом месяце выпадет. Три года разница. Как ты успела постареть за эти три года, чтоб он тебе дитем стал? Сколько Кухареву Гришке, помнишь? А сколько его Верке?..

— То-то и оно, — глуховато и спокойно возразила Настя, — иль слава о Гришке не идет? За любым хвостом волокнется, юбку на козу одень — побежит, приняхиваясь. Такого не хочу!

— Ха! Он ли на Гришку похож? Да ты оглянись —

с таким ли характером хвосты ловить? Не парня, а ярочку к тебе в дом ввожу.

— Артемий Богданович! — Костя вскочил, щеки пошли пятнами, зеленые глаза плавились, голос скололся на синленький тенорок: — Не хочу! Баста! Можно только по... по любви! А раз нет... То чего уж. Я пошел, Артемий Богданович...

Артемий Богданович вдруг стал спокоен и суров:

— Ну, Настя, скажи ему, чтоб уходил. Ну-ка, скажи, я послушаю.

— Я пошел, Артемий Богданович! Я пошел... Раз нет, раз не лежит сердце... Чего уж...

— Что-то я, Настя, голосу твоего не слышу. Молчишь?.. Ну, тогда я скажу последнее слово, другого не будет. Цену себе набиваешь? Хвалю! Цену себе каждый знать должен. Но только помни: так и с товаром на руках остаться можно. А твой товар — скоропортящийся, вроде молока, поддержи подольше — там уж за бесценник никто не примет.

— Цена! Бесценник! — вдруг завопил Костя. — Что за слова? Не хочу! Не буду! Знал бы я, да разве... Да ну вас!...

Он повернулся и пошел к двери. Мать, сидевшая за столом все с тем же тревожным выжиданием в глубине бесцветных морщинок, вздохнула, опустила глаза.

— Костя, обожди, — тихо сказала Настя.

И Костя застыл — одна нога в сенях, другая в избе.

— Неуж любишь? — все так же тихо спросила Настя, пристально глядя на застывшего на пороге Костю.

— Да теперь все! Теперь внутри перегорело. Не-нави-жу! Врага ты, Настя, во мне нажила во веки веков!

И Настя улыбнулась, оглянулась на Артемия Богдановича:

— Чай, принесли с собой чего-нибудь? А то ведь я не заготовила, не ждала таких гостей.

— А как же, как же, — колыхнулся Артемий Богданович. — Костя! Там в сено сунута, вынь поди!

Костя помялся в нерешительности и вышел. Вернулся хмурый, пряча глаза, поставил на стол поллитровку.

С Кешкой даже не успели расписаться, а о свадьбе и разговоров не было.

Артемий Богданович сам взялся за дело, решил устроить парад.

В троицын день, по старой памяти, гуляли все — и верующие старухи, и неверующая молодежь. На этот счет Артемий Богданович признался: «Бога легче выкорчевать, чем праздник». И потому он созвал правление, посоветовался, выпустил приказ:

«Во имя ликвидации религиозных предрассудков правление колхоза «Богатырь» постановило:

- 1) отменить праздник святой троицы;
- 2) вместо него праздновать каждый год свой социалистический, колхозный праздник — «Встреча лета»;
- 3) в этом году во время праздника «Встреча лета» широко отгулять колхозную свадьбу К. И. Неспанова и лучшей пашей свинарки А. С. Сыроегиной;
- 4) на проведение свадьбы правление колхоза выделяет пятьсот рублей;
- 5) свадьба будет проходить на берегу реки Курчавки возле бывшей Редькинской мельницы, в случае плохой погоды — в сельском клубе;
- 6) на свадьбу приглашаются все члены колхоза «Богатырь».

Но и это не все. Артемий Богданович всегда считал: «Мало сделать похвальное дело — нужно добиться, чтоб за него похвалили». О колхозной свадьбе должен шуметь весь район и знать вся область.

Артемий Богданович скупил в магазине сельпо залежавшиеся пачки чертежной бумаги и с ними поехал в райком, беседа была недолгой, после чего в районной типографии раздался телефонный звонок:

— Тут к вам зайдет председатель колхоза «Богатырь», посодействуйте.

И Артемий Богданович не заставил себя ждать:

— Великая просьба — отпечатайте покрасивее.

Выложил на стол пачки чертежной бумаги, преподнес написанный своею рукою текст:

«Уважаемый товарищ 2 июня, сего года, в селе Верхнее Кошелево Загарьевского района колхоз «Богатырь» выдает замуж знатную свинарку Анастасию Степановну Сыроегину за председателя сельсовета Константина Ивановича Неспанова. От лица молодых

и от лица всего колхоза просим Вас, дорогой товарищ, быть желанным гостем на нашей колхозной свадьбе.

Начало в три часа дня».

Великая просьба... Как тут откажешь.

Приглашения были разосланы в область: секретарю обкома по сельскому хозяйству, председателю облисполкома, главному редактору областной газеты, начальнику сельхозснабжения... Посланы они были и в район: опять же первому секретарю Пухначеву, секретарю по пропаганде Кучину, председателю райисполкома Гаврилову, директору районного отделения госбанка Сивцову (нужный человек), председателю райпотребсоюза Тужикову (не менее нужный) и еще кой-кому по расчетам Артемия Богдановича.

Из района — сомнений не было — придут, а из области — за двести километров, на свадьбу — ой, вряд ли. Но Артемий Богданович и не рассчитывал на высоких гостей из области. Важно, что там прочитают приглашение, лишний раз узнают, что в Загарьевском районе существует колхоз «Богатырь», который, по всему виду, живет на широкую ногу, дружно справляет свадьбу знатных людей. Артемий Богданович не без умысла поставил перед именем Пасти слово «знатная».

Приглашения были разосланы, а Артемий Богданович развивал бурную деятельность, брал за бока приглашенного на свадьбу председателя райпотребсоюза Тужикова, закупал у него: селедку — бочками, постное масло — ведрами, водку, красное вино, шампанское — ящиками. А в деревне Степаковская споровистая бабка Анфиса варила хмельную бражку и на меду и на солоде.

По всему колхозу из деревни в деревню шли возбужденные рассказы о приготовлениях, все ждали веселый день. Два гармониста, Павел Клешнев и Серега Рюхин, один из села, другой из деревни Кулички, вечные соперники — неизвестно, кто из них мастеровитей в игре, — были освобождены от работ «для репетиций» со строгим наказом, чтоб не ударили в грязь лицом.

Настя шила себе белое подвенечное платье. Костя на правах жениха приходил к ней каждый день, сидел на краешке лавки, напряженно вытянувшийся, с густым торчащим ежиком, который так и хотелось пригладить ладонью, спросить: «Кто тебя обидел, лапушка?» Он молчал, вздыхал, иногда ронял:

— Брошу свою должность, пойду в трактористы или в животноводы.

— Это почему?

— Бесперспективная у меня работа. Может, там смогу показать себя. Нет, бесперспективная.

— Зато чистая. В животноводах-то, гляди, ручки навозом испачкаешь.

— Навозом испугала. Я, может, за светлое будущее жизнь готов отдать.

И торчит мальчишеский непокорный ежик, под чистым лбом обиженно зеленеют глаза, и Настя со зрелой бабьей жалостью думала: «Право, не на три года моложе, на все тринадцать, с кем судьба сводит — желторотенький».

13

И вот он — день.

На небе ни облачка, засасывает синий воздух колом взмывающих стрижей. Река Курчавка сквозь темную воду червонится камешковым дном. Березки на берегах задумчиво перебирают не утерявшей еще весенней яркости листвой — сочные, несенные березки тропцына дня.

На зеленом берегу наспех сколочены длинные тесовые столы буквой «П», в челе — место для молодых и для начальства. Здесь стол покрыт белыми простынями, на остальных простыней не хватило. Вокруг стола хлопочут жипки-общественницы, уставляют закуску: холодное мясо ломтями — свинина, баранина, говядина; райпотребсоюзовская, крупно нарубленная селедка с вареной картошкой; квашеная капуста, щедро политая постным маслом; на противнях горы холодца, размякающего от жары; огурцы прошлогоднего посола; бордовые винегреты под тем же райпотребсоюзовским постным маслом. Меж всем этим убранством — ясные бутылки «Столичной», сумрачно нарядные — шампанского. Ближе к молодым в стеклянных графинах, какпе обычно украшают столы президиума во время заседаний, — мутно-янтарная бражка, налитая по самые пробки. Подальше от молодых — та же бражка, но только в разномастных эмалированных чайниках.

Народу на берегу, что пчел на летке перед роешнем, — топчутся, мнут траву, сходятся кучками, степенно беседуют о погоде, о яровых, о том, что неплохо бы дождичек, нет, не сегодня — боже упаси! — как-нибудь на днях. Все в костюмах, в чистых рубашках, кой на ком пучится

шляпа, кой-кого не сразу распознает и сосед, влажный речной запах нет-нет да и перебьет густая волна нафталина. Девицы ходят в цветистых платьях, при часах на запястьях, каждая держит в кулаке чистый носовой платочек. Дед Исай мученически морщится — жмут ни разу не надеванные ботинки. Все стараются углубиться в беседу, чтоб не глазеть зря на стол — неприлично выказывать нетерпение.

Наконец гуляющей походкой подошли гости из района: невысокий, коротко стриженный Пухначев, рослый, начавший полнеть Кучин, осанистый Тужиков из райпотребсоюза, тихий, в очках директор из банка... Подошли, растворились среди масс, примкнули к разговорам о яровых.

А молодых нет. А уже четвертый час и солнце клонится вниз, и кой-кто стягивает с себя шерстяные праздничные пиджаки. Молодых нет, не видать и Артемия Богдановича.

И тут раздался крик:

— Б-бе-ре-егись!

Храпящая тройка, пританцовывая от нетерпения, несла бричку, за кучера, заваливаясь на спину, багровея лицом, — Артем Богданович.

— Бе-ере-егись! Люди добрые, дорогу молодым!

Ветер играет белой накидкой невесты, жених в черном костюме, как скворец, задрал вверх подбородок — душит тугой галстук.

И сразу берег беспокойно зашевелился, одни расступались перед конями, теснили других, эти другие поднапирали, чтоб поглазеть поближе, — толкотня, смех, выкрики:

— Богданыч-то словно Илья-пророк.

— Вместо бороды бы веник приклеить.

— Жаль, бубенцов нет, по-старому-то с бубенцами.

— Вывелись бубенцы...

— Люди добрые! Дорогу!

И визгливые бабьи голоса:

— Гости дорогие! К столу просим! Гости дорогие! Пожалте к столу! Не обессудьте — чем богаты, тем и рады!..

Упрашивать никого не пришлось, хлынули, приступом беря скамьи, потирая руки. Оказывается, как ни длинные столы, а гостей больше, чем нужно. Тесно сдвигались, особенно охотно парни к девкам, смех, советы:

— Прижми-ко Ньюку — сок потечет.

— И так стараюсь.

— Отцепись, банный лист! Василья крикну!

— Твой Василий, глянь, на Дашке сидит, ножки свесил.

Какая-то компания парней развалилась в стороне, развесив по сучьям пиджаки:

— Механизаторы, сюда давай! Дед Исая, ты когда-то прицепщиком был!

— У него теперь своя механизма на четырех ногах.

— Нет уж, браточки, я и здесь ладно угнезвился.

Тощая, костистая спина деда Исая — между двух пухлых бабьих спин.

— Тут меня греют.

Во время этой суматохи появились еще два гостя, их заметили только тогда, когда один из них начал выплясывать перед молодыми, целиться из фотоаппарата.

— Кто такие?

Оказывается — область не забыла, из газеты прислали, чтоб описать, сфотографировать, — знай все, как гуляют в колхозе «Богатырь»!

Костя — с растерянно задранным подбородком, потный в черном костюме. Настя — вся белая, горбится от страха, от лютого смущения, кажется — вот-вот сползет под стол. И рядом мать, страдающая от беспокойно крутящегося на своем месте Артемия Богдановича. И почетные гости с невинными, чуть смущенными улыбочками...

У Насти на голове рюшечка, покрывало, заполненное речным воздухом, спадает на плечи. Невестин наряд Насте не очень-то идет, лицо из белого газа — круглое, широкое, с крутыми скулами, как деревянная чаша, и буйная плоть — плечи, груди — слишком решительно выпирает сквозь тонкую ткань. Настя чувствует взгляды, смущается до одеревенения, прячет под стол раздавленные, красные, заскорузлые от работы руки.

Бригадиры за столом и правленческий актив, исполняя волю Артемия Богдановича, шепчут направо и налево:

— Передай-ко, чтоб тут особо не наливались. Как бы при гостях-то какой конфуз не вышел. Особо Егорке Митюхину накажите, он же дурной, когда хлебает... Вот гости уедут, бражка останется, вечером возьмем свое...

И всяк, кто бы ни получил такое наставление, понимая кивал:

— Само собой, раз зазвали — держи марку...

По сильней всяких уговоров трезвило начало пира.

Первым поднялся со стопкой в руке Артемий Богданович, ему по обязанности положено произнести вступительную речь о том, что колхоз идет в гору — святая правда, давно ли получали триста граммов на трудовень, — что лучших своих людей колхоз умеет ценить, что Пастя Сыроегина — прощенья просим за оговорочку, уже Неспанова, — была ничем, а стала всем, что такие, как Настя, — хозяйева жизни, что спасибо дорогим гостям, что приехали... Артемий Богданович говорил до тех пор, пока не занемела рука, державшая стопку, и только тогда провозгласил:

— За здоровье молодых!

Поднялся первый секретарь райкома Пухначев, в жизни он был прост, скор на слово, но тут случай особый, быстрота и простота неуместны. Он тоже долго говорил, держа стопку, что растут кадры, что поднимается экономический и культурный уровень, что вот вам наглядный пример — знатная свинарка...

Второй секретарь по пропаганде, Кучин, долго увязывал свадьбу Насти с международным положением, с посягательствами империалистов...

Однако дальше пошло быстрее, так как Тужиков, председатель райпотребсоюза, речей гладко говорить не умел: колупнул международное положение — спутался, завязал было речь о светлом будущем — и тут спутался, махнул рукой и рывкнул:

— Горька-а!!

И столы охотно подхватили:

— Го-орь-ка-а!!

Костя, путаясь в невестиной газовой накидке, послушно потянулся к Насте, клюнул носом в щеку.

— Э-що горь-ка-а!!

Снова клюнул.

Тут кончилась организованность, начался разброд, чокались кто с кем хотел:

— Эй, кум, будь здоров!

— Пашка, едрена-матрена! Забыл? Дотянись!

Пробовали говорить речи в честь гостей, но не получилось, хотя за их здоровье охотно пили.

Грянули дружно две сыгравшиеся гармошки, молодежь зашевелилась, полезла танцевать, но танцы сбил шофер Женька Кручинин со своей Глашкой. Женька выскочил и начал выкаблучивать — мелькали начищенные голенища,

детали ладони, моталась разлохмаченная голова, с разгона
врался в землю перед Глашкой:

Эх, хватъ да похватъ —
Я в прямом расстройстве!
Надоть бы свиначку сватать
Ту, что понородистей!

Глашка, чернявая, узкобедрая — сама в невесты годна,
хоть и двое детей, — каменея в бровях, вихляя плечиками,
плыла, потрясая скомканным платочком в руке:

Ой, мил соколог,
Не держу за локоток:
Приживи свиначке
Свиночек три парочки...

А их, припадая на колено, фотографировал репортер из
областной газеты.

— Товарищи! Граждане! Упустили!! — надрывался Ар-
темий Богданович. — Товарищи! Выпить забыли!

— Не забыли — пьем!

— За здоровье забыли выпить! За мать Насти! За ту, ко-
торая родила нам, которая для нас вырастила...

— Ура-а Анне Егоровне!

— Ур-ра-а!!

Для всех неожиданно вынырнула пригнувшаяся к столу
старушка. Фотограф из газеты сломя голову кинулся к
ней... Вынырнула и снова канула, снова куролесил Жень-
ка, сверкая начищенными голенищами.

До самого вечера было шумно и весело над рекой Кур-
чавкой, но праздник не дорос до того горячего уровня,
когда враги нежно мирятся, а друзья ссорятся. Только
деда Исая вывели из-за стола — слишком ослаб, — уло-
жили под ближайший куст, сняли тесные ботинки, чтоб не
жали. Да председатель райпотребсоюза Тужиков вдруг
вспомнил, что он несчастлив в жизни, и пошел было к
реке топиться, но и его отговорили вовремя.

Настя была трезва, сидела за столом как связанная,
а Костя обнимал за плечи Артемия Богдановича, втолко-
вывая ему:

— Первый человек у нас — она! — и указывал на На-
стю. — Второй — ты. А третий — я!

Артемий Богданович, красный, маслянистый, довольный
всем, ухмылялся:

— Может быть, может быть... Я ведь, сам знаешь, в
гору-то не ползу, могу и без номера походить.

— Нет, ты второй человек. Признаю! Она — первая! А третий — я!

На берегу реки вечер кончился, начинался по деревням. Далеко за полночь надрывались гармошки во славу Насти в девичестве Сыроегиной, ныне Неспановой. Далеко за полночь кипел праздник — и враги мирились, и друзья ссорились.

14

Ранним утром бежала сломя голову на свипарник, затапливала печь под котлом и, пока котел закипал, опять сломя голову мчалась домой, чтоб успеть накормить Костю, проводить его на работу.

А дома ее встречал музыкой пущенный на полную силу приемник, и Костя, уставясь в зеркало, гримасничая, брился, и мать словно бы ожила, воевала с ухватами, тащила к столу топленое молоко.

Костя, робкий, нескладный, какой-то ломкий, и Настя рядом с ним чувствовала себя грубой, сильной, с каждым днем все онцутимей материнская ответственность за него, и, когда уходил из дому, почему-то боялась — а не случится ли там на стороне с ним беды, хотя знала: какая беда, занимается, как и занимался, сельсоветовскими делами. Мало-помалу приходила вера, что не случайно к ней потянулся Костя, что без нее ему трудно, а значит — прочно, значит — надолго, не упорхнет.

До сих пор бабью жалостливость тратила на какого-нибудь полудохлого поросенка, больше некуда, кто ее примет, эту неизбывную жалостливость, кому нужна? Сейчас ее принимает, по почам, косноязыча от удивления, шепчет:

— Жару в тебе, что в печи, право.

И Настя бешено крутилась между домом и свипарником — ни минуты свободной, некогда оглянуться по сторонам. Вот это жизнь! Даже загадай раньше — не смогла бы представить лучше.

А давно уже газеты из номера в номер печатали статьи и заметки под общей шапкой: «Навстречу областному совещанию животноводов!» Давно уже в колхозной конторе подбивали итоги: за такой-то квартал надоено, выращено, продано... И где-то в незнакомом Насте Густоборовском районе жила соперница, тоже свипарка, тоже знатная, знатнее Насти, потому что гремела по области давно, потому

что и теперь приплод у нее больше, потому что в свое время была награждена орденом, — Ольга Карпова! С пол-года назад Настя и думать не думала с ней сравняться — высока, рукой не достанешь. А теперь Артемий Богданович сказал без обиняков: «Вызывай ее на соревнование, не робей, воробей!» Помог составить Насте письмо.

И, как всегда, Артемий Богданович не остановился на полдороге: «Мало сделать похвальное дело — надо добиться, чтоб за него похвалили...» И он добился, что Настино письмо напечатали сразу в трех газетах: у себя в Загарье, в незнакомом Густоборье и в области.

— И наши утки по верхам летают. — Артемий Богданович потирал руки.

Он поднимал Настю, а сам-то говорил: «Умный в гору не пойдет...» И Настя смутно понимала — хитер, удобно для него посылать в гору кого-то другого, попробуй только попрекнуть: с молоком недовыполнил, с зерном заминка — ап нет, обождите, мы другим славны, все разом не охватишь. Под горой сиди, а на горе-то свой флажок поставь, без этого никак нельзя.

Этот человек все сделал для Насти — вознес, прославил, даже мужа нашел. Должна бы отцом родным величать, благодетелем, но почему-то боялась Артемия Богдановича. Как ни растет вверх Настя, а над ним не вырастет, попробуй только поперек пойти — мягонько эдак ссадит, и славу сдует, и знатность слетит... Ох, Артемий Богданович, Артемий Богданович, благодетель!

Тем свирепей Настя орудовала на свиномыслике. Что она без него? Простая баба, каких много. Сорвись, Костя потерит, потерпит, да и возьмется за шапку. Он-то с образованием — книжки читает, статьи пишет, политические моменты в докладах освещает...

Прошел летний опорос, он был куда обильнее весеннего. Рябина родила одиннадцать поросят, даже неприятная раньше Канитель удивила — девятирех, все крепкие, здоровые, любо-дорого глядеть. Тут-то бы и снять грех с души, покрыть старые прорехи, но уж время очень неудачное — перед совещанием-то животноводов, когда пришлось вызвать на соревнование знатную Ольгу Карпову. У всех свиномысликов — удача, у тебя одной провал, на белом черное сразу заметят, каждый пальцем ткнет, позлорадствует — эге, мол, оплошечка у знатной. Нет уж, назвалась груздем — полезай в кузов. У Насти до областного рекорда не хватало несколько голов. Всего несколько, чтоб пере-

шагнуть Ольгу Карпову. Все ждут этого, пуще всех ждет Артемий Богданович. Всего несколько, чтоб «знамя колхоза» стало «знаменем» всей области. И эти головы выросли. Опасно, с огнем, Настя, играешь.

По первой зорьке, заспанная, едва успевшая ополоснуть лицо, мчалась к свинарнику. Со свинарника — иноходью домой. Дома включенный приемник играл бодрые утренние марши. Костя-аккуратист брился за столом, перебросив через плечо чистое полотенце.

С огнем играешь, — тревожило. «Навстречу совещанию!» — газетные заголовки. На это совещание Настю собираются проводить с почетом — значит, она кому-то должна сдать с рук на руки свой свинарник со всей живностью. С рук на руки той же Павле, и тут — мало ли что может случиться?

Павла была всего на год старше Насти, крупнокостная, плоскогрудая, из тех, кого называют неладно скроена, да крепко сшита, лицо грубое, голос с сипотцой, замужем не столь давно, а успела обложиться детишками. В свое время ее сватали в свинарки — отказалась. Работа хлопотная, с утра до вечера торчи на ферме, порой и ночами нет покою, забудь дом, а заработаешь или нет — это еще бабка надвое гадала. А за мужней спиной Павлу нужда не особо подпирала.

Она одно время считала себя удачливой Насти — без отца выросла, мать больна, суженый да гаданый на стороне где-то застрял, как не пожалеть. И жалела, и за Кешку сватала. Но теперь-то жалеть нет причин, теперь сама Павла возле Насти крохи подбирает. Настю-то частенько в район вызывают, иногда целыми днями приходится сидеть по совещаниям, нельзя свиней без присмотра оставлять. Павле за случайный догляд приплачивают, но, конечно, не густо, обнов с этого не нашьешь и ребятишек не накормишь, работай в ноле, как все.

Одно дело оставить на Павлу свинарник на день, на вечер, другое — на неделю, на две. За неделю она так освоится, так приглядится, что откроет — под крышей-то не одни живые души живут, но и мертвые. А уж коль откроет, в секрете держать не станет, не-ет, Павла — не святая, не утерпит ковырнуть знатную соседку.

Пришел с работы Костя, жесткий ежик торчит внушительно, на лице выражение со строжинкой: или только что председательствовал на собрании и еще не остыл, или принес какие-то новости — портрет Насти в газете

напечатали, правление премию выделить собирается...

— Командируют тебя.

— Куда?

— Хватит сидеть на месте, такой человек должен делиться с другими опытом.

— Значит, уезжать?

— А ты хочешь быть в командировке да дома на печке лежать?

— Никуда я не поеду.

— Поедешь. Решение бюро райкома партии. Сперва едешь в Густоборовский район для обмена опытом с Ольгой Карповой. Раз! Блинцовский район просит побывать у них. Два! Ну наверное, еще кое-куда завернуть придется...

— На кого я брошу свинарник? Запустят! Изведут! Никуда не поеду!

— Найдем людей, чтоб присмотрели. В десять глаз, в десять рук славу колхоза станем беречь.

Что говорить с Костей — надут, как индюк, горд, что жена будет разъезжать по другим районам, учить людей уму-разуму.

Легла спать в тревоге. «В десять глаз, в десять рук...» Это нострашнее, чем на одну Павлу довериться. Как начнут заглядывать да вникать кому только не лень, — беды не миновать. А одна Павла, что ж... О Павле, пожалуй, напрасно тревожилась. Павла и сейчас, считай, все стадо знает, каждого сосунка по рылу гадает, как соседского парнишку в лицо. Стадо знает, да не дано знать, что в книгах про него записано. А книги эти бухгалтер Сидор Матвееч Петряков держит в конторе, в шкафу под замком. Смешно даже думать, что Павле в голову ударит в эти книги залезть. А ежели б и ударило, то все равно не столь уж грамотна, чтоб понять. Правда, Сидор Матвееч, хоть ночью раскачай, любую цифру назовет. Но опять нужно догадаться спросить его. До сих нор это Павле на ум не приходило. Вот ежели в «десять глаз, в десять рук...»

Утром после кормежки Настя была уже у Артемия Богдановича.

— Ладно, уеду, раз уж так нужно, — согласилась она. — Хоть, что говорить, боюсь бросать свиней. Павла — баба верная, но все же не свои руки.

— Приглядим за ней. Не оставим без внимания, — пообещал Артемий Богданович.

Этого-то от него и ждала Настя.

— Нет уж, просить хочу, чтоб не совались без нужды. Разве не наказание — сам посуди, когда работаешь, а за тобой десять глаз в спину глядят, десять рук под локоть толкают. Слышь, Богданых, не вели путаться никому. Я сама с Павлой уговорюсь, сама с нее и спрошу, когда приеду.

— Ну, ну, накажу. Никто не сунется.

— И платить Павле будете, как мне. Слышишь?

— Заплатим, не волнуйся.

— И корм пусть возят по-прежнему, как возили. Знаю этого Михея-ключника — кому-то готов скатерку постелить, а кому-то рогожку.

В тот же день она привела Павлу на свинарник:

— Старайся, любая, никого не пускай к себе, греха не оберешься с распорядителями-то. Гони каждого в шею, пусть не указывают.

— Окорочу,— успокоила Павла.— Это у меня быстро.

Кешка, как всегда, терся о голенища сапог, ждал, когда Настя протянет руку, поскребет за ухом, повизгивал просяще. И Настя склонилась:

— Ненадолго, чадушко, расстаемся. Не скучай, любый... Павла, ты не жалей ласки на него. Чего уж скрывать, он у меня заласканный.

Павла хохотнула:

— Под подолом держать буду.

— И смотри, Павла... Чуть что — дай знать Артемию Богдановичу, он сразу меня телеграммой вызовет.

— Авось сойдет и без телеграммы. Детишек на соседские руки оставляют, не боятся, а тут — поросята. Эка...

Кешка терся о сапоги, не отходил ни на шаг. А Настя с тоской думала, что рано или поздно придется оторвать от себя этого Кешку, ему, как и всем свиньям, конец приписан один — под нож. «Господи! Сердце теснит, словно расстаешься с родней кровной, а не со свиньями...»

Светлое платье в голубых мелких цветочках, с отделкой по вороту, темный жакет со вздернутыми плечиками, через руку — песочного цвета легкое пальто, ткань «метро», подкладка в глянец; на ногах туфли на высоком каблуке — жмут, проклятые, авось разносятся. Настя садилась в поезд.

Артемиий Богданович не поленился, сам провожал до

станции вместе с Костей. Махали руками в окно, пока вагон не тронулся. А Костя — эх, дурачок! — лицо расстроенное, а перед поездом все искоса поглядывал на Настю, сказал дважды:

— Ну и шикарная ты женщина.

Артемий Богданович подхмыкивал:

— Гляди, еще кого новенького со стороны привезет. Очень просто.

— Нет, она верный человек.

Эх, дурачок родной...

15

Попала не в заморские страны — в другой район. А все районы похожи: такие же желтеющие поля, такие же обветренные крыши деревень, такие же, как в Загарье, дороги с выбоинами и ухабами, с ветхими мостиками, держащимися на честном слове. Все знакомо, вроде бы нечему удивляться, а каждый час одаривал Настю новизной.

Едва сошла с поезда, как подскочил человек:

— Простите, вы не Анастасия ли Степановна будете?

— Она самая.

— Пожалуйста, вас ждет машина.

Настя раз пять в жизни ездила в гости к двоюродной сестре, вышедшей замуж на стороне за начальника лесопункта, случалось-таки сходить с поезда и на своей станции, и на чужих, и каждый раз забота — как не упустить автобус, как уломать шофера-левака... А тут: «Пожалуйста, машина ждет...»

А от машины спешит жейщина, морщит в улыбке и без того сморщенное бабье лицо. Вот так-так, выехала встречать Настю сама Ольга Карпова! Первая тянет руку, вроде чуточку смущается:

— Здравствуйте. Как доехали?

Знаменитая Карпова невысока, жилиста, тяжелые в мослах руки, спеченное лицо с доброй, несмелой улыбочкой. Настя по сравнению с ней в своем нарядном платье, в туфлях на высоком каблуке — артистка из столицы, не меньше. Потому, видать, и смущена Карпова.

Все ново, даже номер в районном Доме колхозника. Никогда не останавливалась в номерах — уезжая из дома, всегда ночевала у родных или знакомых. А тут отдельная чистая комнатуха с картиной трех богатырей на стене и с графином воды на белой салфеточке.

Все ново, утром вежливый стук в дверь:

— Разрешите? Я за вами.

Парнишка-шофер, на Женьку Кручинина похож — глаза с нахалинкой, так и ждешь, что пропоет:

Девка с грудями по пуду
Достанется кому?

Где там, другой мир, другие люди...

Знаменитая Ольга Карпова, знаменитый укрупненный колхоз имени XX партсъезда, знаменитый председатель Чуев Афанасий Парфеныч. Этот знаменитый председатель высок, тощ, басист, над крупным носом — дремучие брови, прячущие глаза.

— Знакомьтесь. Критикуйте. — Ладонь сунул, широкую, словно лопата.

Ох, как хотелось посмотреть да раскусить, что из себя представляет Ольга Карпова. С виду куда как проста, баба бабой, чуточку смахивает на Настину мать, когда та была помоложе. А на самом деле так ли проста эта прославленная Ольга Карпова? Что-то подозрительно — много лет обиходит громадное стадо, получает небывалые приплоды. Настя ее перескочила, но как? Своей-то победе Настя цену знает. Но Ольга обещает и ее побить! Что у нее, вместо пары рук — пять, десять? Настя надрывается, с темна до темна пропадает на свинарнике, а показатели хороши, что сумела обратить мертвые души, они-то ухода не требуют. Ох, нетерпится... Может, все кругом пыль пускают, обычное это дело? Тогда все ясно — без хитрости не проживешь. И не пытайся, Ольга Карпова, навести тень на плетень, мы — не начальство, мы — дошлые.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Карпова привела Настю в свой свинарник. И Настя оробела.

Настя больше видывала на своем веку свинарники — смрад, теснота, темнота, в потолке продушины, на полу болото. Потому ей и свой свинарник всегда правился: цементная дорожка, поработай рычагом — вода льется в котел. а решетки даже с затеями, с церковной ограды сняты... Здесь котла нет, есть какие-то запарники — ручки никелированные, что шары над кроватью, бока выкрашены в белую краску, что-то внутри пыхтит, клокочет, а ни дыму, ни пару, ни запаху. Прямо к запарнику — лента, транспортер. Нажал на рычажок — корм теплый порцией на ленту, и эта лента по лотку с бортиками везет корм к клетям: каждой свинье отмеренное — ешь, нажи-

вай жирок. Не таскайся взад-вперед с грязными ведрами. А клетки чистить?.. Сколько времени, сколько труда уходит, а не успеваешь — свиньи в навозе валяются. Тут взял резиновый шланг, из шланга струей навоз в лоток, той же струей по лотку прогонишь к колодцу. Смысл, закрыл крышкой колодец — чистота, лопат даже пет. И просторно, и светло, и все в белое выкрашено — больница. Полдела в таком свиноманнике работать, тут и лежебока в знатные выскочит.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Послали опытом делиться. Что ж, могла бы поделиться опытом...

После того, как Настя выбросила перед Артемием Богдановичемдохлых поросят, после того, как услышала: «Вся и заковырка в жизни, что против силы надо идти... Против силы умом...» Умом да хитростью. Настя хитрила и не угрызалась совестью — не зря же говорят: простота хуже воровства. Одного боялась — ее хитрость не мудрена, могут и раскусить...

И вот: «Знакомьтесь. Критикуйте»... Как порядочной. Никому невдомек, что случайно попала в святые угодницы. В нарядном платье, в туфлях на высоких каблуках... Да если б ей, Насте, самой с такой привелось столкнуться — плюнула бы вслед. Нарядное платье — обман, голос вальяжный — обман, даже мужа в дом обманом заручила. Вся жизнь — обман, все счастье на обмане держится. Надолго ль такая жизнь? Надежно ль такое счастье? От самой к себе уважения нет: не настоящая ты, Настя, фальшивый камушек в дорогой сережке.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Настя ходила по просторному свиноманнику вместе с Ольгой Карповой и ненавидела Ольгу. Простая баба, как и она, еще более дремучая, а повезло. Нет нужды ей обманывать да изворачиваться при такой справе. Разве Настя хочет обманывать, почему у нее счастье, что жеребец в сапу — на вид здоров, шея дугой, а внутри-то гниль, пристрелить не жалко. Почему? Кто в том виноват? Настя ненавидела Ольгу.

Вечером было собрание всех животноводов колхоза имени XX партсъезда, Насте пришлось выступать, попросили из-за красного стола пройти к трибуне, похлопали в ладоши. «Критикуйте». И Настя смекнула — умнее будет не критиковать, начала расхваливать и Ольгу, и ее свиноманник, и ее породистое стадо:

— Великая наука для меня лично, товарищи. Много

хорошего у вас насмотрелась. Прямо скажу: далеко нам до вас... Спасибо вам всем...

И все сидели довольные, и Ольга Карпова румянилась спеченными морщинками, и сам Афанасий Парфеныч Чуев, мужик суровый и, видать, дошлый, из тех, кто в землю на аршин узреть может, сидел именинником. Лесть душу выпинает, кто перед ней устоит. Это Настя поняла путром, с усердием хвалила Ольгу Карпову.

Ее проводили с почетом.

16

Она проехала по нескольким районам, кружным путем вернулась на родину.

У поезда ее встретил Костя. Увидел, вздрогнул и странно присмирел, поглядывая исподлобья.

— Ты чего? Случилось что? — спросила Настя.

— Да нет, ничего... Ты какая-то... Не та...

То же платье, та же жакетка, пальто через руку, но круглое лицо стало угловатым, сильнее выпирают скулы, от глаз заметней морщинки и сами глаза беспокойные, бегающие, в складках полных губ — горчинка. Не та...

Костя же ничуть не изменился — густой щетинистый бобрик над чистым лбом, возбужденно краснеют большие уши, в зеленых глазах растерянность и ожидание.

Не та... Настя это и сама чувствовала. Что ни день — то новая ступенька вверх, что ни день — то на шаг выше, а когда-то будет и конец... Притворялась спокойной, уверенной, а по ночам не могла уснуть. Никогда не бывало, чтоб не спала по ночам, обычно едва положит голову на подушку — как кричат уже утренние петухи, пора вставать.

А Костя разве поймет. Прост слишком, и как только такой сидит в председателях сельсовета, да и что — за него все дела устраивает Артемий Богданович.

Обняла Костю, прижалась к его щеке скулой, сорвалась, провыла по-бабьи:

— Золото ты мое непутевое!.. Ой, здравствуй, бедолажный! Как ты без меня?

У Кости повлажнели глаза — гляди ж ты, любит, гляди ж ты, рад, ждал небось.

— Едем скорейча. Домой хочу.

— Домой сразу нельзя. Просили заехать в район. Там актив собрали — выступишь, отчитаешься.

— Ох-ох!

В загоне перед свинарником лежали разморенные на солнце свиньи. И одна вдруг забилась, встала, кинулась навстречу, тугая, розовая, налитая пружинящей силой. Кешка чуть не сбил с ног Настю. Задирая рыло, повизгивая, поплясал вокруг и вдруг припал к юбке, притих, устало и сладко смежил веки.

У Насти даже слезы навернулись на глаза:

— Гляди ты, признал. Голубь мой сизый, кровинушка моя. Ох, ласковый, ох, дурачок непутевый...

Скребла жесткую, шелушащуюся кожу. Кешка млея.

И Павла шумно высморкалась в конец платка:

— Пропади ты пропадом! Вот уж любовь зла... Ко мне небось так не подкатывал.

Палило солнце, знойный, застывший воздух был густо пропитан знакомыми запахами — перебродившим, пьяным навоза, острым, плотским от распаренных свиных туш. Над полями, над упрятанной в ивняк речкой, над плавающими в зное лесами и над безлюдной деревней — дремотный покой. В привычном Настином мире все по-старому, нет перемен.

Ничего Настя теперь так не хотела, как вставать рано по утрам, шагать короткую дорогу от избы к свинарнику, шагать лицом к ясной утренней заре, засучив рукава приниматься за работу, с любовью, с лаской обхаживать скотину, знать, что ни один из дней не пропадет даром, каждый приносит пользу — сало, мясо, деньги колхозу, знать, что у тебя за спиной твой дом, семья, ждут детишки (рано ли, поздно они появятся), у этих детишек судьба краше, чем у тебя, — не узнают лепешек из круглины и крапивы, тяжелых, как камни, черных, как сопревший навоз, и отца им не придется провожать на войну, и не услышат они отцовское с горьким наигрышем: «Иль грудь в крестах, иль голова в кустах...» И будут в семье маленькие праздники, маленькие радости, такие, как сегодня...

А сегодня Костя возится с новым мотоциклом. Вчера в районе купила Настя. Мотоцикл с коляской, такую вещь не сразу достанешь, если и появляются в магазинах, то парасхват. Выручил Тужиков: он помнил

хлеб-соль да крепкую бражку на свадьбе, едва Настя проговорилась: «Хотелось бы...» — как по щучьему велению... Прими, Костя, в подарок машину. Тоже, поди, мечтал...

Никакой другой жизни не хочет Настя, только такую — без шума, без славы, в мире, в радостях, с лomotцой в костях к вечеру, с крепким сном, с чистой совестью. И начать бы эту жизнь сейчас, не откладывая, но нет...

К вечеру снова придется надеть праздничное платье и ехать в другой конец района, в колхоз имени Второй пятилетки, там запланировано выступление. Ей, знатной свинарке, некогда заниматься сейчас своими свиньями. Павла, о которой не пишут в газетах, кого не посылают в командировки, не встречают с почестями, должна кормить и холить ее свиней. А ей, Насте, нужно славить свои животноводческие подвиги. И скоро начнется долгожданное совещание в области...

А пока оттолкни жмущегося к тебе Кешку, спеши в село — там тебя ждет Артемий Богданович, ему нетерпится потолковать с глазу на глаз: что видела, что узнала, как принимали колхозного посла? Услышишь, ей есть что сказать.

Артемий Богданович при параде, потеет в темном костюме. Встречая, сиял распаренным лицом, жал руку, похлопывал по плечу, придвигая стул, заглядывал в глаза. Но когда начался разговор, притих, посерьезнел, шевелил короткими пальцами на столе.

Настя рассказывала о механизированном свинарнике Ольги Карповой. Артемий Богданович не перебивал.

— Хошь не хошь, — говорила Настя, — рано ли поздно придется строить такой. А коли нет, то пошумим, побурлим, пыль в глаза пустим, а потом скиснем. На ура то долго не продержишься, Артемий Богданович. Они при механизации — хоть лопни от натуги — нас быстро обскачут. Вижу, считаешь да прикидываешь. А ты не прикидывай — дорогонько стоит такой свинарник, узнавала, но за год, за два, ручаюсь, оправдает себя с лихвой...

Артемий Богданович не перебивал, слушал и соображал.

— А коли решаться, то надо решаться теперь, чтоб

к весне, в крайнем случае к лету стояло новое помещение. Только тогда марку выдержим...

— К весне или к лету?.. — подал голос Артемий Богданович. — А что ты, Настя, скажешь, ежели я тебе этот свинарник спроворю к зиме, к самому началу?..

— Ежели б к зиме, то куда лучше. С таким-то свинарником я бы, пожалуй, снова на зимний опорос рискнула.

— А почему бы и нет, — Артемий Богданович оживился, начал жмуриться. — Мы, сама знаешь, наметили строить новый скотный, уже фундамент заложили. Тоже с водопроводом, с колодцами, с навозохранилищами внизу... Но вот поставили не умно, скот на выпасы придется гонять через поля — значит, устраивай прогон специальный или посевай топчи... Не перекроить ли нам этот скотный в показательный свинарник, пока не поздно?

— И окупится быстрее. Свиньи-то у нас породистые, а коровы местные — корма на навоз переводят.

— И окупится... Добро. Покумекаем. Только тебе на работу-то ходить придется за семь километров. Как тут?

— А я дом свой перевезу поближе к свинарнику. Можете, чай?

— Как не поможем... Ладно, буду ставить вопрос на правлении.

«Буду ставить вопрос», а это почти значило — вопрос решен. Раз Артемий Богданович поставит, правление не возразит.

17

Областной театр драмы и комедии сияет огнями. Областной театр — здание с колоннами, ставленное еще в прошлом веке, с тех нор несколько раз перестраивавшееся. Архитекторы и строители сделали все возможное, чтобы человек здесь чувствовал себя празднично. Ковры на полах, искрящиеся люстры под потолком, мрамор стен, обширные зеркала...

И сейчас празднично в фойе, толкотня, суета, раскинуты пестрые лотки с книгами и брошюрами, в толпе мечутся как угорелые газетные репортеры. Празднично, но собрались не на праздник — на деловое совещание. Да и оснований для празднования нет.

Когда-то эти места на всю Россию славились заливными лугами, особой породой коров; на масле, мясе, ко-

жах местные куницы наживали миллионы. Одно время область повернули па зерно: стране нужен хлеб, распахай, что можно. И заливные луга распахали. Потом спохватились, да поздно — луга заболотились, зарастали кустарником, породистые стада захирели, в колхозах появилась мелкая непривередливая скотинка, которая обходилась жестким сеном с лесных покосов. Но и эти лесные покосы год от году затягивало мелколесьем. Пора бить тревогу, — совещание собралось не для торжества, многие на нем получают крутые нагоняи.

По Настя-то прибыла сюда не для нагоняев и проработки, нет, еще до начала совещания ее парасхват: «Просим зайти в областной отдел сельского хозяйства»... «Просим побывать на курсах зооветтехников»... В обкоме партии с ней разговаривал сам первый секретарь, корреспонденты газет, радио с утра дежурили у дверей номера гостиницы. И номер ей дали особый, с ванной, с телефоном, с солидным письменным столом и с видом из окна на центральную городскую площадь. Артемий Богданович жил в номере по соседству вместе с секретарем райкома Пухначевым. Артемий Богданович очень заботился о Насте, даже вместо нее принимал газетных репортеров, чтоб не надоедали лишка.

А на совещании Настю выбрали в президиум. Шла через весь зал на сцену, а на нее смотрели: Неспанова-Сыроегина из Загарья, не шути.

Стол под красным сукном. Рядом с Настей бок о бок седой человек в очках, профессор, руководит кафедрой в институте, даже Настя — образованна, что скрывать, не шибко, — даже она читала брошюрки по кормовым рационам, написанные этим профессором. И вот она рядом с ним за почетным столом. Из темного зала — сотни лиц, среди них где-то затерялся и Артемий Богданович, и секретарь их райкома Пухначев, и много других председателей колхозов, секретарей райкомов, все они там — ниже, Настя над всеми. И докладчик несколько раз назвал с уважением фамилию Насти. И когда объявили перерыв, все стали расходиться, на лесенке, ведущей со сцены, седой профессор вежливо придержал ее за локоть:

— Осторожно, не упадите.

А потом заговорил:

— Много о вас слышал. Рад познакомиться.

Они вместе вышли в фойе, под горящие люстры, а там на них набросились фоторепортеры:

— Одну минуточку! Всего минуточку! Не задержим!
А утром Артемий Богданович принес ей свежую газету:

— Союз науки с практикой, так сказать.

Под руку — две знаменитости.

А на следующий день ее попросили непременно выступить. «Нет, нет, никаких отговорок, без вашего выступления невозможно...»

И она пробиралась по сцене под ярким светом к трибуне, потная рука сжимала бумажку с написанной речью. И на нее смотрел из загадочной, страшной полутьмы многоголовый, многолицый, многоглазый зал. Не перед своим братом колхозником выступать, от страха подгибались коленки. Но выступила:

«Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...»

Ей аплодировали.

Настя почувствовала — она нужна, очень нужна. Ни Артемий Богданович, ни Нухначев, никто другой так не нужен, как она. Даже Ольга Карпова... Ольга примелькалась, ее давно все знают, повторять имя Ольги — значит признаваться себе: никто из новых не выдвинулся, топчемся на месте. А тут новая, не так уж и плохи дела в области, выходит — растет новое, хорошее, обнадеживающее, вот доказательство.

«Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...»

Простая свинарка, которую недавно видели в газете, стоящая рука об руку с известным профессором. Союз науки с практикой — раз так, то дела наладятся в области.

До сих пор Настя со страхом и подозрением глядела на людей: а вдруг раскусят, что тогда? Ненстоящая, случайная, фальшивый камушек в сережке. И вот сейчас не умом, а нутром уловила — люди хотят верить в нее, людям это нужно. И фальшивые камушки вставляют в оправу, когда нет под рукой настоящего. Великое дело поддержать бодрость, а все сидящие в зале нуждаются в бодрости. Нуждаются! Настя пужна! И уж Артемий Богданович изо всех сил станет стараться, чтобы она не свалилась с высоты. Считала — одна, кругом враги. Нет же, не одна, а раз так — ничего не страшно. Вот построят новый свинарник, такой, как у Ольги Карповой, еще, быть может, даже лучше. В нем-то Настя развернется,

добьется больших приплодов, рано ли поздно покроет мертвые души, очистит совесть, переродится наново, не будет на свете честнее человека, чем Настя Неспанова!

«Умный гору обойдет...» С такой высоты, на какую сейчас взобралась, разве страшны горы, даже самые крутые?

«Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...»

Анлодисменты в ответ. Ей верят. Она и сама в себя верит — выдержит все обязательства, не подведет. Верит — все силы отдаст на пользу людям, от нее ждут этого!

И слезы на глазах, и благодарность к тем, кто в ней нуждается. Счастливые слезы.

18

Над поясом черных лесов, как всегда по утрам, сочится сквозь неплотные облака зыбкая зорька. Ее ловят темные оконца спящих изб. Настя по-прежнему встает раньше всех в деревне Утицы.

Все хорошо в меру — блины на масленой и пост за веру. Настя от торжеств, от заседаний устала, с охотой скинула туфли на высоких каблуках, влезла в резиновые сапоги, в потрепанный ватник.

Зыбкая зорька над лесом, протоптанная тропинка, печь под котлом, барабан картофелемойки... Как всегда, стучат колеса телеги, голос деда Исаея окликает:

— Эй, пустынноца, жива аль нет?

Теперь Насте возят корм, какой попросит и сколько попросит, попробуй-ка отказать — зоб вырвет.

Свиньи под доглядом Павлы — все-таки не свои руки — ноосунулись. Настя раскармливает, старается.

Любимец Кешка растет и пухнет, по-прежнему бойкий и ласковый. Он первым подает голос, когда Настя открывает дверь, будоражит весь свинарник, научился рылом выбивать задвижку, сам выскакивает из клетки, крутится под ногами, тычется, мешает.

А под селом на окраине полным ходом идет строительство нового, образцового свинарника. Погребные ямы для навозохранилища выложены кирпичом, возведены уже стены под крышу, кладутся стропила. Артемий Богданович крутится — все дни в хлопотах, срывается то в райцентр, то в область, со всех концов ему звонят, теле-

фон в конторе надрывается. Подняты на ноги доставалы, такие, как Тужиков,— их в приятелях у Артемия Богдановича не один десяток. Не так-то просто найти водопроводные трубы, чугунные крышки для сточных колодцев, электромоторы, запарники. Но Артемий Богданович, как меч-кладенец держит наготове громкое имя Насти, кто заупрямится, начнет крутить волокиту — того рубит сплеча:

— Для знатной свинарки возводим! Гордость нашей области! Стыдитесь!

И свинарник растет как на дрожжах,— водопроводные трубы в земле, кабель проложен, начали класть стропила...

Похоже, с первыми морозами Насте сниматься с места, отбить поклон родной Устице, праздновать новоселье. Старую избу перенесут, подправят, расширят, крышу, верно, покроют железом, стены обошьют тесом... Но тут Настя — сторона, неудобно для своей корысти давить авторитетом, улаживает все с Артемием Богдановичем Костя.

Костя завел кожаный шлем с большими очками, по утрам на работу пешком не бегаёт — гоняет на мотоцикле. Каждое воскресенье возится с машиной, разбирает, собирает, смазывает, заводит. Грохочет и воняет мотор, а Костя слушает его, как музыку, удовлетворенно сообщает:

— Великое дело — двадцатый век. Сплошная техника.

В последнее время Костя говорит на басовых нотах, держится солидно, как и Артемий Богданович — заводит знакомства в райцентре. Он не выносит Женьку Кручина за то, что тот пустил по деревням частушку:

Эх, чистый верняк —
Свиночки с навозиком!
Получил от вас за так
Женку с паровозиком!

А кругом все шло своим чередом. Хлеба убрали рано, осень стояла погожая, чем дальше к зиме, тем суше, солнечней, золотистей. На полях по стерне индевела паутина. По вечерам над крышами деревень, над верхушками селей летели густые грачиные стаи...

В солнечный и ветреный полдень Настя нацепила на колья изгороди только что вымытые бидоны из-под обрат, поглядывала в поле, на дорогу — не затарахтит ли

там мотоцикл Кости, время-то обеденное. И не углядела, как из ложка вынырнул плотный мужчина, пошевеливая плечами, двинулся к свинарнику. По этой раскачке в плечах, по крутому наклону головы узнала — он, Кешка! Наверно, от неожиданности чуть-чуть екнуло сердце, подобрала волосы под платок, повернулась, стала ждать.

— Здорово, Настя, — издалека, еще не доходя.

— Здравствуй.

Подошел, остановился, расставив тяжелые сапоги, морща лоб под козырьком кепки, покусывая золотым зубом травинку. Повытертый какой-то — кепочка блином, кожанка старая, лицо одубело, складки на щеках врезались глубже — чужая сторона не родная мать, в прошлый раз пофорсистей приезжал. Но по-прежнему крижист, по-прежнему от него тянет медвежачьей силенкой, той, какой не хватает Косте.

— А я думал: высоко взлетела, тут законно и не признать.

— Где там высоко, все вот в свином навозе копаюсь.

Видать, вспомнил прощальные слова, хмыкнул невесело, промолчал.

— Надолго ль сюда? — спросила Настя.

— На ночку. Мимо ехал, как не заглянуть. Да и чего задерживаться, коль приголубить некому.

— Поищи, может, кто и согласится приголубить. И здесь, как всюду, свет не без добрых людей.

Снова хмыкнул с угрюминкой:

— Ты хоть вспоминала?

— Тебя? А как же. — Настя обернулась к распахнутым дверям свинарника, крикнула: — Эй, Кешка!

За дверями раздался шум, зазвенело порожнее ведро, выскочил Кешка, другой, привычный, тяжело налитый розовым салом, ринулся к ногам Насти — вот-вот собьет.

— Сдурел, вражина... Вишь, был у меня человек, стала свинья — не часто случается. Помню.

В это время затарахтел мотор, встряхиваясь на выбоинах, подкатил Костя в шлеме, в очках, с лицом, исхлестанным ветром. Застопорил, поднял очки, открыл зеленые настороженные глаза.

Кешка, покусывая травинку, с покойным вниманием оглядел Костю, мотоцикл, спросил:

— «Уралец»? Много прошел?

И Костя смутился:

— Нет. И трех тысяч не успел нагонять.

— Хорошая машина. Все целился купить, да куда бездомной собаке ремешок с бляшкой? Ну, бывайте куда...

Повернулся, шагнул, раскачивая покатыми плечами, покосился на мотоцикл, еще раз похвалил без зависти:

— Хорошая машина.

— Кешка! Иди домой, паршивец! Иди! Иди! Вот я тебя! — погнала Настя тыкавшегося ей в колени поросенка.

Другой Кешка оглянулся, тряхнул головой.

— Что ему? — спросил Костя. В зелени глаз под вздрагивающими, вымочечно-белесыми ресницами — плавающая ревность.

Настя ответила грустно и задумчиво:

— Так... Блукает по свету, ищет, кто бы приголубил... Пошли обедать, Костя.

Неприкаянный Кешка напомнил Насте, что она согрета не только славой. Все есть, все, о чем только может мечтать человек.

19

Артемий Богданович, упрятанный по-зимнему в дубленый полушубок, старший среди плотников Егор Помелов, приезжий техник, долговязый парень в городской шапке пирожком, занимающийся монтажом механизмов, электромонтер Сеня Славин и Настя вошли в новый свиначник.

В широкие и невысокие оконца сквозь двойные рамы с только что вставленным ясеневым стеклом вливался свет голубеющего дня. Со стен пахло еще не просохшей штукатуркой, дощатые настилы медово желты, на цементной дорожке и в лотках — курчавая стружка. Длинные загородки с решетчатыми переборками уходят вдаль. Почти все кончено — установить транспортер, подключить электромоторы, покрасить, даже вода подана в водопроводные трубы.

— Магарыч с тебя, Настасья. Старались ребята, — подмигивал красным глазом плотник Егор.

Настя молчала.

— Вот дом ей перебросишь, тогда и магарыч, — отвечал Артемий Богданович.

— Если всю артель снарядишь — за недельку. Долго ли умеючи-то.

Артемий Богданович жмурится, как сытый кот, походя похватывает стойки переборки, трогает ногтем влажную штукатурку на стенах, не хвалит, только жмурится — доволен.

— Разворачивайся, Настя. В твоём старом свинарнике Павла осядет. От тебя, так сказать, почечка.

А Настя разглядывала пустое, гулкое помещение и молчала. Знакомый, давний, полузабытый страх подпирал к горлу.

Артемий Богданович направо и налево помахивал ручкой:

— Здесь, значит, — откормочные, здесь — родилка, а здесь, так сказать, — комнаты матери и ребенка, опоросные матки лягут... Тут зелененькие, самые молоднячок, тот, что от титек оторван... Расписано, как на почте. Чуть стадо увеличишь — и стоп! Больше не надо. Устраивай круговорот, чтоб одни робались, другие под нож — фабрика, цех-автомат с управлением одного человека. Выгодный мясо центнерами. Расписано, учтено... Иль не нравится? Чего молчишь?

Нет, Насте нравится свинарник, но — расписано, учтено, то-то и оно. Она только теперь поняла... А ведь сама настаивала, сама торопила, чтоб строили быстрее... Только теперь поняла — тут-то ее и погибель. Матки, молодняк, откормочные, фабрика-круговорот, где все, как на полочках. А в старом свинарнике — теснота, суета, давка, попробуй разглядеть — сколько голов налицо. Фабрика-круговорот с полочками... Часть клеток окажется пустыми. Тут уж не только Артемию Богдановичу, не только членам ревизионной комиссии, не только председателю сельсовета Косте Неспанову, а любому и каждому, кто ни заглянет, хотя бы плотнику Егору, станет видно — у знатной свинарки знатная прореха. Фабрика, рассчитано, как на почте, на столько-то голов. А где эти головы, куда девалась часть стада? По дороге потерялась? Отчитайся, красавица! И начнут подсчитывать: столько-то голов не хватает, столько-то центнеров мяса — воровство, обман, надувательство. И не покроешь, и не спрячешь концы, пойдет новая слава, погромче прежней.

Сама настаивала... Думалось, только крышу сменит, а под новой крышей старые порядки. Сама настаивала, сама под собой яму копала.

Цементная дорожка из конца в конец замусоренная

стружкой, колодцы в навозохранилище с открытыми крышками — слов нет, отменный свинарник, не только в районе лучший, по области поискать. Артемий Богданович жмурится, как кот на сливки.

— Ай и вправду чем-то недовольна? — спрашивает плотник Егор. — Критикуй. Наша братва критики не боится, потому что — фирма!

— Нет, все хорошо... Очень.

— То-то. И не печалься, избушку твою перебросим быстренько, подновим, игрушечка будет, залюбуешься. У родни нагоститься не успеешь, как мы с шапкой у порога: гони магарыч!

Долговязый техник и электромонтер Сенька лазали вдоль стен, рассуждали о дополнительной проводке. У стойки из неплотно закрученного водопроводного крана капала вода.

— На будущей недельке кочуй сюда со всем племенем, — сказал Артемий Богданович.

«На будущей недельке...»

20

За окном ночь, полная луна висит над окоченевшими, бесснежными полями. Голова Кости лежит на ее руке. Костя посапывает над ухом. Глаза Насти широко открыты. Ночь и луна за окном. Настя вспоминает другую ночь, наверно, самую счастливую в жизни.

Та ночь могла бы быть такой, как все ночи августа, теплая и душистая, — пахнет осокой от берегов, пресно пахнет речной водой. Сама река, обморочно опрокинутая под небом, смолисто-черная, вязкая, неподвижная, — не сморщится, не шелохнет прибрежную былинку. И где-то за лесами низко над землей лежат тяжелые, набрякшие от влаги тучи, но небо над головой чисто, точеная луна обливает онемевший мир. И в тишине разнесится скрип весел в сухих уключинах, скрип весел, как крик раненой птицы.

Эта ночь могла быть такой, как все ночи августа. За веслами сидел Венька Прохорёнок, ворот распахнут на груди, под спутанными волосами загадочно и тревожно блестят его глаза. Настя в новом штапельном платье горошком, косынка с блеклыми розочками лежит на плечах, Настя чувствует себя красивой. Ее волнуют глаза Веньки, волнуют и немного пугают. Надрывным птичьим

криком кричат весла, лодка режет маслянистую гладь воды...

Ночь как ночь, как все ночи начала августа. Но нет... Спит река, а над сонной рекой в застывшем воздухе под луной бешено кружится снежная метель. Да, метель! Лодка движется сквозь белые хлопья, они порой затягивают даже близкий берег. И только луна, холодная и яростная, пробивает белую кипень, освещая пушистые хлопья.

Венька подымает весла и застывает на минуту, и тогда в тишине слышен сухой шелест, еле-еле уловимый, но в нем что-то судорожное, потаенно грозное. Сухой шелест — это бьются в воздухе легкие-легкие крылышки. Над сонной рекой в застывшем воздухе под луной пляшут прозрачно-белые мотыльки. Их несчетная тьма, над просторной рекой им тесно, они вылетели на свадьбу, вылетели, чтоб порадоваться минуту и... умереть.

В теплую августовскую ночь — снежная метель немая и бешеная. Тьма несчетная, облака мотыльков. Одни кружатся в радостном угаре, другие уже откружились, падают в лодку, липнут к лицу в предсмертной усталости, запутываются в волосах, вся река припорошена ими. Этих мотыльков зовут подёнками, потому что все они живут по одному дню, не более.

По расплавленно смолистой реке скользит сквозь метель лодка, вскрикивают весла, блестят глаза Веньки, сыплются подёнки, чей минутный век кончился. И луна над головой, луна точеная, яркая...

Настя радуется сказочной метели. Близко от Насти Венька. Осыпаются мертвые, подёнки, а Настя верит в свою долгую жизнь, верит, что эта жизнь будет счастлива, — до этой ночи ее, Настю, никто никогда еще не обманывал. Что может быть лучше той лунной ночи?..

Сейчас тоже ночь, лунная, яркая. Глаза Насти широко открыты. Свет луны сперва лежал на лоскутном половичке перед дверью, потом перебрался на дощатый пол, осветив узловатые сучки, поднялся вверх, просиял на никелированных шишках кровати, и наконец луна плоской мордой из угла окна уперлась в лицо Насти, осветила затылок спящего Кости. Костя уютно посапывал па Настиной руке.

У него на шее курчавится нежный детский пушок, сама шея белая, твердая, ребячья упрямая. Настя кусает губы, чтобы не застонать. Вот он рядом, теплый, жарко

дышащий, доверчивый, вот он на ее руке! И курчавится пушок, и плавится душа от нежности, от непоправимого горя...

Скоро он все узнает... Ох, Костя, Костя!.. Пусть бы весь мир знал, пусть бы смеялись, тыкали пальцами, сочиняли дурные частушки. Пусть бы весь мир знал, но лишь бы чудом не дошло до Кости... Чудес нынче не бывает, вымерли чудеса вместе со святыми угодниками. Ох, Костя, Костя! Пушок на шее, посапывание над ухом — не будет этого. Неделька — срок отмерен. Настя кусает губы, чувствует на них соленый привкус слез.

И ночь перед глазами, та счастливая ночь со сказочной метелью! Ночь, какая бывает одна на всю жизнь!.. Одна?.. А, наверно, могла бы повториться. Пройдет зима, появятся опять летние ночи, теплые, с луной, и будут летать подёнки... Все может повториться, если б... Неделька — срок отмерен.

И от этого приговора, от щемящего душу Костиного затылка мысли Насти начинают слепо метаться в голове, искать выхода.

А что, если предложить правлению: беру несколько маток на расплод, в новом свиноматнике начинаю все сначала, начинала же когда-то с десяти сосунков. Пусть старый свиноматник останется как был...

Обжигает минутная надежда, обжигает и гаснет. Свиноматник-то сдавать придется той же Павле, кто ж примет без счету, без проверки — все выплывает наружу...

А что, если просто уступить новый свиноматник другой свиноматке?.. Настаивала, подгоняла, ждала, а теперь — отказ. Сразу спохватятся — что-то тут не чисто. Выплывает...

А что, если сбежать вместе с Костей, все кинуть — пропади пропадом! Бежать?.. Куда, глупая? Кого уговорить собираешься?.. Костю? Глаза ему на себя открыть?.. И мать больная. И что делать на стороне?.. И куда скроешься? Как бы через милицию искать не принялись...

Мечутся мысли — нет выхода.

Курчавится детский пушок в лунном свете, кровоточит сердце от нежности. Влезла в заговоренный круг — выхода нет. Пока еще Костя рядом, пока еще прижался к ее боку. Неделька — срок отмерен.

Эх, новый свиноматник, надежда колхоза, добротный построенный, размеренный, рассчитанный... Новый свиноматник для лучшей свиноматки, для той, что — «гордое знамя»...

Пальцы свободной руки тянутся к пушке на шее, луна освещает крупную, раздавленную работой руку. «Родной ты мой, срослась, не могу без тебя. Знал бы ты, как мучаюсь, знал бы — простил. Душа-то в тебе добрая...» Разбудить бы его, рассказать начистоту: «Прости, если можешь, ради своего счастья, ведь срослись. А уж простишь — на руках буду носить всю жизнь, нянчить и голубить до последнего вздоха...»

И опускается рука: простить-то он, пожалуй, с ходу и простит, да потом опомнится. Ему тоже придется хлебнуть горького от людей, не меньше, чем ей, Пасте.

Тугая петелька — не вырвешься.

Тугая петелька, сама на себя накинула...

Не вырвешься?.. Нет, можно вырваться, и очень просто...

Для чего жить, коли все рушится? С работы скинут, муж бросит... Жить, корчиться от позора?..

Выход есть, и очень простой.

Слезы высохли на глазах, в грудь словно положили холодный кирпич.

Высвободить сейчас остороженько, с бережностью руку из-под Костиной головы, встать, выйти в сени, там на колышке висит веревка — летом траву носила... Выйти в сени и — на поветь... Можно и не сразу, можно и на крыльцо выглянуть, на небо полюбоваться. Над крышами — луна в полную рожу, кольца вокруг нее, морозец жжет... В последний раз на луну, на землю, где ей нет места. В последний раз вспомнить ту ночь, метельную, теплую, самую что ни на есть счастливую. Пушистые завитки на шее. В последний раз...

Нет слез, зреет решимость. Но уж очень тесно прижался Костя, очень жарко дышит, боязно разбудить его... И что торопиться, с этим всегда можно успеть...

А утром вместе с небом слиняла луна. Из-за леса, из глубин, перло вверх солнце, брызгало лучами. И старая изба покрякивала от мороза.

Пет, она еще обождет.

Костя так и не проснулся, лежит сейчас, укрытый ее руками. Скоро встанет, свежий, с ясными конопушками по щекам...

Нет, она еще обождет. Впереди неделя, хоть этой неделькой попользуется.

Без платка, с голыми икрами по морозку — к поленнице. Нахватала охапку охолодавших, свиного тяжелых поленьев, понесла в дом.

А мать уже сползла с печи:

— Беги, чадушко, по своим делам, управлюсь тут... Нынче сон видела: рыбу с твоим отцом, царство ему небесное, на Климовском перекате бродим. Все окуни, все окуни... Золотая рыбка — к добру это.

Умылась, обулась, не утерпела — прямо в сапогах и ватнике прошла к кровати, чтоб одним глазком глянуть, как Костя зорюет. И разбудила неуклюжая — половицы заскрипели. Поднял всклокоченную голову с заспанным очумелым лицом. Жесткой ладонью пригладила ему волосы, сказала скупно, чтоб не выдать боль:

— Утро на дворе, сокол.

Вышла.

С полпути заметила — по дороге торопится к деревне полуторка Женьки Кручинина. Не к ней ли такую рань?

Оказалось — к ней.

Женька высунул из кабины нахальную физиономию, спросил:

— Пожар устраиваешь, знаменитость?

— Какой пожар?

— Вишь, меня ни свет ни заря выгнали. Артемий Богданович вчера втолковывал: перевези барахлишко нашей славной знаменитости да не заставляй ее ждать. Подтвердишь потом мою исполнительность. Эхма! — Зевнул сладко. — И плотники уже к тебе собираются. Ну, прямо пожар.

— Вольно же Богданычу... Костя мой только глаза протер.

— Может, обождать у порога прикажешь, начальница?

— Езжай, коли приехал, трясина Костю. У меня своя справа.

Настя направилась к свинару: нет, не дадут спокойно дожить эту куцо отмеренную неделю.

Как всегда, первым ее учуял Кешка, вышиб рылом задвижку, как всегда, кинулся навстречу, вздохнул негромко и радостно повизгивая, колыхаясь от нетерпения, ожидая ласки. Так было каждое утро. Кешка подавал голос, просыпался весь свинару, стены заполнял требовательный визг проголодавшихся за ночь свиней.

Обычно гнала от себя назойливого Кешку:

— Кыш, дурак! Не линни! Погибели на тебя нет...
А сейчас преданная пороссячья радость ударила в сердце, потрясла, словно гром над головой.

Слава да уважение, купалась в нем, как в хмельном меду, а что осталось? Одна живая душа на свете ее любит, не отвернется, не шарахнется в сторону. Даже мать осудит, даже родная мать! Одна живая душа на всем свете и та пороссячья. Ластится Кешка, лишь ему можно верить, лишь он надежен — не продаст.

И от лютой жалости к себе подкосились ноги. Осела на пол, обхватила Кешкину морду, уткнулась лбом в жесткое пороссячье ухо:

— Ве-ер-ны-ый ты мо-ой!

Затравленный звериный вопль — жалоба на людей.

Егор Помелов со своими плотниками поработал на совесть. К вечеру избы не было, лежали кучи бревен, стояла раздетая печь, к ней прислонены входные двери со знакомой скобой и устало упавшей задвижкой...

Падал реденький сухой снежок, печь уставилась трубой в небо. Разрушено старое гнездо, мать и Костя выехали в село, в бывший Костин дом, где живет Костина мать и его замужняя сестра. Разрушены стены — это начало, остальное будет рушиться завтра... Стоишь, как на пожарище.

После того как Настя выплакалась возле Кешки, весь день зло думала о людях: они станут ее врагами, все до единого. Сейчас пока эти враги желают ей добра, потому и разгромили дом, негде преклонить головы. Кучи бревен и голая, зябущая печь, взметнувшая трубу в небо, — вот оно, начало конца.

Разрушенная изба напоминает пожарище... Настя стояла, разглядывала ее, и морозец продрал по спине...

Как вырваться из петли?.. Оказывается, можно, дух захватывает. Но ей-то теперь терять нечего...

21

Ночь провела в доме Павлы, одна, без Кости и без матери. Так уговорились: те пока будут жить в селе, Настя эти дни перебедеует в Утицах, не бегать же ей по утрам за семь километров к свинару.

Снова ночь провела без сна, снова думала...

Спозаранку, как всегда, была на свинарнике: растопляла плиту, чистила, скребла, разносила ведра с месивом. В углу под дощатым столиком стояла четверть с керосином — дрова порой были сырые, не сразу занимались — плескала на них. Четверть пыльная, давно не троганная, почти полная... Настя поставила ее под печь, поближе, чтоб была под рукой...

Перед обедом сказала Павле:

— В Загарье мне надо. Беда, дел полно. С Пухначевым нужда потолковать, в банк загляну — матери обещали пенсию пересмотреть. Поди, к ночи не управлюсь, придется у Маруськи переночевать. Ты подбрось моей прорве корму — вечером и утром, ежели рано не поспею.

— Езжай, езжай, не впервой, сделаю, — согласилась Павла.

По свежему снежку прикатил на мотоцикле Костя — как тут без него Настя? Настя и ему сообщила:

— В Загарье еду...

Все вещи были увезены, все вещи, в том числе и Настино пальто с мерлушковым воротником. Не ехать же в райцентр в грязном ватнике, в каком щеголяла по свинарнику. Настя взяла у Павлы ее полушубок, шерстяную шаль, Костя сvez ее на заднем сиденье до автобусной остановки.

— Чего тебе валяться по чужим людям, управляйся там — да прямо к нам в село, с нами и переночуешь, утром в Утицы махнешь, — попросил Костя.

— Коль не запозднюю, так и сделаю, — согласилась Настя.

В полушубке с чужого плеча, в чесанках с галошами она для Кости выглядела непривычно, словно бы и не своя, не родная.

Маруська в Загарье обрадовалась Насте. Старая дружба не вянет, помнит Маруська, как Настя к ней с бедой прибежала: поросятадохнут, выручай... Тогда Настя была простая свинарка, теперь — знатней по району человека нет, а вот ведь заходит, не забывает.

— Марусенька, любушка, тут у меня дел невпроворот — и в банке и в райкоме, до ночи задержусь, придется, видать, у тебя переночевать.

— Да господи! Место не заказано. Всегда рады...

Маруська — добрая душа, и дом у нее свой, и в каждой комнате кровать никелированная с периною...

— Только я могу и за полночь прийти. Знаешь, как

у нас — толки-перетолки, заседания, конца не видно.
— Хоть к третьим петухам. Стучи в окно — открою.
Постель тебе с вечера приготовлю, чистое постелю.

— Право, хлонот-то тебе со мной...

— Какие хлопоты? Полно-ко! Не чужие, чай.

Дни в начале зимы коротки, пока ехала да пока болтала с Маруськой — темно, напротив райисполкома и почты зажглись фонари.

Настя забежала в банк, стукнула в кабинет к самому Сивцову, тот был рад ее видеть, рад помочь Настинной матери с пенсией, но нужны справки из райсобеса, справки из военкомата. Сивцов загибал пальцы на сухонькой руке, ласково поглядывал сквозь толстые очки, а в голосе суровенькая вежливость — понимай: ты хоть и знаменитость, но и знаменитым законы писаны.

— Придется заночевать здесь, — со вздохом мирно сказала Настя. — Сегодня-то не успею достать...

В банке не задержалась, бросилась в райком. В райкоме не было ни Пухначева, ни Кучина — оба в разъезде: часть колхозов тянут с вывозкой хлеба. Говорила Настя с инструктором Лапшевым и ему сообщила:

— Здесь нынче заночую. Завтра утречком заскочу.

Из райкома направилась не к Маруське, а прямо к автобусной остановке, на ходу закуталась в шаль, подняла овчинный воротник, так что нос не виден, одни глаза. И неудивительно — морозец, чуть-чуть сыплет сухонький снежок.

Удачно рассчитала, автобус еще не ушел, иначе ждать бы часа два, не меньше.

Так и сидела укутанная до глаз в автобусе, делала вид, что дремлет. Почти все в районе ее знали в лицо, а тут еще впереди через два ряда торчал долговязый парень, техник-монтажник, что ставил механизмы в новом свиноматнике. Он тоже не узнал Настю — попробуй-ка разглядеть, кто такая, когда полушубок чужой, а лицо укутано в шаль. Техник-монтажник сидел нахохлившись и читал книжку.

Он сошел в селе. Настя проехала еще три остановки, отсюда до Утиц прямая дорога через поля.

Дорога пустынная, кому придет охота в такую темень вылезать на холод из теплой избы. Настя, кутаясь в шаль, бежала почти бегом...

В Утицах избы теплились редкими огоньками — добрые люди сидели за самоварами, на сон грядущий гоняли

чаи. Светилось и окно в доме Павлы — не ждет Настю, было сказано, что заночует в Загарье. А окна Настиного дома не светят — нет окон, нет самого дома, лежат кучей бревна да коченеет на морозе широкая печь.

Исхоженная тропинка, знакомая до последней выбоины, до последней вмятины — вслепую пробежишь, не споткнешься. Скорей, скорей... А за спиной вразброс — огоньки деревни, родной деревни, в которой уже больше не жить Насте — изба-то разобрана по бревнышку.

На дверях тяжелый амбарный замок, ключ от него из рук в руки ддем передала Павле. Из рук в руки ключ с веревочкой... Скинула варежку, в варежке, в кулаке, давно уже грелся ключ, точно такой же... Кому знать, что их было два, один запасной все время лежал на полочке в кормокухне над дощатым столом.

Тяжелый замок послушно распался, толкнула дверь. Сквозь шаль ударило в лицо тепло и густой запах, привычный запах, с него у Насти всегда начинался рабочий день.

Поплотней прикрыла за собой дверь, свет не зажгла. На минуту представила себе: во сне за стенкой вздыхает хряк Одуванчик, в густом воздухе сопение, шевеление — жизнь, скрытая от белого света, жизнь — сон да еда, тяжелеющие сутки за сутками туши сала и мяса. Сейчас обрушится на них беда, обрвется эта сонная жизнь...

И екнуло сердце — вспомнила Кешку. Самый верный, самый любящий...

Достала коробок спичек, рванула с лица душившую шаль. Пальцы тряслись, спички ломались.

— Ох ты, господи! Пропади все пропадом!

Вспыхнул огонек, испуганно закрыла его ладонью, — вдруг да в окно увидят, — оглянулась... Под топкой охапка сухих дров, рядом охапка соломы, скамьи, шаткий столик, пустые ведра, лопата. А где же бутыл с керосином?.. Ах, вот она.

Спичка погасла. Темнота, тишина, жизнь за стеной, та жизнь, которую она, Настя, изо дня в день поддерживала своими руками. Матки Роза, Рябина, Канитель — ныне каждая гора горой, — их когда-то за пазухой носила, из бутылочек прикармливала. Не ели, тощали — горе; стали есть, резвиться — радость. Любой из поросят был ее ребенком, оглаживала, обхаживала, ласковые слова находила. И теперь надо чиркнуть спичку. Одна

спичка — и обрушится беда. Одна спичка — и смерть Розе, Рябине, Канители, Кешке. И Кешке. И Кешке тоже...

Коробок спичек в руках. Может, не чиркать эту спичку? Добро бы только судили, не суд страшен, поди, много не дадут, помилуют, но позор на веки вечные, всяк плюнет в ее сторону, от опозоренной жены муж уйдет, мать с горя в гроб ляжет, и даже дома нет, кучей бревна лежат... Пожалей свиней, они дороги, спаси их, а сама гибли. Что дороже — они или жизнь?

И дрожащими руками Настя нащупала впотьмах бутыл, вытащила тряпичную затычку. Веселенько забулькал под ноги керосин, его резкий запах заполнил кормокухню...

Помещение давнее, выстоявшееся. Стены бревенчатые, а крыша тесовая. Между тесом — пласты бересты, «скала». Если тес погниет, то скала-то останется целой, не пустит дождь. Такие «заскаленные» крыши стоят десятки лет... Керосиновый запах, одна спичка в соломучу...

«Пожар устраиваешь, знаменитость?..» А что еще?.. На чужой повети в петлю голову сунуть? Она в Загарье, ее видела и Маруська, ее видел в банке Сивцов, видел в райкоме инструктор Лапшев, каждый от нее слышал, что остается ночевать. И это правда, ночевать-таки она будет в Загарье, через какой-нибудь час с небольшим подойдет автобус, она сядет — шаль до бровей, полушубок с чужого плеча...

«Марусенька, ох, закрутилась я...»

У Маруськи для нее разобрана кровать, перина застлана чистыми простынями.

А утром:

— Батюшки! Настя! Беда у тебя!

Беда!! Всполошится, бросится опрометью, забудет про справки для матери, не дожидется Нухначева, кого хотела непременно видеть. Беда! Скорей! На одну ночь только отлучилась! Что за растяпа Павла!..

Свиней жаль — нянчила, выкармливала. Не изверг же она, душа кровью обливается. Но или они, или ты, задави жалость, Настя. За мужа, за дом родной, за всю жизнь свою, если не хочешь потерять, — одна спичка...

Но рано... Не зря же Настя не спала всю ночь — продумала. Свиноарник наглухо закупорен, огонь может и задохнуться. Настя ощупью добралась до окна, локтем в полушубке выдавила одно стекло, второе, легкий мо-

розный воздух ворвался в керосиновую вонь кормокухни.

Одна спичка... Но Настя медлила, переминалась, наконец решилась. Толкнула внутреннюю дверь в свинарник, позвала сдавленно:

— Эй, Кешка!

Даже он, дурачок, спит, даже он не учуял, что пришла...

Кешка завозился в глубине.

Все свиньи заперты за загородками, один Кешка умеет рылом сбивать задвижку. Это каждому известно в колхозе. Кешка знаменит, как и Настя. Никто не подивится, что один Кешка вырвался из огня.

— Эй, Кешка!

И он выскочил, ткнулся, повизгивая, в колени — счастлив нежданной встрече. Настя приоткрыла дверь на волю, вытолкнула Кешку.

— Гуляй, лапушка, живее...

Теперь все. Одна спичка!

И спичка вспыхнула, плеснуло пламя, лихорадочно зарумянились бревенчатые стены, в глубине свинарника стариковски вздохнул не ведающий о беде хряк Одуванчик. Настя шарахнулась к двери, распахнула ее, еще раз оглянулась назад на освещенные в веселой трясушке бревенчатые стены, выскочила, непослушными руками навесила замок, повернула ключ...

Пуста дорога, сыплет снежок. Пуста дорога, темна ночь, за спиной спокойно теплятся окна родной деревни, соседи Насти, знакомые Насти собираются спать. Пуста дорога, кто в такую ночь покинет перед сном теплую избу?

Можно бы и не снешить, не скоро подойдет автобус, но ноги несут.

Подойдет автобус, Настя сядет в него — чужой полушубок, закутано шалью лицо. Сядет и задремлет...

«Марусенька, ох, закрутилась я...»

У Маруськи приготовлена перина под чистой простыню. А утром:

— Батюшки! Настя! Беда у тебя!

Пуста дорога... И вдруг вздрогнула — тяжелое посапывание сзади, кто-то нагоняет. «Ой, дурень, совсем испугал — ноженьки подкосились». Кешка бежит следом, верный Кешка, спасенный от огня. Все будут считать — ловкач, вырвался...

Кешка привычно ткнулся в колени.

— Кыш! Иди-ко, любимый, иди. Покуда сам живи. Авось завтра встретимся...

Отогнала Кешку, снова побежала — счастье великое, что куста дорога, навел бы дурень тень на плетень, долго ли...

Кешка — ни на шаг, бежит, повизгивает от страха. И до Насти дошло: ведь не отстанет, так и проводит до автобуса. Дорога-то пуста, а на тракте — люди, того же автобуса ждут. Даже если и нет никого по позднему часу, то из автобуса наверняка увидят — свинья на дороге, это ночью-то, за бабой увязалась, почему бы это? И узнают Настю, и все пропало!

— Кыш! Погибель моя! Кыш, дьявол!

А он врзался с разгона в подол.

— Кыш!! — мягким кулаком в варежке — между глаз, коротко взвизгнул, отскочил, Настя кинулась от него.

Сопение сзади, нет, не отстанет. И зябкий мороз охватил под полушубком — беда негаданная, как смерть по пятам. Сама выпустила, пожалела, расплачивайся опять за жалость-то.

— Ах ты, злыдень! Ах ты, отродье дикое! — Руки трясутся, под полушубком по потной спине гуляют морозные мурашки.

Увернулась от Кешки, бросилась с дороги, упала на колени, стала судорожно шарить варежками: «Камень бы покрупней... Отвадить бы сатану, ни дна ему, ни покрышки...»

Но под слоем снега руки нащупывали лишь комья мерзлой земли. Бросалась ими:

— Провались ты, треклятый! Сгинь!

Кешка вился вокруг большой тенью, повизгивал. Настя ползла на коленях, глотала слезы:

— Знать бы... Эх, знать бы... Да я б тебя, поганого!..

Наконец-то подвернулась булыга, крупная, тяжелая, в коросте снега, смерзшейся земли. Сжала ее варежками, поднялась. Кешка маячил в стороне, уже пуганный, уже не доверяющий.

— Кешенька, иди, голубчик. Подь сюда, глупый... — Голос елейный, со слезой. — Да иди, сатана, поближе, иди!

И он бочком придвинулся. И грузный камень опустился на морду, и по темному полю пронесся морозащий кровь визг. Кешка исчез в темноте, а визг рвался в ночи, надрывный, оскорбленный, горестный.

И тут произошло невероятное. Настя словно проснулась от визга, вдруг увидела себя со стороны, отчетливо

и безжалостно — среди серого заснеженного поля, накрытая глухой тьмою, преступница, прячущаяся от людей, прячущаяся, потому что перестала быть похожей на них. Все на ласку отвечают лаской — она подымает камень, за почет, за уважение бросает спичку — нет ничего святого, гори ясным пламенем. И вопят сейчас в смертельном ужасе свиньи. Гори все, ее труд, ее прошлые радости и беды, гори все живое, поднятое ее руками! Вопят там сейчас свиньи. И перед лицом падает снежок, падают вялые хлопья, напоминающие умерших подёнок, августовскую счастливую ночь, реку, лодку, Веньку Прохорёнка, свою молодость. Сама себе страшна, сама себе противна — одинокий выродок среди ночного поля. Вопят свиньи...

Настя стояла так минуту, не больше, ровно столько, чтоб успел замолкнуть побитый Кешка. Сорвалась, бросилась обратно к деревне, туда, где люди, где пожар, где вопят свиньи. Туда, к своим!

Пот заливал глаза, сорвала на бегу шерстяную шаль, бросила. Дыхание спирает, ноги путаются, с остервенением рвала пуговицы на полушубке, скинула его. Бежала дальше, простоволосая, в одном платье, с хрипом дыша, не чувствуя мороза, спотыкаясь, падая, вновь подымаясь.

В деревне теплится чье-то одинокое полуночное окно. И не видно пока зарева. Мимо своей печи, своей усадьбы, кучи бревен, по тропе, пробитой своими ногами, — поспешит, должна поспеть! Свилярник издадека — сонный и темный, с одного конца снежком припорошена крыша. Нет беды, не померещилось ли?

Но, еще не добежав, услышала истошный визг, приглушенный стенами. И этот визг подхлестнул...

Дверь в кормокухню. На ней замок. И похолодела — ключа-то нет, ключ-то остался в брошенном полушубке. И визг свиней, и через дверь слышен какой-то блудливый, трескучий перепляс... Замок — ключа нет. Вторые ворота заложены изнутри.

И заметалась вдоль по степе от окна к окну. Но окна узки, рамы крепкие, без топора не выломаешь. Добежала до угла, завернула и ахнула... Со стороны деревни свилярник сонный и темный, но он собой закрывает розовый снег. Из окна кормокухни выплескивает кипящее, жадное, в темных чадных завитках пламя. Оно облизывает стену. И часть степы — золотая, яркая, выедающая

глаза. А на крыше вдруг на пустом месте вырос сияющий чертик, пошел отплясывать. И осипший рев одичавших свиней. И ничего нельзя сделать.

Настя заломила руки и завопила:

— Спасите! Спаси-те!!

Не переставая голосить, кинулась к деревне. К первой избе, к первому окну, кулаками изо всей мочи:

— Спасите! Спаси-те!!

Ко второй избе:

— Спаси-и-те!!

Хлопнула дверь, другая, хриплые мужские выкрики, бабье аханье. В стороне над свинарником крепло зарево, тускловатое, с багрянцем, как освещенный под гаснувшей печи.

Хлопали двери, и над деревней разносился надрывно зовущий, плачущий голос:

— Спаси-те!! Спаси-те!!

Люди добрые, спасите Настю.

РАССКАЗЫ



РАССКАЗЫ РАДИСТА

«Я НА ГОРКУ ШЛА...»

Давно вышли из строя старушки 6-ПК, про которых радисты говорили: «Шесть-пэка натрет бока», — полк получил новые радиостанции. Меня назначили начальником одной из них.

Есть начальник, есть поблескивающий ручками на панели управления благородно-серый инструмент 12-РП в двух упаковках. Не хватало лишь подчиненного штата.

Положено три радиста, но где там три... Сняты с полевых кухонь помощники поваров — меняй черпак на винтовку, иди в роту, окапывайся, стреляй. А помощника-то повара радистом не поставишь.

Хожу в начальниках, оглаживаю рацию, надоедаю своему непосредственному начальству — командиру радиовзвода лейтенанту Оганяну:

- Даешь штат!
- Обещают.
- Трех?
- Одного.
- Ну, двоих выхлопочи.

Оганян молчит, напускает на себя значительность. Он и сам хотел бы трех. Одна надежда — Оганян упрям, авось переупрямит.

Не вышло.

У нашей землянки появляется парень — плотноват, плечист, с выправочкой бывалого вояки, лицо кругло и румяно, как домашний пирог, и по всему лицу от уха до

уха растеклась улыбка — предел добродушия, — чуть-чуть приправленная снисходительностью. Улыбается, словно говорит: «Не тушуйся, я — парень простой...»

А я и не собираюсь тушеваться — как-никак начальник, не хватай голой рукою.

— Солнышков.

— Что — солнышко?

— Не солнышко, а Солнышков, фамилия моя такая. Зовут Виктором.

А физиономия лучится улыбочкой. При такой физиономии да такая фамилия — ну и ну, попадание в яблочко.

Я веду улыбчивое Солнышко к зуммерному столу.

Мы уже давно стоим в обороне, не только выкопали землянки с накатами, не только пробили от землянки к землянке тропинки, но даже соорудили перед своим входом такую роскошь, как зуммерный стол с ключами и гнездами для наушников. За этим столом мы время от времени тренируемся в приеме и передаче «морзянки». Время от времени, не насилуя себя, так как наш лейтенант Оганян покладист, считает, что фронт и без того тяжел, незачем излишне обременять солдата.

Солнышко сел за стол, покосился на ключи, но улыбается так, словно я не будущее его начальство, а милейшая теща, собирающаяся поставить перед ним масляные блины и забористый первачок.

— Ты работал радистом?

— Угу.

— Батальонным? Полковым? В артиллерии?

— На «катюшах».

Ответы мгновенны, никакого раздумья, взгляд прям, открыт, добр, и ни на секунду не сходит задушевная улыбочка с полных губ.

— На «катюшах»? Ого!

О «катюшах» в окопах рассказывают легенды. И всякий, кто хоть как-то был связан с этим таинственным и могучим оружием, сам легендарен для пехотинца. Вот ведь где побывал парень, хотя я бы предпочел, чтоб он пришел ко мне с флота или из авиации — там классные радисты.

— На ключе работал?

— На чем?

— На ключе. Вот на этой штуке.

Улыбка и ответ:

— Немного.

Не так-то просто оценить мастерство, скажем, бухгалтера или артиллериста. Надо долго испытывать, приглядываться, да и после этого не всегда-то появляется твердая уверенность — справляется на «пять» или вытягивает на «тройку». Но мастерство радиста узнается сразу и с математической точностью, стоит только задать вопрос. И я его задал:

— Сколько групп принимаешь?

— Чего?

— Сколько групп цифрового текста на слух?..

И впервые Солнышко на секунду замялся, но только на секунду, не больше.

— Сколько? Да сорок.

— Сорок!

На меня напала робость. А вдруг — да, чем черт не шутит... Лучшие наши дивизионные радисты принимали тогда на слух двадцать три пятизначных группы в минуту. Двадцать три — лучшие! А я, обученный впопыхах за какой-нибудь месяц в школе младших командиров, я, от природы не блиставший способностями, один из тех, кому «медведь на ухо наступил», принимал всего восемь групп, ну, при удаче и усердии — девять. Сорок! Я даже не знал, существуют ли такие виртуозы. Наверно, существуют. Вдруг да редчайший экземпляр сидит передо мной, глядит счастливыми глазками мне в зрачки, улыбается: ничего, мол, не тушуйся, я — парень простой.

— Вы...— Начальническая спесь слетела с меня, я стал заикаться от уважения. — Вы не ошиблись?

— Ну, может, не сорок, может, двадцать. Точно не помню.

— Может, пять или четыре? — спросил я.

— Может, и пять, — охотно согласился он.

Я сердито уставился на него, а он глядел невиннейше, глядел и улыбался, и в его улыбке — все то же: «Ты не тушуйся, сам видишь: я — парень простой».

И я не выдержал гонора, расхохотался. Счастливо засмеялся и он.

— Ну, ладно, скажи: кем был?

— Минометчиком. Командиром батареи быть пришлось.

Ну уж нет, теперь меня так просто не купишь — был бы командиром, хоть какие-то знаки различия на петлицы наценили бы, а они чисты.

— Плиту таскал?

— Таскал.

— Вот этому верю. Раз плиту таскал, будешь таскать и рацию. Спина, вижу, крепкая.

Я ведь знал, что мне все равно другого не дадут, выбирать не приходится.

Так у меня появился подчиненный — первый и единственный в жизни, других не имел.

Из всей радистской премудрости Витя Солнышко усвоил на слух лишь две цифры — «двойку» и «семерку». Первая напоминала по звуку фразу: «Я на горку шла...», последняя — «Дай, дай закурить...» Но в нем сразу же открылся талант — быть там, где его не ждали.

В первый же день моего начальствования я высунув язык бегал по штабу полка, искал своего подчиненного. Был на кухне, был в землянке связных, сбегал в тыл к обозникам, всюду спрашивал:

— Не видали Солнышка?

Мне отвечали:

— Задери голову. Вон же висит, никуда не упало.

Наконец я рванулся к телефонистам, чтоб обзвонить все штабы батальонов, и увидел рядом с дежурным по коммутатору его, Солнышко, как всегда счастливо улыбающегося.

На другой день я встал пораньше, чтоб мой подведомственный штат не успел испариться, поднял с нар:

— Идем, буду учить, как разворачивать рацию.

Вышли в степь. Я стал показывать, как укреплять шесты, как разбрасывать усы антенны. Витя Солнышко потел, усердно бегал вокруг меня, присаживался у развращенной радиостанции, а я колдовал с высокомерным видом древнеегипетского жреца:

— «Тюльпан»! «Тюльпан»! «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Я — «Клевер»! Как слышишь? Как слышишь? Даю настройку: раз, два, три, четыре, пять... Пять, четыре, три, два, один... Как слышишь? Я — «Клевер»! Прием.

Щелчок переключателя, шорох и хруст в наушниках, а затем буйно-напористый голос с полковой радиостанции:

— «Клевер»! «Клевер»! Я — «Тюльпан»! Слышу вас хорошо. Прием.

И Витя Солнышко восторженно шлепал себя по ляжке:

— Ах ты, кузькина мать! Аж в ухо бьет...

Неудивительно — полковая радиостанция находилась в каких-нибудь пятистах шагах от нас.

Наконец я доверил Вите Солнышку микрофон, приказал:

— Сам установи связь.

Солнышко решительно взялся за дело:

— «Клевер»! «Клевер»! Эх, так твою перетак! Спутал... «Тюльпан»! «Тюльпан»! — заорал он на всю степь. — Как слышишь?!

— Слышу, дай бог. Даже без рации, — последовал ответ.

— Вот ведь техника! — умилился Солнышко.

Когда я доверил Вите упаковку питания, он от усердия такого напел, что чуть не сделал короткого замыкания. Мне пришлось долго ковыряться.

Наконец анодные батареи были прикреплены к своим клеммам, аккумулятор — к своим, я поднял голову:

— Напортачил... Ну, вот... Все в порядке...

Однако не все в порядке. Вити Солнышка не было на месте. Там, где он сидел, — лишь примятая полынь. А только что, минуту назад, я слышал над ухом его виноватое сопение.

Справа, слева, спереди, сзади нет — исчез! Степь пуста, только в стороне возятся незнакомые артиллеристы с пушкой.

— Эй! — крикнул я слабо. — Хватит в прятки играть! Вылезай!

Не тут-то было. Спрятаться можно только в сурчящую нору, — степь как блюдо. И меня охватило отчаяние — кого это мне подсунули? Что у него вместо пилотки — шапка-невидимка на башке?

Как ни совестно, а пришлось связаться с полковой рацией:

— «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Не сбежал к вам Солнышко?

— «Клевер»! Я — «Тюльпан»! Опять закатилось? Сочувствуем. Здесь вроде не светит...

— «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Буду сворачиваться...

— Сворачивайся, «Клевер». Но как ты притащишься с двумя упаковками?

— Как-нибудь притащусь. Черт бы побрал помощника...

Я один свернул радиостанцию. Шесты, оттяжки, две упаковки по бокам — я, груженный словно ишак, побрел к штабу с твердым намерением предстать перед лейтенантом Оганяном, потребовать: даешь другого!

Но едва я сделал пять шагов, как Солнышко вырос передо мной, потный, пыльный, с мазутным пятном на щеке, с широченной улыбкой — счастливый человек, не ведающий о своей вине.

— Артиллеристам помогал... В воронку ввалились...

И я непедагогично раскричался:

— Шалава! Ты и в бою такие нырки устраивать будешь? Сегодя же доложу! Полетишь к чертовой матери из радистов! С меня хватит. Пусть другие нянчатся!

А Солнышко задушевнейше улыбался: «Ты не тушуйся зря... Сам видишь, — я прост, не хотел тебя обидеть».

Он взвалил на свои плечи и приемопередатчик, и набитую тяжелыми батареями упаковку питания, зашагал бодро, улыбаясь в открытую степь.

Опускалось солнце, в лицо дул вечерний, прохладный ветерок.

И я размяк...

Мы меняли оборону, были походы. Телефонисты не успевали наводить связь. И тут радисты, от которых наше командование обычно отмахивалось: «Э-э, вижу, да не слышу, проволочка надежнее», — оказались нужны.

В походах я держал Витю Солнышко за гимнастерику. Он нес упаковку питания и в любую минуту мог исчезнуть, и тогда паша радиостанция будет нема, как камень.

Новые места, новые землянки, новая жизнь.

Немецкие батареи утюжили степь, перепадало и нам, приютившимся в пологом овражке. Один снаряд пролетел под брюхом старой коняги, таскавшей полевую кухню, подпалил, сказывают, даже шерсть, срубил жиденькую ветлу, врезался в землю и... не взорвался. Случалось и такое.

Отбивалась одна атака за другой, передовая захлебывалась.

Я устал следить за Витей Солнышком.

Пролетевший «мессер» обстрелял повозки, подвозившие боеприпасы к минометной батарее, уложил одного и ранил второго повозочного. Старшина, сопровождавший повозки, растерзанный, с дергавшейся от контузии щекой, метался среди степи.

И конечно, старшине подвернулся не кто иной, как Витя Солнышко, улизнувший из-под моего надзора. И ко-

нечно, он, не раздумывая долго, взгромоздился на одну из повозок, погнал коней через степь, к передовой...

Среди окопанных минометов, выставивших стволы к синему небу, метался лишь командир батареи, остальные сбежали. С пологого взлобка скатывались немецкие автоматчики, падали в высокую траву и ползли. Командир батареи снимал замки...

Автоматные очереди хлестали по огневой, курилась пыль, брызгали комья глины от брустверов. Обычно летящие в воздухе пули высвистывают застенчиво и вкрадчиво, сейчас они истерично визжали, рвались сухими хлопками. Автоматчики били разрывными.

И в это-то время на место, откуда сбежали не новички, а обстрелянные солдаты, ворвалась пара взмыленных коней, запряженных в повозку. Витя Солнышко стоял во весь рост и нахлестывал разгоряченных лошадей, обезумевших от близкой автоматной трескотни, свирепого визга пуль, остановить их было нельзя, они могли унести и ящики с минами, и лихого повозочного прямо к немцам. Витя направил лошадей на окоп, они перемахнули, а повозка влетела колесами и перевернулась, вывалив прямо на батарею мины, а заодно и самого Солнышка.

Лошади помчались через высокую степную траву, перевернутая повозка кидалась из стороны в сторону, спугивая на пути автоматчиков.

А Солнышко, схватив из разбитого ящика мину, бросился к миномету. С ним-то он умел справляться куда лучше, чем с радиостанцией 12-РП. Подскочил и командир батареи...

Первая мина разорвалась в траве, неподалеку от рухнувших коней. Сразу же выскочили сутуловатые фигуры автоматчиков, пригибаясь, бросились назад, на пологий склон взлобка, столкнулись с теми, кто спускался, перемешались, замялись.

Вторая мина, взрыв к небу, описав крутую дугу, опустилась в суглоку на склоне... За ней еще и еще... Автоматчики бросились врассыпную...

На пригорке остались только трупы и воронки. Принялись бросать за пригорок наугад, для острастки... Трудились до тех пор, пока не упали в бессилии, и Витя Солнышко счастливо известил:

— Прикурить дали...

А командир батареи вдруг расплакался. Он был еще очень молод, моложе самого Вити Солнышка.

— Ты чего? — от души удивился Витя.

— Думал: или эти прихлопнут, или... или... расстрел. Батарея-то драпанула... Они ползут, и конца им нет...

Мне не рассказал Витя, что он ответил, думаю, просто улыбнулся: «Не тушуйся, парень...»

Оправившись, командир батареи вдруг спросил:

— Да ты-то кто?

И, конечно, Витя не без гордости ответил:

— Радист.

Тут же, немедленно, решил удивить своими знаниями:

— На слух принимаю... Вот слушай: «двойка» — «Я на горку шла...». Уловил? А вот: «Дай, дай закурить...» Уловил? Это, брат, «семерка».

Но командир минометной батареи, размазывающий по лицу грязь пополам со слезами и потом, не успел оценить ученость Вити Солнышка.

Появился хромающий на обе ноги, с дергающейся щекой старшина, который вел за собой сконфуженных минометчиков.

Старшина выглядел теперь иным — не растерянный и растерзанный, а грозный начальник, спасший положение:

— Дерьмоеды! Курицы мокрые! Ишь, разлетелись, сучьи дети!.. — кричал он на минометчиков.

— Коней я тебе угробил, — сообщил Солнышко. — Вон там лежат... Кони добрые, должно овсом кормил...

— Коней достанем. Я ведь за тобой на второй повозке гнался, у меня тоже правую подшибло... Спасибо тебе, парень. Счастье мне, что на такого героя наскочил... А эти?.. — Грозный старшина повернулся к минометчикам. — Минометы побросали! Я бы вас, сукиных сынов, уж тогда заставил поплясать! Вы бы у меня повертелись, блохи прыгучие! Кланяйтесь в ножки парню, что выручил.

Солнышко не стал вмешиваться во внутренние дела, решил проститься:

— Ну, бывайте здоровы, мне пора.

— Да ты кто есть-то? — спохватился старшина.

— Радист, — почтительно ответил за Витю командир батареи и еще почтительнее добавил: — На слух принимает.

Других сведений о Вите Солнышке он сообщить не мог.

А в это самое время я занимался привычным делом — бегал по штабу полка и справлялся:

— Солнышка не видали?

И мне сочувствовали:

— Опять закатилось?

— Закатилось, холера. Чуть отвернись — уже нет. Жизнь проклятая, буду проситься в телефонисты.

Он появился к вечеру. Я застал его в землянке. Сжав коленями котелок, он уписывал кулеш. Взглянув на меня, с набитым ртом поприветствовал неизменной улыбочкой.

— Что мне с тобой делать? — в лоб спросил я.

Но вразумительного ответа не дождался. Солнышко улыбался.

А утром радистов одного за другим стали таскать в штаб полка. Принимал сам командир, подполковник Усиков.

— Кто из вас лучше всех принимает на слух?

Первым назвали Квашина, он из кадровых, старый радист, вряд ли уступит в приеме на слух армейским и дивизионным радистам.

— Где был вчера от трех часов до шести?

— Дежурил. Ровно в пятнадцать ноль-ноль связывался со штабом дивизии.

— Не подойдет. Кто из вас еще хорошо принимает на слух?

Перебрали всех, дошли до меня.

— На слух принимаешь?

— Так точно. Немного.

— Хотя бы немного. Где был вчера от трех до шести?

— Здесь, товарищ гвардии подполковник!

— Где это — здесь?

— В штабе полка, товарищ гвардии подполковник!

— Где именно?

— Искал Солнышка.

— Но-но, без шуточек.

— Виноват, Солнышкова. У меня радист — фамилия Солнышков. Его искал, товарищ гвардии подполковник.

— Ах, есть еще радист?

— Недавно назначили.

— Он на слух принимает?

— Никак нет, товарищ гвардии подполковник!

— Так какой же он радист?.. А впрочем, других больше нет. Позови-ка сюда это... как его, Солнышко...

Всем было ясно: случилась какая-то неприятная заварушка. Сам командир полка разбирается. А кто еще из ра-

дистов мог отлучиться и набедокурить, как ие Витька? И мне стало жаль его.

В душе я надеялся, что его, как всегда, придется долго искать, а там, глядишь, случится что-нибудь — или приказ о наступлении, или вызов командира полка в штаб дивизии. Замнется, забудется, мимо пройдет.

Но на этот раз Витя Солнышко был на своем месте. От безделья он нашел себе занятие — надраивал полый шинели алюминиевый котелок и пытался разглядеть свою глупую рожу в донышко. При этом сам себе улыбался.

— Иди, командир полка тебя вызывает.

Нисколько не смутился, нисколько не удивился, словно командир полка вызывал его каждый день не по одному разу. Оправил под ремнем гимнастерку, надвинул пилотку — на два пальца над бровью, с сомнением поглядел на свои пыльные, покоробленные кирзовые сапоги — стоит ли их чистить; решил: не стоит, сойдет и так, — двинулся, пристукивая каблуками, унося затаенную улыбочку — отзвук той, с какой гляделся в дно котелка.

Вернулся через полчаса — над круглой физиономией торчит пилотка, край на два пальца над несуществующей бровью, заправочка — как положено, улыбочка — как всегда: «Не тушуйся, я здесь...»

— Ну?..

— К ордену представляют.

— За что?

— Немцев остановил. Наломали бы дров...

— Не пойму... Какой орден?

— Может, Красного знамени, может, Ленина.

— Героя не хочешь?

— Может, Героя, а что?

Его представили к ордену Красной Звезды. Но от представления к получению — путь немалый, на этом пути случаются и кочки.

До сих пор был лозунг: «Вперед, на запад!» Сейчас на танках, поддерживающих наш полк, выведены надписи: «Вперед, на восток!» Сталинград лежал к востоку...

На пути наступления подвернулись землянки.

Неплохо немцы тут обжились. Первые, кто заскочили в землянки, дивились:

— Эва! Музыкой забавлялись.

Щупали черный рояль.

— Мать честная! А зеркало-то! Откуда такое сперли?.. Ворочались перед огромным трюмо, любовались — рожки грязные, ошпаренные морозом, мятые, пузырящиеся под ремнями шинели, кирзовые подсумки, сумки с гранатами, обвисшие подшлемники, косо сидящие каски — хороши, так и подмывает шарашнуться от самого себя.

Но кто-то шмякнул свой вывоженный в окопах вещмешок на крышку рояля, в валенках, в полушубке полез на инструмент:

— Эхма! Разведу сейчас музыку — три ночи не спал.

Другой ткнул его в зад:

— Пододвинься-ка, место двуспальное...

Были тут и широкие нары, укрытые ковром. На них лишь завистливо косились, но не занимали — тут начальство заляжет.

Устроились в два этажа: на нарах — командир батальона со своим штабом, под нарами и на полу, спина к спине, голова к голове — телефонисты, рассыльные, мы — радисты, какие-то случайные солдаты из взвода ПТР со своими неуклюжими, как старинные пищали, ружьями. Их пробовали выставить на мороз, но где там — угнездились, огрызаются, дымовыми пашками не выкуришь. Набились так, что ладонь ребром не протиснешь, к выходу по малой нужде пробирайся по плечам, ногам, головам.

Солнышко рядом со мной, держу на прицеле, не отпускаю от себя ни на шаг. Но вот поднялся.

— Куда?

Лезет к двери, мнет лежащих, те ругаются:

— Полегше, дядя. Не мостовая — люди живые.

— Куда?

— Терпежу нет... Сейчас вернусь.

Вернулся, не обманул, но застрял, не доходя до меня, возле сержанта Степанова, из телефонистов. У Степанова влажные, доверчивые глаза, лицо без хитрости, а сам — пройдоха, каких мало. Выманил у меня старую добротную полевую сумку на подметки для сапог, обещал сала. Сапоги он себе сшил, а сала — выкуси. Солнышко и Степанов шепчутся, к ним прислушивается солдат из ПТР — острая морщинистая физиономия старой лисы. Не к добру.

— Солнышко!

Ползет ко мне.

— Что там затеял?

Сдвинул шапку на лоб, почесал затылок, чуточку обескуражен, только чуточку, на большее никогда не хватало.

- Слушай, младший сержант... Отпусти на часок.
- Эт-то куда?
- Да надо.
- Ложись и спи.
- На нейтралке, в овраге, — немецкие склады...
- Ну и что?
- Как — что? Говорят, спирт в канистрах — залейся.

Консервы разные...

- Ладно, ладно, забудь.
- Ты пивал коньяк?
- Ну, нет.
- А я пил.
- Положим...
- Хочешь, принесу?.. Заграничный! Запах что духи.
- Коньяк тебе нужен! Шило в заднице!
- На часок, на один часок!
- Ложись!

Я неумолим. Вдруг да отдадут приказ — вперед! Останусь с двумя упаковками, без помощника. Нет уж, дудки, сегодня не выгорит.

Витька повздыхал, поканючил, поерзал — уронил голову на вещмешок, через минуту спал сном младенца.

Уснул и я...

Проснулся оттого, что мой бок никто не греет. Поднял голову — рядом пусто, Солнышка нет. Приподнялся на локте: черт бы всех побрал, нет и Степанова, да и старик солдат из пэтээровцев исчез.

Смыться во время наступления — это уж слишком. Взять бы да доложить... Но на фронте не церемонятся: самовольный уход расценивается как дезертирство — если не расстреляют, то как пить дать упекут в штрафную роту. Как ни зол на Солнышка, а подводить под монастырь желания нет.

Кошусь на дежурного телефониста. Он в любую минуту может встрепнуться, почтительно дернуть за хромовый сапог комбата:

— Товарищ капитан! Вас — ноль-один. Срочно!

Ноль-один — командир полка, он отдаст приказ о наступлении. И всколыхнутся все, а я буду сидеть у двух тяжелых упаковок, как баба-мешочница на вокзале, пропустившая поезд.

Но телефонист, распустив губы, дремлет без шапки у телефона, веревочная петля наброшена на стриженую голову, с ее помощью телефонная трубка без рук держит-

ся у уха... Ходуном ходит землянка — неспровокация сап и хранение, все спокойно...

Наступая на плечи, руки, головы, выслушивая сонные ругательства, я выбрался на волю...

Темноту хоть режь ножом, только у самых ног серовато маячит снег. Идет ленивая ночная перестрелка. Пролает автоматчик с той стороны, наш ответит: «Слышишь, не сплю, сукин ты сын, так-то...» Очнется от дремоты третий, четвертый, тоже для порядка пустят очередь в черные небеса, забрешет вразнобой передовая, как разбуженные собаки в деревне.

Выкатилась ракета, выписала знак вопроса, погасла, не долетев до земли... После ракеты перестрелка не разгорелась, а увяла, — значит, ползущие под немецкие окопы Витя Солнышко с приятелями не замечены...

Все спокойно. Такое спокойствие может длиться час, два, сутки, трое суток, недели и месяцы. Под Старыми Рогачами всем казалось, что остановились на часок, а простояли два месяца... Все спокойно...

Я влез обратно в теплую, густо запашистую землянку, добрался до своего места.

«Эх, сниму стружку!»

Через несколько минут я спал.

Они перекурили с солдатами, сидевшими в передовых окопах, предупредили их: «Обратно полезем, дуриком-то не стреляйте, еще ухлопаете...» Командиру роты обещали поднести при удаче. Командир роты не остановил их, что ему: не его состав, головы потеряют — он не ответит.

Ползли тихо, зарывались в снег...

Нейтральная полоса — место для разгону, нельзя же сидеть с противником нос к носу вплотную. Нейтральная полоса — земля, которую еще не прибрали к рукам. Земля неизведанная, неразгаданная, такая же таинственная, как и намерения врага. Откуда обычно узнаются сведения, что там, в непрощупанной полосе, находятся богатые склады?.. А, как правило, узнаются, распространяются с быстротой молнии среди солдат. До командования они доходят в последнюю очередь.

Ползли тихо, зарывались в снег...

Немецкий пулемет бил поверх их голов, куда-то в тыл к нам. Трассирующие пули рвали на клочки темноту.

Перележали и вспыхнувшую ракету. Их не заметили

только потому, что немцы и подумать не могли — русские решатся разгуливать возле их окопов.

Ракета осветила склон оврага, в нем — темные двери землянок, возле которых снег измят скатами машин. Склады!

Дверей много, склады разные — обмундирования, горючего, боеприпасов. Звериным чутьем угадали те, какие нужны.

Подползли и... рывком к двери — один, второй, третий... Прислушались — тихо. Порядочек, теперь уж так просто отсюда не выкурят.

Поплотней прикрыли за собой дверь, посветили фонариком. Бочки, ящики, бумажные мешки. Кажется, не ошиблись. И запах провиантского склада — затхло-влажный, с кислятинкой.

Нашарили парафиновые плошки. Там, где были немцы, всегда валяются эти плошки и пакетики сухого спирта. Этот спирт — не спирт, огнем горит, нить нельзя.

Зажгли плошку, поставили на бочку, огляделись уже внимательнее, с прикидкой — с чего начать?

Нет, не ошиблись!..

Сорвали крышку с первого ящика — пакеты с пестрыми наклейками — верно, концентраты. Ну их к чертям! Второй ящик набит, как снарядами головками, банками консервов. Уже кое-что...

В углу в плетеных корзинах, каждая в своем гнезде, — пыльные, богом и людьми забытые бутылки. Понесли к свету одну, склонились голова к голове, поразмышляли над мудреной этикеткой: «Черт ее знает! А вдруг какая-нибудь жидкость от вшивости...» С грехом пополам — все трое грамотеи как на подбор — разобрали:

— Вроде «ром» написано?..

— Что-то похоже.

Все-таки не поверили, выковыряли пробку, приложились по очереди, глянули проникновенно друг другу в глаза — вонюч, как буряковый самогон, — значит, пить можно.

Не ошиблись!..

Начали набивать вещмешки, не торопясь, без жадности, с умом — бутылку от бутылки прокладывая стружкой, чтоб не побились, банки консервов захватили на закуску.

Мешки набиты, снова переглянулись, без слов поняли друг друга. Во-первых, зачем нести добро только в мешках, когда можно унести и в собственном брюхе? Во-вторых, не мешает обстоятельно проверить разные марки — какая лучше.

В-третьих, под богом ходим, вдруг да на обратном пути шлепнет, так и умрешь, не попохавши, — совсем обидно.

Выдвинули бочку, подставили ящики. Садись, братва, не стесняйся, будьте как дома. Расковыряли банку консервов, прикинули бутылку с одной этикеткой, с другой. По этикетке и выбрали ту, которая меньше раскрашена, — ну их, фокусы.

Крякая и закусывая, опорожнили, сообщили доверительно:

— А ничего...

Принялись за вторую:

— А ничего...

Почали третью...

Наконец спохватились: пора и честь знать. Взвалили на плечи мешки.

Сюда ползли — зарывались в снег, сейчас — это лишнее. Расхлобыстнули двери:

— Не закрывай. Завтра наши придут.

По-прежнему шла ленивая перестрелка. Били автоматчики. Плевать, пусть стреляют.

Обнялись, двинулись, услужливо поддерживая друг друга. Эх, море по колено! Споем, братцы! Почему бы и нет. Грянули:

Я уходил тогда на фронт
В далекие кра-а-я!..

Перестрелка разом смолкла. Далеко в стороне еще тывкал чей-то автомат, но и он сконфуженно заткнулся. Тишина, непривычная, пугающая тишина.

А в тишине от всей души:

И в Томске есть, и в Омске есть
Моя любимая...

Немецкие автоматчики, зарывшиеся в землю и снегу в нескольких шагах от песни, не стреляли. Неспроста, подвох, черт знает этих русских...

Автоматчики не стреляли, а должно быть, немецкую оборону лихорадило в эти минуты: кричали телефонисты, подымались с угретых нар офицеры, выскакивали к орудиям расчеты...

И в Омске есть, и в Томске есть...

Сбились, запомнили слова, незлобливо переругнулись, затащили другую:

Эх ты, Галю, Галю молоденька!..

Их накрыл шестиствольный миномет уже у наших окопов, песня оборвалась, попадали в снег... Мины рвали на клочки мерзлую землю, степь дергалась от огненных всплесков. Над хмельными головами исчезло темное небо.

Едва кончилась первая партия выпущенных мин, как снова раздался несмазанный скрип — шестиствольный миномет посылал новые мины. И снова заснеженная земля выворачивалась суглинистой изнанкой...

Ответили наши минометные батареи, ударили с тыла орудия. Вовсю заговорили онемевшие автоматчики...

До утра не успокаивалась взбаламученная передовая. Я в это время спал.

Утром перед нашей землянкой вырос Витя Солнышко — лицо серое, глаза тусклые, ворот шинели в черной крови, в пятнах засохшей на шинельном сукне крови плечо и грудь.

— Витька! Ранен?

— Угу.

И, паднув, обессиленно повалился навзничь.

Я бросился за санинструктором.

Подвернулся фельдшер, тонкий, ловкий, с кошачьими, ласковыми движениями. Распотрошив свою сумку, он обмыл шею, положив голову Солнышка на колени, быстро перебинтовал.

— Жив? — спросил я.

— Наполовину.

— Умрет?

— Вряд ли.

— Рана опасная?

— Самая чепуховая — кожу на шее осколком рассекло:

— Но что с ним? На ногах не стоит.

— Не удивительно. Мертвецки пьян.

Мне удалось засунуть Витю Солнышка под нары, в самый дальний угол, — пока начальство хватится, авось очухается.

И начальство хватилось. По телефону передали: сержант Степанов убит наповал в голову, незнакомый пэтээровец умер на ротном КП, ему осколком вырвало живот.

В батальон срочно прибыл лейтенант Оганян, заглянул под нары, покачал головой, почмокал губами:

— Нехорошо... Ка-кой молодой!.. А?.. Что из него дальше будет? Порядочный человек или негодяй?

Меня же волновала не столь далекая судьба Вити Солнышка, а та, которая должна решиться в ближайшие дни. Так просто с рук не сойдет, передадут в военный трибунал. Мне тоже достанется...

А из-под нар время от времени высывалась рука, грязная, цепкая, как лешачья лапа, хватала протянутый котелок, потом несколько минут из подвальной глубины слышалось сопение, чмокание, чавканье — пустой котелок вылетал наружу, и снова — тихо; до тех пор пока кухня не станет раздавать обед, — жив Витя Солнышко или почил в мире, никому не ведомо.

Оганян обещал прислать мне нового человека, но не успел.

Подняли — вперед!

Витя Солнышко вылез на белый свет, грязный, опухший от своего медвежьего сна, как сытый кот, добродушно жмурящийся на суету. Он решительно потянул на себя лямку упаковки питания.

В наступлении некогда разбирать внутренние неурядицы — шагай вперед, не оглядываясь вóкруг. Но после-то наступления — оглянутся, вспомнят, возьмут Солнышко за воротник.

А Солнышко полностью ожил, а ожив, стал допрашивать меня с пристрастием:

— Ты ром пил когда-нибудь?.. Не-ет. А я вот попробовал.

В наступлении батальонный радист должен находиться рядом с командиром батальона — не отставай ни на шаг.

Наш комбат-два, капитан Гречуха, долговязый, сутуловатый, подбородок в мрачной щетине, хотя был щеголем — и брился каждый день, и в самые сильные морозы ходил только в хромовых сапожках.

Мне казалось, что в этого человека просто природа позабыла вложить чувство страха; случалось, он хватал ручной пулемет и вместе с солдатами шел в атаку, полосую на ходу из пулемета. Солдаты его боялись куда больше, чем целого батальона немцев.

Он лез в самое пекло, за ним лез и я, да еще должен глядеть краем глаза, чтоб Солнышко, несущий упаковку питания, не сбился с пути, не закатился бы куда-нибудь

на сторону. Комбат Гречуха длинноног, всей ноши у него — пистолет да планшетка, а рация весила изрядно. Поспеть за комбатом можно было лишь при отчаянном усердии. И мы усердствовали, всегда поспевали. Но самое обидное: комбат никогда не обращал на нас внимания, не пользовался радиостанцией.

Он не боялся пули, по недоверчиво относился к снарядам: «Прихлопнет — не узнаешь, кто тебя стукнул...» (Словно, если узнаешь, от этого легче.) Развернутая радиостанция вызывала у него раздражение:

— Раскорячились. Запеленгуют, лови тогда снаряды... А ну, подальше с этой шарманкой!

И вот мы ему понадобились.

Роты залегли перед маленькой станцишкой. Впереди ровное место, пересеченное железнодорожными путями, густо-бурачного цвета водокачка, голые деревья окружали две копотно-черные трубы — место бывшего станционного здания.

С водокачки бил пулемет, заткнуть его можно было только артиллерийским снарядом.

Капитан Гречуха ругался, обещал спать семь шкур с каждого телефониста — они путались со своими катушками где-то далеко в степи.

И тут-то Гречуха вспомнил:

— Где здесь эти, с ящиками?

По цепи метнулась команда:

— Радистов к комбату!

Метнулась и заглохла, потому что я находился рядом.

Быстро выкинул штыревую антенну, раскрыл приемопередатчик и с досадой оглянулся, почему Солнышко не подсунул мне под руку вилку от кабеля с упаковки питания. Но ни Солнышка, ни упаковки питания, увы, не было.

— Солнышко! — в отчаянии позвал я.

И кругом засмеялись. Но из-под сросшихся бровей молча смотрели на меня темные глаза комбата, в них-то смеха не было.

— Солнышко!!

Кто-то спросил в стороне:

— Может, тебе заодно и луну с неба?

Комбат глухо произнес:

— Ну!.. Есть связь?..

Если б у меня под рукой был пистолет или автомат, я бы в эту гнуснейшую в моей жизни минуту, не задумываясь, пустил себе пулю в лоб. Но пистолетом я пока не обзавелся,

а автомат мы держали один на двоих — таскать на шею и радиостанцию, и увесистое оружие тяжеловато. Автомат мы носили по очереди, сейчас вместе с ним, как и с упаковкой питания, где-то гулял Солиышко.

— Ну?

— Связи нет и не будет, — ответил я. — Расстреляйте меня.

— Почему?

— Помощник сбежал с половиной рации.

Комбат пошевелил кобуру на поясе, сказал:

— Тебя, сморчка, я не трону. А твоего помощника — уж добьюсь — в расход пустят.

В это время подоспели обливающиеся потом телефонисты, протянули нитку. Расторопно подключили аппарат, деловито стали вызывать:

— «Левкой»! Это «Ромашка»... Сидим в квадрате сорок пять. Мешает водокачка. Срочно подбросьте «огурчиков».

И «огурчиков» подбросили...

Через сорок минут мы захватили станцию. Я уже не бежал в хвосте у комбата. Я ненавидел Солнышко, в эти минуты мне было несколько не жаль, что его расстреляют. А то, что это случится, сомневаться не приходилось: комбат-два слов на ветер не бросал.

Мы только что расположились под разбитой «огурчиками» водокачкой, телефонисты едва успели заземлить свой телефон, как раздался голос:

— Товарищ капитан! Гостей ведут!

Комбат поднялся, в его неподвижно-тяжеловатом, с мрачным подбородком профиле я заметил легкое удивление.

Через покалеченный, тощий пристанционный скверик вышагивали два немца, и, видать, не простые солдаты. Один, подтянутый, высокий, с непокрытой благородной седой головой, глядел в землю. Второй, поплотней, пошире, в кепи с наушниками, в длинной, заплетающейся в ногах шинели суетливо оглядывался и спотыкался на каждом шагу.

Высокий и седой шел как-то скособочившись. Я взгляделся и ахнул: немецкий офицер нес нашу упаковку питания. Да, нашу! Уж ее-то я мог узнать издалека.

Немцы подмаршировали ближе. Сзади них, с автоматом в одной руке, другой почтительно придерживая на весу толстый портфель из желтой кожи, вышагивает Витя Солнышко. Рожа, что полная луна в майский вечер, так и светится, на груди болтается новенький электрический фо-

нарик — видать, только что снял с офицера, нацепил на себя. Рожа сияет, а грудь — колесом, словно украшена не фонариком, а орденом. И этот солидный портфель — для министра, не ниже.

— Стой!.. Эй, проходимцы! Вам говорят!.. Хальт!

Немцы остановились перед нами. Тот, что нес нашу упаковку питания, смотрел по-прежнему в землю, второй со страхом уставился в заросший черной щетиной подбородок капитана.

Витя, перекинув через плечо автомат, козырнул свободной от портфеля рукой:

— Товарищ гвардии капитан, разрешите доложить!.. Вот эти по балочке умотаться на машине хотели... Задержал, словом.

— Где? По какой балочке?

— Да тут, за станцией. Без дороги чешут, сволочуги. Я очередь дал, стекло разбил, шофер носом клюнул... А вот эти сидят как сурки, глаза таращат, пистолеты держат, а не стреляют... Ну, я им пригрозил: «Вылезай, буржуазия!»

— Молодец!

— Да вот, чтоб не забыть, в машине ящичек остался. Хотел я их заставить тащить, да раздумал: не справятся. Невелик вроде, а тяжеленек. Железный.

— Сейф! Несгораемый?

— Кто его знает, может, и сгораемый. И вот это... вдруг пригодится. — Витя протянул портфель.

— Вот что, друг! Гони их с ходу в штаб полка вместе с портфелем. А ящичек, сообщи, мы сейчас приберем.

Солнышко вытянулся и козырнул.

— Товарищ гвардии капитан! Нельзя мне отлучаться от рации. Пошлите кого другого.

— От рации?.. А-а, это ты?.. — Капитан взглянул на улыбающуюся физиономию Солнышка. Тот улыбался, как и всем: «Ты не тушуйся. Сам видишь, я прост...» Капитан перевел взгляд на пленных, махнул рукой: — Черт с тобой!.. Эй! Тищенко! Васильев! Доставить в штаб полка. Да чтоб вежливенько, чтоб волосок не упал!.. — Бросил Солнышку: — Отдай им портфель. Везучий ты, парень.

— Так точно, повезло! — бодро ответил Витя.

— А что это за ящик? — бросил капитан.

— А это наше... Ну-ка, друг, освобождайся... Быстро! Быстро! Ну, вот и все. Бывай покуда, вряд ли встретимся.

За спинами немецких офицеров встали два пехотинца, подтолкнули легонечко:

— Шнель, ребятаки.

Витя бережно положил к моим ногам упаковку питания.

В портфеле, который Солнышко торжественно доставил, оказались бутерброды и бутылка пива, а в железном ящике — документы. Седой офицер, возвративший мне в целости и сохранности упаковку питания, оказался полковником.

К Вите Солнышку прискакал адъютант:

— Ты оружие у этих отобрал. Где оно?

— А зачем им оружие? Отвоевались.

— Не рассуждать! Личное оружие им оставляют.

— Пистолеты если?.. Так они их побросали. Поди подбери. И какое это оружие, сам посуди...

Адъютант уехал ни с чем.

А Солнышко врал: он прибрал пистолеты немецких штабистов, они лежали у нас в карманах. Мне Витя подарил крошечный бельгийский браунинг полковника, чтоб лишка не гневался.

Солнышко не наказали, но и благодарности не объявили, обещанный орден тоже придержали. Он по-прежнему оставался радистом в моем подчинении. Я удесятирил за ним надзор.

В учебе он преуспел: помимо «двойки» и «семерки», стал отличать на слух две цифры — «четверку» и «тройку». Первая звучала как «Горе не беда», вторая — «Идут радисты...».

1963

ПИСЬМО, ЗАПОЗДАВШЕЕ НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Это произошло летом 1943 года. Имена и фамилии здесь подлинны.

И на фронте случалось отдыхать.

Мы стояли по Донцу во втором эшелоне. Редкие снаряды из самых дальнобойных немецких орудий долетали до наших окопов, да и те, пущенные на авось, не приносили большого вреда. Не рвутся мины, не свистят пули, связные не ползают на брюхе из роты в роту. Телефони-

сты всюду протянули двойную линию, где нужно — оконали кабель, где нужно — закрепили: ничто не зацепит, ничто не порвет, связь как в столице, — снимай трубку, говори с кем хочешь. Радисты снова сколотили зуммерный стол, тренировались. Витя Солнышко, если не удавалось улизнуть, дремал на тренировках, проверяя на практике старое солдатское наблюдение: «Солдат спит, а служба идет».

Иногда мы ходили купаться на Донец, иногда заглядывали в наполовину уцелевшую прифронтовую деревеньку, где еще оставалось несколько семейств, в том числе одно — мать и дочь. Мать выглядела старухой, дочери было лет шестнадцать — бледная от недоедания, умеренно миловидная, с застенчиво пугливыми глазами. Звали ее Настенькой. На эту-то Настеньку мы и ходили любоваться, просто так, без какой-либо задней мысли.

Чаще нас навещал лейтенант Оганян. Приходил, садился, молчал, досия выбритый, насупленный, из-под густых и жестких бровей глядят в сторону загадочно темные, маслянистые глаза. Настенька при нем обмирала от страха. Где ей было знать, что лейтенант Оганян — безобиднейший человек на свете.

Изредка офицерам к солдатскому котелку шей выдавали доппаек — какую-нибудь банку рыбных консервов и пачку печенья. Лейтенант Оганян никогда не съедал его один, нес к нам, а уж мы-то без угрызения совести помогали ему расправиться, даже забывали сказать «спасибо». Лейтенант Оганян поставил себе за правило всеми силами оберегать своих подчиненных. Мы не рыли штабных землянок, только изредка, в крайней нужде, помогали запарившимся телефонистам наводить связь, всякий прощрафившийся был уверен, что наш взводный станет защищать его с пеной на губах перед начальником связи. Да и учебой нас не обременял. Зуммерный стол был скорее щитом, ограждавшим от попреков: мол, радисты бездельничают в обороне. А мы таки бездельничали, всласть отсыпались, телефонисты и связные ПСД звали землянку радиовзвода — «Сочи».

Лейтенант Оганян не осмелился признаться Настеньке, зато признался мне:

— Хар-рошая девушка... — Вздых, мечтательно-грустный взгляд. — Вот кончится война, останусь жив... — Снова вздох. — Честное слово, женюсь... Не веришь?

Если б я был постарше и поумней, то, наверное бы,

сообразил и не рассмеялся. Но мне лишь недавно исполнилось девятнадцать лет, я из кожи лез, чтоб выглядеть тертым калачом, не шутите — знаю изнанку.

И я рассмеялся:

— Завтра уйдем, послезавтра забудешь. Сколько еще таких хороших встретишь.

Оганиян взорвался:

— Маль-чишка! Испорченный человек!

— Ну вот, и обиделся...

— Мол-чать! Как разговариваешь?.. Я кто? Лейтенант! Ты кто? Младший сержант!.. Ка-ак разговариваешь?!

Ну, это было слишком. Разговаривали-то всего-навсего о Настеньке — что ж, я должен вытянуться в струнку, как в тылу на параде, взять под козырек: «Так точно! Хорошая, глаз не отвести! Непременно женитесь, товарищ гвардии лейтенант!»

И мы шумно поспорили. Через полчаса помирились.

Но на следующий день меня вызвал начальник связи полка. Он вообще не любил радистов, а меня еле терпел: без особого на то повода звал «философом» — более презрительной клички для него не существовало.

Начальник связи сидел на нарах без сапог, китель с капитанскими погонами накинута поверх нижней рубахи, шлепает картами, которые он на днях отобрал у нас.

В стороне сидит смущенный и надутый Оганиян. Неужели донес? Такого еще не случалось. Вряд ли...

Начальник связи поднял на меня по-начальнически беспощадный взгляд:

— В-вы!.. Вы кто так-кой?..

Называет меня на «вы», — значит, табак, попал не в добрую минуту.

— В-вы кто такой, спрашиваю?.. Мол-чать!.. Ка-ак стоите? Где выправочка?

Я рад бы встать по всем правилам устава навытяжку, но землянка низкая, упираюсь пилоткой в бревенчатый накат.

— В-вы с кем пререкались? Кто он вам?! Может, он ваш подчиненный? Может, в-вы завтра мной захотите командовать? Может, мне сейчас вскочить и встать по стойке «смирно»?.. Мол-чать!

Молчу. Кошусь на оскорбленно надутое лицо Оганияна

и гадаю: он или не он? Похоже, до меня Начальник связи песочил самого Оганяна.

— Распустили вас! Интел-лигенция! Жирком заросли, от сна опухли! Ф-философствуете!..

И мне вдруг стало весело: «Чеши, чеши себе на здоровье. Брань на ворота не висит... А что ты со мной сделаешь? Ну-ка... Не расстреляешь, выкуси, вина не та. В стрелковую роту пошлешь — нашел чем испугать».

И верно, начальник связи по моему лицу понял: как ни кипятись — не проймешь. Он в сердцах гаркнул:

— Десять суток строгого ареста!

Мы с Оганяном переглянулись: «На фронте — и арест! Ну, брат, оторвал».

— Лейтенант Оганян! Обеспечьте!

Хорошо сказать: «Обеспечьте!»

Случалось рыть разные землянки в обороне, но чтобы была при штабе полка когда-нибудь вырыта землянка гауптвахты — не приходилось видеть ни мне, ни Оганяну.

«Обеспечьте...»

У Оганяна был сумрачно-skonфуженный вид.

— Куда я тебя обеспечу?

— Это уж не моя забота, — ответил я, демонстративно снимая пояс, протягивая своему озадаченному начальнику.

— Испорченный человек... Что из тебя вырастет?..

— Не имею понятия.

— Надо было заварить кашу... — Он мямл мой ремень, не зная, в какую сторону направиться.

— Я не виноват, что дошло до начальства, — съехидничал я.

— А я виноват?.. Думаешь, я донес? А? — возмутился Оганян, возмутился искренне.

Но приказ есть приказ — нужно выполнять.

Оганян, страдая оттого, что ведет без пояса под арест своего подчиненного под взглядами разведчиков, телефонистов, часовых из комендантского взвода, вяло шагал впереди меня для того, чтобы не подумали — конвоирует, и просто из принципа «глаза бы мои на тебя не глядели».

Армейская истина гласит: ничего нет невыполнимого. Нашлось место и для «губы».

В то время когда мы только что располагались в обо-

роне, связные ПСД на скорую руку выкопали себе крошечную землянку — сойдет, не простои́м долго. Но время шло, мы не снимались с насиженного и уж вовсе не такого плохого места. Связным надое́ло спать по очереди: они отгрохали обширную жилплощадь с просторными нарами, с двойными накатами. Старую землянку бросили.

Она и спасла Оганяна. Не случись ее, ему пришлось бы уступить мне свою собственную персональную землянку, а самому спать на моем месте, на общих нарах.

— Сиди,— сказал он.— Сейчас часового пришлю.

И ушел, забыв забрать мой ремень.

Часовым оказался не кто иной, как Витя Солнышко. Он принес с собой чью-то винтовку и явно недоброжелательное отношение ко мне.

— Ребята купаться собрались,— сообщил он.

— Не выйдет. Сторожи-ка меня, не то сбегу.

— Да беги, с плеч долой. Купаться бы пошел. Пододвинься, что ли?..

Я пододвинулся, мой часовой поставил мне в ноги винтовку, улегся рядом.

Все нары этой землянки были засыпаны письмами. Мы лежали прямо на них.

ПСД — пункт сбора донесений. Отсюда легкие на ногу связные бегают по подразделениям, приносят сведения. Если мы, радисты,— более современная связь по сравнению с телефонистами, то связные ПСД, должно быть, ведут свою родословную от того греческого парня, который принес из-под Марафона в Афины лавровую ветку.

Но ПСД в полку заменяет еще и почтовую контору. Сюда доставляются письма, те же связные их разносят. Здесь, в бывшей землянке ПСД, остались лежать какие-то письма, и лежат уже больше недели.

Я взял письмо, поперек адреса жирно выведено: «Выбыл». Другое — «выбыл», третье, четвертое... Кто-то убит, кто-то ранен; наверно, есть и просто откомандированные,— на всех одно и то же слово: «Выбыл», не сказано лишь куда — в другую часть, в госпиталь или на тот свет.

Знаю, непорядочно читать чужие письма. Знал это и тогда.

Найди мы случайно оброненное письмо, в голову бы не пришло вскрыть, полюбопытствовать, наверняка постарались бы доставить тому, кому адресовано. Но тут письма —

б ы в ш и е, ничьи. И еще, наверно, человек под арестом позволяет себе больше, потому что считает себя вне закона.

Открытки, секретки, конверты, склеенные мякишем, просто свернутые треугольником письма. Корявые, дрожащие буквы, должно быть выведенные старушечьей рукой; на бумагу, поди, упала не одна слеза — мать пишет сыну, а сын-то «выбыл»... Или крупный солидно неуклюжий почерк, буква громоздится на букву: «Папа! Я учусь в пятом классе, помогаю маме...» Папа тоже «выбыл»...

Мы привыкли к тому, что постоянно кто-то «выбывает», и не безликие адресаты, о которых знаешь лишь ничего не говорящую фамилию и имя, а товарищи.

Нам вдвоем было всего тридцать девять лет. При любой возможности мы отворачивались от всего, что нам напоминало смерть.

Мы без угрызений совести отбрасывали в сторону и письмо старушки матери, и письмо серьезного пятиклассника. Мы искали другие письма — от девушек, чтобы приобщиться к тому, чего сами еще не испытывали, — любовная тоска, разлука, счастливая дерзость от откровенного признания. Мы даже робко рассчитывали про себя не остаться сторонними наблюдателями, а объявить о себе. Пишут же «выбывшим», письмо наверняка останется без ответа, так что мешает нам ответить?

Мы искали письма от девушек.

Из многих писем мы отобрали только два. Прошло двадцать лет, а я почти дословно помню целые куски из них.

Нажется, из Свердловска она писала ему:

«Сейчас ночь. Я боюсь ночей. Днем — работа, и, что скрывать, нелегкая. Днем — люди, а ночью — ты. И вот тогда-то я начинаю чувствовать, что ты такое. Сказать, что с одной стороны — город, завод, цех, прохожие, знакомые, друзья, с другой — ты, ты — полмира! Нет, мало! Боюсь, что скоро станет легче дышать, меньше окажется работы, больше досуга, и тогда — пустота, тогда никуда не спрячешься от тебя. В какое несчастное время мы узнали друг друга! Знакомые, друзья, город, весь мир, в котором я живу, не могут заменить тебя. Тебя нет, нет и жизни. А ты не отвечаешь мне уже на третье письмо! Я без тебя — бессмыслица, досадная случайность на свете. Ты можешь это понять? Ответь мне! Пиши, даже если некогда...»

Подпись была неразборчивой. Тот, кому адресовано письмо, знал ее имя, для нас оно оставалось тайной.

Но если бы мы и сумели разобрать имя, вряд ли решились отвечать. Тот для нее не полмира — весь мир, нам в нем места нет. Слишком серьезный человек писал это письмо. Слишком серьезный, а возможно, и слишком взрослый, он отпугивал нас.

А второе письмо-секреточка унижено ровными чистенькими строчками. На адресе, как и полагается, наш номер полевой почты, адресовано некоему Евгению Полежаеву.

«Твоя фотография стоит на моем походном столике, ты на ней слишком строгий. Ты следишь за мной. И твой взгляд заставляет меня вглядываться в самое себя. Как хочу быть чистой, умной, красивой перед тобой. Как хочу быть достойной тебя!..»

Тут уж не мир, не полмира, тут намного проще — люблю, хочу быть достойной. И нет угнетающей серьезности, и где-то между чистенькими строчками проглядывает девичья игривость, и подпись ясная и отчетливая, само имя простое, наивное, лубочное — Лю б о в ь Д у н я ш е в а.

Я и Витя Солнышко переглянулись: «Ответим?» — «Ответим!»

— Беги в землянку, принеси мою полевую сумку, — приказал я часовому.

И он сорвался, оставив мне на сохранение свою винтовку.

В полевой сумке, захваченной мной еще под Сталинградом из покинутой немцами землянки, хранились дневник, письма матери и целая коллекция автоматических ручек. Мне несли их даже незнакомые солдаты, спрашивали:

— Где здесь чудака, который ручки на махорку меняет?

— Я.

— Бери.

У меня были ручки со стеклянными витыми перьями, с золотыми перьями, была ручка, инкрустированная серебром, — не писала: была, наконец, большая черная ручка, куда входило чуть ли не полпузырька чернил.

Этой-то внушающей уважение ручкой я и вооружился.

Витя Солнышко встал за моей спиной, приглушенным голосом давал советы:

— За середку колупни, жалостливое, со слезой...

И я начал:

«Дорогая и незнакомая нам Любовь Дуняшева!

К нам случайно попало Ваше письмо...»

Разумеется, при каких обстоятельствах оно попало, я скромно умолчал.

— Со слезой, чтоб прошибло...

— Да иди ты к такой матери! Не мешай...

«Поверьте, что мы от всей души сочувствуем Вам. Мы искренне тронуты Вашим большим и чистым чувством к незнакомому нам человеку. Мы еще не знаем, где находится Евгений Полежаев, но верьте — найдем его след. Найдем и все сообщим Вам. Мужайтесь! Рассчитывайте на лучшее...»

Витя Солнышко сопел за моим плечом.

Под конец я свернул с основной темы и разогнался:

«Ваш обратный адрес — полевая почта. Мы поняли, что Вы разделяете нашу судьбу, служите в рядах нашей доблестной армии. И нам представляется Ваш Высокий Образ — или сестры, ползущей с сумкой к стонущим раненым, или ассистентки, подающей седому хирургу инструменты во время операции, или терпеливой, доброй сиделки у кровати больного...»

Помню, я никак не мог вырвать нашу новую знакомую за границы медицинского обслуживания.

Витя просил — «со слезой», я же работал по принципу: лезть душу вынимает, оно верней, не дает осечки.

Мы заклеили письмо, написали адрес, мой часовой сразу же сорвался с места, бросился в новую землянку ПСД, вручил с соответствующим наставлением:

— Не затеряйте, черти.

Десять суток строгого ареста...

По Дисциплинарному уставу мне полагалось днем не спать, через день получать горячее питание, остальное время сидеть на черством хлебе и водиче, размышляя о своем поступке.

Я спал в компании своего часового сколько влезет, и днем и ночью. Как только приходило время обеда или ужина, Витя Солнышко хватал котелки и бежал на кухню. Повару, заносящему черпак, он говорил значительно:

— Арестованному.

Арестованный, потерпевший — как не пожалеть бедолагу! — и повар наваливал в наши котелки погуще и побольше.

Нас не тащили к зуммерному столу, не заставляли учиться, не посылали в караульный наряд, предоставили распоряжаться временем полностью по своему усмотрению.

Надоедало торчать в землянке, и я надевал забытый Огانياм пояс, вместе со своим безотказным часовым шел к Донцу, купаться. Винтовка часового, разумеется, оставалась в углу на нарах, ждала нашего возвращения. При этом надо было лишь не попадаться на глаза начальнику связи, да и встречи с Огانياм тоже желательно избегать. Столкнись с Огانياм — мы понимали, — поставим человека в неловкое положение: должен наказать, а не хочется.

Часового положено менять. И в первый же вечер пришел вооруженный радист из повенских, на физиономии которого я уловил явное желание добросовестно выполнить возложенную на него обязанность. Но Витя Солнышко прогнал его:

— Иди! Иди себе. Скажи, что я бессменно буду караулить.

Я не прочь был находиться под арестом все десять суток, если нужно — и больше. Витя Солнышко, не рассчитывая на смену, не прочь был охранять меня. Но...

Но пришел приказ менять оборону — из второго эшелона в первый.

И нас, двух лежебок, выгнали из обжитой, покойной арестантской землянки, бросили на помощь телефонистам снимать так хорошо проложенные и так верно служившие линии.

Пришлось после отдыха высунув язык бегать с тяжелыми катушками.

Прошло немало дней. Забылась история с моим арестом, забылось обжитое место во втором эшелоне. В новом овраге возник земляночный городок, ничуть не хуже всех остальных, покинутых нами.

Возродился даже неизменный зуммерный стол — верный признак, что противник нас особенно не беспокоит.

Витя Солнышко стал выдумывать себе болезни, пропадал в санроте — там появилась толстая, добрая сестра, которая сводила с ума не одного Витю.

У меня изнасиловались сапоги, и я отдал их ремонтировать рябому повозочному из комендантского обоза.

Шли будни...

Мне принесли письмо.

Я вертел треугольник со штемпелем: «Солдатское письмо — бесплатно», вглядывался в незнакомый почерк, гадал: от кого?

Я переписывался только с матерью. Нет, не от нее... Случалось, девчонка кого-нибудь из наших ребят писала: «У меня есть хорошая подруга, она хочет переписываться с фронтовиком, дай адрес...» Давали мой, конечно, с рекомендацией без лишней скромности: «Геройский солдат, парень — что надо...» И приходило письмецо: «Ах, как я Вас уважаю за героизм...» Коробило и за нее и за самого себя.

Подозревал — и сейчас такое. Раскрыл.

Нет, что-то не то...

«Спасибо, спасибо за доброе участие. Сегодня только узнала и спешу поделиться радостью: Евгений Полежаев жив! Он был легко ранен, лечился, теперь снова вернулся в свою часть. Его полевая почта такая же, как и Ваша, только литер другой — «Г». Разыщите его, расцелуйте его за меня. Не сомневаюсь, что Вы станете с ним друзьями... Попросите показать мою фотографию. На ней вы увидите девчонку, весьма хрупкую, тепличную. Но эта девчонка, уверяю Вас, много пережила. Да, да, очень много. Вы не поверите, когда увидите... (Я и на самом деле в это почему-то не особенно верил — кокетничает.) Вы пишете, что я представляюсь Вам медсестрой, но это не совсем так.

Я ношу погоны с черной окантовкой и эмблемой перекрещенных молний. Словом, я — связистка.

Еще раз, встретитесь с Женей и непременно расцелуйте его за меня.

Ваша Любовь Дуняшева».

Я бросился к Вите Солнышку:

— Читай! Ответ!

Витя прочел и умилился:

— Ишь ты, связистка... А может, радистка?

— Может.

— Совсем родня.

— На седьмом киселе.

— Так что, пойдём знакомиться, — предложил он. —

По литеру — этот Полежаев воюет во втором батальоне.

— Сейчас?

— А когда же?

— Пет.

— Почему?

— Сапоги...

Витя понял меня.

Мои сапоги в ремонте. А какой уважающий себя фронтовик пойдет на первое знакомство в обмотках? Может, Полежаев — офицер, нельзя ударить перед ним в грязь лицом. Обмотки? Пет! Зачем вводить порядочного человека в заблуждение: мол, эти ребятки лыком шиты.

И мы стали торопить рябого повозочного, ждали сапоги, перечитывали письмо Любы Дуняшевой. Рябой тянул...

Наконец сапоги получены. Но мне решительно не везло по мелочам: во-первых, рябой на головку наложил некрасивые, бьющие в нос заплаты, во-вторых, потерялась с пилотки звездочка. Чепуха, но без звездочки моя старая, выгоревшая пилотка вовсе утратила вид. Как ни разглаживай ее, как ни сандадь ладонью, все равно походит на дурацкий колпак. Представлялось — вскину ладонь к этому колпаку: «Здравия желаю! Разрешите познакомиться...» Каково впечатление?

И все-таки мы начистили сапоги до блеска, поставили у земляных нар, легли спать. Решено: идем в гости к Евгению Полежаеву.

А в пять раздался крик:

— Подъ-ем!!

Наши роты двинулись в наступление.

Мы торопливо натянули начищенные сапоги.

Во второй батальон, но не в гости.

Комбат-два Гречуха со своими ротами перебрался через речку Разумную. Сгребаясь под упаковками радиостанции, мы спешили к нему.

Про Разумную солдаты говорили: «Переплунуть можно, а перейти нельзя». Наш берег — плоский, болотистый, немецкий — высокий, обрывистый, с известковыми сбросами. Наши позиции — как на ладони, немцы укрыты гребнем обрыва, сидят в добротных окопах.

По заболоченному лугу прокопаны траншеи с черноземными брустверами. Они до половины залиты темной, закисшей водой. Мы сначала усердно маршировали по травке вдоль траншей. Конечно, и мины шлепают, и пули свистят, но сапоги-то начищены, охота ли лезть в воду?

Но где-то впереди в синем воздухе родился легкий, как дыхание, звук. Секунда — и он превратился в давящий вой. Взрыв! Черная земля вскинулась на дыбы.

Мы пригнулись, поднажали...

Новый вой. Черная грязь на миг закрыла даже солнце. Лупят по нас тяжелыми... Тут уж не до форсу, прыгнули начищенными сапогами в залитые траншеи, побежали, почти касаясь подбородками воды.

А взрывы сзади, взрывы спереди, комья земли шлепают по голове, спине, коробкам рации.

Вост новый снаряд, захлебнулся. На мгновение — тишина, словно ты оглох. Падай! Рядом! Вжался лицом во влажный бруствер.

Похоже, мягким и тяжелым мешком стукнуло по голове, снова затащило землей солнце, угарно запахло химией.

— Жив, Витька? — Собственный голос чужой, изда-лека.

— Жив. Топаем дальше.

Подымаясь, на бруствере вижу винтовочную гильзу и звездочку, сияющую рубиновой эмалью, как раз для моей пилотки. Хватаю звездочку в кулак — находка! Бегу, шлепая по воде, чуть не достающей до колен.

Траншея вела к переправе.

А переправа пристреляна. Каждые пять минут, не чаще и не реже, взмывают рядом с ней столбы грязи, опадают, седой дым цепляется за жидкие кусты.

Речка черная, стоячая, ручей — не речка, на самом

деле переплунуть можно. Через нее перекинута наспех слеги, заброшены хворостом. Хворост в засохшей грязи, и на нем — трупы... И только ли трупы?..

— Милые! Родные! Помогите, голубчики!.. Так вашу мать! Помо-о-ги-ите!

Кричат раненые.

Они рядом, мы видим их, они нас — нет. Уже много часов раздаются их голоса в воздухе, только сейчас начавшем паливаться зноем. Умоляют, проклинают, зовут, грозят.

— Родненькие! Сволочи!.. Братцы!.. Помогите же, гады!..

И стоны...

Один ползет в нашу сторону. Я даже вижу его лицо — темное, как старая, позеленевшая медь, раскрытый рот, хватается непослушными руками, старается приподняться, руки подламываются. За ним, как резина, тянутся синие внутренности, запутываются в грязном хворосте.

Я отворачиваюсь, но от криков не отвернешься...

Их много, нас двое, переправа пристреляна. Только сунься — и останешься лежать там. Нам отдан приказ: прибыть с радиостанцией на тот берег как можно скорее, связи нет. Нам отдан приказ...

— Товарищи! Братцы! Гады!..

Витя Солнышко глядит на меня, на его размякшей, непривычно растерянной физиономии вопрос: «Что?.. Приказывай!»

Тут-то он вспомнил, черт возьми, что я старший.

— Ищем брод, Витька...

Сам прячу глаза. Неподалеку падает снаряд, нас осыпает землей.

Ползем, таща на спине радиостанцию. Ползем рядом с водой. Разумная — переплунуть можно, перейти нельзя... Крики раненых стоят в ушах.

Несколько шагов до того берега. Темная вода, она везде одинакова. Где брод?..

— Снимай упаковку! В руки!

Лезу в воду первым.

Воды по пояс. Держу на плече приемопередатчик.

Несколько шагов, одна секунда — и мы на другой стороне. Даже по грудь не было. Где-то в дальнем уголке мозга — удивление: почему до нас все лезли на мостик?.. Так легко перебраться даже не умеющему плавать. Почему?.. Не кричали бы теперь там...

Мы под высоким берегом, он прикрывает. Ни один снаряд сюда не залетит, ни снаряд, ни пуля, ни даже круто падающая мина. Какая это великая свобода — распрямиться во весь рост!

Я оглядываюсь назад. Проклятый плоский берег, много же полегло на нем наших людей. А где-то стонут раненые, их стоны не доносятся сюда.

Что-то врезалось в руку. Разжимаю кулак, на ладони — звездочка. Роняю ее на землю. Мне сейчас наплевать, как будет выглядеть моя пилотка.

Мы захватили деревеньку, стоявшую на самом гребне высокого берега. Стоявшую... Теперь деревеньки нет, скучными наростами среди черных головешек торчат печки, не уцелело даже ни одной трубы.

Зато уцелели все погреба. Здесь они выкапываются не под домом, как в наших местах, а отдельно, во дворе. Почти все цементированы, крутые лесенки ведут вниз. В таком-то погребе мы и устроились с радиостанцией. Как в блиндаже — выдержит прямое попадание.

Однако снаряды уже не летят и мины не рвутся. Далеко-далеко суетливая перестрелка. Немец сбит, откатывается.

Витя Солнышко уже наострил лыжи:

— Пойду прогуляюсь, младший сержант.

— Сиди. Сам хочу прогуляться. В пять ноль-ноль свяжешься со штабом полка.

Я приноровился: как только у Солнышка появляется зуд в ногах, спешу оставить его одного. Радиостанция на его полной ответственности, попробуй только бросить ее. И уж тогда-то он терпеливо ждет, пока я брожу поблизости.

На земле под ногами вызывают стрельбные гильзы. Воюющий дымок тянется от пепелищ. Я направился к окраине деревни, к обрыву, чтоб с высоты взглянуть на тот берег, с которого мы пришли.

Посреди улицы, какой-то плоской и слишком широкой без домов, выкопана большая квадратная яма, — должно быть, немцы готовили себе землянку и не успели ее накрыть.

На дне ямы убитый — наш, судя по суконной гимнастерке и синим диагональным галифе — офицер. Он лежит раскинув руки, разметав ноги в солдатских кирзовых сапогах, рослый, статный, на груди набор орденов и медалей,

курчавая голова откинута назад. Курчавая голова, а лица нет. Должно быть, осколок попал ему в затылок, вышел через лицо — из кровавого месива торчит белая кость.

Я чуть задержался и пошел дальше — мало ли убитых, еще один. Лица мертвых обычно не запоминаются, этот же запомнился мне тем, что у него нет лица.

Вот и окраина деревни, вот сбегающий вниз обрыв, морщинистый, источенный ручьями, что стекают весной к Разумной. А Разумная отсюда приветлива — берега опущены кустами, вдоль кустов выются певучие тропиночки и воронено блестят укромные заводи, в таких неплохо клюют окуньки. За речкой — неистребимо зеленые, выглаженные луга, их дальняя окраина купается в голубом мутноватом мареве, глаз не осиливает толщу прозрачного воздуха. И на эту доверчиво распаханную землю рядом со мной из окопов, выдолбленных в известковой кромке берега, уставились два пулемета с хищными стволами.

Доверчиво распаханная земля под стволами. Бежали хозяева пулеметов, стволы молчат, но и в немоте их ощущается ожесточенная злоба.

Я повернул обратно.

Возле знакомой мне квадратной ямы стоит на насыпи солдат, смотрит на убитого кудрявого офицера, свободно разметавшегося на спине.

Солдат — тощий, нескладный парень с длинным, серым от пыли, пятнистым лицом. Он, как пастух на посох, опирается на винтовку, за спиной у него вещмешок с котелком, вид отрешенный, со стороны — ни дать ни взять искошенный человеческими несчастьями библейский пророк.

Кто-то из знакомых забрал документы и вместе с ними — ордена, чтоб сдать в штаб.

Я заглянул под каску в грязное тихое лицо солдата. Длинное лицо не то чтобы печально, скорей терпеливо — парень привык к смерти, привык к крови, если и ужасается, то про себя, знает: кричи, зывай, негодуй — никого не удивишь, не тронешь, не поможешь.

— Знакомый? — спросил я, кивая на убитого.

Он помолчал, обронил скупое:

— Да.

— Кто это?

— Командир нашей пулеметной роты Полежаев.

— Евгений Полежаев?

Парень покосился на меня из-под каски и не полюбил.

пытствовал, откуда я знаю Евгения Полежаева, командира пулеметной роты при втором батальоне.

Курчавая, закинутая назад голова, широкая грудь, раскинутые руки... Кто-то уже взял у него документы, а вместе с документами наверняка — письма Любы Дуняшевой, а с письмами — ее фотокарточку...

«Попросите показать мою фотографию. На ней Вы увидите девчонку, весьма хрупкую, тепличную. Но эта девчонка, уверяю Вас, много пережила. Да, да, очень много...»

Я почему-то не верил, что она много пережила. Тот, кто действительно много пережил, так легко об этом не говорит. У Любы Дуняшевой переживания впереди.

— Не ты забрал его документы?

— Нет.

— И ты в них не заглядывал?

Парень недружелюбно покосился на меня:

— А зачем? Я его не по документам знал.

Солнце опускалось, косая тень от отвесной стенки вкрадчиво подбиралась к убитому, собираясь стыдливо его накрыть. Он лежал лицом к синему безоблачному небу...

«Встретьтесь с Женей и непременно расцелуйте его за меня».

Расцелуйте? Осколок попал в затылок, лица нет...

Я отвернулся и зашагал к себе. Шагал и глядел в сапоги, заляпанные глиной, в белых струпьях засохшей извести...

Солнышко сидел возле радиостанции, с налившимся кровью лицом орал в микрофон:

— Фриц! Не занимай волну! Ты, гад картавый! Убейся к чертовой матери! Прием!

Обычная история: какая-то немецкая радиостанция случайно попала на нашу волну, мешала связаться с полком. Витя Солнышко считал: уж если он работает, то эфир — его монополия.

Всякие посторонние разговоры по радиостанции строго запрещены, а разговоры с противником — тем более. В другое время они могли бы кончиться печально: немецкие пеленгаторы засекут — лови тогда снаряды. Раз радиостанция — значит, штаб, а раз штаб — снарядов не жалеют.

Но сейчас немцы смяты; можно представить, какая у

них там суматоха и путаница — не до пеленгирования.

Витя Солнышко, увидев меня, смутился, виновато заворчал:

— Колготят и колготят, слово не пронихнешь... — И вдруг без перехода просиял: — Пляши!

Я отвернулся, шагнул в угол.

— Пляши! Видишь?

Он показал мне открытку.

— Тебе пишет, не мне... «Вы вошли в число моих друзей...» На-ка вот, ты вошел, а я нет... Пляши, не то не отдам.

Я почему-то несколько не удивился, что открытка от Любы Дуняшевой пришла в этот день, в этот час.

«Я немного приболела, лежу, пользуюсь свободным временем, чтоб поговорить со своими друзьями. А Вы вошли в число моих друзей. Почему Вы не ответили на мое письмо? Нехорошо забывать. Встретились ли Вы с Женей? Признаюсь Вам, до сих пор меня не оставляет светлая радость, что он жив, здоров и что у нас с ним есть общие знакомые».

Всего несколько фраз, много ли напишешь на обороте открытки.

Я тогда не ответил на ее письмо. Не смог.

Через несколько дней, в селе Циркуны, я потерял свою полевую сумку вместе с дневником, с письмами Любы Дуняшевой, с коллекцией трофейных авторучек.

А еще через несколько дней, под Харьковом, меня ранило.

Но помер полевой почты Любы Дуняшевой я помнил хорошо. В госпитале несколько раз принимался за письмо к пей. Начиная и каждый раз откладывал. Не так-то просто, оказывается, сообщить о беде...

«Встретились ли Вы с Женей?» Да, встретился...

«Расцелуйте его за меня...» Нет, этого я не сделал.

Не стал я и другом Евгения Полежаева...

Я трусливо молчал, наконец забыл помер полевой почты, знаю, что он начинался с цифры «18»...

Прошло ровно двадцать лет. Двадцать!

Адреса изменились, давно заросли старые раны. Спустя двадцать лет я решился наконец выполнить долг, написать письмо.

Любовь Дуняшева, дойдет ли оно до тебя?

P. S.

Похоже, что не дошло. Этот рассказ напечатали в журнале «Новый мир», переиздавали и в книге, а ответа все нет и нет. Где ты, Любовь Дуняшева?..

1963

КОСТРЫ НА СНЕГУ

Я, необстрелянный мальчишка и наскоро испеченный в тыловой школе младших командиров радист, с маршевой ротой попал в штаб полка, занимавшего оборону. Полк был гвардейским, орденоносным, прославленным. Солдаты комендантского взвода, торчавшие у штабной землянки, с презрительным невниманием глядели поверх наших голов. И где-то па окраине степи, точно такой же, какую мы меряли целый день,— красная глина и тусклая полынь,— вперепляс, весело трещали выстрелы, глухо рвались снаряды. Вот и фронт...

В стороне среди старожиллов я заметил солдата. Изда- лека он показался низкого роста, но почему-то рядом с ним — другие солдаты, сонная с отвисшей губой лоша- денка, запряженная в полевую кухню, сама кухня вместе с дымком, заманчиво пахнущим заваренной тушенкой,— все, все кругом казалось не настоящим, а каким-то иг- рушечным.

Я был голоден, ловил носом дымок от кухни, далекие выстрелы волновали меня, отвлекал рокошующий коман- дирский басок из темного лаза в землянку, решавший нашу судьбу — каких новичков в какое подразделение послать. Я не заметил, как странный солдат исчез, лошадь, кухня, повар, люди приобрели устойчиво нормальный вид. И я забыл об этом солдате.

Но на следующий вечер с ним столкнулся.

В степь в пыльном, удушливом пламени садилось сол- це. И в окружении закатного огня па меня двигалось что-

то громоздкое, тяжелое и несуразное, словно вставшая на задние колеса двуконная повозка.

Он шел спокойной раскачкой, и я заметил устрашающую покатошь пухлых плеч, выпирающую из натянутой гимнастерки бугристую грудь, расслабленные бицепсы неестественно раздували рукава, пошевеливали вылинявшую ткань. А лицо... Казалось, взгляд вязнул в скупых рублевых складках, мясистые скулы, черные бровищи прикрывали глаза — их хватило бы на усы комбату, комроты и на взводного бы осталось.

Он прошествовал мимо, не одарив взглядом, — казалось, не заметил моего откровенного изумления.

Я оглянулся вслед, увидел необъятную спину, с лениво шевелящимися жерновами-лопатками и... И было еще кое-что, чему можно ужаснуться, — ноги в сапогах! Сапоги, должно быть, самого большого размера, с просторнейшими кирзовыми голенищами. И эти-то голенища не налезали на толстые, крутые икры. Они были распороты сзади.

И холмик землянки, замаскированный пучками вянувшей полыни, и шест с антенной от полковой рации, даже сама степь с дымчатой кромкой горизонта казались игрушечными по сравнению с каменно-тяжелой, раскачивающейся фигурой.

Его звали Габдулла Япаров. Он был разведчиком из взвода пешей разведки.

Мы, новички, только на третий день стали замечать постоянно торчавшее возле него существо. Туго обтянутые обмотками тощие ноги колесом, пилотка, как расползшийся в печи пирог, не доставала до литого япаровского плеча, сизый нос бабы-яги, из-под него вечно торчит чадящая самокрутка в палец толщиной, на сѹхощавом сморщенном лице — внушающее на первый взгляд опаску выражение самоуверенной наглипки, светлые глаза колючи, быстры и сердито-насмешливы.

Это извечный дружок Япарова, тоже из взвода пешей разведки, — крикун, хвостун, неспособный задира Рожков, по прозвищу Миляга. Его скрипучий голос постоянно можно было слышать у кухни:

— Ты как наливаешь? Ты что же думаешь — такого мерина я одним половничком накормлю? Вали гуще! Давай, давай, шевелись! Не то сам черпачок в руки возьму.

Япаров в это время полуразвалясь восседал возле своей

землянки и предавался обычному для него занятию — величественно созерцал мир божий, в котором оказался он, так не походивший на все привычное, примелькавшееся, суетно-беспокойное.

Миляга подносил ему пару котелков, щедро налитых доверху, и предлагал:

— Жри, мерин.

Порой кричал:

— Прорва! Опять весь хлеб умял? Ты телеса нагуливаешь, а у меня должно брюхо к хребтине присыхать!..

Япаров величественно отмалчивался.

Говорили, что он из созерцательного спокойствия выходил, только когда напивался. Однажды его вязали двумя взводами — взвод пешей разведки и комендантский взвод. Первым на мечущуюся в бешенстве тушу бесстрашно набрасывался Миляга...

Для меня Япаров казался загадкой. Какое «я» спрятано под чудовищными мышцами, под большим, как артельный котел, черепом? Умеет ли этот человек страдать, как все, любить, как все? Порой мне казалось — он жив, но не живет, просто неодухотворенно существует.

Сталинград, лежащий от нас на восток, был в кольце. Полк занял оборону посреди степи, когда еще не выпал снег. Но вот снег прочно лег, шла неделя за неделей, мы вросли в промерзшую землю, обжились, ходили друг к другу в гости, как добрые деревенские шабры, рассуждали о маленьком хуторе Старые Рогачи, до которого во время наступления не дотянули каких-нибудь двух километров. Шли недели, мы грелись у железных печурок, а Старые Рогачи так и оставались у немцев.

У нас, полковых радистов, была вырыта крошечная землянка на три человека и на радиостанцию с упаковкой питания. А по вечерам в нее набивалось еще пять гостей, с охотой бы приняли и десяток, но больше не влезало, приходилось невежливо отказывать. Не появлялся у нас и Япаров — слишком велик, всех бы выжил. Зато Миляга приходил, как на дежурство.

Вверху над жидким накатом, присыпанным землей, шумел ветер, наметал снег, а внутри — тесно, уютно и стоял такой ядреный плотский запах, что свеча на штыке, воткнутом в земляную стенку, норовила тихо уснуть.

Шлепали от безделья пухлыми картами — в «подкид-

ного дурака», в «козла», в «пьяницу», слушали хвостовство Миляги. По его рассказам, все девки в мирное время сходили по нему с ума.

— А что? Я ведь парень ничего,— объявлялось не без святой наивности.

Этому «парню» было уже около сорока, нос висел у него, как у старого филина, но ни тени сомнения, ничем не разубедишь,— неотразимый красавец.

Как-то заговорили о том, что немцы тоже обжились и обнаглели. Был слухок, в соседней части они сделали вылазку, забросали гранатами ротную землянку. Наши пытались достать «языка», посылали разведчиков, бросали роту боем, возвращались ни с чем.

И опять Миляга подал голос:

— Лезут нахрапом, я бы один достал, коль попросили...

— Начальство не догадывается тебе в ножки поклониться.

Милягу не смутить, он быстро соглашается:

— То-то и оно. Я бы раз, два — и в дамках. Держи «языка».

— Ты же вместе с другими лазал?

— То вместе с другими. Возню под носом у немца разведут, что у тещи на именинах. Он и приложит — уноси ноги. Один-то — любо-милу, тишина...

— Слазай одиночкой, кто не пускает?

— Попроси меня, да поласковее. Доброе слово люблю.

— Третья ты любишь.

— Я?

— Нет, кобель Кабыздошка, что дома остался.

— Я — трепач? Вы слышали?

— Слышали, слышали, молчи лучше в тряпочку.

— Братцы! Что же это? Все считают меня трепачом?

— Все. А раньше-то не замечал?

У Миляги плаксиво блестели колючие глазки, гневно пунцовел кончик носа.

— Бьемся об заклад!..

— Ладно уж, не ершись.

— Бьемся об заклад, сукин сын! К утру «языка» приведу!

— Ты ведь и соврешь — не дорого возьмешь.

— Заклад! Все!! Испугались?

— Да что ты на заклад поставишь? Разве Япарова. Кроме этого быка племенного, у тебя за душой ничего нет.

— Вас здесь, кроме меня, семь лбов. На каждый лоб старшина утром наливает по сто грамм. Не жрите сразу, повремените, покуда не вернусь. Не приведу «языка» — возьмите мои сто грамм кровные.

— На всех семерых твои сто грамм? Маловато.

— Семь дней, будь я проклят, ежели не приведу, не понюхаю стопочки. А уж коль приведу — на-кася...

— Идет, — согласились мы дружно. — Приведешь — сольем во фляжку, с поклоном поднесем.

— Ну, ребята, гляди — уговор!

— Ты поглядывай.

— Кто потом откажется — потроха выпущу.

— Ну, ну, стращай...

— Тогда — все! Я пошел.

Миляга бочком полез к выходу.

— Не захмелей раньше времени...

— Ни пуха ни пера...

Он огрызнулся:

— Катитесь к чертовой матери!

И исчез за обындевелой плащ-палаткой, прикрывавшей выход.

Мы посмеялись над ним и разошлись — время было позднее.

Утром, еще затемно, мне пришлось бежать в штаб дивизии, менять разряженный аккумулятор. Три километра туда, три обратно — возвращался часам к десяти.

На пути встретился старший сержант Пучков из телефонистов, парень раздражительный и злой на язык, мастер играть на аккордеоне. Он вчера больше других напал на Милягу.

— Слышь! — остановил он меня. — Миляга-то...

— Что? Не вернулся?

— Да нет, привел.

— Ну-у!

И я бросился к штабной землянке.

Тесной стенкой стояли любопытные. У входа в землянку на снегу сидел немец с синим, осунувшимся мальчишеским лицом, в суконной пилотке, завернутой на уши, очень маленький и очень тощий — надо же откопать такого, как раз под силу Миляге. Пленный ловил преданно округлившимися глазами взгляды солдат и гримасой страха улыбался: «Не убивайте». Тонкие грязные пальцы

сжимали острые колени, плечи поеживались от страха и холода под слишком просторным, не по росту кителем. Вылез, наверно, по малой нужде из землянки без шинели, обратно Миляга не пустил.

А Миляга расхаживал рядом — под носом на спесиво выпяченной губе чадит толстая сигарка, за спину переброшен автомат, с важностью выворачивает валенками на кривых ногах. Нет-нет да и поводит небрежным взглядом на «крестника», тот сжимается, грязные пальцы костенеют на острых коленях, в широко распахнутых светлых глазах всплескивает ужас. Чем Миляга запугал этого суслика? Вот уж воистину — страшнее кошки зверя нет.

Появился Япаров, постоял, полюбовался на «языка» поверх солдатских шапок, повернулся, пошел прочь враскачку.

Кто-то бросил ему в спину:

— Что, брат, мал золотник, да дорог.

Кто-то добавил:

— Велика Федора, да дура.

Япаров не обернулся, лишь с размаху пнул подвернувшуюся под ноги ржавую коробку от немецкого противотанкового.

И никто, кроме меня, не заметил этого, а я глядел в спину Япарова и удивлялся. До сих пор он для меня — скала, а не человек, и вот выдал себя... Не такая уж скала, может сердиться, обижаться, завидовать, как все люди. Со слабостями он был мне милей. Захотелось посидеть с ним, перебраться о доме — был же у него в мирное время дом; о жене, — верно, ждет его где-то; о детях — вдруг да носил их на руках, укачался...

Я двинулся к землянке разведвзвода.

Япаров, как обычно, сидел, свесив валенки в проход, затянутый в полушубок, в надвинутой на брови шапке. Я приблизился, он взглянул, как умел глядеть только Япаров, — на меня и в то же время мимо, словно перед ним стоял не человек, а дерево.

И я не подсел рядом, не заговорил с ним.

Миляга получил от старшины все наши семь раз по сто. Вместе со своей порцией набралась вместительная восьмисотграммовая фляжка. Ни с кем не поделился, даже с Япаровым, — за котелком сечки осушил до капли. А потом в своей землянке на нарах жестоко страдал. Япаров сидел рядом и чистил свой автомат.

Вечером он отозвал своего командира взвода лейтенанта Гришина:

— Разговор есть...

Ночью исчез, а утром принес в охалке и положил перед штабной землянкой сверток из серо-голубой шинели. Из свертка торчала пара высоких начищенных сапог. Япаров легонечко пнул сверток, тот зашевелился, показался обтянутый сукном зад, и на белый свет явился поджарый, уже немолодой немецкий офицер — на мятом френче болтался пристегнутый к пуговице электрический фонарик. Офицер пьяно оглянулся, осел снова на шинель, закрыл лицо руками, и плечи его в узких погонах и локти затряслись. На безымянном пальце блестело обручальное кольцо. Япаров бережно взял его за шиворот.

Старшина комендантского взвода испытал на себе всю силу красноречия Япарова. Тот загородил ему дорогу и потребовал:

— Ну!..

— Что — ну? — поинтересовался старшина.

— Награда.

— Какая награда?

— А как же?

— Не тот адрес вроде. Я тебе не наградной отдел. В штабе справься.

— За офицера больше полагается...

— Чего, дитятко? Никак не пойму, — подмигнул слушателям старшина.

— Ну, того...

— Толком объясни, чего хочешь?

— Ну, этого...

— Э-э, ясно. У меня не распивочная. Твоего Милягу добровольцы из своих потчевали за геройство.

— Ну, а мне?

— Поищи, — может, кто поднесет.

Упрямо склоненная физиономия, брови, насупленные в пол. Старшине было невдомек, что дело не в водке — уважь по заслугам.

Никто не уважил. Не поднесли Япарову и мы — уговору не было.

Миляга же выпил все один, потом страдал жестоко на парах, несколько дней ходил желтый и хмурый, без геройской выправки.

Наступление остановила ночь. В наступлении нет времени копать землянки — нынче здесь, завтра там, а ночь январская.

И тогда-то случилось невероятное — по всей степи вспыхнули костры. Костры на передовой линии!

А обычно сигарку прятали в рукав, «катюша» — кресало с фитилем — высекалась под плащ-палаткой, на мимолетный блеск карманного фонарика, вовремя не спрятанного под полу, от батарей противника летели снаряды, разворачивали всю землю в округе.

Земля на фронте по ночам лежит затаившись, прячется во мрак, только по предательскому небу гуляют осветительные ракеты и шьют строчки трассирующие пули. Сейчас же земля украсилась кострами, а небо темно. Костры из конца в конец, костры наглые, вызывающие, и казалось, что двадцатый век с его минометными и дальнобойными пушками, тапками и самолетами, наблюдателями на командных пунктах, припавшими к окулярам стереотруб, — исчез, вернулось разгульное древнее воинство, половецкие станы рассыпались по земле.

Горят костры, сыпят в черное небо искры. Горят костры во всю ширь степи, во всю ширь, но не в глубь. Граница костров — граница отвоеванной земли, за ней — темно, тихо, пугливо, ни один миномет не осмеливается послать мину на огни. Подвальная тишина с той стороны.

Завтра — за ту сторону, а там — Воропоновка, а там — рукой подать Сталинград. И шевелятся у костров тени, и пунцовеет развороченный гусеницами танков снег. Переждать бы ночь. Соснуть — не мечтай. Физиономию и протянутые к огню руки стягивает от жара, а спину и зад продирает холодом.

У нашего костра поругались Миляга и Япаров. Они недавно пришли с вылазки. Их взвод напоролся на зенитную установку, и с нее прочесали счетверенным крупнокалиберным пулеметом, из которого бьют только по самолетам. Трое остались, двоих выволокли. Крошечкой мерзлой земли, взрытой крупнокалиберной пулей, разворотило скулу Миляге. И он зол, отводит злость на Япарове:

— И все из-за тебя опять! Эдакая изба ползет. Только слепой не возьмет на мушку...

Япаров молчит, посапывает над костром, а его молчания Миляга не выносит.

— Такому бугаю не разведчиком быть. В артиллерию

тебя наместо трактора! Мигаешь теперь? Мигай, мигай! Ребята-то на твоей совести, колокольня...

— Ну уж...

— Не нукай. Как ни свяжешься с тобой, так всегда вплинешь. Не первый раз! Помнишь, к немцам тепленькие в гости попали? Из-за кого? Все из-за тебя, баржа! Опять, может, на меня свалишь?

— Так ты ж первый тогда голос подал...

— Я-а? Голос! Братцы! Вы слышали? Я?!

Мы слышали, и не раз. Это старая история, случившаяся еще в первый год войны. Мне ее поведали сразу же, как только я обжился в полку. Впрочем, во всем ли правдива эта история — не поручусь. Свидетелями ее только двое — Миляга и Япаров. Рассказывает ее обычно Миляга, а если спрашивают у Япарова, он кратко отвечает:

— Брешет!..

Их двоих послали прощупать местность. Кто из них виноват, что под утро влезли в гущу отдыхающих немцев, — валят друг на друга. Но влезли и опомнились тогда, когда поднялся гвалт, со всех сторон обступили, десятки автоматов уткнулись и спереди и сзади. Даже Япаров не решился брыкаться.

На зорьке, по только что выпавшей росе повели их в ближайшее село под охраной целого взвода. Япарову на всякий случай спутали за спиной руки, походя щупали его, дивились, как невиданному зверю.

Должно быть, офицер, к которому доставили необычную пару, не лишен был сметливости. Он распорядился посадить их не вместе, а врозь.

Япарова отвели в стоящий на отшибе сараюшко, без окон, с крепкими стенами, не камышовой, а тесовой крышей. На двери повесили замок, поставили часового.

Милягу же сунули в кладовку при хате. Дощатая дверь кладовки закрывалась на обычный завертыш. Но не выскочишь. Дверь открывалась в узкие сенцы, у крыльца — часовой, напротив постоянно распахнутая другая дверь — в комнату, где поселились солдаты.

Миляга притворился тихим и придурковатым, сидел в своем закутке как мышь, а среди бела дня ушел.

В село привели партию наших пленных. Солдаты-постояльцы из хаты высыпали поглазеть, столпились в дверях, закрыли спинами часового. Миляга щепкой открыл завертыш, осторожно прошел за спинами солдат в их комнату.

Ему приходится верить на слово, а он рассказывал...

«Вошел к ним я, братцы, вижу — стол. А на столе, мать честна! Видать, жрали, да не кончили. И разный шнапс стоит, одна бутылка другой чудней, яичница на сковороде, мясо в блюде, от духа брюхо наизнанку выворачивается. Я одну бутылку — хвать, другую — хвать, со стены автомат сгреб да в окно прыг...

Не-ет, шалишь, далеко не побегу. Среди бела дня по селу не попрыгаешь.

Под окном, значит, тыква-брюква растет, от улочки кустики закрывают, криница стоит с воротом, над криницей бадейка висит.

Я бадейку-то не тронул, пусть висит, чтоб не навести на след, а сам в сруб — по стеночкам, пятками стараюсь в бревнышки упереться. Оно сказать просто — криница-то глубока, а у меня и руки заняты, бутылки под рубахой прижимаю, да еще и автомат болтается. Сорвался и загремел со всем добром. Башкой треснулся, а там не помню. В воде очухался. Пощупал башку — вроде целая. Да что башка — бутылки целы. Вот как ловко упал. Только вода шибко холодна, аж давит в печенки. Значит, раскупорил я бутылочку, приложился, — похоже, теплей стало. Посижу, посижу да приложусь.

Сруб, видать, старый, стены склизкие, трухлявые, а вверху света с пятак, и доньшко бадейки в синем небе болтается. Как в трубе, право слово. И ничего не слышно — любопытно, хватились там наверху меня иль нет? На всякий случай в уголок жмусь, лезу в воду поглубже. Ее по пояс, может меньше, унырнуть при нужде можно, но уж больно сволочная вода — из земли, могильная.

Вижу, бадейка дернулась наверху, я присел — ноздри да глаза наружу. Харя повисла сволочная. Гляжу, не дышу, а сам автомат торчком ставлю — сунется, уж в компании сдохнем. А ему-то наверху солнце, должно, в рожу лупит, где там разглядеть мою макушку в черной дыре. Пободался, пободался с бадейкой, просовывает свой автомат, очередь дал, а пули в сруб, как в тесто, только гнилушки посыпались. Ничего, пронесло... Снова сижу, на доньшко бадейки люблюсь. Мне из моей дары до этой бадейки, как теперь до мамы родной. Ноги немеют, грудь давит, скажу вам — не именины. Немцы не выудят — сам сдохнешь. Одна радость — бутылочку захватил. Сосу бережно, одергиваю себя. Высосал одну, ночь началась. Пробовал выполз-

ти — где там, мышеловка, раскорячкой-то по ослизлым стенам не пролезешь.

К свету натошак вторую бутылку вылакал. Висит бадеечка с копеечку да неба с пятак. Небо мутноватенькое, светать-то светает, но время еще сумеречное.

И вдруг бадейка пошла вниз. дождался ее — хватъ одной рукой, автомат настораживаю, рыло задрал, жду — кто покажется?

Баба, ребята! Платок белеется. Я ей шумлю снизу: «Тяни, голубушка, полегоньку...» Вытянула, подмогла. Без нее бы крышка — сдох. Только стерва ж попалась. Сразу ругаться, шепотком, правда, но боевито: «Такой сякой, что ты мне ружьем своим тычешь? Сгинь с глаз долой! За тебя меня припекут, подумают, что прячу...» Я уж ей ласковенько: «Тихо, бабонька, тихо... Я пошел, я пошел...» — «Иди, гунявый, задами к пшенице, там авось проползешь до леску...» Само собой, не по главной же улице маршировать, смеаю и без нее...

Только добрался до пшеницы, выгребая на брюхе к лесу, вдруг от села выстрелы. Думаю: позднечко обо мне вспомнили... Потом-то, когда пришел к своим, сообразил: Япарку провожали, тоже уходил, не простившись...»

У Япарова — дверь не вышибешь, часовой прошьет очередью. В углу сарайчика — поленница. Она и спасла. Переложил ее под стену, крест-накрест, чтоб не рассыпалась, в руки взял полено, взгромоздился, согнулся под мастицей, налег плечами, стал распрямляться...

Часовой забегал кругом — что-то трещит, что-то ломается, крыша шевелится, ничего не понять. Дал очередь в дверь, прошил по стене...

Япаров подпер поднятую крышу поленом, дождался, когда часовой оказался под ним, свалился вниз...

Разбуженные выстрелами немцы прибежали к сарайчику, увидели под стеной мятого и раздавленного часового, крышу, приподнятую, как крышка ящика, разверстую, словно пасть ревушего зверя, заклиненную поставленным торчком поленом... Они не бросились преследовать, постреляли в сторону лесной опушки для очистки совести.

Эти-то выстрелы и услышал Миляга.

То было в начале войны, а теперь — по заснеженной стене горят тысячи костров и молчит испуганно загнанный в темноту противник. Миляга кричит на Япарова, солдаты, теснясь плечами, тянут руки к огню, пережидают почь До утра бы дотянуть. Утром наступление...

Коченеют на морозе изломанные стены домов. Сквозь застывшие в судорожной зевоте окна светит луна. Среди пепелищ дремлющими слонами стоят сутулые печи, изгрызенные осколками. Снежок припорошил и пепелища и трупы, что валяются по дорогам.

Ржаво и уныло скрипят зацепившиеся на высоте пятого этажа кровать и лист кровельного железа. Из подвального разбитого окна на закопченный снег сочится тусклый свет коптилки, доносится звук гармошки, простуженно-сипловатый голос поет об одесских лиманах, цветущих каштанах...

И где-то лениво перестреливаются. Где-то среди камней разбитого города еще прячутся кучки автоматчиков, озлобленных, не надеющихся на пощаду.

Время от времени над скалисто-ломаной вершиной перухнувшей стены ползет по небу игрушечным солнышком ракета, холодная луна тушется перед ней.

Простуженный голос выводит:

Ты — одессит, Мишка, а это значит...

Пробежал солдат по тихой улице, заброшенной окоченевшими трупами. Пробежал второй, третий, целая компания — все в одну сторону. Доносится слово «пожар», брошенное возбужденным голосом...

Пожары везде и всюду, горят домишки на окраинах, горят застрявшие в развалинах немецкие грузовики, тлеют развороченные снарядами штабные обжитые блиндажи. Никому нет дела.

Но если говорят о пожаре, бегут к нему, — значит, что-то особенное.

Горел немецкий госпиталь, большое четырехэтажное здание, одно из немногих оставшихся в городе. Сквозь широкие окна видно — в золотистом пышущем жару с этажа на этаж падают койки, на койках лежат уснувшие от дыма, от угара немецкие раненые.

Розовый дым, усеянный искрами, ввинчивался в черное небо. На расстоянии, на размякшем снегу — толпа людей, замершая в скорбном изумлении. Странная толпа — полушубки и шинели русских солдат вперемешку с мундирами немцев. На лицах одинаковое выражение — подавленность, беспомощность, натянутая боль. Город разбит, земля в застывшей крови, не убраны трупы, давно ли они расстреливали нас, мы — их. Сейчас в толпе — единство.

Со мной рядом, как ребенка, качает забинтованную ру-

ку пожилой немец. В такт раскачиваям кивает морщинистым, по-бабьи скорбным лицом. Я гадаю — кто под жег? Влетела ли в чердак шальная мина из самых последних или же какой-то фанатик из раненых немцев захотел сам уйти из плена, не пустить в плен других.

Золотятся стропила крыши, и плещет пламя из окон, и валяются внутри койки с больными, уже не сопротивляющимися, уже не цепляющимися за жизнь, покорными.

Толпа, тесно сбившаяся, подавленная, молча топчется. Ничем не поможешь, поздно. С минуты на минуту должна рухнуть кровля.

А между толпой и пожарищем мечется взад-вперед человек на костылях. Поверх нижней рубахи накинута немецкий мундир, трикотажные кальсоны обтягивают тощие ноги, остро ломающиеся в коленях, одна нога босая, другая наглухо запечатана в неуклюжий гипсовый лапоть, костыли вздергивают узкие плечи к ушам. У раненого немца круглое, юное лицо со старчески запавшими глазницами. изумленно открытый рот. Он прыгает на костылях возле огня, то подступая к нему, то отодвигаясь. Время от времени в тишине, нарушаемой лишь треском, шкварчапием, глухими ударами рушащихся балок внутри здания, раздается вопль:

— Вилли!

Вопль жалобный и пронзительный, как ночной крик одинокой болотной птицы. И каждый раз от этого крика в толпе колыхание. Только мой сосед продолжает бережно укачивать свою больную руку и сонно кивает в такт головой. Толпа же, колыхнувшись, снова замирает, наблюдая пляску на костылях перед огнем.

— Вилли!

Может, у этого немца в огне остался брат, может, друг, который стал ближе брата.

— Вилли!!

У меня желание — вырваться из толпы, подбежать к калеке, схватить за плечи, увести: «Полно, дурень ты этакий... Понимаем, что беда...» Но толпа меня держит, ее нерешительность и бездеятельность сковывают. Трусость это? Не совсем — недостаток дерзости. Не могу решиться на то, на что никто не решается. Я стою, вздрагиваю при каждом выкрике:

— Вилли!!

А мой сосед-немец укачивает руку.

Кто-то не выдерживает и советует:

— Оттащите его...

Выдвигаются двое дюжих пехотинцев в полушубках, внушительно широкие, казалось бы — сильные, но идут несмело, толпа держит и их.

— Эй, парень, хватит... Не мельтешишь...

— Вилли!!

Раненый, заметив их, налег на костыли, падая вперед всем телом, ныряет в дверь, изрыгающую густой дым. Пехотинцы растерянно озираются, пятятся назад. Толпа вздохнула, и вздох ее почти облегченный. Чей-то голос вместе со вздохом:

— Каюк, братцы!..

И в это время, легко разрубая толпу надвое, над касками, ушанками, суконными пилотками немцев движется шапка, туго надвинутая на крупную голову, — Япаров. Он пробивается к огню, оборачивается к толпе и густым басом обкладывает всех:

— Так вашу мать! Вылупились!

Поворачивается широкой спиной, враскачку шагает.

— Куда?

— Свихнулся!

— Осади назад!

Но Япаров, втянув голову в плечи, вошёл в дверь.

Прошла минута, другая... Меня охватывает острый стыд. Я же стоял ближе Япарова, раньше мог выскочить, без хлопот увести немца. Теперь в провале дверей — чадная муть и выплескивают рыжие языки пламени. Вместе со стыдом неискренняя, трусливая надежда: «Не сгорит, не тот человек, не в таких переплетах бывал...»

И вдруг горящее здание заскрежетало, толпа шарахнулась, потащила меня от пожара спиной вперед. Сверху на снег стали рушиться горящие балки; ударяясь о землю, ломались и шипели. Едкий густой чад, крутящийся вихрь искр и тлеющих клочьев над головой...

Главная улица города в мрачных развалинах. По улице катится и катится без конца неряшливый поток пленных. Вторые сутки не прерывается поток. Одежда, мятые шинели, бабьи платки, тряпье, нелепые соломенные ступи на обмороженных ногах, черные, в грязи, в копоты лица, потерявшие способность выражать даже горе, — парад нищеты и отчаяния. С утра до вечера несмолкающее глухое шарканье тысяч ног...

А по соседству с главной улицей, во дворике с горбатой и черной печью, среди стынувших на морозе корявых яблонь, мы долбили землю. Могила походила на окоп, каких много мы оставили на своем пути.

Мы рыли просторную могилу, помня, что занять ее придется человеку, который в обычном окне не помещался. Но завернутое в плащ-палатку тело было маленьким, могло принадлежать и подростку. Япарова вынули из пепелища обгоревшим наполовину.

В прошлую ночь и этим днем меня не оставлял смутный стыд, я мучился от тихого презрения к себе. И вот сейчас, когда я долбил мерзлую землю, готовил могилу, чувствовал Япарова живым. Уже не сомневался — он мог страдать, мог любить, наверно, сильнее, чем я.

На холмик промороженной земли положили каску, воткнули табличку, старательно написанную химическим карандашом. Подняли в небо автоматы...

Далеко фронт, он ушел от нас на сотни километров, к Украине. Теперь мы в глубоком тылу. В разбитом городе — непривычная тишина. Наш залп, наши выстрелы были последними выстрелами здесь, самыми последними. Сухой звук автоматных очередей увяз в развалинах.

Глаза Миляги в воспаленных веках столкнулись с моими. Он весь потемнел, ссохся, на кончике сизого носа висела сиротливая прозрачная капля.

— Дурак Япарка... Право, дурак... — выдавил он тускло и почти просительно. — Всегда сухим выходил... А тут полез... Из-за кого?

Миляга оставался самым собою — и сейчас упрекал своего друга.

— Эх, недоделанный...

Высморкался, отвернулся, пошел прочь — походка дерганая, одно плечо выше другого.

А с главной улицы, в непривычной, в невоенной тишине, слышался невнятный шум, похоже — в гигантской квашне сопело бродящее тесто. Это было шарканье многих тысяч обмотанных тряпьем ног по снежной дороге. Завоеватели уходили из незавоеванного города.

ДЕНЬ, ВЫТЕСНИВШИЙ ЖИЗНЬ

1

Эшелон в последние сутки гнал без остановок. Сейчас он ползет по рельсам, ощупывает колесами стык за стыком, стык за стыком — тягостно долго. Но вот тормозной скрип, лязг буферов — встал! В набитой теплушке смачный басом возвещает:

— Приехали!

Приехали не куда-нибудь, а на фронт.

У каждого из нас путь к фронту наверняка не прямой, а с загибами.

Я окончил школу за полтора часа до начала войны. В два часа ночи мы, переставшие быть десятиклассниками, разошлись с выпускного вечера, в три тридцать, как известно, немецким войскам был отдан приказ перейти нашу границу — «час Ч» по их планам.

В двенадцать дня это стало известно всем. Полчаса потребовалось ребятам нашего класса сбегаться к школьному крыльцу, полчаса мы митинговали друг перед другом, еще через полчаса с торжественно патриотическими физиономиями вступили в военкомат: «Требуем немедленно отправить нас на фронт!» Военком до обидного легкомысленно отнесся к нашему похвальному патриотизму: «Отправим, не засидитесь».

Мои товарищи не засиделись, всех их быстро направили в училища — кого в пехотное, кого в танковое, кого даже в авиационное. У меня врачи обнаружили черт-те что — астигматизм. Плоховато, оказывается, вижу правым глазом. Военком посочувствовал: «Попробую тебя в интендантское». Меня это «попробую» возмутило до глубины души: «Портянки считать? Ни за что! Пойду рядовым».

И целых два месяца ждал.

Отправили по первому снежку с партией парней из дальних деревень пешком с котомочкой до станции. Свои восемнадцать лет я встретил на пересыльном пункте. И верилось тогда — до фронта рукой подать.

Но... «Со средним образованием шаг вперед!» — в дивизионную школу младших командиров.

На головокружительно высоком берегу реки Вятки гор-

деливый старинный собор. В нем в три этажа — едва не до купола — дощатые нары. В нем незримо присутствует дух великого Суворова, бросившего в свое время неосторожную фразу: «Тяжело в учении, легко в бою!» А потому у нас ежедневно строевые занятия, время от времени изнурительные броски по сто километров и больше и не слишком обременительное обучение воинскому мастерству.

Учимся прямо на нарах, там, где спим. Помкомвзвода простуженным голосом читает Устав караульной службы, косит начальственным глазом — кто дремлет?

— Курсант Тенков! И шо я казав?

Еще не проснувшись, оказываешься в стойке «смирно», руки по швам, только не по-уставному, на коленях — на нарах не вытянешься во весь рост по форме.

— Один наряд вне очереди!

Отметок в школе не ставят, знания поощряются нарядами. В ночном карауле чаще всего стоят те, кто не освоил Устав караульной службы.

По военному времени срок подготовки младших командиров сокращен. Через два месяца мы прикалываем к полевым петлицам сержантские треугольники — в часть! Теперь-то на фронт?.. Нет, погоди. У части пока есть только номер, самой части не существует. Повезли на формирование за Вологду. Делим черные, свинцово-тяжелые сухари, хлебаем вместо супа мутную водичку, промерзаем до костей на ночных часах, еле таскаем ноги и мечтаем: скорей бы на фронт, обрыдло!

В очередной раз среди ночи поднимают по тревоге, вьдут на станцию, нас ждет эшелон. Наконец-то!

Черной ночью минуем Москву, в великом городе ни одного огонька. Настраивались на дальний путь, а высаживают очень быстро — под Тулой. Фронт здесь был, но в прошлом году далеко ушел. Осталась разгромленная усадьба Ясная Поляна, у входа подбитый немецкий вездеход, продырявленные пулями бочки из-под горючего. А уже вовсю весна — ярая грязь на дорогах и захлебываются соловьи. Потомки тех соловьев, которых слушал Лев Николаевич Толстой, когда писал сцену смерти Хаджи-Мурата. Нам же не до соловьев — мокро, холодно, кружим не понять зачем по толстовским местам, месим грязь, спим в полях по ометам соломы.

Новая станция, новый эшелон — вот теперь-то уж без обмана на юг, там большие бои. Куда нас бросят, под Харьков или под Ростов?..

И крепко пригревает весеннее солнышко, бойко стучат колеса. На разъездах нагоняем другие эшелоны, солдаты высыпают из теплушек, появляется обшарпанная балалайка. Эх!..

Барыня, барыня, барыня-сударыня!..

Топчут кирзовые сапоги шлаковую земельку между путями.

Но далеко не доехали до Харькова, тем более до Ростова, как поскущели сводки Совинформбюро — немец прорвал фронт. Колеса теплушек застучали медленнее, на какой-то стапциушке загнали нас на запасные пути — прочно застряли.

Наступило лето, пока мы наконец тронулись...

— Приехали!

Загромыхали отодвигаемые двери, толкаясь, переругиваясь, похохатывая, сыплются солдаты из теплушек. Вздвигаются заливиистые голоса помкомвзводов:

— Пе-р-рвый аг-невой! Выгружаться!

— Вта-арой аг-невой!..

— Взвод управления, строиться! Быс-ст-ра!

Мутно-голубой, неохватно плоский мир. Тяжело отдувается паровоз, за ним хвост — пыльно-бурые вагоны, платформы с зачехленными пушками. Рельсы вперед, рельсы назад, а вокруг пустота, ни намек на какое-либо строение, ни кособокой будки, ни объездных путей, только затуманенная предраассветная степь да пепельный купол неба. Дымчатые дали загадочны, распахнутый мир безучастен к нашему приезду. Хоть какое-нибудь шевеление, хоть бы ветерок подул. Не по себе от покоя, война идет!

Но гремят копыта коней по сходням, суетятся ездовые, покрикивают огневики:

— Р-раз-два! Взя-ли!

Пушки покачивают зачехленными пламегасителями, степенно сползают вниз.

Все-таки приехали. Война где-то рядом.

2

Пушки к бою едут задом,
Это сказано давно.

С царским почетом, попарно цугом шесть лошадей тянут одно длинноствольное семидесятишестимиллиметро-

вое орудие. А их шестнадцать, четыре батареи, восемь огневых взводов — солидно выглядит колонна дивизиона. Нахохлившись, торчат на конях ездовые, орудийные расчеты, как воробьи, тесно на лафетах и зарядных ящиках, а взводы управления — разведчики и связисты — нешиком. Марш! Марш!

Дорога как бы скачет по степным волнам, появляется на гребне, тонет, вновь появляется, чем дальше, тем тоньше, призрачней, пока не растворится в зыбкой просини. Ездовые впадают в дремоту, кони шагают сами, подшевеливать не надо, и стволы орудий важно кивают чехлами: марш, марш!

А я оглядываюсь назад, поражаюсь ясному спокойствию неба за спиной. Оно еще не подрумянено, еще не пробились лучи солнца, не подпалили закраину неба, но скоро, скоро оно займется... Замечаю, оглядываются и другие. На то, что было...

У каждого за спиной дом, мать, отец, братья, сестры, либо жена, либо девчонка, с которой целовался у калитки. Я с девчонкой у калитки пока не целовался, еще не успел. Но дом за спиной есть. Он в далеком, далеком отсюда селе Подосиновец, окна выходят на травянистый пустырь, на старую со сквозной колокольней церковь, на грозово-синие лесные заречные дали. Глава и законодательница в доме мать, она всегда командовала отцом, мною, моим младшим братишкой. Теперь под ее началом только брат. Отец был комиссаром в гражданскую войну, в эту его призвали сразу же, на второй день. И вот уже восьмой месяц от него нет писем... Пусто в доме, неуютно матери, жалуется на брата — непослушен. Есть еще одна живая душа, рыжий кот, гуляка и лиходей, давит соседских цыплят, промышляет по кладовкам...

Оглядываемся назад, на свое прошлое, но даже поезда, который нас привез, уже нет, спешно отбыл, чиста степь. Порвано с прошлым. Марш! Марш! К линии фронта!

Мы уже встречались с теми, кто уже успел побывать возле нее, жадно расспрашивали, но эта линия, пересекающая теперь нашу страну от Черного моря до Ледовитого океана, так и осталась загадкой из загадок. Никому не по силам было рассказать о ней. Скоро ее сами увидим. Она там, где небо смыкается со степью, но как ни размашиста степь, а часа за два пересечем ее. Тянут кони пушки, мы идем.

Вбивая в слежавшуюся пыль тупые короткие ноги, шагает наш помкомвзвода Зычко; из пухлой спины растет

крутой, как булыжник, подбранный затылок. Время от времени Зычко оборачивается всем сбитым корпусом, хозяйски озирает нас недремлющими совиными очами.

— Ийд-тя-нысь!

Так, для порядку, никто не отстает. После долгой жизни в тесной теплушке приятно размяться по свежему занимающемуся утру.

С лентой, в развалочку выступает Сашка Глухарев, рослый разведчик. С него хоть картину пиши образцово-показательного бойца — комсоставский ремень туго стягивает тонкую талию, гимнастерочка заправлена без морщинки, на широком плече небрежно болтается карабин, на бедре шашка, на ногах не кирзачи, как у всех нас, а яловые, гармошкой, еще не тронутые пылью сапоги. И лицо у Сашки внушительное, треть его уходит на квадратный подбородок с тщательно выбритой ямкой посередине. Даже Зычко остерегается командовать Сашкой, а сам командир дивизиона майор Пугачев при встрече здоровается с ним за руку.

Как всегда, рядом с Сашкой Чуликов, тоже разведчик, но совсем другого покроя. Поход только начался, а он уже в запарке — мотня галифе сползла до колен, сапоги с широкими голенищами воюют нескладно со свисающей шашкой, острый нос из-под каски напряжен. Спотыкающийся на каждом шагу Чуликов — студент из Москвы, и никто лучше его не делает расчет для стрельбы: без всяких таблиц мгновенно соображает в уме и никогда не ошибается. Сашка опекает Чуликова и забавляется им.

— Чуликов, у тебя баба была?

— Пошел к черту!

— Нет, серьезно, сколько их перебрал за жизнь?

— Не считал.

— Так много? Со счета сбился!

— Отстань, жеребец!

— Отстаю, Чулик, отстаю. Ты вон каков, со счету сбился. Где мне за тобой угнаться.

Плечо в плечо со мной телефонист-катушечник Ефим Михеев, над костистым носом кустистые пшеничные брови, закрывающие глаза. Молчун, хозяйственный мужичок-кулачок, Ефим частенько выручает меня по мелочам. Отвалилась пуговица от гимнастерки, потерялась звездочка с пилотки, нужна чистая тряпочка для подворотничка — все появляется из его вовсе не объемистого вещмешка. По армейской разрядке я его прямой начальник, но он зовет

меня сыном, а я его батей. Мне никогда не приходится ему приказывать, да и просить тоже. Батя раньше меня соображает, что нужно выполнить, и выполняет на совесть.

Сейчас к нему липнет Нинкин — тоже мой телефонист, тычет под костистый нос ножичек с наборной ручкой.

— Вещь али не вещь? Взгляни.

Ефим молчит, не смотрит.

— За одну ручку осьмушку отвалят. Мастер делал.

Ефим молчит.

— А я с тебя на пять заверток табачку прошу. Грабь, пока не раздумал.

Ефим выдавливает ухмылочку.

Нинкин мал ростом, суетлив, физиономия смуглая, нос с горбинкой, густые, сросшиеся над переносицей брови. «Меня мама с цыганом прижила». Наверно, так оно и есть. Сейчас Нинкин в подозрительно замасленной гимнастерке, потасканные галифе с аляповатыми заплатами на коленях, да и вместо сапог стоптанные башмаки с обмотками. А ведь на формировке всех обмундировали в новенькое. И уже можно не сомневаться, запасной пары белья в мешке Нинкина нет. Все он изловчился сменить, пока ехали к фронту, на самогон да «на закусь».

Степь вздрогнула, шевельнулась, зарумянилась полосами, старчески покрылась морщинами. Все заоглядывались, все, даже ездовые на конях. И на медных лицах радостные розовые оскалы. Краешек солнца, оторвавшись на пядь, висел над землей. Багровый глаз изумленно взирал на нас. И даже взбитая на дороге пыль зацвела.

Но это происходило у нас за спиной, а там, куда мы шли, — марш! марш! — упрямо держалась угрюмая просишь, ночной неразвешанный осадок. Солнце подымется вверх, привычно прошествует по небу, и закатится оно там. Но мы опередим его, там будем много раньше. Вкрадывается тихая до ужаса мысль: кто-то из нас не доживет до заката. Идем в бой, боев без жертв не бывает.

Уверенно вбивает короткие ноги в дорогу помкомвзвода Зычко. С ним у меня старые счеты, еще по дивизионной школе — и там был моим помкомвзвода, постоянно гонял по парядам.

Красавец Сашка Глухарев легко несет себя по земле, еле поспевает за ним путающийся в шашке Чуликов.

Нинкин пристаёт к батю Ефиму:

— Три завертки табачку. Грабь, жила!

С ними на марше и я.

Кто-то из нас... И никто почему-то не обмирает от неизвестности. Идем в бой.

3

Возле нас вспыхивает веселье...

Сзади натужно вызревает солнце, на дороге зашевелились тени, степь улыбочиво рдеет местами, высокими взлобками, низинки же, как озера, заполнены тающими сумерками. И тронулся ветерком воздух, прогладил по степи, в пей серым козликом заскакало перекасти-поле, спутанный клубок колючек. Радостен белый снег, прекрасна выпавшая тебе жизнь.

Огневики не выдержали, попрыгали со своих пасестов — приятней шагать, чем трястись на лафетах. Они сразу внесли оживление в колонну, заметили отчаянно воющего со своей шашкой Чуликова.

— Эй, разведка, продай селедку!

Это избитый повод для шуток, но вовсе не безобидный для разведчиков. По старой традиции разведчикам в артиллерии на конной тяге положены кавалерийские шашки. Их выдали, а коней нет. Шашки старые, в облезлых ножнах, тупые, как доски, тяжелые, что стволы противотанковых ружей, украшеньице. Что может быть нелепее, чем кавалерист без коня. Конями же в походах пользуются орудийные расчеты, не снабженные шашками. Кому досада, кому забава.

Приятель крикнувшего участливо спрашивает:

— И зачем тебе, Вася, селедка?

— От мух отмахиваться.

Огневики ржут, разведчики помалкивают.

— Вынь клинок, фараон, че зубы скалят.

— Ой, ой! Разбежимся. Кто из пушэк стрелять будет?

— Они селедками немецкие танки порубят.

— Как бы не затупились.

— Наточат. Эвон у Зычко зад — что жернов.

Зычко вышагивает, выставив грудь, презрительно воздев подбородок — бог и царь в своем взводе, над разудалыми огневиками он власти не имеет. Но Чуликова смутила столь наглая дерзость, в очередной раз спотыкается о злосчастную селедку и...

— Ох-ох! Не порежься!

— Га-га-га!..

Все грохнули — растянулся.

Смеемся мы, связисты, смеется Сашка, смущенно улыбается подымающийся Чуликов. Ему сочувствуют:

— Сестричка-то с поровом, солдатик.

Один Зычко хмур и важен, топчет дорогу, не обращает внимания на веселье.

Высокий тепор полудурашливо-полувсерьез заводит:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Кто же ваши сес-стры-ы?..

Несколько бодрых голосов охотно подхватывает:

Наши сестры — сабли востры,
Вот кто наши сес-стры-ы!..

Пожарно разгораясь, пошло, пошло по колонне. Вступают и те, кто вдали, в веселье не участвовали:

Наши гости лезут сюда в злости,
Раз-зомнем им кос-сти-и!

Без спешки, уверенно вступают в ременной оснастке кони, качаются стволы орудий. Степь все румянится и румянится, молодеет, яснее и раздвигается небо, к нему несется счастливо запосчивый — трын-трава! — вызов:

Наши пушки — тоже не игрушки.
Грянем в наши пуш-шки!

И я, безголосый, самозабвенно пою. Легок мой шаг, просторно в груди, высоко держу голову, радость жизни распирает меня. Впереди война, кого-то из нас ждет смерть, идем ей навстречу — и трын-трава, все нишечем. Знать, правда, есть что-то сильнее смерти.

Первое серьезное открытие в наступающем дне.

4

Дорога оживилась. Только что шли одни, вольно шагали — марш! марш! — и не заметили, как стало тесно. То и дело слышится скачущая по колонне команда:

— Принять вправо!.. Вправо принять!..

Нас обгоняют танки, устрашающе высокие «КВ», обдают пылью, бензиновой гарью, натруженным теплом, земля дрожит, до того тяжелы ходячие крепости. Они в лязге и грохоте исчезают вдали, будут раньше нас. Давай, роди-

мая силушка, выручай страну, а мы поможем: «Наши пушки — тоже не игрушки...»

— Принять вправо!

Нагруженные грузовики один за другим. Уступи мотору, копная тяга! Ездовые усердствуют кнутами:

— Вороти, сатана! Тудыть тебя в селезенку!

— Припятть вправо!

Новые машины жмут нас на обочину. На каждой какое-то сооружение, укрытое брезентом, похоже на складные пожарные лестницы. Что ж, все может быть, где стреляют, там и горит. Только что-то чересчур многовато пожарных машин... А по колонне уже летит почтительное:

— «Катюши»... «Катюши»...

Эге, еще те пожарники — не тушат, а жгут. Под Москвой припекли немца. Тайнственное оружие, в тылу о нем ходят дивные сказки, дух захватывает.

«Катюши» тоже раньше нас будут на месте. Тесно на дороге, сила идет, берегись, фриц!

Солнце уже высоко, жжет сквозь гимнастерку, от пыли першит в горле, во фляжке у пояса вода, однако терни. До линии фронта шагать да шагать...

Но через несколько шагов фронт вдруг оказался рядом прямо над каской.

С неба упал тягучий моторный вой, приглушенная очередь. На дороге легкий сбой, солдаты натыкаются друг на друга, задирают лица.

— Эх, мать чесна! «Мессер» «кукурузника» давит.

Висит в стороне над степью самолетик — два крыла этажерочкой, растопыркою колеса. Он отчаянно стрекочет, но это ему мало помогает, ползет, буксует в воздухе. А возле самого солнышка, коринуны темный, разворачивается другой самолет. Подставился на секунду солнцу, словно похвастался — я вовсе не темный, я целиком серебряный, — ринулся с занебесной высоты на стрекочущего тиххода...

Кони равнодушно тянули пушки, а люди заворуженно застыли, запрокинув каски.

Медлительный «кукурузник», видать, совсем обезумел, лег на крыло, повернул навстречу.

Не ругань, короткие выдохи с дороги:

— Куд-ды?!

— Смерти ищет!..

Косо падающий убийца выпустил туманные, как паутина, нити. С запозданием злой пулеметный перестук...

— У-ух!!! — обвальный вздох.

Промах. Убийцу с ревом занесло далеко в конец степи, и там, гневно стеля, с натугой стал разворачиваться. «Кукурузник», усердно стрекоча, пытается удрать, жмет к земле. Но где ему, буксующему. Хищнику тесно в просторном небе, рыча от натуги, он снова начинает падать. Тихоход неподатливо трудится над степью и... почти на месте поворачивается, успевает нырнуть под паутинную полосу траксирующих пуль. На земле рождается несмелое веселье:

- Мастак, едрена Матрена!
- Сердит кот, да и мышка ловка.
- Опять, гад, круто берет.
- Авось с маху врежется.
- Вот ба...

Но в землю врезался прижатый «кукурузник», видно было, как он игрушечно перекувыркнулся среди степи. «Мессер» с победным ревом низко прошел над жертвой, не подымаясь вверх, косо пересек степь, завис впереди над дорогой. В моторный гул вплелась длинная ожесточенная очередь.

— Наломает дров, сволочь!

Кони последней батареи невозмутимо тянули пушки, качались длинные зачехленные стволы. Никто не тронулся, все вслушивались, вглядывались. Самолет удалялся, побоище впереди затихало.

— Напакостил и смылся.

— Чего наши молчали? На бредущем шел, в упор бей.

— Из трехлинеек? У него брюхо бронированное.

— А «кукурузник»-то не горит. Не видать дыму.

— Поди, и летчик цел.

— Гляньте, не оттуда ли спешат?

По степи к дороге, то исчезая, то выпырывая, прыгал «виллис», болотно-зеленый, пятнистый, сумасшедшая лягушка.

— Давят всю.

— Раненого спасают.

— Шибко раненого с бережением бы везли.

— Ужо увидим. Похоже, мимо проскачут.

— Пошли, братцы, догонять пушки.

Прошли совсем немного, впереди показался «виллис», требовательно сигнали, обходя по обочине порожнюю полуторку, проскочил мимо, обдав пылью. На заднем сиденье, втиснутый между двух ярко-зеленых гимнастеров,

человек в кожанке, белым марлевым лбом вперед. Из широкого марлевого обруча мечущаяся на ветру волна волос.

— Дев-ка!.. Летчик-то — дев-ка, ребята!

— Фриц с бабой воевал.

— Ловко она с ним танцевала.

— На одинаковых бы машинах им встретиться, кто б сверху был, кто б внизу лежал?

— Умотала молодца с брюхом бронированным... на спичечной коробке.

— Жива, любушка, жива! Сидит, не валится.

— Женский пол, что кошки, живуч.

И долго не могли успокоиться. Огневики, связисты, разведчики спешили за удалившимися пушками, оживленно беседовали, на ходу творили легенды:

— Шибко-то худо про «кукурузник» не думайте, он вроде волка воздушного, по ночам охотится. Вылетит вот такая Дуняша, когда потемней, мотор выключит и планирует над немецкими окопами, а сама фонари вешает...

— Фонари? Куда?..

— На воздух, дерево, на воздух. На парашютиках фонарики. Спускаются себе и светят, хоть иголки собирай внизу. А что выше их, не проглядишь, глаза слепят. Летит себе поверху Дуняша, выглядывает огневые точки противника. Каски торчат, пулемет на бруствере — все видно. Белой ручкой Дуняша кап на них противотанковую гранатку — были да нет, мокрое местечко на память.

— Ну и брехлив. Тебе б вместо собаки дом стеречь.

— Поползаешь по передовой, поверишь и не в такое.

— Эй, чтой-то дымит впереди!..

Вдали лениво полз в небо неопратно черный дым.

— А гад с бронированным брюхом нуспл-таки петуха, — подсадовал рассказчик о Дуняше с белой ручкой.

Никто ему не ответил, лишь прибавили шагу.

5

Горел танк «КВ», один из тех, что шли мимо меня, и земля дрожала. Он теперь не выглядел мощным — ходячая крепость, — посреди дороги громоздилась гора копотно-черного металла, из щелей сочился грязный дым, в его жирных клубах купалось тускло-красное солнце. Угарно воняло жженой резиной.

Солдаты топтались, отстраненно разглядывали, было

известно, экипаж спасся, а сам горящий танк явно не вызывал сочувствия.

— Из пушки, что ли, «мессер» шарахнул иль от пули загорелся?

— Эти «КВ», жестяные хоромины, от спички горят.

— Велика Федула, да дура.

— Новые танки, вот те хвалят.

— Хорошие кони в заводе, да на пашне их нет.

В стороне от чадающего танка убитая лошадь, рыжая и ребристая, на обочине перевернутая повозка, по щетиистой пыльной траве раскидано армейское барахло — коробки с пулеметными лентами, сиреневое трикотажное белье... Были, наверное, и убитые, и раненые, их успели прибрать. Поразбойничал молодец с бронированным брюхом.

На лоснящемся жеребце вырос возле пушек командир дивизиона майор Пугачев в косо сидящей каске, автомат на шее, бронзовое лицо, широкие плечи, зычный голос.

— Вправо с дороги! Побатарейно в степь! Интервал триста метров!

Сворачиваем не только мы, но и машины, и обозы — подальше от опасной дороги.

Буро-ржавая степь до удушья пахнет распаренной поlying. Сквозь подметки сапог чувствую, как круто спеклась земля. Давно уже сорвал с головы накаленную каску, пилотка насквозь мокра от пота, пытаюсь поймать лбом ветерок, но воздух недвижим, лишь плавится от зноя, колеблет степные дали. И режет плечо ремень вдруг потяжелевшего карабина.

Горящий «КВ» и солдатские осуждающие разговоры нежданно-пегаданно отравили меня. Всегда свято верил в нашу силу, с восторгом смотрел в кино, как слитно маршируют наши войска: одна нога шагает вперед — тысячи с ней, подымается одна рука — с ней в едином взмахе тысячи. И я, мальчишка, незаметно живущий в далеком от Москвы, ничем не прославленном селе, всей душой там, в общем марше. Тысячи таких сел, миллионы таких, как я, весь советский народ, как один человек. Мои войска шагают, мои танки идут. Самые мощные, самые грозные из них — «КВ», больше всех ими восторгался, больше всех в них верил. Счастье было встретить их на дороге — идут к фронту, будут там раньше нас, надежно прикроют, со мной сила! А не прошло и получаса, как один «КВ» вышел из строя, горит, не дошел до фронта. Мои старшие товарищи, оказывается, ничуть не

удивлены: грозные «КВ» от спички горят, «велика Федула...». Немцы здесь, в глубине страны. Мы сильны, верю в то, не могу сомневаться, но какая же сила тогда прет на нас?..

Мучительные мысли — «КВ», моя надежда, мой старый кумир, подвел меня. Без мучений с кумирами не расстаются.

— Воз-дух!

Мучительные мысли разом вылетели из головы.

Одни ездовые закричали, заулюлюкали, нахлестывая лошадей, без нужды заворачивали их в сторону. Другие скатывались с конских спин на землю, растерянно приседали, задирали головы. Огневики рассыпались по степи, стаскивали карабины. Я тоже сорвал карабин, припал к горячей пыльной земле, жадно вглядываясь в небо. Лишь один майор Пугачев не покинул седло, замер на жеребце посреди степи.

Самолет шел прямо на нас, самолет-одиночка с неровным, монотонно качающимся звуком мотора. Не спеша, не снижаясь и не набирая высоту, он рос на глазах и странно преображался, с каждой секундой становясь все диковиннее. Это был не один самолет, скорей два, сросшихся воедино. Два туловища на одном просторном крыле! Во сне не приснится...

Все держали на изготовку карабины, жалкое оружие против воздушного нападения. Но никто не стрелял, забыли, смотрели, завороженные, снизу. И самолет не проявлял угрозы, плыл ровно, с безразличным равнодушием, на одной ноте, на одной высоте.

Странное сооружение пронесло над нами свой раздвоенный хвост, казалось, не обратив на нас, на наши пушки никакого внимания, презрительно позволяя глазеть на себя. И мы изумленно глазели с распахнутой земли на невиданное чудо, забыв об опасности.

И только когда оно удалилось, раздалось несколько бестолковых выстрелов вслед да неподалеку от меня кто-то витиевато матерно выругался с явным облегчением.

Повскакали, возбужденно заговорили:

— Чтой это, братцы?

— Огорожа у немцев летает.

— И зачем им такой урод?

Но в солдатской массе всегда найдется сведущий, и уж он не утаит. Через минуту разнеслось:

— Слышь, «фокка-вульф» какой-то.

— Рама. Корректировщик.

— По какой надобности?

— По доглядыванию.

— Гляди, не жалко, только вниз не плюй.

— Э-э, деревня! Он вот глянул и уже доносит — полоротые с пушками по степи идут. Жди коршунов, они не спускат.

— От гад раздвоенный. Убираться надо скорей отсюда.

— Эг-ге! А это еще чего?..

Под наши сапоги на спаленную траву начали ласково ложиться белые листки. Синее небо было заполнено лениво кружащимися блестками.

— Листовки!

— Письмецо от милашки.

— В любви, поди, признается.

С охоткой хватали, с любопытством вчитывались.

На скупом кусочке папиросной бумаги под растопыренным орлом, сидящем на свастике, как на яйце, подслеповатый текст:

«Спеши спасти свою жизнь!

Жиды и коммунисты ведут тебя к гибели. ШВЗ — штык в землю!

Эта листовка является пропуском при переходе к нам в плен».

Раньше пуль до меня донесся голос врага. Он не только возмутил меня, он поразил своей откровенной тупостью. С оскорбительной спесивостью предлагает — «Спеши спасти свою жизнь!» — и рассчитывает, что сразу послушаюсь, воткну штык в землю. От отца уже восемь месяцев нет писем. Он убит. Ими! ШВЗ — штык в землю. Как же, сейчас... И эта бесцеремонная грубость — «жиды и коммунисты» — должна мне правиться? И непристойная игра на простачка — пропуск даем, пользуйся... До чего же, оказывается, глуп мой враг. Родилось брезгливое к нему презрение. А уж того, кого презираешь, бояться нельзя.

Кто скажет, какими неуловимыми приметам питается наша интуиция? Не с этой ли первой немецкой листовки моя мальчишеская слепая вера в победу превратилась в убеждение?

Нинкин подкатил к батю Ефиму.

— Не скаредней же ты немца. Ась? Он мне бумажку дал, а ты, что ль, табачку пожалеешь?

И Ефим полез за кисетом.

— Ну и оторва ты.

Выстроились в походную колонну, снова двинулись по степи в пыльном дурмане, под сатапеющим солнцем. Вдали погромыхизало, не я один невольно поглядывал на край неба: не выползет ли тучка, не нанесет ли дождя? Небо было чисто, дали прозрачны. Погромыхивает... Марш! Марш! Мы слышим войну.

6

Встретились первые раненые. У перегревшегося грузовичка с откинутым капотом двое в скудной тени кузова на корточках. Один баюкал руку на перевязи, у другого в марлевой шапке с охватом до подбородка голова, сверху петушиным гребнем грязная шлутка. Оба ярко белоглазые, иконочно черноликие, дремуче заросшие, братски похожие друг на друга.

Их бесцеремонно обступили.

— Отвоевались, мужички.

— Подождешь, так вернемся, встретимся. Нас быстро заштопают.

— Тебе голову чинить будут али новую выдадут?

— Голова цела, уха нет.

— Немец, надла, откусил?

— Осколочком сбрило.

— Не горюй, поросычье пришьют.

За табачок — по закрутке на брата, все из того же неистощимого кисета бати Ефима — раненые поведали: позавчера тут надавили на немца, отбили два хутора, впереди по дороге торчит немецкая пушка и пушкарь при ней, полюбуйтесь.

Новость понесли дальше, и каждый при этом стеснительно скрывал затаенную надежду: а вдруг да... большое-то начинается с малого, с каких-нибудь отбитых назад двух хуторов.

Никаких хуторов в обзоре не было видно, степь да степь кругом, а пушка без обману торчала за первым же взлобком. Она косо завалилась на обочине, тоскующе целилась коротким стволом в нашу незавоеванную сторону. И он при ней в пыльной лебеде, рослый, соломенно-рыжий паренъ в мундирчике незнакомого цвета жирной, с прозеленью болотистой грязи. Из задранных штанин высывались тощие, с голодными лодыжками ноги в сползших носках... Первый из врагов перед нами воочию.

Я лелеял в себе мстительное чувство, заранее подогре-

вал его: не этот, так похожий на него убил моего отца. Отцу теперь бы исполнилось пятьдесят лет, он был грузен, страдал одышкой, прошел через две войны, отличался прямо-тою, честностью, горячо верил во всемирную справедливость. Для меня не существовало более достойного человека, чем мой отец. Могу ли я не ненавидеть его убийцу?! Я стоял над врагом и испытывал только брезгливость... Но брезгливость не в душе, брезгает мое телесное путо, а в душу просачивается незваная, смущающая жалость. У этого парня было все-таки небронированное брюхо, коли лежит в лебедь. Так далеко шел, чтобы умереть до тошноты некрасивой смертью. Помню отца, не забыл, но ненависть не напает.

Все кругом, как и я, хмуро молчали. И только один Никитин сердито сплюнул.

— Тьфу! Пададь.

По и в его голосе не было силы, выдавил из себя по обязанности.

Первым Ефим, за ним все отвернулись, двинулись догонять пушки. Я вырвался из отравленного воздуха, дышал с наслаждением, прочищал легкие. Кто сказал, что труп врага сладко пахнет? Столь же отвратительно, как и любой другой труп.

Среди погромохивания уже отчетливо слышались путанные выстрелы — из края в край, перегораживая стену между нами и ними.

В застойно жарком воздухе над нашими головами что-то прошуршало, пришепетывая, что-то невидимое, шерстистое. Бравый Сашка Глухарев, шагавший передо мной, удивленно повел запрокинутой каской и вдруг поспешно осел. Далеко за колонной ухнул и покотился по степи взрыв.

— О-оп... — выдохнул Сашка, затравленно глядя на меня.

Странно, образцовый солдат Сашка Глухарев был испуган, даже не пытался скрывать того передо мной. И я, постоянно ему завидовавший, почувствовал тщеславное превосходство, не удержался, чтоб показать его, обронил с пренебрежением:

— Шалый снаряд... — И для пущей убедительности добавил чужие, давно слышанные слова: — Кидает в белый свет как в копеечку.

— То-то, что шалый... По-шальному вот вкатится.

У Сашки был слабый, вылинявший голос, а на чекапной физиономии вплоть до могучего подбородка свинцовый оттенок.

Через минуту он пришел в себя, снова приобрел осязочку — грудью вперед выступал, небрежно придерживая на плече ремень карабина, но голос так и не стал прежним, Сашкиным, усмешливым. Он словно оправдывался передо мной:

— Сдуру вленил, а ты лежи в лопухах... как тот немец.

Ах, вот оно что! Им, Сашкой, всегда все любовались — видный, ладный, заглядение. И такому красивому вдруг — в лопухах! Любого другого легко представить, но только не его. Сашка привык отличать себя от других — ладный, заглядение, — а вот шальной снаряд разницы знать не знает, для него все равны, что Сашка, что Чуликов. Вспаникуешь, коли сильно себя любишь.

А Чуликова рядом не было. Он всегда держался Сашки. Я невольно стал искать глазами по колонне... Не сразу узнал его — не та походка, шагает со свободной отмашкой, даже мотня штанов, похоже, не очень болтается.

— Эй, Чулик!

Он обернулся. Его узкое лицо всегда было потухше серым, тонкие губы в кисленькой складочке, сейчас же потно румяно, а глаза блестят.

— Где твоя селедка, Чулик?

Ноздри тонкого носа дрогнули в хитрой, затаенной улыбке.

— Какая селедка? — невинное удивление.

— Забыл, как с ней миловался?

— Вид оружия — селедка? В современных войсках? Тебе померещилось, сержант.

— Давай, давай поиграем в дурочку.

Он приблизил ко мне свои блестящие глаза, они неожиданно лукаво-карие, хохотнул счастливо.

— Даже Сашка селедку бросил, а уж он-то ее любил. К фигуре шла.

Не слишком-то почтительные слова. Бравому Сашке сейчас не по себе. Чуликов весел и самостоятелен. Все кругом выворачивалось наизнанку.

Мы только еще подходили к фронту, а люди уже менялись.

Изменился ли я?..

Мы выехали на истоптанную бахчу. Вбитые в пыль узорные листья, и кое-где чугунино темнеют не налившиеся, с кулак, арбузы.

Мы выехали на бахчу, и в воздухе запели пули. Сколько я читал о свистящих над головой пулях, герои книг слушали их без содрогания, но подразумевалось — нужна сила воли, чтоб без содрогания, нужно мужество. Теперь не в книгах, не в кино, исполнилось наяву — над моей головой свистят пули, и вовсе не зловеще, на удивление нежно, застенчиво. Мне нисколько не страшно, даже весело, и никакой силы воли не прилагаю, получается само собой. Может, я исключительная натура, из тех, кто вообще не ведает страха? Но со мной рядом никто не страшится, хотя пули занимают всех, задирают вверх небритые подбородки, оживленно переговариваются:

— Птички божии, не наслушаешься.

— Петь пой, да не клюй.

— Эти пеночки поверху летают. Услышим еще и низовых, что позлей.

Нехитрое пророчество сбылось через несколько шагов. Внезапный, взхлеб яростный визг, я ныряю каской вперед, в смущении поспешно распрямляюсь. Распрямляются и другие, озадаченные и тоже смущенные. Сашка Глухарев отряхивает с колен пыль, прячет лицо.

— Она самая, низовая пташечка.

— Целы?..

— Вроде бы пикого.

Наиграпное конфузливое веселье, но что-то остается на солдатских физиономиях, что-то одинаковое для всех, какие-то несвойственные прежде складочки и морщинки. Даже у Чуликова...

Он неожиданно возмущается:

— Это глупо!

— Что, умная голова?

— Пулям кланяться.

— А ты сейчас не кланялся?

— То-то, что кланялся. Зачем? Пуля летит быстрее звука. Ту, что клюнет, мы не услышим.

— Ходи себе гоголем, а я уж на всякий случай поклонюсь. Голова не отвалится.

— Ничего, ребята, оклемаемся, пообвыкнем.

— Ежели успеем.

Но спокойно шагают кони в упряжке, тянут себе пушки, не остерегаются. Только сздовые уже не сидят на них верхом, соскочили вниз, ведут передних в упряжке под уздцы, так все-таки ближе к земле, надежнее. Пока никого еще не зацепило, никто не ранен.

Появились первые окопы, из них торчат каски. Зарылась в прокаленную землю пехота, лица черные от въевшейся окопной пыли, сверкают зубы да белки глаз. Устроились они, однако, по-хозяйски: брустверы замаскированы травкой, кое-где покрыты плащ-палатками, чтоб не сыпался песочек вниз, и торчат из канавок-бойниц ворошенные стволы ручных пулеметов. А позади окопов даже противотанковая пушечка-сорокапятка, обвешана, опять же для маскировки, растрепанными арбузными плетями. Бахча обрела суровый фронтовой вид.

Но это лишь задворки фронта, если наши кони с пушками идут дальше. И поют «верховые пеночки», и по сторонам ухают снаряды, а бой впереди, наше место где-то там, ближе к роковой линии, что пересекает страну, она означена выстрелами.

Шуточки внезапно замолкают. Лицо каждого теперь устремлено вдаль. Даже цыганистое лицо Нинкина, трепача и безобидного ловчи́лы, сейчас, право же, возвышенно строго. Незвестность подошла вплотную, от нее уже нельзя отмахнуться, нельзя обманывать себя, что не замечаешь. Незвестен зловещий мир, в который ты вступил. Разрушающе неизвестна твоя судьба — абы скоро, абы нет, будешь, не будешь? И неизвестно, как все обернется, новыми страданиями или искуплением от них... Убежден, в эти минуты великое ощущаю не только я, мальчишка с претензией на культуру, но и Ефим Михеев, и Нинкин — все. Каждый на свой лад.

Людам не свойственно терпеть неизвестность. Если они не в силах были что-то объяснить, то спасались самообманом. Неведомо, что там за пределами жизни каждого, а потому придумали рай и ад. Неведомо, когда и как кончится бытие рода людского, и вообразили себе Страшный суд. Пусть жуткий ад, пусть беспощадный суд с ужасами светопреставления, но только не неизвестность. Она противна природе, несовместима с человеческим духом. Но бывают критические моменты, когда она, неизвестность, столь близка и столь зрима, что уже не спрячешься от нее за самообман, принимай как есть. Тогда каждый отмечает в себе случайное и наносное, обращается к

одинаково тревожному для всех, главному, великому...

После окопов мы с копиями и пушками оказались одинокими в необъятной степи. Обманчивое одиночество. Стень только с виду ровна и необжита. Она капризно складчата, и едва ли не каждая ее складочка потаенно населена. Куда-то же делись шедшие по дороге обозы, машины, «катюши» и эти грозные с виду и не слишком надежные «КВ», собратья сгоревшего. А дорога гнала силу сюда и вчера, и позавчера, всех укрыла ровная стень, всем нашлось в ней место. Найдется и нам. Но пока мы до него не добрались, пока ни с кем не связаны, ни с кем еще не сроднились, блудные дети. Не терпится сродниться, тогда неизвестность перестанет быть мучительной.

Натыкаемся на оконно-земляпочный городок, не спеша шествуем мимо этого скудного степного оазиса — марш, марш! А в нем своя жизнь: млеют на солнце часовые, кучка солдат, голых по пояс, умываются. Они благодарно гогочут, звонко шлепают друг друга по спидам, увидев нас, прерывают веселое занятие, смотрят, окликают:

— Эй, артиллерия, бог войны! Заворачивай, перекурим!

Наши стряхивают замороженность, охотно отзываются:

— Прикурка не для вас. Немцу везем!

— Не ожгитесь, божьи ангелы. Он тоже дает прикурить!

Даже лошади пошли веселей, даже ездовые полезли на конские спины, хотя здесь «верховые пеночки» поют пазойливей и чаще срываются на злобный визг. Марш! Марш! Бодро взяли вверх по выжженному склону, под повизгивание «пеночек» прошли открытый плоский перевал, скатываемся на рысях вниз.

А внизу тесно скучились несколько спешившихся конных. Вижу среди них рослого командира дивизиона майора Пугачева, вижу командира своего взвода лейтенанта Смачкина. Он невысок, наш лейтенант Смачкин, подобран, у него слегка кривые — кавалерийские — ноги в мягких сапожках из выгоревшей плащ-палатки и пузырящаяся каска на голове, и автомат с биноклем на шее.

Сашка Глухарев переглядывается с Чуликовым, Чуликов со мной, я с батей Ефимом — здесь! Балка не балка, долина не долина, просто малозаметная вмятина на обширном теле степи — наше место.

— Марш! Марш! — кричат вдохновенно ездовые.

Кони на рысях гонят пушки. Последние метры марша.

Лейтенант Смачкин стал командиром нашего взвода уже после формирования, по пути к фронту. С разведчиками он успел как-то познакомиться, провел несколько занятий, экзаменовал, а проэкзаменовав, оставил в покое. И никто не мог сказать, что он за человек, взводный, строг или добр, толков или нет? «Дураком вроде не назовешь, а так кто его знает...» Нас, связистов, Смачкин просто не замечал. Связистами занимался Зычко, «наш фетфебель», как звал я его, за глаза, разумеется.

Зычко жил вместе с нами, из одного с нами котла получал кулеши в котелок, лежал на одних нарах в теплушке, раздавал наряды, следил за чистотой подворотничков, за надлежащей заправкой и выправкой, за ухоженностью карабинов, за бодростью духа и уж, конечно, за дисциплиной, которую понимал не иначе как беспрекословное повиновение своей особе. За все время всего раз или два он показывал нас Смачкину. Тот появлялся перед строем, влитый в длинную кавалерийскую шинель, в фуражке с черным околышем, свежевыбритый, рассеянный, не замечающий усердно тянущегося перед ним Зычко.

После «здравствуйте, товарищи бойцы» один и тот же вопрос: «Жалобы и претензии есть?»

Жаловаться себе дороже, пришлось бы иметь дело с Зычко, а тот не спускал: «Бога святого и батьку ридного вам замещаю!»

Сейчас на нас налетел Смачкин, обожженный солнцем, пропыленный, внушительно вооруженный — автомат ППШ на шее, пистолет ТТ на поясе да еще бинокль и беспокойно болтающийся плащет на боку.

— Со мной пойдут: Чуликов, Глухарев, Тенков, Михеев и еще... ну, хотя бы Нинкин! Макарыч, ты как, выдержишь? И бегать, и на брюхе ползать придется.

Диво дивное, держался от нас в стороне, а на вот, и в лицо, и по фамилиям всех знает; батю Ефима, падо же, по отчеству величал, Макарычем. Даже я Ефима по отчеству не знал.

— Разведчики берут стереотрубу и треногу. Связисты — телефон и по катушке на брата. Карабины и саперные лопатки с собой. Вещмешки и противогазы оставить здесь.

Разведчикам надлежит выбрать НП, нам, связистам, протянуть до него связь. На огневой остается Зычко, он

уже уверенно распоряжается — кому рыть щели, кому тянуть кабель от батареи к батарее, кому отправляться в обоз за резервными катушками. Я Зычко уже не подчинен, сам Смачкин меня к себе призвал.

Идем по прямой, Смачкин изредка сверяется по компасу, ведет нас к какой-то только ему известной точке. НП обычно располагается на самой передовой. Пока мы не обоснуемся, пушки слепы, а потому спешим. За моей спиной повизгивает несмазанная катушка, связь тянем прямо на ходу. Скрипит катушка, выбрасывает на сухую траву кабель...

Поле пшеницы. Оно, по-степному бескрайнее, остается от нас в стороне, мы задеваем лишь угол. Но даже за малый путь по нему, за каких-нибудь сотню — полторы шагов успеваем увидеть, как жестоко изранено это величавое поле, все в рубцах от колес машин, повозок, гусениц танков, черные подпалины возле рваных воронок. Израненное поле продолжало, однако, зреть, налившись колосья прижимались по-солдатски к земле. Я срываю на ходу колос, разглядываю. Выросший в лесном краю, таких хлебов я еще в жизни не видел. Каждое зерно янтарно прозрачно, как слеза доисторического животного, превратившаяся в драгоценный камень... И никто эти драгоценные зерна уже не соберет — спалят, вытопчут...

— Урожайный год поне. Страсть! — говорит Нинкин.

Батя Ефим глухо роняет:

— Война клятая!

А Смачкин торошит издали:

— Ножками, ребятки, ножками! Пушки наши молчат.

Мы работаем ножками, сгибаясь в три погибели. Теперь уже стреляют кругом — и впереди, и сзади, и с боков. Где-то неподалеку упорно погромыхивает, вдали гnevается басовитый пулемет. И пули тоскующе стонут по непролитой крови, стонут и яростно визжат. Иногда россыпью громкий треск по земле, то немец пустил очередь разрывных. Завывая, проходят над нами дружной стаей мины и — кррак! кррак! кра-ра-ррак! — вперегонку лопаются за спиной.

— Шевели ножками!

А гимнастерка насквозь промокла от пота, каска на голове раскалена, коснись, обжигает руку. Ломит плечо от катушки, и сильно мешает ненужный карабин.

После очередной пробежки Смачкин объявляет:

— Минутный перекур!

Мы мешками падаем на землю. Вправо в выжженном степном западке — минометная батарея. Должно быть, та, что погромыхивала в стороне. Громыхает и сейчас, минометы размеренно бьют.

— Ждите. Выясню обстановочку, — приказывает Смачкин, низко сгибаясь, бежит к минометчикам.

Благостно отмякает измученное тело. Только солнце нещадно жжет, от него не спрячешься, Нинкин канючит Ефима:

— Под богом ходим. Не жилься. Убьет вот, и табачок в запас не понадобится.

Я наблюдаю за минометчиками, они нам сверху хорошо видны. Минометы как самоварные трубы стоят в ряд на короткой дистанции друг от друга. Возле каждого из них дружная работа: одни подносят ящики, вскрывают их, другие выхватывают из ящиков мины, кидают третьим, те ловят, заученно скупым движением опускают в трубу. «Огонь!» Миномет плюется и приседает, а над ним уже запущена новая мина... Деловито, без суеты шуруют, как кочегары у паровозной топки. А ближе к нам под штабелем пустых ящиков и совсем мирная картина — под минометные выстрелы обедают, обрабатывают котелки ложками, усердно жуют, с ленцой болтают; кто-то, уже отвалясь, властью смакует сигарочку. Вот, оказывается, как воюют — без паники, без надрыва, не на «ура», шуруют и хлеб жуют. Просто. Меня до зависти поражает такая налаженная, обжитая война — не столь уж и страшен черт, как его малюют. И мы приспособимся...

Смачкин возвращается к нам на четвереньках, нарушает наш покой:

— Пошли. Тут уже недалеко.

Выскакиваем на раскатанную степную дорогу и патыкаемся на такое, чего никак не ждали. Со всех сторон стреляют, нули поют в воздухе, нули стригут по траве, мы двигаемся перебежками, низко гнемся, поминутно падаем, а посреди дороги тяжелая повозка, нара коротконогих лошадепок, дремотно понурившись, отмахиваются хвостами от слепней. И дюжий парень-повозочный в мешковатой обмундировочке, с опущенным кнутом в руке стоит, не таясь, во весь рост, с надеждой на распаренной физиономии встречает нас.

— Заплутался, братцы. Свою батарею никак не найду.

— Вот увидят да всадыт, и вовсе к богу в рай закапашься.

— Чего уж...— вяло отмахивается кнутом повозочный.— Знать бы, куда податься... Девяносто пятая полковая... Срочно мины доставить приказано.

— Минометная батарея? Так ты мимо проехал.

— Этих я видел, эти не наши.

Его невнимание к пулям заражает и нас, распрямляемся, переминаемся, глядим с осуждением и сочувствием.

Давящий — дотерпеть нельзя — вой. Возрос и обрубился. На миг тишина. Предсмертная — ни мысли, ни дыхания. И земля рвется к небу.

— С дороги! Ложись!

Крик Смачкина настигает меня в косом, стелющемся, дикий прыжке, краем глаза успеваю уловить рвущихся с места лошадей. Гремя катушкой, карабином, шмякаюсь на жесткую землю, путаясь в оснастке, переворачиваюсь раз, другой, ползу вслепую подальше от дороги, зарываюсь лицом в полынь. А позади рвется и рушится: грохот — вой... грохот, грохот — вой, снова грохот и снова вой, но уже не столь ожесточенный, напористый... И взрыв на удалении, и тишина.

Освобождаюсь от полынного удушья, подымаю голову. В степи, задрав головы, несутся лошади, груженую повозку кидает из стороны в сторону. За ней, далеко отстав, бежит парень-повозочный, размахивает рукавами... Жив курилка!

В воздухе надо мной явственный шепот, косноязычный, убеждающий меня в чем-то. Ближе, настойчивей, сердитей — шлен! Рядом с моей рукой на земле осколок, черный, рваный, потерявший силу. Будь он в силе, не только руку, полголовы бы снес, и каска не помогла б... Тянусь к нему — ах, черт! — горячий.

— Быстро все ко мне! — совсем близко голос Смачкина.

Мы сползаемся. У Сашки Глухарева лицо странно костистое, глаза слепые, глубоко запали. Остальные словно виноваты — невзначай нашкодили, только батя Ефим, как всегда, сурово-серьезен.

— Вперед! — нетерпеливо приказывает Смачкин.

— Нет! — возражаю я. — Связь надо проверить, товарищ лейтенант.

Смачкин с досадой крикает.

— Давай быстренько. Там ждут, а мы путаемся...

С помощью Ефима торопливо присоединяю телефон к кабелю.

— «Фиалка»! «Фиалка»!..

Не успеваю сообщить, что связи нет, как, кряхтя, подымается Ефим.

— Перебило на дороге. Пойду пошарю концы.

Дорога пристреляна, и за ней сейчас наверняка пристально следят, только покажись, снова ударят. Мне кажется, что батя идет на верную смерть. Остановить, пойти самому?.. Но, пока я колеблюсь, Ефим уползает, оставив во мне едкое чувство вины.

Все как один, приподнявшись, вытянув шею, следим за удаляющимися подметками сапог Ефима. Он, даже пластаясь на животе, сохраняет степенность, не торопится. В глазницах Сашки рядом со мной тоска, столь угрюмая, что даже пугает меня. А Чуликов звонко произносит:

— Вот так-то...

На него удивленно оглядываются, он смущается.

Ефим подполз к самой дороге, задержался, поворочал каской вправо-влево, не спеша перебрался и исчез на другой стороне.

Его долго нет, я страдаю.

— Товарищ лейтенант, разрешите помочь ему.

— Лежать!

Концы перебитого кабеля могло разбросать взрывом, не так-то просто их отыскать в траве. Я понимаю, бессмысленно толкаться там вдвоем, буду только мешать бате, но ждать и страдать выше моих сил.

— Товарищ лейтенант!..

— Лежать!

Наконец-то каска Ефима показывается над дорогой. Я хватаюсь за трубку.

— «Фиалка»! «Фиалка»!..

«Фиалка» сразу же отзывается невозмутимым голосом Зычко:

— Оце добре, Василек. Вже на мисте?..

— Больно скоро. Просто проверка.— Я теперь могу себе позволить говорить с Зычко на равных. И он похоже, это понимает, не обрывает меня начальнически.

Снова двигаемся короткими перебежками — рывок на десяток шагов, падение, секунда оглядки, вновь рывок... Рядом со мной с обстоятельной старательностью бежит и падает Ефим. У меня не проходит ощущение: я что-то оставил на дороге, что-то такое, из-за чего следует вернуться. Батя Ефим рядом, батя цел и невредим, что мне еще?.. И вспоминаю — линия-то через дорогу

не перекопана! Мало ли какого дурака на повозке снова занесет туда, зацепит за кабель, оборвет... Но остановить Смачкина я не решаюсь. Пушки молчат, пушки ждут нас на НП.

9

Трудно сейчас представить ручей, бегущий в раскаленной степи. Но и в ней бывает весна, тают снега. Не один, а, должно быть, несколько ручьев, сливаясь здесь, пробуровили бочажок, и вода кружила в нем, ища выхода. Бочажок давно высох и густо зарос высокой травой с сизыми метелками, мы удобно устроились в нем.

Мы, связисты — батя Ефим, Нинкин и я, — тесно друг к другу вокруг подключенного к кабелю телефона. Смачкин с Чуликовым и Сашкой Глухаревым отправились выбирать место для НП — их, разведчиков, дело. Пока не выберут, мы не нужны, наслаждаемся законным отдыхом.

Шагах в двадцати — тридцати, совсем рядом, траншея стрелкового взвода. Это и есть самый передний край фронта, за ними уже никого из наших нет, за ними нейтральная полоса, ничейная земля, а дальше противник. День в разгаре, в самом разгаре и бой.

Только издалека кажется, что передовая охвачена трескучим пожаром. Вблизи пожара не чувствуешь, идет работа. Слева бьет короткими первыми очередями пулемет, на отдалении справа второй, но никак не нервно, не частит, с явной прикидкой и примеркой. Еще реже вступает третий, как раз напротив нас, зато заводится надолго, обстоятельно, вероятно, не ручной, а станковый. И виштовочные выстрелы не беспорядочны, а набегаящими вспышками — кто-то хлопнет раз, другой, и сразу двое или трое поддержат его, разбежится быстрый говорок на всю длину траншеи, постепенно увянет до нового звонкого выстрела...

Для нас скрыта жизнь этого кусочка фронтового края. Изредка над траншеей проплывет каска, не спеша, с показыванием в такт шагов. Нет-нет да донесутся выкрики, ничуть не сполошные, так, по необходимости:

— Остапенко!.. Где Остапенко? Младший лейтенант зовет!

В двух местах копают, осторожненько выбрасывают наверх рыжую глину.

Эти чудо-богатыри, что первыми встречают напирającego противника, те, на кого с надеждой смотрит вся великая страна, которых поддерживает мощный тыл с многочисленными пушечными батареями, танковыми соединениями, колоннами машин, обозами, подсобными подразделениями, стараются быть как можно неприметнее, зарываются в землю. Для них мир выше бруствера враждебен. Здесь не слышно тоскующих пуль, здесь пули неистово яростны, жалят черствое тело степи, брызжут сухими комьями, с треском рвутся в траве — немцы часто бьют разрывными.

Пули визжат и над нами, но теперь и мы неплохо укрыты, в сухом травянистом бочажке нас не продувает. Правда, по сторонам, там и сям садняще лонаются мины, но авось — бог не выдаст, свинья не съест — прямым попаданием не всадят. Как мало, однако, падо солдату — минутку покоя и углубление в земле. И еще чтоб не грызла душу забота.

Я прирос к телефонной трубке, постоянно выкрикиваю:

— «Фиалка»! «Фиалка»!..

Мне отвечают:

— «Фиалка» слушает...

Связь есть, и это, право, удивительно. Наш выброшенный на бегу кабель проложен в нарушение всех правил — не по кратчайшей прямой, с разными загибами, без выбора места. И ни на минуту не забываю о дороге, кабель там лежит наверху, не перекопан... Все-таки забота грызет, отравляет покой, но...

— «Фиалка»! «Фиалка»!..

— «Фиалка» слушает...

— Порядочек!

Я не телефонист-катушечник, а радист. Нёт, конечно, не классный, а ускоренной военной «выпечки», на ключе работаю слабовато. Да в полевой артиллерии не так уж это и важно, тут некогда возиться с морзянкой, кричи в микрофон. Зато никакой тебе проволоки, никаких пудовых катушек и проклятых порывов, выкинул антенну, повернул ручку настройки: «Фиалка»! «Фиалка»! Летит твой голос через степь над дорогами и оврагами, сквозь пули и снаряды... Не оснащен еще наш дивизион радиостанциями.

Но не мечтай попусту и не отравляй покой, насладись минутой. Она скоро кончится, а что будет потом, бог

весть. Быть может, нам и не придется больше вот так блаженствовать вместе. Напустив на глаза брови, распустив на лице задубевшие складки, отдыхает батя Ефим. Ерзает, подергивается беспокойный Нинкин — продувной черный глаз с искрой, тонкий, строгого рисунка нос с горбинкой, сквозь коросту пыли проглядывает свежая смуглота подвижной физиономии. А ведь Нинкин-то красив!.. Меня захватывает острое чувство братства. К Нинкину тоже.

— Ты кем на гражданке был, Нинкин?

Он ничуть не удивляется моему вопросу, словно даже ждал его.

— Ты, сержант, спроси, кем Нинкин не был.

Ефим-молчун хмыкает и отверзает уста:

— В начальстве ходил, разе не видно.

— А что? Был. Не долго, конечно, три дня всего.

— Ужли?.. Кем?

— Заготовителем! — отчеканивает Нинкин. — Ты, елка дремучая, поди, и слова-то такого не слыхивал.

— А три дня почему? — интересуюсь я.

— День-ги!.. — вздыхает Нинкин. — Век с пими не лажу. А тогда мне три тысячи отвалили с хвостиком на закуп кожсырья. Пропил, говорили... Да разве можно столько сразу пропить и живу остаться. Пропил я, сержант, совсем чуть-чуть — хвостик. А три тысячи приятели хорошие вынули. Ну и вышло — три дня работал, три года получил. Повезли Нинкина лес валить...

— Во! — удивился Ефим. — Уметь надо.

У Нинкина на чумазой личине задорно блестят глаза, редкозубый рот до ушей — доволен неудавшейся высокой службой. Кто как жил раньше — самая распространенная тема при редком армейском досуге. Только об этом и говорили на нарах дивизионной школы, на привалах в походах, в теплушках во время пути. И не было случая, чтоб кто-нибудь непохвально отозвался о своем прошлом. Все сладко ели, широко гуляли, любили с выбором баб и даже неудачи, вроде нинкинской, вспоминали с умилением. Несчастных не было и в помине, жили в счастливом времени, в счастливейшей стране.

И я тоже был неправдоподобно счастлив, хотя и не решался тем хвастаться. Ну кого удивишь, что никогда не думал, как появлялся обед на столе и та одежда, которую носил, и книги, какие запоем читал. Кого удивит, что мне пришлось жить в селе, где вплотную протекают

не одна, а две речки, кругом просторные леса, молочные туманы под луной и раздольные закаты по вечерам. А золотые окуни, попадавшие мне на переметы, а ядерные рыжики осенью по пожням... Кого этим удивишь, если не пил и не веселился наудалую, не сходил с женщинами, не ездил по большим городам, не сорил там деньгами. Высмеют. Я ревниво оберегал свое прошлое немудреное счастье.

Повизгивают сторонние пули, у пехотинцев в траншее захлебывается станковый пулемет, давит, должно быть, огневую точку противника.

Ефим вздыхает:

— Да-а... Хотя и пустяковая жизнь, но и та хороша.

Нинкин обижается:

— Пустяко-вая-а... Ты-то что видел в своей жизни, мужик?

— Работу видел. Я с девяти лет в работе, что конь.

Нинкин не успел восторжествовать. Истеричный вопль, рвется мина! На меня сверху обрушивается что-то грузное, вминает в землю. Секунду не смею дышать. Придавивший груз заворочался, едва не ломая мне кости, жалобно помянул бога-мать, втиснулся между мной и Ефимом. Из напоздней каски серый нос и угловато-тяжелый, темный от щетины подбородок — Глухарев Сашка. Он плотно прижат ко мне, и я ощущаю, как крупно дрожит его сильное тело.

— Ты не ранен?

Сашка лишь беззвучно оскалится. Выпрастываюсь, тянусь к телефону, вызываю:

— «Фиалка»! Мы отключаемся.

— Об... об-божди!.. — стонет Сашка и вдруг вскипает: — В-вы! Припухаете тут, а я тащусь за вами на карачках! Там снайпер бьет, тут мины... Чуликова он бережет! Чуликова, видишь ли, убить может, а меня ему не жаль, я отпетый!.. Чуликов-то в армии без году неделя, а я кадровую ломал!..

Сашка кричит, но в голосе бессилие. Я обрываю его:

— Цел? Тогда веди.

— Убьют меня, ребята! Чую, убьют...

Нинкин хохотнул:

— За мои штаны держись. Я заговоренный.

Ефим начал подыматься.

— Э-э, семи смертям не бывать, одной не миновать. Давай, парень, по обмятой дорожке. Мы за тобой по одному.

Затравленно отвернувшись, Сашка через силу зашевелился, длиннорукий, нескладно костистый, словно старая лошадь, полез наружу.

Сначала пехотная траншея отступала от нас косо, как бы нехотя, но скоро словно провалилась под землю. Мы одни, открытые противнику, ползем по полого вздымающемуся куску степи. Впереди Сашка, я за ним. Движения у Сашки судорожные, но не бестолковые, пластается, приспособляясь к каждому бугорку, каждой вмятинке, даже к растрепанным полынным кустикам. Я повторяю в точности его путь, волоку за собой разматывающуюся катушку — третью, последнюю из взятых. Похоже, нас не замечают, пули проходят стороной, мины рядом не падают.

Но пологий подъем кончается, впереди крутой ровный рыжий склон, на самом верху торчит густой бурьян. Сашка залег, не двигается. Я осторожно подползаю к нему вилотную. Он не глядит на меня, прерывисто дышит.

— Там... наши. В бурьяне, — сквозь сведенные челюсти, невнятно.

— Что ж, рванем, — говорю я. — Ждут...

— По этому месту снайпер бьет, сука.

— Хочешь, я первый?..

— Сси-ди! — цедит Сашка.

И вдруг срывается по-звериному, на четвереньках, быстро, быстро! Я не успеваю пошевелиться, как он скрывается в бурьяне. Резкий свист, фонтанчик ныли у самой заросли. Сашка цел.

Я напружиниваюсь для броска, но крепкая клёшья стискивает мой саног.

— Повремени, сынок... — голос Ефима.

— По Сашка-то проскочил.

— А ты ляжешь... Тот там сейчас на изготовочке, пусть развеется.

Ефим придвигается, держит меня, собрав на лбу складки, вздернув кустистые соломенные брови, внимательно изучает склон. Впервые без помех вижу его глаза, они молочно-голубенькие, с острым, точечным зрачком.

— Скинь для начала метров пятнадцать кабеля, чтоб катушка не тормозила, — советует Ефим.

Послушно спускаю с катушки кабель метр за метром,

стараясь подавить нетерпение, а сам мысленно вновь и вновь пробегаю по склону.

Где-то далеко-далеко, на той, запредельной, стороне враг-невидимка. Он не знает о моем существовании, но ждет меня. Он не может испытывать ко мне злобы, но собирается убить. И, кого убьет, он никогда не узнает. Все это так странно, что я никак не могу вообразить его человеком — с лицом, с телом, с руками, держащими винтовку с оптическим прицелом. Он нечто, бесплотный дух смерти. Вот только бы знать, моей или не моей?..

— Что, пора?.. — спрашиваю шепотом.

Ефим помолчал, подышал и выдохнул:

— Давай!

Дремотный мир воспрянул, хищно кинулся на меня, зашумел, закружился. В центре его я, неистовый, сам на себя не похожий. Вне этого взбесившегося мира лишь путаная заросль — к ней, к ней! Врываюсь и падаю в жесткие, колючие объятия, поспешно ползу, зарываюсь все глубже и глубже.

Я так и не знаю, успел ли тот, бесплотный, послать в мою сторону пулю!

10

Сюда, наверно, когда-то сгоняли пасшийся по степи скот — на высоком взлобке продувало, не так мучили слепни и оводы. На унавоженной земле поднялся бурьян и даже торчало несколько искривившихся кустов терновника. Стояла прежде и самапная сторожка, от нее остался лишь кусок шершавой стены, затянутый все той же колючей травой.

На месте бывшей сторожки и обосновался ИП, обвалившаяся стена скрывала стереотрубу на треноге. Это пока, на первое время. Смачкин и Чуликов наметили границы окопа. Предстояло пробить его в захрясшей земле, а вблизи самапной стены выбрать окно в длину стереотрубы, тогда уж с той стороны сам черт не обнаружит наблюдательный пункт.

Все складывалось благополучно — Ефим с Пинкиным проскочили след за мной, я подключил телефон, «Фиалка» отозвалась. Смачкин, сбросивший с себя каску и автомат, пилотка на затылке, гимнастерка расстегнута, лицо запаренное, отрывисто командовал:

— Чуликов, к телефону за трубку! Связистам рыть

окоп!.. — И вдруг спохватился: — А лопата?.. Глухарев, где штыковая лопата?..

Оказывается, посылая за нами Сашку, Смачкин наказал завернуть к пехотинцам, выпросить у них большую лопату, лучше две. Пробивать окоп нужно под стеной, а там утоптаный пол бывшей сторожки, он как железный, малыми лопатками не пробьешь.

Сашка, сцепив мощные челюсти, тускло глядя мимо Смачкина, выдавил скуное:

- Минометный обстрел...
- Ну и что?
- Не пробраться было к пехоте.
- Ты пробовал?

Поигрывая желваками, Сашка молчал. Смачкин разглядывал его выбеленными глазами.

— Не первый год в армии, Глухарев, знаешь, за невыполнение приказа в боевой обстановке наказание одно...

- Стреляйте. Так даже лучше, терпеть не надо.

И снова Смачкин внимательно ощущивал сутулящегося Сашку стеклянным взглядом.

— Вот как бывает — дохлую ворону за орла принимали... Нинкин!

- Я, товарищ лейтенант!
- Добудешь?
- Попробую, товарищ лейтенант!
- А если откажут: самим, мол, надо?..
- Украду, товарищ лейтенант!
- Иди, Глухарев, землю долбить. Выручай, Нинкин.

На НП началась работа. Чуликов завладел телефоном, Смачкин стереотрубой, переговариваются, похоже, даже не соглашаются друг с другом. Ай да Чуликов! Спорит, и лейтенант не ставит его на место. Спор кончается тем, что они меняются местами — Чуликов прилипает к стереотрубе, а Смачкин ведет озабоченные разговоры с огневой... Связь есть! Пока есть.

Согнувшийся Сашка ожесточенно бьет землю, крупный, угловатый, прячет лицо, не поднимает головы, гимнастерка мокра на лопатках. Мы с Ефимом ковыряем без азарта — пол сторожки крепче камня, нужна кирка, чтоб взломать его, ну хотя бы штыковая лопата. Нинкин, если повезет, обернется за полчаса, никак не раньше. Но с тех пор, как он ушел, минут двадцать уже утекло.

Громкий голос Чуликова заставляет нас с Ефимом

переглянуться — начали! Чуликов снова у телефона, выкрикивает заклинания. Для нас они непонятная тарабарщина: квадрат, азимут, прицел... все нересынено цифрами. Но на огневой у пушек началась горячка... Только бы не подвела связь! Наша линия ненадежна...

Сашка продолжает долбить с глухой яростью, а мы бросаем лопатки, приподымаемся, тянем шеи, вглядываемся в степную рыжую даль, жадно ждем.

Степь полого скатывается к овражку, неровно рваному, капризно изгибчивому, заросшему густо кустарником и низенькими корявыми деревцами. Должно быть, это и есть та самая, рассекающая страну линия фронта. У нас она выглядит так, в других местах, разумеется, иначе. За овражно-кустарниковой линией степь снова нехотя ползет вверх до мглистого горизонта. И там она спешенно ржава, неохватно пуста, однако я-то знаю, какой обманчиво безжизненной может казаться степь. Где-то в ней скрыты ошестинившиеся окопы, наведенные на нас пушки, минометные батареи, танки... Смачкин с Чуликовым что-то разглядели, иначе какой смысл им передавать заклинания.

— Летят званые!.. — сообщает Ефим.

Через нас в знойно-синем воздухе с угрожающим шорохом потекла невидимая река. В великую игру вступили и наши пушки. А я вместе со Смачкиным, Чуликовым, Ефимом, блуждающим на стороне Нинкиным и горбачущимся над землей Сашкой начал свою войну.

Посреди потусторонней степи беззвучно вызрели грязно-белые грибы-дождевики — один, другой... много! Беглый огонь едва ли не всех наших батарей. Понеслись сглаженные расстоянием перекатные взрывы.

Смачкин, скорей озабоченный, чем торжествующий, оторвался от бинокля, Чуликов, приподнявшийся от телефона, снова взялся за трубку. Началось все сначала — переговоры и заклинания. И новый широкий поток над нами... Только бы не подвела линия, только бы не услышать: «Связи нет!»

Согнувшись, долбит землю взмокший Сашка Глухарев, никого не видит, ни на что не обращает внимания. Принимаемся за работу и мы с Ефимом. А Нинкина все нет. Что-то долго он несет лопату.

— Пожалуй, я сползаю... — говорю я Ефиму.

— Куда?

— Взгляну на склон. Не застрял ли там Нинкин.

Ефим хмурится, лезет за кисетом, не спеша сворачивает сигарку.

— Взгляни, только не нарывайся.

Продираюсь ползком в колючем бурьяне, походя поправляю кабель. Он местами висит на спутанной траве — ухнет рядом снаряд, даже не осколком, а взрывной волной может порвать. Эта нехитрая забота отвлекает меня от беспокойного предчувствия...

Кустики бурьяна редеют, земля подается на уклон, осторожно раздвигаю высохшие плети, и... взгляд упирается в каску.

Он не дотянул двух шагов, всего двух! Он лежал вдоль кабеля, уткнувшись лицом в рыжую проплешину среди чахлой травки, рука отброшена в сторону на черенок лопаты. Гимнастерка коробом на спине от черной крови, от этого он кажется горбатым. Каской ко мне — рукой дотянись. Встреча.

— Нин-кип... — без надежды зову я.

Но откинутая рука землиста, ногти на ней уже синие.

А небо ослепительно яростное, под ним усталая от жары степь. День уже перевалил за половину, но еще далеко до заката. Мы вместе с ним встречали восход солнца. Первый...

Только жестоким усилием заставляю себя продвинуться вперед, тянусь к лопате. Непреодолимо содрогание живой плоти перед зримой смертью...

Никто не обратил внимания на мое возвращение. Сашка Глухарев с прежним ожесточением стучал саперной лопаткой. Ефим сидел за телефоном. Смачкин и Чуликов были в мыле, уже сами не хватались за трубку, а выкрикивали со стороны заклинания, Ефим повторял... Сейчас гул в небе не прекращался, тупые взрывы утрамбовывали степь за овражной линией. Некому удивляться, что я держу в руках лопату и что Нинкина рядом нет.

Нинкину не везет даже после смерти — запоздало узнают, между делом легко переживут. Остаются в памяти павшие герои, но их единицы, а война тысячами тысяч уносит незаметных. Кто потом вспомнит, что рядовой связист Нинкин погиб при исполнении задания, которое никак нельзя назвать особо важным или даже значительным — достать лопату?

Я торчу с этой лопатой, добытой ценой жизни. Сашке удалось расковырять лишь угол окопа, НП не оборудован.

— Вот... — протянул я Сашке.

Он с трудом поднял голову, уставился на лопату, медленно повел глазами в одну сторону, в другую, и на грязной мослаковатой физиономии проступил ужас.

— Да, — сказал я мстительно, — лежит на склоне.

Сказал и пожалел. Сашка отвернулся, плечи обвалились, широкая, пятнисто-мокрая спина обмякла. Он хотел бы, да не может быть другим, врожденный порок сильнее его. Я ударил ниже пояса.

— Ладно уж, передохни, я порою.

— Т-ты!! — Сашка развернулся, кинулся на меня, выхватил лопату. — Ид-ди ты к... — зло, взхлеб выругался. В это время раздалось то, чего я давно ждал:

— Связи нет!

Смачкин повернул ко мне опаленно-медное лицо.

— Вот так, сержант. Двигай!

Чуликов расстегнул ремень, в гимнастерке распоясанной блаженно растянулся под треногой.

— Будем загорать, товарищ лейтенант... Что там о снарядах говорили?

Пристраиваясь к Чуликову, Смачкин ворчал:

— Ни черта не понял. На полуслове оборвалось... Везут... Почему везут?.. Не могли же весь запас выпустить... Да потеснись ты! Не по чину развалился...

До чего же уютно на НН, здесь даже пули вроде бы поют высоко. У самой передовой, а война стороной обтекает. Так не хочется отрываться от своих, но связисту на фронте часто приходится воевать в одиночку.

.....
Еще раз пришлось встретиться с Нинкиным. Мимо него я скатился вниз, счастливо не замеченный снайпером. И сразу же забыл... Да, забыл Нинкина и потом почти не вспоминал о нем. Многих пришлось мне оставить в войну — на обочинах дорог и в развороченных окопах, у речных переправ и на разбитых улицах Сталинграда, на зеленых лугах под малоизвестным местечком Батрацкая Дача. Нинкин из них был вовсе не самый мне близкий. И только спустя несколько десятилетий он стал всплывать в памяти каждый раз, когда мне приходилось останавливаться у могилы Неизвестного солдата. Он, первый из мною потерянных, — Нинкин.

Кабель тянется через степь, несложное хозяйство, оно вышло из строя, и я отвечаю за него. Кабель тянется через степь, уводит меня в тыл.

Я прополз на животе каких-нибудь триста метров и понял, что миновал опасную зону, поднялся на ноги. Меня уже не увидят из немецких окопов, ни снайпер, ни пулеметчик не возьмут на мушку, может настичь лишь шальная пуля, а от шальной прятаться бессмысленно. Никто мне не говорил, где тот рубеж опасного и безопасного, я сам его определил. И никто не учил меня, как угадывать по свисту мины, далеко она упадет или близко. Ни в одном уставе этого не записано. Но я угадываю, рождается свист, я иду, свист нарастает, не знаю, где именно взорвется мина, знаю только, не рядом со мной. Слышу взрыв и даже не оборачиваюсь в его сторону. Но вот свист с некоторым давлением, не спешу падать, он еще должен показать себя... Показывает, близко не близко, однако на всякий случай припадаю к земле, мина коварна, ее осколки разносятся по поверхности, поражают издали. Снаряд бьет сильнее, но не столь опасен, выносит вверх и земляное крошево, и осколки. Иногда нарастающий свист резко обрывается — немедленно падай, вжимайся, только это спасет тебя от близкого взрыва.

Всего несколько часов я на войне, но уже мню себя обстрелянным солдатом, настолько, что начинаю верить в свою неуязвимость. Особенно здесь, отступая от передовой. Здесь визжат пули, рвутся мины и снаряды, но для меня это уже тыл.

Вот наконец-то и памятная дорога. Пустынно и тихо, кругом безжизненная степь, накаленная за долгий день солнцем, как гигантская сковорода. Кажется, давным-давно мы были тут, мы, новички, сгибавшиеся от страха. На дороге рвались снаряды, и мы ничком лежали в стороне, не надеясь остаться в живых. А с каким ужасом я провожал батю Ефима, возвращающегося на страшную дорогу, не надеялся увидеть его в живых. Смешон теперь детский перепуг. И рваные воронки у дороги сейчас ничуть не портят дремотной картины.

Мое чутье меня не обмануло — порыв линии был здесь. На укатанной колее следы гусениц — прошел танк, зацепил кабель. Секундное дело стянуть концы кабеля, срastить их с перехлестом. Если дальше кабель в порядке, то

связь уже есть, пушки могут стрелять. Но нужно перекопать дорогу, загнать кабель в землю, иначе он при любой оказии будет рваться, особенно ночью, когда тут наверняка начнется оживленное движение. Я вынимаю из чехла лопатку, опускаюсь на колени...

Дорога пристреляна. С какого-то далекого немецкого НП вооруженные биноклями и стереотрубами наблюдатели наверняка и сейчас следят за ней. Но я теперь достаточно прозорлив, чтоб страшиться. Навряд ли батареи откроют огонь по одному человеку, но даже если и откроют... Как только завоют снаряды, я перемахну в кювет, осколки в нем не достанут, а прямое попадание едва ли...

Земля дороги красна, как кирпич, как кирпич, тверда, врубаюсь в нее, выбиваю кусочек по кусочку, не поддается. А степь — пышущее пекло, и каска раскалена, и гимнастерка жестяно ломка от соли, я даже разучился потеть, вся влага из меня выжата. Хочу пить, давно изнемогаю. Котелок воды — мечта о невозможном. Бью, бью кирпичную землю, кирпичного цвета пятна плывут перед глазами... Вот оно, начало моих воинских подвигов!

За все время на фронте я ни разу не был в рукопашной, всего раз или два по случаю выстрелил в сторону противника, наверняка никого не убил, зато вырыл множество землянок и окопов, таскал пудовые катушки и еще более тяжелые упаковки питания радиостанции, прополз на животе несчитанные сотни километров под взрывами мин и снарядов, под пулеметным и автоматным огнем, изнывал от жары, коченел от холода, промокал до костей под осенними дождями, страдал от жажды и голода, не смыкал глаз по неделе, считал счастливым блаженством пятиминутный отдых в походе. Война для меня, маменькиного сынка, неусердного школьника, лоботряса и белоручки, была прежде всего тяжелый и рискованный труд, труд до изнеможения, труд рядом со смертью.

И никогда не ведал, что преподнесет мне новая минута...

Из дальнего угла безжалостно знойного, чистого неба поплыл размеренно качающийся звук. Я еще не успел обратить на него внимания, как бешено заквакали зенитки — ближе, ближе, все яростней, все осатанелей, пятная синеву быстро отцветающими одуванчиками. Сначала разглядел я лишь легкие прорезы в небе, неровный пунктир. Он рос, ширился, призрачные прорезы на небосводе ста-

повились материальными, обретали форму. Завороженный, я глядел и не смел шевельнуться. Качающийся моторный гул крепчал, в нем проступало утробно-басовитое, угрожающее. Самолеты двигались прямо на меня медленно, уверенно, упрямо, не обращая внимания на одуванчиковую метель вокруг... Прямо на меня! Ошибки быть не могло. И уже различались линейные кресты на крыльях.

С усилием на секунду оторвался, оглянулся на залитый солнцем степной мир. Обреченный мир. Никого в нем нет. Никого, кроме меня!

Я сорвался с дороги, дальше, дальше в сторону, по некуда спрятаться — плоская земля доверчиво распахнута враждебному небу. Но, кроме нее, родной земли, нет спасения, и я упал, однако краем глаза воровски выглядывал: не пройдут ли мимо, не пренебрегут ли мной, ничтожным? Нет, не блажь, не сон, прямо надо мной заваливался набок передний самолет, неестественно громадный, с отточенно серебряными на солнце крыльями. Он заваливался, и водопадно-гневный рев обрушился на меня. Я уткнулся лицом в душную колючую полынь...

А в ней, полыни, свой покойный травяной мир, своя потаенная жизнь — по сухой былинке мечтательно полз жучок, мелкий, но хвастливо-нарядный, позолоченно-черный.

Вверху же творилось невероятное — надсадный рев, истошное завывание, жуткий шабаш злых машин. Не вижу их, не хочу видеть, но не могу не слышать. Одна тень, другая скользнули по мне. Надо мной! Над моею открытой спиной! Велико мое тело, и земля не пускает его в себя. Ползет перед глазами жучок, позолоченный монашек, никуда не торопится, ему нет дела до шабаша в небе. Он мал! Он скрыт! Не собирается гибнуть вместе со мной...

Вот в рыке и вое проступил невнятный слабенький свист. Она! Сброшена... Мой конец. Тонкий свист оборвется — меня не будет.

С грохотом колыхнулась земля и не успела встать на место, как новый сотрясающий грохот. Все кругом стало ломаться, раскалываться, биться в истерику, свет померк, а кусок степи, обнятый мною, корчился в конвульсии. На мгновение проскальзывало затишье, зыбкое, как солнечный зайчик. Оно не успевало родить надежды — снова вой, обвальный грохот, конвульсии земли. Еще, еще, еще!..

Хватит! Больше уже невозможно! Но еще, еще... Я ослеп, я оглох, я перестал себя чувствовать, смирился с концом.

Затишье, столь же неверное, как и прежде. Грохот, не столь давящий, удаленный. И пауза. Она тянется и тянется. Лишь перекатное урчание моторов да щемящий звон в ушах. Кусок обнятой мной стени снова стал земной твердью. А в потаенном травяном мире недоуменно застыл на полпути знакомый позолоченный жучок, вслушивается, поводит усиками. Он явно жив... Похоже, и я...

Долго лежу в изнеможении, отдыхаю в заповедном мирке, успеваю даже проводить золоченого монашка до вершины былинки, тихо порадоваться его победе. Наконец набираюсь сил, приподымаюсь на подламывающихся руках...

Я ждал — мир разрушен, верил — увижу вывернутую наизнанку землю, где чудом уцелел лишь жалкий клочок, который я по-сыновьему прикрывал своим телом. Милость спасения выпала нам двоим — жучку-монашку и мне.

Но, на удивление, мир во все стороны был цел, даже ни единой новой воронки рядом — раскаленная, с плывущим вверх волнистым воздухом степь, дорога, а на ней, как утверждение покоя, забытая мною саперная лопатка. Где же тогда происходило светопреставление? Да было ли оно? Не пригрезилось ли мне в страшном кошмаре?

Я добросовестно закончил свою работу, упрятал в землю кабель. Вернувшийся к жизни, я снова почувствовал изнурительность жары и мучительную жажду... Благодатно прохладный котелок воды! Но придется терпеть до огневой. Тем более что с нее никто не вышел мне навстречу, а должны бы выслать. Двинулся дальше по кабелю.

Еще не сделав и сотни шагов, я прозрел, где именно было светопреставление!

Немецкие самолеты бомбили знаковую минометную батарею.

В пологой ложинке метались, возбужденно и зло кричали солдаты, ставили опрокинутые минометы, перетаскивали и складывали в штабеля ящики, лихорадочно, в несколько лопат раскапывали заваленные щели. И все это вокруг величественно безобразной, глыбасто-рваной глубокой воронки. Несколько зияющих воронок по склонам. У одной в стремительно бегущей позе убитый, зеленая гимнастерка перехлестнута портупеей, должно быть командир.

Ближе ко мне заросший рыжей щетиной санинструк-

тор обрабатывал раненого. Болтался распоротый, тяжелый от крови рукав, вызывающе сияли белые бинты на черной руке. Санинструктор кричал с неестественным надрывом:

— Кучкин! А Кучкин! Слышишь меня?

Раненый Кучкин мотал пыльной, коротко стриженной головой, не отвечал.

— Оклемаешься, Кучкин! Ничего, что пришибло! Оклемаешься, брат! А рана твоя пустяковая, Кучкин!.. Шевельни пальцами! Шевельни, говорю!.. Во! Ше-ве-лят-ся!!

Я не смел приблизиться. В моей помощи тут никто не нуждался, справлялись сами. И какой я помощник, до сих пор чувствую слабость в коленках. А еще считал себя обстрелянным — неуязвим, не боюсь.

Санинструктор суеился и почти восторженно орал над пыльной макушкой раненого:

— В санбате живо поправят, будешь как новенький! И снова таскай плиту, Кучкин!..

Возле раненого стоял котелок с водой, почти полный. Нет, я не решился попросить — счастливый у потерпевшего, здоровый у раненого. Ну нет!

А ведь здесь не было светопреставления. Погром — да. Но люди продолжали действительно жить. Кто знает, сколь много может вынести человек?..

Я уходил, а надрывный крик санинструктора провожал меня:

— Кучкин! А Кучкин! Повезло тебе, братец! Месяц прокангуешься. Может, и два!..

12

На огневой все смешалось. Орудийные расчеты на руках — р-раз-два, взяли — выкатывали с позиций на открытые места пушки, цепляли к ним зарядные ящики. Ездовые, мешая друг другу, подавали задом лошадей, лошади сбивались в кучу, путались в построках. Запаренные командиры не по-уставному кричали на орудийщиков, орудийщики на ездовых, ездовые на коней — крепкие выражения, толкотня, хлопанье кнутов, ржание, острый запах конского пота. Не отступление, нет, и не паника перед противником, срочный приказ — сниматься на новое место, ближе к передовой.

Словно из-под земли вырос Зычко, юхомутан шинельной

скаткой, карабин на плече, вещмешок за спиной — готов к походу, — скуластое лицо бронзово и непропицаемо.

— Бачишь оцей кабель? По нему до хозчасти... И швыдче, швыдче! Возьмешь две полные катушки тай разом обратно. Отсюда потянешь связь к новой огневой. Чув?.. Повторить приказание!

— А ПП?..

— Яки тоби НП? Пушки сымаются, ПП тоже.

— Как же они связь смотают? Нинкин убит. Старик Ефим с тремя катушками надорвется.

Зычко цепко взял меня за пуговицу, притянул вплотную, жарко дыхнул.

— О себе гребтуй, хлопец. Война не маты ридна. Шо був добреньким, забудь. Снасибочки говори — не назад гоню к пулям, а в тыл, от пуль подале. Минутку да выгадаешь.

— Может, сам сходишь?.. В тыл-то, от пуль подальше. А я навстречу бате связь мотать стану.

— Па-ав-та-рить приказание, сержант Тенков!

— Где здесь напиться?

— В хозчасти напоят.

В тыл, подальше от пуль. Хотя какой уж тыл — хозчасть рядом, рукой подать. А пуль здесь хватает, воздух стонет от них. Пожар на передовой, похоже, разгорается не на шутку.

Развернутой неровной цепью идет по степи мне навстречу часть пополнения. Свеженькие. Они на добрых полдня позже нас вылезли из теплушек, только-только приближаются к фронту.

Впереди, заломив утопающую в каске голову, бойцовски выставив узкую грудь, вышагивает лейтенант. Он весь новенький как только что отчеканенный двугривенный. Гимнастерка, ремень, кобура пистолета, кирзовые голенища сапог — все нескладно топорщится, все не притерлось. Видать, сразу бросили из училища сюда, ничуть не старше меня годами. На круглой свежей, еще не тронутой степным загаром физиономии так и впечатано: «Видите, мне все нипочем!» Слишком отчетливо, слишком наглядно, чтобы быть правдой. Наверняка жадно ловит посвист каждой пули, гадает, какая ближе, какая дальше, несет в себе нетающую глыбу страха, но грудью вперед, молодцевато несет свое «мне все нипочем». Изредка, шевельнув

плечиками, оборачивается, петушиным голосом отчески подбадривает:

— Вперед! Вперед! Не отставать, братцы!

За ним солдаты, пожилые и молодые, на одно лицо, усталые.

Дюжий, глубоко сутулящийся парень натужно выступает на полусогнутых. Он почему-то ошарашенно глядит на меня и неожиданно опускается на корточки. Крупные, раздавленные работой руки с силой сжимают между колен винтовку, конец штыка замысловато выписывает в воздухе нехитрое откровение. Из-под пузырящейся каски синяя тоска усталых глаз — доверчиво мне в зрачки, в дно души. И тихий, с придыхом, недоуменный, страдающий вопрос:

— И зачем?.. Ну, зачем воют? А?..

Я, старожил фронта, обремененный шестичасовым — не менее! — опытом, побывавший на передовой, на всякий манер обстрелянный, я выпрямляюсь, чтоб не показать усталости, величаво марширую мимо, не снисхожу до ответа.

Да он и не ждал его...

Война есть, никуда не денешься, размышлять о ней поздно. Умей бороться — да, с ней, да, против смерти, да, за жизнь.

Нет, не тогда в моей зеленой, не созревшей до осмысления голове родились такие слова. Слова появились теперь, спустя с лишком сорок лет. Но навряд ли они и сейчас передают хотя бы приблизительно тот биологический иммунитет против отчаяния, возникший у меня в первые фронтовые часы. Он, иммунитет, оказался куда действеннее сознания. Мое сознание и до сих пор пасует перед роковым вопросом, вырвавшимся у встречного парня с винтовкой...

13

Нагруженный катушками, я вернулся на покинутую огневую, там меня ждал Ефим. Он потемнел, усох, стал морщинистее, брови выгорели, выглядели седыми. Казалось, так давно расстались, что у бати наступила глубокая старость — как есть дед, прокопченный, жилистый и еще более замкнуто мудрый. Но мы оба живы и снова вместе.

Время, в которое мы теперь окунулись, не схоже с обыч-

мым, здесь минуты равны мирным неделям, часы — годам. А потому и встречи необычны, впечатляющи — нука, изменились, но целы, могли б и не свидеться, уже подарок.

— Как ты там с тремя катушками справился?

— Справился. Я семижильный... Пошли, что ль?

Косматое солнце перевалило на сторону немца, висело над степью и уже не палило с прежней силой. Через степь из края в край гремющий поток, крутая кипень выстрелов и скачущее эхо взрывов. В небе, не затихая, шелестят снаряды — к нам, к нам, партия за партией, без отдыха.

Мы ползем по ровному полю, подминая под себя спелые хлеба, окруженные сатанинскими всплесками рвущихся пуль. В гуще пшеницы разрывные пули не столь и страшны, они больше пугают, действуют на нервы, для них даже встречная соломинка, тем более налитой колос, уже препятствие — рвутся, встречая их на пути. Но немцы-то били не только разрывными... Мы ползли, тянули за собой кабель, жались к бугристой земле, не смели поднять головы. Противник разошелся к вечеру.

Наши пушки встали на прямую наводку. Стать на прямую — значит бросить вызов: играем в открытую! Кругом равнина, впереди лиловые дали. Орудийные расчеты торопливо работали лопатами, бросали красную глину, вкапывали пушки. У наиболее усердных над пшеницей торчат лишь стволы с настороженными пламегасителями.

Но здесь что-то случилось... Идут работы, мелькают лопаты, растут рыжие отвалы — и что-то замороженное, сковывающее в воздухе. Нет привычной в таких случаях суеты, никто не бегает, никто не кричит; голосисто не командует, молчаливый, сурово-сосредоточенный азарт.

А в стороне, у одной из пушек, за невысокой насыпью, в углублении, тесной кучкой батарейный комсостав во главе с командиром батареи старшим лейтенантом Звонцовым всматриваются в окрашенную косыми лучами солнца немецкую сторону, жадно курят, тихо переговариваются. Да и солдаты, те, кто не держит лопату, повыползали вперед, тянут шеи.

— Что там? — спросил я Зычко.

У Зычко уже отрыта по-уставному глубокая щель, в ней телефон, он сам на дежурстве у трубки, выкли-

кает цветочки — «Ландыш», «Тюльпан», «Ромашка», батареи нашего дивизиона, среди них проросла незнакомая мне «Береза», должно быть, пехотная часть, которую мы поддерживаем. Все-таки Зычко расторопен — только что заняли позиции, а он уже со всеми связан, вот и мы с Ефимом принесли ему конец от «Жита», хозяйственников дивизиона.

Зычко ответил мне не сразу, скупо и сурово:

— Танки...

— Немецкие?

— Нет, дядины.

И я вскинулся, Зычко не посмел остановить меня начальническим окриком.

Возле командирской кучки — почтительно в стороне и так, чтобы быть под рукой, — сидит на корточках вестовой Звонцова Галушко. Я пристраиваюсь к нему.

Идут танки... Я ждал, увижу напористый марш, поднятую пыль, сверкающие гусеницы, грозно качающиеся башни с наведенными орудиями, но впереди упылая бескрайняя степь накаленно ржавая, с тенистыми западками. Странно: путаное кружево выстрелов во всю ширь, шорох летящих снарядов вверху, перекатно прыгающие взрывы и полный покой там... у них, в глубине. Вспухает одинокий взрыв, ватно-нечистый ком дыма вяло валится на сторону.

У Галушко острое птичье лицо, тонкие губы сплюснуты в ниточку, ноздри поигрывают, узкие глаза блестят. Он видит, я нет.

— Где? — выдыхаю я.

— Да вон высыпали... — кривится Галушко. — Еще те поганочки.

Пыль, башни, наведенные пушки... Посреди степи, словно пеньки взброс на поляночке. И это танки? Греются на солнышке, не двигаются. Пыль, башни... Как они далеко от нас!.. Я отметил для себя самый крайний пенек на солнечной полянке и стал считать: один, два, три... После десятка сбился. Решил считать сначала, с крайнего. И не нашел его на месте — «пенек» незаметно переместился и чуточку подрос. Они двигались и исподтишка росли.

— Ждем, чтоб приблизились? — спросил я.

— Ждем, чтоб провалились к чертовой матери.

— Раз идут в открытую, встретим.

— Чем?

И я вспомнил разговор на НП.

— Снарядов до сих пор нет?

— Снарядов полно. Шрапнельные... Фугасные везут. Улита едет, когда-то будет. К ночи?.. Так танки раньше здесь будут.

Мы молчим. Даже мне понятно, что шрапнель для танков — что горох. Молчим, глядим в степь. Танки двигаются лениво-лениво, но двигаются, не стоят. А солнце еще не село, не скоро опустится ночь...

— Эхма! — вздыхает Галушко. — Шрапнелью запаслись. Шрапнель в гражданскую работала, теперь броню проломи.

В командирской группе оживление, передают друг другу бинокль, вглядываются, перекидываются скупыми фразами:

— Кто там пылит?

— Мотоциклисты, похоже.

— Курочки с цыплятками...

Оторвались от лопат даже оружейники.

И я наконец улавливаю розовый клубочек пыли у переднего танка — «с цыплятками»...

— Товарищ старший лейтенант, разрешите!..

Над командиром батареи Звонцовым нависает командир орудия Феоктистов. Звонцов мешковат, приземист, гражданский животик выползает из-под ремня — пришел из запаса, был где-то старшим бухгалтером. У Феоктистова на мощном теле не бойцовски курносая, бабьи мягкая физиономия. Он из кадровых, считается лучшим наводчиком дивизиона.

— Разрешите, накормлю шрапнелью!

Звонцов медлит, уставившись вдаль, качает каской.

— Откроем себя, Феоктистов. По нам ударят, а ответить нечем. Лучше помалкивать.

— Одним снарядом, товарищ старший лейтенант... Всего одним! Обещаю накрыть.

Молчание. На Звонцова со всех сторон выжидающие взгляды. А пыльное облачко в степи вытягивается, распухает, озарясь багрянцем. Мотоциклистов не группа, раз-два — и обчелся, а целая колонна.

— Один выстрел засечь не успеют, товарищ старший лейтенант!

— Ладно! Один снаряд, только один!

Орудийный расчет без команды бросает лопаты, деловито становится к пушке. Не пригибаясь, широким шагом, вздрагивая от нетерпения, приближается Феоктис-

тов, на ходу роняя приказания. Жарко вспыхивает в руках заряжающего медная гильза, проглатывается затвором. Феоктистов припадает к прицелу, долго колдует...

А в глубине степи красный стелющийся дымок, словно занимающийся пожар.

Изрытый и вытоптаный кусок поля за орудийными распорками напоминает немую сцену из «Ревизора» — кто в какой позе с раскрытым ртом. Ждут выстрела.

Феоктистов распрямляется, негромко командует:

— Аг-гонь!

Пушка содрогается. Выстрел не успевает отзвучать, взмстается дружный вопль. В степи над пожарищем нависает сизое облачко, расплзается... Багряная змейка пыли круто сворачивается, ползет обратно, ныряет за ближайший танк, оставляя после себя розовое марево.

— Умыл!

— Одним снарядом!

— Тютелька в тютелку...

— Ай, мастер парень!

А танки равнодушно ползут. Я не из зорких, но уже начинаю различать их башни. В бинокль, должно быть, видят и наведенные на нас орудия. Восторженный говорок быстро вянет, орудийщики снова берутся за лопаты.

С визгом распарывается небо, в поле за нами взмывает вверх поток земли, от грохота закладывает уши.

— По укры-ы!..

Не командирски тонкий голос Звонцова тонет в новом, опрокидывающем мир взрыве. Поднявшееся на дыбы поле на секунду закрывает солнце. И, не давая вздохнуть, надвигается сверлящий вой. Я падаю, но успеваю заметить, как оживает пушка Феоктистова, вскидывает ствол, словно норовистый конь... А дальше уже ни видеть, ни слышать, ни ощущать ничего не могу. Где-то близко надо мной небо перемешивается с черствой глиной. Изредка куцый просвет в сознании, и тогда ливневый ропот падающего земляного крошева, злое шипение блуждающих вверх осколков, едкий газ, забивающий горло, деревянная голова... А затем вновь тупой толчок земли в грудь, мешанина во вселенной, небытие...

Очередной просвет затянулся. Не верю блаженной тишине и вжимаюсь. На каску, на спину сыплется земля, но уже не рокошущим ливнем, реденько. Зашуршал, зашепелявил воздух — снаряды не к нам, а над нами, дальше в тыл, значит, нас считают достаточно наказанными, ре-

шили оставить в покое. Боязливо подымаю голову, кручу ею, передергиваю плечами, шевелю одной ногой, другой, проверяю себя: цел ли? Вроде цел, нигде ничего, вот только голова деревянная.

Вокруг меня восстание из мертвых — возятся, отряхиваются, лезут из щелей, диковато оглядываются. Рядом, как из преисподней, вырастает каска, пенельное лицо со знакомыми чертами — Зычко. Каким-то манером я оказался у его щели. Знать бы, свалился б в гости, пережидали б судный час в компании, даже если б это и не нравилось хозяину. Зычко очумело отряхивается, сердито прокашливается.

И уже возникают первые голоса:

— Всего раз плюнули, а его, гада, прорвало.

— Пошли жалобу, чтоб повежливей...

Живы. Право, чудо.

И...

— Лямзина!.. Санниструктора Лямзина!.. Феоктистов ранен!

Орудийщики ползком и на четвереньках обступают лежащего Феоктистова. Пушка с задраным стволом завалилась набок. Сгибаясь и прихрамывая, спешит командир батареи Звонцов без каски и пилотки, с оголенной лысиной.

Зычко отмыкает уста:

— Разнесут нас здесь. Живы не выберемся.

Он впервые попадает в переулочек, для меня уже и такое не в новинку. Хотя, что и говорить, веселого мало — в чистом поле, на виду у противника, снарядов нет. Снасти может только ночь, а солнце пока что висит над землей, не скоро еще сядет...

— Танки скрылись! — крик то ли удивленный, то ли радостный.

С усилием распрямляюсь во весь рост, вглядываюсь в немецкую сторону. Совсем недавно различал уже их башни, сейчас рдеющая стена пуста и мотоциклы тоже не пылят. Из-под земли выползли, в землю ушли. Но где-то здесь, неподалеку, неизвестно, двигаются ли тайком или выжидают до времени?

— Не маячь. Хочешь, чтоб снова набросали? — цедит Зычко. Он по грудки в земле и, похоже, не собирается вылезать.

Слышу за спиной тяжелое дыхание. Появляется Звонцов, по-прежнему без пилотки, на лысине царапина. От-

дуваясь, присаживается на корточки, провесив животик, житейски доброе, простовато полное лицо озабочено, и что-то потустороннее в нем — нас не видит, вглядывается в себя.

— Свяжитесь с хоззвонком. Пусть срочно высылают подводу... Выбегать Феоктистова. — Выныривает из себя, строго глядит на нас, объявляет: — В грудь осколочное!

Зычко ныряет в щель, хватается за трубку.

— «Жито»! «Жито»! Я «Фиалка»!.. Не тебя зовут! «Жито» прошу... «Жито»! «Жито»!.. Не отвечает «Жито», товарищ старший лейтенант.

— Наладить! Чтоб подвода была! Срочно!.. Ранение тяжелое!

Каска Зычко медленно вырастает из земли. Из-под каски на меня холодные свиные глаза.

— Сержант Тенков!.. — приказным, с гнусавинкой голосом.

Господи! Всему есть мера. Весь день он торчал у телефона, бегали, ползали, таскали катушки мы. Война не мать родная, да! И он командир — тоже да. Но нельзя же забывать, что командуешь людьми. Чуть-чуть раздели с ними непосильное. Подмени на один раз, если есть совесть... Свиные глаза... «О себе гребтуй... Шо був добреньким, забудь!» Я вдруг почувствовал себя неподъемно тяжелым, словно весь из железа. И заржавел — не шевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Голубчик, пожалуйста, побыстрей, — голос Звонцова никак не приказной. — Постарайся, голубчик... В грудь ранен...

Не могу не откликнуться.

— Есть постараться, товарищ старший лейтенант!

А Зычко опускается в щель, слышно, как озабоченно продувает там трубку.

14

Связь прекратилась после артналета, значит, порыв должен быть где-то рядом, но я ползу и ползу, а кабель цел, уводит меня от своих. Пулеметные очереди с треском рвут воздух, мир кругом распарывается по швам, такое ощущение, что вот-вот образуют прорехи и в них проглянет мир иной, голубой и прохладный, непохожий на наш сумасшедший.

Миновал бывшую огневую. Ископанная, истоптанная

ложбина, валяются разбитые ящики от снарядов, пустые артиллерийские гильзы, оставленные впопыхах противогазные сумки, обтирочная ветошь — заброшенность. После нее двигаюсь уже не ползком, однако и не распрямляюсь во весь рост, перебежками, со скачками и нырками. Противник не унимается, похоже, сатанится еще больше. В воздухе звучит пезатихающая струна, заряженный пулями воздух поет.

Скоро и овражек, где прячется наш хозяйственный тыл — ряды повозок с поднятыми дышлами и оглоблями, кони, привязанные к грядкам, лениво слоняющиеся повозочные, дымит на отшибе полевая кухня. Все очень смахивает на воскресный рынок в селе — возле войны кусочек заповедного мира. В прошлый раз я даже позабывал: живут же люди! Скоро... Но кабель цел, почему же нет связи?

Это сразу выяснилось, как только я оказался на краю овражка. Первое, что увидел, повозочный на коленях. Скатывал солдатик на земле шинель и не докатал, уткнулся головой в скатку, замер в молитвенной позе. А рядом запряженная в повозку лохматая лошаденка, распустив губы, понуро дремлет в оглоблях. За ней же без криков, воплей, матерщины в смятенной подавленности идет работа. Солдаты хозвзвода, «стариковская команда», бестолково тычутся, волочат мешки, бидоны, ящики кидают в повозки, нахлестывают лошадей, отъезжают, цепляются в тесноте. В самой середине сутолоки задранное колесо опрокинутой двуколки. Мечется багроволицый старшина, пухлая спина в ярко-зеленой комсоставской гимнастерке туго стянута портупесей, из породистых, гроза подчиненных, но и он не кричит, а только налетает то на одного, то на другого «старичка», шипит. И по оврагу разбрызганы черные воронки...

Мне жутко от глухой наники тыловой «стариковской команды», даже старшина здесь потерял голос. Им не до меня, не до кого на свете, кричи, требуй — никто не услышит, надо действовать самому. Раненный в грудь Феоктистов лежит на огневой...

Повозочный в молитвенной позе, дремлющая вислогубая лошадь... Их все забыли, они в стороне от паники. Я огибаю убитого, карабкаюсь на повозку. Там несколько лопат и туго набитый вещмешок хозяина. Торопливо выбрасываю и мешок и лопаты, хватаюсь за вожжи.

— Н-но! — на всякий случай вспоминаю бога и мать.

Это у меня получается не очень-то убедительно, но лошадь понимает, послушно разворачивается к крутому склону, с привычной добросовестностью влезает в хомут.

— Давай, родненькая, давай! — умоляю я.

И лошадь выносит меня наверх. На открытом степном юру я деревенею. Только теперь мне открывается, на какое безумие я решился. Я бы не добрался сюда, если бы не прижимался к земле. Земля-спасительница укрывала, сейчас оторван от нее, поднят над ней, выставлен под пули. Здесь пока, хотя и веет в лицо алчно стонущий ветерок, еще не столь опасно, а вот дальше... Там, дальше я не смел поднять головы, а теперь буду вознесен, не уцелеть под свинцовым ветром...

В цветном пыльном мареве на немецкой стороне садится солнце, натужно раздувшееся, гневно красное. Край земли не принимает его, оно даже сплющилось от усилий... Я гоню лошадь прямо на солнце. Она настороженно прядает ушами, неуклюже рысит, старается. Больше выжать из нее не могу — не из скаковых.

— Н-но, милая! Н-но, хорошая!..

Гремит и трясется повозка, лязгают мои зубы то ли от толчков, то ли от страха.

А вот и бывшая огневая, на рысях скатываемся вниз, лошадь останавливается: мол, приехали. Я перевожу дух, не в силах гнать ее дальше. Покинутое место, взрытая земля, остатки брошенного хлама, пусто и тихо, тихо. И сюда в низинку уже вкрадываются призрачные сумерки. Где-то наверху, в самом конце степи, заходит солнце, что стоит мне переждать, пока оно не зайдет. Опустится темнота, и тогда... Тогда никто меня не увидит, спокойно доеду, останусь жив. Спросят: почему так долго? Отвечу: хозвзвод попал под обстрел, еле удалось выбить подводу... Поверят, не упрекнут.

Но Феоктистов... Я его знаю со стороны, он же меня не знает совсем... До чего простой выход — Феоктистов умрет, я буду жить. Звонцов просил: «Голубчик, пожалуйста, побыстрей».

В сердцах хлещу вожжами.

— Пш-шла! Ночевать пристроилась!

Лошадь качком трогается...

Солнце запало наполовину. Между ним, багровой горбушкой, и землей мутная проточина неба. Когда-то давным-давно был восход и я гадал, увижу ли закат... Вижу его, пока вижу!..

Визжат и давятся пули, некоторые оставляют бледные сполохи в помутневшем воздухе — это трассирующие... Посреди войны нас двое — я и она, живое доверчивое существо, настороженно прядущее ушами. Страдальчески радуюсь, что вижу закат. Пока вижу...

— Н-но, славная! Н-но, родная!

Она старается, громыкает подо мной нескладная телега, трясет меня.

От грядки повозки брызжет щепка, скрикошетирующая пуля воет истерическим басом. Жив я, жива она.

— Н-но, красавица!..

Копыта мерно и тупо бьют по комковатому полю, косясь с шелестом обметают ступицы колес. Солнце скрылось незаметно, стеснительно. Степь нахмурилась, потемнела. Над ее далеким, сумеречно-синим краем сухое полыхание, а выше над ним на полнеба прозрачно-нежный, зеленый просторный разлив. Чуть-чуть осталось до темноты! Как перетянуть через это чуть-чуть? Как до конца доглядеть закат?..

Нас двое в обезумевшем мире. Только двое! Я и она, родная мне, единственная.

— Милая-хорошая! Давай!

Она старается, трясусь на повозке и гадаю: кого раньше, ее или меня. Встречный воздух настолько опасен, что страшно дышать. Глеет закат. Пока вижу, пока дышу...

Совсем рядом давятся пули, зло кусают многотерпеливую, равнодушную землю.

Кого раньше, ее или меня?..

...Ни ее, ни меня. Мы на рысях подкатываем к батарее, нас обступают, а я сижу и никак не могу пошевелиться, одеревенел. Снизу заглядывает мне в лицо Звонцов, мясистый нос, широко расставленные глаза. Он, похоже, не очень-то мной доволен — заставил долго ждать, — по, приглядевшись, не произносит ни слова. За его спиной молчаливо сутулится батя Ефим.

Я ломаю свою одеревенелость, неловко сползаю вниз.

Кучно обступив, на туго растянутой плащ-палатке орудийщики подносят Феоктистова. Из-под брошенной шинели торчит задранный подбородок.

Меня трогают за плечо.

— Почему нет связи?

Зычко в надвинутой до скул каске, оттеснивший Ефима.

— Линия цела...— мой голос вял и бесцветен.— У хозяйственников погром.

— Спрашиваю: пач-чему нет связи?

— Пошел к черту,— говорю я, не в силах сердиться.

— Сержант Тепков! Как разговариваете?!

Звонцов оборачивается к нам.

— В чем дело?

— Связи нет, товарищ старший лейтенант. Вот был послан в тыл и не наладил.

— Кое-что наладил... Ладно, ночь впереди, отладите и связь.

Зычко подтянулся перед командиром батареи.

— Разрешите мне сопровождать раненого? Усе сам выясню.

— Что ж...— согласился Звонцов.— Только побержнее, дорогой, не гоните, не растрясите...

Стоявший рядом Ефим хмыкнул. Я, не отмякший после поездки, не удивился ни просьбе Зычко, ни хмыканью Ефима.

Связь с «Житом» восстановилась сразу, как только подвода с раненым Феоктистовым отъехала от огневой. А еще через полчаса «Жито» сообщило: подвода с раненым прибыла, по пути убит сопровождавший, лошадь сама пришла в расположение хоззвода. Гадал ли Зычко на пути: кого раньше?.. Их было уже трое, пули пощадили лошадь и впавшего в беспамятство Феоктистова...

Неисповедимы пути твои, господи. Зычко устрасила открытая позиция — в чистом поле, на виду у противника. Зычко всегда был обстоятелен и расчетлив. Тут прощитался...

С наступлением сумерек мы снова снимались. Ездовые пригнали упряжки, на этот раз без спешки, без гвалта и суеты подцепили пушки.

— Марш! марш!

На левый фланг. Там к утру ожидалась танковая атака. Ночью будут доставлены и снаряды, фугасные и бронебойные, в избытке.

Две пушки отправили в тыл — феоктистовскую и одну из третьей батареи. Потери дивизиона в первый день.

На новом месте меня поджидал уже Сашка Глухарев. Он сообщил: Смачкин подготовил НП, приказал тянуть к нему связь. Зычко не было, распоряжаться приходилось

мне. Я оставил на огневой Ефима, сам взялся за катушку. На этот раз НП был близко, всего в каких-нибудь пятистах метрах.

Наступила ночь.

15

Звезды обнимают степь. Они здесь низкие, пристальные. Небо торжественно распахнуто, а земля темна, скрытна. Люди на ней прячутся друг от друга, друг друга сторожат, а потому рады свалившейся темноте. Целый день ты пресмыкался на животе, был земляным червем, теперь можно из земли вылезти, встать на ноги, распрямить спину, развести плечи, и недремлющий враг не увидит, что ты принял гордый человеческий облик.

Но и в самое глухое время не будь слишком доверчив. Темнота спасительна и ненадежна, та и другая сторона подозревают козни, и это вызывает их на разговор. В черной потусторонней бездне коротко пролает пулемет: не сплю, сторожу! Басовито гроыхнет в ответ наш: тоже бдим, не сомневайся! Вскинутся автоматчики, сварливо переругнутся. И среди звезд небесных появляются звезды иные, одна за другой по ранжиру — цепочки трассирующих пуль. Уйдут вглубь, заблудятся, не оставят следа. Идет ночная беседа, значит, тихо на фронте, война отдыхает. Не спугни этот отдых.

Наш НП вплотную к стрелковым окопам. Я так и не встретился на почь глядя с Смачкиным. Он свалился и спит, не дождался даже, когда мы подтянем связь. Хорошо знал Зычко и как мало этого человека: где рос, как жил, кто его родители, имел ли друзей, что любит, что ненавидит?.. Сегодня ворвался в мою жизнь, нет, близким не стал — дистанция между нами! — а вот родным, пожалуй. Не представляю без него своего завтра. Странно сводит людей война — роднит практически незнакомых. Едва знаком с Чуликовым, а были рядом несколько месяцев, и сегодня он для меня еще большая загадка, а расставаясь, помнил о нем, разведет судьба, останется в памяти. Вот Сашка Глухарев, напротив, стал далеким, будет ли рядом, нет ли, безразлично. И сидит сейчас за телефоном возле спящего Смачкина мой связист, заменивший убитого Нинкина, знаю его с зимы, но, каков он, сказать не могу, и как нас свяжет завтра, тоже не ясно.

Рассыпаны низкие звезды над степью. Сама степь, накаленная за день, отдает сейчас живое тепло. Я один на один с ночью...

Из соседнего окопа тишком, остороженько вылезли двое пехотинцев, уселись на закраешек против бруствера, сложили руки на коленях, замерли — две бесплотные тени. Уж этих-то я никогда не встречал, не разгляжу во мраке их лиц, не ведаю их имен, но и они в эту минуту мне братски родны. Как я, они не знают, останутся ли живы, как я, устали, как я, счастливы неподвижностью.

И, чтоб скрепить случайное братство, я говорю:

— День прожили, а ночь наша, до утра доживем. По они не пошевелились, молчат — тени, не люди.

— Эй! Что не спите, полуношники?

Молчание. Наконец запоздалый отклик:

— Ты нам, парень?

— Что не спите, спрашиваю? Завтра немец рано разбудит.

— Мы ведь не слышим. Оглушило нас в окопе.

Тут уж замолкаю я.

— Мне еще кой-чего долетает, вроде через стенку. А мой кореш что пень совсем. Даже и говорит спотыкаясь.

Вот и побеседовали... Плывет звездная ночь, перебрашиваются передовые. Сидят по соседству отрешенные тени.

Неожиданно на немецкой стороне вскипели выстрелы, гулко заработал крупнокалиберный пулемет. Всколыхнулись и наши. Сквозь звонкий переполох доносится глухой стук мотора, знакомое в нем. Невысоко в воздухе вдруг вызрел тугой сгусток света, накаленно белый, повис там, за нейтральной. Ночь от света вздрогнула и сгустилась, а звезды отпрянули. Второе яростно накаленное тело в воздухе, третье... Не падают, висят, даже отсюда я вижу обнаженную колкую шершавость степи. Молотит, не переставая, крупнокалиберный, захлебываются автоматы, а всю эту путаную трескучую россыпь укатывает и трамбует неторопливый машинный звук. Тюк — далекий взрыв. Тюк!.. Тюк!.. Он, «кукурузник»! Видать, не сказки рассказывают, что работает по ночам. Выше яркого света летает над немецкими окопами девица, капает с белой ручки — тюк, тюк... Развешенные фонари медленно опускаются, а стук мотора становится все глуше и глуше — закончила дело и уходит... Фонари ложатся на землю и гаснут один за другим.

Отпрыгнувшие звезды снова занимают свои места в небе, но передовая растревожена, трассирующие нули уже не плывут стройно вверх, плещут по сторонам режущими молниями. Мои незадавшиеся собеседники не спеша лезут в окоп, я не хочу вниз, вытягиваюсь на теплой земле.

Немцы кидают в нашу сторону ракеты, янтарно-желтые и переливчато-зеленые. Степь морщится, неприязненно поеживается на их свету. Ракеты не долетают до нас, конвульсивно догорают в тощей траве.

Из нашего окопа высовывается мятая, расплзшаяся пилотка, за ней следом узкое бледное, спросонья подслеповатое лицо Чуликова.

— Это ты, сержант?.. Минуточку...

Пилотка пыряет вниз, Чуликов показывается с плащ-палаточным свертком.

— Смачкин приказал тебя накормить, а я, прости, заснул... Наверно, не помнишь, когда и ел.

Когда-то в давнем прошлом. Я даже забыл, что людям положено питаться, что на меня идет армейский паек, несколько раз испытывал мучительную жажду и не чувствовал голода.

С шуршанием разворачивается плащ-палатка, передо мной появляется котелок.

— Ложку дать?

Я лезу за голенищем.

— Своя цела.

— Как принято говорить в хорошем обществе: приятного аппетита... Я, сержант, вырос в хорошем обществе — ходил в консерваторию, слушал Баха, пытался решить теорему Ферма.

— Для экзаменов, что ли?

— Для экзамена. Триста лет математики его держат и все до одного срезаются.

— Ты тоже срезался?

— Тоже. Пошел добровольцем. Сейчас у Смачкина задачки решаю. Они попроще.

В котелке холодная рисовая каша и щедрый кусок мяса. Мясо явно с душиком, меня от него поташнивает, ем через силу.

Злой визг со всхлином, хлестко бьет земля с бруствера. Шальная пуля чуть-чуть не дотянула, я даже не успел вздрогнуть. Рисовая каша забита землей. Прячу ложку в сапог, котелок швыряю в степь.

Чуликов огорчается:

— Вот тебе и приятного аппетита. Мои хорошие манеры не ко времени, сержант.

Котелок с мясом я выбросил, а тошнотный душок остался, висит в воздухе.

— Чем-то пахнет. Тебе не кажется? — спрашиваю я.

— Тут вчера, говорят, до рукопашной доходило, лоб в лоб сходились. Ну и остались на нейтральной полосе и наши, и немцы... Ветерок-то от них повернул... Завтра все заново. Велик день пережили, велик!

К нам в окоп заглядывает переливчатая звезда, одна-единственная из многих тысяч.

Велик день за спиной...

Да неужели только сегодня мы выскочили из теплушек? Нет, нет, в незапамятные времена, где-то в самом начале моей жизни, колеса под нами отстучали по последним стыкам и чей-то смачный бас возвестил: «Приехали!» Помню, оглядывал ровную степь, искал глазами фронт. Был молод, был глуп, смешон сейчас для себя — взрослого.

День, только день! Но сквозь него не разгляжу прошлого, скрылось вдали. Там осталось много счастливых лет. Да, была из года в год школа с ее маленькими тщеславными радостями и огорчениями — надо же, на экзаменах двойку математичка влепила, как переживал! Да, из года в год повторялись каникулы — костры в ночном у реки, старая мельница с гнилой плотиной, под которой жила щука-дубасница, многие ее видели, все за нею охотились, никто не поймал. Да, было, было! Но какая это жалкая горсточка в памяти по сравнению с бесконечным днем.

«Приехали!» В седой древности прозвучал голос. От него до этой мерцающей звезды — век. Кто-то его не дотянул, сорвался — Нинкин, Зычко... Дотянул ли Феоктистов?.. Я дотянул этот век, но сильно постарел и утратил прошлое. Чуликов, наверное, тоже. Теоремой Ферма занимался... Какой ченухой мы жили? Жили?.. А может, просто грезится? Есть день, вытеснивший жизнь, и ничего больше.

Завтра все заново.

Одинокая звезда заглядывает в окоп. Увижу ли ее снова?..

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

1

Степь, степь... раскаленно-спекшаяся, полыппо-душистая, старчески морщинистая — родная сестра бесплодной пустыни. Пять дней мы защищали неприветливый кусок степи. Их пушки и наши пушки взбаламучивали небо шуршащими, переливчатыми потоками. Огневики оглохли от чужих взрывов и своих выстрелов. Шли танки, но были остановлены, заповедной линии не пересекли. В воздухе шипели разгулявшиеся осколки, язвили, захлебываясь, черствую землю пули. «Фиалка»! «Фиалка»!.. Немота в ответ, выбрасывается из окопа под свинцовую поземку... Осколок мины порвал мне кирзовое голенище сапога, а пуля задела верх пилотки — в спешке забыл каску в окопе, — на сантиметр ниже, и я бы лег посреди степи на вечный отдых. Пять дней, столь же долгих, как день первый, слились в один ревущий бой с глухими ненадежными перепадами по ночам. Утром шестого зловещее затишье... Оно тянулось и тянулось под вялую перестрелку, предвещая недоброе.

В полдень родился тревожный слухок, пополз из окопа в окоп: севернее нас немцы прорвали фронт, вышли к Дону. А на юге они давно уже перешли Дон. От часа к часу слух креп. И еще раз зашло солнце на той, враждебной, стороне. В сумерках приказ: «Побатарейно сниматься!» На этот раз не смена позиций — отступление.

И вот новый день, день седьмой — мы в пути...

Лейтенант Смачкин, Чуликов и я при батарее Звонцова. В ней только два орудия. Одно, феокистовское, подбито в самый первый день. Во время танковой атаки потеряли второе. Под прикрытием кустов его вытащили на руках на прямую наводку. Оно неистовствовало от силы полчасу, немцы обрушили огонь тяжелой артиллерии. Из всего расчета уцелели лишь трое, пушка сгорела в кустарнике.

Степь, степь... Она еще окружает нас, но мы уже не ощущаем ее своей, скоро здесь затопают чужие сапоги, зазвучит чужая речь. А просторное небо над степью и вовсе враждебное, не наше. Немецкие самолеты хозяева в нем, могут появиться в любую минуту. Земля нас не прячет, небо нам грозит, в солнечном пекле бредут люди.

Степь, степь... Все, что прежде пряталось в ней, вылезло наружу. Но не видно вытянувшихся походных колонн, куда ни кинь глазом, нет сплоченности, мелкие кучки сторонятся пробитых дорог, рассеяны по спаленным просторам. Повзводно, поотделенно, реденькими цепочками тащится усталая пехота. То там, то сям трясутся подводы, пылят в одиночку машины.

Наши батареи пробираются самостоятельно. Командир дивизиона майор Пугачев указал маршрут — к точке на берегу Дона, там соединимся воедино. Сам Пугачев при четвертой батарее, единственной сохранившей все свои орудия. Звонцов для связи послал к ним вестового Галушко, тот не вернул... И где-то отбившийся от меня батя Ефим. И Сашка Глухарев тоже где-то... Не смей скучиваться, дробись, старайся казаться меньше, чем есть, не привлекай к себе внимания. Небо над тобой вражеское, земля под ногами пока еще не их, но и не твоя. Спеш к Дону, за могучей рекой спасение!

Звонцов и Смачкин шагают рядом. Звонцов враскачку, с одышкой несет свой животик, щеки обвисли, глаза запали, но идет как все, отказывается сесть на зарядный ящик. Смачкин пропечен до черноты, угловат и резок в движениях, взгляд выбеленный, затаенно яростный, даже поступь выгнувших легких ног какая-то ожесточенная, словно пинает полынную землю.

Между ними давно уже тянется спор, Смачкин в нем нападающий:

— Вы старше меня, Звонцов. Да, по возрасту и по званию! Но это еще не значит — ответственнее. Вы в мирное время занимались делом, работали на экономику, по сути, кормили и себя, и таких, как я. А я, Звонцов, военный, причем династический. Мой дед, штабс-капитан Смачкин, служил царю. Мой отец, сорвав погоны поручика, служил революции, командуя полком. И меня страна облекла в военную форму, учила, предоставляла льготы, ковала оружие. Не паши, Смачкин, не воздвигай заводы, а охраняй спокойствие наших границ. Только для этого ты и существуешь. И кадровый военный, вспоенный и вскормленный лейтенант Смачкин жив, позорно не исполнив того, чего от него ждала страна.

Пыхтя и отдуваясь, Звонцов нес на опавшем лице

выражение списходительной скуки: ей-ей, капризы мальчика надоедливо.

— В чем же дело, Смачкин? У вас пистолет на поясе и автомат на шее. Воспользуйтесь тем или другим. С красивой декламацией передо мной и солдатами.

— Не считайте меня опереточным олухом, старший лейтенант Звонцов!

— Вы просто еще не вышли из романтического возраста, Смачкин.

— Победа или смерть, да, были нашей романтикой, но теперь это трагическая необходимость. Велика страна, а отступать некуда. Или вы считаете, что мы должны бежать от немца за Волгу, в Сибирь?!

— Отступление часто приводило к победе, смерть — никогда.

— Ха! Никогда?.. Не существовали на свете Фермопилы, не гибли во имя победы Сусанины?..

— Гибли, чтоб живые совершали победу. Речь у нас идет о стране — ее победа или ее смерть! Очнитесь, что за одурелый фанатизм.

— Вы-то па что рассчитываете, Звонцов?

— Как вы знаете, я скучный бухгалтер-экономист по профессии, а потому рассчитываю, что мы добьемся — в нашем активе окажется больше самолетов, больше танков и пушек, чем у противника. Рассчитываю на техническую силу, а не на число самоотверженных трупов.

И Смачкина прорвало:

— Что это, циничное издевательство или нелепая шутка, старший лейтенант? Бухгалтерский расчет — больше самолетов, больше танков... Да! Да! Хотелось бы! Но вы знаете, два десятилетия мы пытаемся догнать Германию. Проклятая страна технически далеко впереди нас. Рассчитываете обскать ее за месяцы?.. Даже одного месяца у нас нет — завтра они будут у Дона, через неделю-две выйдут к Волге, а за Волгой Урал... Уже сейчас наши промышленные районы у них, а если приберут Урал — вот вам ваши экономические расчеты! Вы прекрасодушный фантаст, Звонцов! И не один я сейчас дозреваю до жертвенности. Оглянитесь, Звонцов, какие хмурые лица у ваших солдат. Они не додрались, им тоже не по себе.

Огневики, тянувшиеся за двумя пушками, грязные, заросшие, в пятнистых от пота заскорузлых гимнастерках — выходцы из ада, — смотрели в землю. Ни обычных шуток, ни разговоров, каждый замкнут в себе, каждый думает

об одном — за спиной напористый враг, опьяненный удачами, сознающий свою силу. Что для него жалкая кучка измотанных солдат с двумя пушками? К Дону, к Дону! За Доном спасение. А дальше что?.. Нет никого, кто бы не задавал себе этот вопрос. А вопрос громадный, не солдатский, самое высокое командование навряд ли сейчас знает на него ответ. Что будет?..

Звонцов с раскачкой вышагивал, глядел сквозь сутулые спины артиллеристов в степную даль, глаза запали, щеки обвисли, и рот сплюснут в жесткой складке.

— Фантастика?.. — после тягостного молчания заговорил он. — Не один вы так думаете, Смачкин. Так думают и они: мол, затравленному ли медведю в берлоге заломать охотника — фантастика! Самонадеянное заблуждение. Не медведя обложили, а народ на своей земле. Двухсотмиллионный народ на бескрайней земле, едва ли не самой богатой на планете. Нам есть откуда взять силы, Смачкин. Сказка об Антее отнюдь не фантастика, мы в свое время доказали это Наполеону.

— Вы что думаете, я не верю в силу нашего народа? — возмутился Смачкин. — О том только вам и толкую: если все двести миллионов дозреют до жертвенности, кто устоит перед нами!

— Мы в разное верим, Смачкин. Вы — в «жертвую собой», я — «сохрани себя» для деятельности. Вы рассчитываете на самоотверженную смерть, я — на самоотверженное созидание.

Смачкин передернулся и не ответил.

Ездовые пошевеливали усталых коней, над моей головой качается зачехленный пламегаситель, идут рядом почерневшие люди. А вокруг залитая солнцем, слепящая степь, по ней, куда ни кинь взгляд, всюду кучками солдаты. Отступление... Не первое в эту войну.

Со мной Чуликов. Он несет карабин, как Смачкин автомат, повесив на шею. Карабин гнет его тощее тело, галифе сползли мотней к коленям, тяжелые сапоги отстают от ног. Он все-таки слаб, невынослив, тянет через силу. Но, похоже, сам не замечает усталости — узкое серое лицо сосредоточенно, мохнатые от пыли девичьи ресницы опущены, а поздри тонкого облупившегося носа вздрагивают, — что-то переживает про себя. Я негромко окликаю его:

— Чулик!

Он вздрагивает, взмахивает ресницами.

- Что?
- Ты слышал Смачкина?
- Слышал. Думаю.
- Считаешь, он прав?

Навесив над карабином жеваную пилотку, он молчит, тянет по полевой траве тяжелые сапоги. Смачкин для него и бог, и старший брат. Вряд ли он примет сторону старшего лейтенанта Звонцова. Но что-то медлит Чулик с ответом, не роняет решительное «да».

Наконец заговорил:

— Знаешь, когда я уходил в армию, вдруг вспомнил о моем дяде...

Я сержусь, какое мне дело до его дяди.

— Только не крути, Чулик. Отвечай прямо: да или нет?

— Обожди, не сразу... Мой дядя — инженер-строитель. Очень даже крупный. Только... Как бы тебе сказать, в последнее время его от всего отстранили... А теперь вот стал нужен...

— Ну и что? Я же о Смачкине тебя спрашиваю, не о дяде-строителе.

— А то сообрази — специалисты нужны. В разгар войны. Значит, срочно что-то широко строят. Не карамельные же фабрики, наверняка военные заводы, самолеты выпускать, танки...

— Ага! Прав все-таки Звонцов, не Смачкин!

— Смачкин тоже. Позовет меня — умру! Пойду, не отстану. Без жертв не обойтись. Надо же время, чтоб технику поднять, выпустить самолетов и танков больше, чем у противника. Ну, а пока придержи его с тем, что есть. И задержать надо у Дона, ни на шаг дальше. Велика страна, а отступать некуда.

— Как по-твоему, долго его держать придется?

— Не знаю. Может, год, а может, и два даже. Война быстро не кончится.

— Не доживем, — вздохнул я.

— Не доживем, — согласился он. — А хотелось бы...

Ездовые машут кнутами — марш, марш... Горький путь целинной степью, под злым солнцем, под враждебным небом. Кони с потемневшими крупами тянут пушки, теперь их только две, от батареи осталась половина.

Солнце давно уже перевалило за полдень — самое пекло. Но в душном, густо полевом воздухе что-то сдвинулось, просочилась невнятная свежесть, коснулась липкого лица. И солдаты поднимают головы, ловят смутную

прохладу, жадно вглядываются в даль. Степь по-прежнему буро-ржавая, одурающе слепящая, по-прежнему она источает из себя трепетно-жидкие волны воздуха, колеблющие горизонт, однако уже чувствуется живительная близость реки. Могучий Дон где-то тут, прячется в обширном степном теле. Кони зашагали бодрее.

Как легкий озноб перед приступом малярии, как ропот листвы перед бурей, возник знакомый до отвращения звук. Каждый ждал его, каждый надеялся — судьба смилуется, авось не сбудется. Бредущие солдаты очнулись, зашевелились, затравленно стали оглядываться назад, в маревую воздушную толщу. Авось... Нет, не пригрезилось — размеренно качающийся звук моторов из блекло чистого неба. Перед самым Доном, вблизи от спасения!..

Мы тоскливо переглянулись с Чуликовым, его узкое лицо натянулось, отчетливо проступили кости скул. Переглянулись, ничего не сказали, отвернулись друг от друга.

А кони шагали, и ездовые, напряженно торча на их спинах, махали кнутами — марш, марш! И, обреченно сутулясь, продолжали идти люди. Звук же креп, уплотнялся, не утрачивая своего размеренного качания.

Самолеты двигались боевым порядком — три звена косяком, по три машины в каждом — на умеренной высоте. От нас они были чуть в стороне, и мы, не переставая идти, лишь недружелюбно косились в их сторону. А под ними на земле возникла вялая суета — цепочки солдат рассыпались, залегли, скрывались, но не от тех, кто проглядывал степь с воздуха.

Самолеты презрели земную суету, проследовали дальше, унося с собой колеблющийся хвост звука...

Звук еще не совсем развеялся, еще что-то от него прозрачно витало в небесах, как в отдалении, приглушенно и вязко, заголосила сирена, подхватила другая. Над кромкой степи мошкаринная толчея. И тупой удар, второй, третий, нутряное рычание, снова, снова долбящий удар за ударом...

Из степной выжженной закраины, из недр земли начал нехотя подыматься на дыбы темный зверь. Он рос, тучнел на глазах, с ленцой расправлялся и наконец застыл в угрожающей неподвижности.

Мы шли прямо на этого тяжелого дымного зверя. К нему тянулись рассеянные по степи кучки отступающих солдат, к нему мчались, тряслись повозки. Так властно тянет к себе ночной костер рассеянных мотыльков.

До сих пор все мы стремились к Дону бездумно — скорей бы, скорей, преодолевая усталость! Берег Дона — спасение, у берега широкая вода, можно спрятаться за ней. Никто, похоже, заранее не задумывался, что нам нужен не просто Дон, не его бесконечный берег, а лишь одно-единственное место на нем. Одно на всех — переправа!

Над переправой вздыбился черный зверь.

Мы идем прямо на зверя. Он медленно, медленно заваливается на сторону, растекается.

Переправа горит. Идем к ней, иного пути у нас нет, свернуть некуда...

2

Там, где ровная степь круто обрывается к реке, тесно сбилось беспорядочное машинное стадо — грузовики, фургоны, бензовозы, гусеничные трактора с тупорылыми гаубицами на прицепе и пара приземистых танкеток, и затертый в середине, недоуменно торчащий над всеми вооруженными башенками пыльно-громоздкий «КВ», и стиснутые подводы. Мы с двумя длинноствольными пушками на конной тяге на самых задах разгоряченного табора.

Над табором качается стена копотного дыма, поднебесно величавая, как Вавилонская башня. Она то закрывает солнце, заставляет его натужно багроветь, то освобождает, возвращая ему раскаленную косматость.

Между машинами, в тесном хаосе пышущего жаром металла беготня — затянутые в портулен командиры, танкисты в промасленных комбинезонах и теплых шлемах, солдаты разных возрастов, разного обличья, одни налегке, в растерзанных гимнастерках, другие захомутаны шинельными скатками, втесался даже бестолковый пэтээровец с длинным, мешающим всем противотанковым ружьем на плече. У всех воспаленно красные физиономии и одинаковое выражение — скорей! скорей! Куда скорей? Это никому не ведомо — куда бы ни было, но скорей! Мечутся, сталкиваются, не задерживаясь, поспешно отскакивают, не замечают друг друга, без крика, без брани, молчком.

Стремительная затравленность сразу же проступила на обгорелом лице страстотерпца Смачкина, однако сам он в метания пока не ринулся, стоял с автоматом навзтяжку, смотрел на суматоху стылыми белыми глазами. Не ринулся, но вот-вот...

Звонцов спокоен, оттянутый пистолетом ремень скашивает на сторону навешенный животик, большие пальцы рук запущены за ремень, короткие ноги в покоробленных кирзовых сапогах широко расставлены, щеки отвисли, глаза запали, однако усталости не показывает, придиричиво, не спеша озирается. За его спиной сгрудились огневики, угрюмо-черные, выжидающие.

— Лейтенант Смачкин, — тихим, будничным тенорком, но с приказной интонацией, — срочно разведать наших, кто уже здесь. Сразу же соединиться. А я прогуляюсь. Уточню обстановку.

Смачкин приободрился, кинул руку к пилотке.

— Есть!

— И, пожалуйста, не нахлестывайте себя. Без галопчика, Смачкин, без галопчика.

— Есть без галопчика, товарищ старший лейтенант! Чуликов, со мной!

Мне немного обидно — Смачкин позвал только Чуликова, меня забыл. Но утешение пришло тут же.

— Расчетам стоять у пушек, не отходить ни на шаг. Ездовых отрядить за водой — самим напиться и напоить коней. А вы, голубчик сержант, будете при мне. Пилотку поправьте, гимнастерку заправьте и карабин на плече держите с достоинством, чтоб видели — блюдем и помним себя... Вот так-то! Пошли к печке поближе.

Горели на пробитом в гребне берега спуске сцепившиеся автомашины. От них остались лишь черные остовы, по низу продолжали хлестать закрученные языки пламени, даже глинистая земля вокруг полыхала. Должно быть, под кучей малой металлических скелетов находилась автоцистерна с какой-то маслянистой жидкостью. Оттого-то над плещущими языками пламени, казалось, прямо из воздуха рождался дегтярно-густой, курчаво-обильный дым. Оц, бунтуя, вздымался и отравлял подбережный воздух угарной химической вонью.

Пожарище загораживало путь к реке. Но если б оно даже и не загораживало, то навряд ли кто из машинного стада на краю степи мог протиснуться вниз. Приречная полоса, стиснутая водой и падающей кручей, была до отказа забита вправо-влево, пока хватал глаз. Коня, трактора, пушки, броневики, повозки, машины, машины и все захлестнуто густым человеческим потоком, нервно пульсирующим, кружащим, муравьино беснующимся, глухо гомонящим. И так уже неуворот, а сверху по крутому

склону сыплются и сыплются вырвавшиеся из степи пехотины. Лишь бы добраться до воды, а там будет видно, как дальше.

Река под нами величаво просторна и нежно-голуба до застенчивости. Ее лижет ветер, оставляет синие языки. То тут, то там среди возникающей ряби вспухают и опадают кипенные, зеленовато-белые столбы. Немцы обстреливают переправу. А она вот, на виду — волосяно-тонкая нить на раздольной воде, настолько призрачная, что вдали не просматривается, только чувствуется. К ней подвешен паромчик, то ли дремлет, то ли движется, не уловить куда. И до чего же он мал — накрой ладошкой. А тот берег маячит невнятной зеленью, надсадно вымечтанный и недоступный.

Нет, все-таки не дремлет паромчик, медленно — ох, медленно! — ползет оттуда сюда. Сколько же он черпнет из этой густо замешенной человеческой каши? Накрой ладошкой — совсем ничего, за год не вычерпает.

— Мда-а... — произносит Звонцов. — Путь к спасению сквозь игольное ушко... Что ж, спустимся в преисподнюю.

По-стариковски покряхтывая, он неуклюже полез по осыпающемуся склону.

Я не успел сделать и нескольких шагов, как кто-то, упавший с неба, налетел, сбил, подмял меня. Мы одновременно вскочили на ноги.

— Ослеп, что ли? — выругался я и сразу осекся, увидев, что ржаво щетинистое, губастое лицо действительно слепо, вытаращенные с горячими белками глаза ошалоело глядят на меня. Не только я, никто для пего не существует. Секундная встреча — и он исчез...

— Держись, мальчик, за меня, не то враз ототрут, — озабоченно посоветовал Звонцов. — В этом веселом хоро- воде друг друга потом не отыщешь.

Сбегавшие мимо нас по круче в одном месте вдруг резко шархнулись в сторону. Звонцов, медленно спускавшийся впереди, остановился, выдохнул:

— В-вот он-но...

Там, где склон становился положе, ровным рядом лежали солдатские тела, бок о бок, плечо в плечо. Одни с головой накрыты шинелями и плащ-палатками, известково стертые лица других направлены поверх людской перекатной сутолоки — за реку, к тому далекому берегу, от которого их теперь уже отделяло не только заполненное текучей водой пространство.

Звонцов кивнул мне — пошли. Мы осторожно стали их обходить. Я старался не вглядываться, но все равно замечал судорожно сведенные кисти рук, мазутно-темные пятна крови на гимнастерках.

Медлительно, с напором, рыком, резкими гудками пробивались в потоке гуськом три броневики. Они возглавляли теснящуюся пеструю колонну — зенитная установка на грузовике, короткоствольное самоходное орудие с бронированным плоским лбом и дальше машины, машины...

Броневики увязли в плотной толпе, обступившей причал. Толпа бы, может, и раздвинулась перед броневым напором, но дальше длинные зачехленные стволы пушек. Точно таких, как наши. Но из-за стволов видны были и кабины тракторов, значит, не наши, не на конной тяге.

Теснящаяся колонна остановилась, во всю ее длину прокатилась гневная волна гудков, в отдалении захлебнулась — машинам приходится смириться, непреодолимо.

В стороне от причала, почти у самой воды застрял зеленый фургон с выцветшими красными крестами по бокам. На его подножке, возвышаясь над толпой, неистовствует женщина в белом халате, светлые волосы рассыпались по плечам, запрокинутое лицо искажено криком:

— Товарищи! Товарищи! У нас раненые! Расступитесь! Дайте проехать тяжелораненым!..

Ее рвущийся крик мечется над плотно сбившимися пилотками, касками, торчащими стволами винтовок. Толпа у причала не умещается на берегу, часть ее влезла в воду по колено, по пояс. И в воде эта толпа столь же оцепенела, столь же колюча от стволов и штыков.

— Люди же вы!.. Я врач! У меня умирающие! Помогите проехать!..

Я оглянулся на Звонцова и оскорбился — он не обращал внимания на крики женщины, он интересовался полковником. Этот полковник был внушительно рослым, как и полагается, в твердой фуражке с малиновым околышем, с четырьмя шпалами на малиновых петлицах, сверкал начищенными пуговицами и пряжкой широкого комсоставского ремня. У него эдакая ласковая сутулость в пухлой спине, лицо полное, вальяжно гладкое, с крупным добродушным, слегка вислым носом. Ему, наверное, не приходилось даже повышать голоса, так как всегда был окружен подчиненными, которые на лету хватали каждое его слово, старались услужить, привык к почтительному вниманию,

ни в чем не испытывая нужды, и представить его в окопе или в прифронтовой тесной землянке невозможно. Сейчас он потерянно одинок в гуще чужих, не обращающих на него внимания солдат, несмело топчется, тоскливо озирается, и ласковая сутулость подчеркивает подавленную беспомощность.

Кричала женщина в растерзанном белом халате:

— По-мо-ги-те!..

Звонцов выставил перевешивающийся за ремень животики, шагнул к полковнику, выгоревший, пыльный, с изрытым обожженным лицом.

— Товарищ полковник...

К нему, похоже, обращались здесь не впервой, он невнимательно уставился поверх мятой пилотки Звонцова.

— Нужна ваша помощь...

Полковник пристально оглядел Звонцова от пилотки до покоробленных, не по-уставному расставленных сапог.

— Что вам нужно от меня, старший лейтенант?

— Ваши внушительные петлицы, ваш представительный вид. Ваше высокое звание. Остальное я сделаю сам. Сейчас подойдет паром и вы будете на нем. Эй, товарищ боец! Сюда!

Пробежавший мимо рослый парень с болтавшимся автоматом на шее вздрогнул и остановился, гримаса бессмысленной стремительности на потном лице сменилась надеждой, чеканя шаг, приблизился, расправил плечи, глаза преданно прыгают со Звонцова на полковника...

А женщина продолжала кричать с подпожки санитарного фургона.

Звонцов выдернул из кружащегося потока еще трех автоматчиков, вынул из кобуры пистолет.

— Двое справа, двое слева. Автоматы на изготовку! По моей команде стрелять поверх голов. Но только по моей команде, без самостоятельности... Вы, сержант, со мной!.. Товарищ полковник, разрешите, пойду впереди вас...

— Дорогу!.. Дорогу!..

Сметая толкущихся на пути солдат, к санитарному фургону. Женщина, увидя нас, замолчала, растрепанная, бледная, напряженно вытянувшись.

Звонцов поставил автоматчиков по бокам радиатора, полковник между ними, я впереди со Звонцовым, сжимая в потных ладонях карабин.

За фургоном, у самой воды, на изрытой гальке между двумя солдатами в расхлыстанных шинелях лежал молод-

цеватый лейтенант — изумленно вздернутые брови на чистом лбу. В воде застывшая толпа, толпа перед нами.

Звонцов обернулся к автоматчикам.

— Автоматы к бою! Вперед!.. Дорогу раненым!.. Дорогу раненым!..

Но жмущаяся к причалу плотная толпа не дрогнула, лишь ближние диковато оглядывались, пытались вжаться глубже.

— Ог-гонь!

Грохот автоматов за моей спиной был неожиданно, до потемнения в глазах силен, я едва сдержал желание присесть. Толпа — пилотки, каски, вещмешки, торчащие винтовки со штыками и без штыков — колыхнулась, зашаталась, стала разваливаться, таять перед нами.

— Дор-ро-гу раненым! Дор-ро-гу!! Бист-ра!..

Рычал позади мотор идущего вплотную за нами фугона, молчаливо расступалась толпа.

— Дорогу раненым!

Впритык к бревенчатым сходням причала привалился гусеничный трактор. Возле него нас встречал плечисто приземистый командир, небритое лицо сумрачно. Он не спеша поднес ладонь к фуражке.

— Товарищ полковник, прошу извинить, не смогу сдать назад. Разрешите пропустить первое орудие, а уж за ним раненых.

Полковник не без важности кивнул малиновым околышем — разрешаю.

Растрепанная женщина в халате, все еще стоявшая на подножке, снова заволновалась:

— Полковник, вы благороднейший человек! Буду вас помнить, пока жива.. Всем вам, всем спасибо!.. У нас восемнадцать раненых...

Звонцов вложил пистолет в кобуру, козырнул полковнику.

— Честь имею.

— Куда же вы? — удивился полковник.

— К пушкам. Не могу же я их бросить... Пошли, сержант, пока не причалил паром. Хлынут — не выберемся.

А паром уже был близко, нагонял на берег, на стоящих в воде солдат волну, и толстый канат над нашими головами натужно вздрагивал.

Полковник тяжело качнулся на Звонцова.

— Черт возьми, лейтенант! За кого вы меня принимаете?

— Старший лейтенант...
— Ладно, ладно! Зовите меня Виктором Павловичем.
— Звонцов Василий Семенович, к вашим услугам.
— Идемте, Василий Семенович. Выбираться из мышеловки будем вместе с вашими пушками.
— Товарищ старший лейтенант, а мы?.. — подал голос один из автоматчиков.
— Доставьте раненых на тот берег.
— Есть доставить. На руках вынесем!
А позади на подножке фургона стояла женщина в белом халате, смотрела нам вслед.

3

Поднявшись до половины крутого склона, мы остановились, повернулись к причаливающему парому. Сверху было видно, как обслуживающий паром солдат готовился бросить чалку.

Толпа перед причалом разрослась, густо выплеснулась с берега в воду. В воде нервное шевеление, а на суше люди спаялись в одно настороженное тело, даже, казалось, колебались в едином дыхании, напряженном, затаенном в своем ожидании. И внутри этого тела, вдоль сбитой колонны пушек, тракторов, машин — неустойчивое оцепление, лицом к лицу вплотную перед грозно замершей толпой.

Запахавшийся Звонцов стянул с головы пилотку, вытирал скомканным платком поцарапанную лысину, глядел вниз, болезненно морщился. Рядом устало сутулился полковник, поводил из стороны в сторону крупным впелым носом, грустно помаргивал.

Паром вздрогнул, ударившись о причал, под его бортом в воде началась кипучая давка. Толпа же на берегу качнулась, без усилий смяла оцепление. Машины угрожающе зарычали, голубой газ поплыл над месивом касок, пилоток, скаток, винтовок. Передний трактор тронулся, таща за собой пушку, завалился на заметно осевший паром. Зеленый фургон с ранеными втиснулся за ним на сходни, и только тогда тронулась сжатая толпой колонна с моторным рыком среди солдатской кинени, раздвигая ее, увлекая ее. Ни выкриков, ни насадной ругани, только немой штурм с берега и воды.

— Все в порядке, можем идти, — объявил Звонцов, натягивая на лысину пилотку.

Полковник ответил ему покорным вздохом.

У гребня обрыва, на съезде два трактора растягивали обгоревшие остовы машин. Прокопченные солдаты суетливо возились в черном дыму. Их командир, ломко-долговязый, деловито топтал чадающую землю обутыми в широкие кирзачи ногами-ходулями и дирижировал. Взмах руки — кто-то подхватывал конец троса, нырял с ним в стелющийся дым, новый взмах — рискованно накренившийся на склоне трактор натягивал трос, а командир, работая сапогами, уже спешил к тем, кто в клубах сажи орудовал лопатами...

Я заметил, как переглянулись Звонцов с полковником, удовлетворение скользнуло по их лицам, вызвало и у меня легкую отраду — оказывается, есть и такие, кто занят делом, не самоспасением.

Однако осознать эту отрадность я не успел. Наверху, за близким от нас гребнем взмыли крики — паническое разноголосье, раздались выстрелы, взревели моторы. Над нами, по самой закраине, пронесся грузовик в клубах пыли, вихляя кузовом, рискуя сорваться вниз. И сверху посыпались растерзанные солдаты, стреляя вверх из автоматов, падали, катились мимо нас по круче, вопили:

— Нем-цы!.. Нем-цы!..

На дымящемся куске дороги долговязый командир махал руками, что-то надрывно кричал.

Дремавшие машины ожили, зарычали, разноголосно засигналили, полезли друг на друга.

— К пушкам! — Звонцов, падая на четвереньки, полез вверх.

Я за ним, осыпая землю, цепляясь руками, работая коленями. За своей спиной слышал тяжелое посапывание полковника.

Никаких немцев не было. Из степи вышел взвод разведчиков в буро-желтых пятнистых маскахалатах. Поди знай, кто принял их за противника...

В батарее не хватало нескольких ездовых, по пушки и расчеты не только были целы, Смачкин привел к нам вторую и третью батареи. Не было четвертой, с ней шел штаб дивизиона с майором Пугачевым.

Внизу у причала еще метались суматошные крики: «Немцы!» По реке плыл перегруженный паром — к заветному берегу. Здесь же, в опустевшем, переворошенном

таборе, там и тут торчали подавленные кучки, молчали, вслушивались в шум внизу, чего-то ждали.

Появление солидного полковника в фуражке с ярким малиновым околышем в сопровождении пожилого старшего лейтенанта решительного вида вызвало легкое оживление: не несут ли они что-либо спасительное? Одна кучка за другой потянулись к нашим пушкам.

Смачкин едва успел доложить Звонцову, что четвертой батарее вместе с Пугачевым на переправе нет, «вдоль и поперек все излазали», командиры прибывших батарей только подступили, пытливо косясь на полковника, как образовался тесный круг — лейтенанты, старшины, солдаты, всех занимает полковник, у всех несмелая надежда на лицах.

С полковником на моих глазах происходило странное — под взглядами собравшихся ласковая сутулость спины исчезла, мягкое лицо окрепло, на нем проступила властность, взгляд неломкий, явно смущающий людей.

— Товарищ старший лейтенант! — громко обратился он к Звонцову. — Не кажется ли вам, что самое время побеседовать по душам?

Звонцов с ходу уловил преобразование полковника, сразу же подтянулся, построжавшим голосом согласился:

— Самое время!.. Поближе, товарищи, поближе, не стесняйтесь!.. Прошу вас, товарищ полковник.

Переглядки, шорох, легкая толкучка — круг сдвинулся. Выставив пухлую грудь, запустив под ремень большие пальцы рук, полковник с прищуром приглядывался, выжидал полного спокойствия.

— Перепугались? — негромко, с издевочкой.

Выжидающее молчание в ответ.

— Еще как! При ясном солнышке мерещиться стало... Слышите?.. — кивок твердой фуражки в сторону реки. — А впереди ночь. Ночью у страха глаза велики. Спаси нас может только порядок!.. Как избавиться от страха?..

— Занять оборону, — подсказал стоящий сбоку Звонцов.

— Верно! — отозвался чей-то голос.

Полковник грудью развернулся к Звонцову.

— Товарищ старший лейтенант! На вас возлагается организация обороны.

— Слушаюсь! — взлетевшая к ладони.

Я испытал невольную досаду, так быстро и так легко

Звонцов признал старшинство полковника. А тот напористо продолжал:

— Прошу исполнять каждое приказание командира обороны. Я сейчас постараюсь привести сюда начальника переправы. Если он сам не в состоянии установить порядок, то пусть выполняет то, что мы от него потребуем!

И вокруг растревоженно загудели:

— Правильно! Возьмем за воротник.

— Сами хозяева!

— Товарищ полковник, возьмите с собой человек двадцать с оружием, начальник переправы может и не подчиниться...

— Справлюсь с ним один, без оружия... Старший лейтенант, действуйте, я пошел...

— Командиры батарей, к нушкам! Средний и старшинский комсостав, ко мне!..

Через десять минут зарычали тягачи гаубиц, кони потянули в степь наши пушки. Среди машин беготня, руготня, команды:

— Отряд бензоколонны, строиться!

— Где интендантская команда, черт их возьми!

— Лопаты взять! Лопаты! Прикладами, что ль, окапываться будете?..

Смачкин со Звонцовым намечали линию обороны, расставляли в степи батареи, о нас с Чуликовым забыли. Мы сидели на истоптанном, с кучками конского навоза месте отбывших пушек, млели на солнце, не смели уйти в сторону, забиться в тень под машину — вдруг да понадобимся.

— А полковник-то мужик серьезный. Где вы такого отца-командира нашли?

Чулик обгорел, что головешка, только нос лакированно красный, устало взмахивает ресницами, кисленько печалится.

— Бог послал, — ответил я, не вдаваясь в подробности.

— Бог?.. Гм... Бог, похоже, прибрал нашего Пугачева вместе с четвертой батареей.

— Вдруг да все-таки они успели переправиться?

Чуликов скривился.

— Пугачев бросил свой дивизион, три батареи? Не похоже!

— Угодил под бомбежку?

— В степи вроде никого не бомбили. Мы бы слышали. Только переправу.

— А что, если они подкатили как раз под налет?

— Но не изогли же они дымом без остатка. Хотя бы пушки покалеченные остались. Ничего похожего мы здесь не видели.

Замолчали над загадкой.

— Среди подошедших батарей ты батю Ефима не видел?

— Не видел, — покачал головой Чуликов.

Запечалился и я.

С ветерком обрушился на нас Смачкин:

— Чуликов! Со мной вниз, набирать резервы!.. Тепков! Сторожи полковника, как появится, бегом к Звонцову. Ждут его не дождутся.

4

Полковник появился не скоро. Смачкин с Чуликовым успели обернуться, привели с собою человек тридцать, вооруженных автоматами и ручными пулеметами. Пополнение, не задерживаясь, прошло в степь занимать оборону.

В узкой тени трехосного грузовика кто на раскинутой плащ-палатке, кто прямо на земле, прижимаясь к пыльным скатам, — нестрый командный состав во главе со Звонцовым. Появился даже какой-то незнакомый мне майор, должно быть интендант. Мы с Чуликовым на солнцеке в сторонке.

Полковник привел с собою того самого долговязого, который перед началом паники командовал на пожарище.

— Знакомьтесь, товарищи, комендант переправы капитан Климов.

Комендант походил на выбракованную артиллерийскую лошадь — костляво громоздок и понур. Он песккладно сел на корточки, выставив в стороны острые колени, уронил руки, уронил голову в бурой от копоти фуражке и, казалось, задремал. Его угловатое, под цвет вылинявшей гимнастерки лицо было безучастным.

Отчитывался Звонцов, с напорцем говорил и настороженно косился на безучастного капитана:

— ...Выставили на позиции четыре гаубицы и семь орудий «семидесятишести». Выдвинули в степь пикеты, всех появляющихся пехотинцев задерживаем, направляем в оборонительную цепь. Сделали первую вылазку вниз, набрали около взвода боеспособных людей, добыли шесть пулеметов.

Резервы, можно сказать, практически неисчерпаемые. С земли переправу обезопасим, а вот с воздуха...

Полковник кивал фуражкой, глядел в сторону, старательно не замечал невнимательности коменданта переправы. Но, как только Звонцов замолчал, он шумно заворочался, требовательно спросил:

— Капитан Климов, вы все слышали?

— Слышал, — равнодушно отозвался тот.

— И чем порадуете?

Капитан с усилием распрямился, обвел всех темными глазами.

— Не пойму, зачем я вам нужен. У меня горсточка саперов. Был для поддержания порядка придан заградотряд, но... испарился — первыми же поскакали на паром. Я бессилен, а у вас, похоже, собирается какая-то сила. Ну так не медлите, пользуйтесь ею. Здесь сплоченные берут верх — оттесняют лезущих, ставят оцепление, дожидаются парома и... Могу только пожелать вам счастливого пути.

— А не можете ли вы, ответственный за переправу, воспользоваться нашей силой? Предлагаем, берите! — вкрадчиво произнес полковник.

Костистые плечи капитана вяло пошевелились, изображали пожатие.

— От вашей силы паром вместительней не станет и быстрее оборачиваться — тоже. Из него и так выжимается сверхвозможное — что ни рейс, то рискованная перегрузка. Сами видели...

— Ну, а если мы поможем сделать то, чего не сделал заградотряд, установить порядок?..

— Что изменится? Только то, что какие-то части переправятся быстрее других.

— Уже кое-что.

— Мало, полковник. Хотелось бы переправить всех.

— Как это сделать?

— Подарите мне лесу.

— Лесу?

— Да, кубометров тридцать — сорок бревен и еще досок на настил. У меня перекинута через Дон вторая пилка, дайте лес, и за одну ночь, даже быстрее, сколочу второй паром. Это была бы ощутительная помощь.

В разговор ворвался Звонцов.

— В полутора километрах отсюда хутор. Всего в полутора километрах!.. Почему вы не организовали туда колон-

ну машин с теми, кто сейчас отирается у причала, не разобрали дома?..

Капитан тускло повел глазами, презрительно скривился.

— Дома здесь, надеюсь, заметили, построены из сама-на — глины с навозом и соломой. Даже на матицы кладут слеги. Развалив весь хутор, нам удалось бы набрать несколько возов жердей, да и то гнилых.

Наступило недружелюбное молчание. Полковник горбился, глядел в землю. Звонцов хмурился и тоже прятал глаза. Выгоревше-серый капитан в закопченной фуражке торчал на солнцепеке, словно каменный степной истукан.

— Зачем лес? Есть хороший материал! Это рядом со мной, — прокричал Чуликов.

Капитан повел в нашу сторону запавшим виском, а за спиной Звонцова всколыхнулся Смачкин.

Чуликов вскочил на ноги — выбившаяся из-под ремня гимнастерка, сползшие с тощего зада мешковатые штаны.

— Раз, два, три... — задрал острый подбородок, считал он. — Отсюда вижу девять автоцистерн. А сколько их под берегом?.. Снять с них цистерны — и в воду! Скрени попрочней, будет паром. Пушки понесёт, даже танки...

Тревожно гудело человеческое скопище под обрывом, все ели глазами капитана. Тот снял фуражку, начал вертеть ее в руках, наконец с сомнением обронил:

— Танк, паренек, весит сорок тонн, а то и поболее.

— Танки не подымет, пушки повезет. Все помощь.

И снова молчание с тревожным подбережным гулом.

— А чем крепить? Тоже ведь лес нужен, — трезвый голос из командирской кучки, кажется, майора-интенданта.

Капитан вертел в руках фуражку.

— Мда... Положим, лес для кренежа я наскребу. А вот доски для пастила... Прямо на цистерны пушки не выкатишь, продавятся.

— С грузовиков борта носимасем. Хватит! Хоть два ряда стели.

Руки капитана сосредоточенно мяти фуражку, на него смотрели, затаив дыхание. Он решительно натянул фуражку, поднялся.

— Товарищ полковник, пошлите людей вниз — все автоцистерны, все порожние грузовики гнать к тому месту, где вы меня поймали. — Резко повернулся к Чуликову: — Коль уж ты, паренек, такой башковитый, пойдем, нораскинем мозгами: что, как, сколько?.. Эх, уснуть бы!..

Ответил Звонцов:

— Считай, уже вечер. Ночью немец не сунется. Ночь наша.

5

Ночь была совсем не похожа на тягостный, унижительный день. Чуть скраденная сбоку луна освещала обрывистый берег в оползнях, в тяжелых наплывах, резко складчатый, хмуро морщинистый. Под ним, величавым, в жидком растворе лунного света и зябкого тумана темная копошащаяся масса — машины, подводы, неутомимо спующие люди. У беспокойной переправы изменился даже голос. Сейчас напористое гудение едва ль не на одной ноте, упрямо пробиваются в тесноте машины, текут слившиеся голоса, утробное шевеление — растревоженный улей, в нем можно уловить и гневные интонации.

Спустившийся вниз полковник с помощью всего трех-четырех помощников повывергивал из толпы, сгрудившейся у причала, рослых нарней — «Вы, вы, вы, ко мне! Товарищ боец, к вам обращаются!..» — собрал отряд, навел ocenлeннe, стал хозяином переправы. Артиллерийские батареи, бронетранспортеры, грузовики, фургоны уже не лезли напролом, командиры соединений толпились возле полковника, добивались места в очереди. И только солдатня по-прежнему атаковала с воды причаливающий паром, прорывала оцепление. Но молчком, упрямым натиском. Ожесточенных битв, какие случались днем, уже не возникало.

Накал у причала поостыл еще и потому, что теперь каждый (до последнего, затерянного в толпе солдата) знал — в степи на подходе к переправе стоит оборонительное заграждение с наведенными пушками, противник внезапно не нагрянет. Там распоряжался Звонцов.

У Смачкина отобрали Чуликова, и он уже не отпуская меня от себя. Но примеру полковника мы из числа мечущихся тоже сколотили отряд автоматчиков. В нашу задачу входило раздвигать по сторонам брошенные повозки, теснить машины — через растянувшуюся переправу вдоль реки прокладывалась трасса, по которой двигались автоцистерны и порошковые грузовики в распоряжение капитана Климова.

Нам повезло — освобождая затор, случайно наткнулись на два высоких фургона-близнеца, они оказались дивизионной ремонтной мастерской во главе с младшим лейтенантом-воентехником, с десятком слесарей-механиков, с сохранным оборудованием и, что важно, со свароч-

ной установкой. Их тоже направили к капитану Климову.

Весть о строительстве нового парома разнеслась по переправе еще до наступления ночи. Измаявшиеся в бездельной толкотне солдаты хлынули к строительству, каждый желал предложить свою помощь, заработать себе место на первый рейс. Наплыв добровольцев оказался столь велик, что Климову пришлось выставить ограждение, иначе работа бы захлебнулась.

Едва появлялась очередная автоцистерна, как к ней кидались десятки людей. Лязгал металл, ухали кувалды, раздавались торжествующие крики: «Р-р-раз-два! В-зя-ли!..» Рвали на клочья ночь судорожные, слепяще-голубые огни сварки. По обрыву прыгали, кривлялись гигантские тени, возносились в черное небо, раскатывались по черной глади натужные голоса: «Ры-аз-два!.. П-шла! П-шла! Щер-раз!» И всплески стаскиваемых в реку сваренных секций, и вразнобой говорок топоров, и вырванные из ночи дерзкими вспышками белые фигуры людей в дегтярной воде, и бледная недоуменная луна свыше, и слитная толпа отесненных зрителей, забывших об опасности. Лихорадочный труд, заражающий надеждой.

Фантастическая ночь. Каждый раз, попадая к строительству, я пьянел и каждый раз изумленно вспоминал: буйная ночь рождена рядом со мной выкриком Чуликова. Где он сейчас?.. Где-то тут, мне недоступный, внутри звенящей, гремящей, слепящей вспышками, многолюдной фантазмагории... Должно быть, и Смачкин изумлялся вместе со мной, но скрытно, не показывая того.

...После полуночи Смачкин отпустил автоматчиков — капитан Климов получил все, что могла дать переправа, в нашей помощи больше не нуждался.

— Посидим в затишке, поостынем...

Только сейчас мы почувствовали, что ночь знобяще прохладна. Слева подмывающий шум строительства, справа гомон у причала — подошел в очередной раз паром. И замороженная речная гладь прямо перед нами, таинственно бескрайняя, скрыт мраком другой берег. Тихий Дон...

На границе света и мрака вырос, помаячил, осел зеленый столб, прокатился и канул взрыв. Шальной снаряд не нарушил покоя могучей реки. Тихий Дон... Плывет из вечности в вечность. Днем он готов был принять и нас в свои объятия, днем Звонцов произнес безнадежные слова: «Путь к спасению сквозь игольное ушко...» Слышу победоносное

громыхание кувалд — и сквозь игольное ушко сможем! Не обессудь, Тихий Дон...

Но рядом Смачкин. В столь редкую отдохновенную минуту от него тянет, как от малярного больного.

— Неласково встретит нас тот берег, — роняет он.

— Почему?

— Побитых хлебом-солью не встречают.

— Побитые, да недобитые, — возражаю я. — Сквозь игольное ушко от немцев уходим.

— То-то, сквозь игольное... До крови ободранные.

— А все-таки целы, лейтенант.

— Це-лы?.. А где Пугачев? Где четвертая батарея? Что мы без них?

— Что-то там случилось, мы же с вами не виноваты в том.

— Не виноват только победитель, дружок.

— Все равно за несчастье Пугачева с нас не спросят.

— Спросят. И будут правы.

— Не пойму.

— Растолкую на пальцах. Сколько пушек мы доставим на тот берег? Две с нашей батареей, две с третьей, три со второй — семь орудий, больше половины потеряли. Вот если б сохранилась четвертая батарея с ее четырьмя орудиями — одиннадцать! Это все же дивизион. И нет командира, нет штаба. Нас расформируют, мальчик. Считай, как отдельная боевая часть мы уже перестали существовать!

— Но мы живы, живы! Значит, будем драться!

Смачкин горько хмыкнул.

— До каких пор нам обещать себе — будем?.. И сколько можно мириться, что еще одна боеспособная часть перестала существовать?

— Так что же делать, товарищ лейтенант?

Он задумался и не сразу ответил:

— Да-а... Да-а... Что? Могу ответить только одно: наша земля горит, должны гореть и мы. Гореть, парень, а не тлеть!

От этого ответа мне как-то ясней не стало.

— А! Толочь воду в ступе... Пошли.

Смачкин торопливо поднялся.

Я лез за ним, спешащим вверх по обрыву, и пытался заставить страдать себя за несчастье Пугачева. Хотелось воспылать душой, и как можно горячее, но майор Пугачев был для меня всегда столь недоступно высок и могуществен, что мог вызвать лишь почтительность, а никак не сострадание и

упреки. Вместо Пугачева ко мне вломился Ефим. Со щемящей отчетливостью я представил себе — никогда не увижу его насупленных бровей, не услышу его глуховатый голос. Припомнилось, как он схватил меня за ногу, когда вслед за Сашкой Глухаревым я собирался проскочить под спайпером. Словно клещи наложил: «Повремени, сынок...»

А внизу под берегом вперепляс весело перестукивались плотницкие топоры, крепили воедино сваренные секции. Веселый перестук обещал жизнь.

1984

ПАРА ГНЕДЫХ

Лето 1929 года...

Я подымаю его почти со дна моей памяти. Есть воспоминания, лежащие и глубже, даже в глухих слоях младенчества. Но это случайные следы в незрелом мозгу, капризы неопределившегося бытия.

Например, я отчетливо помню: мать ведет меня за руку, я, наверное, только-только учусь ходить, и земля не держит меня, она коварно неровна — в ямах, буграх, предательских уклонах. Но вот я оторвал от нее взгляд и поднял вверх голову, открыл близкое серенькое небо и недоступный скворечник — мир, существующий помимо меня. Отчетливо помню... Но эта ранняя картина ни с чем не связана. Я не знаю, что было до нее, что после нее, — кратковременная вспышка во мраке.

К 1929 году мне исполнилось пять лет, тут я уже помню в с е, не клочками, не вспыхивающими звездами, а сплошным потоком... Незабвенный первый пескарь, вытащенный на удочку у моста, сразу же раздвигает мир: вижу сбегающий к реке бурьянистый косогор, черные баньки, покоящиеся в крапиве, избы, сладко пахнущие по утрам свежеспеченным хлебом, мужиков, тревожно рассуждающих о коммунии...

Подымаю с самого дна моей памяти... Но памяти надежной, за которую я готов нести прямую ответственность. По детским следам иду сейчас, сорок с лишним лет спустя, иду зрелым и весьма искушенным человеком. А потому пусть не удивляет вас трезвая рассудочность моего изложения.

Итак, лето 1929 года.

В воздухе висит нагретая пыль, скрип несмазанных колес, выкрики: «Шевелись,дохлая!» По единственной улице села тащатся груженные возы — навстречу друг другу. В ту и другую сторону везется житейский скарб: полосатые, вожделенно пухлые перины и залежанные, негнувшиеся холстинные матрацы, громоздкие сочленения ткацких станин и неумытые самовары, окованные сумрачные сундуки и нехитро расписанные шкафы, хлопающие на ходу дверками, вылинявшие, затхлые подушки, штабеля подшитых валенок, нагромождения овчины и тряпья, «робячьи» люльки, опростанные и с младенцами, венские стулья — зажиточный шик, сломанные салазки, прялки, голики, бочки, пестерн, горшки, лохани... Из темных чердаков, из подпольных голбцев, из забытых камор и памятных потайных мест — все, что копилося поколениями, что лежало без нужды многие десятилетия, даже века, вытащено сейчас наружу, везется навстречу друг другу.

Иногда над горшками и лоханями возвышаются усохший старик или старуха, покорные судьбе, глядящие вперед замороженным взглядом...

Скрипят несмазанные колеса. Село поднято, село переезжает!

Переезжают не все. У дороги, чуть в стороне — разомлевшая на солнце кучка мужиков: топчут пыльную травку дегтярными саногами, берестовыми ступнями, босыми пятками, потеют, благоухают луком, жадно ощупывают глазами каждый воз и обсуждают:

— Мирошка-то, гляньте, цинково корыто везет.

— А еще в бедняках ходит.

— Цинково корыто — вещь!

— А воп и Пыхтунов едет!

— Ну, у этого-то добра хватает.

— Два самовара у него, а что-то не видать их.

— Укрыл, зачем глаза-то мозолить.

— Два самовара — вещь, это не цинково корыто...

Тут же у дороги стоит и мой отец — вместе со всеми и как-то наособицу. На его широкой спине скрещиваются взгляды мужиков. Отец чувствует их, плечи его борцовски опущены, бритая, сизая голова склонена вперед, на загорелой крепкой шее морщинистый шрам — след белогвардейского осколка.

Это он поднял село, вывернул наизнанку, заставил переезжать.

Справедливость... Я родился в воспаленное время и очень рано услышал это слово.

Еще совсем недавно было худо на белом свете — богатые обжирались и бездельничали, бедные голодали и работали. Не было справедливости во всем мире!

За справедливость, за «кто не работает, тот не ест!» поднял народ Ленин. А вместе с ним поднялся мой отец. Вот он стоит и смотрит, как идут возы по улице.

Сейчас богатые мужики переезжают из своих богатых домов в избы бедняков. Бедняки же едут жить на место богатых. Мирошка Богаткин, хоть имеет оцинкованное корыто, но голь, беднота. Мирошка едет занимать пятистенки Пыхтунова Демьяна. А Пыхтунов с семьей и двумя своими самоварами едет в Мирошкину развалюху.

Не было в мире справедливости — она есть! И устанавливает ее здесь в селе мой отец. Устанавливает не по своему желанию, его послала сюда партия. Мы здесь приезжие.

За нашими спинами раздался глуховато-монотонный голос:

— Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие, ибо они насытятся. Блаженны милостливые, ибо помилованы будут...

Опустив в валенки вечно мерзнувшие — даже в такую жару! — ноги, сидит под оконцами избы старый Санко Овин, бубнит ввалившимся, затянутым бородкой, словно паутиной, ртом, глядит вдаль сквозь всех голубенькими размысленными глазками.

— Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими...

И мужики обеспокоились, разом заговорили:

— Блаженны алчущие?.. Выходит, что по-божески нынче забирают.

— А милостливые блаженны, как тут понять?

— Эй, дедко, растолкуй: бог твой за непосешную власть али против?

— Все равны перед богом, — пробубнил дед Санко сквозь волосяную паутину.

— Ишь ухилил, старый черт!

— Нет уж, скажи, Овин: нынешняя-то власть божеское равенство устанавливает али какое?

— Божеское?.. Активисты-то! Сказалул!

— А вот мы спросим. Эй, Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Дополни ты нам Овина: божеское у вас равенство али какое?

Мой отец, как всегда, обернулся не сразу. Сначала взвесь — хорош или плох вопрос. А обернувшись, сощурился с невнятной ухмылочкой. Это значит, вопрос понравился, с охотой ответит. При неприятных вопросах он каменел губами и скулами, отвечал глухим нехорошим голосом.

— А вот как понять — все равны, все братья, а кесарю кесарево отдай, не греши? Вроде так сказано в святом писании. — И отец повел прищуренным глазом на мужиков. Те посапывали со вниманием. — Выходит, равенства держись и царя-кесаря признавай над собой. Неувязочка. Бог-то у Овина вроде меньшевика или левого эсера — одни пузыри о равенстве пускает. Соглашатель.

Бог Санко Овина — это мужицкий бог, тем не менее кто-то из мужиков охотно хохотнул, кто-то прокряхтел, кто-то без убеждения, слабодушно поддакнул:

— Оно, пожалуй...

А отец, запустив руки в карманы, развернув грудь, поглядывал на всех с победной ухмылочкой.

— Именем бога тыщи лет словеса плели, а мы действуем... Вон!.. — Отец кивнул подбородком в сторону дороги. — Поглядите, как выступает. Хорош? Слов нет. А вон этого хорошего без лишних слов с плохим Ваней Акулем поравняли. Не речи о равенстве толкаем, а делом занимаемся.

Все поглядели туда, куда показывал мой отец. По улице двигался высокий воз, две гнедых, небрежно попирая пыль хрупкими ногами, тянули его. Рядом прямо вышагивал человек, рукава полотняной, не по-деревенски белой рубахи засучены, высокие сапоги начищены, шляпа на загылке; — Антон Ильич Коробов.

Он был не бедней Пыхтунова — кулак! Никакого сомнения! Он имел две лошади. Таких коней не было ни в нашем селе, ни в соседних селах, да были ли лучше на всем свете? Лучших и представить нельзя.

Они лоснились так, что казались выкупанными. По спинкам и крупам, на выпуклостях, они отливали глубинно тусклым золотом. У них, гладких, — тощие морды с пугливыми ноздрями и крупными, влажными, горячими глазами. У них широкие, бронзово литые крупы, а под ними сухие, до невольного страха тонкие ноги, кажется, вот-вот под тяжестью крупов хрустнут у бабок. На передних ногах одной — белые носки, и даже копыта у нее розовые...

Я тайно и безумно любил этих коней — каждую их ло-

ценую шерстинку, каждое их богоподобное движение, позвякивание их сбруи, призрачный стук их невесомых копыт на рыси. Я никогда не мог досыта на них наглядеться...

Я временами любил — ничего не мог с собой поделать! — их хозяина Антона Коробова, когда тот ласкал своих коней, говорил с ними с шутливой небрежностью, за какой взрослые обычно прячут свою нежность к детям. Его смуглое лицо в эти моменты было таким, что хотелось подвернуться под его руку, чтоб осчастливил — погладил по голове.

Я любил его и тогда, когда перед закатом, сквозь золотую пыль лучей низкого солнца он проезжал по селу на своей паре. Всегда это случалось внезапно. Они возникали посреди улицы — громадные, переливисто лоснящиеся, победно сильные, столь одинаково выгнувшие шеи, столь согласованно понирующие землю ногами, что казалось — бежит не пара зверей, а одно-единственное до ужаса великодушное существо. А позади него, выкинув вперед руки, величаво откачнувшись назад, — он, повелитель, он, бог! Как бы я хотел походить на него! Бога нельзя не любить!

Его любили дети и собаки, да и прочие животные тоже. Рассказывают: однажды он подошел к расвирепевшему быку, только что разбившему телегу, ранившему лошадь. Подошел, почесал его, как собаку, за ухом, взял его за кольцо в носу и отвел в стойло.

Его не любили взрослые. Не только мой отец, но и мужики, богатые и бедные без разбора: «Тонька Коробов — хват. С ним на палочке не тянись — руки до плеч выдернет, и все с улыбочкой — простачок».

Был он женат на единственной дочери местного купца-богатея Игнашихина и должен бы стать его наследником. После революции старик Игнашихин с сумой на плече ушел куда-то на сторону, жить у зятя не стал — неспроста... Антона же Коробова тогда не тронули, даже одно время почтительно величали «культурным хозяином».

Он остановил воз, сунул вожжи за грядку, бросил лошадей прямо на дороге, направился к нам.

А лошади мотали головами, взрывали копытами пыль, им хотелось двигаться, хотелось в подмывающем содружестве и дальше тянуть этот непосильный воз, но — умны же! — хозяин отошел, надо ждать... И копытят пыль на дороге.

У Антона Коробова на смуглом лице светлые глаза и светлая, ровно подрубленная бородка. Он был не особо высок ростом, но держался столь прямо, словно все на голову ниже его.

— Здоровы будем, мир честной,— приветствовал он.
— Здоров, коли не шутишь,— отозвался доброхот.
— Выглядываете, кто сколько горшков нажил?
— Чай, любопытно.
— И вам, Федор Васильевич, тоже?..— Антон Коробов нацелил бородку на моего отца.

— Да,— сухо ответил отец.
— Чужие горшки любопытны?..
— Событие, которое сейчас идет. Иль тебе, Антон, оно любопытным не кажется?

— Может быть,— с готовностью согласился Антон.— Вот только куда любопытное нас развернет?..

— Ко всеобщему равенству.
— М-да-а... Всеобщее, значит. Ты — мне, я — тебе, а вместе мы Ване Акуле равны?

— Не нравится?
— Нет, почему же. Я-то готов, да ты, Федор Васильевич, все сердито подминаешь. Ты наверху, я внизу — равенство.

— Не наш класс в эти подминашки первым играть начал. Антон Коробов блеснул улыбочкой:

— Ах, вон что! Вам старые хваточки приспособить не терпится.

Из кучи мужиков кто-то несдержанно выдохнул с радостной откровенностью:

— Гы!..
Они стояли друг против друга — мой отец и Антон Коробов. Мой отец широк, плечист, словно врос в землю расставленными ногами. взгляд его прям и тверд, многие мужики, стоящие сейчас в стороне, не под его взглядом, поеживаются. А Коробов — хоть бы что, задирает перед отцом бородку — легкий, статный, ворот именнинно чистой рубахи распахнут на груди, сапоги блестят твердыми голенищами и открытая улыбочка: возьми-ка меня за рубль двадцать, дом отнял, глядишь грозно, а мне — трын-трава!

И кони в стороне гнули шеи, рыли дорогу точеными копытами...

В это время, гремя пустой телегой, подкатил Мирон Богаткин, уже сваливший свое добро вместе с обцинкованным корытом возле нового жилья.

— Тир-р-у! — Мирон соскочил с телеги, подсымкнул сползающие с тощего брюха портки.

Он и всегда-то был дерганый — все с рывка да с тычка, а сейчас весь переверошен — глаза в яминах блестят, как вода

из колодца, во всклокоченной бороде солома, ворот холщовой рубахи расхлястан, а тощие черные щиколотки чем-то сбиты до крови.

— Петро, ты тута?

— Тута,— ответил хозяин лошади Черный Петро, всегда пугавший меня улыбкой: и так уж страшен в своей смоляной бороде, а тут еще в этой бороде вдруг вспыхнут крупные зубы.

— Спасибочки за лошадь, Петро.

— Чего быстро управился?

— У меня всех тяжестев — камень под порогом, так я его новому хозяину оставил.

— Не приbedняйся: баба тебе портки в цинковом корыте стирает.

— Сменяем корыто за лошадь, ежели пожадовал.

— Гы!

— Эй, Мирон! Чтой-то ты вроде не в себе?

Мирон скребанул неразгибающейся, очугуневшей от работы пятерней по груди.

— Муторно, братцы!

— Дом новый не хорош?

— Хорош-то хорош, а как ни ступи, пяткй жжет.

— Что так?

— Полы крашены... Не привык я по крашеному-то ходить.

— Привыкай, коли власть требует.

— Э-эх! — Мирон снова скребанул по груди. — Вот ежели б мне советска наша власть лошадь помогла огоревать... С лошадью я бы и сам дом поднял, чужого не надо.

— Зачем тебе лошадь, Мирон? — со своей тонкой улыбочкой вступил в разговор Коробов. — Федор Васильевич тебе стального коня обещает — трактор!

Мирон проблестел на Коробова недобрый глазом.

— Стальное-то мне не к рукам. Ногти о стальное-то обломаю. Мне бы обычное — костяное да жилианое, я б с этим в землю по уши въелся.

— А не опасно это, по уши-то? А? — Коробов краем глаза ловил выражение моего отца. — Въешься в землю — зажиточным станешь, чего доброго, второго коня заведешь, дом железом покроешь, тут-то и кончится твоя масленица.

— Уж не завидуешь ли мне, Тонька? — спросил Мирон.

— Гы! — показал в страшной бороде страшные зубы Черный Петро.

— Завидую, брат. Ты теперь в ласке, а я в онаске.

Нынче у меня дом отняли, завтра коней, а послезавтра... — Коробов круто, на каблуках повернулся к моему отцу: — А вдруг да не остановитесь, Федор Васильевич?

— На полдороге не остановимся, не мечтай.

— Слышал, Мирон? Потому и готов я сейчас же пролетарием стать.

— Гы!.. — гыкнул Черный Петро.

— Дело нехитрое, — произнес Мирон. — Отдай мне коней. Я пролетарием-то всю жизнь, поднадоело.

— Гы!.. Гы!..

— А ты примешь, ежели отдам? — спросил Коробов. — Не откажешься?

Мирон сглотнул слюну, побежал глазом в сторону, в сторону, пока его глаз не уперся в коробовских коней на дороге.

— Попробуй проверь, — сказал он.

— По нынешним временам такие кони ой горячи, Мирон! Шибко они меня припекают. Спроси-ка Федора Васильевича, уж он-то лучше моего тебе растолкует.

— Зачем? — с пренебрежением отозвался мой отец. — Еще товарищ Карл Маркс отмечал: ни один мироед-собственник добровольно не отказывался от своей собственности.

— А кто говорит, что я добровольно от коней отрекаюсь?.. Нужда, Федор Васильевич, заставляет. Я их, лапушек, на руках выносил вместо детей. Дороги они мне... — Антон Коробов положил руку на сердце. — Вот тут лежат, с мясом отрывать придется.

— Сам не оторвешь, классовая жадность пораньше тебя родилась, Антон.

— А ежели смогу?

— Ежели б смог, то в наших рядах давно бы был, — ответил отец.

Коробов улыбнулся своей тонкой, скользящей улыбкой.

— А я того и хочу, Федор Васильевич, — в ваших рядах. Хочу вот отдать своих коней, зато чужих брать, дом свой, который бревнышко по бревнышку клал, забыть, чтобы других из домов выселять... К понятию пришел: музыка нынче новая, так по-новому и танцуй.

Отец в ответ улыбнулся презрительно и жестко.

— Лиса в капкан попала — лапу себе отгрызть хочет. Нет, Антон, не примазывайся — разоблачим.

— Разоблачите?.. А что?.. То, что я ваши мысли приму, ваши законы признаю?.. За такое, Федор Васильевич, по голове не бьют, а как раз гладят да приговаривают: досужий

мальчик, послушливый — сердце радуется. — Антон Коробов, прямой, остроплечий, задирает на отца бородку, светленько ласкает глазами. Отец, широкий, тяжело давящий сапогами пыльную землю, встречал исподлобья этот ласковый взгляд.

Мирон Богаткин слушал их, выбирал негнуцимися пальцами из бороды солому, и его рука заметно дрожала, глаза, прятавшиеся в глазницах, теперь выбрались наружу, они были бутылочно-зеленого цвета и беспокойны — перебегали с моего отца на Коробова, с Коробова на отца, а лицо напряжено, морщины на нем стянуты.

Коню же, о которых шла речь, чуть поуспокоились, грызли удила, судорожили атласной кожей, отгоняя мух. И тем наглядней было их недеревенское совершенство, что ближе к нам в обморочной дреме стояла запряженная в расхлюстанную телегу лошадь Петрухи Черного — пыльно-шерстистая, с прогнутой обильным брюхом спиной, тупоногая, с громадной понуренной головой, с распущенными губами, облепленными мухами.

Мирон снова через силу сглотнул слюну и сказал ссохшимся голосом:

— Слышь, Тонька: чур, я первый!

Коробов повел в его сторону светлым глазом:

— Вынесешь ли, Мирон?

— Мое дело.

— Двоих разом отдаю. Держать-то их в хозяйстве можно только парой. Поодиночке в плугу или на извозе надорвутся.

— Знамо — тонкая кость.

— Тогда что ж... Считай — заматано.

И Мирон, распахнув зеленые глаза, затравленно заоглядывался:

— Чё это?.. Ужель вправду он?.. Чё это, ребята?..

А «ребята» — кучка мужиков-хозяев из «твердой середки», те, что и сами имели коней, но не смели облизываться на «коробовских лебедек», — попритиснулись друг к другу, замерли, раскрыв окосмаченные бородами рты, таращили глаза, громко сопели и потели. Только Петруха Черный показал из бороды страшные зубы, изрек:

— Чудно!

— Очнись, простота! Покупают тебя по дешевке, — сердито сказал отец.

— Безопасность себе покупаю, Мирон, — спокойно добавил Коробов.

— Неужель вправду коней отдаешь за это?

— Дешевле-то не получается.

— А ведь я соглашусь, Антон Ильич, любимый. Меня — на коней?.. Покупай! Соглашусь!

— Не ты, так другой — кто-то найдется.

— Найдется, паря, найдется. Но и я готов... За твоих коней да хоть душу черту... Готов, Антоша.

— Подумай о чести беднячкой! На дешевку клюешь! — Голос отца был сухой, нехороший.

— О чести?.. О беднячкой?.. — Мирон вывернулся боком, перекосил плечи, выгоревший до рыжины, законченный до черноты, изрезанный морщинами, в холщовой серой рубахе, в крашенных линялых портах, черные сбитые щиколотки торчат из разношенных берестяных ступешек. — Я, Федор Васильевич, сорок осмой год живу на свете и все выглядываю, как бы из энтой чести выскочить подале... Бедняцкая честь, да катись она, постылая!

Мой отец схватил Мирона за выломленное костистое плечо, сильно тряхнул.

— Проснись, глухота! Ликвидация начинается! Слышал: кулака как класс... Хочешь, чтоб вместе с этим классом и тебя, беспортошного, ликвидировали?

Мирон досадливо освободился от отцовской тяжелой руки, нос его заострился, темное лицо посерело, как его заношенная холщовая рубаха, а глаза травянисто цвели.

— Ты, Федор Васильевич, из мужиков-то, видать, выскочил, не поймешь... Коней бери!.. Ни у отца мово, ни у деда такого случая не было, а я пропущу...

— Дура темная! Он спасается, а ты, баран, под обух лезешь!

— Такие кони... Уж знамо, что задешево не достанутся. Кто б мне в другое-то время таких коней посулил?.. Ты, Федор Васильевич, уже не мужик. Мужики-то, эвои, меня поймут...

Мужики, сбившись в жаркую кучу, дышали и молчали, молчали и глазели, заворуженно, жадно, и, похоже, не очень-то понимали.

Мой отец обреченно махнул рукой:

— Баран!

Антон Коробов приподнял мятую шляпу:

— Доброго здоровья, мир честной... Мне пора.

Он двинулся к своим коням молодцевато-легкой поступью, прямой, с занесенной вверх бородкой — взведен! Не дойдя до воза, обернулся к Мирону, стоявшему раскорякой:

— Я не шучу, но и ты обдумай, время есть. Федор Васильевич дело говорит. Мне-то все равно кому...

Мирон только негодующе тряхнул замусоренной бородой.

Коробов не спеша разобрал вожжи, тронул коней с сочным прищомком. А они, легкие, дружно и гибко качнулись, повели дышлом. Воз, тесное пагромождение тучных узлов, расписных сундуков, берестяных коробов, величаво запатался, ошинованные колеса беззвучно стали давить в пыли четкие колен.

— Нынче мужик земель наелся... И лошадей мужик скоро выгонит в леса — живите себе, дичайте. И сам мужик будет наг и дик, на Адама безгрешного похож. Птицы божии не сеют, не жнут — сыты бывают... Сыты и веселы...

Дед Санко Овин вглядывался в даль, сквозь людей, размыленно голубым взором, и солнце сияло на его апостольской лысине.

Ему отозвался Петруха Черный:

— Птицы божии... Гы!..

Едва коробовский воз скрылся за бывшим Ныхтуповским пятистенком, как раздался радостный выкрик:

— Гляньте-ка: Ваня Акуля едет!

И все сразу встряхнулись, зашевелились, заулыбались, потянулись поближе к дороге.

— Чтой-то лошадей не видать?

— Под шанкой-невидимкой оне.

— Зачем Ване лошади, когда и своих ног у него в хозяйстве много.

— Энти не надеядутся переезжаючи.

По дороге пылило шествие. Впереди — ребятня. Только старший из акулепков был в штанах, на каждом шагу мерцал в прореху голым коленом. Старшего звали странно — Иов, остальных — Анька, Манька, Ганька, Панька. Эти даже ростом мало отличались друг от друга — в рубахах из старой домотканины до колен и ниже, с одинаковыми рябыми головами, стриженными ступеньками бараными ножницами, с одинаковыми ошпаренными солнцем, облезшими носами, как один по-мышинному быстроглазые. Они рысали за Иовом, несли кто что успел ухватить — узелок, кочергу, щербатый заступ. Самому младшему, Паньке, ничего хорошего нести уже не досталось, он нес полено.

За ними в туче пыли с громоздким цестерем за спиной вышагивал сам знаменитый по селу Ваня Акуля. Он в

дохматой зимней шапке, по бос, у него сорочье быстроглазое лицо, руки его, длинные, тонкие, как лапы паука-сенокосца, прижимают к паху закопченный чугунок. Ваня Акуля знает, что над ним зубоскалят, потому издалека, на подходе уже начинает выделять паучьими ногами коленца: «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!..»

За ним отрешенно двигается его медлительная, водянистая, неряшливая жена. Она прижимает обеими руками к груди квашню. Квашня обмотана никогда не стиранный завеской-фартуком, по всему видать, переносится на новое место прямо с тестом — священный сосуд, дарующий жизнь.

Нет беднее в селе семьи. Акуленки даже жили не в избе, а в бане, банный полук служил им на ночь вместо полатей — бок к боку свободно умещались все семеро. Но сейчас они перебирались в дом Антона Коробова, один из самых — если не самый! — лучших в селе. Пятистенник под железной крышей, внутри крашенные полы, в отдельной светелке — особая печь-голландка, обложенная белыми, как молоко, гладкими, как лед, плитками.

Пылят акуленки, выплясывает сам Акуля с громадным, но не тяжким пестерем на спине, из которого торчат обкусанные валяные голенища. Акулькина баба прижимает к груди тяжкую квашню. Двигается племя к новой жизни.

Антон же Коробов, что минуту назад откатил на паре гнемых с рискованно качающимся возом — смех и грех! — должен разместиться в акуленковской баньке с баннным полком вместо полатей и, конечно же, некрашенными полами. Но сколько лет он, Антон Коробов, и его бездетная жена ходили по крашеным полам, жили под железной крышей! Свершилось — идет Ваня Акуля!

И мой отец, борцовски опустив плечи, наблюдает за передвижением акуленковского племени.

— Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем!.. — кричит не доходя Ваня Акуля. — Честной компании — мир и почтеньице!.. Федор Васильичу как вождю нашему и руководителю докладую: Иван Семенихин, по прозванию Акуля, задание партии выполняет. Да здравствует братство да равенство! Ур-ра-я!

— Иди, короста! — толкает его квашней жена.

— Ур-ра-я, граждане! Братству да равенству!..

И граждане веселятся.

— Кому-кому, а энтотому от братства и равенства прямая польза!

— Верно сейчас дедко Овни сказал о птицах божьих — не сеют, не жнут, а веселы...

— Адам безгрешный, портки б только снять.

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!.. — Ваня Акуля вскидывает над головой законченный чугунок.

— Иди, тошнотное! — качая жидкими телесами, сонная, хмурая, прошествовала мимо жена Акули. Руки ее бережно прижимали к груди заряженную квашню — сосуд жизни.

Антон Коробов со своим возом не остановился возле акуленковской баньки, а проехал из села на станцию. Жена его еще раньше ушла пешком туда же к знакомым. Коробов пропадал три дня, вернулся с пустой телегой, завернул сразу во двор бывшего пыхтуновского дома к новому хозяину Миرونу Богаткину.

Мы, мальчишки, битый час торчали у забора, жались к штакетинам, ждали, когда выйдут Коробов с Мироном смотреть коней и бить по рукам.

Битья по рукам не случилось. Из избы неожиданно выскочил Мирон, как всегда в своей несменной длинной холщовой рубахе, как всегда выгоревшие до рыжины волосы встрепаны, двигался сейчас с непривычной юркостью, даже, казалось, стал меньше ростом.

Он скатился с крыльца к лошадям, а на крыльцо вышел Антон Коробов в парусиновой городской куртке с нагрудными карманами, в парусиновом картузе, сбитом на затылок, в своих высоких, по самое колено сапогах с твердыми, словно надутыми голенищами. На его смуглом с пенельной бородкой лице цвел вишневенький румянец, Коробов сосал толстую папиросу и жмурил светлые глаза на Мирона. А тот бегал вокруг лошадей, занимался, путался в ремнях — мальчишески усердный и мальчишески неумелый. Только один раз Коробов подал голос:

— Удило-то вынь, лапоть!

Мирон освободил от упряжи коней, с куриным прикудыванием: «Родненькие... Красавчики...» — утянул в темные распахнутые ворота сначала одного, потом другого. Кони шли за ним неохотно, вскидывали головами, храпели, пытались оглянуться на стоящего на крыльце хозяина.

— Родненькие... Красавчики... Золотые!..

Последний, тот самый, у которого были белые носки на передних ногах и розовые копыта, коротко и нежно проржал. Антон Коробов выплюнул папиросу и тут же достал

вторую, но спички ломались в его руках, никак не мог раздобыть огня.

Мирон долго копался в конюшне, наконец выскочил наружу — юркий серый заяц, — быстро завел створки ворот, навесил замок, защелкнул его и с ключом, запеченным в коричневом кулаке, с землистым лицом, встрепанной бородой и глазами, что цвелея водица, двинулся на Коробова.

— Может, возьмешь все-таки деньги? — хрипло спросил он. — Все, что есть, отдам.

Коробов не сразу ответил, усиленно дышал дымом, сказал раздраженно:

— Какие твои деньги...

— Мотри! Станешь просить копей обратно — не выйдет!

— Чего зря воду толочь. Я же тебе бумагу дал. Твое! Владей! Пока владей, скоро отберут.

— Костями лягу.

— Костями... — сплюнул Коробов. — По твоим костям пройдут и хруста не услышат... Прощай. Будет круто, не поминай меня лихом.

— Небось...

Коробов отбросил папиросу, скользяще глянул в Мирона, сказал почти уважительно:

— А ты рисковый... Вот не чаешь, в ком смелость найдешь.

— Вовек не был смелым, — отозвался Мирон.

Тяжело ступая по ступенькам, Коробов спустился с крыльца и на последней споткнулся — из-за дощатых глухих ворот донеслось тоскующее нежное ржание. На холщовом лице Мирона враждебно зеленели глаза, он сжимал в кулаке ключ.

— Слышь, об одном прошу... — хрипло заговорил Коробов, — не бей их за-ради Христа, а лаской, лаской... Я их в жизни ни единова не ударил.

— Мои теперя — лизать буду, уж не сомневайся.

И еще раз прозвучало тоскующее ржание. Антон Коробов держащейся походкой вышел со двора, не обратив на нас, мальчишек, никакого внимания.

Мирон проводил его пастороженными рысьими глазами, и его взведенные костлявые плечи обмякли. Он постоял минуту, словно отдыхая, потом встрепенулся, кинулся к стае, прогремел замком, приоткрыв створку, пролез внутрь, закрылся, застучал деревянным засовом, запираясь вместе с копиями от нас, от села, от всего мира.

До сих пор у Мирошки Богаткина самой большой ценностью в хозяйстве было оцинкованное корыто.

Оцинкованное корыто — вещь, а коробовским коням никто в селе цены дать не мог.

Презренный металл не осквернил эту небывалую сделку. Наверно, в тот год советский закон еще признавал права за хозяином частной собственности — хочешь, продавай, хочешь, так отдавай, хочешь, съешь с кашей. Умирал, но еще не умер совсем нэп, коллективизация только началась, новорожденный лозунг «Ликвидировать кулачество как класс!» еще не воспринимался со всей беспощадной буквальностью. Сумел ли бы через месяц Антон Коробов отделаться от своих коней? И принял ли бы через месяц МIRON Богаткин этот бесценный и злой подарок? Жизнь тогда менялась с каждым днем — что было законно на прошлой неделе, становилось преступным сейчас.

Меня тогда, разумеется, никак не трогали эти вопросы, однако хорошо помню, что почти все село осуждало Мирона:

— С огнем играет... Икнется ему кисло...

За полями, где кончается земля, холм, поросший лесом, походил на заснувшего медведя. Каждый вечер садившееся солнце выжигало на его спине дремучую шерсть.

В последние дни село по вечерам переживало сумасшедший час — висит красная пыль в воздухе, коровы, козы, овцы мечутся по улице, мычание, блеяние, остервенелые бабы голоса:

— Марья! Гони ты мою от себя за-ради Христа!

— Пеструха! Пеструха!, Пеструшенька! Сюды, любая, сюды! Мы с тобой понче здесь живем!

— У-у, недоделанная! Каждый вечер ей вицей постановляю — все на старое воротит!

Возвращающаяся после вынасов скотина никак не может внять, что в селе произошло переселение.

Мужики в этой игре в салки участия не принимают. Они, как всегда, вылезают на крылечки, развязывают кисеты, палят табак. Мой отец тоже утверждает на своем крыльце, тоже вынимает кисет. Я пристраиваюсь у него с одного боку. С другого бока подруливает кто-то из мужиков, тянется к отцовскому кисету, завязывает разговор:

— Керосину в лавках нету и мыла. Нету спичек. Бабы ловчат, одну спичку вдоль щепают на четыре части...

— Историю на дыбки поднимаем, а ты о спичках скулишь!

В тот вечер к отцу неожиданно подошел Антон Коробов в светлой куртке с карманами, в светлом картузе на затылке, со светлой улыбочкой в подстриженной бородке.

— Проститься пришел, Федор Васильевич.

Отец подвинулся:

— Садись.

Над улицей висела красная от заката пыль, бабы гонялись за скотиной, ругались и причитали.

— Радуйся, Федор Васильевич, нету больше зажиточного земледельца Антона Коробова, есть свободный пролетарий. — Свободный пролетарий протянул отцу надорванную пачку аппетитно толстых папирс «Пушка», отец не заметил их, взялся за свой кисет. — Был я у самого председателя РИКа товарища Смолевича Льва Борисовича. У товарища Смолевича забот полон рот. Ему, к примеру, в этом году нужно устроить сиротский приют, или — по-нынешнему — детдом. Вот я все, что нажил, — все, кроме дома, который ты у меня отобрал, — при самом товарище Смолевиче отдал обществу «Друг детей», получил за это членскую книжку друга, значок с образом Ленина во младенческих годах и еще бумагу, в которой черным по белому прописано, что чист, ничего не утаил, скинул, так сказать, с себя бремя частной собственности.

— Ловко.

— Обществу «Друг детей» не понадобилась скотина да справа. Товарищ Смолевич объяснил: молочный и тягловый скот, равно как и сельхозинвентарь, должны остаться в селе, так как вскорости здесь организуется артель. Все в целости, Федор Васильевич: инвентарь, какой был, я оставил при доме, Ваня Акуля теперь над ним хозяин — доглядывайте. Корову женка отвела к бабке Ширянке, а кони... копи у Мирона.

— Ловок, по и мы ведь не простаки.

— И еще по совету товарища Смолевича Льва Борисовича я написал письмо, в котором все как есть от души объяснил, почему я расстаюсь добровольно с презренной частной собственностью. И смею заметить, товарищ Смолевич Лев Борисович назвал мое письмо «пронзительной силы документ»! Он его посылает в газету и требует немедленного напечатания.

— Та-ак! — протянул мой отец. — Та-ак! Спасибо, что сообщил.

Коробов вежливенько улыбнулся своей тонкой улыбочкой:

— Ничего у тебя не получится, Федор Васильевич.

— И на Смолевича найдем управу!

— Товарищ Смолевич — ленинец, Федор Васильевич. Ленин тоже навстречу нашему брату шел — нэн утвердил. Отец опустил крупную голову, произнес глухо:
— Ох и скользкий ты враг, Антон! Та глиста, которая изнутри точит.

Коробов ласково щурился в висок моему отцу и не отвечал.

Висела над улицей красная пыль, колготились бабы, мычали коровы, за огородом в бурьяне неистово кричал дергач.

Над уличной неразберихой вознеслось победно-въедливое:

— С-сы дороги!.. Мы на горе всем буржуям!..

По самой середине закатно-красной дороги, приседая на длинных, ломких ногах, размахивая длинными, угловатыми руками — ни дать ни взять поднявшийся торчком паук-велькан, — вышагивал Ваня Акуля.

— С-сы дороги! Пр-ролетарий идет! Ги-ге-мон, в душу мать!..

Лохматая шапка напоззала на нос, острокопистый, в дыплящем пуху подбородок задран, портки коротки, открывают голени, босые ступни гегемона корявы и растонтанны.

— Нынче я хозяин! Беднея меня нету! Мне нова власть служит!.. Дор-рогу Иван Макарычу!.. Вот она, наша родима нова власть! Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Глянь сюды — гегемон пришел!

Гегемона качало посреди дороги.

— Новоселье праздную! В честь всех вождей нынче выпил! Да здравствует!..

— Где деньги взял? — спросил отец.

— Кофик... Конфик-ско-вал!.. — Ваня Акуля узрел Коробова. — Мироеду и кровопийцу! Наше вам с заплатачкой!.. От передового класса!..

— Что продал, передовой класс? — напомнил Коробов вопрос отца.

— Не жил-лаю буржуем быть! Брезгаю!..

— Уж не из инвентаря ли что?.. Смотри, Федор Васильевич, растащит он инвентарь, не соберете потом.

— Крышу я продал!.. Жылезо! Я хоть и первый ныне, но простой... Все живут под деревянными, а я под жылезной — не жил-лаю!

— Эге! — весело удивился Коробов. — Сколько хоть дали-то?

— Я простой!.. Ставь четверть — бери жылезо!.. Не жилаю!..

— Кому? — спросил отец.

— Коней завел! Жылеза захотел! А я презираю!

— Уж не Богаткину ли Мирону?..

— Ему! Жылеза захотел! Презираю!

— Пропал дом, — без особой жалости, пожалуй, даже с торжеством произнес Коробов.

— Не хочу кулацкого! Хочу бедняком! Потому что честь блюду! Потому что... вышли мы все из народу! Дети семьи трудовой!.. А хошь, повеселю партийного человека?.. И ты, мироед-кровопийца, смотри — разрешаю!..

И-их, лапти мои —
Скорородки!..

Ваня Акуля, развесив по сторонам руки-грабли, начал месить черными ногами дорожную пыль.

Все мы вышли из семьи —
Из народника!

И давно уже сбежались мои приятели-ребятишки. И бабы бросили загонять коров, и кой-кто из мужиков, кряхтя, сполз с крылечка, подчалил поближе.

Рожь в версту, овес с оглоблю
На плечи родился!
Я советску власть люблю,
Не на той женил-си!

— Федор Васильевич кровь свою проливал, чтоб Ванька, кого за назем считали, во главу... Ги-ге-мои! Мы на горе всем буржуям мировой пожар... Тебя, Тонька Коробов, сковырнули — меня выдвинули! Во как!..

Коробов расхохотался. Мой отец, пряча лицо, глухо, с угрозой произнес в землю:

— Ступай, шут, пропись!

— Иду, Федор Васильевич, иду... Сею менуту!.. Но не спать!.. Не-ет!.. Да здравствует наша родная советская власть!

Он зашатался вдоль улицы на подламывающихся ногах, развесив длинные руки, неестественно большеголовый от напаянной лохматой шапки, — нескладное насекомое. И к накаленно закатным крышам возносился его голос:

— Мы на горе всем буржуям!..

Мой отец сутулил плечи, смотрел в землю. Антон Коробов, ухмыляясь, выуживал из надорванной пачки новую папиросу «Пушка».

Люди, посмеиваясь, расходились. Мои приятели-ребятишки удрали за развеселым Ваней Акулей. Я не тронулся, не хотел бросать своего отца, почему-то мне было его жаль сейчас.

— Ох-хо-хо! И вышла из дыма саранча на землю, и дадена была ей власть, кою имеют скорпионы...— В длинной, до колен, белой рубаше, сам длинный, прямой, бестелесный, но с тяжелым кирпичным черепом, стоял в стороне Санко Овин.— Царем над собою саранча поймела ангела бездны но имени Аваддон... И сказано дале: энто только одно горе, аще два грядет... Ох-хо-хоюшки! Аще два ждите...— Дед Санко постоял, качнулся раз, отдохнул немного, качнулся другой раз, с натугой переставил тяжелый валежок, пошел, опираясь на сучковатую клюку.

Лиловые сумерки обволакивали село.

Коробов первым нарушил молчание:

— «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...» Когда что-то горит, акулькам весело — уж они, верь, доведут до пепла...

Отец не ответил, сидел словно каменный.

— Товарищ Смолевич поумней тебя будет.

Отец пошевелился и сказал негромко:

— Акулька много не спалит, а вот ежели б тебе волю дать...

— Мне б волю дать, я бы... великую Россию досыта накурмил.

— И стал бы царем — на руках носи.

— Могёт быть.

По небу разлилось зеленое половодье, в нем стылým серебряным пузырьком висела блеклая звездочка. Село угомонилось, продолжал надрывно кричать дергач — таинственная птица, которую каждый слышит и никто не видит.

Коробов отбросил папиросу и встал:

— Прощай, Федор Васильевич. Мы еще усядемся вместе за красный стол... Хотя... ты прям, как дышло, такие не гнутся, да быстро ломаются. За красным столом я уж, верно, с товарищем Смолевичем посижу.

Коробов легко спрыгнул с крыльца, промаячил в темноте светлым китем и растаял, но долго еще звучали в тишине прозрачно-звонкие, четкие шажочки. И по сей день я слышу их, и встает перед глазами статная, прямая фигура в летя-

щей походочке — кулак, увильнувший от раскулачивания.

Отец зябко передернул плечами, тяжело поднялся:

— Пойдем в дом, Володька... Холодно что-то.

Шаги стихли. Кричал дергач.

На другой день по селу разносился громкий стук молотка о железо. Мирон Богаткин, босоногий, острозадый, ползал на карачках по крыше дома Аптона Коробова и отдирал купленное у Вани Акули железо.

На другой стороне улицы стоял досужий люд, задрав головы на залатанный Миронов зад, судил:

— Неделю как и всего-то цинково корыто у него было.

— Растет репей.

— Прополют, нонче долго ли.

Самого Вани Акули среди досужих не было. Он после вчерашнего веселья отсыпался дома под грохот Миронова молотка. Во дворе на бревнышке, так, чтобы можно было видеть работающего Мирона, сидела серьезная жена Вани Акули, равнодушно лускала тыквенные семечки. Акуленковская ребятня, похожие друг на друга Анька, Манька, Ганька, Панька, тут же толкалась, радовалась — вон сколько собралось народу возле их дома! Старший, Иов, был диковат, от людей прятался.

Кто-то радостно возвестил:

— Партия сюды идет!

— Сейчас объяснит Мирошке на пальцах.

— Эй, Мирон, гость к тебе — встречай!

Мой отец подошел вплотную к дому, задрал голову и, когда Мирон появился с очередным листом на краю крыши, приказал:

— Слазь, Мирон!

Мирон с грохотом сбросил лист, деловито высморкался, вытер черные пальцы о портки, ответил с достоинством:

— Некогда мне, Федор Васильевич, слазить. Говори уж так.

— Разговор-то крупный, Мирон, и не для всех.

— Чего таиться, чай, не за воровство журить меня собрался. Купленное забираю.

— Детей, дурак, без отца оставишь.

— Жалеешь!

— Жалею.

— Тогда и заступишься.

— Не смогу заступиться. Ни я, ни кто другой.

— Слабак, значится. Ну и не путайся. Я, может, денек первым человеком в селе пожить желаю.

— Сам же недавно кулаков клял, теперь в клятые лезешь.

— Нынче другое звание мне вышло — не нищеврод.

— Дом отыдем, коней отыдем и накажем по закону!

Мирон распрямился на крыше во весь рост, снова презрительно высморкался. Снизу под оттопыренной рубахой был виден его голый тощий живот.

— Отымете?.. Эт пожалте. Только помни, Федор, я убью тебя, когда ты руку к моим коням протянешь. Я не Тонька Коробов, я без хитростей... Ничегошеньки не боюсь.— Мирон повернулся спиной, стал на четвереньки и полез наверх.

В это время из сеней выполз Ваня Акуля, должно быть, проснулся от наступившей после грохота тишины. Без знакомой шапки на голове, с протертым острым темечком, опухший, трупно-зеленый, с затравленно бегающими глазами, он двинулся во двор, мучительно морщась, бережно неся на весу свои дрожащие руки.

— Ми-иро-он! — плачущим, детски слабеньким голоском позвал он.— Миро-он!

— Чего тебе? — недовольно отозвался Мирон с высоты.

— Дай еще на полдиковинки, Мирон.

— Допрежь надо было торговаться.

— Ми-ир-он! Жылезо заберу... Полдиковинки, Мироша-а. Мирон ожесточенно загремел молотком.

Ваня Акуля при каждом ударе вздрагивал опухшими губами и щеками, мучительно морщился, глядел на всех просительно увлажненными глазками. А все смеялись, советовали:

— Лезь на крышу, там ближе к богу.

— За ногу стяни.

— Смерть моя, братцы-ы! — стонал Ваня.

Вместе со всеми визгливо смеялись над отцом Анька, Манька, Ганька, Панька, а со стороны серьезно и невозмутимо поплевывала тыквенной шелухой жена, наблюдала.

— Федор Васильевич! — Ваня двинулся к моему отцу.— Будь защитником! Ограбил меня Мирошка!.. Я ж ему за дешевку!.. Реквизуй, Федор Васильевич! — Он шел на пригибающихся ногам, тянул к отцу длинные трясущиеся руки. А наверху, под синим небом, гремел железом Мирон.— Фе-с-дор Василь-ич!

Отец резко повернулся и пошел прочь — тугая широкая спина ссутулена, голова пригнута, почему-то мне опять до боли, до крика стало жаль отца.

Ваня Акуля проводил его долгим тоскующим взглядом,

потоптался, снова обернулся к людям и вдруг с неожиданной силой и страстью заломил над головой руки:

— Братцы-ы! Смилуйтесь!.. Братцы-ы! Полдиковники всего... Заставьте изверга миром, войдите в положение!.. Тош-не-хонь-ко! Бра-а-ат-цы!

Все глядели на него и покатывались, стонали от смеха. Анька, Манька, Ганька, Панька плясали, путаясь в длинных рубахах. Даже невозмутимая жена Вани Акули, не переставая выплевывать тыквенную шелуху, раскисала в улыбочке. Смеялся и я.

— Бра-ат-цы-ы! Тошне-хонь-ко!

В небе победно гремел железом Мирон.

Отец часто стал повторять одну фразу.

Сидел на крыльце вечером, слушал дергача, курпл, вдруг встряхивался:

— Что-то тут не продумано.

Читал после обеда газеты, откладывал их, морщил лоб:

— Что-то тут не совсем...

Рассказывал матери об очередном собрании, обрывал себя на полуслове, задумывался:

— Что-то тут у нас...

Антон Коробов исчез из села в тот же вечер, сразу же после разговора с отцом. Он уже не слышал, как Мирон гремел железом на крыше его дома. Никто из наших больше не слышал об Антоне Коробове. Отец не сомневался: «Этот устроится... Что червяк в яблоке».

Во время дождей ободранная крыша коробовского пятистенка пропускала воду, как решето. Ваня Акуля, кляня кулацкие палаты, вместе с ребятишками, верной женой, прихватив квашню — сосуд жизни, перебрался обратно в свою баньку.

Несколько раз Мирон выезжал на своих конях. Гнедые кони по-прежнему лоснились, словно выкупанные, скупой отливали золотом. Мирон был темен лицом, расхлюстан, размахивая концами вожжей, он пролетал со стукотком из конца в конец — черноногий Илья-громовержец на колеснице. Мой отец ему больше не мешал: «Пусть... пока... Придет время, приведем в чувство».

Мирону, конечно, передавали эти слова, и он визгливо кричал: «Зоб вырву! Я нонче человек отчаянный!»

Отцу не довелось приводить в чувство Мирона. Его срочно перевели в другой район на более ответственную работу. Мы уехали из села.

Но уехали недалеко. На конференциях и областных совещаниях отец встречался с работниками старого района. Никто из них не вспоминал о Мироне Богаткине — шла сплошная коллективизация, раскулачивали и ссылали тысячами.

Пет, никому он не вырвал зуб, никого он не испугал, иначе вспомнили бы.

Отобрали ли у Мирона его оцинкованное корыто?..

Коней-то уж отобрали. Они вместе с брюхастой лошадежкой Петрухи Черного попали в колхозные конюшни... А какие кони были!

* * *

Позволю себе, когда это будет возможно, напрямую обращаться к документам. Не хочу и не могу давать развернутого обоснования, они отяжелили бы и запутали мой литературный труд. Самое большее, на что я способен, — бросить лишь документальную реплику по ходу дела.

Итак, первая документальная реплика.

По данным «Истории КПСС», изданной Госполитиздатом в 1960 году (стр. 441), с начала 1930 по конец 1932 года было выселено 240 757 кулацких семей. Есть основание считать эту цифру сильно заниженной, хотя умиляет ее точность — не 240 тысяч и не 241 тысяча, а именно 240 757, ни больше, ни меньше, извольте верить, старались, считали, не закругляли. К слову сказать, и это уже всепланетный рекорд. Крестьянские семьи из пяти человек не считались большими. Помножив на пять указанное число высланных семейств, получаем более миллиона двухсот тысяч человек. До того времени история еще не знала столь массово грандиозных репрессивных кампаний¹.

Однако неопубликованная инструкция ЦИК и СНК СССР от 4 февраля 1930 года предлагала подвергнуть выселению свыше миллиона кулацких семейств, подразделяя их на три категории.

Первая. Самые непримиримые, совершающие террористические акты, подбивающие на восстания. Таких предположительно было чуть больше 60 тысяч. Инструкция требовала наказывать их вплоть до расстрела, а членов семей высылать в отдаленные районы.

¹ По данным специальной проверки комиссии ВЦИК ВКП (б) за 1930—1931 годы, была выселена 381 тысяча кулацких семей («Вопросы истории КПСС», 1975, № 5, стр. 140).

Вторая. Кулаки наиболее богатые, но в терроризме не замеченные — около 150 тысяч хозяйств. Выселять с семьями, и подальше.

Третья. Умеренно богатые кулаки, а значит, и умеренно активные. Нетрудно подсчитать, что к этой категории относилось около 800 тысяч хозяйств. Выселять в места не столь отдаленные — в пределах того района, где проживали, на земли, не занятые колхозами. Следует заметить, что таковых земель — неколхозных — при сплошной коллективизации, увы, не оказалось, были лишь земли необжитые на окраинах нашей великой страны.

Выходит, что высокая инструкция так и не была полностью выполнена? Тогда чем объяснить громкие упреки в перегибах, высказанные самим Сталиным в громогласной статье «Головокружение от успехов»? Их повторяли и другие: например, журнал «Большевик» в 1930 году (№ 6, стр. 20) писал, что в одном из сельсоветов некоего Батуринского района постановили раскулачить (а значит, и выслать) тридцать четыре хозяйства, при проверке же выяснилось — существует лишь три действительно кулацких семейства. Пример, показывающий, что инструкция выполнялась в десятикратном размере — за счет ареста середняков и бедняков.

Уинстон Черчилль в своей книге «The second world war» («Вторая мировая война») вспоминает о десяти пальцах Сталина, которые тот показал, отвечая ему на вопрос о цене коллективизации. Десять сталинских пальцев могли, видимо, означать десять миллионов раскулаченных — брошенных в тюрьмы, высланных на голодную смерть крестьян разного достатка, мужчин и женщин, стариков и детей.

Историк Рой Медведев, у которого я позаимствовал здесь основные документальные сведения, приводит и свидетельскую картинку поэтапного крестьянского выселения: «Старый член партии Э. М. Ландау встретил в 1930 году в Сибири один из таких этапов. Зимой в сильный мороз большую группу кулаков с семьями перевозили на подводах на 300 километров в глубь области. Дети кричали и плакали от голода. Один из мужиков, не выдержав крика младенца, сосущего пустую грудь матери, выхватил ребенка из рук жены и разбил ему голову о дерево».

1969—1971

ХЛЕБ ДЛЯ СОБАКИ

Лето 1933 года.

У прокопченного, крашеного казенной охрой вокзального здания, за вылущенным заборчиком — сквозной березовый скверик. В нем прямо на утопанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться — если не утерян — замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей.

Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко «куркуль».

Куркули даже внешне не походили на людей.

Одни из них — скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты — вот-вот лопнет наплевшая от натяжения кожа, тела колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди.

Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, печеловечьи широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полунстлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал пугром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло заносил в рот пристанционный мусор с земли...

Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали — спали.

Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше

грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал — вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» сползал вниз по стволу и... затихал насовсем.

Такие и после смерти не походили на людей — по-обезьяньи сжимали деревья.

Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал.

Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной — «смотри ты у меня!».

— Никто не выполз? — спрашивал он у начальника станции.

А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.

Ваня Душной следил, чтоб куркули не расползались из скверика — ни на перрон, ни на пути.

Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрямой панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками «бунтарей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз.

Начальник станции — «красная шапочка» — однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу:

— Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..

Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок.

Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
страна встает со славой
на встречу дня...

Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.

Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то попривыкнуть, обмозолиться.

Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая.

Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатым воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлинула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки на дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно.

А я стоял в стороне и — нет, не ревел вместе с ней — боялся, надо мной засмеются прохожие.

Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре...

На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и пеловко выкрикнул:

-- Кто хочет?!

— Мне шматочек, — отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.

— И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..

Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.

— Всем не хватит! — Пашка старался оттолкнуть напавших, но никто не отступал.

— Мне! Мне! Корочку!..

Я отламывал всем по кусочку.

Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же

случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног пришлось по кускам, раздавило их.

— Пахорукий! — выругал меня Пашка.

И отошел. За ним все поползли в разные стороны.

На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все в горячих нечаянно убили какое-то животное.

Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял — она голодна тоже.

— Это кто ж такой сытый?

И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:

— Володька Тепков сытый! Он это!..

Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленным яйцом!

Ольга Станиславна начала урок.

— В прошлый раз мы проходили правописание... — И замолчала. — В прошлый раз мы... — Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. — Володя Тепков, встань, подбери за собой!

Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой.

После этого я наотрез отказался брать в июлу завтраки.

Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кротко-печальными глазами восточных красавиц...

И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами...

Истощенных — кожа и кости — у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой — слонами.

И вот березовый сквер возле вокзала...

Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.

Не сходил с ума я еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном березнячке умирал среди бела дня, — враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Они не сдавались. Что ж... попали в березняк.

Вместе с другими ребятами я был свидетелем печального разговора Дыбакова с одним шкилетником.

Дыбаков — первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе с рублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами.

В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы, ребяташки, за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова.

Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец — костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив коричневый череп на грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду — с кроткой скорбью в неестественно громадных глазах.

Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и вятно произнесли:

— Поговорим, начальник.

Обвалилась тишина, стало слышно, как далеко за пустырем возле бараков кто-то от безделья тенорит под балалайку:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога,—
Сапогов не много надо
И портошина одна.

— Аль боишься меня, начальник?

Из-за спины Дыбакова вынырнул райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с незастегивающимся портфелем под мышкой:

— Мал-чать! Мал-чать!..

Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова.

— Поговорим. Спрашивай — отвечу.

— Перед смертью скажи... за что... за что меня?.. Неужель всерьез за то, что две лошади имел? — шелестящий голос.

— За это,— спокойно и холодно ответил Дыбаков.

— И признаешься! Ну-у, заверюга...

— Мал-чать! — подскочил опять товарищ Губанов.

И снова Дыбаков небрежно отмахнул его в сторону.

— Дал бы ты рабочему хлеб за чугуи?

— Что мне ваш чугуи, с кашей есть?

— То-то и оно, а вот колхозу он пужен, колхоз готов за чугуи рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!

— Не хотел.

— Почему?

— Всяк за свою свободушку стоит.

— Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил — и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так?

Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.

— Отыми лошадей, пачальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? — сказал он.

— А ты простишь нам, если мы отыдем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!

— Кто знает.

— Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал — мы на тебя нож острый готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.

Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги себе-седника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные.

Он лежал перед нами, мальчишками, — плоский костяк и тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хрящущий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали. Две лошади имел, кровопиец! Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас. «Если враг не сдается... Здорово же его отделал Дыбаков.

И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребятшек не заплясал над ним, не стал дразнить:

Враг-вразица,
Кукуль-кулачина
Кору жрет.
Вошей бьет,
С кукулихой гуляет —
Ветром шатает.

Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые

глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрин, пена... И под горло подкатывала тошнота.

Раньше мать про меня говорила: «На этого не пожалуюсь, что ни поставь — уминает, за ушами трещит». Сейчас она подымала крик:

— Заелись! С жиру беситесь!..

«С жиру бесился» я один, но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих — меня и брата. Брат был моложе на три года, в свои семь лет умел переживать только за самого себя, а потому ел — «за ушами трещит».

— Беситесь! Суну не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.

О рябчиках я только читал стишки: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Объяснить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинки картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с обедом, вставал из-за стола отяжелевший.

Вот тут-то все и начиналось...

Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большею частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью — Гракхи всех времен.

Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много?

Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?.. «Если враг не сдается, его уничтожают!» А это «уничтожают» вот так, наверное, и должно выглядеть — черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза.

Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого — взрослые, старики, дети. Даже грудные дети... Про них-то уж никак не скажешь: «Если враг не сдается...»

Я сыт, очень сыт — до отвала. Я съел сейчас столько,

что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью — врагов или не врагов?..

А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был — да! — но сейчас ему не до вражды, нет мяса на его костях, нет силы даже в его голосе...

Я съел весь свой обед сам и ни с кем не поделился.

Есть мне приходится по три раза в день.

Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пенельном сумраке, за окном серенький, уютный рассвет.

Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая «овечка». Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец-панаша прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному — бездарь! С болот на задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. «Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?» И она роняет и роняет свое «ку-ку», как серебряные яички.

И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очевиднейшему факту — существует на белом свете некий Володька Тенков, человек десяти лет от роду. Существует — как это прекрасно! «Кукушка! Кукушка! Сколько мне?..» «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..» Щедра без устали.

В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито снесит в такую рань?..

И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовский конюх Абрам едет «собирать падалицу». Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих — жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает в телегу, как дровяные чурки.

Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Гремит и стихает.

После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего... Но странно — нет и тишины. «Кукушка! Кукушка!..» Ах, не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить?..

Но словно ливень из-под крыши, обрушились проснувшиеся воробьи. Зазвенели ведра, раздалась женские голоса, закрипел ворот колодца.

— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! Любая работа! — Сильный, с вызовом баритон.

— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! — повторил мальчишеский альт.

Это тоже посланные куркули — отец и сын. Отец — высокий, костляво-плечистый, бородатый, сурово-важный, сын — жилисто-худенький, веспушчатый, очень серьезный, постарше меня года на два, на три.

Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки.

Я не должен есть свои обеды один.

Я обязан с кем-то делиться.

С кем?..

Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг.

Кто — самый?.. Как узнать?

Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все — самые, самые, иных нет.

Одному протянуть руку, а других не заметить?.. Одного ошастливать, а десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом.

Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли открыто протягивать руку помощи?..

Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сейчас, тридцать шесть лет спустя. Скорей всего я тогда вовсе не думал, а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение — разломить пополам свой хлеб насущный, поделиться с ближним — можно свершить только тайком от других, только воровски!

Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куса хлеба, завернутый в газету комоч пшенной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл, кусочек сахара-рафинада. Среди бела

дня я вышел на воровское дело — на тайную охоту на самого, самого голодного.

Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда — днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых — семь человек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщиком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом — не самый...

Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, варила, парила их... Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой — еще не самая.

Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лодыжкам. Если б я встретил этого Зильбербрунера раньше, то, как знать, возможно, решил — тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, по приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами.

Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке — грациное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани.

Может, и он был еще не тот самый... Продолжи я свою охоту, наверное, паскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карманы, требовали: делись немедленно!

— Дяденька...

Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза-щелки.

Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом — какие-то плавающие, словно дряблые ягодички, щеки, низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянутая до трупной синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, — подушка.

Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба.

Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными, несгибающимися пальцами кисть протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво, нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губами.

— Спасибо, хлопчик,— сказал фистулой слон.

Я выложил ему все, что у меня было.

— Завтра... На пустыре... Возле штабелей... Что-нибудь еще... — пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью.

Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо.

На пустыре, возле штабелей... На этот раз я нес восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать.

Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающуюся на животе рубашу. Чья-то тень упала мне под ноги.

— Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..

Ко мне ли обращаются столь почтительно?..

Ко мне.

Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницей, просто инвалидкой, изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто — плечики перекошены, спина откинута, маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: «Эх! И спляшу вам!» Но Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.

Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:

— Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь, внимательней!.. Вы когда-нибудь видели обиженное богом существо?.. — Она подмигивала и наступала на меня, я пятился. — Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын... Я — мать, я люблю его всей душой, я готова

на все, чтоб его накормить... Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас!..

Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза... Откуда она узнала, что у меня под рубахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слопу выгодно молчать.

— Готова встать перед вами на колени. У вас такое доброе... у вас ангельское лицо!..

Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица.

Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок.

— Это я обещал...

Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком, стонала:

— Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын — мы гибнем!..

Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой — эх, спляшу! — еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрепко набок, как тонущая лодка.

Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал — приходи на пустырь, я заставил голодного ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..

И я с досады — да и с голода тоже, — не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и... ядовит. Целый день после пего я чувствовал себя отравленным: как я мог — вырвал изо рта у голодного! Как я мог!..

А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный-кафтан цвета свежевспаханного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке, — недвижим и башнеподобен.

Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным

в пору собакой. Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб.

Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин и выскочил...

У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.

— Сынку, пэ вирь подлой бабе. Немае у пэй нікого. Ни сына нэма, ни дочки.

Я и без него об этом догадывался — Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щечкой и держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.

— Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смэртъ и та грэбуе... Ой, лыхо, лыхо. — Сило вздыхая, он медленно отчалил, с патугой волоча пышные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк. — Ой, лыхо мни, лыхо...

Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучновато-плотный, в парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не хмурое и глаза не завешаны бровями — спокойное, усталое лицо.

Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону, наконец спросил:

— Ты дал ему хлеба?

— Дал.

И он снова вглядывался в даль.

Я люблю своего отца и горжусь им.

О великой революции, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки!

Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров.

Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым — не на памятнике.

Он был в гражданскую комиссаром Четыреста шестнадцатого ревполка.

У него на шее рубец от колчаковского осколка.

Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на

крышке: «За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»...

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?»

Но он тихо спросил:

— Почему этому? Почему не другому?

— Этот подвернулся...

— Подвернется другой — дашь?

— Н-не знаю. Наверное, дам.

— А хватит ли у нас хлеба накормить всех?

Я молчал и смотрел в землю.

— У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпашь, сынок. — Отец легонько подтолкнул меня в плечо. — Иди играй.

Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, перьяшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, и... слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медлительно удалялся.

Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве валяется еще один слон, укрытый извоженной, когда-то черной железно-дорожной шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне нечесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:

— Ма-а-льчик! По-ми-раю!..

И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.

На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попадал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери па всех педостанет.

Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный:

— Еще один шкилетник к Володьке приполз!

Мать ругалась:

— Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, природы!

Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном ни духом. Мать ругалась, но выйти и ото-

гнать голодных куркулей не решалась. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова.

Мать приказала:

— Вот кувшин — за квасом в столовку сбегай. И быстро мне!

Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин.

Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и не еле ползающим шкилетникам перехватить меня.

Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный — никак не витаминный морс, — потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.

Они меня ждали. Все лежащие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса:

— Хлопчик, хлеба...

— По крошечке...

— Помираю, ма-а-альчик. Перед смертью куснуть...

— Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..

Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.

— Хле-ебца-а...

— Корочку...

— Хошь, руку свою?..

И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:

— Молодой человек! Молю! На коленях молю!

Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу богу.

И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим галопом вырвался чужой, дикий голос:

— Ухо-ди-те! Уходи-те!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!

Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расползаться без спешки, вяло.

А я не мог остановиться, кричал рыдающе:

— Уходи-те!!

С инструментом на плечах подошли работяги — борода-тый, степенный отец с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбрёдавшихся куркулей: — Шакалы.

Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего к груди кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а один из участников шакалей игры.

Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, и та гнула под солнцем широким полотнищем, выплескивала беззвучные молнии, шаг — и вспышка, шаг — и вспышка.

Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки.

Я излечился?.. Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой тот перед моим окном хоть до самой зимы.

Мать ахала и охала — ничего не ем, худею, синячищи под глазами... Она трижды на день устраивала мне пытку:

— Опять устался в тарелку? Опять не угодила? Ешь! Ешь! На молоке сварена, масла положила, посмей только отвернуться!

Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и рубленным яйцом. Я очень любил эти пироги. Я их ел. Ел и страдал.

Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверу.

Гремела утренняя телега...

Не спи, вставай, кудрявая!

В цехах звеня...

Гремела телега — знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества.

Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделать — жалею своих врагов!

Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли

выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

— Что это у нее шерсть так растет? — спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

— Выпадает... От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивет.

И меня словно обдало банным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетьников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака... Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — «с голодухи плешивет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал — не появится ли та самая...

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, нематыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась... Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издалека на мои руки — пусто, без выражения.

— Иди... Да иди же. Не бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни упрашивал — не подошла, но и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок — и... ни куска, ни собаки.

На следующее утро — новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же негибимой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое... Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения — даже собачьего

страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделявали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен... даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная нища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

Документальная реплика.

В самый разгар страшного голода в феврале 1933 года собирается в Москве Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. И на нем Сталин произносит слова, которые на много лет стали крылатыми: «сделаем колхозы большевистскими», «сделаем колхозников — зажиточными».

Самые крайние из западных специалистов считают — на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек. Осторожный Рой Медведев использует данные более объективные: «...вероятно, от 3 до 4 миллионов...» по всей стране.

Но он же, Медведев, взял из ежегодника 1935 года «Сельское хозяйство СССР» (М. 1936, стр. 222) поразительную статистику. Цитирую: «Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году было вывезено 13, в 1930 году — 48,3, в 1931 году — 51,8, в 1932-м — 18,1 миллиона цент-

перов. Даже в самом голодном, 1933 году в Западную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров зерна!»
«Сделаем всех колхозников зажиточными!»

1969—1970

ПАРАНЯ

Лето 1937 года.

Наш небольшой железнодорожный поселок осоловел от жары, от пыли, от едкого дыма шлаковых куч, выброшенных паровозами.

На площади перед районной чайной, в просторечии — тошнилровкой, с утра до вечера звучно и бодро кричит со столба радио:

Побеждать мы не устали,
Побеждать мы не устанем!
Краю нашему дал Сталин
Мощь в плечах и силу в стане...

Кричит репродуктор. Скучают у изгрызенной коновязи колхозные лошаденки. Двое парней-шоферов мучают ручкой не желающий заводиться грузовик. Поперек крыльца чайной-тошнилровки сладко спит облепленный мухами самый развеселый человек в поселке — Симаха Бучило.

В нашем сердце это имя,
На устах у всех наш Сталин...

Кричит репродуктор, а под столбом, посреди площади, обычное увеселение — поселковая ребятня окружила дурочку Параню.

— Параня! Параня! Кто твой жених?

— Уд-ди! Уд-ди!.. — гудит Параня и судорожно вертится в хохочущем колесе, подставляя то зад, то бок под щипки и тычки.

Муравьиная толчея, легкая давка, ликующий визг, привлекающий даже взрослых. Несколько почтенных отцов семейств заинтересованно топчутся возле дурочки, похохатывают, подзуживают:

— Ты, Парасковья, не таись, ты, девка, откройся нам...

— Кто твой жених, Параня?!

Парни из деревень, кого не назовешь ни большими, ни малыми, увальни в смазанных сапогах, с младенчески наив-

ным восторгом на опаленных физиономиях, хозяева лошадей, дремавших у коновязи, тычут в Параню кнутовищами.

— Парань! Эй!

— Уд-ди!

— Чтой тебя уж и тронуть нельзя, цяця?

— Дык засватана.

— Га! Дай-кось я...

— Уд-ди! Уд-ди!

Мимо — в белых парусиновых брючках и рубашке анаш — идет Андрей Андреевич Молодцов, холостой инкассатор, человек приятной наружности, культурного поведения, прекрасно исполнявший на мандолине «Светит месяц». По виду можно бы уловить — он презирает и осуждает. Можно бы, но трудно. И Андрей Андреевич Молодцов скрывается за углом, никем не понятый.

А баба из деревни с корзиной, увязанной платком, из-под которого высовывается голова петуха с бледным, свалившимся набок гребнем, не вытерпела, проста душа, и осуждения своего не скрыла:

— Ох бессовестники! Ох злыдни! Чем вам, проды, помешала убогая?

— Тетка, спроси сама, кто жених-то... Никак не добьемся.

— Добром скажет — отстанем.

— Любо же знать...

— Гы-гы-гы!..

— Тьфу! Ошалелые! Креста на вас нет!

— Параня, кто твой?..

Параня ревет сильным сиплым мужским басом и по-детски размазывает черным тощеньким кулаком слезы и слюни.

— Ужо... Ужо... Зорьке Косому скажу, он вас пожигом зарежет...

А Зорька Косой сидит рядом, в тошниловке, у открытого окна любителю на веселье — лицо узкое, бледное, черная челочка ровненько подрублена по самые брови, скрывает лоб, глаза трезвые, скучноватые.

Говорят, что он убил двоих, но сумел открутиться, отсидел только год в тюрьме. Зорька может выскочить на крыльцо, прикрикнуть тенорком: «Эй, вы-и! Шабаш!» И все разойдутся. С Зорькой не шути, он благороден, но не часто... Сегодня сидит, скучновато посматривает.

Параня сипло ревет, трет костистым кулачком лицо, дрожит под мешковиной своим грязным, тощим, перекошенным телом.

— Уд-ди! Уд-ди!

И муравьиная толчея вокруг нее, и ликующие вопли, и звенящий детский смех, и короткое басовитое похохатывание взрослых...

И величание из репродуктора новым голосом, уже не просто бодрым, а проникновенным:

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Параня появилась в поселке года три тому назад и первое время на вопрос «кто твой жених?» простодушно отвечала:
— А сын божий Иисус Христос, вот кто.

С дико запутанной, густой, жесткой, как конская грива, шевелюрой, со щетинистыми, угрожающе угольными бровями, босоногая зимой и летом, в платье, сшитом из клейменного мешка, она сразу же вошла в пейзаж поселка, а имя ее — в незатейливый местный фольклор: «Хитрожопа, как Параня... Форсист, как Параня...»

Ей постоянно приходилось искать заступников. Сначала она провозглашала лишь имена добросердных поселковых баб:

— Ужо вот Анне Митриевне нажалуюсь... Бабушке Губиной ужо скажу...

Но добрые бабушки не в силах были спасти Параню от ребятни и изнывавших от безделья досужих взрослых, приходилось искать иных защитников:

— Вот Ване Душному скажу...

Ваня Душной, он же Савушкин, — милиционер, надзирающий за порядком, человек серьезный, положительный, с кем даже Зорька Косой считается. Ваня Душной ради порядка раз или два пробовал защищать Параню, но над ним стали смеяться:

— Ты, Иван, того... подходишь... Тебя, слышь, Параня-то женихом величает. Прежде у нее был Иисус Христос, нынче ты на замену. Ты ведь мужчина в соку, а потом — форма, светлые пуговицы. Юродивые светленькое-то любят...

И Ваня Душной стал исчезать с улицы, как только появлялась Параня.

В поселке у всех на языке было имя Дыбакова — нанстарший среди районного начальства, даже пешком по улицам не ходил, ездил на единственной в округе легковой машине — тонкоколесом «газике» с брезентовым верхом.

— Дыбакову нажалуюсь — в тюрьму вас засадит.

Но посадили самого Дыбакова, на проверку оказалось — в красных перьях черная птица. И поселковая дурочка Параня выбросила его из числа своих почетных защитников.

— Зорьке Косому... Он вас пожником...

Зорька Косой туманно смотрит из оконца чайной, не вмешивается — не в том настроении.

— Параня, посватайся за меня...

— Га-га-га!

— Гы-гы-гы!..

— Уморила Параня...

— Уд-ди! Уд-ди!..

Со Сталиным вольно живется на свете:
Как ясное солнце он греет и светит,
Пути пролагает к великой победе,
Чтоб радостней было и взрослым и детям...

— Уд-ди!.. Я вот Сталину... Вот ужко ему... Ужо он вас... врагов народа...

Какой-то мальчонка резанно взвизгнул: «Сталин — жених Парани!» — и получил по шее от протрезвевшего взрослого. Гагакнул один из парней с кнутом, но сразу же подавился нескромным смешком — сам донер, без доброжелателя.

Все видит его соколиные очи
И в светлые дни и в ненастные ночи.
Он вытер нам слезы, он счастье упрочил... —

кричало с высокого столба радио. Параня дрожала в своем клейменом платье, затравленно озиралась.

— Вот ужко...

Только что была плясавшая, паясничавшая карусель, только что стеной потные, оскаленные мальчишечьи лица, руки, руки со всех сторон, визг и стоны, голоса, голоса, захлебывающиеся, ласковые, вкрадчивые...

И тишина. Лишь тяжелое прерывистое дыхание да радио в небесах:

Он пишет законы векам и народам,
Чтоб мир осветился великим восходом...

Тишина, оглушающая больше, чем крик, визг, бесповоротность. Глаза Парани дико косили, один в толпу, другой — куда-то вдоль улицы.

— Вот ужко... — Она пятилась.

Шоферы, крутившие заводную ручку грузовика, бросили

возню, распрямились, недоуменно вглядываясь: что же случилось? И Зоренька Косой оперся локотком на подоконник, высунулся из окна.

— Вот ужо... Сталину... Родному и любимому...

Тесный круг разорвался, почтительно расступились перед дурочкой, и та бочком, бочком вышла из плена, остановилась, повела раскосмаченной гривой в одну сторону, в другую, смятенно кося горящими глазами... И вдруг сорвалась мелкой рысью, тряся мешковинным задом, стуча толстыми черными пятками... Споткнулась, упала, мешковина задралась, открыв тощие голубые ляжки. Параня съежилась, ожидая веселой бури, но буря не разразилась, никто не засмеялся...

Тогда она поднялась и, прихрамывая, торопливо ушла.

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Наверное, у нее нашлись наставники, так как на следующий день она держалась уже совсем иначе: на копотносмуглом лице фатоватая озабоченность, глаза блестят истощенно и сухо, косят сильнее обычного, походочка мелкая, острым плечом вперед, с каким-то непривычным для нее напорцем.

Увидев прохожего, Параня останавливалась, принималась сучить ногами — черной заскорузлой пяткой скребла расчесанную до болячек голень, глаза на минуту останавливались — провально-темные, с диким разбродом, один направлен в душу, другой далеко в сторону. При первом же звуке сиплого голоса глаза срывались, начинали суетливую беготню.

— Он все видит!.. Он все знает!.. Ужо вас, ужо!.. На мне венец! Жених положил... Родной и любимый... На мне его благость... Ужо вас! Ужо!..

Слова, то сиплые, то гортанные, то невнятно жеванные, сыпались, как орехи из рогожи, пузырилась пена в углах синих губ.

— Забижали... Ужо вас... Он все видит... Родной и любимый, на мне венец...

Все сбегались к ней, сбивались в кучу, слушали словно в летаргии, не шевелясь, испытывая корбящую неловкость, боясь и глядеть в косящие глаза дурочки и отводить взгляд.

— Великий вождь милостивый!.. Слышу! Слышу тебя!.. Иду! Иду!.. Раба твоя возлюбленная...

Любой и каждый много слышал о Сталине, но не такое и не из таких уст. Мороз продирал по коже, когда высочайший из людей, вождь всех народов, гений человечества вдруг становился рядом с косоглазой дурочкой. Мокрый от слюней подбородок, закипевшая пена в углах темных губ, пыльные, никогда не чесанные гривастые волосы, и блуждающие каждый по себе глаза, и перекошенные плечи, и черные, расчесанные до болячек ноги. Сталин — и Параня! Смешно?.. Нет, страшно.

Со всех сторон снешили, чтобы упиться этим преступным страхом. Слушали и молчали. Боже упаси обронить даже не слово, а вздох, дрогнуть хоть бровью. Боже упаси выделиться из остальных. Молчи и слушай, ничего не выражай лицом, кроме каменности.

— Впжу! Впжу! Свет ангельский!.. Свет! Свет! Светоч!.. Вождь и учитель... Венец принимаю!.. Ужо вам! Ужо! — Параня начинала дергаться, пена гуще вскипела в углах вывернутых губ.

Ваня Душной, придерживая кобуру нагана, припечатывая на каблук, подошел, озабоченно сопя, раздвинул плечом сборище, встал перед дурочкой. Та грозила в воздух нематым кулачком:

— Ужо вам!

— Ты!.. Тоже за агитацию?.. Сматывай, недоделанная, чтоб руки не пачкать! — Развернулся кругом, лицом к народу. — А вы!.. По какому случаю стянулись на митинг? Тонай по домам, покуда я добрый!

Но из толпы подали голос:

— Высоко берешь, Ванька. Не сорвись. Она тут товарища Сталина хвалит, ты ей рот затыкать...

И Ваня Душной осекся, переступил с сапога на сапог.

— Но кто ее уполномочил?.. Что это будет, коль каждая шалава на вождя набросится, пусть даже с хвальбой?..

Посовестил, однако крутых мер не принял, рванул за инструкцией в отделение к товарищу Кнышеву.

Начальник районного отделения милиции Кнышев, человек пожилой, многосемейный, страдавший дамской болезнью мигренью, любил приbedняться: «Мы люди маленькие, высокий замах не для нас. Пьяницу скрутить иль жулика сцапать — вот наш скромный вклад в дело социализма».

Люди с высоким районным замахом вроде Дыбакова, наверное, сейчас уже рубят лес где-то в холодной Сибири, а

Кнышев как сидел, так и сидит на своем месте, рассчитывает сидеть и дальше.

Он схватился за голову, когда узнал о том, что поселковая дурочка Параня выдает себя за невесту товарища Сталина. Сразу же позвонил в одно место, в другое, во время разговоров сильно потел, сто раз говорил «виноват», наконец положил трубку и решительно приказал Ване Душному:

— Бери!

И вот через весь поселок Ваня Душной, время от времени прикладываясь коленом к тощему мешковинному заду, провел хнычущую невесту великого вождя всех народов в предварилку.

Параня не первая. Многих за вождя взяли в поселке и в прошлом году и в нынешнем, возмущаться — да боже упаси! — в голову не приходило. Наоборот, Симаха Бучило, после того как забрали Дыбакова, обличал его без просыпу трое суток:

— Он в очках ходил! И в галстук! Простой народ нонче должен властвовать! Тот что без галстуков!.. Я — за!.. Я за расстрел голосую!..

И голосовал перед прохожими сразу обеими руками.

Симаха Бучило обличал бы и дальше, да Ваня Душной перебил — утащил в милицию на всякий случай, чтоб не докатился до перегибчиков.

Но странно — поселковые массы восприняли вдруг арест Парани неодобрительно. На улицах начались гадания не слишком потаенные, даже не шепотом, даже порой на басах.

— Она же товарища Сталина хвалила, не Троцкого.

— Зазорно вроде товарищу Сталину-то с ней жениться...

— Что тут зазорного? Прежде всегда ушибленных девок считали — Христовы, мол, невестушки.

— Сравнила, кума, шильце с рыльцем. Одно дело там Христос, другое — сам товарищ Сталин...

— А чего бы не сравнить? Христос богом был, куда уж выше, тыщу лет на него молились.

— Нет, как ни кинь, по-старому или по-новому, а промашечка вышла — хвалила, а ее цап!

— Промашечка? Ой, братцы, не тем пахнет! Не-ет! За любовь к отцу и учителю — в холодную? Не-ет, братцы, тут не промашечка, умысел ищи!

Находились и такие, кто даже Параню брал под

сомнение: будь бдителен, враг повсюду, отцу родному не верь, почему нужно оказывать доверие какой-то дурочке?

— А что, ежели она того... замаскированный агент из какой-нибудь Англии?

— Вроде ты не знаешь, из какой такой она державы иностранной...

— Знать-то знаю, по все-таки... Могли и завербовать: притворяйся убогенькой, сообщай тайные сведения...

— Тайные-то сведения не на улицах валяются, они, простота, по учреждениям лежат. Вот если б она проникла куда, хоть в контору «Утильсырье», тогда подозревай, слова не скажу.

— Не замечено за Параней — чиста.

И общий возмущенный клич по поселку:

— Так за что ее, братцы, губят? Живая душа как-никак!

Никто другой из арестованных — тот же Дыбаков хотя бы — такой защиты не вызывал: «Живая душа гибнет!»

Шумел поселок, и ходил сторонкой в парусиновых брюках инкассатор Молодцов Андрей Андреевич, человек приятной паружности, культурного поведения — себе на уме...

— Писать надо, писать самому...

— До самого, поди, не долетит — высоконько. Лучше кому следует нужное словечко подпустить...

Нужное словечко было подпущено, и без промашки, кому следует.

Через несколько дней начальнику милиции Кнышеву позвонили:

— Ты, такой-рассякой, свихнулся?!

— Виноват...

— Думаешь, мы все с тобой за компанию отправимся петь в один голос «Солнце всходит и заходит»?

— Виноват, не пойму.

— Нет уж, пой ты, иташечка, мы послушаем...

— Виноват. Узнать позвольте, в чем дело?

— На чью агентуру работаешь, сволочь?

— Виноват!

— Не отвертись. Сигнальчик поступил, что ты, провокатор, за сердечное выражение любви и преданности к товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу людей в холодную сажаешь!..

Кнышев имел слабую голову, подверженную деликатной болезни, но достаточно крепкое сердце — удар снес и понял, что нужно срочно изобличить и обезвредить истинного виновника диверсии, иначе обезвредят его самого.

Он вызвал к себе Ваню Душного. Тот встал у дверей — приземистый, в выгоревшей до невинного воробьиного цвета гимнастерке, просторный в плечах, поги в неуклюжей косолапой стоечке, лицо губастое, простодушно-суровое и готовность на нем: кого, товарищ начальник?..

— А разреши-ка, Савушкин, проверить мне твое личное оружие... Как отдаешь, лапоть?! Как отдаешь?! Начальству оружие вместе с поясом и кобурой подают. Вежливенько!.. Вот так-то!.. Посмотрим, посмотрим... Ты им гвозди вбивал, что ли?

— Не гвозди — замок. У самогонщицы Глашки Плехуиной... Нет, говорит, ключей, и все тут. Пришлось сбить замок.

— А патроны куда использовал?

— Сроду их не бывало. Сами знаете — для красоты носим эти штуки.

— Не в порядке оружие, не в порядке. Спрячем его... — И Кнышев сунул пояс с кобурой в свой письменный стол, а затем — как подменили вдруг человека — с замогильной угрозой: — На чью агентуру работаешь, сволочь?

— Чего?

— На чистых советских людей поклепы возводишь?

— Чего?

— Они сердечно выражают любовь и преданность нашему вождю, а ты, провокатор, за шиворот их да в холодную!

— Да чего?.. Вы ведь сами...

— Сами?! Рассчитываешь, что я с тобой за компанию «Солнце всходит и заходит» неть отправлюсь? Нет, соловушка, пой один!..

Кнышев с рук на руки передал арестованного Ваню Душного дежурному Силину, а сам сел писать сопроводение: «Обманным путем вынудил дать соглашение на арест... терроризировал простых советских людей... прямая диверсия против Генсека...»

Параню выпустили.

Ее успели накоротко остричь. С грязно-серым, острым, как колуи, черепом, угольно-пыльные косматые брови выглядят теперь еще более угрожающими, в знакомой клейменной мешковине — вовсе незнакомая Параня, даже походка изменилась, не просто дерганно вихляющаяся, а с судорожным прискоком, словно ежеминутно кто-то кричал у нее над ухом. Но прежнее косоглазие и прежняя блуждающая оглядка по сторонам.

Ее успели не только острить, но, наверное, и допросить. Новый мотив зазвучал в ее несвязных речах... И новые слова:

— Свирженье-покушенье!.. Свирженье-покушенье!.. Ножики точут! Ножи-ножики! На родного и любимого... Вжик! Вжик! Чую! Чую! Свирженье-покушенье!.. Вжик!.. Венец вижу! Кровь на венце!.. Господи милостивец! Спаси и помилуй!.. Отца нашего и учителя... Свирженье-покушенье!.. О-госпо-ди!..

И жители поселка снова сбегались к Паране со всех сторон, слушали и обмирали от ужаса.

— Острое! Острое!.. Спаси и помилуй отца и учителя!.. Венец вижу! Кровь на венце!..

Толпа, теснясь, сопя, потая, окружала Параню, внимала ей в гробовом молчании.

Но и начальник милиции Кнышев, ни те из ответственных товарищей, за которыми скромный Кнышев признавал право большого замаха, не успели прийти в беспокойство: сборища же, черт возьми! Незапланированные демонстрации! А потом — речи... Голов не спосить. Никто даже не успел подумать о своих головах, как...

Напротив чайной (а как и кружи поселком, рано или поздно вернешься сюда, районная тошнеловка — центр, местный пуп!) под столбом, с которого репродуктор бодро развивал тему «жить стало лучше, жить стало веселей», Параня утомленно бормотала о «венце», «ножах-ножиках», «свирженье-покушенье». Но вдруг она замолчала, одичавшие глаза разбежались в разные стороны, мокрогубый рот перекосился. Параня вскинула грязный, тонкий, как куриная кость, палец, нацелила его в толпу и завизжала:

— Ви-и-ижу! Ви-и-ижу-у! Во-о-о! Во-о-о!.. Он! Он! На родного и любимого!.. О-он!.. Свирженье-покушенье!.. О-он! Наскрозь вижу!..

Толпа качнулась, и под толщим пальцем оказался Гена Пестерев, инструктор Осоавиахима, он же преподаватель физкультуры, он же капитан местной футбольной команды, он же баянист Дома культуры. Гена Пестерев, или Гепка Девочка, так как имел привычку обращаться ко всем, будь то старухи или старики, парни-одногодки или совсем юная поросль школьников, «девочки»: «Девочки, не лезьте без очереди», «Девочки, а не погонять ли нам мяч...» Высокий, кренкошений, с чубом — льняная волна, выпуклую грудь обтягивает майка-футболка, увешенная значками ГТО,

ПВХО, «Ворошиловский стрелок», сейчас он стоял под Параниным пальцем и бледнел.

— О-он!.. На родного и любимого! О-он!.. Ножи-ножики!.. Ви-пжу-у!..

— Девочки, что же это? — Гена криво улыбнулся и стал оглядываться, а все разномастные «девочки» пятились от него. С приклеенной улыбкой попятился и Гена.

— О-он!.. — стонуше визжала Параня. — О-о-он! Держите!.. Свирженье-покушенье!.. На родного и любимого!..

Держать Гену Девочку никто не стал, все разбежались от Парани, оставили ее одну под кричащим столбом.

Но поселок сразу же забурился от догадок.

— А уж не учуяла ли чего Параня?

— Да полно вам, в жизнь не поверю. Чтоб Генка Девочка да того... Чтоб это он на самого... Да в жизнь не поверю!

— Ой, что-то ты спасаешь его. Ой, что-то неспроста...

— Да я же не о том... Мне Генка — тьфу! Не сват, не брат — седьмая вода на киселе.

— А спасаешь. Вроде и о бдительности никогда не слыхал. Вроде и задачи партии — твоя хата с краю...

— Не партийный я. Могу и ошибаться в чем-то...

— Ишь сиротинушка казанская. Я вот тоже беспартийный, но коммунист. Бдительность чту!

Кто-то петухом насакивал. Кто-то распускал перья, с кого-то сходил холодный пот, и похаживал инкассатор Молодцов мимо разговоров, мимо людей. Наверное, и не он один, попробуй разгляди таких, когда молчат, в глаза не бросаются... не они стране, не страна им. Антиобщественны.

Шумел поселок, судили Генку Девочку, гадали про Параню — треплется ли зря от убогости или же просто-напросто проникательна? Но на глаза Паране уже не лезли — кто знает, что в тебе разглядит убогая? Судили о ней да поглядывали издалека. С почтением.

А она шаталась по улицам — маленькая, колуном голова, грозные бровищи, просторное платье из мешка, походочка с судорожным прискоком. Какое-то время за ней на почтительном расстоянии держались ребяташки. Не дразнили, нет, просто глазели, но матери и бабки криком, угрозами отзывали их:

— Васька! Пашка! Домой, пащенци! Вот я вицей здоровой накормлю...

Дольше других торчали два брата Бочковы да рыжий

Сашька, сын пьяницы Симахи Бучило, — этих хоть с кашей съешь, родители не почешутся.

Как пи сторонился поселковый народ Парани, но к полудню она пашла-таки кого уличить.

Возле станции стоял ларек, в котором толстая Надька Жданова торговала морсом. Морс этот назывался витаминным, варился артелью инвалидов из еловой и сосновой хвои, но — секрет фирмы! — был бледно-розового цвета. Пить его просто так никто не осмеливался — им запивали. Надька тут же продавала в розлив водку, теплую на жаре и запашистую не хуже витаминно-хвойного морса. Клины вышибался клином, на стакан водки — стакан морсу, по крайней мере дешева закусочка — всего две копейки. И дела в ларьке шли хорошо, Надька перевыполняла план, считалась лучшей стахановкой среди торговых точек поселка, была поперек себя толще.

Вот к ней-то и притопала Параня.

— Паранюшка, хочешь морсику? — ласково спросила Надька и щедро нацедила в пивную кружку.

Параня дрожащей рукой поднесла ко рту мутно-розовую влагу... и кружка затряслась, витаминный морс расплескался на землю. Пуская пузыри, дергая острой головой, Параня закричала:

— На-аскрозь ви-ижу!.. Я-ад крысинный!.. Свирженье!.. Нареченного моего!.. Отца нашего любимого... Свирженье!..

Надька не Генка Девочка, так просто ее не смутишь, за словом в карман не полезет.

— У-у, недоделанная! — заголосила она. — Невестушка толстопятая! Яд!.. Тоже мне, откуда таких слов набралась? Вот я кружкой тебе по каторжной башке! Яд! Это лечебный-то морс! Его весь поселок пьет да хвалит!..

И пошла, и пошла, и начисто забила Параню. Та в страхе отступила, но недалеко, стояла в стороне, тыкала толстым пальцем, бормотала:

— Ви-ижу! Она... Свирженье-покушенье... Нажалуюсь...

И опять суды да пересуды.

— Ишь ты кого Параня унюхала.

— Давно бы пора толстомясую!

— Яд... А что, очень даже может... Я сам давно замечал: морс-то у нее розовый, а меня почему-то с него зеленым рвет.

Но наутро веселье примерзло. Утром по всему поселку разнеслась весть — Генка Девочка и толстая Надька аресто-

ваны. Без промашки те, на кого указала перстом Параня. Значит, неспроста она кричит, значит, вправду насквозь видит — вот тебе и убогая, вот тебе и дурочка, посомневайся-ка в ней теперь, когда солидные органы верят и свою веру делом доказывают.

У каждого появился холодок под сердцем — вроде сам ты свят и чист, но один бог без греха.

Параня шаталась по улицам — черные босые ноги пропахивают пыль, сплюснутое клином темечко жарит солнце, косые глаза гуляют под бровями...

Параня шаталась по улицам, и встречные издали поворачивали обратно, простоволосые матери выскакивали из домов, хватали детишек, тащили с дороги, окна захлопывались, ларьки срочно закрывались: Параня идет!

Но магазин-то не закроешь перед Параней.

Она, бормоча, поднялась в лавку райпотребсоюза. Очередь за перловой крупой сразу же растаяла, покупатели один за другим, прижимаясь к стенке, повыскакивали на крыльцо. Отбежав, остановились кучкой, принялись жадно вслушиваться: что-то там сейчас?..

Обе продавщицы остолбенели при виде дурочки. Та, что постарше, бросилась к ящикам, стала хватать горстями пряники и конфеты:

— Паранюшка, на... Наранюшка, возьми гостинчик...

И Паранюшка взяла, стала грызть черствый пряник, мирно бормоча под нос:

— Венец... Благодать его... Нареченный... Родной и любимый... Светоч...

— Истинно, Паранюшка, истинно! Ты, милая, лучше конфетку пососи — сладкая! Для тебя нам ничего не жалко. Любим мы тебя...

Наконец, подергиваясь под мешковиной, Параня уже направилась к выходу, но тут случайно увидела в руках второй продавщицы, обмершей от страха молоденькой Тоси Филимоновой, огромный нож-хлеботор. Параня звонила и забилась:

— Но-ож! Нож!.. Во-о! Нож!! Ой, свиржепье!! Ой, покушенье!! Пож! На родного!.. Спаси-и!..

Ее крик вырвался на улицу, скучившиеся покупатели, ждавшие этого крика, двинулись было ближе к крыльцу, но тут же шарахнулись в разные стороны — на крыльцо выскочила беснующаяся Параня.

Через каких-нибудь полчаса весь поселок уже знал, что указана Филимонова Тося.

Неужели и тут Параня не ошиблась?

А вот завтра узнаем — ошиблась ли, нет ли...

Утром Тося Филимонова была арестована.

Антип Федорович Рыгун, десять лет проработавший продавцом магазина-дежурки, построивший в центре поселка дом на кирпичном фундаменте, да так чисто, что не растратил ни единой государственной копейки, первым вывесил над замком объявление: «Закрыто на переучет!» А уж за ним решили переучиваться и другие магазины...

«Параня идет! Параня идет!» — по улицам шепот, как ветер.

Параня идет! Пустеют улицы.

Известный всему поселку золотарь Никита исполнял свое дело, вез в бочке груз, заполняя воздух производственным ароматом. Впереди показалась Параня, одна на всей улице — походочка бочком, с прискоком, череп — словно колпак, подбитый бровями... Никита попробовал завернуть лошадь, но та от дряхлости была нерасторопна, несла золотаря прямо на Параню. И тогда Никита скатился с бочки, по-куличьи приседая на бегу, рванул по боковой улочке, бросив лошадь, бросив груз... Лошадь с полным грузом подошла под окна чайной-тошниковки и встала, вызвав ложные слухи: «А случаем, Никиту того... не обезвредили?..»

В поселковом скверике проводился пионерский сбор. Старшая вожатая перед строем детишек читала доклад «Лучший друг советских детей».

В скверике появилась Параня, и со старшей пионервожатой сделались судороги, девочки в строю заплакали, все стали разбегаться...

Вечером в Доме культуры сорвался показ кинокартины «Мы из Кронштадта». Параня села отдыхать на клубное крылечко, в кино никто не пошел. Готовы были пойти только братья Бочковы да Санька рыжий, сын Симохи Бучило, но их не пустили: «Даешь билеты!»

Кто она? Чем берет? Почему персту Парани подчиняются даже те, кого до смерти боится сам начальник милиции товарищ Кнышев?

Одни шептали:

— Сам-то, когда в ссылку ехал в Туруханский край, в деревне Бродах задержался, жандармы, видите ли, недоглядели... Вот когда только всплыло. Перед Параней держи под козырек, исполняй что скажет.

Другие возражали:

— Чтоб чрез нас да в Туруханский край — это какой надо крюк делать. Не-ет, просто в Паране дар большой раскрыт, потому органы ее в штат взяли, крупно платят. Мы еще, братцы, увидим Параню в гимнастерочке да ремнях, с петличками, где кубари комсоставские... Параня — тайна сия велика есть, непонятное чудотворство!..

Эту тайну знал начальник милиции Кнышев.

Вовсе не Параня была главным виновником арестов, а... Ваня Душной, сидящий ныне под крепким замком. На него, Ваню Душного (по паспорту — Савушкин Иван Васильевич), завели дело, его обличали как агента империализма, пробравшегося в ряды советской милиции. А какой агент действует в одиночку? Должны быть сообщники и у Вани Душного. Кто они?..

Вот тут-то легко встать в тупик. Ваню Душного знали все в поселке, стар и мал. Всех забрать просто нельзя. За перегибчики тоже наказывают. Но кого-то взять нужно. И наиболее подозрительных. Кто подозрителен? Не знаешь — прислушайся к массам.

Параня указывала?.. Нет! Поселковая дурочка для бдительных органов не авторитет. Но вот если массы начинают склонять имя того или иного жителя поселка, то на голос масс не реагировать просто преступно. Поэтому чутко прислушивались и... вылавливали. Правда, сами-то массы прислушивались к Паране, и, конечно, это было известно органам, но все, что пропущено через народ, то свято! Народ не ошибается! Кто смеет думать иначе?..

Кнышев знал и хранил, не открывал даже своей жене. Тайна сия велика есть — государственная тайна! Будь бдителен — враг повсюду! Болтун — находка для шпиона!

Параня идет!

Магазины закрыты на переучет или по болезни продавцов. Поторговывать снова начал лишь Антип Рыгун, но с черного хода.

Параня идет!

Однако жители поселка так ловко научились избегать с нею встреч, что аресты прекратились.

Параня идет — прячясь!

И все-таки нашелся отчаянный, который не только не стал прятаться от Парани, а пошел ей навстречу.

Симаха Бучило почти каждодневно переживал моменты неудержимого энтузиазма — по поводу и без повода. Энтузиазм этот требовал большого расхода сил, а значит, и длительного отдыха. Места же для отдыха Симаха выбирал крайне неожиданные — поперек крыльца весьма посещаемой тошнилловки, посреди дороги, богатырски раскинувшись в пыли, заставляя объезжать стороной конный и механизированный транспорт, на перроне вокзала, подгадывая ко времени прихода пассажирского поезда. Едва отдохнув, он сразу же начинал готовить себя к новому энтузиастскому взрыву.

Параня идет!..

Все попрятались, остался посреди улицы энтузиаст Симаха, которого покидывало из стороны в сторону. Сперва он безуспешно попытался ловить убежавших.

— Стой! Стой! Куд-ды?!

И тут увидел Параню.

Она шла посередине дороги, как Христос, возвращающийся из пустыни после сорокадневного поста,— спеченное от черноты личико, голова-дынька подставлена под палящее солнце, мешковинное платье-хламидка едва прикрывает усохшее тело.

— Паранюшка! — изумился Симаха Бучило и распахнул объятия. — Паранюшка! Родная душа! — И с раскрытыми объятиями двинулся на нее, не по прямой, а со сложными загибами то на одну сторону, то на другую, но все-таки упрямо приближаясь к цели.

Параня, от которой все в ужасе бежали, Параня, под чьим пальцем исчезали люди, эта Параня понялась от бесстрашного Симахи.

— Уд-ди! Нажалуюсь!

Но не тут-то было, Симаха Бучило обхватил ее и облобызал в мокрые губы.

— Паранюшка! Люблю! Паранюшка! Уважаю! Преданна! Верна! До самого что ни на есть корпя! Гению! Вождю! Светочу!.. Ур-ра-а!..

Он крепко взял за руку Параню, повернулся к отчужденно замкнутым бревенчатым домишкам и закричал:

— Да здравствует Параня, верный и преданный соратник!..

Дома слепо взирали наглухо захлопнутыми окнами.

— Да здравствует великий и мудрый товарищ Сталин!

Симаха потащил Параню по молчавшей, опустевшей улице, время от времени подымая ей руку, как судья на ринге победившему боксеру.

— Да здравствует Параня!

Выдвинутая нижняя челюсть, обросшая медной щетиной, — и плаксивое лицо Парани.

— Да здравствует великий Сталин!

Сжатые руки возносятся над головами.

На пути им повстречался случайно подвернувшийся инкассатор Молодцов, как всегда, в отутюженных парусиновых брючках и рубашке апап. Он остолбенел, он побледнел, он съежился — один на всей улице, заметят, привяжутся, припутают, невольный свидетель, тут-то и возьмут на заметку, тут-то и заставят говорить. Однако Симаха Бучило и Параня прошли мимо, словно и не было этого Молодцова. Привыкли, что незаметен, неразличим, и есть вроде и нет его — пустое место, человек-невидимка. Прошли мимо...

— Да здравствует Параня!.. Да здравствует великий и мудрый!..

На площади у тошнилочки их встретил сумрачный Силин, пожилой, толстый милиционер, заменивший обезвреженного Ваню Душного.

— Да здравствует Параня!.. Да здравствует...

Силин схватил Симаху за шиворот, деловито тряхнул:

— Пойдем!..

— Да здравствует великий Сталин!..

— Ид-ди, рвотное! — Силин оторвал Симаху от Парани.

— Да здравствует Параня! Верный и преданный...

Бенц по шее!

— Да здравствует великий Сталин!

Силин поднял кулак, но подумал и не ударил.

— Да здравствует Параня!

Удар!

— Да здравствует Сталин!

Пропуск удара.

— Да здравствует Параня!

Снова удар.

И так, под перемежающиеся удары и патристические лозунги, ушел из жизни Симаха Бучило, развеселый человек.

Он не раз, сопровождаемый аккомпанементом по шее, уходил в милицию, но всегда быстро возвращался. Теперь не вернулся, должно быть, попал в число сообщ-

ников Вани Душного. Что в общем-то верно — Симаха Бучило и Ваня Душной общались часто и энергично.

Бучило был последней жертвой Парани.

Кончилось все это неожиданно и печально.

Опять все на той же площади перед тошниловкой, под столбом, увенчанным неумолкающим громкоговорителем, Параня наткнулась на Зорьку Косого.

Все боялись Зорьки в поселке, но даже он, Зорька, сворачивал за угол, когда видел Параню. И вот случилось...

Параня, должно быть, вспомнила, что когда-то страшила им: «Ножиком вас зарежет...» Вспомнила про нож и подняла на Зорьку Косого пляшущий грязный палец:

— Во-о!.. Во-о!.. Виж-жу! Виж-ж...

И больше ничего не сказала. Зорька прыгнул, как петух на кошку.

— Заткнись, курва!

Коротко стукнул свинчаткой по острому стриженому темени.

Параня не вскрикнула, она только закружилась, развывая вокруг тощих расчесанных ног клейменный подол. И упала плашмя, ударилась плоским затылком об утопанную землю, из-под изумленных бровей глаза уставились вверх на столб, на репродуктор.

А бодрствующий репродуктор на этот раз настойчиво славил Человека, не избранного, не гения из гениев, не великого среди малых, а просто Человека:

«Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной, мощной Мысли, той Мысли, что постигла чудесную гармонию вселенной, той величавой силы, которая в моменты утомленья творит богов, в эпохи бодрости их низвергает...»

Словно из-под земли, из-за углов, из калиточек стали выползать люди. Помятенные, заворуженно притихшие, испуганные и сгорающие от любопытства, они окружили Параню.

Та лежала, раскинув тонкие руки, бестелесно плоская, хрупкая — уже готовые мощи с невинным лицом девочки и старухи. Бросались в глаза огромные ступни ног, разбитые вширь, с коряво торчавшими изувеченными пальцами, с чугуно твердыми подошвами. Ноги, не знавшие обуви ни зимой, ни летом. Натруженные ноги исполина, носившие по грешной земле истощенное тельце нищенки. И щетинистые

брови, изумленно вскинутые, и мутнеющий взгляд, нацеленный на репродуктор в синем небе.

А репродуктор славил с высоты неба:

«Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно-спокойна, точно меч, идет свободный, гордый Человек...»

Зорька Косой пришел в себя и рванул на груди рубаху: — Граждани-и! За чи-то она меня? Чи-то ей сделал Зорька Косой? Граждани-и! Будьте свидетелями-и!..

Граждане молчали и глядели не на Косого, а на чугунные исполинские ступни ног.

Зорька рванул на груди рубаху, а репродуктор перекрывал его рыдающий голос, внашл великое:

«Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед и выше, все — вперед и выше!»

В стороне же, на отдалении, стоял инкассатор Молодцов и плакал. Оплакивал Параню? Да нет. Молодцов — культурная личность — умел ценить высокое слово, да еще вовремя сказанное. А как нельзя более кстати напоминал репродуктор о мятежном Человеке, идущем вперед и выше. Плакал Молодцов тайком, не умел иначе. И, конечно же, слез его никто не заметил.

Зорьку Косого судили. На вопрос: «Что заставило вас совершить убийство?» — он отвечал:

— Да как же, граждане судьи, она ж меня по крайней умственной отсталости под статью пятьдесят восемь подвести могла, во враги бы народа Зорьку Косого записали! Никак не согласен! Уж лучше смертоубийство — статья сто тридцать шесть, милое дело...

За чистосердечное признание к нему снизошли — судили по статье сто тридцать шесть как убийцу, а не как презренного врага народа.

Документальная реплика.

Повально знаменитое в свое время фото — Сталин с девочкой в матроске. Подпись под ним: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Имя этой девочки — Г е л я, дочь наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР Ардана Ангадыковича М а р к и з о в а.

27 января 1936 года в Кремле происходил прием

руководителями партии и правительства трудящихся Бурят-Монгольской АССР. Делегацию из шестидесяти семи человек возглавляли секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) М. Н. Ербанов, председатель Совнаркома Бурят-Монголии Д. Д. Доржиев, председатель ЦИК республики И. Д. Дампилов. Присутствовал, разумеется, и отец Гели.

Во время торжественного заседания шестилетняя Геля поднесла букет цветов Сталину, и тот взял ее на руки. Этот момент и был запечатлен на снимках, облетевших всю страну, ставших плакатом.

— Что ты хочешь получить в подарок — часы или патефон? — спросил Сталин.

— И часы и патефон, — ответила Геля.

Действительно, на следующий день она получила золотые часы и патефон с набором пластинок. На том и на другом подарке было выгравировано: «Г е л е М а р к и з о в о й о т в о ж д я н а р о д о в И. В. С т а л и н а».

Отца Гели среди других наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Вскоре его арестовали и расстреляли вместе с Ербановым, Доржиевым и другими. Мать Гели сразу же после этого погибла при невыясненных обстоятельствах — на ночном дежурстве в городской больнице, где она работала врачом.

Геля осталась сиротой, долго жила в нищете и неизвестности, хранила подарки Сталина.

1969 — 1971

ДОННА АННА

Лето 1942 года.

На небе чахнет смуглый закат, через всю сумеречную степь потянуло ветерком, по-ночному свежим и настойчиво горьким, полынным. Где-то на краю земли, под самым закатом — веселые, что треск горящего хвороста, выстрелы.

В одном месте, под закатом, перестрелка гуще, время от времени в той стороне слышатся удары, словно кто-то бьет черствую степь тупой киркой, — рвутся снаряды. Там, напротив одинокой птицефермы, окопалась пятая рота лейтенанта Мохнатова.

Чахнет закат, наливаются сумерки, война впадает в полу-

дрему. При зыбком затишье во всех уголках фронтовой степи начинается движение, делаются дела и делишки, которым мешал дневной свет. Гудят тягачи, какие-то батареи перебираются на новые позиции. По степи без дорог расползаются машины с потушенными фарами, ощупью везут боеприпасы. Полевые кухни, начиненные неизменной пшенной сечкой, подъезжают к самым окопам, куда днем можно пробраться только ползком.

Не для дневного света, видать, и это дело, хотя и называется оно — показательное. Нас вызвали сюда из всех подразделений — рядовых, сержантов, даже из среднего состава.

Мы сидим на щетинистом, прогретом за день склоне пологой балки, свежий, горьковатый ветерок обдувает нас.

Внизу остановилась крытая машина, из нее один за другим выскочили несколько солдат, плотно сбитых, стремительных, в твердых тыловых фуражках, похожих друг на друга и совсем не похожих на нас, вялых, грязных окопников. Они деловито помогли вылезти серенькому, расхлюстанному — гимнастерка распояской, ботинки без обмоток — солдатику.

Этот солдатик, смахивающий на помятого собакой перепела, — главное «показательное» лицо. Для него в десяти шагах от остановившейся машины на дне балки уже приготовлен неуставный окопчик с пыльно-глинистым бруствером — могила.

Командир, такой же плотный и стремительный, как и его подчиненные, стянутый туго портунейными ремнями, вполголоса, но энергично отдавал приказы, солдаты в фуражках действовали... И человек-перепел оказался на краю могилы в нательной рубаше с расхлюстанным воротом, в кальсонах со спадающей мотней. Сами же солдаты выстроились напротив в короткую шеренгу, развернув плечи, приставив к ноге винтовки.

И тут появился полный, вяловатый мужчина в комсоставском обмундировании, но с гражданской осаночкой. Он вынул из планшета бумагу, нашел нужный разворот, чтоб быть повернутым и к нам, зрителям, и к осужденному и чтоб тускнеющий закат бросал свет на лист...

Мы уже всё знали, даже больше, чем написано в его бумаге. Тот, кто сейчас стоял в исподнем спиной к могиле, был некто Иван Кислов, повозочный из хозтранспортной роты. В наряде на кухне он рубил мясо и отрубил себе указательный палец на правой руке.

Это случилось еще ранней весной, на формировке. Теперь

уже разгар лета, наш полк неделю назад занял здесь, посреди степей, оборону. За два первых дня мы потеряли половину необстрелянного состава, но остановили рвущегося к Дону немца. Кажется, остановили...

А за нами сюда, на фронт, везли, оказывается, этого Кислова... Для показательности.

— Именем Союза Советских Социалистических Республик военный трибунал!..

Уличенный в умышленном членовредительстве Кислов стоит внизу в просторных казенных калсонах, в сумерках не разглядишь выражение его лица.

А вчера утром у меня было два друга — Славка Колтунов и Сафа Шакиров, бойкий, звонкий, маленький, что подросток, башкирец. Вчера утром мы втроем хлебали сечку из одного котелка. Славку убило наповал на линии, а Сафу всего часа два тому назад я отправил на грузовике в санбат — пулевое в живот, тоже неизвестно, выживет ли.

— ...следствием установлено, что четырнадцатого марта тысяча девятьсот сорок второго года рядовой Кислов Иван Васильевич, находясь в очередном наряде на кухне...

Чахнет закат. Стоят с отработанной выправочкой парни в фуражках, маячит напротив них нелепая домашне-постельная фигура. Могила приготовлена за ее спиной.

А Славка Колтунов, наверное, и сейчас лежит где-то посреди степи, некому выкопать для него могилу.

То, что через минуту на моих глазах пятеро вооруженных парней убьют шестого, растелешенного и безоружного, меня не волнует. Еще одна смерть. А сколько я понавиделся их за эту неделю! С Иваном Кисловым из хозтранспортной роты я никогда не ел из одного котелка. Довезли ли живым Сафу Шакирова до санбата, спасут ли его врачи?..

— Зачем показывают нам этого ублюдка?.. — Вопрос сердитым шепотом. Рядом со мной сидит командир химвзвода младший лейтенант Галчевский.

Мы познакомились по пути на фронт в эшелоне. Я дежурил у телефона в штабной теплушке. Была ночь, высокое полковое начальство, получив извещение, что до утра не тронемся, ушло спать. Возле денежного ящика сопел и переминался часовой. За шатким столиком при свете копилки сидел дежурный из комсостава — юнец с белой девичьей шеей, курсантской стриженной головой, на тусклых полевых петлицах по рубиновой капле лейтенантских кубариков. Он писал что-то, углубленно и взволнованно, должно быть, письма домой, часто отрывался, пожирающе глядел широко рас-

пахнутыми глазами на огонек коптилки, снова ожесточенно набрасывался на бумагу, и перо его шуршало в тишине, словно стая взбесившихся тараканов.

Я валялся прямо на полу, на раскинутой плащ-палатке, возле телефона, время от времени выпускал в пространство дендрологический речитатив:

— «Акация»! «Акация»!.. Я — «Дуб»!.. «Клен»! «Клен»!.. «Рябина»!.. «Пихта»! «Пихта»!.. Уснул, дерево?.. Я — «Дуб». Проверочка.

Дверь вагона-теплушки была приотворена, в щель глядела ночь. Влажная сырая темень плотна, хоть протяни руку и пощупай. Где-то в ней прячутся дома с занавесками на окнах. Там люди по утрам собираются на работу, там переживают заботы — раздобыть сена корове, купить дров... Выскочи сейчас из вагона в ночь, и, наверное, за каких-нибудь десять минут добежишь до такого рая с занавесками на окнах. Десять минут — как близко! И недостижимо! Для меня сейчас ближе неведомый, лежащий за сотни километров отсюда фронт. Стоит ночь над землей, и щемяще хочется не поймешь чего: или простенького — пройтись босиком по чисто вымытому домашнему полу, или невероятного, невиданно красивого... Чего-то такого, перед которым даже война померкнет.

Мне пришло время произнести свое заклинание: «„Акация“! „Акация“!..» Но вместо этого я с вызовом продекламировал:

В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета — ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

И грохнул откинутый стул, и огонек коптилки захлебнулся, впустил на секунду ночь в теплушку. Часовой у денежного ящика вытянулся, замер по стойке «смирно», а младший лейтенант, вскочив за столом, глядел на меня провалыно темными глазами.

— Вы!.. Вы!.. Вы любите Блока?.. — задохнувшись.

Я любил, что знал, а знал что-то из Блока, что-то из Есенина, из Маяковского, любил Григория Мелехова и деда Щукаря, д'Артаньяна с друзьями и несравненного Шерлока Холмса. Младший же лейтенант кой-кого испепеляюще ненавидел, например Есенина:

— Мещанин! Люмпен! Кабацкая душа! Быть нытиком во время революции!

Но он также любил и Блока, и Дюма, и Конан Дойля.

А особенно любил кино — не комедии, а революционные и военные фильмы. Он бредил сценой расстрела моряков из «Мы из Кронштадта». Подавшись на меня всем телом, он с дрожью говорил:

— Вот бы так умереть — чтоб в глаза врагу, чтоб смеяться над ним!.. — Лицо узкое, с мелкими чертами и тонкие губы в капризном изломе.

К кино я относился сдержанно, к военным картинам тем более. Войны хватало с избытком и без кинокартин. И умирать я не хотел, пусть красиво, пусть героически глядя в глаза врагу. Впрочем, я стыдился признаться в этом даже самому себе.

«Дева Света! Где ты, донна Анна?..» Солдаты говорили о бабах. О бабах и о жратве — извечные, неиссякаемые темы. О жратве, пожалуй, говорили чаще, так как наши военные пайки были скудны, а старшины и повара без зазрения совести еще рвали от них, мы всегда были голодны, тут, право, не до баб.

Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

Мы наткнулись друг на друга, и он чуть ли не каждый день стал появляться перед нашим вагоном, вызывая меня, чтоб переброситься парой слов. Он разыскивал меня, когда я дежурил по ночам у телефона, просиживал часами, если все вокруг спали, рассказывал мне о своей маме:

— Более святого человека, поверь, на земле нет...

И зрачки его дышали, и губы его мученически изгибались, и я вместе с ним, страдая, любил его удивительную маму... А потом долго изнемогал от воспоминаний — о доме, о своей матери, об отце, который раньше меня ушел на фронт. Вот уже скоро год, как от отца пришло последнее письмо: «Подо мной убило лошадь. Жаль ее, свыкся... Видел воздушный бой...» Мой отец прошел через две большие войны — первую мировую и гражданскую, — но воздушный бой видел впервые в жизни.

Я не знал — благодарить ли мне Галчевского за эти воспоминания или проклинать его.

— Ради бога, зови меня просто Яриком, как звали дома...

Я был младшим сержантом, он — младшим лейтенантом, в армейском субординационном здании находился на целый этаж выше меня. Я постоянно чувствовал себя перед ним виноватым — не умею ответить ему тем же. Я напряженно следил за собой, чтоб не оступиться, не совершить не-

чаянно такое, что может не поправиться моему другу. И почему-то пугал меня капризный излом его губ.

Всю эту неделю, которую мы на фронте, я с ним не встречался. За эту неделю я пережил больше, чем за всю свою предыдущую жизнь.

Он увидел меня здесь, сел рядом, долговязый, тощий, с трогательной детской шеей.

— Зачем показывают этого ублюдка?.. Чтоб напугать нас?! Нас?.. Смертью?.. Смешно! — И мученический изгиб тонких губ. Кажется, и он хлебнул лиха за эту неделю...

Довезли ли живым Сафу Шакирова до санбата, спасут ли там его?..

Раздалась короткая резкая команда:

— Товсь!!

Приезжие парни в необмято-новеньких фуражках вскинули свои винтовки.

В невнятной темной степи стоял перед ними одинокий раздетый человек. Уже не солдат, да и человеком-то ему оставалось быть какую-нибудь секунду...

Гудели в глубине темной степи моторы тягачей. Весело потрескивали на окраине выстрелы. Тянул упрямый ветерок.

Нет, все-таки эта смерть отличается от тех, какие я успел увидеть в эти дни.

— Па-а-а и-из-мен-ни-ку ро-оди-ны-ы!.. — запел командир храбрых ребят.

Гудели тягачи, и я слышал, как бьется в груди мое сердце.

— Ог-гоп!!

Я ждал карающий гром, но клочковатый, недружный залп прозвучал невнушительно. Трепыхнулись сумерки от огней, вырвавшись из пяти стволов. Мутно белеющая фигура какое-то время стояла в недоумении, достаточно долго, чтоб успеть почувствовать целую цепь переживаний — сперва мысль: «А ведь промахнулись!» — потом бездумное облегчение, наконец надежда: «Вдруг да холостыми, поугали, теперь помилуют...» — и даже стремительно вызревала вера в это, но не успела вызреть... Окутанный сумерками человек в белье качнулся и повалился вперед, в сторону солдат, еще не опустивших свои винтовки.

Тебя позвали смотреть на спектакль. И стреляли пятеро с десяти шагов, считай, что в упор, — промахнуться трудно.

По привычке пригибаясь, бежал к расстрелянному наш санинструктор с сумкой, чтоб освидетельствовать — дело сделано на совесть.

Зрители подымались. Кто-то усердно работал «катюшей», бил кресалом, чтоб запалить сигарку. Кто-то в тишине сказал в пространство громко и выразительно:

— Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами!

Галчевский дернулся от этих слов, но сразу же обмяк, процедил сквозь зубы:

— Шуточка идиота.

— Пошли, — сказал я.

Чего доброго, Ярик еще наскочит на шутника, примется его воспитывать.

Внизу, на дне балки, сгущались сумерки и бормотала машина. Слышалось застенчивое позвякивание двух лопат...

Я опять вспомнил, что где-то посреди степи сейчас валяется Славка Колтунов, некому его похоронить.

Хлопнула дверка кабины, проскрежетали шестерни коробки передач, мотор забасил, машина развернулась.

Позвякивали лопаты. Трудился кто-то из наших, приезжие занимались только чистой работой.

Там, где было смуглое зарево, небо светилось сейчас пепельным, скучным до безнадежности светом. И по пепельной промоине скатывался огонек осветительной ракеты, как светлая дождевая капля по мутному окну... Это над ротой лейтенанта Мохнатова...

Ярик Галчевский шагал рядом со мной и кипел:

— Отмочил какой-то стервец, нашел время: «Наше дело правое». Но и судейские крючки хороши тоже... Собрали, мол, глядите, в случае чего и вас... Бойся нас пуце немца. Тьфу! Страшны фронтовику эти тыловые красавцы с дудками...

Галчевский кипел, а я слушал его краем уха и вертел в голове святую для меня фразу... Раз дело правое, то враг будет разбит. Враг не прав, мы правы. Раз мы правы — значит, сильны. Правда в конце концов всегда торжествует...

— Я, знаешь, хочу навсегда расстаться с химзводом. Ни пава, ни ворона, каждой дыре затычка. Есть же начхим полка, зачем еще командир химзвода?..

Над участком мохнатовской роты снова выползла ракета, на этот раз — зеленый переливчатый кристалл.

Мне не нравится кипятящийся сейчас без нужды Ярик Галчевский, мне не нравятся те ребята в парадных фуражках, что умело расправились с повозочным из хозроты Иваном Кисловым, и уж, конечно, сам Иван Кислов — гори все, я спрячусь! — правиться мне не может... Но, кажется, больше всех не нравлюсь себе я сам. В простом сейчас заблудился, в трех соснах: «Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами». Очевидно же! Правда всегда побеждает, а вот поди ж ты, враг — неправедный — подошел к самому Дону...

— Возьму стрелковый взвод! Ванька-взводный — позвонок, мелкая косточка в становом хребте армии, на котором все держится!..

Бесплотным зверем бесшумно проскакало мимо нас перекати-поле — клубок колючек, умчалось в темень, в неуютную бесконечность степной равнины.

Но бесконечность степи обманчива, через какой-нибудь десяток-другой шагов эта степь круто ринется вниз из-под наших ног в гущу колючих кустов, растущих вдоль каменистого русла высохшего ручья. Здесь в зарослях дикого терновника прячется несколько землянок — штаб нашего полка. У меня землянки нет, есть окоп, длинная земляная щель, там беспризорно валяются два вещмешка — мой и Славки Колтунова. Был еще третий — Сафы Шакирова, но я его отправил вместе с хозяином в медсанбат. Этот окоп — мой дом. Сейчас доберусь до него, втиснусь в его каменно-твердые глинистые стены, завернусь в плащ-палатку и... провалюсь.

У меня теперь не осталось иного счастья в жизни — только лишь сон.

— «Клевер»! «Клевер»!

«Клевер» не отвечает. Где-то в прокаленной степи перебита тонкая нитка кабеля... Нет этого, я сплю.

Нечисто сладковатый, жирный запах, в примятой пыли валяются липко-черные труны, победно гудят над ними тучи откормленных мух... Нет этого, я сплю.

Нет не вернувшегося с линии Славки Колтунова... Нет потного лица Сафы, его раскосых, блестяще-черных, с каким-то беспомощным птичьим страданием глаз... Нет! Нет! Я сплю.

Пока я сплю, нет войны.

Жаль, что спать мне выпадает в последнее время всего по два, по три часа в сутки.

И жаль еще, что сплю теперь обморочно, без всяких

снов. Увидеть во сне хотя бы задернутое ветхой занавесочкой оконце нашего дома, за ним розовый рассвет с петушиным надсадным криком... Или ныряющий среди распластанных кувшиночных листьев поплавок, в радуге брызг вырванный из воды золотой неистовый окунь... Или склонившееся лицо матери, ее негромкий голос: «Вставай, Володя, в школу опоздаешь».

Не падо, мама, не буди! Как только кончится сон, начнется снова война.

Ночь над стенью, далекая перестрелка. Я еще не добрался до своего окопа, я еще не сплю, но я уже чувствую себя счастливым. Благословенна природа, наградившая нас, живых, способностью на время забывать о жизни.

Но уснуть в этот раз не удалось.

В овраге, хрустя сапогами по каленому камешнику сухого русла, толпилось много солдат, охомуטанных шинельными скатками, с вещмешками, с винтовками, в касках — в полном боевом. На меня с ходу налетел командир роты связи:

— Младший сержант Тенков! В распоряжение командира второго батальона! Не-мед-лен-но! Приказ начальника связи!..

Все ясно. Каждый день наши роты несут потери. Каждую ночь в стрелковые роты уходят нестроевики — обозники, помощники поваров, тыловые интендантские придурки. Даже взвод пешей разведки — аристократы полка, мастера ночных вылазок — занял нынче оборону, как простые автоматчики.

И в ротах всегда не хватает связистов. Чем сильнее огонь, тем чаще рвется связь. Я же — радист без рации, телефонист-катушечник — на подхвате.

Спускаюсь в свой окоп, чтоб забрать вещмешок и скатку. Окоп, куда я возвращался каждую ночь, который считал своим домом... Где-то в другом окопе мне, быть может, удастся перехватить часок до рассвета. То ли удастся, то ли нет.

— Тенков! Володя!..

Меня ищет Ярик Галчевский. Эге! И он тоже — в каске, в плащ-палатке, с вещмешком.

— Нас вместе... В роту Мохнатова! — возбужденно объявляет он мне.

Что ж, я готов.

Степь, ржаво-бурая, прокаленная, ленивенько ползет вверх к истошно синему небу. На гребне под небом даже невооруженным глазом улавливается шероховатая кромка их окопов. За гребнем — птицеферма. Должно быть, это маленький хуторок, несколько саманных, побеленных известкой домов и мутный, с истоптанными грязными берегами ставок. Должно быть... Эту птицеферму никто из наших в глаза не видел, зато каждый о ней слышал.

Птицеферма — самое высокое место в плоской степи.

Через птицеферму немцу легче всего подтянуть к нам вплотную свои танки и мотопехоту.

Птицеферма — трамплин, с которого немцу удобно свалиться на наши головы.

Рота Мохнатова занимала оборону напротив птицефермы. Имя лейтенанта Мохнатова в полку у всех на языке — от командира полка до последнего повозочного в обозе.

Я представлял его себе: дюжий мужчина с окопной небритой физиономией, с длинными руками, болтающимися у колен, — нечто гориллообразное! Мох-на-тов — одна фамилия чего стоит!

От общей траншеи, в которой можно ходить не сгибаясь, на шагок-другой вперед к противнику пробит тесный тупичок. В нем — земляная приступочка-наседник. Это наблюдательный пункт ротного командира. Тут восседает, упиравшись пыльным сапожком в стенку, парнишка в выгоревшей до холщовой белизны гимнастерке. У него матово-смуглое, с мягким овалом, грязное лицо, сухая мочальная прядка из-под пилотки и сипловатый, задиристый, порой даже дающий петуха голос.

— Телефонист! — кричит он с несолидной агрессивностью. — Разыщи мне по проводам эту сволочь мордатую!..

«Сволочь мордатая» — ротный старшина, доставивший ночью слишком мало воды на позицию. Мохнатов угрожает упечь старшину в стрелковый взвод.

Над пыльной пилоткой ротного командира клопочет прозрачный, наливающийся зноем воздух — шуршат, шепелявят летящие через нас тяжелые снаряды, ноют, стелют пули, плетется зловещий шепот заблудившихся осколков. Внизу же, под ротным, на уровне его давно не чищенных сапожек, в тесноте прохладной траншеи идет деловитая и суматошная жизнь переднего края. Сутуловатой рысцей бегает связной Мохнатова, уже известный мне Вася Зяблик. Возле самых сапожек почтительно стоит зачухан-

ный солдатик — пряжка брезентового ремня на боку, гимнастерка в пятнах машинного масла, свисающие штаны, неподтянутые обмотки и неделю — с самого начала нашей фронтовой жизни — не мытое, не бритое, полосатое лицо. Это Гаврилов, лучший пулеметчик в роте, а может, и во всем полку, мастерски давит из своего «максимки» огневые точки противника. Именно он сейчас вызвал гнев Мохнатова на старшину, сообщив, что скоро будет нечего заливать в кожух пулемета. Рядом с ним командир левофлангового взвода Дежкин, пожилой старший сержант грустно-бухгалтерского вида. Он вот уже без малого полчаса терпеливо выпрашивает у Мохнатова пулеметный расчет Гаврилова: «Уж больно стрекунов развелось напротив нас, поугатать надо...» А Мохнатов не говорит ни да, ни нет, дипломатически, с излишней горячностью сволочит старшину:

— Брюхо в обозе нажрал! Морда солдатской задницы толще! При ясном солнышке и не увидишь красавца!..

— Санинструктора!.. Где санинструктор?..

По траншее ведут раненого. Он гол по пояс, правое плечо неуклюже замотано слепяще-белыми бинтами, на выступающих ребрах, по синюшной коже черные проточины засохшей крови. Один солдат теснится сзади раненого, придерживает его из-за спины за здоровый локоть. Второй, рослый, громогласный, выступает вперед, решительно, словно перед дракой, машет руками, взывает к санинструктору.

Мохнатов круто повернулся к ним на своем насесте:

— Пач-чему вдвоем? Пач-чему не всем взводом снялись?! Дежкин! Эт-та твои красавцы?

Но Дежкин ответить не успевает. Лейтенант Мохнатов валится на голову почтительно стоящего под ним пулеметчика Гаврилова. Траншея содрогается от взрыва, со стенок течет песок, с безоблачного неба на секунду надет тень.

Считается, нас не обстреливают, когда каска, положенная на бруствер, не падает со звоном обратно в окоп. Но даже и в такие тихие минуты не высывайся без нужды — «запорошит глаза».

Обычно каска падает в течение всего дня. Но иногда бруствер просто метелит от свинца и стали, траншею лихорадит от взрывов, тут уж каска падает — не успеваешь досчитать до десяти.

— «Клевер»! «Клевер»! Как слышишь, «Клевер»?..

У меня остался тот же абонент, только вчера я ему кричал сверху вниз, из штаба полка: «„Клевер“! „Клевер“!» Теперь кричу снизу, из роты. И как бы ни стреляли, как

бы ни тряслась земля от взрывов, как бы осколочная метель ни гуляла по брустверу, но если «Клевер» нас слышит, все прекрасно, живем — не продувает, от обстрела даже уютней. В земле как у Христа за пазухой, попробуй-ка достань!

Но вот...

— «Клевер»! «Клевер»!..

Тупая немота в трубке.

И я толкаю своего напарника, еще не проснувшегося сую трубку в руку:

— Держи. Я «гулять» пошел.

Днем «гуляем» строго по очереди. При прошлом обрыве «гулял» мой напарник. В более спокойное время... Сейчас — падает каска... Через край окопа пырь, как в пробурь.

Тянется в степь тонкая питка кабеля. Над спиной, над твоей открытой, незащищенной спиной, над самым затылком гуляет многоголосая смерть.

Несложен язык развящейся смерти. Его начинаешь постигать в первые же часы на фронте.

Нежно и тоскующе поют пули, растворяясь в толще воздуха. Не обращай на них внимания — пустышки. Если же пуля взвизгнет коротко и свирепо, обдаст кожу лица колючими брызгами земли — значит, бьет прицельно, значит, вторая или третья пуля может быть твоей, отрывайся от залятого места и беги. Но не на ногах, а на спине, на животе катись по степи — небо, полынь, небо, полынь! — пока пули вновь успокаивающе не зануют в вышине.

Сухо шуршит и пришептывает осколок, тычется где-то совсем рядом, пошарь — найдешь. Тоже не страшен. Он долго блуждал в синеве, потерял свою убойную силу. Может ударить, даже ранить, но не смертельно.

Давящий душу вой, вой, сверлящий мозг... И нет ничего страшнее на войне, когда этот вой обрубается. Краткий миг оглушительной тишины. Многие после этой тишины уже ничего никогда не слышали. Но и тот еще не фронтовик, кто не коченел от нее неоднократно.

Кабель тянется через степь... Никого вокруг, далеко люди, если ранит — далека помощь. В самые опасные для себя минуты телефопист-катушечник воюет в одиночку.

Кабель тянется через степь... Стоп! Не тянется! Вот обрыв!.. Взрывом разбросало концы кабеля...

— «Клевер»! «Клевер»!..

Нет «Клевера»... Сейчас будет. Отыскать отброшенный конец, срастить — минутное дело. Иногда, правда, осколки

рвут кабель в клочья, но все равно невелик труд стянуть и срastить. Велик путь — туда и обратно.

В окне встречает тебя взгляд напарника, в нем уважение и благодарность. Пусть он сам проделывает не раз на дня такие же путешествия, но все равно сейчас благоговеет передо мной, человеком, блуждающим возле того света.

Мы вдвоем обслуживаем деревянный, обшарпанный ящичек с трубкой. О своем напарнике я знаю только, что он сибиряк и что у него странная фамилия — Небаба.

Но сколько раз под затяжным обстрелом я ждал его с тоскливым напряжением! Сколько раз я радовался его возвращению и видел в его глазах точно такую же радость. Он мне родной брат, я ему — тоже, не сомневаюсь. Но что он за человек? Что любит, а что не переносит? Женат или холост, весельчак по характеру или нытик?.. Не знаю даже, молод он или не очень. Под слоем оконной грязи мы все выглядим стариками.

Мы живем тесно и живем по очереди. Один из нас дежурит, другой непременно спит в это время, один выскакивает под огонь на линию, другой остается у телефонной трубки. Встречаемся мы лишь среди ночи, когда приходят полевые кухни, за котелком горячей пшенной сечки. В эти короткие минуты мы говорим не о себе — о деле и о посторонних.

— В первом взводе опять двоих ранило... Аппарат у нас что-то барахлит, должно быть, батареи сели.

— Заземление погляди — окислилось...

Близкие и далекие, братски спаянные и совсем незнакомые.

Я описываю это подробно, словно проходила неделя за неделей нашего сидения в ротной траншее. Нет, прошло всего двое суток, тягостно бесконечных, как ожидание, утомительно кошмарных, как сама война, однообразных, как любые будни.

На исходе вторых суток я услышал оживление на линии.

До меня, «Василька», прорвался с далекого «Колоса» самоличный бас поль первого, командира полка по нашему коду. Потом поминутно стали требовать от «Клевера»: «Срочно к телефону Улыбочкина... Пошлите связного к Улыбочкину... Кого-нибудь из хозяйства Улыбочкина...» Я знал весь полковой и батальонный начсостав и по фамилиям и по номерам. Улыбочкина среди них не наблюдалось. Наконец

в нашей растительной семье появилась новая сестрица — «Крапива». И эта «Крапива» с ходу начала заботиться об «угольках к самовару». Я понял — к нашему батальону при-
дали минометную батарею.

Ночью явился сам командир батальона капитан Пухначев, влез в землянку к Мохнатову, через минуту выскочил оттуда Вася Зяблик. Над изрытой степью, над окопами захоронили в тихой ночи голоса:

— Дежкина к лейтенанту!.. Старшего сержанта Дежкина!.. Младшего лейтенанта Галчевского к командиру роты!..

Мохнатов созывал к себе взводных.

Рядом, шагах в десяти, наш пулеметчик, должно быть Гаврилов, отбил оглушительную очередь: не сплю, поглядываю! С той стороны ответили. Я сидел на дне траншеи, но отчетливо представлял себе, как стороной над темной степью проплывают трассирующие пули.

— Это ты, Володя?.. — Надо мной склонился Галчевский. Его лицо тонуло в глубокой каске, серел в сумерках острый подбородок, на тонкой шее неуклюже висел тяжелый ППД — только что с инструктажа. — Приказ: завтра взять птицеферму, — сказал он, опускаясь рядом. — Капитан Пухначев только что Мохнатову принес.

Я кивнул — мол, давно догадывался, для меня, телефониста, это не новость.

— Мохнатов сомневается, говорит, у нас кишка тонка.

— Мохнатов знает, — ответил я уклончиво.

— Он все-таки малOVER.

Снова оглушительно пробила рядом пулеметная очередь, и снова с той стороны нам ответили. Шла обычная ночная вялая перестрелка. Раз такая перестрелка идет, значит, на фронте затишье. Можно вылезти из окопа, распрямиться во весь рост, встретить кухню, получить свою порцию похлебки, поверить и тихо порадоваться — будешь жить по крайней мере до утра.

От Галчевского в эту тихую минуту исходила какая-то тревожная наэлектризованность, он крутил каской, передергивал плечами и наконец начал говорить захлебывающимся, галопирующим голосом:

— Мы привыкаем к покорности! Мы каждый божий день учимся одному — бессилию! Воет снаряд, летит в твою сторону — останови! Нет, бессилён! Падай, раболепствуй! А наша жизнь на передовой?.. Не смей выскочить даже по нужде, сиди, как подневольный арестант, в яме, выкопанной твоими руками... Погребены заживо, покорны, смирен-

хоньки! Как я хочу... Как я хочу показать им!.. — Галчевский дернул каской в сторону немца. — Черт возьми, показать, как я могу не-на-ви-деть!.. — И вдруг продекламировал:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

На дне окна этот книжный пафос звучал фальшиво, Ярик Галчевский и сам, видно, почувствовал:

— Ах, ерунда! Кривляние от скуки. Он всю жизнь ел на серебре... Не ерунда одно!.. Ходить прямо, а не ползать на брюхе. Зачем они прилезли к нам? Зачем они меня выдернули из дома, не дали учиться дальше? Зачем заставляют волноваться мою мать? У моей мамы очень большое сердце... Не-на-ви-жу!

— Тебе надо отдохнуть, Ярик.

Он недоуменно поднялся, постоял молча секунду и прозвизгнул, спотыкаясь, с глухой дрожью:

— Ты сказал мамины слова... Точь-в-точь... Даже с маминой интонацией...

— «Василек»! «Василек»! — донеслось в трубку.

— Я — «Василек»!..

— Как самочувствие, «Василек»?

— Пока нормальное. Послезавтра спроси.

Дежурный-коммутаторщик при штабе полка сочувственно рассмеялся. Переживу ли я свое завтра — бог весть.

— Я пошел... — Ярик полез из траншеи. Наверху он остановился. — Просили известить каждого солдата: будет общая атака по Красной ракете. Мохнатов ракету кидает...

Я опять лишь кивнул в ответ.

— Если я упаду в этой атаке, то упаду головой вперед. Потому что не-на-ви-жу!

— Лучше не падай.

— Мне себя не жаль. Мне маму жаль. — И пошел легкими, какими-то путанными шажками.

Прогремела пулеметная очередь, грозная и равнодушная. Послушно ответил ей с той стороны немец-пулеметчик. Все в порядке, на нашем участке тихо.

А у Ярика сегодня даже походка непривычная, карусельная, как у пьяного.

Из степи донеслись скрип и позвякивание. По траншее из конца в конец полетели негромкие, приподнятые, почти ликующие слова: «Кухня!.. Кухня пришла!..»

- «Василек»! «Василек»!..
- Я — «Василек»!
- Двадцать девятого к телефону!
- Его нет, он впереди.

Двадцать девятый — лейтенант Мохнатов — сидит, как всегда, на своем командирском насестике, в пяти шагах от меня, чумазый мальчик с мочальной челкой из-под пилотки. Он прилип к биноклю, у него из кармана галифе торчит неуклюжая ручка средневекового пистолета — ракетница, заряженная красной ракетой.

Я решительно вру в трубку, что двадцать девятого нет на КП. Мохнатов слышит, не отрывается от бинокля.

Утром загудел, зашепелявил над нашими головами невидимый поток снарядов. За гребнем, где находилась птицеферма, раздались подвально-глухие удары. Позади нас, совсем рядом заквакали минометы новоявленного хозяйства Улыбочкина — «Крапивы» в телефонном обиходе. Немцы ответили: артиллерия через наши головы — по нашим тылам, из минометов и пулеметов — в нас. Каска надела усердней, чем всегда.

Вот тогда-то и началось единоборство лейтенанта Мохнатова с тыловым начальством.

— «Василек»! «Василек»! Двадцать девятого срочно!

И я послушно протягивал трубку:

— Вас срочно, товарищ лейтенант.

Он пехотя слезал со своего наблюдательного насестика, начинал разговор скучным голосом с шестнадцатым — комбатом Пухначевым:

— Никак невозможно, шестнадцатый... Убийство будет, наступления нет. У своих же окопов ляжем... Под арест?.. Пожалуй, товарищ шестнадцатый. Приезжай и арестуй, милости прошу. Не откладывай в долгий ящик. — И он небрежно совал мне трубку, фыркал: — Меня нет. Во взвод ушел.

Наконец в трубке зарокотал начальственный бас поль первого:

— Быс-стра-а! И-с-пад земли!..

Сам командир полка! На этот раз Мохнатов не отмахнулся биноклем, сполз ленивенько, подошел вразвалочку, но голосом отвечал бодрым, по-уставному:

— Есть, товарищ поль первый!.. Есть!.. Есть!.. Попробуем... Приложим все силы...

Прежде чем вернуть мне трубку, он склонился к моему лицу. И я впервые увидел в упор его глаза: прозрачные, с мелким игольчатым зрачком, набрякшие, оконно-грязные,

старческие подглазницы. Родниковые глаза! Сколько раз они близко видели смерть — свою и чужую? Сколько раз они так вот холодно смотрели сквозь прорезь — чистые глаза, опасно пустые?

— Слушай, кукушечка, — процедил мне в лицо Мохнатов, — я недогадливых не люблю.

И я после этого постарался быть догадливым.

— «Василек»! Приказы не исполняешь! Расстрела захотел, твою мать? Где двадцать девятый?..

— Послали за ним уже трех человек. Не могут пробиться — большой обстрел.

Лейтенант Мохнатов сидит, упираясь пыльным сапожком в глинистую стенку окопа, осторожниенько выглядывает. Средневековая ручка пистолета, заряженного красной ракетой, торчит из кармана, но никто уже из спущующих мимо солдат не ощупывает ее косым, значительным взглядом. Даже на фронте не всякое-то заряженное ружье стреляет.

— «Василек»! Немедленно тяните линию вперед! «Василек»! Приказ быть возле Мохнатова! Ни на шаг не отставать!.. «Василек», повторите приказание!..

— Есть тянуть линию вперед! Есть быть возле двадцать девятого!.. — Я повторяю нарочито громко и вопросительно смотрю в затылок лейтенанта.

Тот небрежно через плечо мне советует:

— Да выдерни ты к едрене матери заземление.

Мохнатов втягивает меня в опасную игру. Оборвать своими руками налаженную связь в самый разгар боя... Ежели высокое начальство это узнает, даже не трибунал, а расстрел на месте, как за прямую диверсию. Но высокое начальство далеко, а Мохнатов близко.

— «Клевер»! «Клевер»! — сообщаю я. — Отключаюсь.

— Только быстренько, «Василек». Только быстренько...

Я выдернул всаженный в землю винтовочный штык, служивший заземлением, положил онемевшую и оглохшую трубку. Исправна линия, исправен аппарат, а связи нет, и со стороны сочувственно смотрит на меня мой напарник Небаба. Ему везет, а у меня даже дежурства несчастливые.

Глаза Небабы сорвались с моего лица, настороженно округлились. Я оглянулся. За моей спиной стоял младший лейтенант Галчевский. Он весь как-то жестко выпрямлен, стальной козырек каски низко надвинут на глаза, затянутый ремешком острый подбородок вздернут, взгляд из-под каски нацелен в спину Мохнатова. И свой тяжелый ППД

он держит в руке возле белесого кирзового голенища стволом вниз.

Ярик Галчевский перешагнул через мои вытянутые ноги, произнес:

— Лейтенант Мохнатов!..

Подбородок вздернут, узкие плечи расправлены, каблуки сдвинуты, руки по швам, кажется, закончит свое обращение по-уставному: «По вашему приказанию явился!» Только вот автомат в руке — стволом вниз.

— Вы срываете наступление, лейтенант Мохнатов!

Мохнатов молча уставился на Галчевского. Сейчас Ярик видит вблизи его глаза. Чистые глаза, опасно пустые!

— Вы не подчиняетесь приказам командования, лейтенант Мохнатов!

— Иди, дурак, в свой взвод, — устало, без злобы, как-то слишком по-взрослому произнес Мохнатов.

— Ради спасения своей шкуры вы...

— Младший лейтенант! Смир-рна!!!

Спина Галчевского, без того натянутая, вздрогнула.

— Кр-ру-гом!!!

С птичьим горловым клекотом выкрик в ответ:

— Вы трус, лейтенант Мохнатов! Я вас презираю!

Локоть Мохнатова медленно, медленно отходит назад, кисть руки ползет по ремню к кобуре.

— Вы подлый трус! Вы шкурник! Вы изменник родины, Мохнатов!..

Синевой неба блеснул вороненый ствол пистолета в руке Мохнатова.

Галчевский передернулся, рванул автомат. Его узкую тощую спину лихорадило — грохот короткой очереди, запоздалый звон выцлюнутой гильзы.

Мохнатов соскользнул со своего наседа, с неестественно серьезным и строгим выражением в широко распахнутых светлых глазах сделал шаг вперед и словно сломался, упал на колени, боднул головой глинистое крошево под кирзовыми сапогами Галчевского.

И тут я увидел связного Васю Зяблика, только что подбежавшего своей сутуловатой трусцой из глубины траншеи. Деревенское губастое лицо парня было сейчас каким-то непривычно чеканным, в глазах появилась мохнатовская родниковая пустота. Вася Зяблик спускал с плеча свой автомат.

Галчевский рывком нагнулся к Мохнатову и так же

порывисто разогнулся, вскинул над каской широкоствольный пистолет-ракетницу.

А Вася Зяблик подымал на него автомат...

Галчевский выстрелил, выплеснулся тугой, перекрученный дым, в синеве неба повисла марганцево-прозрачная капля.

— Р-р-ро-та!! — закричал Галчевский рыдающе и, весь перекутившись, выбросился наверх.

Вася Зяблик держал автомат на весу...

Подавились работавшие на флангах пулеметы, замерли окопы.

— Р-р-ро-та!!

Галчевский стоял на бруствере немислимо долговязый — огромные кирзовые сапожищи рядом, дотянись рукой, а маленькая голова, упрятанная в каску, далеко в поднебесье. А еще дальше — в засасывающей синеве — вишневая переливчатая капля.

А из траншеи замороженно следил за ним Вася Зяблик с автоматом на изготовку, с чужим вдохновенным лицом.

— Слу-уша-ай мою команду! За-а р-ро-оди-ну! За-а Ста-али-и...

До поднебесья долговязая, нескладная фигура качнулась и исчезла.

— Ур-ра-а!!!

Не слухом, а всем телом, кожей, костями я ощутил через землю суету окопов — шевеление, сопение солдат, лезущих вверх из земли к небу.

— Р-ра-а-а!!

Вася Зяблик вдруг засуетился, губастое лицо сразу же утратило опасную чеканность, стало просто озабоченным. Он торопливо выскочил на бруствер, на какой-то миг закрыл от меня полнеба, сутуловатый, устремленный вперед, неприлично могучий... И словно провалился сквозь землю.

— Р-ра-а-а!!

Тускло-серая, ржавая степь, покатаая, словно школьная парта. В ее неторопливом, упрямом устремлении к небу есть что-то щемяще жалкое, обожженная, неопрятная, тянется к непорочно чистому, недоступно высокому — нищета, мечтающая о величии.

Наверное, потому, что сама степь слишком уж велика и просторна, люди в ее бесконечности кажутся слишком вялыми, не спешат, устало бредут к синему небу. Бредут

и подбадривают себя натужным, неуверенным криком:
— Р-раааа-а!

Среди паломников, бредущих к синему небу, возник грязно-желтый ватный ком...

— А-аааа!.. — И смолкло.

Тугой взрыв мягко ударил мне в лицо. Ватный ком распался, поплыл над рыжей, тусклой землей, задевая рассыпанных людей нечистой дымной бородой. Далекое небо, перекрывающее неопрятную степь, в нескольких местах треснуло, из него полилось: тррат-тат-та-та-та! В степи началось кружение, столь же дремотно-вялое, бестолковое... Еще взрыв, еще! Грязно-серые бороды...

И колыхнулся окоп, и вспучилась дыбом земля, закрыла от меня степь, людей, дымчатые бороды. Траншеею залихорадило. Седой дым, жирный дым, живой, свивающийся, пухнувший, и сквозь него острыми потоками текущая вверх земля. Солнце начало играть в прятки — то скрывалось в дыму, то весело выглядывало. Тягуче запели вокруг осколки. Черствый град глинистых комьев забарабанил по брустверу, по пыльным кустикам жалкой полыни, по моим плечам...

Меня тянули сзади за ногу:

— Младший сержант!.. Младший...

На землистом лице Небабы распахнутые, выбеленные небом глаза. Только на дне траншеи я осознал, что случилось: немецкая артиллерия перекрыла путь тем, кто пытался бежать обратно. Стена папичканного осколками дыма, стена вздыбленной земли — не пробьешься...

А солнце играло в прятки, то светило, то скрывалось.

Комья земли еще продолжали падать — редкий, усталый град со знойного безоблачного неба. В воздухе раздался то ли назойливый звон, то ли вкрадчивый свист. Я не сразу понял, что это звенит у меня в ушах. От тишины.

Вспомнил о телефоне — заземление-то выдернуто! Всадил привязанный к проводу ржавый штык.

— «Клевер»! «Клевер»!

Немота, незримое четвертое измерение, где помещались «Клевер», «Колос», «Лютик», «Ландыш», исчезло — глухая стенка.

И Небаба деловито натянул на голову каску. Он всегда надевал каску, прежде чем выбраться из окопа на линию. Его очередь «гулять».

Мелькнули надо мной в небе ботинки с обмотками. В ушах серебряный тонкий звон, тоскуют летящие в высоте

пули, где-то ухнул взрыв, сухой, трескучий, — значит, мина, не снаряд. Тишина. Боже мой, какая тишина!

Только тут я вдруг осознал, что я один... Совсем один во всех окопах. Минут десять тому назад здесь было сто с лишним человек, может, даже двести... Лежат в степи, далеко от меня. Один на все окопы, один перед лицом немцев. Я — маленький, слабый, еще никогда ни в кого не выстреливший, никого не убивший, умеющий лишь сматывать и разматывать катушки с кабелем, кричать в телефонную трубку. И до чего это странно, что я, мирный и слабый, — один перед грозным противником, запугавшим всю незнакомую мне Европу. Я даже не испытывал от этого ужаса, только коченеющую, мертвящую тоску. Один...

Есть еще рядом он... Я успел забыть о нем. Он лежит в своем командирском тупичке, на дне, скрючившись, подтянув под живот колени, уткнувшись спутанными волосами в землю, правая рука неестественно выломлена, на боку зияет расстегнутая кобура, а вороненый пистолет валяется сзади, возле его нечищенных сапог. Так давно он упал под автоматной очередью, что я уже успел забыть о его смерти.

Тишина. Звон серебряных колокольчиков, кожей ощущаю тянущиеся во все стороны пустые, бессмысленные, мертвые ямы.

— «Клевер»! «Клевер»!..

Молчит «Клевер», нет надежды избавиться от одиночества. И я люто позавидовал Небабе. Опять ему повезло! Он тоже один, но не в пустых окопах — в привычной обстановке. Телефонист, выскочивший на неисправную линию, всегда один на один с войной. Нормально.

И раздался звук шагов, шорох одежды. Я ужаленно обернулся: расплывшаяся пилотка, пряжка брезентового ремня на боку, полосатое от грязи лицо, утомленное и бесконечно унылое, — пулеметчик Гаврилов.

Господи! Какой он родной!

Я не могу прийти в себя, а он скребет небритую щеку, морщится, буднично спрашивает:

— Может, нам всем в одно место стянуться?

— Ты... Ты не ходил в атаку?

Гаврилов поглядел на меня с тусклым удивлением, скрипил спеченные губы.

— А ты?

— Я ж привязан... к телефону.

— А я к станковому... С «максимкой» не побежишь... А ручные пулеметики — те все... — Гаврилов горестно вы-

сморкался.— На левом фланге у Дежкина тоже станковый пулемет. Как и мы — два человека.

Как мало надо для счастья. Я не один — и я ликую, в душе, разумеется.

— От всей роты — пятеро...

— Шестеро,— бодро поправляю я.— Небаба мой выскочил на порыв.

— Прощупай давай, может, он уже того...

— «Клевер»! «Клевер»! Нету. А что-то долго. Далеко, видно, обрыв.

Гаврилов уселся возле меня, но сразу же поспешно встал, перешел на другое место. Он увидел в тупичке лейтенанта Мохнатова, бодающего простоволосой головой землю.

— У меня Петька Губин, второй номер, тоже с ума помаленьку сходит. Молитвы вслух читает: «Спаси, господи, люди твоя...» А может, все люди на земле сбесились, Петька-то из нас самый нормальный? — Гаврилов помолчал, подолбил каблуком ямку.— «Спаси, господи, люди твоя...» А из пулемета играет. Там тоже ведь не чурки, падают.— Снова помолчал и с тоскливым, злым убеждением закончил: — Смирным жить на земле нельзя!

В стороне в траншею посыпалась земля, донесся влажный вскрик, и кто-то черный, взлохмаченный бескостно свалился вниз, дернулся, поерзал и затих. Доносилось только тяжелое, со вскрипами дыхание.

Гаврилов медленно-медленно поднялся, вздохнул:

— Оттуда.

Поднялся и я.

Он натужно, со вскрипами дышал, лопатки двигались под бурой гимнастеркой, немолодая, в морщинах коричневая шея.

— Эй, милоч, ты ранен? — спросил Гаврилов.

Гость от туда с усилием пошевелился, сел — черное лицо, яркие, почти обжигающие белки глаз, синие бескровные губы. Разлепив губы, сказал с влажным хрипом:

— Не знаю.

— Кто еще остался там живой?

— Не знаю.

— Может, ранен кто — вытащить?

— Не знаю.

Однако мучительно задумался, на пятнистом лбу проступила тугая вена, заговорил:

— Взводного нашего видел... Дежкина... Ползет, а ног-то

нету. Ползет, а в лице-то ни кровиночки... Дайте пить, братцы.

Но тут я увидел еще одного — вынырнул в глубине траншеи из-за поворота, захромал к нам. По сутуловатой осаночке узнал — Вася Зяблик. Он вел себя очень странно — пробежит с прихрамыванием пять шагов и, судорожно барахтаясь, вылезает наверх, вглядывается куда-то в даль, спрыгивает вниз, а через пять шагов снова лезет... Весь какой-то скомканный, перекошенный, штанина брюк разорвана, без каски, без автомата, недоуменно торчат уши на пыльной плюшевой голове.

— Это ж он, сволочь! Это ж — он! — заговорил изумленным речитативом. — Жив, сука!

И тут же полез наверх, вытянул шею, раскрыл рот, насторожил торчащие уши.

— Так и есть! Он!.. Идет себе... Глядите! Глядите! Он!..

И мы с Гавриловым тоже полезли вверх.

Степь. Она все та же, тусклая, ржавая, пустынная, устремленная к небу. Она несколько не изменилась. Отсюда не видно на ней воронок, не видно и трупов.

По этой запредельной степи шел одинокий человек... во весь рост. По нему стреляли, видно было — то там, то тут пылили очереди. Он не пригибался, вышагивал какой-то путаной, неровной карусельной походкой, нескладно долговязый, очень мне знакомый.

— Жи-ив! Надо же — жив!.. Всех на смерть, а сам — жив! — изумлялся Вася Зяблик лязгающей скороговорочкой.

— Заговорен он, что ли? — спросил Гаврилов.

— Дерьмо не тонет... Но ничего, ничего! Немцы не шлепнут, я его. За милую душу... Небось...

— Брось, парень, не кипятись. Покипятился вон — и роты как не бывало.

— Он лейтенанта шлепнул! За лейтенанта я его... Небось...

— Жив останется — для него же хуже.

Перед нашим бруствером, жгуче всхлипывая, срубая кусты полины, заплясали пули. Мы дружно скатились на дно траншеи. Это приближался младший лейтенант Галчевский, нес с собой огонь.

Он неожиданно вырос над нами, маленькая голова в просторной каске где-то в поднебесье. Визжали пули, с треском, в лохмотья рвали воздух, а он маячил, перерезая весь голубой мир, смотрел на нас, прячущихся под землю, отрешенно и грустно. Серенькое костлявое лицо в глубине

недоступной вселенной казалось значительным, как лицо бога. Затем он согнулся и бережно сел на край траншеи, спустил к нам свои кирзовые сапоги.

Мы стояли по обе стороны его свесившихся сапог и туго таращились вверх.

— Вот я... — сказал он и вдруг закричал рыдающе, тем же голосом, каким звал роту в атаку: — Убейте меня! Убейте его!.. Кто ставил «Если завтра война»!.. Убейте его!!

Мы заворожено глядели снизу вверх, ничего не понимали, а он сидел, свесив к нам сапоги, рыдающе вопил:

— Уб-бей-те!!

Вася Зяблик схватил его за сапог, рванул вниз:

— Будя!..

— «Клевер»! «Клевер»!.. — склонился я над телефоном.

Немота. Я положил трубку и полез наверх.

Небаба лежал всего в десяти шагах от траншеи, зарывшись лицом в пыльную полынь, отбросив левую руку на провод, пересекавший степь. Чуть дальше на спеченной земле была разбрызгана воронка — колючая, корявая звезда, воронка мины, не снаряда.

Ему везло... Братски близкий мне человек и совсем незнакомый. Познакомиться не успели...

Это было началом нашего отступления. До Волги, до Сталинграда...

Я видел переправу через Дон: горящие под берегом автомашины, занесенные приклады, оскаленные небритые физиономии, ожесточенный мат, выстрелы, падающие в мутную воду трупы — и раненые, лежащие на носилках, забытые всеми, никого не зовущие, не стонущие, обреченно молчаливые. Раненые люди молчали, а раненые лошади кричали жуткими, истеричными, почти женскими голосами.

Я видел на той стороне Дона полковников без полков в замызганных солдатских гимнастерках, в рваных ботинках с обмотками, видел майоров и капитанов в одних кальсонах. Возле нас какое-то время толкался молодец и вовсе в чем мать родила. Из жалости ему дали старую плащ-палатку. Он хватал за рукав наше начальство, со слезами уверял, что является личным адъютантом генерала Косматенко, умолял связаться со штабом армии. Никто из наших не имел представления ни о генерале Косматенко, ни о том, где сейчас штаб армии. И над вынырнувшим из мутной донской водицы адъютантом все смеялись с жесто-

ким презрением, какое могут испытывать только одетые люди к голому. У нагого адъютанта из-под рваной плащ-палатки торчали легкие мускулистые ноги спортсмена...

«Наше дело правое...» Чудовищно неправый враг подошел вплотную к тихому Дону. И как жалко выглядели мы, правые. Обнаженная правота, облаченная в кальсоны...

Да всегда ли силен тот, кто прав? А может, наоборот? Правый всегда слабее, он чем-то ограничивает себя — не бей со спины, не подставляй недозволенную подножку, не трогай лежачего. Неправый не знает этих обессиливающих помех. Но тогда мир завоюют мрачные негодяи. Те, кто обижает, кто насилует, кто обманывает. Жестокость станет доблестью, доброта — пороком. Стоит ли жить в таком безобразном мире? Мир, оказывается, не разумен, справедливость не всесильна, жизнь не драгоценна, а святой лозунг «Наше дело правое, враг будет разбит...» — ненужная фраза.

Но даже общее пожарище не выжгло тогда из моей памяти Ярика Галчевского. Минутами я видел его сидящим на бруствере и внутренне содрогался от его крика: «Убейте его!»

Кого?.. Да того, кто ставил «Если завтра война». Странно.

Дева Света! Где ты, донна Анна?..

Ярик любил стихи, еще больше любил кинофильмы. Он знал по именам всех известных и малоизвестных актеров. «Если завтра война»... До войны был такой фильм. «Если завтра...» Война сейчас, война идет, враг на том берегу Дона. «Дева Света! Где ты, донна Анна?» «Убейте его!»

В те дни, оказывается, не я один помнил о Галчевском, кой-кто еще...

Над степью выполз чумацкий месяц — ясный и щербатый. Солдаты спали прямо на ходу, во сне налетали друг на друга, даже не ругались, не было сил.

Пятый день блуждал по степи наш сильно поредевший полк, спали по два часа в сутки, пытались набрести на какой-то таинственный Пункт Сбора. Этот Пункт каждый раз, как мы приближались к нему, оказывался перемещенным в другое место, глубже в тыл, подальше от наступающего противника. Береженого, конечно, бог бережет, а солдату накладно.

Выполз месяц, значит, скоро разрешат привал — самый

большой, ночной. И действительно, головной отряд свернул с пыльного тракта. Обгоняя нас, прыгая по неровностям, прокатила крытая машина.

Мутная при свете луны, отдыхающая степь. Где-то далеко-далеко раскаты. Далеко-далеко, чуть слышна война. Но все-таки слышна, хотя мы, колеся, и уходим от нее, спешим, выматываемся, спим только по два часа в сутки.

Нас подвели к остановившейся посреди степи машине, как могли, выстроили в шеренги, почему-то не разрешили садиться.

Майор Саночкин, заместитель комполка по строевой, досадовал и покрикивал на людей возле машины:

— Давайте, но только быстрее! Быстрее, ради бога! Люди устали!

И тут вывели его... Под жидкий свет луны, к отупевшему от усталости полку...

— Только, ради бога, не тяните резину!

Не было расторопных ребят в твердых тыловых фуражках. Из гущи спутавшихся рядов вытащили шестерых солдат из комендантского взвода, таких же, как и все мы, шатающихся от усталости.

Шестеро солдат, слепо толкаясь, выстроились напротив него. Он высоко держал на тонкой шее маленькую обкатанную голову, был в гимнастерке распояской, в комсоставских синих галифе, но босиком. За ним зыбко лежала мутно-лунная, безбрежная степь.

— Побейте же, прошу вас!

Шестеро парней из комендантского взвода знали — пусть не близко, со стороны — командира химвзвода младшего лейтенанта Галчевского. Теперь уже не младшего лейтенанта, и человеком ему оставалось быть считанные минуты.

Не было расторопных, знающих свое дело ребят. Его не раздели до белья, ему не выкопали даже могилы.

Выступило вперед сразу двое. Один из них осветил бумагу фонариком, другой принялся торжественно читать:

— Именем Союза Советских Социалистических Республик военный трибунал... в составе...

Почему-то эти торжественные слова вносили в душу успокоение. Оказывается, и в бредовой неразберихе отступления кой-где сохранился порядок, кой-кто не забывал о своих обязанностях — жива какая-то дисциплина, жива армия.

— р-рас-смотрел дело по обвинению Галчевского Ярослава Сергеевича, военнослужащего, младшего лейтенанта, тысяча девятьсот двадцать второго года рождения...

Смутная в лунном рассеянном свете степь за его спиной. В полынно настоящий воздух просочился божественно прекрасный запах разваренной свиной тушенки, подправленной дымком.

Сегодня днем на тракте наши задержали какие-то интендантские машины, потому сейчас и пахнет у нас давно забытой свиной тушенкой. Удивительный запах, он гонит прочь усталость, зовет к жизни. Повар комендантского взвода знаменитый Митька Калачев при отступлении оставил на той стороне Дона свою полевую кухню, но — ловок, бестия! — обзавелся банным котелком, умудряется в нем варить даже на ходу, не очень запаздывает с раздачей.

— ...При-говорил!.. Галчевского!.. Ярослава Сергеевича!.. — и умолк, его товарищ погасил фонарик.

Луна висела над необъятной степью, обессиленной, отдыхающей, и далеко-далеко погромыхивала чуть слышная война. Он стоял под луной, вытянув тонкую шею, теребя балахон гимнастерки.

А у организаторов произошла заминка, они топтались и шушукались.

— Кончайте! Что ж вы?.. — снова взъелся на них майор Саночкин.

— Скомандуйте вашим бойцам...

— Нет уж, увольте. Это ваше дело. И только побыстрее, побыстрее, солдаты падают от усталости!

И тогда тот, кто читал приговор, тяжело шагнул вперед, закричал дребезжащим, нестроевым, некомандирским голосом:

— По врагу нашей род-ди-ны!..

Солдаты, не получившие привычной команды взять на изготовку, нескладно, растерянно, вразброд вскинули винтовки.

И тут Галчевский вытянулся, напрягся, и заплескался в лунной степи его звенящий голос:

— Я не враг! Мне ввали! Я верил! Я не враг! Да здравствует...

— Пли!!

У одного из стрелявших в стволе была заложена трассирующая пуля. Она плеснула огненным полотнищем, прошла сквозь узкую, бесплотную грудь Галчевского, полыхнула за его спиной.

Он упал на жесткую полынь, голубую при лунном свете траву.

У его мамы больное сердце...

В воздухе пахло разваренной тушенкой. Занах, обещающий жизнь.

На другой день мы вошли на станцию Садовая, окраину Сталинграда, еще оживленного, еще не разрушенного, не сналенного города. Мы защищали его. В этом городе враг был разбит. Наше дело правое, победа оказалась за нами...

Документальная реплика

Однако не нуждается в подтверждении никаких документов общеизвестный факт, что во время войны, которую мы все называем Отечественной, считаем не без основания народной, за спиной наших воюющих солдат стояли заградительные отряды с пулеметами. Им было приказано расстреливать отступающих.

Не слышал, чтоб когда-либо была попытка выполнить этот не только оскорбительный, но и бессмысленный приказ. Отступающие войска, как бы они ни были деморализованы, далеко не безоружны, а зачастую вооружены и более мощным оружием, чем пулеметы заградотрядцев, — пушками и минометами. И уж конечно, охваченные желанием спастись, отступающие войска, наткнувшись на огонь своих, просто не имели бы иного выхода, как вступить в бой, причем с озлобленной яростью, не сулящей пощады.

Заградотрядники это прекрасно понимали, а потому под победоносным натиском немцев первых лет войны дружно бежали вместе с отступающими, если не с большей прытью.

Декабрь 1969 — март 1971

ОХОТА

Охота пуще неволи

Осень 1948 года.

На Тверском бульваре за спиной чугунного Пушкина багряно неистовствуют клены, оцепенело сидят старички на скамейках, смеются дети.

Чугунная спина еще не выгнанного на площадь Пушкина — своего рода застава, от нее начинается литературная слобода столицы. Тут же на Тверском — дом Герцена. Подалее в конце бульвара — особняк, где доживал свои по-

следние годы патриарх Горький, где он в свое время угощал литературными обедами Сталина, Молотова, Ворошилова, Ягоду и прочих с государственного Олимпа. На задворках этих гостеприимных патриарших палат уютно существовал Алексей Толстой, последний из графов Толстых в нашей литературе. Он был постоянным гостем на званых обедах у Горького, и злые языки утверждают — граф мастерски наловчился сместить олимпийцев, кувыряясь на ковре через голову. А еще дальше, минуя старомосковские переулочки — Скатертный, Хлебный, Ножевой, — лежит бывшая Поварская улица, на ней помещичий особняк, прославленный в «Войне и мире» Львом Николаевичем Толстым. Здесь правление Союза писателей, здесь писательский клуб Москвы, здесь писательский ресторан. Здесь, собственно, конец литературной слободе.

Но, наверное, нигде литатмосфера так не густа, как в доме Герцена. И если там в сортире на стене вы прочтете начертанное вкривь и вкось: «Хер цена дому Герцена!», то не спешите возмущаться, ибо полностью это настенное откровение звучит так:

«Хер цепа дому Герцена!»
Обычно заборные надписи плоски,
С этой согласен —

В. Маяковский!

Так сказать, симбиоз площадности с классикой.

В двадцатые годы здесь находился знаменитый кабачок «Стойло Пегаса»¹. В бельэтаже тот же В. Маяковский, столь нещадно хуливший дом Герцена, гонял шары по бильярду, свирепым басом отстаивал право агитки в поэзии:

Нигде кроме
Как в Моссельпроме!

А под ним, в подвале, то есть в самом «Стойле», пьяный Есенин сердечно изливался дружкам-застольникам:

Грубым дается радость.
Нежным дается печаль.

¹ Уже после окончания повести я неожиданно узнал: увы, не слишком популярный клуб имажинистов под таким названием был не тут, а где-то на Тверской улице. Ни Маяковский, ни Есенин не снисходили до «Стойла», но посещали поэтическое кафе-ресторан дома Герцена. Не исправляю этого заблуждения потому, что все мы пребывали в нем в описываемое время, звонкую вывеску «Стойло Пегаса» принимали тогда как цеховое наследие.

Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.

Но осень 1948 года, давно повесился Есенин и застрелился Маяковский.

А в доме Герцена уже много лет государственное учреждение — Литературный институт имени Горького.

Это, должно быть, самый маленький институт в стране; на всех пяти курсах нас, студентов, шестьдесят два человека, бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев. Там, где некогда Маяковский играл на бильярде, у нас — конференц-зал, где пьяный Есенин плакал слезами и рифмами — студенческое общежитие, в плесневелых сумрачных стенах бок о бок двадцать пять коек. По ночам это подвальное общежитие превращается в судебный зал, до утра неистово судится мировая литература, койки превращаются в трибуны, ниспровергаются великие авторитеты, походя читаются стихи и поется сочиненный недавно гимн:

И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать.

Вокруг института, тут же во дворе дома Герцена и за его пределами жило немало литераторов. Почти каждое утро возле нашей двери вырастал уныло долговязый поэт Рудерман.

— Дайте закурить, ребята.

Он был автором повально знаменитой:

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса!..

Детище бурно жило, забыв своего родителя. «Тачанку» пели во всех уголках страны, а Рудерману не хватало на табачок:

— Дайте закурить, ребята.

Его угощали «гвоздиками».

Где-то за спиной нашего института, на Большой Бронной, жил в те годы некий Юлий Маркович Искин. Он не осчастливил мир, подобно Рудерману, победной, как эпидемия, песней, не свалился в сиротство, не приходил к нам «стрельнуть гвоздик», а поэтому мы и не подозревали о его существовании, хотя в Союзе писателей он пользовался некоторой известностью, был даже старым другом самого Александра Фадеева.

У него, Юлия Искина, на Бронной небольшая, зато отдельная двухкомнатная квартира, забитая книгами. Его жена Дина Лазаревна работает в издательстве, дочь Дашенька ходит в школу. Хозяйство ведет тетя Клаша, нятидесятилетняя жилистая баба с мягким характером и неподкупной совестью.

По всей улице Горького садили липы. Разгромив «Унтерден Линден» в Берлине, мы старательно упрятывали под липы центральную улицу своей столицы. Давно замечено — победители подражают побежденному врагу.

«Deutschland, Deutschland, uber alles!» — «Германия — превыше!..» Ха!.. В прахе и в позоре! Кто превыше всего на поверку?..

Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?..

Великий вождь на банкете поднял тост за здоровье русского народа:

— Потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Все русское стало вдруг вызывать возвышенно болезненную гордость, даже русская матерщина. Что не по-русски, что напоминает чужеземное — все враждебно. Папиросы-гвоздики «Норд» стали «Севером», французская булка превращается в московскую булку, в Ленинграде исчезает улица Эдисона... Кстати, почему это считают, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь! Инсинуация! Выпад против русского приоритета! Электрическую лампочку изобрел Яблочков! И самолет не братья Райт, а Можайский. И паровую машину не Уатт, а Ползунов. И уж, конечно, Маркони не имеет права считаться изобретателем радио... Россия — родина закона сохранения веществ и хлебного кваса, социализма и блинов, классового самосознания и лаптей с онучами. Ходили слухи, что один диссертант доказывал — никак не в шутку! — в специальной диссертации: Россия — родина слонов, ибо слоны и мамонты произошли от одного общего предка, а этот предок в незапамятные времена пасся на «просторах родины чудесной», а никак не в потусторонней Индии.

Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители. Одержать победу и не ощутить самодовольства. Ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной

подозрительностью: а так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь?

«Deutschland, Deutschland uber alles!» Разбитую «Унтерден Линден» усмиренные немцы очищали от руин и отстраивали заново.

На улице Горького садили липы.

В Москве да и по всей стране на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в туники и безжалостно раскрывали скобки.

Охотились и садили липы...

В институте неожиданно самой значительной фигурой стал Вася Малов, студент нашего курса.

Он был уже не молод, принес из армии капитанские погоны и пробитую немецким осколком голову. Говорил он обычно тихим голосом, на лице сохранял ватную расслабленность больного человека, оберегающего внутренний покой, часто жаловался на головные боли, и глаза его при этом становились непроницаемо тусклые, какие-то глухие.

Его выбрали в институтский партком — за солидность, за то, что фронтовик, что не пишет ни стихов, ни прозы, ни эссе, а значит, охотнее станет выполнять общественные обязанности. Выбрали даже не секретарем, а рядовым членом.

И тут-то от заседания к заседанию Вася Малов начал показывать себя. Во-первых, {он любил выступать, говорил длинно, обстоятельно, тихим, бесстрастным голосом, стараясь сам не волноваться и не волновать других. Во-вторых, ему, оказывается, просто невозможно было возразить ни по существу, ни в частных.} Пробитая осколком голова Васи Малова не терпела ни малейших возражений. Он сразу же начинал волноваться, краснел и бледнел одновременно — пятнами, полосами, кричал надрывным голосом, а глаза его наливались безумным мраком. К нему сразу же бросались, успокаивали, поддакивали, извинялись — иначе мог свалиться в припадке, не дай бог, тут же умереть на заседании.

Газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов.

Вася Малов выступал на каждом парткоме, невзволнованно тихим голосом он называл имена: такой-то несет в себе заразу безродности!

Ему не возражали.

Вася Малов указал уже на Костю Левина, на Бена

Сарнова, на Гришу Фридмана, и все ждали, что вот-вот он укажет на Эмку Манделя.

Каждый из нас — кто таясь, а кто афишируя, — претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали — Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока еще не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка.

Он писал стихи и только стихи на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребенка — оды, сонеты, лирические раздумья. И в каждом его стихе знакомые вещи вдруг представляли какими-то вывернутыми, не с той стороны, с какой мы привыкли их видеть. Хорошее часто оказывалось плохим, плохое — неожиданно хорошим.

Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день едва ли
Бывало до календаря.

Шестнадцатого октября сорок первого в Москве была паника, повальное бегство. Позорный день, равносильный предательству. В печати его не вспоминали. Эмка вспомнил, мало того — взглянул на него по-своему:

Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну!
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.

Все поэты в стране писали о великом Сталине. Эмка Мандель тоже...

Там за текущею работой
Жил, воплотивши резвый век,
Суровый, жесткий человек —
Величье точного расчета.

Эмка искренне считал, что прославил Сталина, изумился ему. Другие могли понять иначе. Понять и указать перстом...

Но Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку, едва ли не времен гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эти валенки носили Эмку по Москве и в стужу, и в ростепель, и по сухому асфальту, и по лужам. По мере того как подошвы стирались, Эмка сдвигал их вперед, шествовал на голенищах. Голенища все сдвигались и сдвигались, становились короче

и короче, в конце концов едва стали закрывать щиколотки, а носки валенок величаво росли вверх, загибаясь к самым коленям, каждый, что корабельный форштевень. Видавшая виды Москва дивилась на Эмкины валенки. И шинелка пелеринкой, и островерхая буденовка — Эмку принимали за умалишенного, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало.

Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами.

Вася Малов был коренной москвич, в общежитии не жил. Каждое утро он вышагивал через сквер к институту своей расчетливо бережной походочкой — шляпа посажена на твердые уши, табачного цвета костюмчик, галстук, белая сорочка — вычищенный, без пылинки, отглаженный без морщинки, тишайше скромный, меланхолично отсутствующий, слабый здоровьем, слабый голосом.

— Здравствуйте, — кивок шляпой, неулыбчивый взгляд.

Студенты переставали читать стихи, расступались. Наш и. о. директора спешил поздороваться с Васей за руку. Вася на него не смотрел, прислушивался к себе. А и. о. директора не обращал внимания на неулыбчивость, жал руку, улыбался сам.

Лично меня Вася ничуть не пугал. Я ни по каким статьям не подходил под безродного. Я был выходцем из самой что ни на есть российской гущи, по-северному окал, по-деревенски выглядел да и невежествен был тоже по-деревенски. И сочинял-то я о мужиках, не о балеринах — почвенник без подмеса.

Космополитизм меня интересовал чисто теоретически. Я ворошил журналы и справочники, пытался разобраться: чем, собственно, отличается интернационализм (что выше всяких похвал!) от космополитизма (что просто преступно!)?

Ни журнальные статьи, ни справочники мне вразумительного ответа не давали.

Вся советская литература, которой мы, шестьдесят два студента с пяти курсов, готовились служить, насчитывала тогда каких-нибудь три десятка лет.

Юлий Маркович Искин как литератор родился вместе с нею.

[Революция помешала ему окончить реальное училище, заставила порвать с тетушками и дядюшками, владельцами галантерейных лавочек на Зацепе, преуспевающими подрядчиками, не слишком преуспевающими, средней руки адвокатами. В шестнадцать лет Юлий оказался в паровозоремонтных мастерских при станции Казанского вокзала. В семнадцать он стал плохим слесарем, но отменным активистом — председателем цеховой ячейки комсомола, написал свой первый репортаж о саботажниках на железнодорожном транспорте. Этот репортаж был напечатан в «Гудке», газете, выходящей тогда от случая к случаю. Юлий Искин стал рабкором.]

Рабкоры... Как ни прославлены эти волонтеры революционной прессы, тем не менее мы имеем о них тусклое представление, основанное главным образом на казенных междометиях.

Главная отличительная черта рабкоров — это вопиющая молодость и связанное с ней буйство чувств и незрелость мысли. Великая Октябрьская революция вообще была молода. Сорокасемилетний Ленин не только ее патриарх по авторитету, но и по возрасту. Троцкому тогда исполнилось тридцать восемь, Свердлову — тридцать два, Бухарину — двадцать девять, а рядовому революционеру Фелору Тенкову, моему отцу — всего двадцать один год! В двадцать два он уже был комиссаром полка — отвечал за других, имел право судить и карать.

Рабкорами же становились те, кто жаждал активности, но еще не доспел до признания, а потому сверхвозбудимость, агрессивная честность при ничтожнейшем житейском опыте, порой при отсутствии элементарной грамотности. Они изредка помогали становлению разваленной жизни, но больше путали ее и разваливали по недомыслию.

Рабкора «Гудка» Юлия Искина боялись деповские «мазурики», воровавшие из обтирочной драгоценный керосин, но его боялись начальники служб и дистанций, проверенные в деле спецы. Они требовали дисциплины, а рабкор Искин считал это зажимом, они пытались воевать с уравниловкой, распределяли допталоны на обеды среди наиболее квалифицированных рабочих, а рабкор Искин писал на них — подкуп, разделение на «любимчиков и постылых», нарушение принципа равенства, создание рабочей аристократии.

«Гудок» стал выходить регулярно, Юлия Искина как наи-

более грамотного из рабкоров взяли в штат. [Он печатался на второй и третьей — «серьезных» полосах газеты,] а на последней, четвертой, затейливо-несерьезной, помещал рассказы уже получивший известность Валентин Катаев, гремел рифмами фельетонист Зубило — буйноволосый, приземистый Юрий Олеша, острили и подписывали пока что пустячки совсем никому не известные Илья Ильф и Евгений Петров.

Как-то само собой случилось, что Юлий Искин бросил писать о простых вагонов и начал помещать критические статьи.

Он и в литературе остался рабкором, прямолинейным парнем, который весь мир резко делил на «наше» и «чужое», рабочее и буржуазное. Есенин мелкобуржуазен, значит чужой, Маяковский хоть и горлопан, но насквозь революционен — свой в доску! А в общем: «Я хочу, чтоб к штыку приравнили перо!» Это желание у ринувшихся в литературу рабкоров появилось намного раньше, чем Маяковский вслух его высказал.

Юлия Искина озадачила небольшая повесть. Ее написал не какой-нибудь недобитый белогвардеец, а свой нарень, недавно скинувший красноармейскую шинель. Повесть о гражданской войне, но — странно! — не о победе, а... о разгроме. Она так и называлась — «Разгром». А ведь гражданская-то война кончилась нашей победой, уж никак не разгромом... Паша повесть или чужая, рабоче-крестьянская или буржуазная?..

От повести веяло тем величавым великодушием, которое свойственно только сильным, только уверенным в себе: мы не всегда бывали удачливы, не всегда сильны, умны и справедливы — тоже не всегда.

Юлий Искин впервые в жизни написал нерабкоровскую статью.

Они скоро встретились. Автор «Разгрома» был высок, статен, плечист, трогательно ушасть, улыбка на щекастом лице была подкупающе простодушна, а в веселом подрагивании зрачков ощущалось нечто большее, чем простодушис, — сердечность.

Я никогда не интересовался — любили ли Фадеева женщины? Наверное. Я постоянно слышал о том, как в него влюблялись мужчины.

Сам я Фадеева видел только со стороны.

О нем до сих пор ходят изустные легенды. Одна упрямо повторяется чаще других — легенда о том, как Александр Фадеев разом победил своих литературных врагов.

Называют при этом Авербаха... Позднее Твардовский в беседе с Хрущевым скажет свою знаменитую фразу: «В Союзе писателей есть птицы поющие и есть птицы клюющие». Авербах, похоже, ничего не смел, что запомнилось бы по сей день, исклевал же, как говорят, многих. Он и Фадеев не выносили друг друга, не здоровались при встречах. И это знали все.

Горький в очередной раз давал обед. Присутствовал Сталин с «верными соратниками». Собрался весь цвет нашей литературы — лучшие из певчих, виднейшие из литервятиков.

После соответствующих возлияний, в минуту, когда отмякают сердца, кто-то, едва ли не сам радушный хозяин Алексей Максимович, прочувствованно изрек: «Как плохо, что среди братьев писателей существуют свары и склоки, как хорошо, если бы их не было». Этот проникновенный призыв к миру был почтен всеми минутой сочувственного молчания, скорбные взгляды устремились в сторону Авербаха и Фадеева. Неожиданно поднялся Сталин — с бокалом в руке или без оного, — подозвал к себе обоих.

— Нэ ха-ра-шо, — сказал он отечески. — Оч-чэнь нэ хара-шо. Плахой мир лучше доброй ссоры. Протяните руки, помиритесь! Прашу!

Просил сам Сталин, не шуточка.

И Фадеев, доброжелательный, открытый, отнюдь не злонамеренный, шагнул к Авербаху, протянул руку. Авербах минуту глядел исподлобья, потом медленно убрал руки за спину. Рука Фадеева висела в воздухе, а за широким застольем обмирали гости — великий вождь и учитель погряз в неловкое положение вместе с Фадеевым.

Но Сталин не был бы Сталиным, если б вовремя не предал того, кто потерпел поражение. Он сощурил желтые глаза:

— То-варищ Фадеев! У вас сав-всэм нэт характера. Вы безвольный челавак, то-варищ Фадеев. У Авэрбаха есть характер. Он можэт пастаять за сэбя, вы — нэт!

И, наверное, был восторженно умиленный гул голосов, и можно представить, как пылали большие уши Фадеева, и, наверное, Авербах смесиво надувался сознанием своего превосходства.

Будто бы именно с того случая Фадеев стал круто по-

дыматься над остальными писателями, его недоброжелатели сразу стушевались.

У Фадеева не было характера, у Авербаха он был... Авербаха вскоре арестовали, он бесследно исчез.

Это легенда. Правда? Вымысел? В какой мере?.. Я не знаю. Слышал ее не единожды из разных уст.

Когда у него началось несогласие с самим собой, в какое время? А оно было, неносильное несогласие, от него одна водка уже не помогала, к ней нужны были еще и приятели. И вовсе не обязательно застольные приятели должны петь величальную: мол, велик, неповторим, верим в тебя, верит народ!.. Нужен был общий язык, взаимное понимание и... взаимное восхищение. А это можно найти даже с теми, кто способен произносить всего лишь одну фразу в двух вариантах: «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю!»

Фадеев кидался в запой, пил с собратьями по перу, с высокопоставленными служащими, с истопниками, дворниками, случайными прохожими: «Ты меня любишь?! Ты меня уважаешь?!»

Юлий Искин пропускал рюмку только по праздникам, он никогда не делил с Фадеевым затяжные застолья. Юлий Маркович не находился в числе его приятелей. Он был другом Фадеева, верным и незаметным.

В Доме писателей на бывшей Поварской, в высоком, как колодец, зале, отделанном сумрачным дубом, шло очередное общее московское собрание литераторов. Председательствовал сам Фадеев. Обличали безродных космополитов, называли имена, раскрывали скобки, вспоминали, что такой-то, имярек, лет двадцать тому назад непочтительно отзывался о Маяковском, такой-то нападал на Макаренко, такой-то травил великомученика нашей литературы Николая Островского, кого даже враги называли «святым». И прокурорскими голосами читались выдержки из давным-давно забытых статей. Из зала неслись накаленные голоса:

— Позор!! Позор!!

От обличенных преступников требовали покаяния, тащили их на трибуну. Они, бледные, потные, помятые, прятали глаза, невинтно оправдывались.

— Позор!! Позор!! — Клич, взывающий к мести.

На возвышении за монументальным зеленым столом величаво восседал президиум — неподкупный трибунал во главе с Фадеевым. У Фадеева было спокойное, суровое выражение лица.

Он взял себе заключительное слово. Спокойно, но жестко, без кликушеского надрыва подтвердил состав преступления: «Идеологическая диверсия... Духовное ренегатство... Скрытое предательство по отношению к родине...» И вновь повторил имена, глядя в зал, где среди безвинных людей прятались виновники. И зал дружно ревел Фадееву:

— Позор!! Позор!!

Дружно. Восторженно. Благодарно.

Я находился наверху, на дубовых хорах. Я издалека любовался Фадеевым, его мужественной осанкой, открытым лицом, твердым и неподкупно суровым в эту минуту. Я верил ему.

Среди тех, кому кричали «Позор!», был некий Семен Вейсах, критик, литературовед, старый друг Юлия Марковича Искина.

Все расходились, одни спешили к раздевалке, другие тянулись в ресторан, чтоб за рюмкой армянского «три звездочки» перекинуться парой слов о прошедшем собрании. А Семен Вейсах стоял у стены, прижимаясь спиной к дубовой панели — размягше тучный, лицо серое, изрытое, свинцовое. На этом тяжелом корявом лице сам собою подмигивал глаз, каждому, кто проходил мимо, знакомым и незнакомым.

Вейсах стоял у самых дверей на выходе, и Юлий Маркович медлил в сторонке, мучительно решал про себя: пройти ли мимо, подчеркнуто не замечая друга Семена, или задержаться, приободрить: не все, мол, потеряно...

Юлий Маркович не кричал «Позор! Позор!». Он сидел в зале, слушал и... боялся. Хотя, казалось бы, чего?.. Не участвовал в оппозициях, не имел связей с границей, не примыкал к Серапионовым братьям, как некоторые, даже в критических статьях особенно не нагрешил — хвалил Маяковского, поругивал Есенина, всегда решительно поддерживал Фадеева. Но те, кто сейчас сидит по правую и левую руку от Фадеева, не очень-то хотят считаться с фактами. Они не стихами и драмами завоевали себе славу, а расправой. Им нужны жертвы...

Саша Фадеев отлично знает Юльку Искина. Однако он знал и Семена Вейсаха.

Вейсах, оплывше грузный, постаревший, стоит у выхода, со свинцового лица сам собой подмигивает глаз. Мимо него торопливо проходят и только потом запоздало оглядываются через плечо.

Юлий Маркович, склонив голову, решительной походочкой прошел мимо, боковым зрением уловил, как глаз

друга Семена без участия хозяина подмигнул... Бессмысленный глаз, ничего не замечающий.

Чувство острой неловкости удалось потушить сразу же, еще не доходя до гардероба, на лестнице...

Семен Вейсах тоже ведь бывший рабкор. И, конечно же, рабкоровское, непримиримое в нем живо до сей поры: мир жестоко делится на своих и чужих, середины нет и быть не должно, любая половинчатость предосудительна, если не преступна. Раз твой друг попал в чужие, обязали ты ради дружбы, хоть на пядь, отойти от своих, хоть на секунду стать отщепенцем? Семен Вейсах поступил бы точно так же. Надо только выкинуть из головы изрытое, отяжелевшее лицо, мысленно зажмуриться и забыть сам собой подмигивающий глаз.

А в ресторане Дома писателей среди столиков бродил поэт Михаил Светлов. То тут, то там возникал его ломано-колющий профиль безунывного местечкового Мефистофеля. Михаил Светлов, пока шло собрание, обличали и каялись, кричали «Позор», не терял времени зря, он уже нетвердо стоял на ногах, морщился расслабленно беззащитной и в то же время едкой улыбочкой. А по углам Дома литераторов из уст в уста уже передавалась только что оброненная им острога:

— Я, право, понимаю русских — почему не любят евреев, но не могу понять — почему они любят негров?

Передавали да оглядывались, за такую вольность могли и прихватить.

В детстве над моей кроватью одно время висел плакат — три человека, объятые красным знаменем, шагают плечо в плечо. Негр, китаец и европеец, черный, желтый и белый — три братские расы планеты, знаменующие собой Третий Интернационал. Едва ли не с младенчества любил я негров за то, что черны, за то, что обижены. «Хижину дяди Тома» я прочитал в числе самых первых книг, но ей-ей сердобольная миссис Бичер-Стоу уже ничего не добавила к моему всепланетному любвеобилию.

Михаила Светлова теперь нет в живых, шапочно был с ним знаком, редко виделись... Ах, Михаил Аркадьевич, Михаил Аркадьевич! А ведь мы вместе любили негров. Вы раньше, я вслед за вами. Разве «Гренада» не гимн этой любви?

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Любили далеких негров и испанцев, пренебрегали соседом, а чаще кипуче его ненавидели.

Жена встретила Юлия Марковича в дверях, на мгновение замерла с широко распахнутыми глазами, словно всосала взгляд мужа в провальные зрачки, успокоилась и ничего не спросила.

— А у нас гостя.

Раиса, дочь тети Клаши. Давно уже шли разговоры, что она приедет в Москву погостить.

Сама тетя Клаша была плоскогруда, мослоковата, в угловатости костистого перекошенного тела, в каждой спеченной морщинке на лице чувствовался многолетний безжалостный труд, состаривший, но не убивший выносливую бабу.

Раиса же оказалась угнетающе не похожа на мать: белокожая, грубо крашенная — с расчетом «на знойность» — брюнетка. У нее каменно тупые скулы и мелкие глаза с липкими ресницами, пухлый рот жирным сердечком и вызывающе горделивое выражение буфетчицы: «Вас много, а я одна».

Дина Лазаревна, должно быть, сердилась на себя за то, что гостя не нравится, потому была преувеличенно сердечна:

— Еще чашечку, Раечка?.. Вы варенья не пробовали.

— Нет уж, извиняюсь. И так много вам благодарна. — И отодвигала чашку белой крупной рукой с чинно оттопыренным мизинцем.

А в посадке присмирившей за столом Дашеньки, в округлившихся глазах таилась недоуменная детская неприязнь, быть может, ревность. Дашенька и тетя Клаша до беспамятства любили друг друга.

Клавдия Митрохина — тетя Клаша — выросла в деревне под названием — надо же! — Веселый Кавказ. Этот Веселый Кавказ стоял среди плоских, уныло распаханых полей, открытый ветрам. Здесь даже собаки ленились лаять, а девки и парни до войны ходили на игрища в село Бахвалово за семь верст.

А в войну Веселый Кавказ совсем опустел, какие были мужики, всех забрали, мужа Клавдии одним из первых. Он написал с формировки два письма: «Живем в городе Слободском в землянках, скоро пошлют на фронт», и... ни похоронной, как другим — «пал смер-

тью храбрых», — ни весточки о ранении, ничего — пропал.

В деревне же начался голод, из сенной трухи пекли колбашки, даже старую сбрую, оставшуюся с единоличных времен, сварили и съели. Райке исполнилось семнадцать лет, кожа синяя и прозрачная, глаза большущие, сонливые, с тусклым маслицем, шея и руки тоненькие, а живот большой и тугой. Невеста.

Надо было спасать Райку.

Из Веселого Кавказа сбежать нельзя. Без отпускных справок, без паспорта при первой же проверке схватят на дороге. Вся страна в патрулях, под строгим надзором. Есть только одна стежка на сторону — в лес. Туда не только пропускают, туда гонят. Каждую зиму колхоз выставлял сезонников на лесозаготовки — людей и лошадей.

В лесу давали хлеб. И не так уж и мало — семьсот пятьдесят граммов на сутки, ежели выполнил норму. Но даже мужики не выдерживали там подолгу — с лучковой пилой на морозе, по пояс в снегу, от темна до темна, изо дня в день — каторга.

У Райки означился рискованный характер:

— Пойду, мамка. Что уж, здесь помирать, а там еще посмотрим...

А смотреть-то нечего — костью жидка, одежонка худа, на первой же неделе свалится.

Но поди знай, где наскочишь на счастье. Повезло Райке, что с голодухи ветром ее шатало, куда такой на лесоповал, пусть подкормится — сунули в столовку при лесопункте посуду мыть. Думали на время, а Райка оказалась не из тех, кто свое упускает.

И стали приходить от нее редкие письма:

Здравствуйте, родимая маменька Клавдия Васильевна!

Низко кланяется вам ваша дочь Рая. Мое сердце без тебя, словно ива без ручья. Так что спешу сообщить: живу хорошо, чего и вам желаю. Нынче чай всегда с сахаром и даже с печеньем «Привет». Зовет меня к себе жить Иван Пятович Рычков. Он у нас прораб по вывозке, но уже два месяца заместо начальника. Начальник наш Певунов Авдей Алексеевич стал шибко кашлять, увезли в больницу, должно, скоро умрет от кашля этого и от старости. У Ивана Пятовича в леспромхозовском поселке свой дом, и жена тоже есть, но стара.

А дети совсем большие, одного даже убило на фронте. Такие, как Иван Пятович, нынче на дороге не валяются. И меня тогда сразу переведут из раздатчиц вторым поваром, а может, и вовсе экспедитором сделают, потому что почерк хороший и считаю в уме быстро.

Покуда, до свидания. Ваша дочь — Рая.
Жду ответа, как соловей лета.

До лесопункта проселками от Веселого Кавказа каких-нибудь километров шестьдесят, но письма шли кружным путем неделями. И на каждом письме стоял лиловый штамп: «Проверено военной цензурой».

Райка пила чай с сахаром и печеньем «Привет», а Клавдия давно уже не пробовала чистого хлеба.

Весной начали опухать ноги.

В конце мая перед троицыным днем она почувствовала себя лучше, потому что бригадирша Фроська схитрила — списала остатки семенного фонда, выдала вместо аванса. Клавдия напекла овсяных колобашек пополам с сушеной крапивкой, захлопнула поплотней дверь избы и отправилась к Райке. Родимая доченька, прими мамку, от смерти бежит!

А Райка уже не та — платье новое в лиловых цветочках чуть не лопаются на грудях. Мать перед ней — ноги черные, на плечах полукафтанье — заплаты выкроены из старых мешков, — холщовая сума через плечо. У Райки под бровями, в сумраке раскосых глаз, что-то мечется, словно мышь в кувшине, — нет, не мать к ней пришла, а то старое, от чего сбежала, Веселый Кавказ неожиданно-негаданно нагрянул, проклятая родина.

Холщовую суму Райка набила до отказа: кирпич хлеба, две банки мясных консервов, сахару полкило, большая пачка настоящего чая, четыре брикетика пшеничного концентрата, даже пачечку печенья «Привет» в цветной обертке сунула. Для подарка слишком много, для жизни мало — не растянешь до свежей картошки.

Дочь проводила Клавдию до того места, где от корявой, искалеченной лесовозными машинами дороги отходил в сторону Веселого Кавказа мягкий, травянистый проселок. И тут Райка впервые обняла мать, прижала к себе, заголосила раскаянно:

— Маменька родима-а-я! На погибель тебя отправля-а-ю! Не увидимся боле-е!..

Она шла лесами и полями, миная тихие, оцепеневшие от голода деревни, ночуя то в заброшенной сторожке, то в прошлогоднем стожке сена. И тучное лето стояло вокруг. Радостно зелены были поля, сияюще зелены перелески, листва хранила еще весеннюю праздничность. И садилась отдыхать у родничков, жевала городской хлебец со сладкой поджаристой корочкой, заливала его из берестяных черпачков студеной, травянисто пахучей водицей и радовалась не зная чему. В такую счастливую минуту она набрела на счастливое решение. Пока шагала до дому, все толком обдумала.

В сельповской лавке села Бахвалова на полках с самого начала войны стояли пожелтевшие коробки с порошком «дуст» да деревянные клещи — заготовки для хомутов. Но продавщица Кутепова Мария в глубоких тайничках всегда держала бутылочку «московской», спасенную от продажи по спецталонам. Клавдия предложила Машке Кутеповой обмен — две банки мясных консервов за пол-литра под сургучом.

Председатель сельсовета Афонька Кривой ради советской державы готов был отдать жизнь, и не одну — много, но за бутылку «московской» он бы не пожалел и самой державы. Афонька Кривой написал Клавдии справку с чернильным штампом и круглой печатью.

Она доехала до Москвы и стала просить милостыню возле Курского вокзала, выбирая тех, у кого добрей лица. Она протянула руку к офицеру:

— Христа ради, на пропитание.

Офицер был невысок, шинель нескладно сидела на его узких плечах — рыжие бровки, нос клювиком, мягкие чистенькие морщинки.

— Откуда ты, бабушка?

Разговорились. Клавдия чистосердечно поведала, как бежала из Веселого Кавказа.

Юлий Маркович тогда только что демобилизовался. Всю войну он без особых тягостей прослужил во фронтовой газете, часто наезжал в Москву. Шинель с погонами майора он донашивал последние дни, несколько книжных издательств нуждались в его сотрудничестве, жена тоже работала, росла дочь, и ее не с кем было оставлять дома.

«Бабушка» оказалась старше его всего на три года. Поразили ее глаза — ненастно серые, ни боли в них, ни надежды, одно лишь бездонное терпение, глаза русской дерев-

ни, перевалившей через самую страшную в истории человечества войну.

Одиссея, начавшаяся в Веселом Кавказе, окончилась на Большой Бронной.

У порога нашего института, заполняя скверик, сиял бронзовый вечер. За сквериком, стороной, рыча, гроыхая, давясь гудками, шелестя шинами, суетно и дерганно, равнодушно и напористо катился мимо город — нескончаемый поток необузданных машин и неприметно тихих прохожих.

Он был одним из этих тихих прохожих. В тщательно вычищенном пиджачке с протертыми до белизны локтями, в тусклом галстучке, в умеренно отглаженных, со следами выведенных пятен брючках, с бледной немочью горожанина на узком лице, которую, впрочем, можно принять и за невыстраданную грусть.

Случайный человек оказался возле нас, нескольких бездельников, глубокомысленно наслаждающихся ласковым вечером. Тут не было ничего необычного, институтик карманного размера, готовящий стране писателей, вызывал у многих острое любопытство и... недоумение:

— Чему вас тут учат?

Мы гордились своей исключительностью и отвечали с величавой неохотой:

— Тратить стипендию.

Нам платили самую маленькую стипендию, какая существовала в институтах. Студенты технических вузов получали втрое больше нас. Нам ничего не оставалось, как презирать сребролюбие.

На этот раз прохожий, завернувший к нам с панели, не спросил, а сам стал нам объяснять — чему нас учат.

— Это ловко кто-то придумал спрятать молодых писателей под одну крышу, под одну шапку! — заговорил он, разглядывая нас корыстными глазами барышника. — Да здравствует единомыслие! «Весь советский народ как один человек!» >

И мы изволили обратить на него внимание: узкое лицо, хрящеватый нос, язвительная улыбочка на бледных губах и подрагивающее острое коленко, и худая, как коршуны лапа, рука вкопталась в пиджачный лацкан.

Кто-то из нас удостоил его ленивым ответом:

— Учение — свет, неучение — тьма, дядя. Неужели не слышал?

— Добронравная ложь, молодые люди. Не всякое учение свет. — Он глядел на нас с оскорбляющей прямизной и улыбался, похоже, сочувственно.

— Хотите сказать, что нас тут губят во цвете лет?

— О вас проявляют отеческую заботу. Думай, как все, шагай по струнке: «Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег».

— И куда же мы ушагаем, по-вашему?

— Уже пришли... В гущу классовой борьбы, классовой непримиримости, классовой ненависти. Вас учат ненавидеть, молодые люди.

— Классово ненавидеть, не забывай, дядя.

— А что такое классово?

Мы переглянулись. С таким же успехом нас можно было спросить, что такое красное или желтое, соленое или сладкое. Столь наглядно очевидное — не было нужды задумываться.

— Маркса надо читать, дядя.

— Маркс, молодые люди, в наше время попал бы в крайне затруднительное положение. Он делил мир просто — на имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых, ненавидь одних, защищай других! А ведь сейчас-то эти имущие эксплуататоры — фабриканты там или лавочники со своими частными лавочками — фюить! Ликвидированы как класс. Так кого же классово ненавидеть, кого любить?

— Частные лавочки исчезли, дядя, а лавочники-то в душе остались. Они глядят не по-нашему, думают не по-нашему.

— Думай, как я, гляди, как я, — единственный признак для определения классовости? А что если кто-то думает глубже меня, видит дальше меня? Или же такого быть не может?

— Не передергивай, дядя. Можешь думать не так, как я лично думаю, но изволь думать по-нашему.

Незнакомец глядел на нас с сочувствием столь откровенным, что оно казалось бесстыдным.

— По-нашему?.. А кто мы? Мы-то ведь тоже разные, среди нас могут быть профессора, могут быть и дворники... Согласитесь, профессору не так уж трудно понять ход мыслей дворника, а дворнику же профессора — не всегда-то под силу...

— Что ты этим хочешь сказать?

— А то, что не по-дворнически думающий профессор чаще станет вызывать подозрение — не классовый ли он враг.

Мы снова переглянулись.

— И еще хочу напомнить, — продолжал незнакомец, — что дворников в стране куда больше, чем профессоров, молодые люди.

— «Восстань, пророк, и виждь и внимли!» Кто ты, пророк?

Тонкие губы незнакомца презрительно скривились.

— Увы!.. Я всего-навсего прохожий, который переходит улицу в положенном месте. Но когда нет рядом милиционера... хочется перебежать. Надеюсь, вы не из милиции, молодые люди?

— Не бойся, дядя. Мы лишь члены профсоюза.

— Очень рад. Тогда разрешите...

Он церемонно отбил нам поклон, показав вытертую макушку в жидких тусклых волосиках, и, вцепившись когтистыми пальцами в лацкан пиджака, подрагивающей походкой гордо удалился через сквер.

А город за сквериком лился мимо нас, рыча, покрикивая недоброжелательными гудками — необузданно шумные машины и тихие прохожие, переходящие улицы в положенном месте. И нас обступают молчаливые дома, тесно, этаж над этажом набитые все теми же прохожими, вернувшимися с разных улиц. Как приятно знать, что кругом тебя единомышленники. «Весь советский народ как один человек!» И как тревожно и неуютно, когда вдруг обнаруживаешь — есть отступники, не похожие на тебя! Нарушена великая семейственность, оскорблено святое чувство всеобъемлющего братства.

Тощий человек с узким лицом, с хрящеватым носом, пророк в потертом пиджачишке, неизвестно откуда появившийся, неизвестно куда исчезнувший. Не пригрезился ли он?..

Мы молчали и слушали шум вечернего города.

Из института вышел Вася Малов, необмятая шляпа на твердых ушах, защитный плащик поверх табачного костюма, кроткая усталость на лице и потасканный портфельчик под мышкой. Он остановился, потянул носом воздух, насыщенный запахом увядшей зелени и бензинового перегара, выдохнул:

— Вечерок... Да-а.

И в эту короткую минуту, пока Вася Малов с тихой миной, в расслабленном умилении стоял рядом со мной,

я против воли вдруг испытал вину — сделал что-то нехорошее, нашалил, боюсь быть уличенным. Странно...

Я ведь не перебежал дорогу в недозволенном месте. Всего-навсего я видел, как это сделал другой.

Отчего же неловкость? Почему вина?

Все молчали и слушали город.

— Вечерок... Да-а... Счастливо оставаться, ребята. До завтра.

Вася Малов ступил на землю, бережно пронес на твердых ушах свою необмятую шляпу через сквер на бульвар — личный вклад в общий поток. «Весь советский народ как один человек...»

Оказалось, Раиса приехала не просто погостить. В последнее время она работала в леспромхозовском орсе, там случились крупные неприятности, на Раису пытались повесить чужую растрату. И с Иваном Пятычем пора было кончать. Он собирался разводиться с законной женой, а какой расчет связывать свою жизнь со стариком, когда молодые вернулись. Раиса намеревалась пустить корни в Москве.

Все это сообщила Юлию Марковичу тетя Клаша, ворча на дочь и вздыхая: «Не ндравится лисоньке малинку есть, на мясное, вишь ли, потягивает». Клавдия дочь не особо одобряла, но... помоги, Юлий Маркович.

Стихи и романы русских классиков, революционные лозунги, культура и политика, собственная совесть и государство — все изо дня в день, из года в год требовало от Юлия Марковича преклонения перед народом. Перед теми, кто пашет и стоит у станков, лишен образованности, но зато сохранил первозданную цельность, не философствует лукаво, не рефлексировать, не сентиментальничает, то есть не имеет тех неприглядных грехов, в каких погрязла интеллигенция. К интеллигенции как-то само собою ложатся непочтительные эпитеты, вплоть до уничтожающего — «растленная». Но чудовищно даже представить, чтоб кто-то осмелился произнести: «Растленный народ». Такого не бывает.

В последнее время слово «народ» получило новый заряд святости в сочетании со словом «русский». Украинский народ, казахский народ, узбекский, равно как народ манси, народ орочи — звучит, но не так. Сказано Сталиным, вошло во все прописи, узаконено: русский народ «наиболее

выдающийся... руководящий народ». Народ из народов, не чета другим!

Тетя Клаша, баба из деревни Веселый Кавказ, — чистейший образец этого руководящего народа, честна, проста, не испорчена самомнением — золотая песчинка высокой пробы. И, конечно же, она по простоте своей неиспорченной души не подозревала о собственном величии.

— Деревня-то наша из самых что ни на есть никудышных. Нас-то кругом «черкесами» звали, обидней прозвища не было. Эвон, мол, «черкес» едет. А едет-то он, сердешный, на разбитой телеге, и лошадь-то у него на ходу валится, и обраться-то — веревочка, и сам-то «черкес» лыком подбит...

Юлий Маркович считал своим долгом открыть ей на все глаза:

— Вот уж, Клавдия, оглянутся наши дети и внуки на таких, как ты, никудышных, памятники вам поставят.

— Чем же сподобились?

— Не малым. Мир спасли.

— Ишь ты, прежде-то один спаситель был — Христос, посла-то, выходит, многонько спасителей будет.

— Ты слыхала о нашествии татар?

— Как же. И пословица есть: незванный гость хуже татарина.

— Так вот немцы почище татар. Франция им двери с поклоном открыла, Англия от страха обмирала, Америку хлипкий японец бил. Казалось, на всем свете нет силы, которая остановила бы новых татар. Остановили мы.

— Слава те господи.

— Не господу слава, а тебе, Клавдия. Таким, как ты, которые кору жрали, а хлебом кормили и фронт, и тыл, и нас, захребетников-интеллигентов. Выносливости твоей слава, простая русская баба. Спасибо, что сама выжила и миру жизнь вернула...

Открывая глаза Клавдии, Юлий Маркович испытывал возвышающее очищение. Он не ел лепешек из толченой коры, не мерз в окопах. Он не мог сказать сейчас русской бабе Клавдии: «Нас с тобой побратала жизнь». Побратать могла лишь предельная искренность: ставлю тебя по заслугам выше над собой, не сомневаюсь, что поймешь меня, не осудишь, ибо я сам уже себя осудил.

И еще тем усердней он возвеличивал Клавдию перед Клавдией, что в последнее время постоянно чувствовал к себе настороженность: «Ты не тот, кто способен оценить все русское». Ан нет! Если его дед носил

пейсы, это не значит, что русское закрыто для него.

Клавдия олицетворяла русский народ, а вот родная дочь ее, тоже ведь прошедшая через чистилище Веселого Кавказа, наглядно русской почему-то не казалась. Раиса держалась обходительно: «Доброе утро вам... Извиняюсь... Много вам благодарна...» Но каменные ресницы, манерно оттопыренный палец, выправочка буфетчицы — как не похожа она на свою простую, родственно понятную мать!

Мать просит: «Помоги!» То есть приюти, оставь под своей крышей, введи в свою семью.

Как-то раз Юлий Маркович застал Раису за странным занятием — обмеряла веревочкой простенок в коридоре. Увидела Юлия Марковича, сунула веревочку в карман, похоже, смутилась, но только чуточку.

— Что это, Рая? — спросил он.

Она помедлила, глядя мимо, чопорно ответила:

— Сервапт бы вам лучше сюда вынести, как раз встанет.

И ушла, ничего больше не объясняя, — голова в надменной посадочке: «Вас много, а я одна».

Старый сервант стоял в комнате Дины Лазаревны и Дашеньки. Зачем его выносить в тесный коридор? Юлий Маркович так ничего и не понял.

Ночью, перед сном, он вспомнил этот случай и рассказал жене. Дина Лазаревна долго молчала и вдруг тихо призналась:

— Я боюсь.

— Чего, Дина?

— Всего... И ты ведь тоже, не притворяйся... Юлик, хочу, чтоб она уехала.

Он помолчал и мягко возразил:

— Дина, вспомни Чехова.

— Что именно?

— Вспомни, как он говорил: надо, чтоб под дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и напоминал стуком, что есть несчастные. Дина, до сих пор мы были непозволительно счастливы. Она ела толченую кору. Нам стучат, Дина, а мы не хотим слышать.

Из окна падал свет уличного фонаря, освещал корешки книг и внушительный медный барометр, подарок одного морского капитана Юлию Марковичу. В эту осень барометр неизменно показывал «ясно». Над Москвой стояло затяжное бабье лето.

Со стены нашего общежития отсыревшим голосом кричал репродуктор:

— Новое снижение цен на продукты массового потребления!.. Рост экономического благосостояния!.. Расцветание!..

На моей тумбочке лежит письмо матери. Мать пишет из села:

«Картошки нынче накопила всего три мешка. Да мне одной много ли надо — проживу. Меня шибко выручает Маруська Бетехтина, она торгует сейчас в дежурке. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Карточки-то отменили, а хлеб у нас все равно по спискам продают. Для районного начальства по особым спискам даже белый хлебец отпускается. Через Маруську-то и мне его перепадает. А вот сахару у нас нет ни для кого, даже для начальства...»

Надо матери послать килограмма два сахара. Такие расходы мой тощий карман как-нибудь выдержит.

— Очередное снижение!.. Рост благосостояния!.. Расцвет жизни!..

В Москве сахар не проблема. В бывшем Елисейском на площади Пушкина прилавки ломятся от разных продуктов: колбасы всех сортов, окорока, художественно разрисованные торты, монолиты сливочного масла... Но из Москвы я не смогу отправить сахар матери — продуктовые посылки в городе не принимают. Придется сесть на электричку, уехать куда-нибудь под Загорск, подальше от столицы, оттуда отправить ящичек с двумя килограммами сахара в наше село, где хлеб распределяется по спискам и начальство пьет несладкий чай.

Радио бравадно наигрывает и хвалится:

— Снижение!.. Рост!.. Расцветание!..

Я подсчитал: от такого снижения в месяц сэкономлю... два рубля. Обед в столовой стоит худо-бедно пять рублей. «Снижение!.. Расцветание!..»

Эмка Мандель сидит на своей койке, чешет за пазухой, сопит, смотрит в одну точку и неожиданно рождает четверостишие:

— А страна моя родная
Вот уже который год
Расцветает, расцветает
И никак не расцветет.

Радио восторженно играет, мы смеемся.

— Талант — штука опасная! — вдруг изрекает из угла некто Тихий Гришка.

Ему уже за тридцать, среди нас он считается стари-

ком, всегда молчалив, всегда обособлен, в своем углу, как крот в норе. Но если он раскрывает рот, то почти всегда выдает закругленную истину — банальность и откровение одновременно.

Эмка отбивает мяч:

— Старик! Ты в полной безопасности!

Должно быть, Раиса родилась под счастливой звездой. Все получилось неожиданно легко и быстро. Без помех отыскался старый знакомый Семена Вейсаха, который когда-то помог прописать Клавдию. Он по-прежнему работал в горисполкоме, занимал еще более высокое место, слышал о беде Семена, сочувствовал ему, готов был исполнить просьбу Юлия Марковича. Телефонного звонка в отделение милиции было достаточно, чтобы на периферийный паспорт Раисы поставили штамп: «Прописана временно». С Юлия же Марковича взяли лишь расписку, заверенную жилуправлением, что не возражает прописать на свою площадь гражданку Митрохину Раису Дмитриевну.

Операция проводилась с помощью имени Семена Вейсаха, а потому его пригласили на чашку чая. Юлий Маркович никак не мог забыть свинцового лица друга Семена, его самостийно подмигивающего глаза.

В пятнадцать лет Вейсах воевал у Котовского. Легендарный комбриг, как говорят, ласково называл его: «Образцово-показательный жид у меня». Вейсах специализировался по военной литературе, участвовал в свое время в разных объединениях — ВАППе, ЛЕФе, ЛОКАФе, из писателей больше всего чтит своего старшего друга Матэ Залку, в свое время рвался вместе с ним в Испанию, но что-то помешало — не уехал, еще недавно он носил на пухлых широких плечах полковничьи погоны. Сейчас у Семена на висках проступила нездоровая маслянистая желтизна, крупная нижняя губа отвалилась, как у деревенской заезженной лошади, во влажных глазах неизбывная печаль детей Авраамовых. Он пил чай, грустненько, в осторожных выражениях сообщал: «Воениздат» передал сборник очерков о партизанах другому составителю, договор на его книгу о Петре Вершигоре расторгнут...

Клавдия подсовывала Семену бутерброды с колбасой, вздыхала, а Раиса разглядывала его внимательным взглядом, словно оценивала про себя надетый на Семена пиджак. И Семен, должно, чувствовал этот взгляд, горбился, блуждал печальными глазами по сторонам.

— Юлик... — негромко произнес Семен после мучительного молчания, — Ася недавно продала свою шубу... И вот мы опять... без конейки.

— Да ради бога, Сима!..

Дина Лазаревна сорвалась с места, исчезла в соседней комнате, через полминуты вернулась с деньгами. Семен меланхолично их принял, опустил в карман и встретился взглядом с Раисой, веко его дернулось и глаз вызывающе подмигнул. Раиса равнодушно отвернулась, а Семен сразу заторопился:

— Мне нора... Уже поздно.

Юлий Маркович проводил его до дверей. В шляпе, в плаще, неповоротливо громоздкий Семен взял ватной рукой за локоть, дыхнул в лицо запахом только что съеденной колбасы.

— Юлька... — почти беззвучно шевельнул он отвалившейся лошадиной губой, — берегись!.. — И качнул в сторону комнаты подбородком, где вместе со всеми за чайным столом сидела Раиса, произнес вслух, извиняясь: — Я теперь стал ясновидящим.

Он боком вывалился на лестничную площадку, оставив после себя тревожное предчувствие беды.

Беда вошла в дом через щель почтового ящика в служебном конверте со штампом вместо марки. Ничего особого — бумажка из парткома, Юлия Марковича просили явиться в назначенное время.

Секретаря парткома Юлий Маркович близко не знал; платил ему членские взносы и раскланивался в коридорах Дома литераторов. Ширпотребовский мятый костюмчик, обкатанная голова, простоватое лицо — когда-то что-то нанисал и напечатал, в свое время с должными усилиями прошел в члены Союза, не переживал головокружительного литературного успеха, ordinarily скромно. Заурядность выдвигает людей чаще, чем дерзкая энергия и яркий талант. Заурядные никого не пугают. На тайных голосованиях эти люди получают подавляющее большинство голосов.

Секретарь парткома долго рылся в ящике письменного стола, и лицо его, кроме привычной озабоченности, выражало сейчас брюзгливенькое несчастье: «Вы тут черт-те что вытворяете, а я расхлебывай».

— Вот... — он вынул нужные бумаги, положил на них ладонь и взглянул на Юлия Марковича не начальствен-

но, не строго, а скорей с досадою. — На вас поступила... М-м-м... Скажем так — жалоба.

— От кого?

Секретарь парткома пожал плечами, считая вопрос неуместным, продолжал:

— Надо признать — крайне глупая. Вот извольте, что стоит такое: «Кто это письмо прочтет, тот правду найдет...»

Тоскливенький холодок поплыл из глубины, от живота к горлу. Клавдия часто показывала Юлию Марковичу письма Раечки, он знал ее стиль: «Мое сердце без тебя, словно ива без ручья...»

— Вы, кажется, знаете, кто автор?

— Догадываюсь. Так что она там?..

— Она... гм... она пишет... } «Член партии, писатель Искин Юлий Маркович принимает у себя дома подозрительных людей, которые ему жалуются на Советскую власть. Искин Ю. М. снабжает их деньгами на тайные цели. Он, Искин Ю. М., полный двурушник — в разговорах хвалит русскую нацию, а как на деле, то ненавидит. Простую русскую женщину, которую он у себя держит в прислугах, выпихнул на кухню, а сам живет в двух комнатах — одна шестнадцать квадратных метров, другая двадцать два...» — Секретарь, поморщившись, отодвинул письмо: — Вот, чем богаты, тем и рады.

«Сервант бы вам лучше сюда вынести...» До того, как он, Юлий Маркович, помог прописаться, она уже обмеривала веревочкой его жилплощадь.

— Вы хотите, чтоб я оправдывался? — спросил Юлий Маркович.

— А что делать? Мы обязаны внюхиваться, вы — очищаться.

— Письмо без подписи?

— Да, анонимка.

— Даже при царе Алексее Михайловиче не принимали анонимок. Каждый, кто кричал «Слово и дело!», должен был называть себя.

— При царе Горохе, может, и так, а я вот не могу выбросить этот букетик. Вписано в книгу, пронумеровано — документ!

— Тогда разрешите на него официально вам заявить: я не принимал у себя антисоветски настроенных людей, не вел с ними подрывные разговоры, не снабжал их деньгами на тайные цели... Вас это устроит?

— Вполне. Напишите объяснение, что у вас никто

не бывал... кто бы вас мог как-то скомпрометировать. Секретарь ждал краткого и решительного — никто. Но Юлий Маркович не мог так ответить. Соврать ради простоты столь же опасно, как выбросить в мусорную корзину анонимку.

— У меня бывал Вейсах... Семен Вейсах... Мы с ним двадцать пять лет знакомы.

Секретарь парткома тоскливо отвел глаза, и лицо его сразу же стало брюзгливо несчастным.

— Не хочу допрашивать вас, о чем вы там с ним говорили, но надеюсь... надеюсь — вы хотя бы не давали ему денег.

— Давал... Он сейчас без копейки.

В громадной, отделанной черным дубом комнате с величественным камином, где в углу сиротливо (за неимением другого места) ютился стол секретаря парткома, наступила тишина.

— Худо, Юлий Маркович, худо... — произнес наконец секретарь. — Я не хотел это выносить на обсуждение комитета... Не могу.

Это «не могу» были последние дружелюбные слова — взгляд стал скользить куда-то мимо уха Юлия Марковича, лицо обрело деловую сухость.

Позднее Юлий Маркович вспоминал об этом человеке только с обидой. Как быстро в нем иссякло сочувствие! Как легко он согласился на «не могу»! Как мало в нем было человеческого!

Но что бы ты сделал на его месте?

Выбросил письмо-анонимку в мусорную корзину, зная наперед, что при первой же проверке документации обнаружилось бы — исчезла бесследно бумага под входящим номером таким-то?

Или отмахнулся от факта, что такой-то имярек принимал человека, обличенного в нелояльности, ссужал ему деньги?

Но ты, конечно, постарался хотя бы посочувствовать — не глядел бы мимо, не корчил бы постную рожу.

Отказать в помощи и посочувствовать — экая добродетель! Куда честней откровенно признаться: не могу по справедливости, могу только по-казенному. Бесчувственное лицо, взгляд мимо.

Но иногда же нужно и через не могу. Во имя человечности будь подвижником!

Напрашивается вопрос: каждый ли на это способен?

Честно спроси себя: способен ли ты?

Ну, а если даже способен, то новый вопрос, уже совсем крамольный: так ли спасительно благородное подвижничество?

На минуту представим себе нечто невозможное: например, все сытые в голодном тридцать третьем году стали вдруг подвижниками, решили в ущерб себе делиться с голодающими последним куском хлеба. Невозможно, но представим — все сытые подвижники! И что же, спасет их подвижничество страну от голода? Увы! Причина голода не в том, что кто-то чрезмерно обжирается. Нужны какие-то иные меры, не подвижничество, иная деятельность, не столь героическая и красивая.

Джордано Бруно подвижнически взошел на костер. Но прежде он открыл некие секреты мироздания, создал новые теории. Сначала создал, а уж потом имел мужество не отказаться от созданного.

А вот Галилей таким мужеством не обладал или же не считал нужным его проявлять. Он отрекся от своих теорий, его подвижничество подмочено. Но благодарное человечество все-таки чаще обращается к имени Галилея, чем к Джордано Бруно. Просто потому, что Галилей больше создал для науки.

До сих пор люди еще не желают понять, что мужество без созидания — бессмыслица!

Изменить жизнь подвижничеством, делать ставку на некие героические акты. Нет! На такое можно решиться не от хорошей жизни. Да и не от большого ума.

Не мной первым сказано: «Несчастлива та страна, которая нуждается в героях».

Только Дашенька легла спать. В стенах, тесно обложенных книгами, собралось все население квартиры — Дина Лазаревна с цветущим красными пятнами лицом, Клавдия, приткнувшаяся на краешке дивана, и Раиса, плотно опустившаяся на предложенный стул.

Она подрагивает крашеными ресницами, глядит в сторону — губы обиженно поджаты, скулы каменны. Юлий Маркович возвышается над ней. Он старается изо всех сил, чтоб голос звучал спокойно и холодно.

— Раиса Дмитриевна! Прошу ответить!..

Суд при всех, суд на глазах ее матери. Он не продлится долго. Юлий Маркович вынесет приговор и протянет

руку к двери: «Убирайтесь вон! Вам здесь не место!»

Поддрагивающие угольные ресницы, обиженно поджатые губы, упрямая твердость в широких скулах. Она начнет сейчас оскорбляться: «Ничего не знаю, напрасно вы...» Не может! Рука в сторону двери: «Вон!» Неколебимо.

Но Раиса, метнув пасмурный из-под ресниц взгляд, порозовев скулами, проговорила с вызывающей сипотцой:

— Ну, сделала...

Юлий Маркович растерянно молчал.

— Потому что должна же правду найти.

— Правду?

— Образованные, а недогадливые. Вы вона как широко устроились — втроем в двух комнатах с кухней, а нам у порожка местечко из милости — живите да себя помните. А помнить-то себя вы должны, потому что люди-то вы какие... Не забывайте! — Упрямая убежденность и скрытая угроза в сипловатом голосе.

— Какие люди, Раиса Дмитриевна?

— Да уж не такие, как мы. Сами, поди, знаете. Разрослись по нашей земле цветики-василечки, колосу места нету.

Прямой взгляд из-под крашенных ресниц, прямой и неломкий, с тлеющей искрой. И Юлию Марковичу стало не по себе. Эта женщина ничем не может гордиться: ни умом, ни талантом, ни красотой, только одним — на своей земле живу! Единственное, что есть за душой, попробуй отнять.

Юлий Маркович обернулся к Клавдии и увидел в ее глазах и в ее печальной вязи морщинок мягкую укоризну: «Ты что, милушко, дивишься? Ты же сам мне все время только то и втолковывал, что вы-де, русские, в Веселом Кавказе рожденные, не чета нам всем, миром кланяться нам должны...»

Светлые, бесхитростные глаза, никак не схожие с глазами дочери, заполненные угрюмой, обжигающей неприязнью, глаза любящие и всепрощающие, ласковые и преданные... Тем страшней приговор, что вынесен с любовью.

Он стоял и тупо смотрел на Клавдию, смотрел и не шевелился. И вдруг вскинула руки Дина Лазаревна, вцепилась в волосы, рухнула на диван. Между стенами, забитыми книгами, заметался ее клокочущий горловой голос:

— Господи! Господи! Куда спрятаться? Ку-уд-да?!

Раньше Юлия Марковича встрепенулась Клавдия:

— Дипушка! Да ты что, родная?.. Да успокойсь, успокойсь! Христос с тобой!

Раиса сидела величавым памятником посреди комнаты,

только крашенные ресницы подрагивали на розовом лице. Юлий Маркович пришел в себя:

— Уходи-те! Все уходите!.. Раиса Дмитриевна, ради бога!.. И ты, Клавдия, тоже!..

Иет, он не говорил «вон!». Не требовал, а просил: «Ради бога!»

Раиса не шевелилась.

Секретарь парткома произнес свое «не могу» и передал вопрос на обсуждение комитета.

Казалось бы, ну и что?

Один ум хорошо, два лучше. Если уж секретарь парткома, никак не Сократ, своим умом дошел — нечистоплотная ложь, то, наверное, двадцать пять членов парткома это поймут скорей.

Один ум, два ума, три... Простое сложение редко дает верный результат в жизни. Опасность таилась именно в численности комитетского поголовья — двадцать пять членов! Среди них наверняка окажется хотя бы один, который носит испепеляющее желание проявить себя любыми способами, не считаясь ни с кем и ни с чем. Хотя бы один... Но скорей всего таких будет больше.

По всей стране идет облава на космополитов. Тому, кто желает проявить себя любыми путями, как упустить удобную жертву, как не крикнуть: «Ату его!»

Несколько человек — скажем, пятеро — прокричат кровавадно охотничье «ату», а два десятка их не поддержат. Два десятка против пяти — явное большинство, это ли не гарантия, что Юлий Искин вне опасности.

Увы, легион не всегда сильнее кучки.

Идет облава по стране, радио и газеты подогревают охотничий азарт. Легко крикнуть: «Ату!», почти невозможно: «Побойтесь бога!» Безопасно гнать дичь, опасно ее спасать.

Если даже один — только один! — начнет травить Искина, остальные будут молчать. «Ату его!» может раздаться над любым.

И положение еще обострялось и тем, что Юлию Искину не могли вынести легкого наказания. Или встреча с Вейсахом и деньги, ему данные, — просто дружеское участие, помощь человеку, попавшему в затруднительное положение, что в общем-то непредосудительно и уж никак не наказуемо. Или же эта встреча — некий акт групповых действий, а деньги — не что иное, как практическая помощь при тайном за-

говоре. В этом случае партком обязан прекратить обсуждение и передать Искина вместе с его тяжелой виной уже в руки... госбезопасности. Или — или, середины нет.

Что называется, пахло жареным.

Он никогда ни о чем не просил своего старого друга Фадсева, ни разу не прибегал к его высокой помощи. Но или — или, тут уж не до щепетильности.

Он позвонил Фадееву на дом...

Еще не выслушав всего до конца, Фадеев взорвался на том конце провода:

— Да что они с ума сошли! Идиоты! Перестраховщики! Бдительность подменять мнительностью!.. — Тут же с ходу он нашел решение: — Иди прямо в райком! А я туда немедленно позвоню.

Это, право же, был простой и верный ход. Глава советских писателей Александр Фадеев не мог вмешиваться в работу партийного комитета: «Прекратите, мол, дурить!» В райкоме же партии непременно прислушаются к слову известного писателя, члена ЦК. Партком полностью подчинен райкому. «Прекратите дурить!» И прекратят. И забудут.

Юлий Маркович в Краснопресненском райкоме был незамедлительно принят одним из секретарей, женщиной средних лет в темно-синем костюме и белой кофточке, с моложавым миловидным лицом, с чистым голубым взором.

Странно, но под этим голубым взором Юлий Маркович сразу почти физически ощутил, что у него семитский изгиб носа, рыжина неславянского оттенка, врожденная скорбность в складках губ, характерная для разбросанного по планете мессианского племени.

— Вы давно знаете Вейсаха? — участливый вопрос.

— Лет двадцать пять, если не больше.

— И в последнее время тоже были близко знакомы?

— Боле-мене.

— Вы не замечали в его поведении ничего предосудительного?

— Ничего. — Мог ли он ответить иначе.

— Вы были на собрании, когда обсуждали Вейсаха?

— Был.

— Почему же вы тогда не протестовали?

Голубой взор и участливый голос. Юлий Маркович ощу-

щал признаки семитства на своей физиономии. Секретарь райкома глядела на него, он молчал.

— Вашего старого друга осуждали. И вы знали, что он ни в чем не повинен. Так почему же вы не встали и открыто не заявили об этом?

Голубые глаза, прилежно завитые светлые волосы, в миловидном лице терпеливая, почти материнская требовательность: почему?

На собрании тогда кричали: «Позор! Позор!» И он сидел в самом углу, тихо сидел... И после собрания он не осмелился подойти к другу Семёну... Оплывшая фигура, свинцовая физиономия, сам собой подмигивающий глаз.

Юлий Маркович ответил сколовшимся голосом:

— Я... Я, паверное, не обладаю достаточным мужеством... Сокрушенная гримаска в ответ.

И он понял: летит вниз, надо сию же минуту за что-то ухватиться. Он заговорил с раздраженной обидой:

— Послушайте, почему вы не вспоминаете о письме? Без этого письма никто и не подумал бы меня подозревать! Освободите меня сначала от ложных обвинений, а уж потом накажите... за слепоту, за отсутствие бдительности, за трусость, наконец! Со строгостью!..

— Письмо?.. — удивилась она. — Ах да, да... — И брезгливо передернула плечиками: — Эта анонимка... Товарищ Искин! Не считаете ли вы, что мы идем на поводу анонимщиков?.. Лично я исхожу сейчас только из фактов, которые вы мне изложили.

Нужно ли вспоминать о прогоревшей спичке, когда уже вспыхнул пожар. Юлий Маркович сидел, уронив голову.

Секретарь райкома встала, ласково протянула ему руку:

— Мы попросим, чтоб товарищи разобрались в вашем деле со всей беспристрастностью.

Он был уже у дверей, когда она его окликнула:

— Товарищ Искин! А между прочим, Александр Александрович Фадеев на том собрании выступал против этого... Вейсаха. Да! И со всей решительностью.

Юлий Маркович в ту минуту был слишком оглушен неудачей, не осознал трагической значительности этой фразы.

Для секретаря райкома с миловидным лицом и голубым взором открылось странное...

Фадеев ходатайствует о защите некоего Искина.

Этот Искин — старый друг осужденного писательской общественностью Вейсаха.

И не только друг... Искин сам признался: не выступил в защиту Вейсаха потому лишь, что не обладал достаточным мужеством. Не только друг, но и единомышленник.

Фадеев вместе со всеми осуждал Вейсаха. Больше того, он возглавлял это осуждение.

И Фадеев защищает единомышленника Вейсаха!

Странно и многозначительно.

Голубоокий секретарь райкома не мог взять на себя ответственность — уличить, осудить, наказать! Слишком гигантская фигура Александр Фадеев, чтоб схватить его белой ручкой за воротник — не дотянешься. И секретарь райкома сделала то, что и следовало в таких случаях делать, — передала на рассмотрение в более высокую инстанцию, в горком партии.

Но и в Московском горкоме не нашлось охотников хватать Фадеева за воротник. Передали дальше, в ЦК.

А в здании на Старой площади, в правом крыле, в отделе культуры — заминочка. Уж кто-кто, а Фадеев-то хорошо известен Самому. Тащить наверх, к Самому?.. Дело-то не очень значительное, никак не срочное, подумаешь, Фадеев защищает какого-то Искина... Спрятать под сукно, забыть — тоже опасно. Литераторы народ скандальный, ревниво следят друг за другом, вдруг кто-нибудь из маститых заявит... Сталин шутить не любит.

И в кулуарах Дома литераторов потянуло сквознячком, зашелестело имя Фадеева. И кой-кто уже мысленно рисовал себе картину — Союз писателей без Фадеева во главе. А кто — вместо? А кто будет вместо того, кто — вместо? Возможна крупная перестроечка... Слухи, слухи, остороженькая возня.

А в «Литературной газете» — статья о связи с народом, перечислялись еще раз ранее разоблаченные безродные космополиты, среди них Семен Вейсах... И целый абзац посвящен Юлию Искину — тоже оторвавшийся, тоже безродный.

Каждому ясно: Искин — ничтожная фигура. Бьют Искина, а попадают-то по...

Он — безродный.

Если вдуматься, что за странное обвинение. Каждый человек где-то родился, каждый может указать место на карте: «Я появился на свет здесь!» И при этом нелепо

испытывать стыд или гордость, считать — удачно родился или неудачно. Можно рассуждать о том, чем и как отличаются Холмогоры от Симбирска: меньше по населению — больше, дальше от коммуникаций — ближе к ним, культурней — некультурней, но никак нельзя оценить эти два географических пункта в плане родины — мол, предпочтительней в Симбирске, чем в Холмогорах, одно лучше, другое хуже. И уж совсем нелепо оценивать человека по месту рождения: мол, имеет достойную родину, а потому и сам достоин уважения, и наоборот.

Он, Юлий Маркович Искин, — безродный!..

Да нет же! Он родился в самом центре России — в Москве! Так уж случилось, тут нет его личной заслуги. Он всю жизнь провел в этом городе, помнит Охотный ряд с бабами-пирожницами, сидящими на морозе на горшках с углями, помнит и Красную площадь без Мавзолея, и Садовое кольцо, когда оно действительно было садовым.

И все-таки безродный!

Но почему бы тогда не называть безродным великого Сталина? Право же, родился в Грузии, с юности живет в России, чаще говорит по-русски, чем по-грузински, а не столь давно на весь мир заявил: русская нация «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», русский народ — «руководящий народ». Выходит, предпочел чужую нацию своей, чужой народ своему кровному — космополитический акт, безродный по духу.

И Сталина славят за эту безродность.

А Юлиа Искина клянут: не имеешь права считать своей родиной Москву, всю Россию!

Неудачно родился, не там, где следует.

А где?..

Если можно отнять жизнь, отнять свободу, то почему нельзя отнять у человека родину?..

Быть может, впервые в жизни Юлий Маркович бунтовал про себя, тихо, тайком, закрывшись один в кабинете, боясь поделиться своим бунтарством даже с женой.

В самом начале тридцатых годов мимо него прошла коллективизация — не бунтовал, даже восхищался: «Революция сверху!»

В тридцать седьмом уже не восхищался. «Господи! Киршона арестовали!..» Но смиренно жил, добропорядочно думал, не доходил в мыслях до бунта.

Тихий, тихий бунт в одиночку, когда сам себе становишься страшен.

Раздался телефонный звонок. Юлий Маркович почувствовал, как на ладонях выступил пот, бунтующие мысли легкой стаей, все до единой, выпорхнули вон из головы, осторожно снял трубку.

— Я вас слушаю.

Тишина, слышно только чье-то тяжелое дыхание.

— Я вас слушаю.

И сдавленный кашель, и слежавшийся голос:

— Это я... Выйди на улицу. Сейчас. Очень нужно.

Щелчок, короткие гудки — трубку повесили.

Юлия Марковича вдруг без перехода опалила злоба: это он! И он еще смеет звонить! Ему еще нужны тайные свидания под покровом темноты! Ему мало, что из-за него он, Юлий Искин, попал в петлю! Оставь хоть сейчас-то в покое! Нет!.. «Выйди, очень нужно».

И тем не менее Юлий Маркович, кипя внутри, поднялся из-за стола, пошел к вешалке.

В кухне друг против друга сидели Клавдия и Раиса, на столе перед ними стоял чайник, лежал батон белого хлеба. Пьют чай, о чем-то беседуют. Им тепло, им уютно — чай с сахаром, белый хлеб с маслом. Беседуют... О чем?

В зеркале у вешалки отразилось его лицо, зеленое, перекошенное, с беспокойными неискренними глазами. Страдая, что его видят из кухни, натянул пальто, надел шапку...

Большая Бронная, задворки Тверского бульвара, была тускло освещена и пустынна. За смутными нагромождениями домов слышался приглушенный шум моторов, переключки машин. На празднично освещенной площади Пушкина, на улице Горького все еще бурлила вечерняя жизнь столицы.

Метнувшейся тенью пересекла вымершую мостовую кош-ка...

Он появился неожиданно, словно родился из каменной стены: облаченный в просторный плащ, с головой, втянутой в широкие плечи, походка ощупью, словно шагает по скользкому льду.

Юлий Маркович запустил поглубже руки в карманы, вскинул повыше голову, расправил грудь, приготовился встретить: «Ты заразен! Не хочу играть с тобой в конспираторы!»

Вейсах приблизился — свистящее астматическое дыхание, навешенный лоб, отвалившаяся лошадиная губа. Юлий Маркович не успел открыть рот.

— Ты!.. — свистящий в лицо шепот. — Ты негодяй!.. Знаешь, в каком я положении, и треплешь всюду мое

■мя! Обо мне снова вспомнили, за меня снова взялись!

И у Юлия Марковича потемнело в глазах:

— Я?! Я — негодяй?! А ты? Ты — прокаженный! Ты бы должен тихо сидеть!.. Лез за сочувствием!.. По твоей милости..

— Я — никого, ни одного имени, а ты?.. Ты сразу на блюдечке...

— Кто — кого на блюдечке или в завернутом виде!

— Не смей!

— Смею.

— Ты провокатор!

— Ты подсадная утка!

На обочине пустынной улицы, друг против друга, охваченные общим ужасом, бессильной ненавистью.

В стороне послышался торопливый стук каблучков по асфальту. Они сразу замолчали. Прошла женщина, стихли в глубине улицы ее шаги. Они продолжали неловко молчать.

Наконец первым, дрогнув губой, со всхлипом произнес Семен:

— За мной, кажется, скоро придут.

— Теперь неизвестно, за кем раньше.

— Юлик, извини... Я просто не нахожу себе места.

— Нам не надо делать новых глупостей, Семен.

— Да, да, не надо... Я пошел.

— До свидания, Сеня.

Только и всего. Ненависть выгнала их навстречу друг другу, обоюдная жалость вновь их разъединила.

Время от времени Фадеев отказывался нести бремя власти.

Ибо кто, кроме царя, может считать себя несчастным от потери царства? — сказал некогда Блез Паскаль, подразумевая, что, помимо высокого несчастья, царь не избавлен и от обычных человеческих несчастий, может, как все, страдать от несварения желудка и камней в почках, как все, горевать об утрате близких. Так сказать, царь более несчастное существо, чем его подданный. А еще проще — высокопоставленному живется труднее.

И в самые трудные моменты, когда события перепутывались в тугой узел, когда высокие обязанности начинали противоречить совести, когда черное нужно было принимать, за белое, а белое за черное, Александр Фадеев делал вдруг — должно быть, неожиданный сам для себя — нырок... на дно. Исчезал из predetermined ему жизни.

Его ждал загруженный день. С утра он хотел усадить себя за стол. Он все еще жил наивной надеждой, что наткнется на что-то такое, откроет сокровенное, удивит мир силой своего таланта. Он сыт был славой, нужно самонаправление.

К двенадцати дня он должен быть в Правлении Союза. В час он принимал у себя известного латиноамериканского писателя. В три — совещание секретариата: отчет комиссии по литературам братских республик, обсуждение кандидатур, выдвинутых на Сталинскую премию, вопрос о возобновлении издания очеркового альманаха, основанного еще Горьким, прекратившего с войной свое существование. В шесть часов он должен быть в ЦК в Отделе культуры — звонили вчера вечером, договорились о встрече: «Нужно утрясти один вопросик». В ЦК его вызывали часто, этому звонку он не придавал особого значения.

Как всегда, усевшись за стол, он принялся ворошить газеты. В «Литературке» сразу же наткнулся на статью, где целым абзацем разоблачался Юлий Искин...

Сразу стало ясно, почему в последние дни он часто перехватывал испытующие взгляды, почему при его приближении наступало молчание... И вчерашний звонок из ЦК: «Утрясти вопросик...» — наигранно небрежным голосом...

Не впервой с некоторым опозданием он открывал для себя притаившееся, тесно сплоченное недоброжелательство тех, кто всегда преданно смотрит ему в рот. И каждый раз это вызывало не возмущение, не гнев, а тягостную безнадешность.

Что, собственно, стоит его шумный успех? Что стоят неумеренные восторги по роману «Молодая гвардия» — скоропалительной библии послевоенных лет! — который он написал по заказу, против своего желания, вначале стыдился, потом уверовал: если принимает народ, то в самом деле, должно быть, хорош. И что стоят его выступления на многочисленных собраниях, когда он говорит не то, что чувствует, а то, что от него ждут. Он поступает не так, как считает нужным, — приспосаблиется. Не хозяин положения, не хозяин себе, и все, что он делает, завтра будет погребено под новым наслоением столь же незначительных дел. Он временщик и творит временное.

И, как всегда, от мутной безнадешности потянуло куда-то, к кому-то, нет, не к тем, кто способен помочь — этого никто не может, — способен понять.

И он заторопился, заранее страдая от того, что могут ок-

ликнуть, задержать, что на лестнице, возможно, встретятся знакомые, придется здороваться, говорить о пустяках и прятать, прятать голодное выражение лица.

Дощатые забегаловки и нивные ларьки, где продавали водку в розлив, открывались поздно, и алчущие сбивались к гастрономическим магазинам. Рыхлые, с темными воспаленными физиономиями, с ухватками службистов — деловитые завсегдатаи-алкаши; не завсегдатаи — просто желающие «поправиться», болзненно зябнувшие после вчерашнего перепоя; свихнувшиеся папаши хороших семейств, прячущие в поднятые воротники пальто истомленно-брезгливые лица; рабочие, еще не ставшие подонками; подонки, еще не свалившиеся под свой последний забор, — разнообразен состав тех, кто не может начать день грядущий без ста пятидесяти граммов. Среди них бывали люди, которыми гордится Россия.

Навстречу Фадееву сразу же качнулся мужчина в расхлябанном без пуговиц полупальто, с физиономией, состоящей из мешочков, складочек и ржавой щетины.

— Башашкиным будешь?

Башашкин — недавно вошедший в известность футболист, третий номер в защите. И член ЦК, глава советских писателей Александр Фадеев согласился стать «Башашкиным». Раньше Фадеева к ржавомордому примкнул наренъ-рабочий с волевой челюстью и виновато увиливающими от прямого взгляда зрачками, начинающий алкоголик, еще сохранивший пока способность стыдиться самого себя.

Через пять минут они сидели на скамейке в истоптанном скверике, истово делили водку из зеленой поллитровки в граненый стакан, заблаговременно припасенный ржавомордым. Стакан был один, пили по очереди:

— Будьте здоровы!

От всего сердца, почти влюбленно.

Фадеев сразу же послал за второй бутылкой. И, опрокинув по второй, он заговорил, что жизнь становится «сквозно бессовестной». Говорил Фадеев с фадеевской искренней силой, которая пьянила самых трезвых, искушенных делала сентиментальными. Два случайных алкоголика — старый и молодой — слушали его, не понимали, но верили каждому звуку. Молодой не выдержал и воскликнул:

— Мать честна! Живешь среди свиней да вдруг наскочишь — какие люди бывают на свете!

Этого полушьяного признания было достаточно, — Фадеев поднялся и потребовал:

— Пошли!

Они продолжали в грязном, дымном ресторане Павелецкого вокзала. Там свалился старый алкаш и вместо него подхвачен какой-то командированный. И уже кончились возвышенные речи, были только излияния:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Его любили и уважали здесь не за то, что знаменитый писатель, высокопоставленное лицо, просто так — «за натуру».

А в Правлении Союза легкий переполох: латиноамериканца должен принимать кто-то другой. И обзванивали членов секретариата: «Александр Александрович болен. Александр Александрович сегодня не может присутствовать. И завтра навряд ли...»

У Павелецкого вокзала они взяли такси и поехали за город, в Переделкино.

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Латиноамериканский писатель счел свим долгом вежливо осведомиться: какая болезнь свалила господина Фадеева? Ему любезно и скупно ответили: «Сердечная недостаточность». Совещание секретариата решили не откладывать. Жизнь продолжала течь по своему руслу.

А Фадеев выбросился из этой мутной реки на счастливый остров:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Так могло тянуться несколько дней, недель, целый месяц — в сплошном угаре любви и уважения.

Рано ли поздно угар проходит, надо снова окунаться в мутный поток неоскудевающей жизни, обессиленно отдаваться течению.

И телефонный звонок из Отдела культуры ЦК партии уже сторожил его:

— Александр Александрович, тут нужно бы уяснить нам с вами... Не выберете ли время?..

В высшем органе партии сидят вовсе не враждебные Фадееву люди. Фадеева дискредитирует сейчас малое — странное заступничество за Искина. Всем известно, что Искин друг и единомышленник Вейсаха, Вейсах осужден самим Фадеевым, так в чем же дело?..

— Александр Александрович, вы должны отмежеваться... и решительно!

А если он этого не захочет?!

Снова беги и выбрасывайся на счастливый берег?

Все равно рано или поздно приплывешь к тому же месту, откуда выбрасывался. Ты человек государственный, сам себе не принадлежишь.

Под дубовыми сводами тесного зала вновь собрались литераторы Москвы, прославленные и безвестные, пережившие самих себя и еще совсем незрелая мелкота, вроде нас, студентов литинститута, сумевших просочиться в этот высокий ареопаг.

Фадеев сидел на председательском месте, во главе президиума, расправив широкие плечи, с высоко поднятой головой — величественный без спесивости, суровый без насупленности — вождь, не утративший демократической простоты. Мягкая седина, обрамлявшая красивый лоб, оттенялась строгим мраком парадного костюма, застенчиво искрилась блестящая лауреатской медали на лацкане.

А собрание шло, как всегда, — возбужденно до неистовости. Выступающие потрясали кулаками над трибуной, а из зала неслись вопли: «Позор! Позор!!»

И по обычаю требовали — на трибуну! На лобное место! Чтобы лицедреть! Чтобы наслаждаться! Юлий Искин, сутулящийся под тяжестью головы, с несолидным носом ястребенка, еще не созревшего до хищника, мертвенно-бледный, вызвал у зала брезгливую жалость и чувство бедности.

— Позор! Позор!!

Со всей благородной неистовостью.

Мой отец неукротимо верил в лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Всех стран, всех наций! И над моей кроватью когда-то висел плакат — негр, китаец и европеец под красным знаменем. И в моей школьной хрестоматии была тогда помещена «Гренада», поэма Михаила Светлова, который сейчас находится где-то здесь рядом, в ресторане, а может, даже и в самом зале.

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

В наших северных лесах как-то не водились евреи, мне чаще приходилось о них слышать, а не видеть, как о неграх,

как о китайских кули, как и об испанцах... Я любил далеких евреев наряду с неграми. Позднее я столкнулся с ними и немного разочаровался — слишком уж обычные, не лучше меня, не несчастнее.

Что такое космополитизм?

И что такое интернационализм?

Как бы ответил на эти вопросы мой отец?

Отца нет — погиб на фронте, спросить не могу.

— По-зор! По-зор!!

Я не кричал вместе со всеми. Что-то меня останавливало.

Зал притих, когда Фадеев двинулся к трибуне. Что скажет? Как объяснит свою попытку спасти растленного космополита Искина?

Фадеев разложил на трибуне бумаги, нацепил очки и стал профессорски строг.

— Товарищи!..

Зал притих, зал внимал.

— Идеологическая диверсия... Люди без роду без племени — готовый материал для диверсантов... Учиться бдительности... Никто не гарантирован от благодушествования..! Должен открыто сознаться... Искин! Один из первых комсомольцев, рабкор, вспоенный и вскормленный... Где и когда ты, Юлий Искин, продал родину?..

Зал аплодировал, зал воодушевленно вопил:

— Позор! Позор!!

На Тверском бульваре стояли синие сумерки, еще не зажглись фонари. Под ногами шуршал палый лист, и пахло почему-то мякинной пресностью давно сжатых полей. Бабье лето так затянулось, оно так устойчиво прекрасно, что становится даже не по себе — уж не перед страшным ли судом отпущена эта благодать в таком излишке?

Все ребята разбрелись кто куда. Те, у кого были хоть какие-то деньги, остались в ярко освещенном, шумном ресторане Дома литераторов. У кого в Москве были знакомые, укатили в гости. В нашем студенческом подвале сейчас пусто, пованивает плесенью и лежалым бельем, как в каптерке ротного старшины.

Парочки по-весеннему целуются на скамейках. Я выбрал скамейку, свободную от парочек, и уселся. Шаркая подошвами по палым листьям, двигались бесконечные про-

хожие. Вспыхнули фонари — матовые луны по ранжиру среди голых ветвей.

Рядом со мной опустился человек в кепке с длинным твердым козырьком, с узким лицом и ломко хрящеватым носом. И я сразу узнал его — тот самый пророк прохожий, который рассуждал с нами о классовой ненависти. Я обрадовался: худо быть одному в населенном бульваре, где целуются парочки.

— Вы не помните меня?

Он не спеша с достоинством повернул в мою сторону свой угловатый нос под твердым, агрессивно выширающим козырьком, сказал:

— Так ли уж важно — помню ли я, помните вы. Вам хочется услышать человеческий голос, мне — тоже. Поговорим.

— Хороший вечер, господин непомнящий.

— Вам хочется что-то спросить меня. Не стесняйтесь.

И я спросил:

— Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?

Он ответил почти любезно:

— Должно быть, тем же, чем голова от башки.

— Почему же тогда космополитизм осуждается?

— Действительно — почему? Белинский называл себя космополитом, и Маркс... Люди, пользующиеся у нас уважением.

— Ну, а сионисты, эта организация... Они не выдуманы, они на самом деле есть?

— Если были немецкие националисты, если есть русские, то почему бы не быть еврейским?

— Как-то вы всех в одну кучу.

— Несхожи?

— Нет.

— Комнатная болонка тоже не похожа на дога, но суть-то у них одна — собачья.

— Одна суть у немецких фашистов и у сионистов?

— И у наших русофатов тоже. Не выгораживайте. Все одной собачьей породы, только возможности разные. Если б сионисты были столь же крупны и зубасты, как германские нацисты, наверняка стали бы так же опасны для мира.

— Мы крупны... Мы, наверное, и зубасты... — произнес я, чувствуя, как подымается во мне враждебность к этому бесцеремонному человеку.

— То-то и оно, — не моргнув глазом, согласился незна-

комец. — Известный ученый Лоренц как-то сказал: «Я счастлив, что принадлежу к нации, слишком маленькой для того, чтобы совершать большие глупости». Он был голландцем, ну а мы с вами — русские. Нас двести миллионов.

— Вы стыдитесь, что вы русский? — спросил я.

Он сидел, распрямившись, тощий, со взведенными хрупкими плечиками, — узкое лицо, скривленный нос, остро врезающийся в густую тень под козырьком, надежно укрытые глаза.

— Нет, — сказал он наконец. — Но боюсь... Боюсь, как бы не пришлось стыдиться. — Помолчал, ощупывая меня из мрака настороженным под козырьком взглядом, добавил: — Молодой человек, разве вы не видите, что на это есть основания.

Почувяв в доме беду, заплакала в соседней комнате Дашенька. Дина Лазаревна оставила Юлия Марковича одного.

В кухне, как всегда по вечерам, сидели Клавдия с Раисой друг против друга за чайником, за початым батоном.

Тихо...

Стряслось непонятное. Сорок семь лет прожил на свете Юлий Маркович, мимо него прошли тысячи людей, знаменитых и безвестных, талантливых и заурядных. Самым ярким из этих тысяч, самым достойным был Саша Фадеев. Сколько раз глядел на него со стороны и удивлялся: умен, талантлив, открыт душой, даже внешность его какая-то триумфальная, в ней — мужество, в ней — сила, в ней — простота, бывают же такие! Юлий Маркович как одним из самых больших достижений своей жизни гордился, что в числе первых разглядел Фадеева. И этот лучший из людей сегодня на глазах всех, без жалости, не терзаясь совестью... И ложь, ложь, грубая, наглая, бесстыдная! «Вспоенный, вскормленный, продал родину!..» Лучший из людей! Противостоит! Безобразное чудо! Не хочется жить.

Зазвонил на столе телефон. Опять Вейсах?.. Ах, все равно, все равно! Он не станет ругаться с Семеном. И встречаться с ним тоже не станет. Зачем?..

— Я слушаю.

— Юлий... Выйди, пожалуйста... К памятнику Пушкина.

Щелчок. Трубку положили. Набегающие друг на друга гудки.

Не Вейсах, другой голос. И Юлий Маркович запоздало узнал — перехватило дыхание.

Голос Фадеева звал его.

Шли мимо прохожие. И один из прохожих в потасканном пальтишке, в кепке с длинным козырьком сидел передо мной.

Я переспросил его:

— Как бы ни пришлось стыдиться?.. Чего?

— Того же, чего стыдится сейчас любой честный немец: газовых камер, рвов, набитых расстрелянными детьми, мыла, сваренного из человеческих трупов.

— Гитлер же со своей сволочью повинен, не нация. Отделяйте одно от другого, — сердито сказал я.

— Гитлеры-то, молодой человек, появляются не по божьей воле, их творит нация.

— Виновата нация, что Гитлер?..

— Да.

— Вся немецкая нация, весь немецкий народ?

— «Немцы — высшая раса»! И немцев от этого не стошнило, правилось! Если вырастает вождь-убийца, значит, есть и питательная среда.

— Вы против народа?

— Народ свят и безгрешен? Ой нет, народ — всякое! Выплескивает из себя и светлое и мутное.

Шли мимо нас занятые собой прохожие.

Я глухо потребовал:

— Ну, дальше.

— Разве не все сказано?

— А разве только ради немцев вы вспомнили мертвого Гитлера?

Под твердым козырьком, словно зыбкая луна в омуте, поблескивал глубоко упрятанный глаз. Незнакомец приподнял вверх свою костлявую руку, словно держал в ней хрупкий бокал, заговорил с грузинским акцентом:

— «Я подымаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и... терпение». Не правда ли, подкупающая лесть: «И терпение...»

— Передергиваете, господин хороший, — возмутился я. — Разве свою нацию хвалит этот человек?

— Национализм не проявление родословных симпатий, молодой человек, а политика. И не забывайте, что Гитлер совсем не походил на классического арийца — белокурую бестию. Выкресты были наиболее злобными антисеми-

тами. Почему бы грузину не стать великоросским шовинистом, когда это выгодно.

— Чем ему выгодно? Чем?!

— Твоя нация превыше всего, твой терпеливый народ — руководящий, ты принадлежишь к этому народу, значит, и ты высок, наделен правом руководить другими, даже если не имеешь на это ни ума, ни таланта. Доступная арифметика и многообещающая.

— Она выгодна Сталину?

— Она выгодна недоумкам, у которых нет ничего за душой. Она выгодна всем обиженным и обойденным, озлобленным неудачникам. Неудачники, молодой человек, великая сила. Им терять нечего, они готовы на любой риск, чтоб вырвать себе благополучие. Какой политик отказывался от силы?.. — Незнакомец сделал паузу и с улыбочкой добавил: — Тем более, что лозунг времен революции «Бей буржуев! Грабь награбленное!» сейчас стал не безопасен. «Бей жидов, спасай Россию» — надежней.

Я поднялся. Передо мной сидел тощий человек с костлявым лицом и немощными руками.

Шли мимо нас равнодушные прохожие.

Он сидел и бледненько улыбался. С этой невнятной улыбочкой он оплевал сейчас все — мою родину, ее великого руководителя, революционные лозунги, за которые воевал и погиб мой отец. Я прошел сквозь жестокие испытания. Я видел, как во время коллективизации выселяли мужицкие семьи — баб, детишек, стариков. Видел, как в пристанционном березнячке умирали от голода такие высланные, я помню, как по почам исчезали соседи по дому... Видел и страдал, и недоумевал, но я выдержал, не треснул — верен родине, верен отцовским лозунгам! А этот тип рассчитывает — расколоть меня словом!

Бледненько улыбался пожилой человек на скамейке. Шли мимо прохожие.

— Уходи! — сказал я ему.

Я боялся, что он не послушается, не двинется с места, будет глядеть и улыбаться своей бледной, презрительной улыбочкой. И тогда мне придется его бить. Его, старого, жалкого, с шеей, похожей на петушиную лапу. Я возвышался над ним во всем величии своих двадцати пяти лет, чувствуя тяжесть разведенных плеч, налитость опущенных рук. Эх, если б не так стар и тощ был противник моего отчества!

— Ты слышишь?.. Проваливай!

Он понял и покорно встал, долговязый, в обвисшем пальто, под твердым козырьком зыбкий блеск упрятанных глаз. Он отвернулся, шагнул и остановился, задрал твердый козырек к фонарю.

— С кем?.. Кто?.. Кто живой?.. Пустыня! — сквозь стиснутые зубы скулящим стоном.

Я стоял праведным монументом.

Он толкнул себя с места, сутуля узкую спину, волоча ноги, двинулся прочь.

Шли прохожие.

Жив ли ты? Судьба отомстила мне за тебя, незнакомец. Время заставило меня поумнеть. Теперь я сам пытаюсь сказать то, о чем, мне кажется, другие не догадываются. Пытаюсь... И часто — ох, как часто! — меня не понимают даже самые близкие. И хочется скулить на фонари: «С кем?.. Кто живой?.. Пустыня вокруг!»

Прости меня.

Шли прохожие. Одни — от меня, в глубь вечернего города. Другие — навстречу, чтобы миновать меня и тоже исчезнуть в городской суетливой пучине. Возникают и исчезают, возникают и исчезают — прохожие, не замечающие моего существования.

Внезапно я вздрогнул: на меня двигалась пара...

Высокий человек в белом пыльнике, натянутом поверх темного костюма, как халат хирурга, в пролетарской кепочке па голове. А рядом с ним, парадно рослым, — невысокий, со скособооченными плечиками, из-под шляпы торчит гнутый, не вызревший до хищности нос.

Я не верил своим глазам: на меня рука об руку шли Фадеев и этот... Искин. Судья и преступник — вместе. Праведность и порок — плечо в плечо, в мирной беседе, среди гуляющей публики.

Они прошли мимо меня, совсем рядом. Мимо меня, увлеченные друг другом. До чего же странен мир!..

Сильная рука бережно держала Юлия Марковича за локоть. Знакомо ощущение этой дружеской руки. Лет двадцать тому назад они вот так же бродили ночами по московским бульварам, говорили о мировой революции, о жертвенности во имя ее. И цокали тогда по булыжнику подковы извозчичьих лошадей, и тенорами кричали лотошники, предлагая нехитрый товар: «Карамель из Парижа —

«Норт-Дам» для ваших дам! Леденчики — для младенчиков!»

Иные времена, иные речи, иной голос у Саши Фадеева, только рука на локте прежняя.

— Ты думаешь, Юлька, я шкуру свою хотел спасти, свой петушиный насест! Нет, не испугался бы встать перед всеми и сказать: очнитесь! Какой к черту космополит Юлька Искин! И ты ведь представляешь вопль вселенский, представляешь ярость. Добро бы, против меня, но ведь и против тебя, Юлька. В первую очередь против тебя! Троекратная, десятикратная ярость! Вспыхнул бы ты на ней, как мотылек в пламени. Поэтому и не встал грудью, что бесполезно. Лишнее масло лить в огонь.

— Это же страшно, Саша! Неправда, выходит, непобедима.

— Неправда, Юлька?.. Мы, видно, плохо еще представляем, какой пожар мы запалили. Пожар, уничтожающий дикий лес, чтоб вместо дикорастущих росли полезные злаки. В сжигающем нас огне, Юлька, — глубинная правда!

— Но почему нам гореть вместе с дикорастущими? Мы же этот пожар подпаливали. Он, выходит, уже не наш, неуправляем?

— А ты считаешь, что пожар должен служить нам и только нам? Да какое основание тебе, мне, кому-либо другому считать эту полыхающую революцию своей собственностью? Мол, пусть обжигает другого, а меня минует. Пусть Есенина, Маяковского, пусть Бабеля, гори они ярким пламенем, только не я.

— Революция выжигает своих!

— А вот в этом, Юлька, можно посомневаться.

— Саша, ты считаешь: я враг революции?

— Нет. Но и Есенин, и Бабель врагами революции не были, а были ли они ей своими? Сомнительно.

— Саша! Это бесчеловечно!

— А к нам, Юлька, наверное, человеческие мерки неприменимы.

— Как так?!

— Мы не люди, Юлька, мы солдаты, по трупам которых идут к победе. Люди будут жить после нас.

— После меня, Саша, будет жить моя дочь. Ей сейчас всего десять лет, но по ней уже шагают — дочь безродного космополита, сама безродная.

Фадеев не ответил.

Они дошли до памятника Тимирязеву, безобразного каменного столба, заканчивающего Тверской бульвар.

Фадеев остановился, запустил кулаки в карманы пыльника — натянутая на лоб кепчонка, сведенные челюсти.

— Юлька... — произнес он, — ты, наверное, думаешь, что я подлец, коль так легко говорю о жертвах... Сам в благополучии, в славе, в почете. Да, в славе, да, в почете! А все равно — жду, жду... огня под собой. Знаю: придет и мой черед. Даже чувствую — он близок.

— Я б хотел, Саша, чтоб с тобой такого не случилось, — сказал Юлий Маркович.

И снова Фадеев промолчал, сжимал в карманах кулаки и глядел вдаль через узкую площадь в смутные кущи Гоголевского бульвара — сведенные челюсти, натянутая кепчонка.

— Юлька... тебе, может, деньги понадобятся... Юлька, помни, я по-прежнему твой, несмотря ни на что.

— Спасибо, — обронил Юлий Маркович.

У Фадеева был неуверенный голос, и Юлий Маркович понял, что с этого вечера он свой Саше Фадееву только в темноте, только по ночам, при свете дня — они чужие. Понимал это и все-таки был благодарен за сочувствие.

Мы собирались спать. На этот раз спор на сон грядущий что-то не разгорелся в нашем подвале. Затронули Редьярда Киплинга:

Пыль! Пыль! Пыль от шагающих сапог!
И отдыха нет на войне сол-да-ту!

Но большинство знало Киплинга только по детским изданиям «Маугли». Не хватало дров для большого огня.

Посапывал в своем углу Тихий Гришка, горел свет под потолком. Кто-то должен встать, пробежать босиком по цементному полу до двери и щелкнуть выключателем. Кто-то... Каждый из нас подвижнически выжидал, что это сделает его сосед.

Неожиданно раздался громкий, требовательный стук в дверь. Никто не успел подать голоса, дверь резко распахнулась, показалась дремучая борода нашего дворника. Дворник посторонился, и один за другим с бодрой, даже несколько заносчивой решительностью вошли незнакомые люди — трое похожих друг на друга, как братья, в синих плащах и новеньких серых фуражках, четвертый военный с погонами майора.

— Ваши документы! — чеканный голос над моей головой.

Под серой плотно надетой фуражкой настороженные глаза, лицо молодое и по-деревенски обычное, с крутыми салазками, с твердыми обветренными скулами.

— Ваши документы! — столь же чеканно, но уже не мне, а моему соседу.

Испытывая острую беспомощную неловкость — не одетый перед одетым! — я с покорной поспешностью лезу из-под одеяла, тянусь к висящей на стуле одежде, суетливо в ней роюсь — нужен, наверное, паспорт, куда же я его сунул?

— Ваши документы!.. Ваши!.. — Возле других коек.

Мой скуластенький терпеливо ждет. Но столько, оказывается, карманов в моей одежде! Путаюсь, попадаю трижды в один и тот же карман, не могу разыскать паспорта.

Неожиданно настороженность под козырьком серой фуражки погасла, скуластый заинтересованно повернулся в сторону.

Возле койки Эмки Манделя двое — штатский и военный. Мелькает в воздухе белый лист бумаги:

— Вы арестованы!

Эмка без очков, подслеповато щурясь и лбом, и щеками, тычется мягким носом в подsunутую к его лицу бумагу.

— Оружие есть?

Эмка бормочет каким-то булькающим голосом:

— Что же это?.. За что?.. Товарищи...

— Оружие есть?

— За что?.. Что же это?.. То-ва-рищи!..

— Одевайтесь. Собирайте свои вещи!

Эмка покорно выползает наружу, путается в брюках, еще не успев их как следует надеть, начинает выгребать из-под койки грязное белье, неумело его сворачивает. То самое белье, которое он раз в году возил стирать в Киев к своей маме.

— Да что же это?.. Я, кажется, ничего...

На лицах гостей служебное бесстрастное терпение — учтите, мы ждем.

Эмка натягивает свою знаменитую шинель-пелеринку, нахлобучивает на голову буденовку. С потным, сведенным в подслеповатом сощуре лицом, всклокоченный, он застывает на секунду, озирается и вдруг убито объявляет:

— А я только теперь марксизм по-настоящему понимать начал...

Он действительно вот уже целый месяц таскал всюду «Капитал» вместе с томиком стихов Блока, кричал, что глава о стоимости написана гениальным поэтом.

От неуместного признания лица гостей чуточку твердеют, что должно означать: пора! Один из штатских вежливо трогает Эмку за суконное плечо:

- Идемте.
- Можно я прощусь?
- Пожалуйста.

Эмка начинает обнимать тех, кто лежит ближе к дверям:

— Владик, до свидания. Сашуня... Володя...

Обнял крепко меня, потно, влажно поцеловал в щеку.

Фонарь с улицы светил в окно, освещал корешки книг на полке и большой медный барометр. Потайной шелестящий шепот в темноте:

— Дина, в случае чего ты не береги книги, ты продавай их. На книги можно прожить, Дина. Ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

— Дина, ты что?.. Ты плачешь, Дина... Не надо. Ведь ничего еще не случилось, может, ничего и не случится. Я просто на всякий случай. Дина, ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

Свет фонаря падал с улицы, на стене поблескивал большой медный барометр, упрямо показывающий «ясно».

Звонкая пустота заполнила наш подвал, набитый койками. Лампочка под потолком, казалось, стала светить яростнее.

Я все еще ощущал на щеке влажный Эмкин поцелуй. Как два куска в горле, застряли во мне два чувства: щемящая жалость к Эмке и замораживающая настороженность к нему. Нелепый, беспомощный, такого — в тюрьму: пропадет. А что если он лишь с виду прост и неуклюж?.. Что если это гениальный актер?.. Не с Иудой ли Искарриотом я только что нежно обнимался? Влажный поцелуй на щеке...

— А я что говорил! — подал голос проснувшийся в своем углу во время ареста Тихий Гришка. — Талант — она штука опасная!

Кто-то равнодушно, без злобы ему бросил:

— Ты дурак.

— Я дурак, дурак, но ду-ра-ак! — напевное торжество в голосе Тихого Гришки.

Кажется, Владик Бахнов первый произнес короткий, как междометие, вопрос:

— Кто?..

Все перестали шевелиться, перестали смотреть друг на

друга, молчали. Кто-то донес на Эмку. Кто-то из нас... Кто?

Яростно светила лампочка под потолком.

Юлия Марковича Искина арестовали в ту же ночь, только позже, часа в четыре. Звонок в дверь — трое в штатском, один в военном...

На следующий день нас удивил Вася Малов. Узнав об аресте Эмки Манделя, он побледнел и задышал зрачками:

— Вчера?.. Манделя?.. Эмку Манделя!..

И вдруг впал в неистовое бешенство:

— Кто эт-та сволочь?! Кто настучал?! Талант продали, гады!!.

Вася Малов, человек с поврежденными немецким осколком мозгами, Вася Малов — гроза евреев, биологически их ненавидящий, оказывается, тайком, ни с кем не делясь, страдальчески любил стихи Эмки.

Вася Малов умер сразу же после окончания института. От старой раны в голову. Умер в одиночестве, всеми забытый, окруженный ненавистью соседей по коммунальной квартире, которых он пугал своей дикой вспыльчивостью.

Александр Фадеев застрелился днем 13 мая 1956 года на своей даче в Переделкине. Сынишка вбежал наверх, чтобы позвать отца обедать, и увидел его лежащим на диване. И лужа крови на полу. И пистолет рядом на столике:

Примчался черный «ЗИС», товарищи в штатском, молодые энергичные люди, явились на место происшествия. В качестве понятых приглашены были соседи Фадеева, известные писатели, кажется Федин и Всеволод Иванов. Они то позднее и рассказали, как один из приезжих товарищей поднял со столика письмо, лежавшее рядом с пистолетом, вслух прочитал на конверте: «В ЦК КПСС»... и опустил в карман. Никто этого письма больше не видел. Что в нем, миру неизвестно.

Но какой-то ответ Фадеев на него получил.

Через два дня в газетах было опубликовано: «Центральный Комитет КПСС с прискорбием извещает...» И к этому

«прискорбному извещению» было приложено так называемое «Медицинское заключение о болезни и смерти товарища Фадеева Александра Александровича».

Документ этот краток и выразительно откровенен:

А. А. Фадеев в течение многих лет страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом. За последние три года приступы болезни участились и осложнились дистрофией сердечной мышцы и печени. Он неоднократно лечился в больнице и санатории (в 1954 году — 4 месяца, в 1955 году — 5¹/₂ месяцев и в 1956 году — 2¹/₂ месяца).

13 мая в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга, А. А. Фадеев покончил жизнь самоубийством.

*Доктор медицинских наук, профессор
Стрельчук И. В.*

Кандидат медицинских наук Геращенко И. В.

Доктор — Оксентович К. Л.

*Начальник Четвертого управления Минздрава СССР
Марков А. М.*

14 мая 1956 г.

Итак, Фадеев — алкоголик, запойный пьяница, в «очередном приступе недуга», то есть по пьянке, покончил с собой.

Был ли еще такой случай в истории, чтоб официальное сообщение провозглашало: причина смерти достойного человека — пьянство? Наши же официальные сообщения никогда не грешили неосмотрительной откровенностью. Конечно, не некие Стрельчук, Геращенко, Оксентович на свой страх и риск позволили широковещательно оскорбительный попрек в пьянстве лежащему в гробу Фадееву.

Накануне Фадеев весь вечер просидел у Юрия Либединского, пил чай, был угнетен, говорил лишь на одну тему. Какая трагическая судьба у писателей в России — Пушкин и Лермонтов, Есенин и Маяковский, Бабель и Мандельштам... И многих из тех, кто умер в постели, можно считать тоже убитыми. Фадеев называл Бориса Горбатова — умер от инфаркта, но перед этим у него посадили отца, жену, сам он ждал с минуты на минуту звонка в дверь.

Юрий Либединский написал об этом разговоре статью, разумеется, она так и не увидела свет.

Нет, трезвой рукой направил на себя пистолет Александр Фадеев. И все-таки открытым текстом: «страдал тяжелым... алкоголизмом», перечислено даже, когда именно лечился... Зачем? С какой стати?.. Ответ один — письмо! За пять минут до смерти Фадеев взбунтовался.

Но как-никак бунт-то пятиминутный, нельзя же за эти пять непокорных минут перечеркнуть всю добронормативную жизнь Александра Фадеева: напротив, следовало показать — верный, преданный, послушный сын, достойный скорби. И гроб с телом Фадеева устанавливается в Колонном зале Дома союзов, к нему открыт доступ трудящимся для прощания. На этом месте трудящиеся прощались с Лениным, прощались со Сталиным. Редчайшие покойники удостоиваются такой чести. Из Колонного зала обычно один путь — на Красную площадь, если не в сам Мавзолей, то уж рядышком — под Кремлевскую стену. Обычай нарушен — обозвав алкоголиком, оказав редкий почет, Фадеева везут хоронить на Новодевичье кладбище, где обычно и хоронят писателей такого ранга. Инцидент исчерпан — квиты.

В тот год началась широкая реабилитация политических заключенных. Без оркестров, без митингов, без цветов, тихо, скромно, потаенно встречала Москва тех, кого в тридцать седьмом и сорок восьмом она отправляла в Аниск, на Колыму, в Воркуту.

А неподалеку от Лубянки в общественной уборной бывшие службисты Берии запирались в кабинках, доставали пистолеты, умирали над унитазами. Они верили — за страшные дела их ждет страшное возмездие. Палачи тоже могут быть сентиментально наивными.

В тот год вернулся в Москву и Эмка Мандель. Через восемь лет после ареста. Он скоро стал поэтом Коржавиным. И Краткая Литературная Энциклопедия приняла его в свои объятия:

КОРЖАВИН Н. (псевд.; наст. имя — Наум Моисеевич Мандель; р. 14.X.1925, Киев) — рус. сов. поэт. Окончил горный техникум в Караганде... Стихам К. свойственны гражданственность и философ. лиризм...¹

С Юлием Марковичем Искиным я познакомился в Малеевке — писательском Доме творчества. Вечерами мы предавались там воспоминаниям.

С сивой от седины шевелюрой, рыжими недоуменными бровками, скорбной складочкой в блеклых губах, он тихим голосом повествовал о том, чего я не знал.

¹ Эмигрировал в США в 1972 г.

Сейчас Юлий Маркович живет в новой квартире на проспекте Вернадского. Старую квартиру на Большой Бронной по-прежнему занимает Раиса. У нее семья — муж и двое детей. Тетя Клаша вынянчила внуков и... недавно вернулась к Искиным. Дашенька вышла замуж, родила сына. Тетя Клаша не может жить, чтоб кого-то не нянчить.

И Юлий Маркович хвалит ее с теплотой в голосе:

— Все-таки редкой души... Самозабвенна...

О Фадееве же он отзывается более горячо, почти со слезами на глазах:

— Нет, нет! Александр Александрович — честнейший человек, трагическая личность. Он — жертва, никак не преступник. Боже упаси вас думать о нем плохо!

Наверное, так оно и есть. Не осмелюсь спорить. Не думаю плохо.

Однако кроткий Юлий Маркович обвиняет других: Раису, секретаря парткома, который слабодушно развел руками: «Не могу» и... того, кого величали гением человечества, отцом и учителем, светочем эпохи.

— Историю, знаете ли, делают личности.

Пакостят историю личности? И только-то? Не слишком ли это просто? Нет ли более глубокой причины?...

Но стоп! Это отдельный большой разговор. Никак не мимоходом.

Документальная реплика.

Документ, вырвавшийся из канцелярии М. В. Келдыша.

Президенту АН СССР академику М. В. Келдышу.

Резолюция академика

Келдыша: «Ознакомить».

За последнее время я неоднократно сталкивался с распространяемыми обо мне среди членов отделения философии и права Академии наук СССР утверждениями, будто я скрываю свою подлинную национальность, поскольку я якобы являюсь в действительности «польским евреем». Я мог бы игнорировать эти слухи, если бы не обстоятельство, что они находятся в прозрачной связи с фактом выдвижения меня в кандидаты на избрание в члены-корреспонденты Академии наук СССР.

Указанные утверждения и слухи носят клеветнический характер, и они никоим образом не соответствуют фактам. А последние таковы.

Я родился 18 ноября 1920 года в г. Моршанске Тамбовской области. Мой отец Нарский Сергей Васильевич — русский, командир Красной Армии. После демобилизации в 1920 году работал на различных счетных должностях и умер в Моршанске в январе 1941 года, где он в 1896 г. и родился.

Родители моего отца...

(Из сострадания к читателю опускаю подробнейшие перечисления родителей отца и матери автора сего послания не только по мужской и женской линии, но и по боковым ветвям — упомянуты даже престарелые тетки, проживающие в Моршанске и Москве. Особый упор автор делает на фамилии, со скрупулезной точностью указывая, какие были в девичестве, какие в замужестве, чтоб, не дай бог, не возникло сомнение — не прокрался ли в родню чужекровный выходец из Палестины. Нельзя не признать, что все без исключения фамилии не вызывают никакого сомнения в чистоте породы — Ковритины, Шолоховы, Третьяковы... Что же касается собственной фамилии автора «Нарский», то она «представляет собой изменение исходной фамилии «Нарских», которую носили предки Василия Андреевича [деда автора.— В. Т.], выходцы из Сибири, прежде проживавшие в районе реки Пара».)

Акты гражданского состояния по г. Моршанску и Моршанскому уезду, — пишется далее, — насколько мне известно, в период Отечественной войны не эвакуировались и не уничтожались.

К сказанному могу добавить, что в свойственном мне хорошем знании нескольких иностранных языков (кроме польского, я владею другими славянскими, не говоря уже об основных западно-европейских языках) не вижу для советского ученого ничего предосудительного или «подозрительного». Что касается именно польского языка, то он был изучен мною в 1945 — 1946 гг., когда по долгу моей службы в советской разведке я находился и работал на польской территории. Эта моя работа отмечена правительственными наградами, в том числе несколькими орденами.

Я прошу ознакомить с настоящим заявлением членов отделения философии и права АН СССР.

В случае, если Вы сочтете мое письмо неудовлетворительным, прошу назначить расследование.

Доктор философских наук, профессор МГУ,
старший научный сотрудник АН СССР (по
совместительству)

И. С. Нарский

10 октября 1970 г. Москва.

Хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства:

Знаменательно, этот документ появился спустя 20 (!) лет после кампании борьбы с безродными космополитами. «Жив, жив курилка!»

Автор не просто профессор прославленного Московского университета, а явно преуспевающий. Не каждый-то профессор МГУ рассчитывает стать членом-корреспондентом Академии наук.

Напористое требование ознакомить членов отделения философии и права со своей столь непорочной родословной вызвана, думается, не только непроходимой глупостью, характерной для любого националиста. Не случайна тревога, столь откровенно звучащая в письме. Возможно, Нарский знал, каких взглядов «на чистокровность» придерживаются ученые, которые представляют в АН философию и право. Не это ли заставило его бояться обвинений в еврействе?

Впрочем, принятые предосторожности не помогли. Академики не избрали Нарского в членкоры. Ему осталось только ко сетовать на происки сионистов.

Август — ноябрь 1971 г.

НА БЛАЖЕННОМ ОСТРОВЕ КОММУНИЗМА

Слепая Фемида изощренно пошутила, предоставив Хрущеву расправиться со Сталиным. Судьей палача стал человек, которого Сталин считал шутом.

Сталина я видел всего лишь раз в жизни — 7 ноября 1945 года, проходя среди многих и многих людских тысяч

по Красной площади мимо Мавзолея. Помню: поразили меня его маленький рост — вдавлен в трибуну по самую фуражку с твердым околышем — и бескостно-дряхлый жест дедовской руки, вызывавший вулканический рев обезумевшей от восторга площади. Разумеется, и я обезумевше вопил вместе со всеми...

Хрущева же я видел и слышал много раз, издалека и достаточно близко, хотя лично, увы, не беседовал, не был допущен до рукопожатия.

Одна встреча, право же, стоит того, чтоб поведать о ней. Я тогда удостоился чести провести день в коммунизме. Да, да, в том усиленно обещанном, шумно прославляемом коммунизме, понасть в который никто из здравомыслящих граждан нашей страны давным-давно уже не рассчитывает.

1

15 июля 1960 года. Мне позвонили из Правления Союза писателей:

— Просим зайти завтра в течение дня. Очень важное дело.

А так как Союз писателей, надо отдать ему должное, делами меня не обременял, тем более важными, то я послушно заехал на улицу Воровского. Там мне вручили конверт с праздничного вида билетом на лощеной бумаге, заставили расписаться.

В билете значилось, что товарищ Тенков В. Ф. с супругой приглашаются на встречу руководителей партии и правительства с деятелями науки и культуры, просьба прибыть в 9 часов утра. На обратной стороне билета — схема маршрута: по Каширскому шоссе, поворот на сто двадцатом километре, к совхозу «Семеновскому»...

— Место в машине для вас оставить? — спросили меня.

Я пожелал остаться независимым:

— У меня своя машина.

У меня был выдавший виды «Москвич», который я мыл в году раза по два — по вдохновению или ради какого-нибудь исключительного случая вроде техосмотра. Встреча с правительством — случай тоже из ряда вон выходящий, и я мысленно дал себе слово помыть машину.

Но не сдержал его: в тот день домой вернулся ночью, а утром встал, когда стрелки часов перевалили за восемь, где уж тут мыть машину, сломя голову надо нестись, чтоб если и опоздать, то не безбожно.

Я влез в свой единственный светлый костюм, вместе с женой сбежал к своему неумытому «Москвичу», ринулся через Москву к Каширскому шоссе.

Тише едешь — дальше будешь, поспешишь — людей насмеишь... У меня вечные нелады со столь мудрыми острережениями, а потому на выезде из Москвы коварно спустил баллон. И я, скинув свой светлый, но удушающе плотный, жаркий, что мужицкая поддевка, пиджак, кляня норовистую машину, правительственную затею, самого себя и ни в чем не повинную жену, принялся на солнцепеке менять заскорузлое от грязи колесо. А мимо по шоссе скользили, отливая безупречной полировкой, черные «ЗИЛы» и монументальные «Чайки» — еще не примелькавшаяся новинка тех лет, — все они, разумеется, спешили туда, куда спешил и я.

Наконец колесо поставлено, багажник захлопнут, руки наспех вытерты тряпкой — вперед! Я выжимал из своего неумытого все, что тот мог дать, не особенно считался с дорожными знаками, выскакивал на левую сторону, держа наготове пригласительный билет на лощеной бумаге. Если только милиция остановит, сразу под нос обезоруживающий документ: глядите, спешу не к теще в гости, вам надлежит не осуждать, а хвалить меня за рвение. Шоссе было густо заставлено милицией, чуть ли не на каждом километре посты, но, должно быть, они по слишком откровенному нахальству, с каким я нарушал правила, догадывались о приготовленном для них лощеном билете и лишь провожали меня осуждающими взглядами. И уж только когда я совершил вовсе недопустимое — у железнодорожного шлагбаума по левой стороне обошел черные лимузины и бесцеремонно подставил бок «Чайке», — ко мне подошел представитель милиции с погонями подполковника и скорбно-осуждающим лицом. Он даже не попросил у меня водительские права, даже не спросил меня, куда это я так рвусь, даже лощеный билет, увы, не понадобился. Подполковник всего-навсего укоряюще сказал:

— Нельзя же так. Можете аварию устроить. Нехорошо.

И затронул лучшие струны моей души, заставил искренне устыдиться. Я и дальше продолжал гнать своего неумытого, но старался уже не нагличать.

Неожиданно я почувствовал, что шоссе вокруг меня пусто, трясется впереди лишь расхлябанный грузовичок — ни черных лимузинов, ни гордых «Чаек» с золочеными хвостами... И я понял, что переусердствовал — проскочил заветный поворот, указанный на обратной стороне билета. Пришлось разворачиваться...

Стандартный кирпич па обочине, запрещающий произвольный проезд, нитка асфальта через поле к раскинувшейся хвойной купе.

Наш «Москвич» оказался в очереди машин перед четырехметровым сплошным забором, выкрашенным в стандартную солдатски-зеленую краску.

Молодцеватые военные с голубыми околышами и петлицами заулыбались, когда после сияющих «ЗИЛов» и «Чаяк» подрулил я. Через опущенное стекло было слышно, как один проницательно заметил другому:

— Гляди — частник приехал!

Я показал им приготовленный билет, они мне с подчеркнутой вежливостью откозыряли, и я въехал под сень соснового леса, недоуменно оглядываясь — где же тут можно приткнуться? Узенькая — на ширину одной машины, не больше — асфальтовая стежка привела к асфальтовому пятачку, и к нам двинулся молодой человек.

Он был высок, плечист, гибок, он не шагал по земле, он скользил по ней, темный костюм на нем, облегающий широкую грудь и тонкую талию, лишь на локтевых сгибах собирался в скупые, почти музыкальные складки. И голова его курчавей, чем у Пушкина и Василия Захарченко, и лицо правильное, мужественное, способное выражать лишь открытую доброжелательность. Он без всякого содрогания положил свою сильную руку в немнущемся рукаве с высовывающейся ослепительной полоской манжеты на ручку давно не мытой дверцы, с силой распахнул ее, пророкотал моей жене:

— Здравствуйте. Добро пожаловать. Прошу вас.

И жена, смущенная его великолепием, его рыцарской услужливостью, вылезла из неумытого «Москвича» на священный асфальт. Встречающий с силой захлопнул дверцу, небрежно махнул мне рукой:

— А ты поезжай! Поезжай дальше.

Вот те раз!..

Впрочем, моя особа всегда почему-то вызывает недоверие у швейцаров и официантов. Швейцары меня стараются не пустить за порог, официанты же меня с ходу предупреждают, что пиво в их заведении стоит дороже, чем в пивном киоске напротив.

Однако недоразумение сразу раскрылось, наш встречающий рассыпался в извинениях и все же настойчиво предложил ехать дальше. Жена, только что ступившая на землю обетованную, вновь залезла в машину, и мы покатили по узкой дорожке — дальше, в глубь леса.

Неожиданно лес оборвался. Мы выехали за ворота, мимо военных с голубыми петлицами — в поле, под ослепительно синее небо, па жестокий солнцепек. По обеим сторонам дороги на обочинах тесно стояли машины, и я понял, что пересекаю границу, где царствует дух гостеприимства и доброжелательности, вновь попал в места с волчьими законами, где рви — не зевай!

«ЗИЛы» и «Чайки», «Чайки» и «ЗИЛы», сияющие черным лаком, светлым, промытым стеклом, горящие начищенным никелем. Возле каждой машины развалился на солнышке шофер. Все они, как и их машины, похожи друг на друга, стандартны — тучные, распаренно-красные, ленивые. Даже на расстоянии чувствую их ~~презрение~~ к себе — странный тип, забравшийся в столь ослепительное общество на потасканном и до безобразия неопрятном «москвичике».

Подавленный их сановитым презрением, я ехал и ехал, растерянно и безнадежно приглядываясь — не откроется ли в сиятельных рядах щель, куда можно втиснуться. Пет, не открылась. Я проехал с добрый километр, пока сплошные шеренги машин не кончились, не открылось чисто-поле. И тут-то я развернулся и поставил своего неумытого на то место, какого он был достоин, — на самых задворках великолепного становища.

Я закрыл машину, переглянулся с женой:

— Пошли?

— Пошли.

И пошли мы, солнцем палимы, вновь вдоль блистательных рядов, под презрительными взглядами вельможной шоферии. Набравшее лютую силу солнце, взгляды, светлый костюм, в котором, пожалуй, можно и зимой гулять без пальто, с каждым шагом все больше и больше накаляли меня. Сначала тихо, затем все громче и громче я начал кипеть, проклиная все на свете — яркий день, безоблачное небо, сытых олухов на обочине, затею со встречей у черта на куличках. И нот стекал по спине под светлым пиджаком, и хотелось пить...

Дорога впереди пересекала мелкий овражек, за мостиком с легкими перильцами уже маячили ворота в зеленом заборе, военный возле него. Еще немного... Но как хочется пить!

Совсем неожиданно прямо из-под мостика выскочил — эдакий ванька-встанька! — человек в соломенной шляпе, засыпав в недоуменной стоечке, спросил тенорком:

— Вам куда?

— Как — куда? — удивился я. — Сюда! — кивнул на ворота.

Объяснение не очень-то вразумительное, но на большее я был уже не способен. Однако...

— Пожалуйста! — Соломенная шляпа с готовностью нырнула под мост.

До ворот оставалось каких-нибудь пятнадцать шагов, когда я вдруг похолодел под своим жарким пиджаком.

— Послушай, а билет?..

Билет остался в машине у ветрового стекла.

Военные откозыряли, участливо выслушали меня, пожали офицерскими погонами:

— Не можем.

— Вы понимаете, что только идиот стал бы рваться сюда без билета. Он у меня есть — поверьте. А топать туда и обратно по такой жарнице — сдохнем.

— Верим. Сочувствуем. Но не можем.

Я видел, что они верят мне, и сам прекрасно их понимал — впустить меня, пока я не махну перед ними кусочком лощеной бумаги, значит свершить самое тяжкое преступление, какое только для них возможно, значит признать ненужность и бессмысленность своего существования. И я стоял перед военными запаленно жалкий, потный, убитый, решал — не плюнуть ли мне па всю эту затею, не совершить ли рейд по солнцепеку, не развернуть ли своего неумытого носом к дому... Право же, военные были славные ребята — сочувствовали.

Вдруг один из славных ребят взгляделся в сторону, махнул рукой, властно крикнул:

— А ну сюда!

Подкатила странная машина, пожалуй, даже более странная, чем мой «Москвич» — дряхлая «Победа» и тоже давно не мытая, пропыленная. За ее рулем сидел уныло носатый человек наглядно иудейского вида.

— Возьмешь этих товарищей, довезешь до их машины, привезешь их обратно. Ясно?!

— У меня кардан...

— Тебе сказано: свозишь товарищей туда и обратно! Ясно?.. Садитесь, пожалуйста.

И мы, преисполненные благодарности, влезли в душную, пыльную, пахнущую чем-то кислым «Победу». Едва тронув с места, носатый начал брюзгливо жаловаться:

— У меня кардан разваливается... И на одной подвеске езжу... До гаража не доберусь...

Мы слушали, виновато молчали, но ехали мимо выстроившихся парадных машин, мимо возлежащих шоферов.

Билет упал с ветрового стекла вниз, и пока я его поднимал, «Победа» вместе с носатым водителем бесследно исчезла.

И снова мы, солнцем палимые, — мимо, мимо... Как хочется пить! Пригласительным билетом прикрываю накаленную макушку. Я уже никого не кляну, не ругаюсь, киплю в себе, боюсь взорваться.

Наконец-то заплетающиеся ноги доносят нас к мостику с перильцами — уже теперь близко!

Из-под мостика бодренько выскакивает человек в соломенной шляпе — Сивка-Бурка, вещая Каурка:

— Вы куда?

Меня прорвало:

— А ты чего — не видишь? Второй раз мимо проходим! Зачем тебе только деньги платят!

Плечи Сивки-Бурки опустились, руки упали, морщинистое лицо смятенно вытянулось под шляпой.

— А что вы обижаетесь? — Тонким тенорком с жалобной беззащитностью: — Ведь я же на работе.

И нырнул под мост.

Я сегодня второй раз почувствовал угрызение совести: в самом деле, виноват ли он, если приходится зарабатывать хлеб такой странной службой — под мостом? А потом я здесь гость у высоких хозяев, значит, барин, мне легко его обложить по-барски...

Но особо рефлексировать некогда, мы уже приблизились к распахнутым воротам. Я взмахиваю волшебным билетом — сезам, откройся! — мне почтительно козыряют, и мы перешагиваем заповедную черту.

На нас сразу ложится благодатная тень. И шум хвои над головой. И прохладный, смолистый, ласково обнимающий воздух. Иной мир.

Я хочу пить, я умираю от жажды...

Едва я мысленно произнес эти слова, как сразу же, словно по щучьему велению, увидел перед собой бегущий среди деревьев ручей, прямо в нем, утопая в струях ножками, — стол, под столом из воды торчат горлышки бутылок — боржом, эссенуки, ситро, на выбор. За столом дородная, краснощекая, улыбчивая девица в жестко накрахмаленном кокошнике звенит тонкими фужерами, разливает воду, и пузыри мечутся за отпотевшим стеклом.

Я ринулся к столу, встал за спиной еще одного жаж-

душего, готовый с привычной воинственностью отшивать тех, кто полезет без очереди. Но сказочная боярышня уже тянет мне наполненный фужер, улыбается.

Вода холодная, впитавшая родниковую свежесть ручья.

— Ох, спасибо!.. Если можно — еще.

— Пожалуйста.

И новый запотевший фужер, и новая улыбка.

— Спасибо...

— Вам еще?

— Хва-атит.

Я лезу в карман за мелочью, на меня все смотрят с насмешливыми, но вовсе не обидными улыбками — то-то простота.

И я понял, куда я попал. Какие тут деньги! ~~Здесь~~ все бесплатно — смолистый воздух, охлаждающая вода, доброта румяной девицы в кокошнике и журчание ручья.

2

В глубоком детстве, еще до школы, мы слышали фразу: «Коммунизм на горизонте!»

Горизонт, как известно, — кажущаяся, но не существующая линия, которая неизменно удаляется при приближении. Мы шли к коммунизму, коммунизм удалялся от нас.

А что, собственно, это такое — коммунизм? Как он должен выглядеть?

Мы всегда скудно жили — плохо питались, некрасиво одевались, очереди в магазинах и коммунальные многосемейные, удушающе тесные квартиры были нормой нашего быта, а потому и вождельный коммунизм нам представлялся не иначе как некий жирный кусок, которого с избытком хватает на всех — ешь не хочу!

Карл Маркс высмеивал такое потребительское понимание, называл его коммунизмом ложки. Он бросил миру формулу: «От каждого — по способностям, каждому — по потребности». Подозрительно благостна она и туманна. И нет никого, кто более толково бы объяснил коммунизм. Последователи ограничивались лишь заверениями о пришествии: «На горизонте!»

Нужно ли удивляться, что неискушенное большинство определяет для себя коммунизм по внешнему, но весьма зримому признаку: существуют деньги в обиходе — нет его, коммунизма, будут трижды проклятые деньги похерены — пришествие совершилось.

С меня не взяли денег за минеральную воду, не возьмут их и за торжественный обед, который несомненно ждет меня впереди. Кошелек в моем кармане сегодня — самая не пужная для меня вещь.

3

— Если вам хочется выкупаться, то пожалуйста...

Какой-то старожил коммунизма, прибывший сюда на полчаса раньше меня, успевший уже оглядеться и освоиться, произнес эту фразу.

Черт возьми! Предложения рождаются раньше, чем возникают желания. Я вдруг почувствовал, насколько липко мое тело, как разъедает кожу соль, какое бы наслаждение окунуться сейчас, но...

— Кто же знал, что на встречу с правительством следует захватывать с собой плавки.

— Э-э, не беспокойтесь, там дают плавки... с поклончиком. Вот по этой дорожке выйдете на берег озера, увидите в стороне две будочки — купальни, мужская и женская... И в лодочке ежели желаете покататься, тоже пожалуйста.

Внимание к личности столь велико, что ничего не остается, как покориться — для собственного же блага и удовольствия.

Атлетически сложенные юноши, эдакие простецкие, на русский лад, Аполлоны и Меркурии, выкручивали и раздавливали мокрые плавки. Впрочем, тут-таки произошла досадная неувязочка — плавков на всех желающих, однако, не хватило, мне достались трусы, только что кем-то использованные, но зато добросовестно выжатые.

Просторный пруд раздвинул сосновый лес, берега натуральные, с травкой, с осокой, не забраны в казенный камень. Правда, вокруг широкого пруда — асфальтированные дорожки, скамеечки и деревянные стойки, услужливо предлагающие бамбуковые удочки. И рыбаков на сей раз что-то не видно...

В прошлую встречу деятелей культуры и правительства на берегах водоемов через каждые десять — пятнадцать шагов застывшие рыбаки с удочками. Константин Георгиевич Паустовский, сам вдохновенный рыбак, рассказывал мне, как он по простоте душевной подсел к одному и без задней мысли полюбоществовал:

— Как клюет?

Рыбак молчал и взирает на неподвижный поплавок с каменным лицом.

— А на что вы тут ловите? На мотыля или на червя?

Ни слова в ответ... И тут-то до Паустовского дошло: рыбака интересует не та рыбка, что плавает в воде, и, должно быть, ему дана строгая инструкция — в разговоры не вступать.

Сейчас берега свободны, инструктированных рыбаков нет, а гости не интересуются удочками.

У купальни оживление, и вокруг меня все знакомые лица, я словно попал в некий филиал Московского отделения Союза писателей. Алексей Сурков вытряхивает из штанины муравья и, морщась, жалуется:

— Ест поедом, сатана, словно озверевший критик.

— Наберитесь терпения — он правительственный, — осмеливаюсь посоветовать я.

Сурков смеется. Когда он не выполняет высокие секретарские обязанности, с ним можно шутить, и даже вольно.

Чуть в стороне, сосредоточенно посапывая, не спеша облачается искупавшийся Леонид Леонов. А в воде под берегом происходит встреча — Валентин Катаев, нагоняя волну, плывет на круглую, как плавающая луна, широко улыбающуюся физиономию Доризо и громко сетует:

— Стоило ехать за сто с лишним километров, чтоб узреть эту надоевшую на улице Воровского рожу!

Погруженный в воду Николай Доризо улыбается в ответ с приятной, обезоруживающей невозмутимостью.

На отдалении сидит налитой розовым соком человек — при галстук, в белоснежной сорочке, отутюженных брюках, волосы сухие, значит, не купался и, похоже, не сбывается, просто отдыхает. Совсем еще недавно он был скромным сотрудником «Комсомольской правды»... Алексей Аджубей, зять Хрущева! Мы как-то однажды нечаянно познакомились, даже чокались за столом за здоровье друг друга, сейчас старательно смотрим в разные стороны. Он, мнится мне, ждет, что я непременно уловлю — уж постараюсь! — его взгляд и услужливо поздороваюсь. Но он здесь хозяин, я же — гость, его долг замечать и приветать. И я, нарядившись во влажные правительственные трусы, лезу в воду, так и не замеченный Аджубеем, делая вид, что в свою очередь не замечаю его.

И вот я, освеженный, всем довольный, гуляю под сенью сосен, встречаю знакомых, с одними чинно раскланиваюсь, с другими останавливаюсь поболтать.

Все предупредительно вежливы друг с другом, на лицах разлита тихая пасхальная благодать, каждый подавлен кротостью, готов забыть обиды, любить врагов, «Христос воскрес», да и только. Вот-вот дойдет — Эренбург облобызает Грибачева, а я со слезами умиления обнимусь с Кочетовым.

Однако нельзя долго пребывать в состоянии некой блаженной невесомости, когда от умиротворения «в зобу дыханье сперло», невольно переводишь дух и опускаешься на грешную землю. Я вдруг представил, что так вот гулять по асфальтовым дорожкам, под хвойной тенью придется целый день, до вечера, до обещанного обеда и торжественных речей. И невольно зашевелилась крамольная мыслишка: «А в этом коммунизме того... скушновато, право».

Но еще не появилось правительство. Оно-то должно внести какое-то разнообразие.

4

Это была уже вторая встреча с правительством. На первую я не удостоился чести быть приглашенным, а жаль — она потрясла очевидцев.

Хрущев тогда во время обеда, что называется, стремительно заложил за воротник и... покатил «вдоль по Питерской» со всей русской удалью.

Сначала он просто перебивал выступавших, не считаясь с чинами и авторитетами, мимоходом изрекая сочные сентенции: «Украина — это вам не жук на палочке!..» И острил так, что, кажется, даже краснел вечно бледный до зелени, привыкший ко всему Молотов.

Затем Хрущев огрел мимоходом Мариэтту Шагинян. Никто и не запомнил — за что именно. Просто в ответ на какое-то ее случайное замечание он крикнул в лицо престарелой писательнице: «А хлеб и сало русское едите!» Та строптиво оскорбилась: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба!» И демонстративно покинула гостеприимный стол, села в пустой автобус, принялась хулить шоферам правительство. Что, однако, никак не отразилось на ходе торжества.

Крепко захмелевший Хрущев оседлал тему идейности в литературе — «лакировщики не такие уж плохие ребята... Мы не станем цацкаться с теми, кто нам исподтишка пакостит!» — под восторженные выкрики верноподданных литераторов, которые тут же по ходу дела стали указывать

перстами на своих собратьев: куси их, Никита Сергеевич! свой орган завели — «Литературная Москва»!

Альманах «Литературная Москва» был основан инициативной группой писателей, формально никому не подчинялся. фактически был полностью подчинен, как и все печатные издания, капризам цензуры, тем не менее пугал независимостью. Казакевич, общепризнанный инициатор, на этот раз почему-то избежал особого внимания, весь свой монарший гнев Хрущев неожиданно обрушил на Маргариту Алигер, повинную только в том, что вместе с другими участвовала в выпуске альманаха.

— Вы идеологический диверсант! Отрыжка капиталистического Запада!..

— Никита Сергеевич, что вы говорите?.. Я же коммунистка, член партии...

Хрупкая, маленькая, в чем душа держится, Алигер — человек умеренных взглядов, автор правоверных стихов, в мыслях никогда не допускавшая какой-либо недоброжелательности к правительству, — стояла перед разъяренным багроволицым главой могущественного в мире государства и робко, тонким девичьим голосом пыталась возражать. Но Хрущев обрывал ее:

— Лжете! Не верю таким коммунистам! Вот беспартийному Соболеву верю!..

Осанистый Соболев, бывший дворянин, выпускник Петербургского кадетского корпуса, автор известного романа «Капитальный ремонт», усердно вскакивал, услужливо выкрикивал:

— Верно, Никита Сергеевич! Верно! Нельзя им верить!

Хрущев свирепо неистовствовал, все съежились и замерли, а в это время набежали тучи, загремел гром, хлынул бурный ливень. Ей-ей, сам господь бог решил принять участие в разыгрывавшейся трагедии, неизобретательно прибегая к избитым драматическим приемам.

Натянутый над праздничными столами тент прогнулся под тяжестью воды, на членов правительства потекло. Как из-под земли вынырнули brave парни в отутюженных костюмах, вооруженные швабрами и кольями, вскочили за спинами правительства на ограждающий барьер, стали подпирать просевший тент, сливать воду — на себя. Потоки стекали на их головы, на их отутюженные костюмы, но парни стоически боролись — самоотверженные атланты, поддерживающие правительственный свод. А гром не переставал греметь, а ливень хлестал, и Хрущев неистовствовал:

— Прикидываетесь друзьями! Пакостите за спиной! О буржуазной демократии мечтаете! Не верю вам!..

Хрупкая Алигер с помертвевшим лбом стояла вытянувшись и уже не пыталась возражать.

Гости гнулись к столам, посиживали от страха перед державным гневом и от струек воды, пробивающихся сквозь тент, — атланты оберегали только правительство. И смущенный Микоян услужливо угощал ближайших к нему гостей отборной клубникой с правительственного стола. И Соболев неустанно усердствовал:

— Нельзя верить, Никита Сергеевич! Опасения законные, Никита Сергеевич!..

Жена, дама в широкополой шляпе, с ожесточенным лицом дергала мужа за рукав и нашептывала. И муж вял, обиженно засуетился:

— Ведь я, Никита Сергеевич, имею право на уважение, но вот никак... никак не могу добиться, чтоб мне дали... гараж для машины.

Жена с удовлетворенностью закивала широкой шляпой.

А гром продолжал раскалывать небо, мокрые атланты возвышались с вознесенными швабрами. Затерянный среди гостей Самуил Маршак с бледным, вытянутым лицом время от времени сдавленно изрекал:

— Что там Шекспир!.. Шекспиру такое не снилось...

В завершение Соболева от усердия и перевозбуждения... хватил удар. Его уносили с торжественной встречи на носилках, а жена в черных перчатках по локоть бежала рядом и обмахивала пострадавшего мужа широкополой шляпой.

Маргарита Алигер шла к выходу одна, к ней боялись приблизиться — заклеимена, прокажена. Лишь Валентин Овечкин догнал ее, подхватил под локоть, демонстративно повел. За ними сразу двинулись влажные атланты... Нет, опека опальной Алигер их настораживала, а гриб... Овечкин случайно нашел под правительственным деревом крупный белый гриб и не удержался, сорвал его. Одной рукой он придерживал Алигер, в другой нес гриб... Почему гриб? Не замаскированная ли это бомба?.. Атланты проводили их до выхода.

Дождь прошел, светило солнце.

Через несколько дней по Москве разнесся слух, что поведение Никиты Сергеевича на приеме осуждается... даже в его ближайших кругах.

Да, прошлая встреча у всех свежа в памяти. Сегодня каждый ждет появление Хрущева со жгучим интересом: как-

то он поведет себя? не сорвется ли снова? а вдруг да раскаянье толкнет его в обратную сторону — ко всепрощению и любви? Неисповедимы пути твои, господи! От Хрущева всего можно ждать...

5

Уинстон Черчилль якобы, незадолго до смерти узнав о падении Хрущева, выдал миру едва ли не последнюю в своей жизни остроту: «Этот человек всегда стремился перепрыгнуть пропасть в два приема».

Революционные скачки Маркс положил в основу своей теории, мы применили их на практике. Хрущев всей душой хотел резво перескочить пропасть между существующим социализмом и сказочным коммунизмом. Раз! — и догнать сытую Америку по мясу и молоку! Два! — оставить ее далеко позади в неприглядной реальности, самим оказаться в сказке! Был отдан приказ: режь скот, чтоб было больше мяса! Не учтено лишь то, что этот скот надо сначала вырастить. Великая страна взвилась в прыжке, но пропасть не преодолела — свалились. Конфуз? Да нет, боже упаси! Снова прыгаем в изобилие, на этот раз кукуруза — опора...

Мне рассказывали: в Мурманской области — территория чуть меньше Англии и больше Болгарии — в редких закрытых от ветра горами долинах, на солнечных склонах, на каких-то пяти тысячах гектаров высаживали холодоустойчивые сорта картошки и капусты. И тут Хрущев потребовал выделить пятьсот гектаров на кукурузу!

— Так все равно же не вырастет, Никита Сергеевич, — осмелились возразить ему.

— А вдруг да вырастет. Какой тогда будет политический резонанс!

А вдруг да... Расчет прыгуна, свято верящего, что и посреди пропасти существует опора.

! Государственному руководителю часто свойственна заурядность мышления. Великие мысли, прозорливые открытия никогда не рождаются сразу в миллионах голов, массовых озарений не существует в природе. Великие мысли и открытия возникают у тех, кто способен мыслить намного глубже других, у своего рода чемпионов разума и проницательности. И надо время, и немалое, чтобы заурядно мыслящие массы поняли и приняли то, чего достигли чемпио-

ны человеческого мышления. Прошло более двух столетий, пока открытие Коперника стало общепризнанным.

Но государственный политический деятель занимается то вопросами текущей жизни, сталкивается с задачами, требующими, как правило, немедленного решения. Он не может ждать сотни, пусть даже десятки лет, чтоб быть понятым. А потому политический руководитель вынужден прибегать к общепризнанным шаблонам, к элементарным понятиям, духовно соответствовать некой усредненной заурядности в человеческом обществе. Как это ни обидно, но ум и проницательность среди высоких политических деятелей, тех, кто возглавляет людей, руководит жизнью, — скорей исключение, а не нормальное явление.

Наполеона, скажем, не назовешь дураком, но как бесплоден был его ум! Он не принес ничего, что пошло бы на пользу человечеству. А бесплодный, безрезультативный ум — какой в нем прок, он не имеет преимуществ перед глупостью.

Авраам Линкольн и Джон Кеннеди, прежде чем проявить себя более здравомыслящими в сравнении с простым обывателем, сперва подделывались под обывательское шаблонное мышление, угождали ему, а как только поднялись над ним, были убраны.

Тот же Черчилль прославился хитростью, изворотливостью, остроумием, обрел славу глубокомысленного политика, но как часто он действовал с поразительным тупоумием и не подозревал об этом. Откроем наугад его мемуары. Вот, к примеру, он с серьезной важностью повествует... Май 1942 года. Почти вся Европа проглочена гитлеровцами, немецкие войска в глубине России. Именно в это время Черчилль, с одной стороны, и Молотов по поручительству Сталина, с другой, встретились в Лондоне для переговоров. Они договариваются, как победить грозного и опасного противника?... Да нет, они торгуются: кому будут принадлежать прибалтийские государства и Восточная Польша? С истовой недоверчивостью друг к другу делят кусок шкуры еще не убитого, напротив, могучего и опасного медведя. И делают это столь упоенно, что вопрос, как убить медведя, не представляется им существенным. «Помимо вопроса о договоре, — небрежно бросает Черчилль, — Молотов приехал в Лондон, чтобы узнать наши взгляды по поводу открытия второго фронта. Ввиду этого утром 22 мая я имел с ним официальную беседу». И все! Небрежно, мимоходом — сие не стоит внимания. Поведение смехотворно глупейшее, особенно на

фоне последующих трагических событий — немцы, чью шкуру стоить страстно делили, с новой силой ударили по России, захватили шестисоттысячную группировку под Харьковом, продвинулись до Кавказа и Волги. И вот спустя много лет осведомленный Черчилль многозначительно, без какой-либо иронии повествует: делили, делали дело, — то есть пребывает в прежней глупости.

Глупость легко перерастает в аморальность. Черчилль, узнав от Сталина, что коллективизация в СССР достигнута ценой уничтожения и ссылки десяти миллионов — шутка сказать! — «маленьких людей», не ужасается и не осуждает, а благостно оправдывает: «Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, по оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина». Воистину блаженны нищие духом, не ведают они, что творят. Хрущев тут оказался куда проницательней — на такие слова у него не повернулся бы язык.

Да, сам по себе Хрущев был безрассчетно, убого глуп, глуп с русским размахом, но, право же, он принципиально ничем не отличался от других видных политиков, страдал их общей бедой. И конечно же, его вседержавная самонадеянность нравственно калечила общество — воспитывала лжецов, лстецов, жестоких, беснاردонных прохвостов типа «рязанского чудотворца» Ларионова, делающих карьеру на чиновном разбое.

Но вот что странно — бывают же такие поразительные парадоксы в истории! — именно экзальтированность Хрущева и помогла совершить смелый прогрессивный переворот в стране. Хитроумный политик сэр Уинстон Черчилль не принес столько пользы Англии, сколько принес. Никита Хрущев многонациональной Стране Советов одним своим выступлением на XX съезде партии!..

Однако мы увлеклись рассуждениями, а тем временем появились сами гостеприимные хозяева...

6

Члены правительства без торжества, без предупреждения, вдруг оказались на асфальтовой дорожке под соснами. Улыбающийся добродушно Хрущев — в легком пиджаке, в вышитой украинской рубаше, стянутой у шеи цветным шнурком, прозванной в обиходе «антисемиткой». Трясущийся от дряхлости Ворошилов в штатской шляпе. Микоян с навешенным носом над траурными, не тронутыми сединой

усами. И уже нет плакатно примелькавшихся Молотова и Кагановича, высоких участников прошлой встречи. Осмелились не угодить, и Хрущев их погнал вон. Нет, не упрятал за колючую проволоку, не расстрелял в подвалах, как это делал Сталин в компании тех же молотовых-кагановичей, а просто спихнул с Олимпа — черт с вами, живите на пенсионном содержании! Вместе с ними слетел Шепилов — «и примкнувший к ним». Презрительная оговорочка вскрывала политическую худородность данной фигуры. Худороден?.. Вполне возможно, только не для таких, как я. Этот худородный командовал культурой страны — указывал и направлял, возносил и ниспровергал, карал и жаловал. Почему-то именно он у меня вызывает минорный мотив: «Куда, куда вы удалились?..»

Правительство появилось, и сразу вокруг него возникла кипучая, угодливая карусель. Деятели искусства и литературы, разумеется не все, а те, кто считал себя достаточно заметными, способными претендовать на близость, оттирая друг друга, со счастливыми улыбками на потных лицах начали толкучечку, протискивались поближе. Пыхтел, топтался, выдерживал толчки тучный Софронов, блестела под солнцем голая голова Грибачева, сутулился от почтительности и семеняще выплясывал все тот же Леонид Соболев, получивший не только гараж — как убоги были их семейные мечты! — но и специально для него созданный Союз писателей Российской Федерации. То с одной стороны, то с другой вырастал Сергей Михалков, несравненный «дядя Степа», никогда не упускающий случая напомнить о себе.

По правую руку Хрущева прорвался украинский композитор Майборода, вскинул вверх плоскую, широкую, лоснящуюся физиономию, закатил глаза и залился сладко-голосом:

Дывлюсь я на небо
Тай думку гадаю...

Хрущев, добродушно расплываясь, подхватил неустойчивым баритончиком:

Чому я не сокил,
Чому не летаю...

А к нему лезли и лезли, заглядывали в глаза, толкались, оттирали, теспились и улыбались, улыбались... Все это были люди солидные, полные, осанисто-степенные. По-

встречай каждого из них на улице или в коридоре учреждения, представить невозможно, что столь барственная особа способна на такие мелкие телодвижения.

Здесь тенистый остров коммунизма, в его тесных границах монаршее внимание имеет лишь чисто моральное значение — заметил, помнит, назвал твою фамилию, пожал руку, приятно! Но завтра все окажутся за пределами этого счастливого острова, в океане, где качает и опрокидывает, где всегда кто-то тонет, кого-то выбрасывает наверх, надо быть сильным и споровистым, чтоб удержаться на волне. И каждый, кто сейчас пробился поближе, прикоснулся к все-сильной руке, рассчитывает унести в себе частицу самодержавной силы. Толкотня, кружение, оттирание, щеки, раздвинутые в улыбке, — смотри рыцарей удачи!

Я стоял в стороне, всматривался в умилительную карусель и вдруг... Вдруг через головы толкущихся я встретился с направленным прямо на меня — могу поручиться! — взглядом Хрущева. Он только что подпевал Майборде: «Чому я не сокил, чому не летаю...» — только что добродушно улыбался, и лицо его, чуточку разомлевшее от жары, было отдыхающим, право же, выражало удовольствие. Только что — секунду назад, долю секунды!.. Сейчас я через головы, на расстоянии видел уже совсем иное лицо — не размякшее, не отдыхающее, а собранное, напряженное, недоброе. Оно даже казалось изрытым от усталости, а взгляд, направленный на меня, — подозрительно-недоверчивый, почти угрожающий. Так могут смотреть только на врага.

Он никогда не видел меня раньше, знать не знал меня в лицо, не имел никаких оснований считать меня врагом. Но тем не менее...

Причин пугаться у меня не было, я прекрасно понимал, что плотная стена угодников и кусок пространства в десять шагов — надежная защита. Я не опустил глаза, продолжал с удивлением вглядываться в преображенное лицо Хрущева.

Наша встреча взглядами едва ли продолжалась секунду. Чья-то лысина заслонила от меня главу государства, а когда я вновь его увидел, Хрущев уже добродушно улыбался, разговаривая с кем-то.

Ну и ну!.. Улыбается, шутит, подпевает, вид отдыхающего человека — не верь глазам своим: он напряжен внутри, настороженно-собрал, полон подозрительности. И я невольно пожалел его: «А трудно же, оказывается, тебе, Никита Сергеевич. Так играют не от хорошей жизни».

Даже жена, стоявшая рядом со мной локоть к локтю, не заметила этой переглядки. Правда, я тут же сказал ей, она на минуту заинтересовалась и... сразу же забыла. Не столь уж и важный случай, чтоб придавать ему какое-то значение.

А я не мог забыть. Мы ушли от этой карусели, бродили по тихим дорожкам, раскланивались со знакомыми и снова натывались на осажденное правительство. Я опять останавливался и подолгу смотрел на добродушного, веселого Хрущева, ждал — встречусь с ним взглядом, хотел, чтоб все повторилось, убедило меня: мне не пригрезилось.

Но Хрущев уже не замечал меня больше.

7

Все, кто сегодня был приглашен на остров коммунизма — и те, кто не осмеливался подойти близко к правительству, и те, кто, толкаясь и оттесняя друг друга, кружился возле него, как мухи вокруг банки с вареньем, — принадлежали к интеллигенции, наиболее заметной в стране.

Интеллигенция... Люди, профессионально занимающиеся умственным трудом, то есть имеющие прямое отношение к тому, что, собственно, и является высоким отличием человека, — к разуму. Казалось бы, эта часть рода людского должна признаваться в обществе как наиболее значительная, пользоваться неизменным всеобщим уважением. Увы! К интеллигенции всегда было пастороженное, а часто и вовсе неприязненное отношение. Именно от нее-то обычно исходят идеи и взгляды, противоречащие привычным шаблонам, смущающие обывателя, осложняющие деятельность государственных руководителей.

Ленин не любил либеральную интеллигенцию, не доверял ей, считал ее прислужницей буржуазии. «...влияние *интеллигенции*, — писал он в 1907 году, — непосредственно не участвующей в эксплуатации, обученной оперировать с общими словами и понятиями, носящейся со всякими «хорошими» заветами, иногда по искреннему тупоумию возводящей свое междуклассовое положение в *принцип* внеклассовых партий и внеклассовой политики, — влияние этой буржуазной интеллигенции на народ опасно».

Став во главе государства, он уже с откровенностью бросает интеллигенции: «В вашей дряблости мы никогда не сомневались. Но что вы нам нужны — этого мы не отрицаем, потому что вы являлись единственным культурным элементом». То есть была интеллигенция прислужницей — и

оставаясь ею. В конце жизни Ленин часто с горечью говорил, как ему не хватает истинных интеллигентов-единомышленников.

Сталин прислужничество сделал основой существования нового государства: низший по службе безропотно, безоглядно, бездумно подчинялся высшему, этот высший еще более высшему, и так до конца, до венчающей вершины, на которой восседала никому не подчиненная, всех подчиняющая личность — сам Сталин. Наиболее характерной фигурой в обществе стал некий службистский Янус с ликом диктатора в одну сторону и лакея в другую.

И только тот, кто непосредственно занимался созидательным трудом, лишен был каких бы то ни было диктаторских прав. Если ты па~~ше~~шь поле, сам па~~ше~~шь, а не руководишь на расстоянии пахотой, диктовать, приказывать тебе просто некому. Если ты пишешь книгу, создаешь музыкальное произведение, решаешь научную проблему, ты при всем желании не можешь стать диктатором. Только переложив пахоту, книгу, музыкальное произведение, научные изыскания на кого-то другого, ты получаешь возможность превратиться в диктатора. Творческое созидание исключает диктаторство, но от лакейского положения оно не освобождает. Ты приказывать не можешь — некому! — а тебе — почему бы и нет. А если ты вдруг окажешься недостаточно покорным, проявишь строптивость, то почему бы к тебе не применить насилие вплоть до изоляции в лагерях со строгим режимом, избиений, пыток, расстрела, наконец.

Сталин превратил интеллигенцию в безроптную прислужницу, покорно выполняющую — чаще тупо, очень редко даровито и изобретательно — правительственные заказы от создания новых бомбардировщиков до «философского» обоснования великой научной ценности сталинских работ по языкознанию.

И вот теперь тесная, потная карусель, клубок тая — это кружатся интеллигенты сталинского времени. А Хрущев со свитой, столбовая ось этой карусели, — сталинские чиновники, Сталиным поднятые, Сталиным вскормленные и воспитанные янусы с двойными ликами диктаторов и лакеев.

Хрущев не представлял себе иного устройства, кроме того, какое было при покойном Сталине. Хрущев искренне считал, что мир расколот враждой и ненавистью, что государство ежедневно, ежечасно должно укреплять свою мощь, **блюсти** железную дисциплину подчиненности, сохранять

абсолютизм власти... Генеральная линия партии в годы сталинизма была безусловно правильной, но...

Он вскормлен Сталиным, воспитан Сталиным, а потому лучше кого бы то ни было знает, сколь тягостно и чревато опасностями это воспитание. На его глазах хватали виднейших государственных деятелей и ставили к стенке... Добро бы просто к стенке, а то рвали ногти, ломали кости, отбивали почки, грубо измывались, подлейше унижали, прежде чем спровадить на тот свет. Сам Хрущев многие годы ждал своего часа, засыпал ночью, не надеясь увидеть утро, шел на прием к Сталину и не рассчитывал вернуться обратно. Жил и ждал, ждал и дрожал. Вскормлен и воспитан, но благодарности к воспитателю не испытывал.

Генеральная линия партии во время Сталина была безусловно правильной, только сам Сталин не прав — претит жестокость, мутило от безвинно пролитой крови. Хрущев ничего из сталинского не собирался менять — пусть останется все как было! — но Сталина следует осудить и выбросить из истории. Трудно даже представить более нелепое решение. Уж раз бывший вождь был полновластным диктатором и отдавал неверные приказания, которые усердно исполнялись, то почему партия и страна тогда должны жить и действовать правильно? Или он никакой не диктатор, его власть ничего не значила, не за что осуждать и развенчивать, или был диктатором — осуждай, но уже вместе с тем путем, на какой толкала его несправедная власть. Одно с другим тесно связано...

Но если б Хрущев мог как-то связывать причину со следствием, частное с общим!.. К счастью, он был младенчески прост: хочу — и баста, никакая логика мне не указ! Простота в не меньшей степени, чем ум, может быть отважной. Хрущев решительно ниспроверг на XX съезде Сталина: сгинь, нечистый! Тоже прыжок сломя голову...

Не случись этого, нам до сих пор бы внушали: идем по сталинскому пути! «Черные вороны» рыскали бы по улицам наших городов, пыточных дел мастера усердствовали бы в застенках, и наверняка продолжалась бы агрессивпо-остервенелая внешняя политика, ни о каком мирном сосуществовании не могло быть и речи. Не исключено, над планетой проросли бы грибы термоядерных взрывов, человечество вымирало бы от радиоактивности. Кто знает, как все-таки велика роль случая в истории, той пресловутой «бабочки Брэдли», меняющей облик будущего.

Воистину хвала случаю! Хвала простоте, ее отважному

носителю Никите Сергеевичу Хрущеву! Народы всех континентов должны вспоминать о нем с благодарностью!

Но если сам Хрущев простодушно не считался с элементарной логикой, то другие-то этого не могли себе позволить. Поведение Сталина осуждено — прекрасно! Однако сказал «господи», скажи и «помилуй»...

Джинн выпущен из бутылки, бродят дрожжи сомнений. На обсуждение книги Дудинцева к московскому Дому литераторов собралось столько беспокоящих читателей, что пришлось вызвать наряд конной милиции — явление небывалое! А в дружественной Венгрии вспыхивает бунт, приходится прибегать к вооруженному подавлению, срочно менять правительство, ставленное в свое время Сталиным.

В прошлую встречу Хрущев сорвался на прямую ругань, а сейчас он знает, что здесь у него в гостях интеллигенты, и не только такие, кто униженно лезет к ручке. И вот мимолетный взгляд из-под маски гостеприимного хозяина...

Я нескромно подглядел, что у царя Мидаса длинные уши.

8

Солнце за кронами сосен подалось к закату. Нас четверо — художник Орест Верейский и наши жены, — углубляемся в пустынные боковые дорожки. Здесь должен быть не только обихожный лес, наверняка где-то стоит и дача правительства. Пока мы не замечали и следа каких-либо построек. Я тянул в сторону нашу маленькую компанию: «Разведаем. Делать-то всё равно нечего».

Далеко приглушенные голоса, сдержанное праздничное брожение. А тут безмятежно стучит дятел. Отрешенная тишина, хочется говорить вполголоса.

Из боковой аллеи появился прохожий, идет нам навстречу. И мы замолчали, невольно испытывая смущение — идущий навстречу человек нам хорошо знаком, зато нас он, разумеется, знать не знает. Как держать себя в таких случаях: пройти мимо, сделав вид, что не узнали, — противостоит ли это естественно, но естественно ли здороваться, не будет ли это принято за подобострастие, не получим ли мы в ответ безразличный взгляд и оскорбительно-вельможный кивок? Извечная рефлексия русского интеллигента, раздираемого самолюбивыми противоречиями по ничтожному поводу. Встречный приближается и здоровается первым. Без вельможности. Леонид Ильич Брежнев.

В глубине леса раздаются выстрелы. Нет, мы не вздрагиваем и не переглядываемся недоуменно. Маннакальная мысль — не покушение ли? — не приходит нам в голову. Явно какое-то праздничное развлечение. Не спеша идем навстречу выстрелам, провожаемые стуком неvspугнутого дятла.

Поляна среди леса. Две кучки зрителей. Прямо на траве — несколько стульев и два стола, на одном лежат ружья, другой весь заставлен затейливыми фарфоровыми безделушками — призы за удачную стрельбу. Возле столов — Хрущев, Мжаванадзе и еще какие-то лица, мне совсем незнакомые.

На расстоянии сотни шагов почти незаметные, поросшие травой землянки, из них в воздух вылетают тарелочки одна за другой через равные промежутки времени. Они разлетаются от выстрелов высокого, холено-полного молодого человека.

Молодой человек отстрелялся, положил ружье, удалился с горделивой и независимой осанкой. Должно быть, он близок к Хрущеву настолько, что может вести себя в его присутствии свободно, без смущения и раболепства. Зато Мжаванадзе явно не по себе. Он старается быть поближе к хозяину и в то же время боится оскорбить излишней близостью, сохраняет неустойчивое расстояние в полтора шага, отрывисто хохочет. Он сейчас очень похож на алкаша, попавшего в чистую компанию, жаждущего, но не очень надеющегося, что ему поднесут спасительную стопочку.

Хрущев хозяйским жестом указывает Мжаванадзе на стол:
— А ну-ка!

И Мжаванадзе с готовностью хватает со стола ружье.

В синее небо летит тарелочка. Бац! — вдребезги! Новая тарелочка... Бац! — вдребезги!.. Еще, еще, еще... Мжаванадзе с веселым лицом, выражая всем телом предельную вежливость, осторожненько положил ружье на прежнее место. Ему уже протянули приз — фарфоровую статуэтку, густо покрытую позолотой. Он прижимает ее к паху.

Хрущев решительно стягивает с себя пиджак.

А в стороне из тесной кучки зрителей раздаются замечания откровенно насмешливые: мол, держись, посыплются сейчас черепки. Я с любопытством оглядываюсь — интересно, кто это позволяет себе так вольно высказываться в адрес главы государства? Узнаю среди зрителей тяжело-веселую Нину Петровну, понимаю, что тут собралось семейство Хрущева. Эти могут себе позволить.

В расшитой «аптисемиточке», расставив короткие ноги,

розовые уши настороженно торчат — Хрущев на изготовке с ружьем.

Взвивается в небо тарелочка. Бац — мимо! Тарелочка падает к земле. Вторая... Бац — мимо!.. Бац! Бац! — тарелочки целы... Оцепенел с прижатым к паху позолоченным призом Мжаванадзе.

Только одну тарелочку из десяти разбил Хрущев. Он положил ружье и сел на стул...

Полные плечи обмякли, руки повисли, отполированная голова опущена, уши, невинно-розовые, обиженно торчат в стороны — неутешно мальчишеское во всей рыхлой фигуре. Право, так и хочется подойти, погладить по лысой макушке: «Брось, лапушка, горевать. Эка беда, на другом сноровку покажешь».

А в стороне безжалостно посмеиваются:

— Настрелял уток — не унести.

И стоит перед убитым Хрущевым Мжаванадзе, прижимает к паху золоченый приз, мнется и не знает, куда смотреть. Вот уж кому не позавидуешь...

И вольные шуточки со стороны семейства.

Вдруг Хрущев встает. Тело его, только что обмякшее, становится сбитым, движения скупые, лицо не в шутку сурово, и розовые уши торчат уже не обиженно, а почти угрожающе.

Шуточки со стороны не прекращаются, но Мжаванадзе вышел из столбняка, облегченно распрямился, с преданной собачьей надеждой смотрит, как Хрущев берет ружье.

Рукава «антисемиточки» подтянуты, ноги расставлены, тяжелым корпусом вперед, голова склонена — бычок посреди дороги, объезжай кругом!

Летит тарелочка... Выстрел! Осколки осыпаются на землю. Выстрел!.. Осколки!.. Выстрел! Выстрел! Выстрел!.. Черт возьми! Возможно ли это? Лишь одна тарелочка падает целой на траву.

Хрущев победно кладет ружье.

Я не знаю, было ли тут холопское жульничество. Не знаю, каким способом выбрасываются в воздух тарелочки. Можно ли за несколько минут сделать так, чтоб они сами по себе разлетались в воздухе, да еще согласованно с выстрелами. Но если это и ловкий лакейский фокус, то в него всей душой поверил и сам Хрущев.

Он положил ружье и прошелся... Просто взад-вперед возле столов. Плечи его играли, грудь и живот, со-

перничая, рвались вперед, голова вздернута, походочка с радостным содроганием, как у плясуна, входящего в круг, на расстоянии чувствовалось, что каждый мускул под тугим жирком, каждая жилочка возбуждены. Нужно быть воистину гениальным актером, чтоб столь нешаблонно, столь доподлинно разыграть победное счастье — и плечами, и животом, и ногами, ушами даже! Ой нет, так вести себя может лишь человек, который действительно переполнен торжеством, хотел бы, да не в силах его скрыть — распирает!

Родственники со стороны продолжали острить, ничуть не пораженные и не восхищенные удачей, а я, признаться, стоял озадаченный.

Да и теперь этот маленький случай для меня — необъяснимая загадка, почти что чудо. И единственное объяснение, какое могу дать, — недюжинность характера Хрущева. Он, не откажешь, обладал сокрушающим напором и мужицким неуступчивым упрямством. Его борьба со Сталиным — доказательство тому. Уже мертвый и развенчанный вождь всех народов отчаянно сопротивлялся. Его вытаскивали из Мавзолея, но он снова в него ложился. Его старались убить умолчанием, а Сталин напоминал о себе тысячами своих бронзовых, мраморных, гипсовых копий стоящих по городам и весям страны, географическими названиями, глухим ропотом поклонников. Однако Хрущев выкинул Сталина из Мавзолея, выкорчевал по стране его памятники, стер его имя с географических карт, не испугался миллионного ропота поклонников. Попробуйте отказать этому человеку в характере!

Сейчас он с детской непосредственностью радовался одержанной победе — разбил-таки тарелочки, доказал свою споровку! Ай да я!

К нему сразу же бросился с фарфоровым призом. Он с серьезной важностью, не без величия, как и подобает государственному мужу, принял его и... бросил взгляд на приз Мжаванадзе. А Мжаванадзе ликовал, Мжаванадзе весь лучился — слава те, господи, пронесло! — умильно заглядывал в глаза Хрущеву...

И улыбка сползла с лица Мжаванадзе, он перехватил взгляд хозяина и опустил глаза к своему призу, который обеими руками стеснительно прижимал к стыдному месту: ей-ей, случилась небольшая оплошность — на затейливой фарфоровой статуэтке Мжаванадзе явно больше позолоты... Хрущев изучающе разглядывал не принадлежащий ему приз.

И Мжаванадзе вскинулся, с готовностью протянул:
— Сменяемся, Никита Сергеевич.

Нет, я ничего не придумываю ради красного словца, все было именно так, как я рассказываю, прошу верить. Да, да, Хрущев сменялся, взял приз Мжаванадзе, на котором оказалось больше позолоты. И оба были явно довольны этим обменом.

Тут по всему лесу загремело радио:

— Дорогие гости! Просим вас к столу. Дорогие гости! Просим вас!..

И все потянулись к большому полосатому тенту, растянутому среди сосен. Под ним тесно стояли длинные столы.

Я там был, мед-пиво пил...

Чтоб не упрекнули в голословности, прилагаю сохранившийся документ — карточку меню.

О б е д:

Икра зернистая, расстеган
Судак фаршированный
Сельдь дунайская
Индейка с фруктами
Салат из овощей
Раки в пиве

Окрошка мясная
Бульон с пирожком

Форель в белом вине
Шашлык
Капуста цветная в сухарях

Дыня
Кофе, пирожное, ассорти, фрукты

с. Семеновское, 17 июля 1960 года.

Стеснительно не упоминают напитки.

Знаток утверждает, что в прошлый раз стол был куда обильнее и утонченнее.

Март 1974 г.

ЛЮДИ ИЛИ НЕЛЮДИ

НАРОД м. люд, породившийся на известном пространстве; люди вообще; язык, племя; жители страны, говорящие одним языком; обыватели государства, страны, состоящие под одним управлением; чернь, простолюдые, низшие, податные сословия; множество людей, толпа.

В. Даль. Толковый словарь

Человек с ласковым взором несчастен, доброго везде презируют. Человек, на которого надеешься, бессердечен. Нет справедливости. Земля — это приют злодеев.

Из древнего египетского манускрипта

1

Я дважды в жизни пережил редкостно прекрасное чувство любви. Нет, не к женщине, не к отдельному человеку, а к людям вообще. Просто к людям за то, что они добры к друг другу, душевно красивы.

В первый раз это случилось на подступах к Сталинграду поздним сумрачным январским вечером 1943 года.

Я возвращался из дивизионных мастерских, в противогазной сумке нес заряженный аккумулятор для своей радиостанции. И не то чтобы я заблудился... Просто, пока я торчал в тылу, шло наступление, стрелковые роты, штабы, минометные и артиллерийские батареи двигались вперед. Целый день все менялось и перемешивалось, сейчас остановилось на ночь. Солдаты долбили мерзлую землю, как могли укрывались от шальных пуль, от мин, от холода, кому повезло, попрятались в оставшихся после немца землянках. И сумейка теперь разыскать своих.

Я шатался по степи, натыкаясь на чужие подразделения.

— Случаем, не знаете, где штаб Сорок четвертого?..

От меня отмахивались:

— Тут нет. Тонай, друг, не маячь.

И я снова выходил в степь, заснеженную, взорванную воронками. Ночь устало переругивалась выстрелами. Там, где невнятная степь смыкалась с черным низким небом, тускло сочились отсветы далеких пожаров — салыные пятна сукровицы израненной планеты. Не видишь, но кожей чувствуешь,

что земля под серым снегом начинена железом, рваным, зазубренным, уже не горячим, остывшим, потерявшим свою злую силу. Это невзошедшие семена смерти. Чуть ли не на каждом шагу торчит или вывернутый локоть, или каменное плечо, обтянутое шинельным сукном, или гладкая, ледяно-прокаленная каска, скрывающая глазницы, запорошенные снегом.

Я привык к трупам, они давно для меня часть быта, ненужная, как для лесоруба старые пни. А когда-то содрогался при виде их...

И вот на этом бескрайнем поле, покинутом всеми, я увидел еще одно бесприютное живое существо. На сукровичное пятно далекого пожара из темноты выковыляла лошадь, на трех ногах, нелепо кланяясь при каждом скоке. Выковыляла и стала понуро — любуйся властью: голова уронена, натруженная холка выпирает горбом, обвислый зад, страдающе поджата перебитая нога. Ранена и брошена, всю жизнь работала, нажила горб, теперь — не нужна, лень даже пристрелить, зачем, когда и так подохнет от голода, холода, кровоточащей раны.

Я привык к человеческим трупам, но выгнанная на смерть и продолжающая жить с понурым упрямством лошадь обожгла меня жалостью. А нет ничего опаснее жалости на войне.

Некто окаменевший в снегу с вывернутым локтем. Вывернутый локоть — значит, пытался встать, стонал, ждал помощи и... как не пожалеть его. Нет, не смей!

За жалостью сразу придет мысль: ты сам не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра — ты с вывернутым локтем, с застывшим оскалом, с невыдавленным стоном. И уж тут-то день за днем пойдут в кошмаре ожидания. Ты заранее почувствуешь себя погибшим, на тебя найдет сонная одурь, будешь вяло двигаться, не кланяться под пулями, не припадать к земле при звуке летящего снаряда, неохотно долбить окоп — зачем, все одно конец. И такой очумелый долго не протянет — не свалит осколок, доконает мороз.

Не смей жалеть и не смей лишка думать — война! Огрубей и очерствей, стань деревом!

Я не заметил, как одревенел. Вот привык к трупам — старые пни в лесу...

Трупы привычно, а выгнанная на смерть рабочая лошадь, знать не знающая о великом сумасшествии, псевдающая, непричастная, слепо доверчивая, живая военная бессмыслица, нет, не привычно. К тому же я очень устал, а потому не выдержал, отравился опасной жалостью.

Отравленная мысль, как всегда, метнулась к спасительному: «Вот кончится война!..» И споткнулась... «Да, кончится. Может, ты и выживешь... Ты, привыкший к трупам — старые пни в лесу! Выживет, может, и тот, кто выгнал лошадь... Выживете, но как будете жить? Разучились жалеть, страдать, равнодушны до древесности! Как жить вам потом — порченным среди порченных? Неужели ты думаешь, такая страшная война выветрится из тебя, из других? Выветрится без следа?.. Да оглянись кругом, разве такое не может навсегда войти в душу. Может! Войдет!»

В тусклом отсвете потустороннего пожара горбатилась рабочая коняга — среди оковенелости комок стынущей плоти, лишняя вещь на земле. И я себя в ту минуту тоже почувствовал лишним — кому буду нужен такой, отупевший от войны! Будущее казалось столь холодным, столь неуютным, что даже надежда — «А вдруг да выживу!» — никак не радовала, а пугала. Я едва ли не завидовал тем, кто уже лежит в снегу, накрывшись прокаленной морозом каской.

Но мерзли ноги в сапогах и в рукава шинели пробирались колючий ветер — я жил и надо было исполнять солдатские обязанности, искать штаб своего полка. Я двинулся дальше среди воронок и трупов — к людям! Оставив в одиночестве лошадь — не нужна миру, мне тоже..

Через сотню метров я наткнулся на землянку.

Густой воздух, жирно пахнущий парафином от горящих немецких плошек и тем прекрасным, оглушающим с мороза, едким до слез запахом солдатских портянок, овчины, пота, мокрых валенок, который — хошь, не хошь, — а с такой покоряющей силой доказывает ненужность жизни, что заставляет забывать о войне. И этот густой — топор вешай — воздух колеблется от мощного, переливчатого, с изнеможенными стопами, с восторженными захлебками храпа. Так упоенно спать могут лишь солдаты, которым не каждую-то неделю удастся растянуться в тепле во весь рост. А здесь даже многие скинули с ног валенки, недаром же среди всех прочих запахов победно господствует портяночный. И, колеблемые храпом, шевелятся огоньки плошек, и сквозь накат, через толщу земли смутно-смутно доносятся вой и похлесты поземки, гуляющей по спешной степи. Нет, что ни говори, а райский угол, обиталище счастливых.

Счастливицы лежали вповалку на полу, тесно друг к другу — ладонь не просунешь. От стены к стене, под нарами, на шарах, всюду — буйное пиршество сна.

Один счастливцев не спал, голый по пояс (во как тепло!),

освободив дородные и уже немолодые телеса, самозабвенно, с явным наслаждением бил вшей в пательной рубахе, и отсветы качающихся огоньков от плошек хороводились на его лысеющем, без малого ленинском, лбу.

— Эй, ты! Дверь! — крикнул он, отрываясь от рубахи, но тут же подобрел голосом: — Радист! Ты как сюда?..

Я узнал его — дядя Паша из комендантского взвода, постоянно торчал на часах у землянки штаба полка, недавно его вместе с помощниками поваров, химвзводниками, хозяйственниками направили в стрелковую роту. В ротах повыбило людей.

Значит, я все-таки добрался до своих.

— Проскочил ты штаб полка, парень, обратно придется топтать. Да это недалеко, километра три. Рядом батальонные связисты, от них по кабелю — не собьешься. Покуда лезь сюда, погрейся. — Дядя Паша потеснился.

Наступая на спящих, которые со вздохами шевелились, невнятно мычали и вятно посылали меня по матушке, но не просыпались, я пробрался к нарам и тут же споткнулся о чьи-то ноги. На этот раз спящий беспокойно завозился под парами и выполз на свет плошек. Передо мной предстал... немец. Щекастенький, сонно розовый, в просторном, сумеречно-го сукна мундире с бляшками-пуговицами, он жмурился и застенчиво улыбался, словно хотел сказать: «Извините, пожалуйста, что я вас так удивил».

— Что это? — не выдержал я.

Круглая мясистая физиономия дяди Паши раздвинулась в ухмылке:

— Вот обзавелись... Третьеводни, смех и грех, среди ночи с кухней на пашу позицию въехал. Заблудился в степи и — наше вам, здравствуйте. Кашу его съели, самого хотели в штаб, да там нынче не очень-то нуждаются в таких «языках». Вот и прижился... Рад поди, Вилли, что отвоевался?

Вилли жмурился и улыбался, у него были длинные белесые ресницы, детское простодушие на щекастом лице — лет восемнадцати и того, пожалуй, нет. Мне в тот год едва перевалило за девятнадцать, и я без ошибки, чутьем угадывал — кто моложе меня.

По землянке прошла волна холодного воздуха.

— Эй, Вилли! Якушия пришел, встречай, — объявил дядя Паша, натягивая на себя рубаху.

Приземистый солдат — из-под вязаного заиндевелого подшлемника лишь воспаленные глаза — переминался у входа, примеряясь, как бы не потоптать спящих. Наконец он,

втискивая заснеженные валенки между телами, подошел к нам, стянул с головы морозную каску, оказался в ушанке, снял ушанку, остался в подшлемнике, содрал наконец и подшлемник, открыл давно не бритое, чугунное от стужи и усталости мужицкое, обильно губастое лицо.

А Вилли тем временем успел пырнуть под пары, вытащил оттуда объемистый узел, стал суетливо его разворачивать — ватник, плащ-палатка, вафельное, почти что чистое полотенце — и, счастливо рдея, протянул скинувшему полушубок Якушину котелок.

Якушин довольно хмыкнул, потер узловатые красные руки, непослушными пальцами выудил из валенка ложку.

— Ишь ты, заботушка — теплос... — Потеснил меня, он сел на край нар, сурово приказал Вилли: — Садись!

Вилли, взмахивая невинными ресницами, улыбался.

— Кому говорят?.. Навернем сейчас на пару.

Дядя Паша подтолкнул Вилли в спину.

— Шнель! Шнель! Коли просит, чего уж...

И Вилли смущенно пристроился к котелку.

Немецкий парпишка и русский мужик — голова к голове. Я сидел за спиной Якушина, видел его крутой затылок на просторных плечах, усердно двигающиеся уши, Вилли, вежливо работающего ложкой, дядю Пашу, следящего из-под лоснящегося лба увлажненно добрым взглядом:

Стесняясь своего доброго взгляда, дядя Паша, блуждая извиняющейся улыбочкой, объяснял мне через две склоненные головы:

— Хороший парепь Вилли, душевный... Хошь и немец, а человек. Да-а... Это же Якушин его с кухни стащил, а теперь, вишь воп, душа в душу живут.

А я не нуждался в объяснениях, тем более извинительных. Во мне бурно таяла тяжелая вселенская тоска, которую я принес сюда со взрытой снарядами, заваленной окоченевшими трупами степи. Да, трупы, да, пожарища, да, где-то замерзает лошадь, нажившая на работе горб и выгнанная без жалости. Война! Страшило: она кончится, а жестокость останется. И вот — голова к голове над одним котелком...

Немец начал эту войну, трупы в степи — его вина, велика к нему ненависть, даже у поэта с стихах: «Убей его!» А солдат Якушин, убивавший немцев, делит сейчас свою кашу с немецким пареньком.

Война пройдет, а деревянность и жестокость останутся?.. Как я был глуп! Война в разгаре, рядом линия фронта, с той и другой стороны нацелены пулеметы, а уже двое

врагов забыли вражду, где она, деревянность, где жестокость?

Голова к голове, ложка за ложкой и — хлеб пополам.

Кончится война, и доброта Якушина, доброта Вилли — их сотни миллионов, большинство на земле! — как половодье, затопит мир!

Навряд ли я тогда думал точно такими словами. В девятнадцать лет больше чувствуют, чем размышляют. Я просто задыхался от нахлынувшей любви. Любви к Якушину, к Вилли, к дяде Паше, к храпящим солдатам, ко всему роду людскому, который столь отходчив от зла и неизменчив к добру. Слезы душили горло. Слезы счастья, слезы гордости за все человечество!

Я вырос атеистом, не читал тогда Евангелия от Матфея, не знал слов из Нагорной проповеди: «Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас... ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари?»

Но, кажется, в ту минуту я сам собой до них дозрел, с наивной страстью простодушно верил в невозможное.

2

Второй раз нечто подобное случилось четырнадцать лет спустя в Пекине

Я был в составе так называемой культурной делегации Общества советско-китайской дружбы. Мы летали по всему Китаю, и всюду нас встречали пышно, бурно, празднично — толпы, цветы, восторженные лица, страстно тянущиеся руки, церемонно длинные обеды с бесконечной чередой блюд, экзотических до несъедобности. Вкушали змей с хризантемами, пробовали ласточкины гнезда, или рисовую водку — вкус самогона — за вечную дружбу, братство, за общий путь до конца, и гостеприимные хозяева кричали нам: «Гамбей!»

По европейскому календарю наступал Новый, 1957 год. Китайцы свой Новый год празднуют весной. Но почему-то в наш праздник нас не предоставили самим себе — мол, отдохните от встреч, выпейте, закусите, поздравьте друг друга, — наоборот, решили усиленно показывать нас молодежи.

Ритуальные беседы за чаем, трибуны, речь о великой дружбе двух великих народов. Попадаем в недавно организованный Пекинский институт кинематографии. Должно быть, в этот институт принимают не по таланту, а по стати. Нас встречают не по-китайски рослые, разбитные и жизне-

радостные парни, одетые, как один, в безупречные европейские вечерние костюмы. И девушки в костюмах национальных — яркие шелка, золотое шитье. Столько красавиц, собранных вместе, я не видел в своей жизни — и до, и после, увы! Были и величавые, до оторопи, до зябкости — мраморные в горделивой посадке тонкие лица, на вскинутых, утонченно чеканных бровях покоится неномерная снесь Востока, чужеватый разрез глаз прекрасен, как непостижимое мастерство древнего азиатского ремесленника, и нет плоти, есть воздушность, нет походки, есть плавучесть. Но были и с той щемящей одухотворенностью, не столь красивы, как просты, не бьющие в глаза с налету, а лишь останавливающие взгляд затаенной добротой, и... ты уже непоправимо несчастен, твое сердце тоскливо сжимается — такое вот чудо человеческое, мелькнув раз, пройдет мимо тебя!..

Традиционные кружки чая, но вместо традиционных речей — танцы.

Мне, право же, стыдно за себя и обидно — экий пентюх! Как-то так получилось, что я всегда оказывался в стороне от танцплощадок. Сказать — не поверят: ни разу в жизни не танцевал!

Однако мне не дают сидеть бирюком, подходят.

— Товалис...

И взгляд в зрачки, и ожидание, и просьба.

Стыд. Но сильнее самого стыда — страх перед стыдом грядущим: вдруг да, черт возьми, осрамлюсь!

И надменнобровая красавица с легким удрученным румянцем отплывает от меня. Обидел ее! Надо же!

Новый танец, и снова:

— Товалис...

И взгляд в зрачки. И надежда... А эта из тех — земных, не воздушных, одухотворенных добротой. Да вались все в татарары! Была не была!

И я впервые в жизни выхожу с намбрением совершить ритуальные движения под музыку. И, к своему удивлению, с грехом пополам совершаю, хотя и костенею плечами, поджимаю живот к позвоночнику, стараюсь, стараюсь до испарины.

Но не завидую больше ни старому Валентину Катаеву, плавающему среди кружащихся нар, как рыба в воде, ни нашему степенному главе делегации, президенту Академии наук Каирову, теснящему толстым животом некое сверхвоздушное создание. И мы, братцы, не лыком шиты!

— Кал-ла-со! Кал-ла-со!

Господи! Меня поняли, меня подбадривают! Славная ты моя, спасибо тебе за доброе слово, только, ради бога, береги свои маленькие пожки — никак не поручусь за себя.

Я готов танцевать и дальше, лиха беда начало, но...

Уже несколько раз к каждому из нас склоняются китайские товарищи из нашей свиты, почтительнейше шепчут: — Нас ждут в Педагогическом университете.

Опять трибуна, опять речи о нерушимой дружбе — не больно-то охота, сегодня же у нас праздник. Мы дружно и горячо высказываем желание остаться здесь.

— Надо ехать, надо...

Скорбные покачивания головами, понимающе поджатые губы, полнейшее сочувствие, однако:

— Надо! Нас ждут. На два часа опаздываем.

Вкрадчивая китайская вежливость побеждает русское упрямство: «А, черт! Надо так надо! Пошли — все равно не отцепятся!»

Подъезжая к Педагогическому университету, мы невольно переглядываемся друг с другом и... прячем глаза, поеживаемся. Нас ждут — да! Целая толпа. Ждут уже два часа, если не больше. Ждут на морозе — Пекин не Кантон, зима здесь нешуточная, а одежонка всех китайцев, тем более студентов — ситчик на рыбьем меху. Нас ждут, и вопль восторга встречает нас. Толпа хлынула, только что не бросаются под машины, все стараются заглянуть в окна, поймать наш взгляд, хоть на секунду, хоть на миг показать счастливое — сплошная улыбка! — лицо. Добровольцы-активисты теснят толпу, иначе не откроешь дверцы машин, мы, закупоренные общим восторгом, не сумеем выбраться наружу.

Один за другим вылезает, и к каждому из нас тянутся руки, десятки рук с отчаянной страстностью, через головы впереди стоящих. Нам не рекомендуют, да мы и сами не решаемся пожимать их. Протянутых рук всегда столько, что церемония рукопожатия может затянуться на добрый час, а мы и так безбожно опоздали. Нас ждут не только эти встречающие энтузиасты. И мы снова виновато переглядываемся — экие сукины дети, засиделись у веселья.

Толпа выдавливает из себя тщедушного студентика с посиневшим от ожидания лицом и мученически вскинутыми бровями — все ясно, выдающийся знаток русского языка, которому падлежит приветствовать высоких гостей. Оттого-то мученически и задраны его брови.

Он встает перед нами, некоторое время собирается с духом, наконец размеренно изрекает:

— Добы-ро пожа-лу-ват, до-ро-гие то-ва-риш-ши! — И сразу же бойко спрашивает: — Что?! — То есть не совсем уверен, то ли сказал.

А так как мы с готовностью слушаем, он продолжает, почти четко, без запинки:

— Вы наши братья!.. Что?!

На этом запас его русского красноречия иссякает, мы жмем ему руки, для ободрения хлопаем его по плечу, и он нас ведет, правда, сначала совсем не в ту сторону, но бдительная толпа и возгласами и тесным напором исправляет его смятенную ошибку, поворачивает на нужный путь.

Нас пытаются усадить за чай, но в воздухе разлито лихорадящее нетерпение, им заражены мы, заражаются и наши хозяева. Кружки с чаем остаются нетронутыми. Поспешно ведут на сцену...

Зал взрывается аплодисментами. Зал... Едва я кинул в него взгляд, как почувствовал, что встречаюсь с чем-то небывалым для меня, столь властным, чего я не чувствовал ни в одной аудитории.

А мы облетели уже большую часть Китая, в каждом городе, в каждой провинции — по несколько митингов. Мы призывали к китайскому многолюдью и сборищам в две, даже в три тысячи нас не удивишь, всюду — восторженность, жадное внимание, щедрые аплодисменты.

Здесь, в общем-то, не так уж и много народу — может, тысяча, может, чуть больше. Не всех желающих вместил этот зал, но вместить еще — хотя бы одного человека — он уже не в состоянии. Никаких скамей, никто не сидит, все плотно стоят. Все вокруг донельзя туго набито лицами. Каждое повернуто на тебя, от каждого истекает напряженное ожидание чего-то особого, непременно счастливого. Лица сливаются в нечто единое, монолитное, а поэтому истекающее от них ожидание тоже столь слитно едице, что обретает плоть, я его физически чувствую, мне почти больно.

И как они умудряются еще аплодировать в такой тесноте?

Но аплодисменты стихают, а ожидание возрастает — до взрывоопасности!

Я случайно кидаю взгляд на самый первый ряд, на тех, кто вплотную придавлен к сцене. Лица рядом, от моих ботинок — один шаг, рукой дотянись. Лица девчонок с сияющими глазами. На них нет национальных красочных одежд, они в затасканных, застиранных хлопчатобумажных робах, в которых ходит весь Китай, мужчины и женщины, рикши

и министры. Но почему-то девочки кажутся празднично нарядными. От светлых улыбок, от сияющих глаз?..

Не только.

Они и в самом деле принарядились. Как могли, каждая. У одной в черных волосах кокетливый бантик, у другой цветная косыночка на шее, у третьей ворот затасканной рубы расстегнут и старательно расправлен, чтоб видна была белая глаженная кофточка. Очень белая, очень чистая, похоже, что шелковая, не для каждого дня.

И меня оглушает простая мысль: они стоят в нервном ряду, в самом первом! Но, чтоб занять этот ряд, девочки должны прийти сюда не два часа назад, ко времени назначенной встречи. Чтоб быть ближе к нам, девочки явились сюда, по крайней мере, часа за четыре. Целых четыре часа, добрую половину рабочего дня они стояли и ждали, ждали, ждали.

Чего?

Чтоб увидеть меня и моих товарищей, людей весьма заурядной наружности? Может, они читали наши книги — Валентина Катаева, мой, — с девичьей экзальтированностью полюбили нас? Ой нет, не так-то мы известны в Китае, нас едва знают профессионалы, те, кто специально занимается русской литературой. А уж девочки-то наверняка и не слышали наших фамилий. Но что-то заставило их ждать ~~четыре часа~~. Никто не требовал от них этой жертвы, не организаторы же вечера принудили нацепить кокетливые бантики, повязать праздничные косыночки. Мы им нужны. Ждали, ждут! Ждет и оглушает нас своим требовательным, счастливым ожиданием переполненный зал. Каждое лицо словно излучает свет. Тысячи направленных на тебя лиц, больно от их мощного света — слепят, сжигают. Все замерло, как перед чудом.

И позднее я ни разу не испытывал на себе столь сплоченное, любовное — да, любовное, нельзя назвать иначе! — людское внимание. Наверное, только выдающиеся пророки и великие вожди испытывали такое. Мы не пророки и не вожди, ни наших имен, ни наших дел не ведают в этой стране. Почему нам это, испепеляющее?.. Почему?

Только теперь я как-то могу объяснить: мы тогда были олицетворенной надеждой, наглядным будущим. Этим народам и девушкам настойчиво твердили, и они все с готовностью верили: впереди вас ждет земной коммунистический рай! Русские отвоевали его раньше, они уже люди будущего, почти что райские жители. Как пропустить встречу с ними, как не постараться встать к ним поближе, к ним, счаст-

ливцам, чтобы увидеть воочию то, что ждет тебя! Здесь собралась только молодежь, из разных углов Китая, из разных слоев народа, нищего китайского народа, забитого, затравленного, надрывающегося в непосильном и неблагодарном труде. Народа, лишенного в течение тысячелетий даже каких-либо надежд. Молодежь легко убедить надеждой — грядущее прекрасно! Да окажись вы на их месте, в их возрасте, с их надеждами, разве не ринулись бы вы на встречу... с будущим?

Прав ли я?.. В тот момент я и не искал ответа. Но мне повернуты лица, лица, лица. Зал распирает от счастливых молодых лиц. И кто-то не сумел сюда втиснуться. Здесь малая часть народа. Юная его часть. Молодость необъятного народа взирает на меня. И снизу, с расстояния в один шаг — девичьи сияющие глаза. От меня ждут... ждут великого. Если б я мог сейчас отдать свою жизнь! Что моя маленькая жизнь по сравнению с этим народным ожиданием?.. Если б мог!..

То же самое, должно быть, чувствовали и мои товарищи, я видел, как все они подобрались, подтянулись, вскинули головы, у каждого выражение почти трагической взволнованности. И подозрительно блестят глаза. Даже у Пети, стукача нашей делегации, который и раньше бывал в Китае с какими-то заданиями, хвалился нам, что сживал за одним столом с Чан Кай-ши, ругал китайцев за темноту, за восточную лживость, за жестокость друг к другу. И этот Петя сейчас сдерживает слезы, как и я...

От любви к девочкам с сияющими глазами, от любви к тем, кто стоит за ними, к людям за этими стенами, людям этой страны, ко всем, всем людям на свете! Всемирно необъятное чувство, задыхаешься от него!..

3

О Бояны, соловьи старых и новых времен! Кто из вас, «скача по мыслену древу, летая умом под облакы», не воспевал народ?

Совесть народа, воля народа — нечто запредельно высокое, чему нет сравнения. Сила народа неисчислима, мудрость народа безгранична. От него и только от него исходит та сокровенная доброта, которая и поддерживает жизнь на земле.

Сталин постоянно низкопоклонничал перед народом, глав-

ным образом, русским: «...Потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение».

Непримиримый враг сталинизма Солженицын тоже утверждает за народом приоритет ясности ума и стойкости характера. В его романе «В круге первом» не высокоученые и высоконравственные интеллигенты, собранные злой волей Сталина-Берни-Абакумова в «шарагу», несут слово обличающей мудрости, его произносит старик сторож, представитель простого народа: «Волкодав — прав, людоед — нет!» Философское кредо объемистого романа.

Ну, а кумир современного витийства Евтушенко с завидным апломбом и прямоотой объявляет:

Все, кто мыслит, — тот народ,
Остальные — население!

Гитлеровцы, сжигая в печах Майданека и Освенцима детей, сталинисты, разорявшие и ссылавшие миллионы крестьян, миллионами расстреливавшие своих единомышленников, маоисты, заварившие кровавую кашу «культурной революции», респектабельное правительство Трумэна, бросавшее на уже обескровленную, сломленную Японию атомные бомбы, — все они, столь разноликие, действовали от имени народа, во благо его, не иначе!

Великие русские писатели прошлого столетия, как никто, восславляли народ, исходя из общепринятого положения, что в нем — и только в нем, народе! — заложены лучшие духовные качества. И лишь у Пушкина настораживающим диссонансом прорывается что-то противоположное:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремящими да бич.

Стихи Некрасова, романы Достоевского, мятущиеся поиски Льва Толстого по сути — развитие и углубление старинной притчи о добром самаритянине, простонародном носителе бесхитростной и спасительной для мира человечности.

В меру своих сил я старался быть верным учеником наших классиков, и меня всегда властно тянуло на умиление перед милосердием самаритян из гущи народной, но жизнь постоянно преподносила мне жестокие разочарования.

Я пробыл в той живительно душевной, упоенно храпящей землянке каких-нибудь полчаса, а казалось, набрался надежды на всю жизнь. Если только будет у меня эта жизнь, если посчастливится увидеть конец войны, то меня окружают люди, уставшие от крови и ненависти, истосковавшиеся по любви... И тогда немец повернется раскаянным лицом к русскому. И, как это ни невероятно — да, да! — матери простят им погибших сыновей, сыновья — потерянных отцов. Так нужно, так будет. Якушин, хлебавший из одного котелка с Вилли, — тому порука.

А утром снова забесновались артиллерийские батареи, залаяли минометы, гулом отозвалась земля с чужой стороны — мы поднялись в наступление. Вперед к Сталинграду, где сидят зажатые со всех сторон немцы. Уже близко!

После полудня вошли в хутор где-то на подступах к Воропонову.

Средь придавленно плоской белой степи раскиданы черные, свежие углища, в каждом из них горбатится печь, даже трубы и те сбиты снарядами. По измятой гусеницами земле тянется нечистый дымок, угарно пахнущий горелым мясом, паленой шерстью. Брошенная гаубица глядит тупым рылом в невнятную просинь ясного зимнего неба и похожа на сидящую гигантскую собаку, только что не воет. И под ногами немецкие противогазы в жестянках, каски, игрушечно красивые ручные гранаты, как крашеные пасхальные яйца.

Хутор? Нет. След от него. Таких снесенных с земли селений осталось много за нашей спиной. Мы даже не успевали поинтересоваться, как они называются.

Печные трубы сбиты снарядами, а колодезный журавель остался — косо торчит, сиротливо смотрится. Под ним плотно сбитая, плечом к плечу, куча солдат — шинели, овчинные полушубки, белые маскхалаты, торчащие винтовки, покачивается тяжелый ствол противотанкового ружья, — а вокруг суетня, сбегаются любопытные, втискиваются в толпу, другие выползают, сердито крутят шапками, жестикулируют, и все краснолицы. Что-то там случилось, что-то особое, солдаты возбуждены, а уж их-то в наступлении трудно чем-либо удивить.

Я тоже, как и все, спешу к общей куче, придерживая на груди автомат.

Навстречу бежит солдатик, путается валенками в полах

шинели, лицо вареное, бабье, тонко по-старушечьи причитает:
— Люди добрые! Да что же это?.. Изверги! Семя прокля-
тущее!..

Второй солдат, низкий, кряжистый, эдакая глыба, упря-
танная в полушубок, вываливается из толпы, с минуту оду-
рело стоит, с бычьей бодливостью склонив каску, с усилием
разгибается, на темной заросшей физиономии белые, не-
видящие глаза.

— Якушин!— узнаю я его.— Что тут?

Он, глядя слепым выбеленным взглядом мимо меня, вы-
давливает тяжелое ругательство:

— В бога, мать их! Миловался! Ну, теперя обласкаю!..

И, качнувшись, идет с напором, широкие плечи угрожаю-
ще опущены, каской вперед.

Спины с тощими вещмешками, в каждой напряженная
сутулость. А за этими спинами мечется, как осатаневшая
лиса в капкане, надрывно слезливый, с горловыми руладами
голос:

— Брат-цы! Любуйтесь!.. Брат-цы-ы! Это не зверье даже!
Это!.. Это!.. Слов нету, брат-цы!..

Я плечом раздвигаю спины, протискиваюсь вперед, тол-
каюсь, цепляюсь автоматом, но никто не замечает этого, не
огрызается.

Обледенелый сруб колодца, грузная обледенелая бадья в
воздухе, обледенелая с наплывами земля. На толстой нале-
ди — два странных ледяных бугра, похожих на мутно-зеле-
ные, безобразно искривленные, расползшиеся церковные ко-
локола, намертво спаянные с землей, выросшие из нее. В
первую минуту я ничего не понимаю, только чувствую,
как от живота ползет вверх страх, сковывает грудь.

— Брат-цы-ы! Мы их в плен берем! Чтоб живы остались,
чтоб хлеб наш ели!..

Я не могу оторвать взгляда от ледяных колоколов, лишь
краем глаза улавливаю ораторствующего парня без шапки, с
развороченной на груди шинелью.

И вдруг... Внизу, там, где колокол расползается непомерно
вширь, кто-то пешней или штыком выбил широкую лунку, в
ее сахарной боковинке что-то впаяно, похоже на очищенную
вареную картофелину... Пятка! Голая смерзшаяся человече-
ская пятка! И сквозь туманную толщу, как собственная смерть
из непроглядного будущего, смутно проступили плечи, уро-
ненная голова — человек! Там — внутри ледяного нароста!
Окруженный пышным ледяным кринолином. Перевожу
взгляд на второй колокол — и там...

Их трудно разглядеть, похожи на тени, на призрачную игру света с толщей неподатливо прозрачного льда. Не тени, не обман зрения — наглухо запечатанные, стоящие на коленях люди. Оттого-то и угловаты эти принаженные к земле колокола. Пет, нет! Не хочется верить! Но мои глаза настолько свыкаются, что я уже начинаю различать нательное белье, покрывающее плечи тех, что внутри. И пятка торчит из выбитой лунки, желтая, похожая на вареную смерзшуюся картофелину.

Простоволосый парень рвет на груди лацканы шинели, машет зажатой в кулак шапкой.

— Так их, брат-цы!.. Потроха вытягивать из живых!..

И кто-то угнетенно угрюмо, без запальчивости произносит:

— Это те... Из пешей разведки... Третьего дня двое не вернулось.

— Брат-цы-ы!!

А толпу качнуло. Сначала негромко, угрожающе глухо:

— Опсовели.

— И в войну знай меру...

— Того и себе, видно, хотят.

— Да мы ж их теперь!..

И осатанелый всплеск:

— Захаркают кровью!

— Потроха из живых!

— Так их в душу мать!

— О-о-о!

— У-у-у!

И я тоже воюю что-то злое и бессмысленное.

— Тих-ха!

На расползшуюся налédь выскочил пехотинец в копотном полушубке, вскинул над ушапкой сжатые в рукавицах кулаки — дядя Паша, непохожий на себя. На багровой физиономии раздуты белые ноздри, желтые прокуренные зубы в оскале.

— Тих-ха! Слушайте!.. Коль они так, то и мы так! Чего зря глотки драть! С-час!.. Вот с-час покажем. Отольются кошке мышкины слезы!

— Отольются — жди!

— Покуда доберемся до них — подождем!

— Всегда так — покричим да остынем!

— Тих-ха!! Побежали уже... С-час! Вот с-час приведут...

Я ничего не понимал и, как все, с надеждой взирал на дядю Пашу с чужим оскалом на красном лице, непо-

воротливого, в завоженном окопном полушубке судию, вещающего отпущение. И я хотел этого отпущения, всей воспаленной душой, каждой взвинченной клеточкой негодующего тела.

Очнулся от ликующего до рези в ушах вопля:

— Веду-ут!!

Толпа протолкала меня в одну сторону, в другую и распалась, давая проход. Еще не до конца понимая, еще ничего не видя, я успел ощутить некую отрезвляющую неуютность.

И она сразу же сменилась ужасом... Пополам согнут, головой вперед, на русской прилизанной макушке вздыбленный хохолок. Вскинулось от толчка и вновь упало к земле лицо, одеревенело бледное и щекастое — Вилли! Двое солдат заламывали ему руки — один незнаком, второй — пузырящаяся каска лежит прямо на широких плечах. Якушин...

Толпа развалилась, давая проход, но упруго колыхалась, готовая вот-вот сомкнуться, обрушиться на заломанную жертву.

Дядя Паша, пророк-судия в окопном полушубке, уже успокоившийся, без оскала, степенный, важный, сознавая свою высокую ответственность, сдерживал накаленную толпу:

— Тих-ха! Тиха! Не лезь! Не больно-то... Что толку — сомнете. Живым его падо...

И простоволосый парень в расхристанной шинели приплясывал в проходе, сучил ногами, отступая шагком за шагком перед жертвой, захлебывался:

— Братцы! Только не все! Только раньше времени не смейте... Вежливенько, братцы, вежливенько!..

И толпа сжималась, напирала, но натужно сдерживалась. Из нее вылетали лишь советы, трезвые и беспощадные:

— Башку ему подымите, пусть посмотрит!

— Верно! Пусть знает — что за что!

— Проникайся, гад!

Якушин с добровольцем-помощником вытолкнули Вилли к колодцу на наледь. Он разогнулся, зеленый, как лед, с раскрытым ртом, помятый, стал дико оглядываться, явно не замечая ледяных колоколов.

А парень-активист в расхристанной шинели тыкал шапкой в ледяные колокола и восторженно, почти умиленно захлеб:

— Ты, милый, сюда смотри, сю-юда-а!

Вилли глядел на напиравших людей, на обросшие, искаженные ненавистью солдатские лица. У Вилли была круп-

ная голова и узкие, нескладные плечи под сукопным мешковатым мундиром.

— Хватя! Раздевай! — приказал сурово дядя Паша.

И парень в расхристанной шинели деловито насадил на голову шапку, уцепился за мундир Вилли, и тут-то толпа ринулась, десятки рук вцепились в одежду. Вилли закричал, не по-детски, даже не по-человечьи — сипло каркаяще, с захлебом.

Я уже не видел Вилли — закрыли, слышал только его рвущийся крик и озабоченные голоса:

— Ишь, сучье вымя, дергается.

— Держи, держи, я стяну...

— На колени ставьте!

И торжествующий возглас парня:

— Брат-цы! Воду!..

Заскрипел, стал нагибаться колодезный журавель, а я, вцепившись обеими руками в автомат, попятился, натыкаясь спиной на суетящихся людей.

Нет, я не сорвал автомат с шен, не остановил, я даже не крикнул. Люди перестали быть людьми, я их боялся.

Что мой голос для них? И что мой автомат? Здесь был вооружен каждый. Я трусливо пятился.

Склонялся и выметывался колодезный журавель. Давился в крике Вилли.

5

Продолжение второй моей истории наблюдал в 1966 году китаевед Желоховцев.

Вот отрывок из его записок¹.

«У библиотеки соорудили высокий дощатый помост — не то трибуну, не то эстраду, не то эшафот. На фоне красных знамен на нем стоят выстроенные в шеренгу люди, опустив на грудь головы в ушастых бумажных колпаках. На многих бумажные накладки, сплошь покрытые надписями. В руках они держат фанерные щиты с перечнем «преступлений». На груди у некоторых висят плакатики: «Черный бандит».

— Склони голову! — вдруг услышал я возглас за спиной и резко обернулся: к импровизированному эшафоту вели сравнительно молодого человека. Двое держали его под руки, а

¹ Желоховцев А. «Культурная революция» с близкого расстояния». М. 1973.

третий ударял по затылку — человек этот не желал опускать голову, он стойко и упрямо выпрямлялся.

Тогда конвойные остановились, стали осыпать осужденного бранью и бить куда попало. Избиваемый не сопротивлялся, он шатался из стороны в сторону, пытаясь устоять. Проходившие по аллее студенты сгрудились вокруг жертвы.

— Контра! Сволочь! — неслись выкрики.

Человек упал, и все наперебой стали пинать его ногами, но он не издал ни одного стога или крика.

Вдруг от собравшейся на судилище толпы отделились человек пять и бегом понеслись к нему, крича:

— Его будут судить массы. Ведите его сюда!

Разъяренная толпа, только что с холодным ожесточением избивавшая беззащитного человека, при властном крике мгновенно дисциплинированно расступилась. Жертва недвижимо лежала на асфальте.

— Вставай! — крикнули подбежавшие студенты еле дышавшему человеку, подняли его и потащили к эстраде. Избитый из последних сил несколько раз пытался поднять голову, но, получив затрещины, беспомощно ронял ее снова. Я смотрел, как его вытащили на сцену и прислонили к заднику, обтянутому красной тканью. Он соскользнул на пол. Ему приказали встать на ноги и вклепили несколько увесистых пощечин, но тщетно. Тогда подошел здоровенный детина — кто-то из ведущих активистов — и заработал солдатским ремнем. Удары ремня привели избитого в чувство, он встал на ноги. На него натянули бумажный колпак клоуна и накинули бумажную хламиду. Двое юнцов начали быстро что-то писать на ней черной тушью. Еще один парень замазал его лицо белой краской, макая кисть в большую консервную банку — в старом национальном театре злодеев гримировали белым...»

Читаю дальше: «В тот же день я возвращался из клуба советского посольства. Собрание перед библиотекой продолжалось. Осужденные по-прежнему стояли шеренгой, у самого края рамп, держа на вытянутых руках над головой фанерные щитки с перечнем своих «преступлений». Время шло, и вдруг люди начали один за другим мешковато валиться на помост. Все глазели на них, но никто не подходил, не трогал их — это, видимо, никого не удивляло. Я был настолько потрясен этим зрелищем, что не удержался и спросил стоявшего рядом паренька с красной повязкой, что с ними.

— Они стоят так целый день. Человек же не может простоять долго, держа руки над головой, вот они и падают,—

охотно объяснил он мне, нарушая строгий запрет вступать в разговор с иностранцами. — Только их нечего жалеть. Ведь это черные бандиты и предатели. Они захватили власть в парткоме и насаждали здесь черное царство. Зато теперь пришло время и революционные массы спросят с них.

А в это время на эстраду, освещенную ярким светом ламп, вышли молодые ребята с ремнями в руках и принялись самозабвенно хлестать упавших. Те поднимались, снова падали, фигуры «революционеров» прыгали вокруг них, пряжки ремней поблескивали в лучах света, а возбужденная толпа, требуя смерти, скандировала:

— Ша! Ша! Ша!¹»

Все это происходило в том самом Педагогическом университете, где я пережил одни из самых светлых минут своей жизни.

6

Едва ли не всю жизнь меня отравляла загадка дяди Паши и Якушина. Учился в институте, спорил до хрипоты о судьбах человечества, читал умные, выстраданные книги, ездил по стране, сам стал писать книги и всегда помнил рвущийся крик Вилли.

Были же добры в землянке эти дядя Паша с Якушиным. Что за нужда им притворяться. «Душевный человек Вилли...» И: «Братцы! Воду! Живьем его!»

Доброта и дикая жестокость — как это может находиться в одной шкуре? Когда дядя Паша и Якушин были сами собой — в землянке или у колодца?

Кто они, собственно, — люди или недюди?¹

Там, у колодца, озверела целая толпа. И невольно припоминаешь годы, когда едва ли не весь наш народ вопил в исступлении: «Требуем высшей меры наказания презренным выродкам, врагам народа!» Требуем смерти, жаждем крови! Нет, нет! Дядя Паша и Якушин — не случайное уродство, к ним применимо избитое выражение «типичные представители».

По капле воды можно судить о химическом составе океана. Того океана, который зовется Великим Русским народом, за которым всеми признается широта и доброта души!

¹ — Смерть! (китайск.)

Я горжусь своим народом, он дал миру Герцена и Льва Толстого, Достоевского и Чехова — великих человеколюбцев. И вот теперь впору задать себе вопрос: мой народ, частицей которого я являюсь,— люди или пёлюди?!

Как тут не отчаиваться, не сходить с ума!

Подозреваю: такой же вопрос может задать любой и каждый человек на планете о своем народе.

7

В Кремлевском зале шел III съезд советских писателей. Выступал сам Хрущев, учил писателей, как надо писать и о чем писать.

Рядом со мной сидел сотрудник отдела культуры ЦК Игорь Черноуцап и растерянно крутил головой.

— Ни одного слова. Ну, ни одного...

Как и положено, выступление было заранее запланировано и подготовлено. Сейчас Черноуцап слушал своего высокого хозяина, изумленно крутил головой и тихо сетовал — ни слова из написанного Хрущев не произносит, вдохновенно импровизирует. И куда только его не запосит, даже в поэзию. Вспомнил неожиданно некоего Махотько, шахтера, писавшего стихи в отдаленные времена хрущевской юности. Перед избранными писателями страны с энтузиазмом были прочитаны махотькинские шедевры. Кто-то стыдливо клонил голову долу, кто-то пожимал плечами, кто-то ухмылялся про себя, ну а кто-то ликуяще взрывался аплодисментами, вскакивал с места, чтоб его ликование не осталось незамеченным.

Впоследствии газеты устроили усиленную облаву на этого Махотько, хотели напечатать, прославить, прочесали страну во всех направлениях и... не нашли. Подпочвенный поэт, шахтер Махотько оказался страшным мифом. Многие заподозрили — уж не сам ли Хрущев легкомысленно грешил в молодости стихосочинительством, застенчиво прикрывшись сейчас псевдонимом?

Хрущев наконец иссяк и сошел с трибуны. Казалось бы, после Юпитера и боги и смертные должны молчать, следует объявить долгожданный перерыв. А нет, слово предоставляется Корнейчуку. И тот, захлебываясь от восторга, в течение двадцати минут с упоенным усердием, по-лакейски грубо поет аллилую Юпитеру:

— Историческая речь Никиты Сергеевича... Мудрое слово Никиты Сергеевича... Мы все потрясены... Мы прозрели...

Тут уж стыдно было, кажется, всем без исключения, и тем, кто сидел в президиуме рядом с Хрущевым, и тем — кто в зале. Клопились ниц, прятали глаза, не вскакивали с мест в ликование. Не испытывали стыда только двое — вдохновенный Корнейчук и сам Юпитер. Хрущев сидел с горделивой осаночкой, высоко держал голову, величаво взирал — очень, очень ему правилось!

С должным запалом, с приличествующим — до мокроты в голосе — проникновением Корнейчук произнес здравицу и с чувством исполненного долга ретировался. Перерыв! Расходитесь! Э-э нет, погодн — еще один ритуал.

Хрущев занимает место на выходе, и каждый из членов президиума съезда, проходя, обязан с изъяснением чувств пожать ему руку. Тут уж — кто во что горазд, со всей изобретательностью.

Почтенный глава Союза писателей Константин Федин с картинной благоговейностью берется за руку Хрущева и сгибается — раз, другой, причем поразительно низко, к самым хрущевским коленям. Рука в рукопожатии оказывается намного выше седого затылка. Какая, однако, гибкая сина у этого старейшего писателя, воистину резиновая.

Леонид Соболев, напротив, жадно хватает руку Хрущева обеими руками и трясет, трясет, столь судорожно, что весь жидко трясется. Трясется и приседает в изнеможении, набирается усилий, разгибает ноги и снова трясется, снова обессиленно оседает... Уф! Наконец-то кончил, испарился.

Не столь приметные члены президиума — из союзных республик — подкатывали бочком, коснувшись руки, обмирали и ускользали.

Александр Твардовский с подчеркнутым достоинством подошел, с подчеркнутой вежливостью пожал руку — не задержался.

И вот сцена опустела, на ней остались только двое — Хрущев, дежурящий у входа, и в самом дальнем углу Валентин Овечкин, с прядью, уроненной на лоб, с поднятыми плечами. Он что-то не торопился подниматься. А Хрущев ждал, не уходил.

Делегаты съезда, дружно освобождавшие зал, замешкались, кто застыл в охотничьей стойке, кто опускался на первое же попавшееся место, выжидательно тянул шею.

Овечкин в углу, недвижимый Хрущев у входа — руки по швам, спина деревянно пряма, живот подобран, лоб бодроливо склонен. Томительная минутка...

Но вот Овечкин решительно встает, нанористо идет к

выходу. Выход загорожен, и Овечкин останавливается.

Склоненный лоб против склоненного лба, коренасто подобранный Овечкин и тяжеломерно плотный, взведенный Хрущев, у обоих руки по швам. В двух шагах, глядят исподлобья, не шевелятся.

Овечкин дернулся, плечом вперед, с явным намерением прорвать осаду. И Хрущев не выдержал, поспешно, даже с некоторой несолидной суетливостью вскинул руку. Овечкин походя тряхнул ее и исчез.

Я, веселясь про себя, направился в гостиницу «Москва», где остановился Овечкин.

Не скинув пиджака, он ходил по номеру, раздраженно зелен, мелкие, обычно рассеянно добрые глаза сейчас колючи, в углах губ жесткие складочки.

— Ты что комедию ломаешь?

Он пнул монументальный плюшевый стул старой гостиницы.

-- Комедию начал он!

— Напоминало ребячью игру в гляделки — кто кого?

— Знает, что мне противно жать ему руку, оттого-то и ~~идет~~ — пугану, мол, в штаны наложит.

— Ты что, объявлял ему об этом «противно»?

— Письма писал.

— Насчет рукопожатия?

— Насчет всего. В открытую! Без беллетристики. Сначала писал вежливо, потом сердито, а уж последние письма — матерные! Писем двадцать пять! Не могли они мимо пройти, особенно последние — показали, не сомневаюсь! И ни на одно!.. Ни на одно не ответил!

— Рассчитывал его образумить?

Овечкин яростно повернулся ко мне, схватил за лацканы пиджака.

— А на что можно рассчитывать стране? На какую силу?! На крикунов, которые снова готовы звать Русь к топору? Не хватит ли играть в эти игрища? От них только реки крови да кровавые болота! Снова старым голосом петь: «Весь мир насилия мы разрушим!..» Разрушим, но не построим! От змеи змея рождается, от насилия — насилие! Хочу силу направить на разумное! А у нас теперь есть одна сила — власть!

— Считаешь — власть может все?

Овечкин выпустил из рук мой пиджак, устало сел.

— Все,— сказал он тихо и убежденно.— Даже больше, может и невозможное.

— Например?

— От примеров деваться некуда. Взбалмошный человек заставляет: делай, страна, что моя левая нога захочет! Прикажет на Луне сеять кукурузу — будем! Сам по себе он бессилен, а его власть сильна. Ее бы направить на полезное дело!..

— У любого из русских царей было, ей-ей, не меньше власти — самодержцы всея Руси! — напомнил я.— А могли бы они заставить сеять кукурузу?

— Хреновые, видать, самодержцы. Четыре царя, начиная с Екатерины, картошку вводили. Восемьдесят лет волили — льготы, премии, бупты усмиряли. И ввели потому только, что в конце концов мужик разнюхал — полезна картошка. А кукурузу за Полярным кругом — нет уж, жидковаты самодержцы!

— Бунты усмиряли... А у нас, заметь, без всяких усилий — не только бунтов, маломальского непослушания не было. С какой стати ты нашей власти приписываешь силу, которой она и не применяла. На чем ты ее сумел увидеть?

Он долго молчал, смотрел в окно на рыжую кремлевскую стену, дыблящуюся из зелени Александровского сада.

— Знаешь,— глухо произнес он наконец,— это страх! Дикий страх перед властью, убивающий рассудок.

— Но слишком уж невнушительны сейчас методы запугивания — ни карательных отрядов, ни репрессий, самое большее — начальнический окрик да удар кулака по столу. Право же, причин пугаться нет.

— Сейчас невнушительно... Сейчас! А вспомни, что было. Не только вслух говорить — думать боялись, как бы «черный ворон» ночью не выгреб из постели к следователю, который прежде, чем ушлет за колючую проволоку или поставит к стенке, потешится — прикажет ломать кости, вгонять под ногти иголки. Говорят: Моисей сорок лет водил евреев по пустыням, чтоб вымерло поколение рабов, вместе с ними исчез из народа рабский дух. У нас, наверное, тоже должны смениться поколения, чтоб исчез страх перед властью, даже перед начальническим окриком.

— Да страх ли? — усомнился я.— Припомни сам, как люди во времена «черных воронов» бесновались на собраниях. Скажешь, не было восторга в этих беснованиях? Искреннего восторга, поклонения перед жестокостью. Да я

подростком сам его переживал, видел — переживают и взрослые. От страха ли такая искренность?

Овечкин молчал, смотрел в гостиничное окно на кремлевскую стену. Лицо его было каменно, и только подобранные губы судорожно напряжены. Он молчал, значит, сознавал мою правоту, иначе уж обрушился бы с возражениями. Он молчал и, кто знает, не вспоминал ли, что сам верил и восторгался. Унизительные воспоминания — кто из нас может избежать их?

Поддержанный его молчанием, я решился на крамольное:

— Мы считаем, что «черные вороны» Сталина — причина испорченности народа. Страхом, видите ли, заразили, поколения должны вымереть, чтоб исчез сей порок. А может, все наоборот — оттого и «черные вороны» стали рыскать по почам, что сам народ был подпорчен — покорностью, безынициативностью, той же рабской трусостью.

Овечкин резко повернулся ко мне.

— Думай, что говоришь! — почти с угрозой.

— То есть не святотатствуй! — подсказал я с вызовом.

— На народ списывать?!

— Ну да, народ же свят и чист! Совесть его — за пределами, воля — несокрушима, мудрость — непостижима. И вот почему только те, у кого нет ни совести, ни воли, ни мудрости, подчиняют, извращают столь сильный и святой состав человечества?

Овечкин закричал:

— Списывать на народ!.. На на-род!! Все равно, что кивать — стихия виновата, на то воля божья! Как можно жить с таким бессильем? Жить и еще писать книги!

Он был прав — жить трудно. И сам скоро подтвердил это, пустив себе из ружья пулю в голову. Пуля, задев мозг, выбила глаз. Овечкин остался жить.

Из Курска, из центральной России, которую столь хорошо знал и любил, изувеченный и больной, он уехал в Ташкент к сыновьям... Там и умер, неприкаянный, забытый, непримиримый.

Наш спор с ним так и остался незаконченным.

8

Но я продолжал спорить с самим собой — все эти шестнадцать лет после разговора в гостинице «Москва». И образ дяди Паши мучил меня — «типичный представитель»? Жесточкая загадка.

— Народ — стихия. Не столь ли бессмысленно упрекать его, скажем, в жестокости, как разверзшийся вулкан?

— А, собственно, что такое народ? Как он выглядит?

— Обычно мы представляем себе бесчисленных дядей Паш, некую величественную человеческую массу, нечто необъятное и бесформенное. Но бесформенным-то народ никогда не бывает. Во все времена, любой народ представлял из себя определенное устройство.

— Ну и что? Разве это как-нибудь меняет наше отношение к народу?

— Меняет в корне. Мы считаем, что История складывается именно из действий личностей.

— И это не верно? Неужели человек не причастен к своей истории?

— Не верно уже потому, что человек постоянно вынужден поступать вопреки своим личным интересам, своим желаниям. Хочу одного, а делаю совсем иное.

— Например?

— Примеры на каждом шагу. Вот хотя бы самый бытовой, незначительный... По дороге с работы мне нужно зайти в магазин, купить колбасы к ужину. А к продавцу очередь. Я устал, я голоден, мое насущное желание — поскорей попасть домой, поужинать, растянуться на диване. Но я становлюсь в очередь, жду, вынужден пропускать вперед себя других, терять время, поступать вопреки своим желаниям.

— Какое это имеет отношение к истории?

— Иллюстрирует на малом, что человек крайне зависим в своих поступках, не хозяин сам себе.

— Открыл Америку!

— То-то и оно, что всем это известно, глаза намозло, но странно — никто не принимает этой очевидности в расчет. А ведь, кажется, ясно — если все так зависимы даже в столь мелких человеческих построениях, как очередь к прилавку с колбасой, то уж, наверное, грандиозные общественные построения еще с большей силой должны заставлять любого и каждого поступать против своих интересов, против личных желаний. История складывается из действий личностей. Как бы не так! Сами-то личности действуют не самостоятельно.

— Так кто ими крутит? Господь бог?

— Устройство общества.

— Но общество-то устроено из чего? Из людей же, из отдельных личностей!

— Почка и мозг тоже построены из одних белковых веществ, да по-разному, а потому различно и функционируют. В США живут такие же люди, но представить себе нельзя, чтоб там могла развернуться широкая кукурузная кампания. Все понимали: вредно, бессмысленно сеять эту южную культуру в Приполярье, а сеяли — массовый идиотизм! Нельзя же допустить, что русские от природы дуры американцев. Устройство иное, иное и поведение людей.

— Значит — каково устройство, таковы и люди?

— Ну, а как объяснить чудовищную жесткость дяди Паши у обледелого колодца? Тоже система заставила?

— Да. Начать с того, что дядя Паша и Якушин находились в весьма своеобразном человеческом устройстве, именуемом действующим фронтом, где одни людские вооруженные массы расположены против других вооруженных масс. Одно это противорасположение уже заставляет прятаться и выслеживать, защищаться и убивать, пребывать в постоянной настороженности и ожесточенности. Землянка на короткое время укрыла солдат от войны. Не надо прятаться, выслеживать, убивать. И дядя Паша с Якушиным на короткое время стали теми, какими были в мирной обстановке. Нет, они тут не притворялись добрыми. Они были ими!

А как ни жестока война, но и в ней существует свой предел жестокости. Обстоятельства на фронте обычно не складываются для солдата так, чтоб он ради выполнения приказа или спасения себя становился перед необходимостью изуверски пытать противника.

И вот ледяные колокола — случай необычный, из ряда вон выходящий, вызывающий необычные чувства. А они, в свою очередь, толкают и на необычные действия, причем направленные, требующие какой-то организации. Солдаты, сами того не желая, создали своеобразную карательную систему. Да, да, систему, где люди по-своему взаиморасположены и связаны — с добровольцами-исполнителями, с ведущими и ведомыми. Система действует, перевоплощает солдат в палачей. Дядю Пашу и Якушина в том числе.

— Ну и заврался. Сам сказал: сначала солдаты стали действовать, система сложилась потом в результате их действий. Значит, и палачами стали раньше, система в том не повинна.

— Ан нет, все-таки без сложившейся системы дядя Паша бы до палача не дорос.

Автобус катит по московской улице — газетный киоск, убегающие вывески магазинов, громоздкий автокран у обочины, строительный новенький желтый забор, выпирающий на середину мостовой...

Неожиданно из-за забора с перекрестной улицы выскакивает такси. И... скрежет тормозов, как снопы под ветром, валятся друг на друга пассажиры в проходе. Тупой, с причмоком удар и крик женщины, гортанно-резкий, словно голос морской чайки.

В такси оцепеневший шофер, почти мальчишка — подрубленные бачки, нечесаная, по моде, волосня, невызревшие угловатый профиль устремлен вперед, куда-то вдаль. За ним грузин в громадной плоской кепке-«аэродром». Он темпераментно крутит «аэродром», дергается всем телом на взирающего в неблагоприятную даль паренька, кипятится. Удар пришелся на переднее крыло, крышка капота отскочила, в ней, изувеченной, живая дрожь.

После чаечного крика женщины в автобусе накаленная тишина, ни шороха, ни шевеления, лишь вливается влажная свежесть улицы в раскрывшиеся при ударе дверцы. Наконец прорезался густой, недовольный баритон:

— Сук-кин сын!

Сразу же въедливо тонкий, со слезной мокрецей голос:

— Сажает за руль сопляков!

И всколыхнулся оскорбленный, грозиво растущий ропот:

— Хорошо — без жертв.

— Как сказать, я вот по рылу получил.

— Ох, господи! Не отдышусь...

— Старую задавили.

— Без-зоб-разие!

Ропот выметает из автобуса одного из пассажиров. Он в жарко распахнутой дошке, в болтающемся на шее кашне, в посаженной на уши шляпе, выхватывает из кармана бутылку и начинает ею угрожающе манипулировать с приплясом:

— Т-ты! Опустить стекло! Т-ты! Ды-вад-цать пять человек из-за тебя, плюгавого, нервами сейчас оборвались! Может, тут такие едут, т-ты пальца их не стоишь!.. Опустить стекло! Я тебя бутылкой, бутылкой!..

Парнишка-шофер лишь вытягивает свою волосатую голову в плечи и продолжает вглядываться в даль, с другой стороны дергается, крутит кепкой-«аэродромом» грузин.

А внутри автобуса растёт раздражение — пассажиры закипают воинственностью человека с бутылкой:

- Ехали себе и — какой-то хмырь!
- Из-за него по рылу мне, могло и покалечить.
- Старую придавили чуть ли не насмерть.
- Ох, миленькие, не отдышусь...
- Врежь ему, врежь!
- Открой дверцу, лапоть! Вытащи!
- Не справишься — поможем!
- Кости пощупаем!
- Кос-ти! Таким головы отвинчивать!

И гневно краснеют лица, и расправляются плечи, и победные переглядки, и толкучка возле открытых дверей — дергаются, сучат ногами, готовы выскочить.

Человек с бутылкой, чуя поддержку, возбуждается до неистовства, пляшут ноги, разлетаются полы дошки, кашне сползает с шеи, вот-вот упадет, будет затоптано, и бутылка, отблескивая, крутится над шляпой, и голос тонышает, рвется от злобы:

— Стекло! Кому сказано — опусти стекло! Все равно не спрячешься! Бутылкой тебе! Бутылкой!

Играет спина под дошкой, сверкает бутылка, автобус подогревает:

- Врежь ему! Врежь!
- Крикни кацо, пусть дверку отомкнет.
- Ударь по стеклу, чего уж жалеть!

И человечек с бутылкой уже воет нечленораздельно:
— У-о-х т-те-бя!!

Возле него вырастают два парня — простовато одеты, внушительно рослы, должно быть, рабочие с автокрана.

- А ну, раскудахтался!
- Человек влип, без тебя не сладко.
- Рад, скотина, чужой беде!

Бутылка опускается, перепляс замирает, в расхристанной фигуре ни тени неистовства, шляпа, натянутая на самые уши, ползет в плечи.

- Так ведь он что... аварию устроил!
- Без тебя разберутся, мотай отсюда!

В автобусе озадаченная заминка, все тянут шеи, недовольно разглядывают типа в распахнутой дошке, держащего в руке бытылку. И вновь густой недовольный баритон:

— Действительно.

Баритон не дозвучал, как уже подхватили:

— Что верно, то верно — у парня беда.

— Не расхлебается — затаскают теперь.
— Молоденький!
— Слава богу, без жертв — не посадят.
— Зато влетит в трудовую копеечку — машину-то гробанул.

И как прежде — грозиво растущий ропот:

— Бутылку выхватил!..
— Нализался, скотина!
— Ему бы бутылкой по шляпе!
— Эй вы! Врежьте ему! Врежьте!

Те же самые люди, теми же голосами.

— Видишь, какие фортели выкидывает толпа. А что если предположить, что в автобусе, не считая выскочившего человека с бутылкой, находился всего один пассажир. Так ли бы он вел себя?

— Смотря какой по характеру. Импульсивный, наверное, так же бы возмущался.

10

— В том-то и дело, что не так, не столь бурно. Даже самый импульсивный. Он бы, конечно, возмутился, однако на его возмущение никто бы не откликнулся, оно не получило бы поддержки, не подогрелось бы, не стало расти дальше, не достигло степени той активности.

— Хочешь сказать, что и дядя Паша, столкнувшись он с колоколами в одиночку, не дошел бы до жестокой крайности?

— А разве можно в этом сомневаться? Казнить человека, да еще таким страшным способом, взять на себя (только на себя!) тяжелую ответственность — нет, тут надо быть патологическим садистом. Дядя Паша им не был — нормальный человек, мог поделиться пайкой хлеба с товарищем, наверное, с риском для жизни мог вытащить из-под огня раненого — человеческое ему присуще.

— То-то и страшно — человеческое присуще, а поступить бесчеловечно способен!

— Не сам по себе, только в компании. Толпа вокруг ледяных колоколов распалила себя, стала той благоприятной средой, где страшный процесс трансформации человека в садиста мог дозреть до конца.

— Почему же тогда ты в этой толпе не дозрел? И вообще не кажется ли тебе, что ты своими рассуждениями убиваешь личность? Человек живет в окружении других людей, как

правило, выстроенных в какой-то порядок, а значит, воздействующих на отдельного человека, направляющих его поступки. А действует ли когда-нибудь человек, как того ему хочется? Бывает ли он сам собой? Имеет ли право называться личностью?

11

Личность — тема, не одного меня пугающая своей непосильной сложностью. Формирование личности, ее восприимчивость, зависимость, эмоциональные и рациональные особенности... великие умы блуждали тут, как в лесу, не добираясь до заповедных ответов.

Нет, не решусь влезать в личность и свою дремучую некомпетентность могу компенсировать одним — рассказать случай, который, как мне кажется, существенно «подправил» мое «я».

Случай внешне незначительный, но для меня постыдный. Было время — думал, что не сообщу его ни матери, ни брату, ни жене, ни детям своим, сам забуду, погребу в глубине души. Но вот, считай, прожил жизнь, и, кажется, она дает мне право быть предельно искренним — открывать то, что обжигало стыдом за себя.

Маршевая рота шла на фронт. Тусклую, высушенную, безнадежно бескрайнюю степь накрывало вылинявшее необъятное небо. Иногда в нем появлялась «рама» — немецкий двухфюзеляжный корректировщик. Не торопясь, не прячась, с хозяйской деловитостью, нарушая нутряным урчанием моторов тихую грусть осеннего воздуха, «рама» кружила над землей. Сотня захомутанных в шершавые скатки солдат, растянувшихся по дороге, не привлекала ее внимания — не дислокация войск, не переброска техники, так себе блукающие.

Все мы пробыли месяц в запасном полку за Волгой в селе Пологое Займище. Мы, это так — мусор отступления, остатки разбитых за Доном частей, докатившихся до Сталинграда. Кого-то вновь бросили в бой, а нас отвели в запас, казалось бы — счастливы, какой-никакой отдых от окопов. Отдых... два свинцово-тяжелых сухаря на день, мутная водичка вместо похлебки, ватные ноги и головокружение от голода и с утра до вечера ненужная маршировка с деревянными, грубо выструганными из досок ружьями:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..

Отправку на фронт встретили с радостью.

Лейтенант, которому была вручена маршевая рота, сбился с маршрута, шестые сутки мы блуждали по степи, а продпункты, на которых мы должны были получать пропитание, оставались где-то, бог весть, в стороне. Давно был съеден НЗ, четвертый день никто ничего не ел. Шли, и падающих номкомвзводы подымали сапогами...

Еще в Пологом Займище я сошелся с одним старшим сержантом. Он относился ко мне покровительственно, свысока, и я за это был ему благодарен. Солдат кадровой службы, лет под тридцать, для меня многоопытный старик. Ему нравилось учить меня житейской мудрости, которая вся вмещалась в одно слово — «находчивость». Под ним подразумевалось умение обмануть, и главным образом старшину. Ходячее мнение — нет во всех вооруженных силах такого старшины, который бы не обворовывал солдат. Я совсем не обладал находчивостью, страдал от этого, презирал себя.

Нет, нет, во время похода старший сержант не был рядом со мной, не руководил мною. Истощенные, движущиеся, как тени, мы уже не в состоянии были проявлять друг к другу внимание, каждый боролся за себя в одиночку.

Очередной хутор на нашем пути, населенный не мирными жителями, а военными. Мы все попадали на обочину дороги, а наш бестолковый лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку.

Через полчаса старшина вернулся.

— Ребята! — объявил он вдохновенно. — Удалось вышибить: на рыло по двести пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцати граммов сахара!

Восторга сообщение старшины, разумеется, не вызвало. Каждый мечтал, что в конце концов нам выдадут за все голодные дни — ешь до отвала. А тут, как милостыню, кусок хлеба.

— Ладно, ладно вам! Понимать должны — от себя люди оторвали, имели право послать нас по матушке... Кто со мной получать хлеб?.. Давай ты! — Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня пальцем.

Дом с невысоким крылечком. Прямо на крыльце я расстелил плащ-палатку, на нее стали падать буханки — семь и еще половина. Мягкий пахнущий хлеб!

В ту секунду, когда старшина ткнул в меня пальцем — «Давай ты!» — у меня вспыхнула мыслишка... о находчивости, трусливая, гаденькая и унылая. Я и сам не верил ей — где уж мне...

Тащился с плащ-палаткой за старшиной, а мыслишка жила и заполняла меня отравой. Я расстилал плащ-палатку на затоптанном крыльце, и у меня дрожали руки. Я ненавидел себя за эту гнусную дрожь, ненавидел за трусость, за мягкотелую добропорядочность, за постоянную несчастливость — не находчив, не умею жить, никогда не научусь! Ненавидел и в эти же секунды успевал мечтать: принесу старшему сержанту хлеб, он хлопнет меня по плечу, скажет: «Э-э, да ты, брат, не лапоть!»

Старшина на секунду отвернулся, и я сунул полбуханки под крыльцо, завернул хлеб в плащ-палатку, взвалил ее себе на плечо.

Плотный, невысокий, чуть кривоногий старшина вышагивал впереди меня поступью спасителя, а я тащился за ним, сгибаясь под плащ-палаткой, и с каждым шагом все отчетливей осознавал бессмысленность и чудовищность своего поступка. Только идиот может рассчитывать, что старшина не заметит исчезновения перерубленной пополам буханки. К полученному хлебу никто не прикасался, кроме него и меня. Военная находчивость, да нет — я вор, и сейчас, вот сейчас, через несколько минут это станет известно... Да, тем, кто, как и я, пятеро суток ничего не ел. Как и я!

В жизни мне случалось делать нехорошее — врал учителям, чтоб не поставили двойку, не раз давал слово не драться со своим уличным врагом Игорем Рявкиным, и не сдерживал слова, однажды на рыбалке я наткнулся на чужой перепутанный перемет, на котором сидел толстый, как полено, пожелтевший от старости голавль, и снял его с крюка... Но всякий раз я находил для себя оправдание: наврал учителю, что был болен, не выучил задание — надо было дочитать книгу, которую мне дали на один день, подрался снова с Игорем, так тот сам полез первый, снял с чужого перемета голавля — рыбацкое воровство! — но перемет-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни за что бы не пошел...

Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный хлеб, положить его обратно в плащ-палатку! Но, расправив плечи, заломив фуражку, вышагивал старшина-кормилец, ни на шаг нельзя от него отстать.

Я был бы рад, если б сейчас полетели немецкие само-

леты, шальной осколок — и меня нет. Смерть — это так привычно, меня сейчас ждет что-то более страшное.

С обочины дороги навстречу нам с усилием — поет каждая косточка — стали подниматься солдаты. Хмурые, темные лица, согнутые спины, опущенные плечи.

Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.

В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:

— А где?.. Тут полбуханка была!

Произошло легкое движение, темные лица повернулись ко мне, со всех сторон — глаза, глаза, жуткая настороженность в них.

— Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!

Я молчал.

— Да ты что — за дурака меня считаешь?

Мне больше всего на свете хотелось вернуть украденный хлеб: да будь он трижды проклят! Вернуть, но как? Вести людей за этим спрятанным хлебом, доставать его на глазах у всех, совершить то, что уже совершил, только в обратном порядке? Нет, не могу! А ведь еще потребуют: объясни — почему, оправдывайся...

— Где?!

Скуластое лицо старшины, гневное вздрагивание нацеленных зрачков. Я молчал. И пыльные люди с темными лицами обступали меня.

— Я же помню, братцы! Из ума еще не выжил — полбуханки тут было! На ходу тиснул!

Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щеки, сивый от щетины подбородок, голос без злобы:

— Лучше, парень, будет, коли признаешься.

Я окаменело молчал.

И тогда взорвались молодые:

— У кого рвешь, гнида?! У товарищей рвешь!

— У голодных из горла!

— Он больше нас есть хочет!

— Рождаются же такие на свете...

Я бы сам кричал то же и тем же изумленно-ненавидящим голосом. Нет мне прощения, и нисколько не жаль себя.

— А ну, подыми морду! В глаза нам гляди!

И я поднял глаза, а это так трудно! Должен поднять, должен до конца пережить свой позор, они правы от меня

этого требовать. Я поднял глаза, но это вызвало лишь новое возмущение:

— Гляньте: пялится, не стыдится!

— Да какой стыд у такого!

— Ну и люди бывают...

— Не люди — воши, чужой кровушкой сыты!

— Парень, повинись, лучше будет.

В голосе пожилого солдата — крупница странного, почти неправдоподобного сочувствия. А оно нестерпимее, чем ругань и изумление.

— Да что с ним разговаривать! — Один из парней вскинул руку.

И я невольно дернулся. А парень просто поправил па голове пилотку.

— Не бойся! — с презрением проговорил он. — Бить тебя... Руки пачкать.

А я хотел возмездия, если б меня избили, если б!.. Было бы легче. Я дернулся по привычке, тело жило помимо меня, оно испугалось, не я.

И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы — темные, измученные походом, голодные, но лица какие-то граненые, четко лепные, особенно у того парня, который поправил пилотку: «Бить тебя — руки пачкать!» Каждый из обступивших меня по-своему красив, даже старик солдат со своими голубенькими глазками в красных веках и сивым подбородком. Среди красивых людей — я безобразный.

— Пусть подавится нашим хлебом, давайте делить, что есть.

Старшина покачал перед моим носом крепким кулаком.

— Не возьмешь ты спрятанное, глаз с тебя не спущу! И здесь тебе. — не жди — не отколетсЯ.

Он отвернулся к плащ-палатке.

Господи! Мог ли я теперь есть тот преступный хлеб, что лежал под крыльцом, — он хуже отравы. И па пайку хлеба я рассчитывать не хотел. Хоть малым, да наказать себя!

На секунду передо мной мелькнул знакомый мне старший сержант. Он стоял все это время позади всех — лицо бесстрастное, считай, что тоже осуждает. Но он-то лучше других понимал, что случилось, возможно, лучше меня самого. Старший сержант тоже казался сейчас мне красивым.

Когда хлеб был разделен, а я забыто стоял в стороне, бочком подошли ко мне двое: мужичонка в расползшейся пилотке, нос пуговицей, дряблые губы во влажной улыбоч-

ке, и угловатый кавказец, полфпзноомип погружено в мрачную небритость, глаза бархатные.

— Братишечка, — осторожным шепотком, — ты зря тушуешься. Три к носу — все пройдет.

— Правыл-но сдэлал. Ма-ла-дэц!

— Ты нам скажи — где? Тебе-то несподручно, а мы — мигом.

— Дэлэм на тры, на совесты!

Я послал их, как умел.

Мы шли еще более суток. Я ничего не ел, но голода не чувствовал. Не чувствовал я и усталости. Много разных людей прошло за эти сутки мимо меня. И большинство поражало меня своей красотой. Едва ли не каждый... Но встречались и некрасивые.

Мужичонка с дряблыми губами и небритый кавказец — да, шакалы, но все-таки они лучше меня — имеют право спокойно говорить с другими людьми, шутить, смеяться, я этого не достоин.

Во встречной колонне двое озлобленных и усталых солдат тащат третьего — молод, растерзан, рожа полосатая от грязи, от слез, от распушенных соплей. Раскис в походе, «лабушит» — это чаще бывает не от физической немочи, от ужаса перед приближающимся фронтом. Но и этот лучше меня — «оклемается», мое — непоправимо.

На повозке тыловик старшина — хромовые сапожки, ряха, как кусок сырого мяса, — конечно, ворует, но не так, как я, чище, а потому и честней меня.

А на обочине дороги возле убитой лошади убитый ездовой (попал под бомбежку) — счастливей меня.

Тогда мне было неполных девятнадцать лет, с тех пор прошло тридцать три года, случалось в жизни всякое. Ой нет, не всегда был доволен собой, не всегда поступал достойно, как часто досадовал на себя! Но чтоб испытывать отвращение к себе — такого не помню.

Ничего не бывает страшнее, чем чувствовать невозможность оправдать себя перед самим собой. Тот, кто это носит в себе, — потенциальный самоубийца.

Мне повезло, в роте связи гвардейского полка, куда я попал, не оказалось никого, кто видел бы мой позор. Но какое-то время я не падал на землю при звуке приближающегося снаряда, ходил под пулями, распрямившись во весь рост, — убьют, пусть, нисколько не жалко. Самоубийство на фронте — зачем, когда и так легко найти смерть.

Мелкими поступками раз за разом я завоевывал себе самоуважение — лез первым на обрыв линии под шквальным обстрелом, старался взвалить на себя катушку с кабелем потяжелей, если удавалось получить у повара лишний котелок супа, не считал это своей добычей, всегда с кем-то делил его. И никто не замечал моих альтруистических «подвигов», считали — нормально. А это-то мне и было нужно, я не претендовал на исключительность, не смел и мечтать стать лучше других.

Странно, но окончательно излечился от презрения к себе я лишь тогда, когда... украд второй раз. Наше наступление остановилось под хутором Старые Рогачи. Посреди заснеженного ноля мы принялись долбить землянки. Я и направился на кухню с котелками. И возле этой, запряженной унылыми лошаденками, дымящейся кухни я заметил прислоненное к колесу ветровое стекло от немецкой автомашины. Кто-то из солдат раздобыл его, услужливо принес повару за лишний котелок кулеша, пайку хлеба, возможно, и за стакан водки. Мне налили в котелки похлебку, и, отправляясь к своим, я прихватил ветровое стекло. Моя совесть на этот раз была совершенно спокойна. Повар и так был наделен благами, какие нам могли только снится, он не ползал по передовой, не рисковал жизнью каждый день, не ел из общего котла и землянку сам не долбил, за него это делали доброхоты, которых он прикармливал. И стекло это повар оплатил из нашего солдатского кошта, нашим наваром, нашей водкой. Услужливый солдатик за стекло свое получил — обижаться не мог, — а сам повар на стекло прав имел не больше, чем я, чем мои товарищи. Я же самоутверждался в своих глазах: чувствую, что можно, а что нельзя, подлости не совершу, но и удачи не упущу, перед жизнью уже не робею.

В обороне под Старыми Рогачами мы жили в светлой, с окном — моим стеклом — в крыше, землянке — роскошь, не доступная даже офицерам.

Больше в жизни я не воровал. Как-то не приходилось.

Украденный у голодных товарищей хлеб — лично для меня случай, наверное, даже более значительный, чем страшный эпизод у обледеленного колодца. Дядя Паша и Якушин заставили меня тревожно задуматься, украденные полбухап-

ки хлеба, пожалуй, определили мою жизнь. Я узнал, что значит — презрение к самому себе! Самосуд без оправдания, самоуничижительное чувство — ты хуже любого встречного, навоз среди людей! Можно ли при этом испытывать радость бытия? А существовать без радости — есть, пить, спать, встречаться с женщинами, даже работать, приносить какую-то пользу и быть отравленным своей ничтожностью — тошно! Тут уж единственный выход — кряк в потолке.

Я стал литератором, не считал себя приспособленцем, но всякий раз, обдумывая замысел новой повести, взвешивал — это пройдет, это не пройдет, прямо не лгал, лишь молчал о том, что под запретом. Молчащий писатель — вдумается! — дойная корова, не дающая молока.

И я почувствовал, как начинает копиться неуважение к себе.

Не случись истории с украденным хлебом, я бы, наверное, не насторожился сразу, продолжал перед собой оправдывать свое угодливое умолчание, пока в один несчастный день не открыл себе — жизнь моя мелочна и бесцельна, тяну ее через силу.

Всех нас жизнь учит через малое сознать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения, через детское «пожалуйста» — нормы человеческого общения.

Всех учит, но, право же, не все одинаково способны учиться.

13

В Москве проходило очередное помпезное совещание писателей, кажется, опять съезд. Я собирался на него, чтоб потолкаться в кулуарах Колонного зала, встретить знакомых, уже натянул пальто, нахлобучил шапку, двинулся к двери, как в дверь позвонили.

На пороге стоял невысокий человек — одет вполне прилично, добротное ширпотребовское пальто, мальчишья кепочка-«бобочка», пестрое кашне. И лицо, широкое, скуластое, с едва уловимой азиатчиной, снующий взгляд черных глаз. Из глубины моей биографии, из толщи лет на меня поплыли зыбкие, еще бесформенные воспоминания.

— Узнаешь? — спросил он.

— Шурка! Шубуров!

— Я. Здравствуй, Володя.

Ни мало ни много, тридцать лет назад в селе Подоси-

повец мы сидели с ним за одной школьной партой. Он скоро бросил школу, исчез из села.

А несколько лет спустя просочился слух — гуляет по городам, рвет, что плохо лежит.

В первые дни войны один из моих знакомых, возвращавшийся в село через Москву, встретил Шурку на Казанском вокзале. Тот был взвинчен, даже не захотел разговаривать, несколько раз появлялся и исчезал, крутился вокруг грузного мужчины с маленьким потрепанным чемоданчиком.

Наконец Шурка надолго исчез, появился лишь к вечеру, в руках его был потертый чемоданчик.

— Пошли!

Завел в глухой закуток, стал лицом к стене.

— Гляди, да не выкай. Кабана подоил.

Он приоткрыл крышку, чемодан был набит пачками денег.

Мой приятель любил присочинить. Чемодан, полный денег, — эдакая традиционная оглушающая деталь ходячего мифа об удачливом воре. Скорей всего, баснословного чемодана не было. Шурка Шубуров работал скромнее.

Вот он с прилизанными волосами, в тесноватом пиджачке — скромн и приличн — сидит передо мной. И легкий шрамик на скуле под глазом — знакомый мне с детства.

— Давно завязал. У меня семья, двое детей, квартира в Кирове, но жизни нет, съедают, не верят, что жить по-человечески могу.

Он скупенько рассказал, что прошел по всем лагерям:

— По колено в крови, бывало, ходил...

Лет восемь назад он отбыл последний срок и... жить негде, жить не на что, на работу никуда не принимают, прописки не дают. Бродил по Москве, не зная, куда прислонить голову — с вокзалов гнали, с отчаяния решил: пришел на Красную площадь и направился прямо в Спасские ворота Кремля. Его остановила охрана:

— Куда?

— К Пиките Сергеевичу Хрущеву. Не пропустите — здесь лягу, идти мне некуда. Или берите обратно, откуда пришел.

Лечь ему под Спасскими воротами не позволили, забрать обратно не решились — за старую вину отсидел, новой еще не приобрел. Его начали передавать с одной охранной инстанции в другую, и везде он твердил одно:

— Хочу встречи с Никитой Сергеевичем. Кроме, как у него, правды не найду.

Раскаявшийся преступник, жаждущий ступить на путь добродетели, еще во времена, когда рыскали «черные вороны», вызывал симпатии, прошел косяком по нашей литературе, выдавался за образец высокого человеколюбия: «Ни одна блоха не плоха!» Жестокость редко обходится без сентиментальности. И это-то помогло Шурке Шубурову. Охранные органы прониклись сочувствием настолько, что доложили о нем, бывшем воре, желающем стать честным советским гражданином, Хрущеву. А уж тот кинул через плечо: помочь! И Шурку ласково, почти с почетом отправляют в главный город той области, где он родился, там его ждет квартира, предоставляется работа. Но...

— Съедают. Не могут простить — Хрущев мне помог.

Нельзя не верить — теперь все, что связано с ниспровергнутым главой, вызывает недоверие и вражду. Нельзя и забыть, что сидел с ним за одной партой, шрамик на скуле — не след лагерной жизни, помню его с детских времен.

Но как и чем помочь? Я не Хрущев, кинуть через плечо — помогите! — не могу. Но есть какие-то знакомые в Кирове, не попробовать ли действовать через них?

— Знаешь, я без копейки. А здесь жена и дети...

У меня в эту минуту в кошельке только двадцать пять рублей. Договариваемся о встрече — выясню, заручусь поддержкой, отправившись обратно, ну, а о деньгах на дорогу не беспокоюсь.

Друг детства, натянув свою кепочку, уходит от меня.

Через час я в Колонном зале, встречаюсь с писателем из Кирова, на помощь которого рассчитываю. Он уже знает о появлении в Москве Шурки Шубурова, Шуркина жена нашла его на совещании, пожаловалась на безденежье, взяла... двадцать пять рублей.

Жена с детишками на следующий день приходит ко мне на дом, но меня не застает. Мои домашние, как могли, обласкали ее, посадили за стол, умилялись детишками, снова дали денег.

А спустя еще день или два я получаю по почте извещение — явиться к следователю в одиннадцатое отделение милиции, что находится рядом с ГУМом.

Следователь милиции, молодой человек со значком юридического вуза в петлице, объявляет: Шубуров арестован в ГУМе — залез в карман. Мелкое воровство осложняется воровским прошлым.

— Провинция, — не скрывает следователь своего през-

рения. — В ГУМе стал промышлять. Масса народу, толкучка — удобно, а не знает, что где-где, а уж тут-то следят вовсю — не развернешься. В его кармане найдены деньги — восемнадцать рублей, указывает на вас — дали вы.

— Дал.

Я рассказываю о нашей встрече, подписываю протокол, прошу следователя: не нарушая законности, проявить снисходительность и человеческое понимание — двое детей на руках и, вполне возможно, вернуться на прежний путь вынудила его травля, которой он подвергался в родном городе.

Следователь обещает мне, но без особого энтузиазма:

— Право же, мало чем могу помочь. Схвачен на преступлении, заведено дело — не прикроешь. Разрешите, я распишусь на повестке, иначе вас отсюда не выпустят.

И действительно, милиционер с монументальной фигурой и сумрачной физиономией, стоящий у выхода, придирчиво и подозрительно оглядывает меня с головы до ног. Не то место, где оказывают доверие.

Я чувствовал себя пакостно, словно Шурка попытался обворовать не какого-то неизвестного покупателя в ГУМе, а меня. Зачем ему это было нужно? Какие-то деньги он имел, голодным не был, знал, что скоро встретимся, мог рассчитывать на мою помощь.

В толкучке прохожих на людной Октябрьской улице, неся досаду и недоумение, я вдруг подумал: Шурку уж наверняка не раз уличали, как меня с украденным хлебом, и он снова и снова повторял тот же помер. Значит, не проникался к себе самоубийственным презрением — проходило мимо, ничуть не задевало.

Жизнь учит через малое сознать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения...

А чему я, собственно, удивляюсь: из многих миллионов, только один человек оказался столь чуток, что заметил в упавшем яблоке всемирно масштабное. Мне доступно такое? Ой нет.

Все люди сходны друг с другом, никто не может похвастаться, что имеет больше органов чувств, принципиально иное устройство мозга, любой про себя может сказать: «Ничто человеческое мне не чуждо». Но как эти люди не похожи, как по-разному они глядят на мир, различно чувствуют, различно поступают.

Никак не проникнемся азбучным: личность по-своему воспринимает мир.

Сколько личностей — столько миров!

Хотелось бы знать: а как случай у обледенелого ко-
лодца подействовал на дядю Пашу? Изменился ли он после
своего палачества? Может, стал садистом или, напротив,
казнит себя за содеянное?

Навряд ли, скорее всего остался прежним. Если уце-
лел на войне, то теперь он уже почтенный старик. Прожил
жизнь, родные и знакомые, наверно, не считали его злым
человеком.

14

Во мне обнаружилось нечто мое личное лишь после того,
как я, голодный, столкнулся из-за полбуханки хлеба с голод-
ными товарищами.

Кто я таков? Каковы мои личные качества? Я это могу
узнать только тогда, когда соприкоснусь с окружением,
почувствую на себе его влияние.

Бессмысленно говорить о личности, отрывая ее от окру-
жающей среды. Без нее личность просто не проявится.

А для любого и каждого самой существенной частью
окружающей среды является его человеческое окружение,
всегда каким-то образом построенное.

Каждый реагирует на него по-своему, не похоже на дру-
гих.

И каждый находится от него в зависимости.

Зависимость еще не значит обезличивание. Наоборот,
влияние человеческого окружения и открывает уникальные
особенности отдельного человека.

Ты среди масс порождаешь меня. Я в числе прочих —
тебя.

До сих пор мы рассматривали случаи, когда массы
душно влияют на личность. Однако бывает же и наоборот.

В конце августа 1947 года я возвращался из своего
села, где проводил каникулы, снова в институт. В Кирове —
пересадка на московский поезд.

Еще страна не улеглась после войны, еще продолжали
возвращаться и эвакуированные, и демобилизованные, и
партии вербованных рабочих катили — одни на восток, в Си-
бирь, другие — на запад, в разрушенные войной области,
и соединялись разбросанные семьи, и началось уже бегство
из голодных деревень, и потоки командированных... Великая

страна кочевала, заполняя вокзалы пестрым народом, спящим вповалку, мечущимся, голодающим, напивающимся, страдательно мечтающим об одном — о билете на нужный поезд!

К окошечку билетной кассы выстроилась огромная, через всю привокзальную площадь, очередь, тревожно колышущаяся и в то же время обреченно терпеливая, охваченная зыбкими надеждами. Все надеяться не могли — очередь слишком велика, билетов выбрасывалось слишком мало. Растянутый хвост гудел от сдержанных голосов, там сочинялись легенды: «Могут пустить «Пятьсот веселый», дополнительный поезд с товарными вагонами, тогда-то уедем все...» Творили легенды и тут же опровергали их: «Пятьсот веселый» в столицу?.. Не ждите, Москва «веселые» поезда пропускает стороной». Хвост очереди шумел, с легкостью отказывался от надежд, а голова — отрешенно молчалива, замороженно неподвижна. Здесь в счастливой близости к закрытому окошечку кассы стояли те, кто выстрадал это счастье несколькими сутками вокзальной жизни, кто в этой очереди коротал бессонные ночи, много раз впадал в отчаяние, истерзан, изнеможен, держится из последних сил, полон сомнений, не верит уже в удачу. Очередь через всю пасмурную, мокрую от дождя площадь — парад ватников, брезентовых плащей, шинелей со споротыми погонами, платков, кепок, меховых не по сезону шапок, громоздких мешков, чемоданов, вместительных, как сундуки, сундуков, приспособленных под чемоданы.

Наконец голова очереди, стоявшая вблизи окошечка в отрешенном окоченении, вздрогнула, подалась вперед, и дрожь прошла по всей длинной очереди, подавив смех, смыв улыбки, оборвав на полуслове разговоры. Касса открылась! И перекатный ропот от начала в конец, удивленный и недовольный — кассирша вывесила цифру мест, предназначенных для распродажи. Ропотать не было ни нужды, ни смысла, без того каждый знал — на всех не хватит. И ропот быстро сменился деловым шевелением.

Середина очереди, ее обильное туловище, выслала незамедлительно вперед своих делегатов-добровольцев, чтоб досматривали и не пускали ловкачей, желающих просочиться к заветному окошечку. Сразу же среди пятка решительных делегатов, в те минуты, пока они шагали к голове, выделился атаман — дюжий парень, кубаночка венчает рубленую физиономию, напущенный чуб, пахальные глаза, золотой искрой зуб во рту.

— Стройся! Стройся по порядочку! — напористым старшинским тенорком начал командовать он. — Вы, гражданочка, стояли тут или только приклеились? А то мы можем и за локоток. У нас быст-ра!..

Но ему сразу же пришлось почтительно отступить перед плечом с малиновым погоном, перед фуражкой с малиновым верхом — железнодорожный милиционер с дремотно недовольным лицом бесцеремонно растолкал очередь и кивнул молодой женщине:

— Сюда!

Втолкнул ее третьей от окошечка.

Женщина была нищенски одета, из просторного, с мужского плеча, затасканного ватника тянулась тонкая, беззащитная шея, щеки в нездоровой зелени, запавшие глаза в сухом беспокойном блеске, руки зябко прячутся в длинные рукава.

— Правонарушителей опекаешь, браток? — понимающе осведомился парень в кубанке.

Милиционер не счел нужным повести в его сторону даже бровью, все с тем же дремотным недовольством на лице, выражающим, однако, убежденность в своей силе и величии, удалился.

Парень долго и оценивающе изучал женщину, слепо глядящую перед собой, наконец авторитетно пояснил:

— Лагерная шалава, из заключения. Стараются сплавить быстрее, чтоб не шманала на вокзале.

— А выгодно, братцы, быть жуликом.

— Заботятся.

— Мы тут четвертый день околачиваемся, нас бы кто за ручку подвел.

С головы к хвосту по всей очереди потек недоброжелательный говорок:

— Попробовать тоже... авторитет заработать.

— Попробуй, тогда на казенный счет отправят.

— Только не в ту сторону, куда целишься.

— Это чтой там случилось?

— Да партию лагерных девок поставили в очередь.

— Ну-у, теперь нам еще сидеть.

— За пас лагерные сучки поедут!

— Ах, мать-перемать! Нет жизни честному человеку!..

А парень в кубаночке ораторствовал, подогревал:

— Чей-то билет ей достанется! Может, мой, может, твой!.. Я за родину кровь проливал, а она державе пакостила.

Зазря бы в лагеря не сунули. И вот ее берегут, а на меня плевать!..

Женщина молчала, напряженно распрямившаяся, с вытянутой из ватника бледной тонкой шеей, худое лицо безжизненно замкнуто, глаза прячутся в глазницах, только в неестественно вскинутых плечах ощущалось — все слышит, переживает враждебность.

Наконец два человека, стоявшие впереди нее, не участвовавшие в осуждении, получили свои билеты, с резвостью исчезли. Женщина пригнулась к окошечку кассы. И все кругом замолчали, только ели глазами ее спину в объемистом ватнике, уже не находили слов, чтоб выразить свою неприязнь и обиду. Даже парень в кубанке только сплюнул в сердцах.

Но что-то случилось возле окошечка, женщина задерживалась, волновалась, сдавленно объясняла.

— Ну, что там? Бери да проваливай! — не выдержал парень.

Мужичонка с лисьей физиономией и тяжким сидором на горбу, который, однако, не мешал прыткой подвижности, сунулся сбоку, прислушался и откачулся в ликование:

— А у нее, ребятушки, денег-то нету! Торгуется — на билет не достает!

Парень в кубанке победно из-под чуба оглядел свое окружение, расправил плечи и крикнул уже по-начальнически:

— Пусть проваливает! Эй, кума, чисти место!

Женщина послушно откачулась от кассы, серое в нездоровую зелень узкое лицо, плавающие в глубоких глазницах глаза.

— Не выгорело! — Парень показывал радостно золотой зуб, выпячивал грудь, чувствовал себя героем. — Сходи-ка с ручкой к тем, кто привел. Может, отвалят.

И женщина с трудом разлепила бледные губы:

— Смейся!.. К детям еду, сама больна... Нету денег, откуда?.. Сколько было — хранила, двое суток уже не ела... Смейся!

— Вот, вот, пожалуйся, а я пожалею, — парень, показывая золотой зуб, картинно поворачивался в разные стороны, ждал поддержки.

Но на этот раз кучная голова очереди не отозвалась, все угрюмо отворачивались. Отворачивались, не хотели знать чужой беды. Минутная пеловкая тишина. Женщина грязным рукавом ватника досадливо смахивала слезы. И мужи-

чонка с большим сидором глядел на нее, конфузливо мялся, покрывивал.

Из-за его спины — «ну-кося, расшарашился!» — вынырнула старушка, развязала платочек, скупенько заковырялась в нем сухонькими пальцами, протянула бумажку.

— Сколь не хватает-то? Немного, чай?.. Возьми, милая, может, еще кто даст. Больше-то не могу...

Старушка совала бумажку женщине, та слабо отмахивалась:

— Не, бабушка, что уж...

— Да бери, бери! Стыдного нет. Не все же без сердца — поймут...

Мужичонка с сидором решительно крикнул, с досадою полез за пазуху.

— И правда, девка, с миру по нитке — голому рубаха. Я тоже вот к детям еду, с гостинцами... Да бери ты, коли дают!

Женщина глядела в землю и не шевелилась, над впалыми щеками проступили два вишневых пятна. Чей-то густой решительный бас взорвался за платками и кепками:

— Чего вы как нищенке суετε! Пройди кто по очереди да собери! Не откажут!

Парень в кубанке с размаху хлопнул себя по коленке:

— Вер-на! Организация нужна!..

Он сорвал с себя кубанку, достал из кармана пятирублевую бумажку, повертел ее перед толпой — любуйтесь, что жертвую! — шагнул к старухе.

— Кидай, бабуса, свой рублишко! И ты, дядя!.. Граждане! Кто сочувствует... Граждане! Не обременяя себя, так сказать, по мере возможности!.. Каждый может оказаться в стеснительном положении... Спасибо!.. Тронут!.. Еще спасибо...

Очередь уставших, издерганных людей, только что накаленных недоброжелательством, только что презиравшая эту приведенную милицией женщину, завидовавшая ей, считавшая едва ли не врагом, теперь охотно бросала в подставленную кубанку смятые деньги.

А женщина смотрела вниз, щеки ее цвели пятнами и блестели от слез.

Парень, раздумываясь, посверкивая зубом, прижимая кубанку, прошествовал к окошечку кассы, обернулся к очереди.

— Прошу кого-нибудь сюда — для контроля! Хотя бы ты, дядя, проследи: не для себя, пользуясь случаем, только

для нее!.. Чтоб не было неприятных недоразумений, чтоб честно и благородно до конца!

И опять из-за платков и кепок прокатился давящий бас:

— Бери и себе заодно, раз так! Что уж, всех одним билетом не спасешь!

— Нет, я честно и благородно до конца!.. Ни в коем разе!

Женщина стояла, уронив вдоль тела рукава ватника, и плакала.

15

Парень в кубанке достал билет, сел в поезд. И что — стал другим, уже не хамовитым по натуре, а чутким? Наивно думать. Он остался прежним.

Но если он окажется в таком человеческом устройстве, которое заставит его не от случая к случаю, а год за годом поступать отзывчиво, не хамовито, то можно ли сомневаться, что отзывчивость у него превратится в привычку, привычка — в характер. Изменится личность.

Люби ближнего своего, не убий, не лжесвидетельствуй!.. Пророки и поэты, педагоги и философы тысячелетиями на разные голоса обращались к отдельно взятому человеку: совершенствуйся сам, внутри себя!

Я бы рад самоусовершенствоваться — любить, не убивать, не лгать, — но стоит мне попасть в общественное устройство, раздираемое непримиримым антагонизмом, как приходится люто ненавидеть, война — и я становлюсь убийцей, государственная система выдвигает диктатора, он сажает и казнит, заставляет рабствовать, я вижу это и молчу, а то даже славлю — отец и учитель, гений человечества! В том и другом случае лгу и не могу поступить иначе.

Благие призывы моралистов ко мне: совершенствуйся! Они давно доказали свое бессилие.

Мы все воедино связаны друг с другом, жизненно зависим друг от друга — в одиночку не существуем, — а потому самосовершенствование каждого лежит не внутри нас: мое — в тебе, твоё — во мне!

Не отсюда ли должна начинаться мысль, меняющая наше бытие?

ПРОСЕЛОЧНЫЕ БЕСЕДЫ

Черепаха, которая жила под письменным столом, была вегетарианкой, и Алексей Николаевич взялся доставлять ей к ужину букет луговой каши. На эту ответственную операцию неизменно приглашался я, помимо всего, надо полагать, на роль Дерсу Узала местного значения. К вечеру под моим окном вырастал он — вдохновенная голова на томкой шее, кофта, ниспадающая с плеч столь вольными складками, что сомневаешься в существовании плоти под ней, и белые резиновые тапочки на ногах.

Я не был ни его учеником, ни коллегой, в стороне от той науки, которой он отдал жизнь, не отстаивал с ним плечо в плечо общее кредо — всего-навсего лишь его досужий собеседник в часы отдыха. Но, право, это не так уж и мало. Оглядываясь назад, я теперь чаще вспоминаю даже не тех, с кем когда-то жался под артобстрелом в одном окопе, жил койка в койку в студенческом общежитии или колесил по экзотическим командировкам, а тех, с кем приходилось содержательно беседовать. Надо сказать, мне везло на собеседников — мечущийся страстотерпец-правдоискатель Валентин Овечкин, Александр Твардовский, всегда яркий, не всегда безобидный, способный и обнадежить откровением и уязвить до болезненных корчей. Но я не встречал собеседника умней Алексея Николаевича Леонтьева.

Нет, не ум привлек меня поначалу к нему, хотя, едва познакомившись, мы начали «перекачивать» глобальные проблемы. Нужно было сперва привыкнуть к его скрупулезной, всегда сложной манере изложения, не шарахаться от парадоксальности его суждений, научиться ставить себя на его точку зрения. Это пришло ко мне не сразу, а раньше, я открыл в нем интеллигентность характера...

Кто как, а я лично хронически страдаю от нехватки интеллигентности, быть может, потому, что и сам ею обделен. Трудно определить, что понимаю под интеллигентностью, скорее всего, наличие в человеке той струны, которая чутко отзывается на твои колебания. Это в Алексее Николаевиче было. Старше меня на двадцать лет, он успел в отрочестве вдохнуть ту атмосферу, которую одухотворяли Лев Толстой, Чехов, Короленко, и это придавало интеллигентности Алексея Николаевича особый колорит.

Впрочем, однажды он тут обманул мои ожидания. В Сиене нас, группу русских туристов, повели в музей вин. Яркое солнце Италии снаружи, загадочный сумрак внутри стен средневековой крепости, ошеломляющее разнообразие выставленных бутылок настроили меня на благоговейный лад. Мне вспомнились слова Ланжевена, великого физика и тонкого знатока вин: «Вино не пьют, о вине говорят». И во вдохновенном порыве я решил купить предельно дорогую для моих скудных туристических финансов бутылку вина, мысленно поклявшись себе, что разопью ее дома с наиболее интеллигентным собеседником из моих знакомых.

Разумеется, им оказался Алексей Николаевич Леонтьев. Мы уселись друг против друга, сосредоточенно вчитались в пеструю этикетку на бутылке, осведомленной, однако, не стали, торжественно раскупорили, расплеснули по стаканам, дружно внюхались, переглянулись... Вино пахло вином, ничем более. Сдержав позыв разом опрокинуть, мы принялись церемонно смаковать. У музейного напитка был едко-кислый вкус. Конечно, в этой кислотности должны существовать знаменательные оттенки, но мне они, увы, недоступны, я лишь старался не кривить физиономию, ждал восторгов от чуткого Алексея Николаевича. Но лицо его было непроницаемо, а уста запечатаны.

«Вино не пьют, о вине говорят». Однако музейный напиток не только не служил темой для разговора, он как-то пришиб нас. Осторожненько прикладывались, настороженно наблюдая друг за другом, стоически, не морщились, подавленно молчали... Я хотел налить по второй, однако Алексей Николаевич виновато, должно быть, сам презирая себя, изрек:

— Владимир Федорович, все-таки я предпочитаю водку.

Господи! Да я — тоже! Через минуту на столе стояла обычная водка. Она-то быстро развязала нам языки, но вино так и не стало темой нашего разговора.

Алексей Николаевич нес к дому блуждающую улыбку, я его торжественно провожал. Встретившая нас Маргарита Петровна взгляделась в мужа и сокрушенно объявила:

— Не тот стал Леонтьев! Не-ет! Раньше, в молодости, бывало, выпьет — выбирает дерево и... да, карабкается. Лихо и весело!

— Да неуж! — умилился я.

— Во хмелю, кто насколько может, становится ближе к предкам, — апостольски провозгласил Алексей Николаевич.

Однако случай сей редкий, не застолье объединяло нас,

а проселочные и лесные дорожки, «гулятивные беседы», как называл Алексей Николаевич.

Тропинка вдоль невыколосившегося поля, медовый запах клевера, благорастворение в воздухах, а два весьма почтенного возраста чудака — кто бы послушал — всерьез, углубленно толкуют об... отрубленной голове. Да, о голове профессора Доуэля, отрубленной и оживленной фантазией писателя Александра Беяева.

Собственно, к ней нас привели рассуждения на тему, которую средневековые схоласты сформулировали бы в виде вопроса — где гнездится душа? Ну, а мы лишь несколько его конкретизировали: можно ли считать центральную нервную систему (мозг) единственнымместищем сознания? То есть могла ли нормально функционировать голова профессора Доуэля на лабораторном блюде?

Я видел причину ненормальности только в том, что сознание будет чрезвычайно травмировано исключительной человеческой неполноценностью, своего рода сверхинвалидностью, отсюда — психическая угнетенность, апатия и пр. и пр., вплоть до нежелания существовать в виде обрубка.

— А если предположить, что голова Доуэля примирится с человеческой неполноценностью? — спросил Алексей Николаевич.

— Разве с этим можно примириться?

— Почему бы и нет. Откинем в сторону злодейскую интригу вокруг профессора Доуэля, он должен был умереть и знал это. Вместо полного небытия ему предоставляется хоть и сильно ограниченное, но все-таки бытие — может воспринимать мир, даже как-то интеллектуально участвовать в нем. Кой-что лучше, чем ничего. Обладая достаточным умом и волей, не так уж и трудно убедить себя — не обездолен, а даже по-своему счастлив. Предположим такое.

— И что ж тогда?

— А то, что и после этого психика головы Доуэля должна патологически извратиться.

— Даже при условии, что голова станет осознавать себя счастливой?

— Даже при этом.

Я был озадачен:

— М-да-а. «Я мыслю. Следовательно, я существую». Доволен тем. И патология?..

На лице Алексея Николаевича знакомая мне игра — выразительность при бесстрастии, переменчивость при неподвижности, такое впечатление, что складки лица незамет-

но переменились местами и замерли в затаенном ехидстве. Обычно это случается в предвкушении победы.

— А скажите, Владимир Федорович,— говорит он,— может ли голова Дууэля желать то, чего мы с вами ежеминутно мимоходом желаем — куда-то сходить, что-то сделать и прочее там?

— Нет, конечно.

— А может ли она проявить волю, настойчивость, как мы их проявляем?

— Нет.

— А любить, как мы любим, негодовать, как мы?.. Или мечтать. Владимир Федорович?.. Будут ли сходны мечта головы с мечтами постоянно к чему-то стремящегося, чего-то добивающегося нормально неумеющего человека?

— М-да!

— Трудно сказать, какой стала бы психика отсеченной головы, но только не человеческой. А при извращенной психике и нормального сознания быть не может.

— Значит, если б даже удалось создать точную копию мозга, скажем, Эйнштейна, то это заведомо мог быть только свихнувшийся мозг?

Коль мы приняли в игру столь странный фантом — усеченного профессора Дууэля, то уж нет смысла обуздывать разгулявшееся воображение, стесняться фантастического. Алексей Николаевич охотно отзывался на мои эскапады, однако оставался самим собой — трезв, сдержан, академичен:

— Носитель разума не мозг, не отдельный орган, вырабатывающий духовную эманацию, а целиком человек с руками, ногами, деятельный, как никто на Земле.

— Ну, а разве в принципе невозможен эдакий сверхкомпьютер, интеллектуальный монстр без ног, без рук, глотающий информацию, генерирующий знания?

— Знания о чем? — быстро откликнулся Алексей Николаевич. — Об окружающем мире. И на основании информации, которые добыл кто-то. Тот, кто способен ощущать этот мир. Ощущать не ради самих ощущений, ради того, чтоб разобраться — что полезно, что вредно, а что безразлично. Информация-то монстру скармливается не какая-нибудь, а отобранная, целенаправленная, значит, и знания монстр выдает не какие-нибудь, а необходимые тем, кто наделен способностью ощущать, ими заданные. Выходит, настоящий-то источник разумной генерации вовсе не монстр, он лишь орудие, эдакая интеллектуальная кирка, дробящая гранит, скрывающий золотиносную жилу.

— То есть, чтоб получить генератор разума, следует сотворить человека, — пронизательно заметил я.

Алексей Николаевич помедлил и решительно возразил:

— Нет, человечество!

— А вы недавно называли человека носителем разума, — напомнил я.

— Носителем, а не генератором. Дискретной частицей. Один электрон источником электричества быть не может.

— И все-таки человечество состоит из таких, как вы, генерирующих.

— Да, — согласился он, — но не я заряжаю общество своей генерацией, а общество меня.

— Это еще следует доказать.

— Будь иначе, я бы вкупе с другими генераторами диктовал характер общественной деятельности: так действуй, согласно нашей генерации. Но, увы, никто из усиленно генерирующих людей не может похвастаться, что именно они создали рабовладельческий, феодальный или капиталистический способ производства. Сие самопроизвольно возникло!

Некоторое время мы идем молча. Я перевариваю услышанное.

— Характер труда возникает самопроизвольно, — заговорил я. — Труд в некотором роде, как признано, создал человека. Не получается ли, что деятельность возникла раньше деятеля?

— А что раньше появилось — Солнце или солнечный свет? — спросил Алексей Николаевич.

— Разумеется, Солнце. Не сразу же оно разогрелось, чтоб светиться.

— Ну, а можно ли несветящийся сгусток материи называть Солнцем?

И я сдался:

— Все! Спускаюсь на грешную землю... Здесь приличная кашка. Из-за наших «жомини да жомини» черепаха может оказаться без ужина.

Алексей Николаевич послушно присел — острые колени выше плеч, в позе самосозерцающего кузнечика. А над землей, отягощенной зеленью, топился вечер, яростно пламенный и обморочно тихий одновременно. Наморщив лоб, с вдумчивой сосредоточенностью представитель генерирующего человечества выщипывал из травянистой обочины кашку.

Беседа. Одна из многих. Заранее оговариваюсь — мои отрывочные записи никак не стенографический отчет. Да

и нелепо было бы передавать неизбежный сумбур, случайные необязательные отступления, словесную шелуху, сопровождающие обычно любой разговор. Я лишь добросовестно пытаюсь выразить наиболее характерное из того, что осело в моей памяти, свое впечатление, прошедшее проверку временем.

Коллегам профессора Леонтьева, ученым-психологам, по существу наша беседа может показаться поверхностно наивной. Скорей всего, оно так и есть. Не надо забывать, что это не было изложением взглядов как таковых, их последовательной аргументацией, а не более чем разговором на отдыхе двух людей, по-разному воспринимающих жизнь, радующихся тому, что находятся точки соприкосновения.

Покопавшись в памяти, поднадужившись, я, возможно, и смог бы припомнить нечто более содержательное из наших вольных прогулок с Алексеем Николаевичем. Однако случайный разговор, метавшийся от отрубленной головы профессора Дуэля к роли деятельности в сознании, для меня незримо связан с другим... уже последним нашим разговором.

Кто-то заметил, что время после победы коварно для победителя. У Алексея Николаевича выходит книга — результат поисков, собственно, всей его жизни. Но в предисловии он пишет: «...Не могу считать ее законченной — слишком многое осталось в ней... только намеченным». Ему семьдесят два года, чтоб достигнуть намеченного, надо спешить, однако силы на исходе, нелегко начать новое восхождение, а помимо всего основная забота по факультету психологии по-прежнему лежит на его плечах. Отдых в санаторий «Узкое» лишь как-то подправил Алексея Николаевича. Началась тревожная и тяжелая зима. И она кончается больницей. Одно время состояние угрожающее, но кризис проходит, мне даже удается навестить его. Алексей Николаевич бодрится, шутит, но впоследствии мне признается: помнит нашу встречу смутно, как далекий сон.

В последнее лето мы видимся крайне редко, урывками. Нам мешают не только болезни Алексея Николаевича, житейская суета, мои летние отъезды, но и затяжные дожди. Алексей Николаевич отсиживался в Москве, в наших сырых хвойных местах ему тяжело дышалось.

И в тот день поутру тоже прошел дождь, ветра не было, низко висели тучи, лужи на асфальте блестели тревожно

и неуютно. Алексей Николаевич чувствовал себя подавленно, сутулился, глядел в ноги, молчал, выдавливал из себя через силу: «Да, нет...»

Но мы давно не виделись, и я стал его расспрашивать о замыслах. О своих же замыслах Алексей Николаевич спокойно говорить не мог, они, как дрожжи, всегда вызывали в нем брожение. Сейчас — тоже... Слово за слово, голова поднялась, спина распрямилась, голос окреп, в глазах появился блеск, и передо мной, как обычно, начало ветвиться дерево познания.

Он заговорил о том, что у него давно уже вызывало сомнение великое противопоставление, на котором держится наше сознание — я сам и весь остальной, окружающий меня мир, субъект и объект, жестко разделенные между собой, не подлежащие смешению. Объект воздействует на субъект, субъект проявляет себя — просто и ясно, знакомо со школьной скамьи.

— Так вот, — продолжал Алексей Николаевич, — заблуждение, что мое «Я» противостоит окружающему миру, бессмысленно рассматривать как то, так и другое по отдельности. Как спла гравитации без массы, как квант света без движения, так и субъект в отрыве от объекта — абсурд!..

Он говорил, а искры падали на сухой порох. Мне не давал покою, так сказать, один пунктик, мешающий соглашаться с общепринятым взглядом на происхождение человека. Да, «вся история есть не что иное, как образование человека человеческим трудом», однако создание первых орудий мне вовсе не кажется знамением антропогенеза. Атропологи вкупе с археологами даже австралопитека подозревают в использовании орудий, а уж чуть-чуть более развитый презинджантроп назван «умелым», хотя мозг его все еще остается скорей обезьяньим. И грубо сколотая галька и неуклюжее зубило могли в лучшем случае стать только признаком человекоподобия, но еще не человека. На каком этапе мастерovitости — нанесения ретуши, миниатюризации, шлифовки камня — возник тот уровень сознания, который без оговорок можно назвать человеческим? Мне кажется, по орудиям его установить невозможно, но существует признак, который указывает на воистину революционный переворот в мировосприятии. Этот признак — могила, захоронение!

Для того чтобы наш далекий предок не бросил умершего родича, а совершил над его телом примитивный обряд (хотя бы только привалил землю), он должен был прежде выделить самого себя из окружения. Если он прежде мир воспри-

нимал просто как источник пищи и опасностей, то теперь уже объединяет все находящееся вне себя. То есть он противопоставляет себя миру, осознает свое «Я». А это может означать, что наш предок перестал быть особью, превратился в личность.

Осознав себя, нельзя не осознавать и своих родичей, не признавать их столь же обособленными и значительными в мире сем, как и ты сам. Это осознание наиболее остро должно проявляться со смертью родича, переноситься на его останки. Появление захоронений — результат самосознания. Появление захоронений — признак возникновения нового, никому из животных не свойственного мировосприятия, где все сущее резко делится на «Я» и на то, что меня окружает, на субъект и объект. Такое мировосприятие стало основой жизнедеятельности человека — реализация субъективных нужд за счет объективно существующего окружения. А сейчас я вот слышу: мое «Я» не противостоит окружению, субъект в отрыве от объекта — абсурд.

Алексей Николаевич обводит длинной рукой аллею начинающих желтеть лип, дорожку с лужами, едко голубую дачу за забором:

— Меня и вас сейчас окружает одно и то же — объект, так сказать, подмосковно-дачного образца. Представим, что каким-то образом удастся зафиксировать и мое и ваше восприятие этого объекта. Как вы думаете — отличались бы они?

Ну, тут у меня сомнения нет.

— Да, — отвечаю я. — Когда я учился на художественном факультете, мы обычно все скопом писали какой-нибудь один кувшин с яблоками и драпировками. Двадцать с лишком человек! А не случалось, чтобы мы изобразили похожими хотя бы два кувшина.

— Ага! — подхватил Алексей Николаевич. — Мир, существующий вне, объективен, но только не для нас. Мы его воспринимаем — вы так, я эдак, каждый по-своему. Независимый от нас объект для нас с вами — фикция. Мир вне нас для нас субъективен. А вот мы сами, субъекты, так ли уж мы субъективны?.. Возьмем для примера некоего конкретного субъекта, того же Алексея Николаевича Леонтьева с его потребностями и влечениями. В данный момент этот субъект устал, потребности и влечения его сходятся на одном: надо отдохнуть, спрятаться от дел, пошататься вот так хотя бы недельку. Но... завтра еду. На совещание, где я услышу не только пустопорожние речи, но и колкости и выпады по своему адресу, на совещание, которое выбьет меня из колен, по

крайней мере, на неделю. Еду вопреки своим потребностям и влечениям! Объективные обстоятельства заставляют. Я — субъект? Да нет, — я выразитель объективного! И это всегда и всюду. В первых веках нашей эры миллионы христиан искренне желали бы любить ближнего своего, но мир, в котором они находились, был расколот на господ и рабов, одни погоняли других палкой. Люби тут...

— Как говорится, Ермол и не виноват, да нельзя миновать, — вставил я.

— Вот именно. Сущность нашего «Я» не внутри, а вне нас...

Алексей Николаевич, похоже, сдал от вспышки, взирал на уходящий под осень липово-асфальтный мир, говорил уже без напора:

— Получается — объект субъективен, субъект объективен, можно ли просто делить мир на эти противостоящие категории?..

Я долго молчал. Если считать, что сознание своего «Я», противопоставление его миру, завершило формирование примата в человеке, то что же нужно ожидать от нового поворота в нашем сознании?

— Принципиально иной взгляд на себя? — спросил я.

— Да, — ответил Алексей Николаевич.

— И принципиально иной на мир?..

— Да.

— Но тогда и жизнь наша должна стать принципиально иной!

— Почему — должна стать? Не от взглядов — жизнь, а от жизни — взгляды. Уже стала, только мы этого еще не разглядели.

Утром Алексей Николаевич уехал в Москву, и там началась последняя вспышка его активности. Мне сообщали — строит планы экспериментальных исследований, выступает с докладами, засиживается дома за письменным столом... А я мысленно возвращался к нашей беседе. Мы редко говорили о нравственности, самой болезненной теме в общечеловеческой и самой темной для науки. Но чего бы мы ни касались, эта тема постоянно ощущалась в умолчаниях и недомолвках. Последний разговор не исключение...

«Сущность нашего «Я» не внутри, а вне нас»... В том, что каждого из нас окружает. А самая влиятельная часть окружения любого из нас — не разнохарактерные ландшафты

с их флорой и фауной, а другие люди. С ними, себе подобными, каждому из нас приходится сталкиваться, от них зависеть.

Но эти другие нам люди никогда не окружают нас хаотичной массой, они всегда упорядочены, выстроены в систему, действующую соответственно своему устройству. Становится очевидной тщетность многовековых усилий со стороны религии, пытавшейся внушить человеку: поступай только так, а не иначе — не убий, не лжесвидетельствуй, не пожелай жены ближнего своего, — поступай нравственно, не считаясь с внешними обстоятельствами. Наше «Я» не принадлежит только нам самим, «ни один человек не является островом, отделенным от других. Каждый — как бы часть континента, часть материка...».

Действующие человеческие системы, которые определяют наше поведение, формируют нас самих, не создаются искусственно, а возникают стихийно в ходе развития. Но ведь человек с того и начал, что стал вмешиваться в стихию...

Я занимался своими делами, но помнил об Алексее Николаевиче, ждал нового лета, а с ним новых встреч, прогулок, разговоров, нисколько не сомневался, — встречи будут, и как всегда заполненные необузданными беседами. Не сомневался в этом я даже тогда, когда услышал, что Алексей Николаевич снова слег...

И телефонный звонок Маргариты Петровны...

Осознаем невозполнимое, когда потеря уже происходит.

СОДЕРЖАНИЕ

Ухабы <i>Повесть</i>	4
Суд <i>Повесть</i>	50
Тройка, семерка, туз <i>Повесть</i>	120
Находка <i>Повесть</i>	165
Подёнка — век короткий <i>Повесть</i>	224
Рассказы радиста	298
День, вытеснивший жизнь <i>Рассказ</i>	350
День седьмой <i>Рассказ</i>	406
Пара гнедых <i>Рассказ</i>	428
<u>Хлеб для собаки</u> <i>Рассказ</i>	452
Паразя <i>Рассказ</i>	470
<u>Допна Аппа</u> <i>Рассказ</i>	489
Охота <i>Рассказ</i>	516
На блаженном острове коммунизма <i>Рассказ</i>	572
<u>Люди или нелюди</u> <i>Рассказ</i>	598
Проселочные беседы <i>Рассказ</i>	644

Тендряков В. Ф.

Т33

Люди или нелюди: Повести и рассказы.— М.: Современник, 1990.— 655 с.

ISBN 5—270—00999—4

В сборник талантливого русского писателя Владимира Тендрякова (1923—1984) наряду с известными произведениями «Ухабы», «Суд», «Находка» вошли не издававшиеся при жизни автора. В центре его прозы стоит человек, который по собственной вине или силой трагических обстоятельств вырван из нормального хода жизни.

Т 4702010201-056
М106(03)-90 136-90

ББК84Р7

ТЕНДРЯКОВ
Владимир Федорович

ЛЮДИ ИЛИ НЕЛЮДИ

Повести и рассказы

Редактор **М. И. Вострышев**

Художник **И. М. Оффенгенден**

Художественный редактор **О. Г. Червцова**

Технический редактор **Е. А. Васильева**

Корректоры **Т. Г. Люборец, И. И. Попова**

ИБ № 5804

Сдано в набор 25.05.89. Подписано к печати 21.12.89. Формат 84x108¹/₃₂.
Гарнитура об. новая. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л.
34,44. Усл. краск.-отт. 34,91. Уч. изд. л. 38,26. Тираж 50 000 экз. Заказ 449.
Цена 2р. 60к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30



